

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ
КОЛЕСО

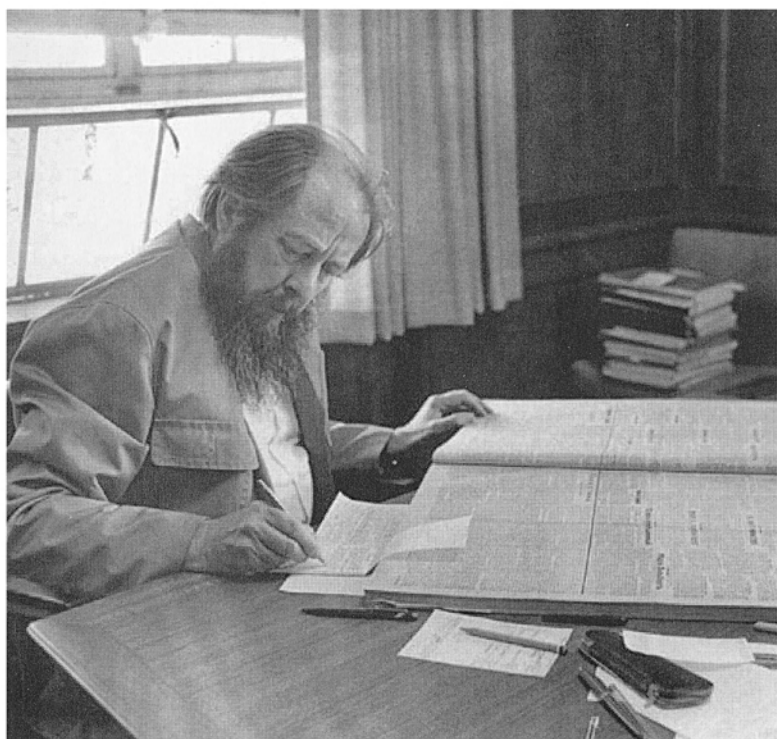
АВГУСТ
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО
КНИГА 2

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

АВГУСТ
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО
КНИГА 2

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



Гуверовский институт
Калифорния 1976

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВОСЬМОЙ

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ

В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ I

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

КНИГА 2



МОСКВА 2007

ББК 84Р7-4

С60



Издательство выражает благодарность
Банку ВТБ за поддержку
в издании Собрания сочинений

редактор-составитель
Наталия Солженицына

дизайн, макет
Валерий Калныньш

ISBN 978-5-9691-0237-8
ISBN 978-5-9691-0215-6 (общий)

© А. И. Солженицын, 2006
© Н. Д. Солженицына, составление,
краткие пояснения, 2006
© А. С. Немзер, сопроводительная статья, 2006
© «Время», 2006

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ I

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

10-21 АВГУСТА СТ. СТ.

КНИГА 2

(Обзор действий за 16 и 17 августа)

Шоссе Найденбург — Вилленберг как будто и прокатано было для того, чтобы скорей протянулись по нему подвижные части Франсуа на соединение с Макензеном. Это шоссе, без предчувствий пересеченное центральными русскими корпусами несколько дней назад, теперь за спиною их обратилось в стену, в закол, в ров. Недолго для ночёвку, передовые части Франсуа ещё до рассвета 16-го поспешили дальше, к Вилленбергу, местами громя обозы и случайные русские части. Спротивляться тут было некому, и к вечеру Вилленберг заняли. Правда, на пройденных сорока шоссеинных километрах остались лишь прореженные чёрточки застав и патрулей — окружение пока пунктирное. Более суток ещё предстояло одной из дивизий Франсуа растекаться по этому шоссе и занимать его.

Так же и от Макензена, по дорогам худшим, спешила передовая бригада, для облегчения сбросив ранцы на обывательские подводы, а то и сами на них. С севера на юг свисал Макензен к тому же шоссе, ещё выставляя отряды в бока — к Ортельсбургу и в глубь лесов, к окружаемому центру.

К вечеру 16-го если клещи и не сошлись захватами вплотную, то оставался между ними десяток вёрст непрохожего, бездорожного дальнего леса, о которых русским и не догадаться было и не доспеть туда. Но Гинденбург, подписывая вечером приказ на 17-е, ещё не мог быть уверен в успехе окружения: в остальном полукольце, такие острые накануне, бои стали вялыми. Несколько схваток у межозёрных проходов вполне задержали преследователей. И не было никаких сил защититься, если бы русские 16-го прорывали кольцо извне.

Но они не пробовали.

Сквозь пунктир окружения прорвалось последнее донесение Самсонова от вечера 15-го августа — и поступило в Белосток утром 16-го, как раз перед завтраком Жилинского и Орановского. Сообщал Самсонов, злополучный упрямец и неудачник, что отдал приказ всей армии отходить на линию Ортельсбург — Млава, то есть почти на русскую

границу. Этот жребий он и заслужил, этого и можно было ожидать, и очень хорошо, что инициативу и позор отхода он взял на себя, не спрашиваясь у штаба фронта. В благоприятное утро за завтраком (когда в Хохенштейне был уже окружён обречённый Каширский полк) Жилинский-Орановский решили, что напрасно они вчера понудили Ренненкампа наступать в пустое место, откуда Самсонов, теперь очевидно, уже ушёл. И тут же телеграфировали: «Вторая армия отошла к границе. Приостановить дальнейшее выдвижение корпусов на поддержку».

А Ренненкамф только накануне после обеда и тронулся, его корпусам до сегодняшнего сражения по недостижимо-ровной прямой было сто вёрст, коннице семьдесят. И он охотно тут же в полдень распорядился: корпусам — остановиться, а завтра отходить.

Но некая новая тревога проскользнула к Жилинскому-Орановскому в Белосток. И в два часа дня они послали Ренненкамфу противоположную телеграмму: «Ввиду тяжёлых боёв, которые ведёт Вторая армия, направить выдвинутые корпуса и кавалерию на Алленштейн». (Почему — на Алленштейн? Как можно было в трезвом состоянии направить *восемь дивизий* туда, где уже вторые сутки наверняка никто в их помощи не нуждался?)

Это почасовое передёргивание приказов как успешно отозвалось на движении войск, могут судить люди с военным опытом.

Распорядясь такими огромными массами вдали от поля сражения, Жилинский-Орановский уже не стали утруждать себя передвижкою фланговых корпусов поблизости от сражения, да и непорядок был вмешиваться в их жизнь, минуя командующего армией. Тем более, что Благовещенский стоял на днёвке, вот разве кавалерийской дивизии от него — для приличия куда-нибудь наступать.

И пришлось кавалерийской дивизии Толпыги среди дня выступать в поход. По пути её оказался заклятый Ортельсбург, ещё вчера пустой (когда велел Самсонов удерживать его во что бы то ни стало), а сегодня с рассвета оттуда постреливали. Поэтому кавалерийская дивизия обошла город стороной и покинутую местностью осторожно продвигалась в указанном зачем-то направлении — пока опять не показался противник. А уж темнело, и лес — невыгодные для кавалерии условия. И рассудил генерал Толпыго, что лучше всего воротиться к своему корпусу. И хотя ворочаться ночью тоже было нелегко и небезопасно, однако к утру вернулись. Чтó во всём этом рейде случилось забавного: спугнули немецкого генерала, командира дивизии; сам он ускочил в автомобиле, а шинель осталась, а в ней карта, а на карте пометки, как Макензен окружает центральные русские корпуса. *Никакого хода этой карте не было дано* (так спокойней).

А вот 1-му корпусу не было благовещенского покоя: как ни далеко откатился он, но и туда в ночь на 16-е добрался капитан от Самсонова с приказом: для облегчения положения центральных корпусов, окружённых противником, немедленно наступать на Найденбург!

(И если бы тамошние полтора корпуса действительно немедленно двинулись бы на Найденбург, то в середине дня 16-го при подавляющем преимуществе они беспрепятственно бы в него вошли, и не только бы развалилось окружение, но, как это случается в маневренной войне, корпус Франсуа оказался бы в тесных клещах с угрозой ответного окружения.)

Однако, и ясный приказ получив, дюжина сведенных генералов из разных дивизий и отдельных частей не могли так просто собраться и выполнить его. И полковник Крымов, кого Душкевич избрал себе начальником штаба корпуса, не мог сплотить генералов. Понятно было, что приказ придётся кому-то выполнять — но кому? В отсутствие безусловно высшего начальника всякий генерал мог отстаивать, что: не его часть пойдёт и не под его командованием. *И весь день 16-го августа шёл во Млаве генеральский торг*: из кого составить сводный отряд и кому вести. Выходило так, что единственный совсем нетронутый был лейб-гвардии Петроградский полк из раздёрганной гвардейской дивизии, а остальные батальоны, эскадроны и батареи будут уже добавочные, и потому вести отряд в отчаянное это предприятие выпадало командиру варшавской гвардии петербургскому генералу Сирелиусу.

После всех споров и сборов Сирелиус выступил в шесть вечера, и то лишь с головою отряда, — с тем, что и остальные поочерёдно следом пойдут. Вечер и ночь, никем не замеченный и никем не препятствуемый, отряд Сирелиуса проходил свои 30 вёрст — и первое столкновение с немецким заслоном имел 17-го поутру в пяти верстах от Найденбурга.

А в небе над ним появился германский аэроплан.

Генерал Франсуа уже две ночи пробыл в Найденбурге, уже два вечерних приказа Людендорфа здесь получил и посмеивался: Людендорф еще не чувствовал окружения, он больше готовился против Ренненкампа. Ночь на 17-е не давали спать Франсуа по его же приказу: на рыночную площадь на выставку тянули и тянули трофейные русские пушки. Франсуа просыпался и записывал удачные фразы для мемуаров. Утром «прекрасного гордого дня» своей жизни он вскочил напряжённо-свежий, хорошо позавтракал, выслушал донесения, послал торжествующую телеграмму Людендорфу и, вот-вот прославленный на Германию и даже всю Европу победитель при новых Каннах, вышел на крыльцо идти смотреть трофеи. Но раздался в небе моторный гул: это возвращался разведывательный аэро, посланный проследить, как отступают русские. Не томя генерала ожидать посадки и доставки, пилот тут же, на мостовую перед отелем, аккуратно сбросил пакет. Франсуа улыбнолся, похвалил. Адьютант кинулся, поднёс пакет генералу, распечатали: «Аппарат... лейтенант... маршрут... сброшено... Колонны всех

родов войск... голова — 5 км южнее Найденбурга, хвост — 1 км севернее Млавы...»

И — как в той игре, где от верхней клетки неудачным броском кубика сверзаются на исходную первую, сияющий победитель тут же принял строгий вид ученика, у которого всё впереди. Перекинул донесение штабистам, но и без их расчёта понимал, что колонна в 30 километров — это корпус. Взрыв решений! — распоряжения только устно, для письменных времени нет. Резерв — два батальона? идти навстречу противнику и принять бой! Ещё батальон в караулах? — снять караулы! Южнее города ни одной германской батареи, севернее — две? перевести на юг! А с шоссе никого не снимать, окружение должно остаться! В городе русские пленные? — вести их на север. Там под Сольдау осталась ландверная бригада? — гнать её сюда. Откуда ещё можно снять? Телефонный доклад в штаб армии. Обстрел города — и связь прервалась. Ничего, автомобилей много, снесёмся на них. Рвутся над городом русские шрапнели. Падают фугасы. Штабу корпуса более здесь не место. Отступить? Нет, наступать! По шоссе на Виленберг!

На радиаторе — жёлтый лев. Сын — записывает мысли полководца. А во встречном автомобиле везут русского генерала, взятого в плен на рассвете. Остановка, выводят. Он измучен, одежда рвана лесом и пулями, губы запеклись. Но хотя ему лет 60 — строен и легкоподъёмен, какими не привыкли видеть русских генералов. В руке задержалась бездельная тросточка. Это — полный генерал, и можно догадаться, какого корпуса: того, который целую неделю лупил Шольца. Выйти ему навстречу, пожать руку, сказать несколько слов похвалы и утешения: смелый генерал никогда не застрахован от плена.

Посланный к Найденбургу как бесполезный посыльной, Мартос уже сутки бродил по окраине Грюнфлисского леса, не имея никого для атаки города, неделю назад им же и взятого. Казачий конвой разбежался, накрывала Мартоса близкая шрапнель, с четырёхсот сажень, ночью у шоссе поймал его прожектор. Ружейный огонь в упор, начальник штаба корпуса убит. Переломлена шпага Мартоса, и переломки отданы немецкому офицеру.

Но с удивлением и надеждой прислушивается сейчас Мартос, что по Найденбургу бьёт артиллерия русская с ю г а. Так ещё неизвестно, кто кого окружает?.. С радостью видит он беспорядок в немецких обозах и нервность пехоты.

Франсуа:

— Скажите, генерал, как фамилия того командира корпуса, который сюда идёт, я ему предложу сдаться?.. Да не возьмётесь ли вы поехать предложить им сложить оружие?

Мартос оживился — и сразу:

— Поеду!

Франсуа, охлаждаясь:

— Нет, не надо.

Мартоса посадили в автомобиль между двумя маузерами и погнали по шоссе через Мюлен, так и не взятый им. В маленькой гостинице в Остероде к нему вышел Людендорф. «Скажите, в чём заключалась стратегия вашего генерала Самсонова, когда он вторгся в Восточную Пруссию?» — «Как корпусной командир я решал только практические задачи». — «Да, но теперь вы все разбиты, и русские границы открыты для нашего продвижения до Гродно и до Варшавы». — «Я — был в равных силах с вами, а имел перевес в бою, много пленных и трофеи».

Вошёл Гинденбург. Видя Мартоса глубоко расстроенным, долго держал его руки, прося успокоиться: «Вам, как достойному противнику, возвращаю ваше золотое оружие, оно будет вам доставлено».

Но — не было возвращено. А посажен был Мартос под конвоем и повезен в Германию в плен до конца войны.

До утра 17-го крепился Людендорф, а как раз утром 17-го доложил в Ставку, что совершено крупнейшее окружение! — и через полчаса телефонный звонок Франсуа взвыл о помощи, и связь прервалась. Тотчас были отобраны у Шольца с преследования три дивизии и за 20, 25 и 30 километров посланы на помощь к Найденбургу. В следующие часы пришло донесение, что несколько конных дивизий Ренненкампа углубляются в Пруссию! Ещё один авиатор донёс, что русский отряд идёт и к Вилленбергу!

Окружение затрещало.

Но генерал Сирелиус против восьми комендантских рот простоял десять часов, ожидая подхода всего корпуса. К вечеру 17-го он вытолкнул немцев из Найденбурга, да уж поздно было ему прорываться к своим ещё несколько вёрст: уже сто орудий поставили против него, и со всех сторон шли германские подкрепления.

А Жилинский-Орановский в далёком Белостоке узнали обо всех событиях не от лётчиков, не от разведки, не из донесений командиров действующих частей, но — от генерал-дезертира Кондратовича. Кондратович, ещё 15 августа сняв с передовой полдюжины рот для собственной охраны, бежал за русскую границу в Хоржеле и день 16-го провёл там в тревожном ожидании конных ординарцев: возьмут ли верх наши или немцы? В ночь на 17-е стало ему ясно, что победили немцы. И тогда, изобретательно покрывая своё дезертирство, он подошёл к телеграфному аппарату, доложил как только что прибывший и благодарному штабу фронта дал о центральных корпусах те разъяснения, которых тому неоткуда было получить.

В неурочное время были подняты из постелей Жилинский-Орановский (может быть, близко к тому, когда Самсонов заводил для выстрела свой револьвер) — и после спокойного дня свалилась на них ночная обязанность спасать, решать, выходить из положения. Накануне пред-

ставлялось, что за проигрыш операции, за отступление Второй армии ответит Самсонов: ведь это *его* был приказ отступать. Теперь же оборачивалось так, что Жилинский не распорядился вовремя Второй армии отступить, — и как бы часть вины за окружение не пала и на него. Какой же выход? Составить такую телеграмму: «Главнокомандующий приказал отвести корпуса Второй армии на линию Ортельсбург — Млава...», и не помечать её точным часом, и будто бы она послана была Самсонову, а не наша вина, что линия туда не доходит.

А теперь — Ренненкампу снова: «Организовать поиск конницей для выяснения положения генерала Самсонова». Благовещенскому: «Сосредоточиться к Вилленбергу» (не надо прямо, что — *брать*). Кондратовичу: имеющиеся у него силы (его охрану) собрать к Хоржеле (где он и сидел), откуда в связи с Благовещенским *действовать по обстоятельствам*. Лётчиком: искать штаб армии, 13-й и 15-й корпуса где-нибудь между Хохенштейном и Найденбургом, и все эти приказы сообщить словесно, ни в коем случае не бумагою. А уж 1-му корпусу: *постараться занять Найденбург!*

Да бишь и с 1-м корпусом как бы не было неприятности: ведь с 8-го августа есть разрешение Верховного выдвигать его дальше Сольдау, а мы не использовали, спрсят с нас.

50

Если б не чёткие просеки, в таком лесу двигаться ночью было б никак нельзя. Но счёт и расположение просек точно совпали с немецкой картой, и, проверяя карту при редких спичках, и сам проходя лишнее для сверки, Воротынцев обвёл свою группу в обмин безлесного треугольника и привёл точно к тому отдельному двору в лесу, который и намечал.

Это — не домик лесника оказался, а что именно — они без света не поняли. Тут были сложены какие-то плоско загнутые твёрдо-мягкие предметы, на них натыкались. Лишь потом, найдя и засветя лампу, увидели, что измазались шароварами, сапогами, а кто и руками — в кровь. То были скотьи шкуры, здесь забивали скот. Зато ж был и колодец — напиться, отмыться, ещё напиться. Зато было вяленое и копчёное мясо — больше, чем они могли съесть и унести, хлеба немного и огород. Благодарёв нашёл набор тесаков и длинных ножей с негнуткими полотнами. Выбрал себе. И Воротынцев взял за пояс маленький ладный топорик. Всё это они искали и добывали, остерегаясь со светом, а по

том, сытые, повалились и поспали немного — трое, Воротынцев же был на часах.

Со своим характером он бы и не заснул: план выхода, расчёты и надежды выхода сверлили его, и теперь, пока это не сбудется, не мог бы он расслабиться и заснуть. Забегали мысли и дальше: что и как он расскажет в Ставке, если выйдут. И как это подействует.

Не подбодрять себя от засыпания, но умерять от нетерпенья надо было. Воротынцев прохаживался по просторному травяному двору, лишь отступя обставленному овалом дружного высокого леса, чёрной стеной. А над поляной он оставлял шире себя овал неба в звёздах, потом через него потянулась полоса лёгких клочковатых облачков, а они были чем-то осветлены, неизвестно откуда, давали общий нежный свет, на этом свете отдельно ясно вырезывались ближние высшие лесные вершины. Ни вид, ни дробность, ни малая скорость облачков не предвещали непогоды, и хорошо! Близ полуночи заволакивало небо даже сплошь, но потом опять расчистило. Ночь попрохладнела, а роса была невелика.

Рядом рушилась целая армия, гибли полки, дивизии — а грохота не было. От Найденбурга и со всего немецкого запада не слышалось ни выстрела — как будто немцы остались довольны уже достигнутым, насытились, не собирались преследовать.

Оставалось меньше звёзд. Из глубокого ночного цвета небо серело и, если б не звёзды, казалось бы пасмурным сплошь. Наступал час, когда цвета вообще нет: серое небо, а всё остальное обще-тёмное. И если б никогда не видел, например, зелёного, то не мог бы его вообразить ни по деревьям, ни по траве.

Не ждать было дольше. Воротынцев пошёл будить. Харитонов проснулся легко, как не спал, а только ждал, когда послышатся шаги. Ленартович от касания вздрогнул, как от удара, но поднялся без промедления. Арсений мычал, неразборчиво не соглашался, пришлось его рвануть за два плеча — проснулся, но лежал, отдуваясь.

Ещё подгруженные теперь мясом и скотобойным оружием, они вышли снова гуськом. Ветку, или фигуру, или ствол можно было увидеть только на просвет неба. Всё остальное виделось слитно-густо, неразделённо.

Недолго досталось поспать, но сегодня голова Ярослава была свежей и твёрже вчерашней. Каждый день ему было лучше, только оставались вдавленными уши, и оттого на слабых шорохах оне-

мел, огрубел для него лес. Ещё в госпитале он позавидовал, что не служил у такого быстрого, сообразительного полковника с летучим светлым взглядом, — и так освободился и обрадовался, когда набрёл опять на него в лесу, да ещё оказал ему услугу картой. Худо было с армией, с полком, и свой взвод он потерял, но сам не мог попасть в лучшие руки, чтобы вернуться в свою единственную, любимую, ни на что не обмениваемую жизнь.

По светлеющему, безлюдному, но настороженному утреннему лесу они прошли с проверкою пересечений два квартала и повернули по просеке же, а та перешла в уширенную изгибистую вырубку. Светлело быстро, удлинялся просмотр до ста, до двухсот саженей — и тут они увидели, как тою же вырубкой поперёд их шли люди. Военные. Не в касках, в фуражках. Свои. Медленно. Нагруженные, несли тяжёлое на плечах.

Другой и дороги не было, нагонять их. Заметили и те, отстали двое с винтовками и расходились по краям вырубки, но Воротынцев поднял фуражку, помахал. Опознали. Четверо сзади нагоняли быстро, легко. И восьмеро передних поставили на землю двое носилок.

Прутяные носилки, оплетенные по жердям и с привязкой чурочек как ножек, — быстро сработано в лесу топором и мужицкой рукой, Ярослав таких и не представлял никогда, не знал, что сделать можно.

На задних носилках лежал покойник — большое, плотное тело. Белым платком с узелками покрыто лицо, а погоны — полковничьи. На передних — поручик с толсто-обинтованным коленом при отрезанной штанине шаровар. Все же десятеро пеших были нижние чины, ни одного унтера, и почти все в возрасте, запасные. В серо-голубом рассвете, вблизи, уже и лица были видны — охудавшие, вваленные, кто с кровавыми запеклинами, и в одежде ошмыганы все. Восьмеро носильщиков не были налегке: у всех винтовки, и отвисали с поясов тяжёлые под сумки, не по одному; а двое свободных солдат нагружены были и сверх.

Откуда же? Кто? Воротынцев и поручик Офросимов представились, поздоровались. Обе руки поручика были здоровы, вся верхняя половина его, он мог и командовать, и стрелять, лишь не мог идти. Смоляной шерстиволосый грубоватый поручик говорил с хрипотой, не очень складно, не очень и охотно, как будто устал рассказывать, будто всю лесную дорогу их задерживали и спрашивали. Поручик приподнялся на носилках на локоть, но при зем-

ле было и это, Воротынцев присел к нему на корточки. А все десять солдат Офросимова не отошли от офицерского разговора, как полагалось бы, но обстали и обсели кругом тесно, равными соучастниками дела, и даже, один, другой, вставляли по нескольку слов. (И Ярослав подумал: как хорошо! да ведь так бы и надо всегда с солдатами! Если уж поровну смерть делить — так и всё остальное!)

Все они были — из Дорогобужского полка, позавчера оставленного арьергардом. И там они отбивались. До темноты. Штыками больше, патронов не достало. Сильно не достало. (Теперь, наученные, что патроны нужнее хлеба, они и нагрузились по пути от брошенного другими.) Там полк их лёг. Сохранилось из рот, ну, по дюжине человек. Да где по дюжине...

А полкового командира их, Кабанова, они взяли в Россию снести. В России похоронить.

Вот только это они рассказали. Раненый угрюмый поручик. И десятеро солдат. Из тех офицеров поручик, каких Ярослав не любил: наверняка картёжник и матерщинник с анекдотами сальными, несмешными. Но сейчас: как, значит, солдаты его любили, если с кряхтеньем и передышками, через моченьку несли! Что за герои! И что за бой это был, со штыками против пулемётов, против пушек! Сколько ещё в том бою надо было угадать, что Ярослав не мог!

Только это они рассказали. В круговой сплотке ещё минуту молча постояли, посидели. И вот-вот должны были разойтись по своим местам поднимать носилки: разный был путь на выход. Вот-вот должны были разойтись, но ещё одну доверчивую минуту медлили. (И задумал Ярослав, чтоб любимый его полковник взял под свою руку и этих дорогобужцев тоже, ну куда они сами? ну что ему стоит!)

А Воротынцев, и сам с такой же ссадиной кровяной на челюсти, лоя не именно эту доверчивую минуту, но лоя недознанное им в операции, уже раскладывал карту по иглам и шишкам, уже тянулся руками и мыслями к тому неизвестному дальнему погибшему полку:

— Там — это где ж вы могли стоять?.. Какой же дорогой вы прошли? Сколько вёрст?

И ещё раньше, чем от поручика, услышал от солдат:

— Да вёрст сорок будя...

— Може и больше...

(Сорок вёрст! — и несли! И как же веру их, силу их не поддержать?!)

Не много и поручик мог по карте, потому что все эти дни был без карты, знал только Деретен и компас на юг с расчётом на тот узкий межозёрный проход, которым и наступали прежде. А дальше и солдаты вперемежку не меньше могли объяснить: дубососновым лесом шли, горки да горки; *линию* переходили; хутор разорённый; лес долгий; перешеек, заросший сплошь; село с церковью; реку бродом; а дальше наших войск — тьмотемно, попережёк текли; да только...

Да только дорогобужцы из мёртвого полка уже как бы не относились к своему корпусу — расплатились с ним за всю войну. В тот Успенщин денёк они как бы уже перебыли все в мертвецах, и у кого ещё ноги двигались — вольны были теперь уходить как хотят. Они своими животами небронёными уже прикрыли разотход всех остальных и больше не были перед ними в долгу. Они не объясняли этого прямо, может и сами этого не охватили, но так выступало из их слов сказанных, а ещё — промолчанных, из их особого соучастья, как они разговаривали с чужим полковником, и — из двух пар носилок, по отшибным лесным местам пронесенных без ропота сорок вёрст. (По меридиану тридцать, а с извилинами натягивало больше сорока.) И так со своим бывшим корпусом они не смешались, его дорогу переступили, видимо, тайком — и просекали лес по своему отдельному замыслу, не подневольному, не по команде и погонке унтера и явно не по команде Офросимова, ибо не мог он приказать себя раненого сорок вёрст нести на плечах. Что там было до третьего дня между ними — взаимное порицанье ли, досада, теперь всё было прижжено тем смертным днём.

Так нехотя они свою тайну выговаривали, что лишь к концу сказали — а от кого бы скрывать? — что выносят они и знамя Дорогобужского полка. Оно обмотано по телу поручика.

У Ярослава защекотало в горле. Он завидовал Офросимову: вот именно так с народом слиться! вот с этой надеждой он и шёл на военную службу! А у него орёл Крамчаткин оказался и дурень, и стрелять не умеет, а Вьюшков — плут и вор. Если б смел, Ярослав шепнул бы сейчас полковнику, теребнул бы его тихонько: «Давайте возьмём их с собой! какие благородные сердца!»

И кажется — полковник догадался! Уменьшая карту в подворотах, спросил громко:

— А когда вы ели, ребята? Есть будете?

Промычали. Будем.

— Вот хорошо, и нам нести меньше. Отходи-ка все вон туда, под деревья, и с поручиком, на просвете не надо. Арсений! Раздавай мясо дочиста.

Благодарёв посмотрел, брови изогнул, кашлянул — так ли понял. Оттащил и свой большой цыганский узел. На колени к нему опустился, развязал, стал скотобойным ножом мясо отхватывать и раздавать.

— Да-а-а, тряхануло вас, мужички! Я смотрю — тряхануло.

Дорогобужцы оказались яро голодны, и лопатки говяжьей не должно было хватить на завтрак. Да было и кроме.

А Воротынцев отходил и смотрел в лицо покойного, поднимал покров. Тянуло и Ярослава подойти, посмотреть в лицо героя, уже отменное ото всего живого, а какими-то чёрточками ещё и то, с каким позвал он дорогобужцев в последнюю контратаку. Но неловко было соваться, не посмел.

Небо над соснами голубело, а там, где остался дымок нерастянутых облачков, — их забирало розовым. Опять занималось погожее тихое утро, не ведая никакой войны. Да близкой стрельбы и не слышалось, смутная далеко была.

— Я и чую — ты не тамбовский ли, — говорил Арсению пожилой, борода венником, рассудительный. — А уезда какого?

— Да Тамбовского ж! — всё на коленях, со всегдашней своей охотой отзывался Арсений.

Дивилась борода, но чинно, у него были повадки грамотного:

— А — волости? а — села?

— Из Каменки я! — радовался Арсений.

— Из Каменки?? Да чей же ты?

— Благодарёв.

— Какой Благодарёв? Не Елисея Никифорыча?

— Его!! Меньшой! — скалился Арсений.

— Так-таак, — одобрял старший земляк и достойно, не по-солдатски, обглаживал бороду. — Так я тебя знаю. А Григория Наумовича Плужникова знаешь?

— Ну как же! — чуть не обиделся Арсений. — Его и все батской зовут, голова-а-а! А ты?

— А я — туголуковский.

— Туголуковский!! — раскидал Арсений ручища и всех звал поживаться. — Так оттуда ж все кони добрые. И мы там покупали.

— Лунцов я, Корней.

— Да вас там пятьсот дворов, не презнаешь.

И — все заулыбались, как породнились обе группы, и всем от того радость. Чтó там в одном полку, если деревни рядом!

— А вон ещё у нас тамбовский — Качкин! — показывал Лунцов на мрачноватого боровка лет тридцати, с широкой головой, слишком широкими плечами, короткими руками, а спина и грудь — подлинно колесом, но не по-бабьи выпирающая грудь, а по-мужичьи, хоть в соху его запрягай. — Только он дальний, иноковский.

— Хо-о-о, — отмахнулся Арсений, — и-иноковский! Эт с Ворони, что ль?

— Ну. Слышь, Аверьян, вот с волости соседней парень.

Качкин исподлобья, но одобрил:

— Хорош землячок, подкормил. — Сощурил глазки, и без того маленькие, а хваткие: — А нож — кинь!

— Зачем тебе?

— Немца колоть.

— Так и мне!

— Так у тебя не один.

Не один был у Арсения, да, он с запасом взял. Но и — чужим солдатам отдавать? Оглянулся на своего полковника.

А Воротынцев — на Качкина, на колесо его от груди к спине.

— Дай.

Не — дал Арсений, не — встал подать, не — протянул. А как стоял на коленях шагов за восемь от Качкина — размахнулся и метнул нож мимо плеча чьего-то, — и у самой Качкина ноги, обдирая сосновый вздутый корень, врезался нож в землю стоймя.

Качкин выдержал, не убрал ноги. Вытаскивая нож, сказал:

— Ничего, подхояво. За танбовского сойдёшь.

И посмотрел лезвие на свет, с жала.

— А костромских нет? — спросил Воротынцев.

Нет. Воронежский. Новгородских двое. Медленно, внимательно пересматривал их всех полковник. Один гусак насупленный в счёт не шёл. Один ласковый услужливый так и просился — встать, доложить, ответить.

— А ты откуда?

Подскочил, засиял:

— Архангельский, ваше высокоблагородие, Пинежского уезда. Монастырь Артемия Праведного у нас, может, слышали?

— Сиди, сиди. — Дальше смотрел. И увидел крупноокого запасника с той бородой, какую бороной расчёсывают. — А ты?

Не вставая, как беседея, ответил с важностью:

— Олонецкий.

Он и ел непроворно, глаза переводил неторопливо.

Воротынцев выглядел озабоченно.

— Поели? А вода дальше будет, озерко малое. А ноги как у вас? — Отвечали, но он не об этом думал. Объявил, но как-то не категорично: — Если хотите, можете с нами идти.

Харитонов просиял. Да не могло же быть иначе!

— Выходить придётся н-ночью, — всё озабоченнее объяснял Воротынцев и не на поручика глядел, а пересматривал солдатские лица, больше — на олонцкого, на Лунцова, на Качкина. — Сегодня же, ночью. Придётся шоссе переходить. Это сложно будет. А после шоссе, наверно, бегом бежать.

На отдалённом пне сидел прямоголовый сообразительный Ленартович и в испуге смотрел на Воротынцева: слишком рано он составил о нём мнение как об умном человеке. Он не спятил ли? Если от шоссе бежать — как же тащить этого поручика на носилках? А уж труп зачем волочить, что за обряд дурацкий? Ну и перестреляют всех. Живым погибать для мёртвого? Неужели он так их и возьмёт?

Именно это и восхищало Ярослава, это нерасчётное упрямство и было самое трогательное: что мёртвого они несли, что полкового командира даже мёртвого не хотели оставить чужой земле! И почему полковник мялся, тоже понимал Ярослав: тут странная была группа, не армейское что-то, отношения не подчинённости, но доверия, не поручик Офросимов командовал ею, а как бы сама собой она командовала, оттого и спрашивать надо было самих солдат.

Воротынцев оглядывал их. Солдаты молчали.

Ну, правильно, понял Ленартович, тут сложность в том, что поручик Офросимов всю дорогу не мог велеть полковника бросить, а себя нести: если подрубить это наивное убеждение, его и самого могли бы оставить. Но Воротынцев-то волен приказать похоронить, да и поручика нести ещё подумать надо.

На пнях, на земле, на скатках — вразброс сидели дорогобужцы, и было бы это как собравшийся деревенский мир — если б не две пирамидки винтовок. А Воротынцев — деятельный, уверенный, непреклонный полковник — стоял обмявшись, на расстав-

ленных ногах, руки плетьюми, из-под козырька поглядывал. Поглядывал на дорогобужцев. И молчал.

И солдаты молчали, не все смотря на полковника — кто и в землю, кто на носилки одаль.

Когда полковник, ещё раз обглядывая всех, остановился на Корнее Лунцове, тот провёл по серой веничной бороде, всю её никак одной рукой не захватывая, и спросил со значением:

— А — сколько ещё до России вёрст, ваше высокоблагородие?

Далась им Россия, чучелы, будто немцы туда прийти не могут! Пулемётов они не понимали, только вёрсты. Если полковник уступит, надо Саше эту группу бросать.

А Качкин короткоухий какую-то кривулину корневую с руки на руку перебрасывал. Так — и так. Так — и этак.

Ещё проверил Воротынцев стоялый, озёрный взгляд олонецкого — и вот уже выпрямился из колебаний, вскинулся и, чётко:

— Хорошо, выступаем! Прапорщик! — сощурился на гордую голову Ленартовича. — Мы с вами сменим двоих под покойным.

Как пришилил. Вздорная игра, а состояние безвыходное, ничего и не возразишь. Саша повёл головой, как бы не веря. Плечами пожал. Поднялся медленно. Ступнул не сразу, к носилкам. Погребальное шествие, идиоты.

— Я тоже, господин полковник! — безпокойно вытянулся Харитонов, но Воротынцев рукой отклонил.

Вместе с Ленартовичем они взялись за передние жерди — и подняли, лучше и хуже угадывая хватку задних. По росту ровни, пошли, попадая в общий лад, чтоб раскачки не было. Вчетвером не очень было тяжело, но неудобно, спотычливо.

Хотя и неприязненно, с видимым подозрением, принял вчера полковник Ленартовича, но Саша за вечер и за ночь оценил как удачу, что встретился с ними. *Этот*, пожалуй, выведет. Такие изнурительные часы настали, все силы отбирая движеньем и опасностью, что отдаться умелой воле успокаивало и отупляло: не искать, не беспокоиться, а делать и шагать, как скажут. К тому же с первых минут Саше нетрудно было заметить, что этот яснолобый полковник — какой-то редкий среди офицеров тип: по-настоящему, кажется, интеллигентный, образованный человек. А с другой стороны, если он истинно-образованный, да ещё имеет власть, — как же мог он поддаться тёмному, немому завету этих диких запасных из нечёсаных углов России? Ну, пусть как серьёзное что-то выносили знамя — тряпку казённую, никому не нужную, всеми уже

осмеянную, но она хоть не весила ничего, да вот что: она была хороший предлог для Офросимова, чтоб его самого тащили. Но:

— Господин полковник! Зачем же всё-таки мёртвого нести? Ведь это дикость.

Они шли впереди, и слышать их только и могла бы третья голова за самыми их плечами, затылком вниз, покачивая на ходу.

Воротынцев не возразил.

— Какая ж это современная война? — смелел Саша.

Живые, умные у него были глаза, перед которыми не отделаться тупой армейской отговоркой. Но имел Воротынцев тон, чтоб и такие глаза моргнули:

— Современная война встретит нас на шоссе, прапорщик. Вы бы прежде подумали — чем будете стрелять? Этой пукалкой не настреляешь.

Может быть и верно, но всё это увёртка. А вот на главное возвращал его Саша:

— Сейчас вы заставляете нести труп, потом прикажете нести этого поручика, наверняка черносотенца, по лицу вижу.

Саша рассчитывал — полковник рассердится. Нет. Так же отрывисто, и даже думая будто о другом:

— И прикажу. Партийные разногласия, прапорщик, это рябь на воде.

— Партийные — рябь?? — поразился, споткнулся Саша, извернулся под жердь. Два-три пути возражений сразу открылись перед ним, но наступательный был наилучший: — А тогда что национальные? Не рябь? А мы из-за них воюем? А какие ж разногласия существенны тогда?

— Между порядочностью и непорядочностью, прапорщик, — ещё отрывистей отдал Воротынцев. И внешней свободной рукой приподнял, расстегнул планшетку, на ходу смотрел то под ноги, то в карту.

Да не из принципа только, не из принципа даже, а: совсем не просто, очень трудно было нести носилки, как будто двойной человек на них лежал, резала жердь плечо, всего тебя клонила пригнуться, и уже задний солдат окликнул:

— Повыше, ваше благородие!

Саша всю жизнь развивал мозг, то было важнее, а тело — некогда. За эти последние дни он ещё истощился. Зубы сжимая, он нёс и загадывал, до какого дерева донесёт, а там попросит его сменить. Потом добавлял ещё прогон.

Между тем слева приоткрылась поляна — и солнце уже почти открыто ударило в них поверх дальних вершин. Опять вступили в просеку, темноватую от частых сосен. Просека стала подниматься, подниматься, ещё труднее нести, сердце выколачивалось, — а полковник направил и с просеки свернуть и ещё круче подниматься, прямо лесом идти, между соснами, — правда, они реже стояли здесь, расчищено было от хвороста, от подростка, и повсюду свободно идти по мягкому ковру игл, только от шишек неровному. Не на подъёме ж было отказываться, терпел Саша дальше. А когда поднялись, то и сам полковник чуть раньше скомандовал:

— Стой! Опускаем.

Они оказались в глущи леса на открытой гряде, в утреннем солнечном боковом просвете. Сосны стояли здесь редко, на бронзовых, иногда дуговатых стволах, на возвышенных раскинутых ветвях держа свои сквозистые крупнохвойные шапки. Раннее солнце уже теплило стволы — и до позднего вечера весь обход не должно было уходить отсюда. Должны были белки любить это место, в весну — тянуться сюда зверьки на первые обсохи: здесь быстрее всего сходит снег, и никогда не стоит вода. А назад, откуда пришли они, гряда спадала просторным длинным склоном в просторную же впадину, и туда по чистым иглам между чистыми соснами хоть боком прокатывайся.

А ещё выступал из гряды отдельный холмик. К нему-то и поднесли носилки.

Ничего не объясняя, Воротынцев постоял, осмотрелся и дал другим осмотреться. И тогда уже не в колебании и не тоном упрямства, но уверенно объявил дорогобужцам:

— Ребята! Полковника Кабанова мы похороним здесь. Лучшего места не будет. И по карте будем знать. А немцы — не нехристи.

И — пересмотрел, пересмотрел дорогобужцев. Добавил тихо:

— Иначе нельзя. Не выйдем.

Что не выговаривалось и не принималось на серой рассветной вырубке в низине и при первой встрече — то здесь, на радостной высоте, в ласковом утреннем солнце, в первом разогревном, смольном запахе, и от того, кто сам эти носилки понёс, — принялось, уложилось. Та сумрачная тень на лицах — вины, не вины, отчего бы вины? оттого ли, что столько умерло, да не они? — ту тень прорвал им чужой полковник. И вот — не было сопротивления на лицах.

Олонецкий снял фуражку, повернулся к востоку; про себя молясь, перекрестился истово; поклонился поясно; отпустил:

— Бог простит.

И другие иные перекрестились.

Воротынцев, ни мига не медля, окликнул:

— Арсений, где твоя лопатка? Начинай. Вот тут. — Показал на холмик.

Всем снабжённый, ко всему приспособленный, на всё всегда готовый, Благодарёв безунывно отстегнул сапёрную лопатку, как если б к этой работе только и шёл сюда, взошёл на холм — там был простор и всем собраться, стал на колени, хоть сколько-то ноги укорачивая, и врезался, где не было корней.

И у дорогобужцев оказалось две лопатки. Давно самый готовый к делу из них, подкатился быстро Качкин тяжёлым комом и, начиная тоже с колен, стал бить и выбрасывать, бить и выбрасывать землю — с дикой силой, без всякого передыха.

— Здорово, Качкин, берёшь! — отметил Воротынцев.

Качкин задержался, оскалился с колен:

— Качкин, вашвысбродь, по всякому может. И — так могу.

И вот увальнем, из силы последней, с недостаткой дыхания, большой толстяк, еле-еле ковырялся, еле-еле вынимал на кончике лопаты.

— И ничего не докажете! — кольнул кабаньими глазками. И тут же опять — пошёл, пошёл долбать, только земля замелькала, как будто сама та сказочная лопата ходила, что за ночь воздвигает дворцы.

И так — и так мог Качкин. И так — и этак.

А Лунцов с напарником пошли нарубить и сплести крышку для носилок, чтобы сделать их гробом.

Такой был цельный обширный лес, что война, бушуя вокрут, сюда, в эту глубь, за всю неделю не заглянула ничем: ни окопчиком, ни воронкой, ни колёсным следом, ни брошенной гильзой. Разгоралось мирное утро, сильнел смоляной разогрев, приглушённо перещебетывались, молча перелетали августовские успокоенные птицы. Обнимало и людей безопасное, вольное чувство: будто и окружения никакого нет, вот похоронят — и по домам разойдутся.

Могила готова была. И крышка к носилкам готова.

Но как-то надо ж было отпеть? какой-то кусочек панихиды? Слыхивал Воротынцев панихиды не раз — а повторить или другим

указать ничего не мог, дело это было офицеру стороннее, священское, не запоминалось.

Его нерешительный взгляд перенял Арсений — он рядом стоял и потягивался, спину разминал. Перенял — и сообразил ведь! — никаким образовательным развитием не созданная, такая уж была быстрая счётка у парня. А ещё за эти трое безмерно наполненных суток установилась между ними безсловесная, неоговоренная взаимная область разрешенья и прав, вообще невозможная между полковником и нижним чином, да ещё при разнице в годах. И вот, ни слова приказания не получив, ни слова предложенья не высказав, Арсений, уже принимавший столько разных взглядов, для каждого дела свой, ещё принял новый: выпрямился, приосанился, переимные от кого-то важность и строгость появились в лице и в голосе.

Фуражку снял, швырнул за себя, не глядя. Спросил у всех, ни у кого, брови нахмурия, как имеющий власть, голосом не будничным, возвышенным:

— Как покойника звали-то?

А солдаты — и не знали, солдатам — «ваше высокоблагородие» сунуто. И никто б не знал, если б не Офросимов. От земли, со своих носилок, ответил взнесенному нижнему чину:

— Владимир Васильевич.

И тут же шагнул Благодарёв к покойнику, наклонился, снял платок с лица — за пять минут до того не дерзнул бы. С выпяченной грудью, с головой прямой обернулся к восходу, к солнцу — и чистым сильным голосом и точною дьяконской манерой воспел до высоких сосенных вершин:

— Миром Господу по-мо-лим-ся!

Так это было властно, сильно и точно по-церковному, что приглашенья не требовалось больше, — и олонецкий, и Лунцов, и ещё человека два сразу поняли и тут же отозвались, закрестились, поклонились востоку каждый на том месте, где стоял:

— Господи поми-илуй!

И первым же, всех зычнее, пел среди них Арсений, из дьякона тут же перейдя в первый голос церковного хора. А отпев — перешёл снова в зычного, сочного дьякона, с удивительной мерою ритма, интонации, речитатива, — не умея повторить, Воротынцев узнавал с несомненностью:

— О новопреставленном рабе Божьем Владимире — покоя! тишины! блаженные памяти его — Господу по-мо-лим-ся!

И уже всех захватывая, и офицеров, уже все собираясь к покойному, с головами обнажёнными и лицами к востоку:

— Господи поми-илу-уй!

Сколько ж сторон и объёма во всяком человеке, вот в молодом крестьянине из глухого тамбовского угла: три дня с ним вместе идёшь через смерть, потом бы потерял навсегда, так бы не узнал, не догадался, не задумался, если бы не случай: он в церковном хоре поёт, и не один же год, наверно, и к службе прислушан, и это нечто важное в его жизни, любит, знает — эх ведь выговаривает до точности в каждом звуке и в каждой паузе, с полным смыслом, все интонации верные:

— О неосужденну предстати у страшного престола Господа славы — Господу помолимся-а-а!

Поднесли и Офросимова, поставив лицом к востоку. Он сидя крестился и тоже пел. И Харитонов, теперь увидевший загадочное лицо героя, пел, ощущая слезы, но слезы освобождающие:

— Господи поми-и-лу-уй!

И дальше властно вёл дьяконский голос, не стесняясь чужбинным лесом:

— О яко да Господь Бог наш учинит душу его в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу по-мо-лим-ся!

Отчасти уже сбывалась молитва: для тела уже вот и было учинено такое светлое, покойное место.

Все на восток, только и видели в спины друг друга — и невидим был лишь последний, самый задний, не подпевший ни разу, с кривоватой улыбкой сожаления, но всё же голову обнаживший Ленартович. Зато перед всеми стояла, в поясных поклонах нагибалась и распрямлялась гибкая сильная спина Благодарёва, лишь потому не широкая, что ещё длинная. И привольны, отсердечны были крестные взмахи его сильной длинной руки, готовой и к работе, и к ночному бою за жизнь:

— Милости Божия! Царства Небесного! и оставления грехов испросивши тому и сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу пре-да-дим!

И — выше солнца, выше неба, прямо к престолу Всевышнего четырнадцать грудей мужских напевом проверенным, голосом слитным, вослали уже не просьбу свою, но жертву, но отречение:

— Те-бе-е, Гос-по-ди-и-и!..

51

Потеряв командование, перепутавшись родами войск и частями, — в глубине леса русские двигались ещё спокойно. Но всякий выход на просвет, на большую поляну, на перелесье, к деревне — был встречаем стрельбой.

На рассвете 17-го августа голова беспорядочной колонны вчерашнего 13-го корпуса была встречена на опушке, за пятьсот шагов до деревни Кальтенборн, орудийным и пулемётным огнём. Утверждённого сводного командования не было, но оказался в авангарде полковник Первушин, и с доброхотными случайными помощниками от разных частей развернул на выходе из лесу — две дотянутых трёхдюймовых пушки. Они открыли огонь — а сам Первушин впечатляюще пошёл со сводною ротой и развёрнутым знаменем Невского полка в атаку на деревню. И немцы бежали, оставив два орудия.

Однако вся завоёванная кальтенборнская поляна была — верста на версту, и снова предстояло углубляться в лес. А через две версты — опять выходить на просвет, к деревне, опять под обстрел. Михаил Григорьевич Первушин, со службой и годами несколько не утративший солдатского естества, стал душой и следующего прорыва. Он так всегда был слитен с солдатами, что не мог вести их на невозможное, а если уж вёл — не могли за ним не идти. В первушинском авангарде была перемесь невцев, нарвцев, копорцев, звенигородцев.

На той следующей поляне вновь расставили свои немногие снаряженные пулемёты и открыли внезапный беглый огонь — и так же бросились в атаку. Опять Первушин бежал впереди и получил штыковую рану. Неожиданный прорыв русских и тут оказался так крепок, что немецкий заслон кинулся в бегство.

В этом ратном труде, как выражались наши предки, у первушинского авангарда прошёл весь день. Дорога на выход ещё была длинна, и длинны лесные вёрсты; немецкие заслоны один за другим, завалы, колючая проволока; пулемёты по просекам и пушки на проходах поджидали свои столпленные нестройные жертвы. Едва высовывались русские на прогляд, на прострел — немцы ока-

тывали их всеми видами огня. С каждой удачей становилось русским всё трудней и трудней: меньше телесных сил, больше голод и жажда (колодцы завалены), меньше снарядов и патронов, больше раненых, сильнее заслоны, а надежда вся — только на штыковую атаку.

Было уже за полдень далеко. Многолюдная с утра, колонна обтаивала. Безумеющие люди теряли разум действий и надежду.

Перед последним рывком полковник Первушин, уже раненый дважды, и всё штыком, — кровь у него на лице, на шее, на кителе, и фуражка пробита — приказал знаменщику снимать с древка полковое георгиевское знамя и закопать его — вот тут. (Указал ещё не повреждённой рукой.)

А сам сидел на пне, склоня голову.

52

Сам генерал Клюев не был ни в голове корпуса, где Первушин, ни в арьергарде, где Софийский полк отбивался в стошаговом лесном бою, — он держался середины колонны, и путал, и метался, мотал её, от каждого заслона отворачивая. Кольцо окружения казалось ему неразрываемым, и некому было собрать полкорпуса на прорыв.

Остатки нашей артиллерии действовали сами собой: меняли позиции, стреляли прямой наводкой, где видели противника, при бегстве оттягивали орудия или покидали их. А тут ещё широкая болотистая речная полоса со многими канавами перегораживала русским путь там, где расступался грюнфлиссский лес, и в этой болотистой низине тонула артиллерия, тонули обозы. И хотя по прямой уже видно было шоссе, и дойти до него было три версты, — уклонялись части опять на восток в сторону недостижимого Вилленберга, искали переход по сухому. Поток отступающих таял, каждый час исчезали куда-то не сотни, но тысячи. Беспорядочная толпа вокруг Клюева выкатилась на поляну близ Саддека, попала под перекрестный шрапнельный огонь, шарахнулась назад в лесок.

И тут — исполнилась чаша терпения единокманующего окружёнными центральными корпусами. *Во избежание напрасного кровопролития* велел генерал Клюев поднять белые флаги — при двадцати батареях, проташенных, прокруженных через всю

Пруссию! — и против восьми батарей противника. С рассыпанными десятками тысяч по лесам — против шести батальонов в этом месте.

Золотые слова: «во избежание кровопролития». Каждый человеческий поступок всегда можно огородить золотым объяснением. «Во избежание кровопролития» — благородно, гуманно, что на это возразишь? Разве то, что надо быть предусмотрительным и во избежание кровопролития не становиться генералом.

Но — не оказалось белых флагов! Ведь их не возят по штату вместе с полковыми знамёнами.

Это было на поляне, близ выхода из лесу.

Э К Р А Н

= Всё, что колёсное есть — обозное, артиллерийское, санитарное, забило поляну без рядов, без направления.

На двуколках, фургонах — раненые, сёстры и врачи.

Что попало на телегах — оружие, амуниция, вещи, может и захваченные у немцев...

Пехота стоит, сидит, переобувается, подправляется...

Верховые казаки стеснёнными группами...

Разрозненная артиллерия...

= Обречённая военная толпа.

= А вот и генеральская группа, верхами.

И казачья конвойная сотня при ней.

= Генерал Клюев. Напряженье держаться с внешней важностью. Смотреть с важностью, бровями двигать (а иначе ведь и слушаться перестанут):

— *Вахмистр! снимите нательную рубаху. Взденьте на пику! Выезжайте медленно к противнику.*

= Вахмистр — как приказано. Пике передал соседу, снимает рубаху верхнюю, снимает рубаху нательную...

= и вот уж одет, а рубаха — белым флагом на пике. Ехать?

Но что-то гул.

= Это — казаки между собой гудят.

= Вахмистр смотрит на них, замер.

И Клюев на них оборачивается.

Тише гул.

Клюев машет,
и вахмистр с белым флагом отъезжает.

Громче гул.

= От другой казачьей группы, подальше:

— *А мы — сдюжаем!*

— *Казакі не сдаются!!! где это видано?*

Да не Артюха ли Серьга, плут забиячный, кругловатый, фуражка кой-как, из-за чужой спины кричит дерзко, разносисто:

— *Вилать — не велят!*

= Клюев — черезсильным окриком (а уверенности — никакой):

— *Кто там командует?*

= И выезжает вперёд с капитанским беззвёздным погоном изгибистый, стройный, вьющийся в седле офицер. Лицо литое, черноглазый, — никакого почтения! — ах, сидит! ах, избочился, пальцы на сабельной рукояти:

— *Сорокового Донского е-са-ул Ведерников!*

Посмотрел на генерала — добавлять ли?

И ничего не добавил.

Новый гул, новые восклицания.

= Клюев оглядывается, оглядывается...

на пехоту, на столпленье людское.

Кто как, кто слаб, кому хоть и сдаться,

а этот солдат кричит, за затылок взявшись, фуражка сбилась, где вся дисциплина? Где форма? —

— *Чего это? в плен? а мы — не изъявляем!*

Поддерживающий гул

соседних с ним солдат.

И их подполковник идёт, прорезая толпу, обходя телеги, к верховому генералу,

оборот:

= сюда, к нему, снизу вверх, как покуситель на царя, вот выхватит пистолет и застрелит. Руку вздёрнул — нет, честь отдаёт:

— *Подполковник Сухачевский, Алексопольского полка! Вы приняли командование и 15-м корпусом тоже! Вы обязаны выводить нас... генерал!*

Снизу вверх — простреливающе, с презрением.

- = Уже и — не превосходительство... И нет твёрдости возражать. Ключева мутит. Глаза закрыл, открыл — стоит Сухачевский, не уходит.

Да разве генерал не понимает! Да разве ему самому легко?

Но — во избежание кровопролития?..

Ну, да он ни на чём не настаивает. Со слабостью:

— *Пожалуйста... кто хочет — пусть спасается.*

Как умеет.

Вынул платок, лоб отереть. А отерши, смотрит:

- = платок! он — белый! он — большой, генеральский платок!

- = И, взяв его за уголок, подальше от неприятностей с этими подчинёнными, перед собой спасительно помахивая, шагом конным поехал к опушке, сдаваться, вослед вахмистру с рубахой.

- = И — весь штаб за ним, кавалькадой.

И — потянулись, кому скорей бы конец...

скорей бы конец...

скорей бы...

- = А близ лазаретного скопления

врач с лошади командует:

— *Внимание! Командир корпуса объявил о сдаче.*

Все, кто рядом с моим лазаретом, — бросай оружие! Бросай!

- = Недоуменный маленький солдатик, винтовку няньча:

— *И куды ж её бросать?*

— *Под деревья кидай, вон туда!*

А из фургона, из-под болока, выбирается в одном белье раненый, перебинтованный:

— *Да ни в жисть! Дай винтовочку, землячок!*

Забирает у недоуменного. И —

зашагал в одном белье, с винтовкой.

- = А другие сносят, бросают...

бросают...

под крайние деревья, наземь.

- = Лица солдатские...

и раненых...

Но — голос боевой, звончатый:

— *Эй, казак!*

- = Это — есаул Ведерников, выворачивая коня к своим:

— *Нам тут не место!*

= Ну, и донцы его стоят! Нет, не сдадутся!

Гул одобрительный, воинственный.

И Артюха Серьга зубы скалит. Что-то в нём симпатичное, когда мы теперь его увидим?

= И командует Ведерников:

— *Все — на коней!.. справа по три... малым намётотом... марш!*

Махнул — и поехал. И за ним

на ходу — по три, по три, по три разбираясь, поехали казаки.

= И подполковник Сухачевский, он низенький, ему через головы не так сподручно:

— *Алексо-опольцы!.. Сдаёмся? Или выходим?*

= Кричат алексопольцы:

— *Выхо-одим! Выхо-одим!*

Может и не все кричат, а сильно отдаёт.

Сухачевский:

— *Никого не неволю. А кто идёт — выставил руку:*

— *...становись по четыре!*

Пробиваются солдаты, разбираются по четыре.

Кто бы и остался, кто на ногах еле —

да ведь со товарищами!

= Ещё к нему валят:

— *А кременчужцам можно, вашескродие?*

Грозно-счастлив Сухачевский:

— *Давай, ребята! Давай, кременчужцы!*

Генерал Ключев сдал в плен до 30 тысяч человек, большинство не раненых, хотя много нестроевых.

Подполковник Сухачевский вывел две с половиной тысячи.

Отряд есаула Ведерникова вышел в конном бою, захватив два немецких орудия.

Генерал Благовещенский читал у Льва Толстого о Кутузове и сам в 60 лет при седине, полноте, малоподвижности чувствовал себя именно Кутузовым, только с обоими зрячими глазами. Как Кутузов, он был и осмотрителен, и осторожен, и хитёр. И, как толстовский Кутузов, он понимал, что никогда не надо производить никаких собственных решительных, резких распоряжений; что *из сражения, начатого против его воли, ничего не выйдет, кроме путаницы; что военное дело всё равно идёт независимо, так, как должно идти, не совпадая с тем, что придумывают люди; что есть неизбежный ход событий и лучший полководец тот, кто отрывается от участия в этих событиях.* И вся долгая военная служба убедила генерала в правильности этих толстовских воззрений, хуже нет высказывать с собственными решениями, такие люди всегда ж и страдают.

Третьи сутки корпус благополучно отстаивался в тихом пустом углу у самой русской границы. У командира корпуса, отделясь от штаба, был маленький деревенский домик, успокаивающий своей теснотой. Лишь иногда смутно слышался дальний слитный артиллерийский гулок, и можно было надеяться, что все важные события в Пруссии пройдут без корпуса Благовещенского.

А отдыхающий корпус не знал, что всё его благоденствие создаётся умелыми, ловкими донесениями корпусного командира. Упустил и Лев Толстой, что при отказе от распоряжений тем пуще должен уметь военачальник писать правильные *донесения*; что без таких продуманных решительных донесений, умеющих показать тихое стоянье как напряжённый бой, нельзя спасти потрёпанные войска; что без таких донесений полководцу нельзя, как толстовскому же Кутузову, *направлять свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасти и жалеть их.*

Так и в донесении за 16 августа благообразно представил Благовещенский, как дивизия Рихтера, наконец пополненная своим задержанным полком, выдвигается назавтра для овладения городом Ортельсбургом (за два дня до того покинутым в панике и ни-

кому), где находятся крупные силы противника не меньше дивизии (две роты и два эскадрона), а дивизия Комарова держится слева *на уступе* (важное, модное выражение русской стратегии, без которого несолидно выглядит военный документ). Также и все передвижения кавалерийской дивизии Толпыги очень украсили это донесение, и вполне мог рассчитывать Благовещенский без волнений пережить ещё и 17 августа.

Утром 17-го по всем правилам оперативного искусства разворачивалась против полупустого Ортельсбурга ни одного боя ещё не перенесшая дивизия Рихтера и уже подступалась для атаки, открыла артподготовку и обязательно город бы этот взяла, — как вдруг в 11 часов грянуло с пятичасовым опозданием утреннее распоряжение штаба фронта: корпусу Благовещенского идти выручать погибающие корпуса, для чего не к Ортельсбургу двигаться, почти на север, а к Вилленбергу, почти на запад. «Главкомандующий требует энергичного выполнения поставленной задачи и скорейшего открытия связи с генералом Самсоновым».

Вот этого Благовещенский и опасался! Край смерча прихватывал их при конце — но и при конце не поздно погибнуть.

Однако сама оперативная задача допускала свободу истолкования. По расположению сходно было, как если бы войска подходили к Москве от Рязани, а им велено идти на Калугу. И ничего не придумать стройней и удобней, как снова отойти к Рязани, а потом идти на Калугу. И победоносной рихтеровской дивизии, уже входившей в Ортельсбург, дал Благовещенский распоряжение покинуть взятый город и не идти налево на Вилленберг, но отступить направо назад 15 вёрст, а затем уже, с разгону, идти на Вилленберг.

Но ещё прежде этих манёвров Благовещенский послал энергичное донесение в штаб фронта:

«Для отыскания генерала Самсонова послан *разъезд* в Найденбург, для связи с 23-м корпусом послан *разъезд* в Хоржеле. Сведений пока нет. Веду бой у Ортельсбурга, рассчитываю отойти на линию... со штабом в... — (тут и штабу ведь придётся отойти), — чтобы действовать в направлении на Вилленберг».

Естественно было использовать для наступления и конную дивизию Толпыги — хотя бы двинуть её туда, откуда она поутру самовольно вернулась. Но генерал Толпыго в таком же умелом пространном рапорте обстоятельно объяснил, что его уставшая дивизия только что расседлала коней и не может двигаться на

повторение трудной задачи. Благовещенский отдал вторичный письменный приказ, Толпыго вторично письменно отказался. Только на третий раз и уже с угрозами приказ был принят, и стали седлать.

Теперь, когда вся сложная часть манёвра была обеспечена, пристойно было кого-нибудь послать и прямо на Вилленберг. Для этого хорошо подходил сводный отряд под командованием Нечволодова. С той самой порочной манерой вылезать, которую осуждал Благовещенский, Нечволодов вчера, во время мирной днёвки, уже добивался такого рейда, но указано было ему ждать распоряжений. Таких-то людей в своём подчинении Благовещенский больше всего не терпел, старался наказывать их, утяжелять им службу. А Нечволодов был сверх того ещё и *писатель*, уж вовсе лез не в своё дело судить за пределами службы. Так наилучше подходил он для опасного авангарда.

После полудня 17 августа он был отпущен с Ладожским полком и двумя батареями. Приказано было ему поспешить, а главные силы дивизии тронутся позже.

54

Не быстрота была первым свойством генерала Нечволодова, но твёрдость. А замечал он в жизни не раз, что с твёрдостью бываем мы у цели не позже, чем при быстроте да шаткой, переклончивой на несколько дорог.

Цель же его была — не отдельная, не своя собственная. К пятидесяти годам холост, одного усыновлённого сына без натуги выводя в жизнь, он имел и досуг, и личную свободу служить цели внешней, надличной, — и никакая собственность, недвижимость не мешала ему. Такая цель у него была, от детского порыва в военную гимназию, от первой юнкерской присяги в год низкого убийства царя-освободителя, — служить русскому трону и России. И за сорок лет эта цель в его глазах не ослабла, не раздвоилась, не пошатнулась, только изменился ритм, в котором он ей служил. По молодости он спешил двумя руками сворачивать горы в одиночку, обгонял проторенный общий порядок офицерского учения, а едва кончив академию, предлагал реформу генерального штаба и военного министерства. Но тогда ж и на том его необыкновенные слу-

жебные успехи были пресечены. Впервые тогда он столкнулся с единым к себе недоброжелательством старших офицеров, генералов и гвардии. Ото всех от них Нечволодов ожидал естественных жертв для укрепления русской армии и, стало быть, — русской монархии. Но оказалось, что даже среди них слова о монархии принято звучно произносить, а быть ей истинно преданным — неприлично. Чем выше, тем сплошней они оказались не патриотическим пламенем охвачены, а жаром корысти, и служили царю не как Помазаннику, а потому, что он *раздавал*. И прежде чем Нечволодов это понял, уже поняли его: как человека, чуждого их среде, опасного тем именно, что не ищет себе пользы, и потому его действия могут быть разрушительны для сослуживцев. С тех пор включён был Нечволодов в проползание старшинств, замедленное неблагоприятными аттестациями, и в исполнение приказов без своевольных поправок. И не мог он служить трону быстротою, а только твёрдостью и при случае храбростью.

В поиске, куда же приложить избывающий внутренний напор, Нечволодов и занялся своим безудачным курсом русской истории для простого народа. Русскую историю он ощущал не иным от службы чем-то, но — общей традицией, в которой только и могла иметь смысл его сегодняшняя офицерская служба. Для себя искал он — оживить и освежиться в других временах, когда иначе относились русские к своим монархам, для читателей — обратить их в то прежнее состояние и так ещё охватней и прочней добиться своей неизменной цели. Но хотя история сия была высочайше замечена и рекомендована для военных и народных библиотек — повсеместного заглотного чтения своей книги и перемены в умах автор не замечал. Монархическая преданность Нечволодова, своей чрезвычайностью напугавшая генералов, теперь попала под издёвки людей образованного круга, принявших, что русская история может вызывать только смех и отвращение, да и есть ли она вообще, б ы л а л и ? И уж как вовсе дикое встретили убеждение Нечволодова, что монархия есть не путы, а скрепа России, что она не сковывает Россию, а удерживает её от бездны. Из-за преданности династии он и безсилен был спорить со своими критиками: что бы в стране ни делалось, он, никогда не смея осудить ни Государя, ни его близких, только смел защищать их и объяснять, почему хорошо то, что общество находило дурным.

И через молчанье и через терпенье он снова мог остаться лишь на твёрдости. Да вот иметь пристрастие к своему Ладожскому пол-

ку за то, что тот был опорой трона при московском бунте 1905 года. Хотя сам Нечволодов никогда в Ладожском не служил и весь состав полка с тех пор переменялся, но нескольких старослужащих он знал и отличал.

Молчать и терпеть оставалось Нечволодову и последние два тихих дня 6-го корпуса. Стойкостью своих арьергардных боёв он никого не заразил, и сейчас оставалось страдать от бездействия, когда в 25 верстах тёк главнейший бой и, по всему, тёк нехорошо. Генерал-майор выезжал на коне версты за две-три на холм, слушал гул и безцельно смотрел в бинокль.

А после потери двух суток велели Нечволодову поспешить. Но уж тут как раз он не спешил, а просто тронулись, все распоряжения были вторые сутки готовы. Упущенное в штабах не нагонять теперь было солдатским шагом, да сколько ещё главные силы протасщатся! Только всю свою конницу — корнета Жуковского с полувзводом, он отправил вперёд.

Два дня, пока его не пускали, Нечволодов был болен, вял, тускл. Но едва получив приказ выступать — выздоравливал по минутам. Он улыбнулся своим ладожцам — во всём корпусе одним, кто допущен воевать, ободрительное крикнул батареям, что идём своих выручать.

От сознания «идём своих выручать» один полк обратился в два, а две батареи — в четыре. Только снарядов не прибавилось. Зато сбавились все раскисля сверху, освободились руки, чистела голова.

Опять на своём рослом жеребце со спущенными стременами долгоязыый молчаливый Нечволодов ехал впереди сборного отряда, теперь авангарда, — и на конский корпус позади него и сбоку ехал круглолицый, на галушках выращенный и как медный чайник наблещенный, радостный адъютант Рошко.

Ближе к Вилленбергу вступила их дорога в кондовый сосновый бор. Прочищенные восьмисаженные сосны с лоснёными медными стволами чуть веяли вершинами по небу погожему, ещё летнему. В лесу вечерело прежде времени.

На втором десятке вёрст всё слышней становилась ружейная и пулемётная стрельба, орудийная редко. Что могло это быть? Это прорывались наши и били по ним. Вилленберг был очевидной крайней, угловой, точкой окружения — и сразу же за ним могли быть, должны быть наши. Жеребец под Нечволодовым давал ходу, слишком быстро для пехоты.

Лес укрывал движение нечволодовского отряда почти до самого Вилленберга. Да немцев и не было, они так уверены были, так распустились, что не выставили никого навстречу. При конце леса Нечволодов распорядился отряду свернуть и садиться, а сам выехал между последними деревьями. Тут стояли коноводы разведки, корнет с разведчиками ушли за реку. От Вилленберга сюда, ослепляя, жёлто затопляя, светило закатное солнце. Всё же можно было развидеть перед собой луговую низинку к небольшой реке и по ней одну только возвышенную дорогу — прямо, открыто на мост! — целый мост! — своё-то, немецкое, добро жалко взрывать. И — никакой заставы по эту сторону моста! — или уж совсем нас за дураков почитают? Напротив, по ту сторону моста, в первых редких домах города уже засели и стреляли корнет с разведчиками. Скорей послал к ним туда Нечволодов через мост команду с двумя пулемётами.

Дальше там — дома гуще, железнодорожная станция и сразу город. Обходить город справа нельзя: болотистый луг. Обходить город слева нельзя: обрезают другая речка, впадающая. Но через час весь полк, не опасаясь обстрела, может открыто, в походной колонне, переходить мост, а там разворачиваться для атаки города.

Обеим батареям велел Нечволодов занять позиции на лесном краю, справа и слева от дороги.

На ближней окраине Вилленберга стреляли. По ту сторону города тоже стреляли. Нет, шатко немцам в этом городке. И они хуже, чем в клещах: вот рассыпали свою облаву лицом на запад, не подозревая, что загонщики идут с востока.

От радости ожидаемой, ухватываемой, короткой, простой победы заколотилось сердце в груди генерала и зажёгся его тёмный спокойный лик. Он вызвал командиров батальонов и батарей, рассудили, как пройдут мост и кто что делает после прохода.

А тут с донесением от корнета Жуковского — пеший драгун, бегом. Сообщал корнет, что сюда, на эту окраину города к нему прорвались: двое своих отбившихся из 6-го драгунского, четверо солдат из Полтавского пехотного да один казак из конвоя Командующего армией. Уверяет конвоец, что генерал Самсонов убит в перестрелке.

О Самсонове не домысливая до конца, это могло быть и слухом, выхватил Нечволодов главное: уже идут одиночные солдаты сквозь Вилленберг, как через решето! Руку протянуть — только

и осталось! Тот самый миг пришёл — ударить тараном в дырявую бочку! И — скорей, ибо всё там перемешалось и гибнет, если с дальнего фланга армии был Полтавский полк — и с ю д а выбились его солдаты.

Послал по ротам объявить, что наши — уже пробиваются, уже здесь, вот они! Сел писать донесенье в штаб дивизии, что начинается бой за город, требует помощи от начальника главной колонны, ещё снарядов скорей и хотя бы батарею.

Солнце зашло — а темноты дожидаться долго. Видно было, как два дома горят, где бьётся корнет. Первому батальону — за мной, на мост! Второму батальону — через интервал.

Первый дружно прошёл, не обстрелянный, но Фбыл замечен, и по второму стала бить батарея из рожицы за левой рекой. Наша ответила туда. Ввязалась немецкая другая. Тем временем порётно пробежал второй батальон.

Серело. Ярче виделись пожары в городе.

Нечволодов достиг корнета Жуковского, сам видел и полтавцев и конвойного казака брехливо-нечистого вида. Разворачивал первый батальон против станции, откуда немцы стреляли упорней, и ждал остальных ладожцев. Третий и четвёртый батальоны дожны были в темноте пройти легче.

Сгущалось в ночь. Артиллерия приумолкала. Багровато освещивали пожары. Другого освещения в городе не было, редкие слабые огоньки, электричество нарушено. Слева ещё держался серпик луны, с ним и с пожарами лишь столько света было как раз, чтоб не заплутаться при атаке, видеть соседей. Но не столько, чтоб издали хорошо видели их. Всё складывалось счастливо. Через час батальоны займут позиции, изготовятся — и, в пояс пригнувшись, первые два без выстрела пойдут на город, третий в обход на лесопилку, четвёртый в резерве. Пока же, сам пригибаясь на ходу до волка, Нечволодов с Рошко и ещё несколькими офицерами искаживал налево до реки и направо отлого приподнятый сухой, твёрдый выпас. Показывал, где вести батальоны.

По ту сторону города не переставали стрелять, хоть и реже. Три-четыре версты отделяло наших от своих, но тут ощущение — м ы , в м е с т е , там — порознь, закружены, погибли, и наших в мире нет.

Вот уже и свободно, в свой превосходный рост, расхаживал Нечволодов в багровой ночи и распоряжался длинными руками.

Он был уверен в успехе. Для ночного нападения на город у него хватало сил, а там подойдёт главная колонна, и утром кольцо будет разорвано. Этот разрыв поддержать день — в окружении разнесётся, и все навалят сюда.

Тревожная радость предчувственно распирала Нечволодова, он не помнил в себе такой радости за недели этой войны, за годы мира.

Оставалось пятнадцать минут до назначенной атаки.

Он вернулся к дороге.

Его как раз искали — ординарец из штаба дивизии. Всё тот же продолговатый безотказный фонарик достав из кармана шинели, Нечволодов осветил бумагу, прикрываясь от города телеграфным столбом.

«Начальнику авангарда генерал-майору Нечволодову.

Ввиду отсутствия значительных сил противника главная колонна отозвана. Боя под Вилленбергом не начинайте, поддержки не дадим, тем более, что ожидается отход всего корпуса на русскую территорию. Ждите следующего распоряжения.

Полковник Сербинович».

Рошко вскрикнул: его генерал замычал, как между рёбер проколотый, шатнулся к столбу и перебирал зубами по отсушенному телеграфному занозистому дереву.

55

На гряде, где хоронили полковника Кабанова, едва не изменились планы: со стороны замирённого Найденбурга слышалась стрельба, и ясно можно было понять, что это бьют *извне*, что это русская артиллерия бьёт по Найденбургу, а немцам отвечать нечем. И уже готов был Воротынцев поворачивать туда — однако стихла стрельба, осталась вялая ружейная.

Но и при готовом плане весь день потом всякие четверть часа требовали и требовали от Воротынцева и слуха, и глаза, взгляда на карту, на местность, на своих солдат, на ноги их, требовали решений и команд. В этой череде военных мыслей не могло, кажется, остаться промежутка никаким другим.

А — было в голове как бы два коридора рядом, через стекло: друг друга видели, звуками не мешали. По одному коридору без задержки проскакивали деловые мысли, как выбиться им, четырнадцати и раненому одному; по другому проплывали сами собой, без подгона, ничем не торопимые, независимые, и даже друг с другом не связанные: вообще о прошлом; о недожитом; о прожитом не так. Первые торопились вырвать к жизни. Вторые озирались на случай умереть.

Опять об эстляндцах. Они не покидали, требовали своего. (Это — первые сутки, а потом не острее ли ещё потянет?..) Такое недавнее, а такое уже неисправимое: кто в плену — так те уж в плену, кто выберется — те сами по себе выберутся, а кто лёг — тот уже лёг. Вспоминать — не помочь. Да ни в чём не обманул их Воротынцев. А именно с этим упрёком они тянулись по второму немому коридору — от правофлангового чёрного дядьки с перекосенной щекой. Ни в чём не обманул! — но отступят ли когда упрёки? Ни в чём он их не обманул — он всё открыл им честно, и двадцать часов они держали нужный, важный участок, и это бы всей армии могло помочь, если бы правильно делали другие. Но другие — порушили.

И значит, он — обманул.

Как же верно быть? Не тянуться, не изощряться, не выбиваться из сил? — тогда вообще не служить. Не жить. А что найдёшь и состроишь — обязательно тебе развалят, раздавят каким-то верховым незрячим преступом.

Когда всё разрушается — как же верно: действовать? не действовать?

Второй коридор нисколько первому не мешал, ничего не отнимал, там был свой простор. И для воспоминаний. И для жалости.

Щемливо жалко было Алину, представить её вдовой, — как будет она убиваться, метаться, места не находить, горлышком тонким надрывать от слёз. Ещё сколько ей, может быть, лет понадобится, чтоб очнуться к жизни!

Вспоминал, как в Петербурге умела на его заваленном столе вытереть каждую пылинку, не сдвинув ни одного карандаша. Как, любя в гости и на люди ходить, могла отказаться, никуда не проситься — чтоб ему этих тягот с ней не делить. А — что она видела в жизни с ним?

Впрочем, всё и проплывало и было действительно лишь на случай, если умрёшь. А я...

— ...Я-то ничем не рискую, мне обезпечено остаться в живых, — усмехнулся Воротынцев Харитонову, лёжа с ним рядом на животах, на одной шинели.

— Да? Почему? — серьёзно верил и радовался веснушчатый мальчик.

— А мне в Маньчжурии старый китаец гадал.

— И что же? — впитывал Ярослав, влюблённо глядя на полковника.

— Нагадал, что на той войне меня не убьют, и на сколько бойцов ни пошёл — не убьют. А умру всё равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного — разве не счастливое предсказание?

— Великолепное! И, подождите, в каком же это будет году?

— Да даже не выговоришь: в тысяча-девятьсот-сорок-пять.

Они лежали в частом молодом зеленохохлом соснячке, в каком зайцы любят зимой играть на солнце, — Воротынцев выбрал его за то, что здесь в пяти шагах можно пройти и не заметить лежачих. Всего полтора километра оставалось до шоссе, уже доносился характерный шум автомобилей и мотоциклетов, то справа налево, то слева направо. Будь у немцев силы, они выслали бы сюда патрули для прочёса. Таких сил, очевидно, не было, до темноты можно было лежать спокойно, но и вперёд прежде времени двигаться нельзя: лесной мысок неширокий только и был перед ними, в этом мыске могли накапливаться и другие русские группы, да и немцы могли прийти туда раньше из соседней деревни Модлькен. С трёх сторон Воротынцев выдвинул лежать по два солдата, остальные были в середине. Они пришли сюда в жаркий послеполуденный час, здесь застоялся накалённый воздух, палило, отнимало силы, высушивало до жажды, а фляжки не у всех.

— Ничего, — утешал Воротынцев своих, — жара да при свете — не самое плохое. Вот под Ляо-яном, например, — да когда же? завтра, 18 августа, — вот такой же жаркий день, а к вечеру, нам отступать, — ко всей канонаде японской и нашей ещё добавился такой ветер с пылью, такое чёрное небо, такая гроза, небо в тысячу осколков, тропический дождь, а японцы всё бьют; где гром, где пушки, не различишь.

Душно было тут лежать, но и отбиться назад никак уже не хотелось, нелегко было дойти сюда, переходили и открытую полосу железной дороги, которую немцы вполне могли простреливать с дрезин, — да не хватало их сил, что-то творилось весь день под

Найденбургом, вспыхивала и вспыхивала стрельба, хотя и не приближаясь. Верный день был вырваться сегодня, завтра будет поздно.

Прожигала Воротынцева катастрофа армии. О судьбе боя под Найденбургом, о 1-м корпусе, кто там идёт, где там Крымов, волновался он больше, чем о выходе своего отряда. Но, все часы перед собой раскрытую карту держа, заставлял себя смотреть не на весь простор, а запоминать засветло каждую извилину ближнего лесного окрайка: где бы в темноте ни оказаться — представлять себе все расстояния, а обязательно что-нибудь упустишь или уверенности не хватит, и тогда рассматривай под шинелью со спичками.

Свой несомненный план Воротынцев изложил не на совещании господ офицеров, как полагается, но, при полупартизанском их положении, тем изложил, кому предстояло его выполнять: Благодарёву и Качкину; двум лучшим стрелкам из дорогобужцев, как сами называли они — здоровому медлительному вятскому охотнику и молодому рязанцу Евграфову, приказчику суконной лавки; и подпоручику Харитонову — оказался он из первых стрелков в училище, просил дать ему самую дальнюю цель. Этих пятерых Воротынцев и стянул к себе по песку под нижними ветвями сосенок, шестью головами вместе, шестью парами ног вразброс. А ещё так, чтобы в пределах слуха был и поручик Офросимов, на носилках. У него жар был, разбалчивалась рана, помочь он не мог, но один мог сказать нечто облегчающее — и эту возможность Воротынцев ему давал.

Должны были начать движение с темнотой, ещё при луне. Сперва — согнувшись, от начала опасности — только ползти. Передняя группа — Благодарёв и Качкин, с ножами. Им — красться не торопясь, не треснув веткой: полночи им времени, переходить будем ближе к рассвету, с вечера немцы и настороженной. Сто саженьей пройдя благополучно — возвращаться по очереди и звать вторую группу, стрелков. Стрелки, пройдя сто саженьей, связным вызывают третью группу — всех остальных с носилками. Если же передним встретится немецкий пост, засада, — беззвучно убирать ножами.

— Так? — проверил, близко смотря на губошлёпистого Благодарёва и бочкогрудого Качкина.

— Да Господи, — выдохнул Арсений кузнечным мехом. — Они ж нас домой не пускают!

Качкин дёрнул щетинистой чёрной щекой:

— Я — на полсела скот забиваю.

Стрелков будет четверо, с Воротынцевым. Подпоручику взять винтовку у Благодарёва, проверенная. Патронов — по три подсумка. В лесу вряд ли придётся огонь открывать, а вот — с края леса и по шоссе. И потом уже — с того боку шоссе, прикрывая отбег наших.

Объяснял, как бить по разным целям, где залпами, где разделясь. И тут от поручика Офросимова услышал, что он свой долг понимает. Тоже небритый, чёрный, перекошенный, со взглядом блуждающим, на локте поднявшись с обрыднувших носилок:

— Господин полковник, разрешите сказать? Я прошу... чтоб меня не обязательно выносить... а если... по обстоятельствам. Знамя отматаем сейчас, я передам. А положите меня только удобно и патронов больше.

— Принято, — сразу отозвался Воротынцев. — Благодарю, поручик. Евграфов, возьми знамя.

Шустрый Евграфов, как и Качкин, раньше всех дорогобуждцев очнулся от пришибленности, рвался в действие:

— Есть, ваш-соко-роди! Разрешите мотать? — и уже вскакивал.

— Ле-жи.

Получилось так, что из офицеров один Ленартович не был позван на совет. Обиделся не обиделся, но сел ближе, около Офросимова, прислушивался, а теперь спросил:

— Господин полковник, всё-таки объясните: ну, а если шоссе никак нельзя будет перейти?

— Что значит — «нельзя»? — посмотрел на него Воротынцев строго и с сожалением: ведь можно, всё из него ещё можно сделать, да некогда. — Не локоть же к локтю они стоят. Лисица — проскочит? так и мы пробежим. А вы подумали — как им на шоссе? Они полоской протянуты, им страшней: откуда из лесу повалят?

— В армии не бывает н е л ь з я ! — поучал его и Офросимов. — В армии — всё можно.

Не ответил Ленартович, а подумал: вот это и плохо, вот вы и привыкли, что всё вам можно. Вот потому и надо все армии в мире распускать.

Совет был кончен, передавали знамя, патроны. Воротынцев навязал Ленартовичу свой топорик:

— У вас ведь руки голые, с чем пойдёте? — И видя колебание, не смеются ли: — Берите, берите! Первое оружие — топор!

Ещё долго досказывал полковник ножевикам и стрелкам, какая ждёт их дорога, через сколько шагов что будет. Требовал повторять, на песке чертить, как поняли.

А потом оставалось только лежать, голову на руки, лицом в песок, ожидать тревожно. Уж всем хотелось, чтоб ночь скорей: эти последние свои часы были всё равно не свои. О войне, о бое — никто не говорил. Пожилые дорогобужцы — о кормах, о коровах здешних чернопёстрых и о своих. Потом — и никто ни о чём, замолчали.

Солнце скатывалось, смягчалось, но в их мелколесье ещё достигало, и багровый-багровый закат, западая за главный лес, сюда досвечивал. От заката потянулись тучки, сперва розовые, потом темнея в сизо-лиловые, — не к перемене ли двухнедельного зоркого ведра, повидавшего и приход и гибель русской армии?

Кажется, никогда ещё так Саше не сходило: доживёшь ли до утра? не последний ли твой закат? В каком мире окажешься завтра? Валяться ли на песке, раскинув руки? Идти ли под конвоем? Или жадно писать на кусочке бумаги: «Родные мои! Я вышел! Я уцелел!» И: «Вероня, поцелуй за меня Ёлочку!» Отсюда — это не развязно, не оскорбит вкуса. А — горячо.

Он вертел навязанный ему топорик. Маленький, лёгкий, а так остро наточен — можно представить, как мягко входит в череп. Но — как им ударить человека? Такой решимости Саша в себе не находил. Нет, это мерзко: это — убийство. Хотя принципиально рассуждая: а чем лучше пуля? Вчера уже убивали Сашу, чуть не убили. И если выхода нет, если нескольких немцев сегодня ночью беззвучно заколют ножами Качкин и Благодарёв или подстрелит телёнок-подпоручик — пожалеть не придётся. Но самому, топором, видя живое лицо — нет, не хотелось бы.

Неумолимо всё повернулось. На шоссе гудели и сновали немцы. Были ведь и среди них социал-демократы, насильно погнанные на эту бойню. И в другой обстановке Саша был бы рад жать им руки, приветствовать на митинге. А сегодня вся надежда жизни, как на отца, — на этого полковника, слугу престола.

Тянулись сумерки. Весь лес был тёмный, а на их молодую посадку чуть посвечивал серпик молодой луны. От запада к ней

подбирались тёмными рукавами вытянутые тучки, угрожая закрыть.

Скомандовал Воротынцев: двигаться, не качая вершинками.

Передвинулись в лес. Здесь темней было гораздо, но подсвечивал месяц и сюда. Ушли ножевики. Собирались стрелки. И тут внезапно страшно осветилось: ярко, фосфорически! Переполошились, выглянули опять к мелкой посадке — это прожектор был! Где-то очень близко, тут, у шоссе и деревни, он стоял! Светил не сюда, светил справа налево вдоль шоссе. Не сюда светил, и от узкого истока луча сюда отдавалось лишь рассеянное.

Вот тебе и перешли!.. Вот так на войне и рассчитывай!

— Всё... — вырвалось у Саши. — И что бы не в нашем месте, подалее!

— Это и хорошо, что близко, — соображал Воротынцев. — Скажите: лишь бы не второй. Близко — мы его и подстрелим, доступная цель.

И стрелки ушли.

Луну закрыло. Сноп прожектора не двигался, его боковое мерцанье лишь выявляло чёрные контуры. Теперь все события перешли в звуки. У шоссе стреляли редкими пулемётными очередями — то ли для острстки, то ли русские уже высывались где-то. Потом приближался шорох. Каждый раз это мог быть чужой, но приходил от стрелков свой: можно дальше перейти. Не-сли Офросимова на опущенных руках, ступая мягко, как при спящем; оттого что долго держали, оттягивало руки. Казалось бы — ровный лес, но попадались то кучи шишек (немцы приби-рали, как в доме), то канава, то ямка. Раза два передвинулись, потом долго-долго ждали вызова, уж думали всё пропало. Ока-залось: наши теряли компас, искали в темноте. Офросимов, за-меняя стоны, матюгался в темноту шёпотом, Саша просил его прекратить, это было очень неосторожно: вот услышали близко сбоку голоса, наверняка не из нашей группы, а кто? — языка не разобрать. Затаились, штыки приготовили. Миновало. Зачуя-лось, будто собака рычит неподалеку, — нет, и не собака, мино-вало. Пожалуй, с версту они протащились так, да больше: те-перь, когда на шоссе гудело или очередь давали — совсем было рядом. И светлей стало — оттого что больше захватывал их по-бочный косой сектор прожектора, к счастью всё неподвижного. Так — часа три, наверно, ушло. Ничто не изменилось в их поль-

зу, а могло быть, что лезли они в ловушку, откуда уже ни вперёд, ни назад не уйдут, стоило лишь прожектор повернуть и идти на них цепью. Нельзя сказать, чтоб страшно было Саше, а — тоска какая-то, отчаяние. Ручку топорика он сжимал, если что — так и хрястнуть по черепу.

Вдруг близко справа — ударили наши! В четыре винтовки — не залпами, но вперехлёт, как бы состязаясь в быстроте! И на десятке выстрелов — погас прожектор!! Погас! И весь мир сразу погас! полная темнота! И наши — тоже замолчали!

И что ж — нам?! И куда же — нам?..

А тут ударил пулемёт, два пулемёта — с шоссес! Но — наудачу, напропалую, неизвестно куда.

И — кабаном треща и ломаясь, подкатило спереди — что? кто? — Качкин:

— Где тут поручик? Бросайте носилки! Я его — на плече! Айда за мной, плошаки!

56

17-го утром открылась по Найденбургу внезапная с юга стрельба — и русские раненые оживились, избочась выглядывая с кроватей в окна, а сестры выбегали наружу радоваться облачкам русских шрапнелей и фонтанам русских фугасов, будто от них своим не могла достаться смерть. Немецкий врач и фельдшеры посмеивались, не веря отходу своих. Целый день вокруг стреляли, но боя не было, и немецких войск почти не было, и русские не входили. Только вечером ушли от госпиталя немецкие часовые, оставив палаты своих раненых. Новая же власть не спешила объявляться, узнать о госпитале и вывозить своих раненых в тыл.

Уже в темноте прокатывали по городу русские запряжки, проходили конные и пешие. Несколько зданий в городе, загоревшиеся ещё засветло, с темнотою стали единственным грозным освещением ночи. В таниной палате одно окно открывало вид на пожары, на весь город, — и она стояла, распахнувши створки, смотрела, смотрела, иногда отвечая раненым. На багровом пожарном под свете чётко выступали особенности чужеземных зданий — фигурные надстройки над фасадами, кружевные и зубчатые кирпичные выкладки, узорчатые балконы.

В том состоянии была Таня, что вся эта стрельба, пожары, уходы, приходы войск не пугали её, а облегчали. В духоте палат, в гари разрывов и пожаров ей становилось свежо, нисколько она не боялась простой человеческой боязнью. Наоборот, от этого всего сердце её облегчалось, и боль снималась. Она понимала, что происходит ужасное что-то, но через поволоку, — а сердце облегчалось, и от этого сил было много, и, почти не нуждаясь ни спать, ни есть, она только делала, что велят.

Верных сведений не было у госпиталя, слухов — избывало. Даже и при немцах то и дело к ним подбавлялись свои раненные из разных частей, и нанесли, что убиты все старшие командиры, и перепутались все русские части, а немцы со всех сторон стреляют, разрезают и в плен берут. В танину палату попал чубатый сотник из казачьего конвоя генерала Мартоса (занял угловую койку ростовского подпоручика, ушедшего пешком в последний час). Не тяжело и раненный, он был сильно возбуждён и беспокоил всех смутными громкими рассказами о гибели их корпуса и их генерала. С таким жаром он рассказывал, не давая себя удерживать, как будто в том удовольствии находил, что всё очень плохо и все погибли. Слух об этом сотнике разошёлся по госпиталю, приходили его слушать и врачи.

Наступившей ночью ждали подвод для эвакуации, ждали начальства — и действительно, в полночь, при тускло-красном свете неблизкого пожара на площадь перед госпиталем въехал автомобиль, из него вышел главный врач и русский генерал с адъютантом. Через две минуты они были уже в таниной палате. И шли к сотнику. И к ним сюда, в угол, Таня поднесла керосиновую лампу со стола.

Чубатый, лохматый, угольный сотник так и взыграл в кровати навстречу генералу, как если б и ждал только его, для этого генерала и был его весь рассказ. А генерал — с белой-пребелой холёной кожей лица, холёными усами, столичный и вообще неснисходительный, — тоже как будто этого сотника искал: он не второпях, не мимоходом его расспрашивал, а сел к нему на нечистую кровать, выставил к нему представительные глаза, адъютанту же велел всё записывать, начиная с фамилии, чина и части.

Таня недрожащей рукой держала жёлто-зелёную высокую стеклянную лампу над записями адъютанта, между головами сотника и генерала — и пыливо, и вот уже с прояснением всматривалась в них.

Двухдюжинный раз повторил сотник весь рассказ, уже всем известный, украшая его новыми подробностями, пожалуй и не в противоречие с прежними. Как весь корпус остался на позициях, а генерала Мартоса послал Командующий Самсонов занимать Найденбург. Как они ехали к Найденбургу ранком вчѐра, но от драгунов разведали, что он уже у немца. Как поехали выбирать позиции и попали под картечь в трёхстах саженьях — и убит был начальник штаба корпуса, и убит начальник дивизии генерал Торклус и многие казаки, а они, оставшиеся верными, отступили с Мартосом в лес. Как у Мартоса адъютант пропал — с сумкой, а в ней и еда, и курево, и компас, и карты, и генерал был голодный и не знал куда. Лошадей под ними подбили, они пешком по лесу блукали, но куда ни совались — со всех сторон уже стояли немцы. И самого этого сотника послал Мартос пробиться в город и рассказать об общей гибели; обнял его на прощание, и тут же, на его глазах, застрелился, не вынеся такого позора.

Головой белокожей, кругло-оттянутой как огромное куриное яйцо, генерал кивал и переспрашивал:

— Значит, вы подтверждаете, что генерал Мартос в вашем присутствии застрелился?

— Как Бог свят, ваше превосходительство!

Адъютант записывал.

Со строгостью, с огорчением, но даже без удивления кивал гвардейский генерал: только этого он и ожидал, именно это предвидел. И мешало, и неожиданно было ему лишь лицо сестры милосердия, неприятное своим тѐмным, жгучим, добывающим взглядом — мимо лампы и на генерала, от неё глазами блестя — на него. Из-за этого он шеей дѐрнул несколько раз и старался больше не смотреть на сестру.

А Таня — словно пробудилась. За все недели, прошедшие от измены жениха, первый раз с таким полным вниманием, совсем забыв о себе, она вбирала событие внешнего мира, происходящее в одном аршине от её выставленной некопящей, светлой лампы с чистейшим стеклом. Таня не могла уличить, не могла доказать, но неприкровенным взглядом она втянула: оттого так многословен, возбуждѐн, с такой страстью всех уверяет сотник, что ему надо скрыть грех, а не тот ли, что бросил он генерала Мартоса в опасности и бежал; и оттого так верит охотно, не ловит, не сбивает сотника этот важный лощѐный генерал, что ему зачем-то н а д о, удобно.

Как Дева Света, она внесла светильник в трёхголовый тёмный треугольник и безстрашно высвечивала его.

До сих пор понимала она войну как неизбежную неуправимую стихию, в которой воинам суждено получать раны и погибать, и нет у человека над этой стихией власти. И даже видя и облегчая страдания раненых вокруг, она собственную душевную боль ни разу не поставила меньше их ран: их всех страдания были от стихии, на которую нельзя обижаться, её — от несправедливости, от подлости, от измены.

Но сейчас из этого тёмного треугольника, составлявшего протокол, проступила Тане явная злая воля — и проступило, что от этой воли зависит судьба их госпиталя, всех уже раненных, и ещё тех, что могут быть ранены завтра, — и первый раз чужая общая боль потеснила, потолкала и принизила её собственное унижение, обманное состояние, оказавшееся вдруг не высшим страданием в мире, а даже совсем маленьким.

И она с вызовом и упорством держала свет правды, видя, как режет он генеральские глаза, как неприятен ему.

Осмелев уже до крайности, говорливый сотник убеждал генерала:

— Ваше превосходительство! Они вас в этот город не зря пустили. То — капкан. У них тут войск освободилось — сила, они все круг вас собираются. Смотрите, кубыть не захлопнули!

Да, да, этого-то и боялся генерал Сирелиус! Он и удивлялся, что немцы так легко отдали ему ключевой город. Они сильней нас, почему же отдали город? Одиночное стояние его дивизии здесь становилось всё более опасным. Растянувшиеся от Млавы подкрепления ещё неизвестно когда подойдут, а захлопнуть здесь капкан могут каждый час, особенно на рассвете. До окружённых русских частей может быть и осталось недалеко, десять вёрст, но не ночью же туда идти, в полную неизвестность, в немецкую густоту. Да и какие там войска, если вот подтверждают очевидцы, что генералы убиты, части рассеяны, они всё равно погибли, и нельзя это поражение отягощать ещё новой жертвой — гвардейцами Сирелиуса. Да и само отправление его отряда не было по-настоящему полномочным: Сирелиус — из 23-го корпуса и видный гвардеец, он не обязан подчиняться армейцам из командования 1-го корпуса. Показания этого сотника-очевидца давали ему хорошее основание пересмотреть приказ.

И лишь уклоняясь, шеей по-гусиному поводя, от допытчивого, даже ненавистного взгляда статной темноглазой сестры, миновав её яркую лампу, Сирелиус поднялся и ушёл с адъютантом.

И скоро зафыркал, уехал с площади автомобиль.

О чём подумал генерал, что решил — никому не дано было знать. А все, кто в палате был в яви и слушал, — поняли. Что никуда их не повезут. Что они остаются в плену.

Таня кинулась искать Валерьяна Акимовича — но он и раньше рассказу сотника не верил, и что он мог? К главному врачу? — но только для них и был он главный, а перед генералами маленький человек. И — что у неё было, кроме показаний сердца?

Как никогда Таня хотела быть полезной — и не знала, что делать. Ей стало стыдно, что столько недель она возносила своё горе выше горь окружающих.

До утра так и не было стрельбы. Догорали пожары, никем не тушимые. Прокатили артиллерийские упряжки — обратно, по сравнению с тем, как вечером. По другой улице воротилась пехота. И рассветный час был тих, безлюден. Раньше времени, до солнца, стали высовываться жители — они тоже за окнами не дремали. Вот стали и по улицам ходить, сперва беззвучно. И скоро уже — радостно гомонить, кричать, поздравляя друг друга и шляпами приветствуя первых немецких солдат, снова вступающих в город.

А раненые лежали, обхватив головы. И со слезами переходили сёстры.

Пришли немецкие часовые и стали в каждом коридоре.

И не раньше, а уже после этого прибежала из палаты полостных пожилая курносенькая хлопотливая сестра и — шёпотом, задыхаясь:

— Танюша! Новый раненый прибрёл... у меня лежит... Еле дотянулся, кончится сейчас. На нём — полковое знамя Либавского полка, обернулся по груди. Что делать?

Таня сверкнула, ни миг не колеблясь, даже обрадованно:

— Пойдёмте! На себя намотаю!

— Да ведь в коридоре немцы! — кудахтала курносенькая. — Это — в палате придётся и скорей.

— Ну так и в палате! — уверенно обгоняя, шла Таня.

— Да как же ты при всех? Это — под сорочку надо, всё снять!

— Ну так и снимать! — уже вносило Таню в ту палату.

Она и перед женщинами избегала раздеваться, стыдясь, что груди даже по её фигуре велики, слишком налиты, она в отрочестве плакала, считая это уродством.

— Подколем булавками?

— Нет, зашьём! Где он?! Одна будет наворачивать и зашивать, другая в дверях, чтоб немца не пропустила!

57'

(18 августа)

Ну, да если бы Сирелиус и не струсил в ночь на 18-е, Найденбурга ему бы не удержать, слишком долго он шёл и слишком растянулись его силы. По пружинной готовности германцев, к исходу ночи уже три дивизии было у Франсуа под городом и две на подходе. Хотя сам Франсуа, канатоходцем на проволоке, сидел на полоске шоссе в деревне Модлькен, другой опоры не имея, а с севера группами прорывались русские и у самой деревни подбили ему прожектор из винтовок, могли и к штабу прорваться, — он расписывал для пяти дивизий, как им концентрически брать Найденбург. А по тестяной податливости главнокомандования русского Северо-Западного фронта — именно вечером 17-го, при наибольшем успехе Нечволодова и Сирелиуса, когда ещё многие сильные русские группы (под Вилленбергом — 15 тысяч) готовились к ночным и утренним прорывам из кольца, — Жилинский-Орановский велели фланговым корпусам не выручать окружённых, а отступить.

И — как отступить! Благовещенскому: отойти на 20 вёрст, если противник теснить не будет, и даже на Остроленку (ещё 35), «если будет теснить». Душкевичу: на 30 вёрст и даже на Новогеоргиевск (ещё 60). Как же к месту пришёлся разумный Кондратович, на ту линию загодя убежавший сам!

А с переночеванием глаза страха ещё растягивались. Когда 18 августа Постовский самовольно укатил спасённый драгунами армейский штаб обосновывать в сорока верстах позади прежнего положения в Остроленке — штаб фронта ответил вослед: «На ваш переезд согласен». Да ведь удобно: теперь возобновлялась со штабом армии нормальная телефонная-телеграфная связь и обмен депешами. И вот когда послано было в штаб Второй армии письменное *разрешение от штаба фронта выдвигать 1-й корпус также и далее Сольдау!*

А что же с Ренненкампом? «Генерала Самсонова постигла полная неудача, и противник может свободно обратиться против вас». После всех промедлений как раз-то и пошла его конница в глубину: конный корпус Хана Нахичеванского уже нависал над Алленштейном! кавалерийская дивизия генерала Гурко подходила разрезать самую слабую — восточную — дугу кольца! Именно 18 августа генерал Гурко легко вступил в злополучный Алленштейн, откуда покатались все бедствия 13-го корпуса. Немцев не было или были со спины, ничего не составляло его конникам резать и дальше немецкое окружение. Это было уже *третье* место за сутки, где русские легко разрезали немецкое кольцо.

Но для штаба фронта — слишком рискованно, очень опасно! «Выдвинутую конницу притянуть к армии...» (Это — чтобы без слова *назад*.) И всей Первой армии начать отход.

(Промедлит и в этом Ренненкампф, теперь из гордости, что ли, — и через неделю, от такого же окружения спасаясь, предстоит его армии марафонское бегство — *Rennen ohne Kampf*, как немцы назовут.)

Да, вот ещё: на достойную замену погибшего Самсонова прислать корпусного генерала Шейдемана.

Будущего большевика.

ДОКУМЕНТЫ — 6

18 августа

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

Германский и австрийский генеральные штабы в своих сведениях о положении на театре военных действий продолжают придерживаться принятой ими системы: по телеграфным сообщениям «Агентства Вольфа», германская армия «одержала полную победу над русскими войсками в Восточной Пруссии и отбросила их за пограничную линию...».

Правдивость и ценность этих сведений не требуют каких-либо пояснений.

ОГНЯ ПОД ПОЛОЙ НЕ УНЕСЁШЬ!..

Э К Р А Н

= Морда лошади, непородистой, гнеденькой, русской. Беззащитная, незлобивая морда.

А отчаянья может выражать не меньше человеческого: что со мной? куда я попала? Сколько смертей я видела! — и вот при смерти сама.

С неё хомут так и не снят. И не расслаблен.

Измождена, ноги еле держат. Её не кормили, не выпрягали, а только хлестали — тяни! спасай нас! Уж вырвалась сама, оборванные постромки.

Перебрала ушами, бредёт безнадёжно куда-то, где нога увязает в

чавкающей

мочажине.

Вздёрнется, с усилием выберется из гиблого места, опять бредёт, заступая постромки, волочащиеся по земле, голову низко опустила, но не травы ищет, её здесь нет...

Пугливо обходит

лошадиные трупы. Все четыре ноги столбиками вверх и животы вспухшие.

Какие вспухшие! при смерти — как увеличивается лошадь!

А человек — уменьшается. Лежит ничком, скорченный, маленький, не поверить, что от него был весь гром, вся стрельба, всё передвижение этих масс, теперь брошенных, поваленных. Повозка в канаве на боку, а колесо верхнее стало как руль...

Фургон, как бы в ужасе опрокинутый на спину, а дышло вверх...

взбесившаяся телега, стоймя на задних...

перепутанная, разорванная, разбросанная упряжь...

кнут...

винтовки, штыки отдельно и ложи отбитые...
 санитарные сумки...
 офицерские чемоданы...
 фуражки... пояса... сапоги... шашки... полевые офицерские сумки...
 солдатские заспинные мешки...
 иногда — и на трупах...
 Бочки — целые, и пробитые, и пустые...
 мешки — полные, полуполные, завязанные, развязанные...
 немецкий велосипед, не довезенный до России...
 газеты брошенные... «Русское Слово»...
 писарские документы шевелятся под ветерком...
 Трупы этих двуногих, которые нас запрягают, погоняют, секут кнутом...
 и — наши опять, лошадиные трупы.
 Если выворочен живот у мёртвой лошади, то

крупные

мухи, оводы, комары над гниющими вытянутыми внутренностями жадно жужжат.

А выше, выше

птицы кругами летают, снижаются к падали и кричат, волнуются на десятки голосов.
 = Нашей лошади этого не забыть. Да она
 = не одна здесь! О-о-о-о, сколько тут бродит их, по битвищу, на низменной, болотистой, проклятой местности, где всё это брошено, кинуто, перевёрнуто, между трупов и трупов.
 = Бродят лошади десятками и сотнями, сбиваются в табуны, и по две, по три, потерянные, изнеможённые, костлявые, ещё живые, кому вырваться удалось из мёртвой упряжи, а кто и в сбруе, как наша, или с оглоблями тащится, или — две, а между ними волочится вырванное дышло... и — раненые лошади есть...
 ненаграждённые, неназванные герои этого сражения, кто протащил на себе по сто, по двести вёрст всю эту артиллерию, теперь мёртвую, утопленную в болоте...

всё это огневое снабжение, зарядные ящики на цепях, поди потяни их!..

= А кто не вырвался — вот их судьба: вперекрест друг на друге две полных убитых упряжки, три выноса и три...

так и лежат, топчя и давя друг друга, мёртвые...

а может, и не все мёртвые, да некому выпрячь и спасти.

= Или вот, мёртвые упряжки, накрытые обстрелом на подъезде снять батарею с позиции. Батарея — была до последнего: разбитые орудия,

убитая прислуга вокруг,

и — полковник, кося сажень, видно командовал вместо старшего фейерверкера...

Но и трупами немцев, погибших при атаке, заложено поле перед батареями.

= А лошадей — ловят. Гоняются за нами, хватают...

а мы, лошади, шарахаемся...

а они опять ловят, вяжут...

Это — немецкие солдаты,

такой уж им приказ, не позавидуешь — за лошадьми гоняться,

пропадают тысячи трофейных лошадей.

= Да не только за лошадьми. Вот на краю леса строят колонну русских пленных,

и раненых, неперевязанных.

А глубже в лесу, глубже,

лежат на земле ещё многие, обезсиленные или спящие,

или раненые,

а немцы — цепью идут по лесу

и находят, вылавливают их,

как зверей,

поднимают,

а когда тяжело раненный —

выстрел

достреливают.

= Вот и колонна пленных тянется, почти без конвоя.

Лица пленных. О, жребий тяжкий — знает, кто его испытал!..

Лица пленных... Плен — не спасенье от смерти, плен — начало страданий.

Уже сейчас клонятся, спотыкаются,

а особенно плохо — кто ранен в ногу.

Только верный товарищ, если за шею обнять его,
ведёт тебя, полунесёт.

- = А другим пленным ещё хуже: не идти налегке, но, вместо лошади впрягшись,
свои же пушки русские, теперь трофейные, вытаскивать,
выталкивать, выкатывать,
победителям к шоссе, где разъезжают на блиндированных
автомобилях,
и самокатчики вооружённые,
и при пулемётах сидят, готовые к стрельбе.
- = Здесь уже много выстроено, составлено русских пушек, гаубиц, пулемётов...
- = А ещё тянут по шоссе рослые битюги большую обывательскую фуру с жердяными наставками, на какой сено возят. А в ней везут

ближе, крупней

русских генералов!

Только генералов! — девять штук.

Смирно сидят на подостланном, подвернув ноги,
все головы в одну сторону, все в нашу сторону смотрят покорно,
покорные своей судьбе. Кто тёмен, а кто даже и спокоен
очень: отвоевались, меньше забот.

- = Останавливает фуру, у своего автомобиля стоя,
немецкий генерал, невысокий, остроглазый, несколько дёрганый, может быть, по торжеству, —
генерал Франсуа, с победительным прищуром.
Не жалко ему этих генералов, но — презирует он их убогость. И жестом:
пересаживайтесь! что уж там на фуре! у нас
автомобилей на генералов хватит, вот четыре стоят.
- = Разминая затекшие ноги, русские генералы сходят с фуры,
пристыженные, отчасти и довольные почётом,
салятся в немецкие автомобили.
- = А пешую колонну ведут
в загон для людей, обтянутый
временной колючей проволокой, почти условной,
на временных шестах, прямо в поле.
Тут пленные по голой земле рассеялись —

- лежат, сидят, за головы взявшись,
стоят и ходят,
измученные, обшарпанные, перевязанные, неперевязанные,
в кровоподтёках, с открытыми ранами,
а некоторые, почему-то, в одном белье,
иные разуты,
и, конечно, все некормлены.
Через проволоку смотрят на нас покинуто, скорбно.
- = Новинка! как содержать столько людей
в голом поле, и чтоб не разбежались!
А куда ж их девать?
- = Новинка! кон-цен-тра-ционный лагерь!

ДОКУМЕНТЫ — 7

19 августа 1914

ОТ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта благодаря широко развитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушились на наши силы около двух корпусов, подвергнувшихся самому сильному обстрелу тяжёлой артиллерией, от которой мы понесли большие потери. По имеющимся сведениям войска дрались героически; генералы Самсонов, Мартос, Пестич и некоторые чины штабов погибли. Для парирования этого прискорбного события принимаются с полной энергией и настойчивостью все необходимые меры. Верховный Главнокомандующий продолжает твёрдо верить, что Бог нам поможет их успешно выполнить.

59

Бывают же дети — перенимают наши обычаи и взгляды так, что лучшего не пожелать. А другие — как будто и не ослушные, на каждом детском шагу ведомые как будто правильно, — вырастают прямо не по нашей линии, а по своей.

И то и другое узнала Адалия Мартыновна, после смерти братиной жены, а потом и старшего брата взявшись растить одиннадцатилетнего Сашу и шестилетнюю Веронику. И сестра Агнесса, через несколько лет воротившаяся по амнистии Пятого года из

Сибири, должна была, при всём своём жаре и напоре, убедиться в том же.

Конечно, тут не только характер: Саше было уже 16 лет, когда казнили дядю Антона, он много перенял от него ещё при жизни и готов бы был вместе с ним идти на акт, если бы тот позвал. Саша сохранил этот порыв, его затопляли интересы и боли общественные, вне их он не понимал жизни или какой-то там карьеры. Каждого человека, каждое событие, каждую книгу истолковывал Саша в главном контрасте: служат ли они освобождению народа или укреплению правительства.

А Веронике меньше досталось помнить дядю живого, она только постоянно видела святыню его портрета на стене в их гостиной. Или от девушки вообще не следует ждать такой последовательности? Но в их время, время юности Адалии и Агнессы, не были редкостью как бы революционные монашки — те народницы и подвижницы с некосвенным взглядом, с речью несмешливой, кто знали только общественное служение, подвиг и жертву для народа, а свою отвлекающую красоту, если она была, прятали под бурами, грубыми платьями и платками, на простонародный манер. И почти такие же были сами они обе, и их живой пламень мог бы иметь решающее влияние на Веронику. А вот не имел.

В десять лет Вероника была так простодушна наружностью — с прямым пробором на две косички, ясноглазая, с покойными толстенькими губками, что Агнесса, тогда воротившаяся, уверенно заявила: беззаветная растёт, наша. Направления понимали тётки по-разному: Адалия ни к какой партии не принадлежала, была народницей вообще, по душе, конечно левее кадетов, так, на меридиане народных социалистов; Агнесса же — то анархистка, то максималистка. Но все разъединения русской интеллигенции в конце концов второстепенны, вся русская интеллигенция в конце концов есть одно направление и одна партия, слитая в общей ненависти к самодержавию, презрении к жандармам и общей жажде демократических свобод для пленённого народа. Партийных программ сёстры между собою не делили, а, почти погодки, сжились, любили друг друга, преклонялись перед погибшим братом, на десяток лет моложе их, — и восхищения, отвращения, похвалы, хулы, тревоги и надежды сестёр были почти всегда общие.

Но что-то лукавели глаза Вероники, форма губ по-новому обяснялась, и новое значение в улыбке, — тётушки забеспокоились: тут воспитатели не должны дремать! Жизненные понятия тоже не

совсем сходились у сестёр: Адалия арестовывалась один раз на полтора дня, все годы провела в обычном человеческом быте и замужем, пока не овдовела, Агнесса побывала и в тюрьме и в Сибири, в промежутках целиком отдана революции, политике и никогда замужем, хотя собою недурна. Но тут они вполне сошлись и стали настойчиво сбивать в глазах Вероники значение красоты и поднимать значение характера: красота — такая же опасность для женщины, как для мужчины слишком острый ум, она влечёт за собой самовлюблённость, безответственность, всё для меня. К счастью, союзником тётей как будто оказался и темперамент Вероники: была в ней природная невзмуцаемость, медленный отзыв на внешнюю жизнь, и веяние чистоты, — и это сбивало поклонников на дружбу да рассуждения, даже и на встрече летних петербургских зорь. Внушили Вероне, что в людях надо пробуждать хорошее, — она и пробуждала.

Однако этот же темперамент и помешал успеху воспитательницы. Вероника искренно трогалась всеобщими страданиями, но в жажду борьбы, но в ненависть к притеснителям никак это не переходило; в её расплывчатом, безграничном сочувствии не прочертилось категорической границы, отделяющей жертв социального угнетения от жертв прирождённых уродств, собственного характера, ошибившихся чувств и даже зубной боли. (Так и сегодня, в наступившей войне, Вероника только и видела то простейшее, поверхностное, что вот теперь убитые, пропавшие без вести, вдовы и сироты, не выше того.)

А тут ещё и сами годы после раздавленного багряного всплеска, невыносимые эти годы, после Девятьсот Седьмого, когда стало жить мрачней и тяжелей, чем до революции, — сама эта эпоха текла — ренегатская, безгоризонтная, рептильная. Отошла ослепительная эпоха, выраженная поэтом:

Славьте, други, славьте, братья,
Разрушенья дивный пир!

Теперь груди борцов задыхались без воздуха, и можно было воистину повторить другого поэта:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

Раньше очень хорошо влиял на Веронику Саша, даже более влиял, чем тётки: на пять лет, на полгимназии старше сестры, по-

том на целый университет, в суждениях решительный, никогда не оставляющий возражения, пока не опровергнет его, не загасит, — он имел над Вероней такую власть ума и нравственного суда, что она стыдилась и каялась перед ним в своих отклонениях, старалась от них отмыться или хотя бы скрыть и быть достойной брата. Но на минувший год заглотнула Сашу прожорливая машина армии, а у сестры это был самый важный год, первый год курсов.

Вероятно бы окружение прежнее, какое господствовало в студенческой среде десять и двадцать лет назад, откорректировало бы в Веронике нужное направление сочувствия и ненависти. Однако — и это только в нашей многотерпеливой, рабской стране возможно! — в послереволюционном угнетении студенчество не закалилось, не настроило для борьбы, а поддалось общей усталости, сомнениям, наговариванию мутных пророков. Учащаяся молодёжь как будто забыла о заветах великих учителей, забыла даже о самом народе! Стало модно оплёвывать благороднейшие революционные действия. После нескольких жертвенных поколений потянуло в университетские аудитории смрадной струйкой молодёжи какой-то растленной, противоречащей самому представлению: «русский студент», «курсистка». Эта новая безстыдно выставляла и даже хвасталась, что для неё святые имена Чернышевского, Михайловского, Кропоткина — просто ничто, пренебрегали, даже не прочтя их ни строчки, тем более — скучного Маркса. Молодёжь ушла в свои мелкие настроения. Если ещё продлится так несколько лет, то обломится и безславно рухнет вся великая традиция полувека, всё святое свободолюбивое. И в такое-то гнусное время Веронике пришлось расти и формироваться!

Но ещё и в этой среде можно было избрать себе лучших подруг, — нет, на первом же курсе бестужевских к Вероне прилипла какая-то, сгусток отравы этого времени, — Ликоня или Еля (от невозможного купеческого Еликонида). Это была девушка совсем иного мира — играющая шалью, ломкой талией, натолканная символистическим вздором, то в роли апатичной, то в роли мистичной, то как бы призрачной до умирания. То и дело она декламировала, кстати и некстати, своих модных, туманный бред:

Созидающий башню — сорвётся,
Будет страшен стремительный лёт,
И на дне мирового колодца
Он безумье своё проклянёт.

Играла голосом, но ещё больше ресницами, сразу замечались её глаза с их отдельной красотой, переблескивающим значением, будто она видела в окружающем совсем не то, что все остальные. И голову переводила с медленным недоумением, а густые чёрные волосы были свободны до плеч, как у красавицы большого опыта. На волосах иногда лента, а на плечах шаль всегда, и Еля постоянно ёрзала ею по фигуре узкой, почти без таза, что тоже теперь считалось модно, и ещё лелеяла эту линию, нося прямые, узкие, гладкие платья без пояса.

Тем была ещё вдвойне ядовита эта девица, что не только с Вероней сдружилась не-разлей, но приезжал из армии на побывку Саша — она и Сашу околдовала, он поедал её глазами и сразу поглупел, потерял свой гордый независимый вид, которым так напоминал не отца своего, осмотрительного присяжного поверенного, а почти точно повторял дядю, героя Антона. (Саше и подходило сейчас под столько лет, в каких Антон был повешен, — это был оживший Антон!)

Но что могло быть в голове этой девчёрки, такой значительно-загадочной в поворотах? За чайным столом и мимоходом при всяком случае, вопросом или спором, зоркие умные сёстры пытались выведать: что же там, в этой небольшой голове под этакой россыпью волос? есть ли вообще какой материал? Ведь она явно не жила светлым руководством разума.

— Но какая всё-таки перед вами задача, девочки? Жизненная цель?

Девочки перехмыкивались, Ликоня достаивала вытянутыми подушечками губ, следя, чтоб они красиво сложились:

— Жить.

— Что — жить? Вообще — жить? Но — как жить?

Переглядывались, старались уклониться. Но если требовать неотступно, Вероника начинала говорить назидательно, как младшим:

— Ах, тётеньки, вы хотите нам навязать *прогресс*? Но всё политически прогрессивное — очень отсталое культурно.

Нетерпеливая Агнесса выпыхивала вместе с дымом:

— А между тем ответ очень простой: наша задача, наша общая основная задача — борьба с властью!

Два носика, поуже и пошире, морщились:

— И что же потом?

— А когда падёт нынешний строй, спадут все цепи угнетения и откроются все возможности, в том числе и для культуры.

Ликоня стреливала испуганными глазками, движение вероятно отрепетированное:

— А если нет?

— Что нет?

— Если — не откроются?

— Откроются! — согласно отвечали тётки. — Гарантия в том, что наша интеллигенция — здорова, и её порыв обещает светлый выход больной стране. У России могло быть жалкое прошлое, ничтожное настоящее, но будущее её — грандиозно.

— Ах, тётеньки, — снисходительно вздыхая и губы чуть покривливая. — Да понимало ли ваше поколение, что такое культура? Деятнадцатый век имел серую культурную атмосферу.

Только задохнуться, словами не выразить:

— Н а ш век — серую? Н а ш?!.. Ну, ты просто... Ну, вы просто...

Девочкам даже может быть и жаль, но:

— Конечно. Всякие общественные идеи — неизбежно узки. Всё, что плыло с 60-х годов. Что у нас было? Политика, социализм, вся литература переперчена социальностью, вся живопись испорчена... Культуры как комплекса у нас...

— Да если б вы хоть с Шестидесятыми могли равняться! А то ведь нигилисты — именно вы. Как этот ваш кумир: к добру или ко злу —

...Есть два пути,

И всё равно, каким идти, —

да?

Не те нигилисты — светлые начинатели, оболганные дворянским миром и писателями-помещиками, а вот эти — с «Аполлонами» и «Золотыми рунами».

Ликоня морщила лобик:

— Мы должны быть гражданами Вселенной.

Если спор затягивался, Вероника тоскливо вздыхала:

— Ах! Мы не знаем ни скандинавской литературы, ни французских символистов, а хотим о чём-то судить!

Мы — надо было понимать: тётки не знали, они-то знали!..

А если тётки очень уж напирали, девочки выскальзывали как-нибудь так:

— Ну хорошо, лучше заблуждаться, но идти своим путём, чем повторять избитые истины.

А когда, для окончательного выведывания, настигали их тётки уже не в общественных вопросах, но в самой их цитадели — в любви, и проверяли высоту её каким-нибудь жгучим давним интеллигентским вопросом:

— Как по-вашему — высокая истинная любовь допускает ли ревность? —

девочки вытягивали веки и ресницы и как-нибудь так:

— Слово «любовь» вообще лучше избегать. Можно затрепать и убить её одним только употреблением слова.

Одна, дома, Вероня проявлялась гораздо развитей, но при Ликоне глупела, и никак невозможно было их сдвинуть.

И теперь вот, в первые дни войны. (Агнесса, суевренная к дамам: «А кто заметил, в какой день началась война? В день подавления Свеаборгского восстания! Это будет — историческое возмездие!») Теперь, когда война началась, — и эта жуткая эпидемия патриотизма непредсказанно, внезапно захватила, запьянила даже рабочий класс Выборгской стороны, прервала его великолепные забастовки, привела его покорного с казёнными знаменами (а красные — свёрнуты) на призывные пункты вместо того, чтобы всем взбунтоваться и отказаться от призыва. А ещё страшней — позорная рабская сцена на Дворцовой площади, на той самой Дворцовой, где запеклась, ещё не испарилась кровь расстрела 9 января — и десятки тысяч свободных, непринуждённых людей — кто заставлял их? кто стянул их туда? какая сила ослабила их подколенки? — опустились на колени перед ничтожным императришкой на балконе безвкусно наляпанного дворца — опустились не лавочники только, не мещане, — опустились интеллигенты! опустились с т у д е н т ы! — и в едином экстазе пели «Боже, царя храни»!?? Наш великий император, наш великий народ — разве это не черносотенство? И ещё несколько дней после того бессмысленная толпа с гимнами ходила по городу. Что с ними случилось со всеми? Безднадёжный народ. Безднадёжная страна. Как же можно с такой лёгкостью забыть казни, *столыпинские галстуки*, издевательства над свободной прессой, процесс Бейлиса — и опуститься на колени в гимне?! Нет, эта страна достойна была своего порабощения — царского, татарского, хазарского, какого угодно, это не страна, не народ! Но — интеллигенция??? Как же могла родиться эта *всеподданнейшая* (от одного слова кишки выворачивает, как можно этого не слышать?) телеграмма совета Петербургского университета: «Верьте, Великий Государь, *ваш* универ-

ситет горит стремлением посвятить свои силы на служение вам и отечеству», — без этого-то холуйства можно было обойтись?

— Что вы об этом думаете, девочки? Вероня, что ты об этом думаешь?

Вероня, со своим добротным спокойным взглядом:

— Ну, вкуса нет, конечно.

Ну хоть с начала начинай!

— Вку-уса? Да «Великий Государь» — это не черносотенство? А если бы ваши курсы такую телеграмму — вы бы протестовали? ваши подруги — протесто... ?

— Ну, тё-тя, — как от невозможного поводила Вероника, — но в этих протестах, уходах — ещё же меньше вкуса! Это — стадность...

В том и трагедия: ни к чему происходящему они никак не отнеслись! Их современный нигилизм состоял в том, что они были безчувственны к подлостям и предательствам. К гражданскому пафосу их уши и сердца были заложены, а какая-нибудь глупенькая выставка «Мира искусства» казалась им откровением. Куда подевался душевный огонь русского студенчества? Что за лишай на молодёжь!

Да что говорить о молодёжи, если сама Государственная Дума сыгралась в траги-опереточном однодневном заседании поддержки национальных восторгов? Сойтись на один день, пропеть хвалу империализму и тут же разойтись — это разве похоже на достойный парламент? Хотя надо признать: социалистические депутаты всё-таки не дали себя заморочить. Хаустов пообещал: социалистические силы всех стран сумеют превратить нынешнюю войну в последнюю вспышку капиталистического строя. А блистательный Керенский в смелой речи успел нашвырять упрёков власти: что затыкают рот демократии; и что даже сейчас не дают амнистии политическим борцам; и не хотят примириться с угнетёнными народностями в Империи; и бремя военных издержек возлагают на трудящихся. Всё это сумел сказать, смельчак, не подавленный патриотическим рыком вокруг, и «неискупимую ответственность» за войну не пропустил, а в заключительном восклицании искусно-тонко намекнул на революцию: «Крестьяне и рабочие! Защитив страну, освободите её!» А в думском отчёте жульнически *ошиблись*: «Крестьяне и рабочие, *защищайте* страну, освободите её!» — то есть будто бы от немцев освободите! — только у нас можно так нагло безнаказанно выворачивать мысль!

А по этим девушкам — только скользило, бровями не вели. И то политическое ободрение, какое выступало из просочившихся теперь известий о поражении наших войск, — тоже миновало их. Они безразлично выслушивали по необходимости, Вероня с мягким упорством, Ликоня с рассеянным недоумением, вяло доедали варенье, косились на часы. Возражать — они даже не искали, они — презирали бы возражать, только пофыркивали на старомодность. Им — всегда нужно было идти куда-нибудь из их глуховатого угла 21-й линии и Николаевской набережной, — но не в рабочую школу, конечно, не нести просвещение народу, а самим смаковать-потреблять: на спектакль, на поэтический вечер, на лекцию о «ценности жизни» или на диспут о «проблемах пола».

Если же оставались дома, то это было иногда и оскорбительней. В той же столовой, где большой портрет Михайловского и невдали от портрета дяди Антона с его предчувствованной обречённостью, плотноватая Вероня, с ворохом волос над неуклончивым лбом и мнимо-глубинным взглядом, садилась на диван, поджав ногу, а маленькая Ликоня, стоя у стены, кончиками пальцев, запутанных в шали, упираясь позади себя, покачиваясь корпусом и головой, с недоуменным видом, вопросительным маленьким детским ртом, выражала себя словами заёмными, стихами кощунственными:

Разрушающий — будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит.
И, всевидящим Богом оставлен,
Он о смерти своей возопит.

60

Невыносимо было дальше наблюдать, как Вероника уходит от святых традиций семьи. Племянница такого дяди не смела расти индифферентной к общественным вопросам, это выглядело как предательство. Даже перед Сашей не будет оправдания в упущенном. Все эти девчёнки — пусть они как хотят, и эта Еликонида, они из купцов или барышников, мы их традиций не знаем, но наша Вероня должна быть выхвачена из этого болота — и ведь сердце её открыто к благородным чувствам, её можно спасти внушеньем, напоминанием, светлыми примерами.

Светлый пример — это решающее. В наше время благословляли девушек — да тебя же, Неса! — портретом Веры Фигнер как образом. И ведь это определило твою жизнь, правда? Вера Фигнер постоянно горела перед глазами и вела!

Но нужно действительно набрать примеров — героических! Мы сами их видели, многих, о других слышали, а перед девчёнками теряемся, не можем назвать, рассказать, говорим в общих словах. Сколько молодостей, богатых надеждами, сгноено в казематах! Сколько юных сил подорвано в климатах отдалённых мест! И сколько характеров менее сильных дало сломить свои убеждения и поплелось по общей тропе, увя... Как же не хотеть видеть свою родину свободной и просвещённой! Как не отдать ей всех своих сил, а если дойдёт до тюрьмы — то с трепетом коснуться этой желанной чаши?

Нет, не может Вероня быть так глуха! А знаешь, она тянется к красоте — с красоты и начать!

Тёти долго готовились к разговору, вспоминали имена, события, подбирали аргументы. Терпеливо дождались, когда Вероня осталась одна дома на весь вечер наверняка. И, конечно, не объявили торжественно — вот, сейчас будет решающее объяснение. И не налетели вихрем обе. А — подстроили такой самозащепляющийся, как будто случайный разговор.

— Вот ты, Веронечка, повторяешь: «красота, красота». И мы в наше время тоже стремились к красоте, это естественно для человека. Но для нашего поколения красота была едина с правдой, так и говорили: Правда-Красота. И не отрывали от неё Истины и Справедливости, это всё заедино. И перед нами всегда маячила Грядущая Красота: в Царстве Будущего будут царить только Благородство и Справедливость.

Вероника слушала как бы в полудрёме, но благожелательной.

— Но эта светлая, умная, красивая будущая жизнь пока таится в темноте, только зреет, — и нашу задачу мы понимали: возжечь её ярким пламенем. И нам, Вероника, нам, — Адалия всегда говорила мягче, у неё было материнское в голосе, — непонятно, как можете вы пренебречь великой священной традицией от самих декабристов?! Как вы могли отшатнуться от революционерства?

Вероника пошевелила добрыми мягкими губами, она тоже от всей души хотела сделать тётям приятное:

— Но те, кого пошло называют декадентами, и кто представляет наше сегодняшнее искусство, — они и есть революционеры,

тётеньки! Они — революционеры чувства! От этого тоже нельзя отталкиваться презрительно.

— Девочка! — закусила папиросу тётя Агнесса, она и почти никогда не выпускала её. — Искусства — у тебя никто не отнимает. Искусство тоже служит украшению жизни, но — на десятом месте. Самое прекрасное таится в борьбе за идею, самое радостное — в связи Доброго с Прекрасным. Неужели ты не слышишь: повсюду торжествует насилие, вопиёт неотмщённое русское горе. Как же вы можете оставаться безчувственны к этому призыву? Пора и вам вернуться к народу и отдать ему свою любовь. Да ты скажи, да ты хоть одно дело когда-нибудь знала, помнишь, хоть дело Веры Засулич? Помнишь имя, а дело выветрилось? Так это просто недобросовестно!

Да собственный их и был это промах! То — рано, успеет, то — сама наберётся из семейного воздуха, не внедрили систематически, не уследили — и вот ускользнула.

...Вера пострадала молоденькой девушкой ещё за Нечаева, помогала ему получать конспиративные письма, отсидела два года по тюрьмам, потом ссылалась, жила под надзором. Прошло десять тяжёлых лет, из акушерки она хотела выбиться в учительницы, не могла. Казалось бы: можно устать, ото всего отстать, да? Но летом 1877 в Саратове она читает в газетах, что в петербургском доме предварительного заключения за нарушение тюремных правил наказан розгами студент Боголюбов — студент! — и 25 розог! и так, что вся переполошенная тюрьма видела приготовления, слышала стоны! Вера Засулич ждёт — будет же месть этому градоначальнику Трепову, кто распорядился о розгах? Но месяцы проходят — никто не мстит. Тогда она едет в Петербург, просит купить ей пистолет самого большого калибра, почти тот, с каким ходят на медведей, ей надо не промахнуться, идёт к градоначальнику с прошением поступить в домашние учительницы и из-под тальмы стреляет в него — в упор, хоть и не насмерть. По-настоящему русский террор и открылся со славной Веры Ивановны.

Но для истории русской революции ещё славней, чем сам выстрел Засулич, — судебный процесс над ней. Вера объявила, что ценой своей гибели хотела доказать: ругаясь над человеческой личностью, нельзя быть уверенным в безнаказанности. Адвокат произнёс одну из лучших речей русского судопроизводства: Россия

достигла своего величия едва ли не благодаря розгам! государственное преступление — только рановременно высказанное учение о преобразовании! нельзя не видеть в мотивах этого выстрела — честного благородного порыва! это — нерасчётливое самопожертвование, ей нужна была не смерть Трепова, а своё появление на скамье подсудимых! не много страданий может добавить ваш приговор к этой надломленной жизни! были женщины, мстившие своим изменщикам — и выходившие отсюда оправданными! Адвокату аплодировали даже судьи со звёздами на груди — и присяжные вынесли «не виновна» — вообще не виновна! Светлый миг русской истории! И на углу Шпалерной и Литейного тысячная толпа несла освобождённую на руках!

А Вера от приговора сперва испытала полное удивление, потом — чувство грусти. Раз она свободна — в тот же миг её воля нагружается обязанностью делать что-то новое. Такой лёгкий исход подвига не удовлетворил её, теперь она готова была на новые жертвы! А несчастный удел её стал — многолетняя эмиграция и чёрная хандра у Женевского озера.

Но и звезда Засулич не долго в одиночестве на русском небе. Звёзды теснятся, идёт и идёт в революцию светлая череда народоволок, Софья Перовская, Галина Чернявская, Ольга Любатович, Геся Гельфман, Вера Фигнер. Каждая жизнь — захватывающий и высокий подвиг. Каждую из этих жизней постичь — надо отдать год своей. Но едва ли не всех затмевает Железная Софья.

Из высокого рода Разумовских-Перовских, племянница оренбургского генерал-губернатора и дочь петербургского вице-, пропустившего Каракозова. Последняя служебная неудача отца — первый намёк на будущее дочери. Ничто не сладко ей в этом кругу, будто чувствует девочка, что товарищ её детских игр будет прокурором по делу её и друзей-первомартовцев. Сама судебная среда ненавистна ей, Софья отталкивается, ни гимназии, и не твердила закона Божьего, ушла из семьи. Зачитывалась Писаревым, училась на фельдшерицу, а в народные учительницы — помешала жизнь. Девушка росла как в сознании своего необычного жребия, нерядовых задач (одно из детских мечтаний — стать королевой). Всегда ставила женщин выше, к мужчинам относилась сдержанно, бронированное сердце, и не было у неё презрительнее слова, чем «бабник». Увлекалась безсмертным Рахметовым, спала и на голых досках. Всю жизнь замкнутая, как созданная для конспирации, холодного склада ума и не прощала эмоциональных срывов товарищам.

Она — в первых петербургских студенческих коммунах, в 17 лет уже в кружке Марка Натансона, где не принимали такого, кто сил не имел отказаться от крахмальной сорочки, любил бы выпить или легко относился к женщинам. Кружок мечтал о социалистическом восстании, в котором монархия и династия погибнут, как в буре. Первые аресты, оправдана по процессу 193-х, как большинство там женщин. Не избежала романтического жребия ходить поддельной невестой на свидание с узником-героем, конечно же не предугадывая, что этот узник Тихомиров станет ренегатом социализма. Помогала Кропоткину бежать. В 23 года — в натансоновской «Земле и Воле».

До этого склада жизни можно возвыситься только концентрацией воли и богатством жертвы. Это надо представить и перечувствовать: революционер — человек обречённый, у него нет своих интересов, своих привязанностей, не бывает имущества, а иногда он лишён даже имени. Всё в нём поглощено одной мыслью, одной страстью — революцией. Революционер — презирает господствующую нравственность и что кажется в обществе важным или неважным, благим или дурным.

С 24 лет Софья — только на нелегальном положении. Ей 26, когда на Липецком и Воронежском съездах «Земля и Воля» раскалывается — на безнадёжных *деревенщиков*, не принимающих террора, ни даже борьбы с правительством как главной цели, — и «Народную Волю». Софья — за террор как средство агитации масс, за убийство Александра II как агитационный сигнал к массовому движению, и даже если террор не добьётся политических свобод, то за террор как за месть. И она — в Исполнительном Комитете «Народной Воли», и в августе того же 1879 на петербургской окраине Исполнительный Комитет выносит царствующему императору смертный приговор! И на глазах у всей России начинается одно из великих свершений, где все движения мстителей скрыты, и только неудавшиеся выстрелы и взрывы, один за другим шесть, отмечают для России положение участников. Тотчас после приговора Перовская с девяткой кидаются на подкоп Курской железной дороги за Рогожской заставой, Софья с гордостью и умением играет роль простонародной хозяйки дома, что ей особенно всегда удаётся, и, выскочив с иконой, разыгрывает перед раскольниками религиозную сцену, спасающую подкоп. При виде царского поезда Перовская же и даёт сигнал на взрыв — но растяпа опаздывает замкнуть цепь, и полтора пуда динамита непродуктивно

взрываются за хвостом поезда. Что ж. Перовская и Фигнер бросаются в Одессу, и через три месяца у них готов уже другой подкоп, из лавки под улицу. А царь — в ту весну не едет на юг.

Темп усиляется, царь спешит с обманной конституцией, народолюбцы спешат с казнью царя. Их всё меньше, Гартман бежит за границу, Зунделевич, Гольденберг и Квятковский арестованы, затем — ещё, ещё аресты, по пятеро, по одному, прорезая ряды перед последним седьмым покушением.

Нет, это не так, что у революционера нет чувств, — сердце революционера даже нежно, но чувствам своим он даёт развиваться лишь тогда, когда их направление совпадает с революцией. (Оттого насколько ж и выше, и ярче любовь революционера!) Мужененавистница Перовская в двадцать семь лет отдаётся любви к Желябову — в их последние нервные месяцы закружившейся охоты. В эти безумные месяцы втискивается всё — и сношения с Нечаевым в Петропавловке, подготовка его побега (уже охрана распропагандирована им и адреса солдатских любовниц зашифрованы у Софьи), и разметка осады, чтоб медведь уж не вырвался никак: взрыв подкопом из сырной лавки, четыре переходящих бомбометателя, а если всё не сработает — то сам Желябов с кинжалом. Чем ближе к покушению — их затягивало, и хотя никто из них уже не рассчитывал убийством царя добиться перемены политического строя, они не могли расслабиться в замысле — они готовили покушение.

Это неравное единоборство, это перенапряжение нервов — надо уметь оценить потомкам.

Вечером 27 февраля был арестован и Желябов. Над отважными навис разгром — и тут Перовская, спасая дело общее и дело своего любимого, забрала руководство маленькими руками — с мужской суровостью к товарищам, с беспощадностью к врагам. (Сказал Кибальчич: «Наши женщины жесточе нас».) Без Перовской не состоялось бы Первое марта. Теперь, когда отпал кинжал Желябова, Софья и сама хотела метать, но не было пятой бомбы, успели приготовить только четыре. Она следила за каретой царя и знаком переводила метальщиков на верный путь. От лихорадки этих дней отказали нервы мужчин: Тимофей Михайлов вообще ушёл с поста, отказался метать, Емельянов так растерялся, что с бомбою под мышкой кинулся помогать раненому императору, через час Рысаков расквасился на следствии, Тыркова душили слезы, — одна Перовская подбежала оце-

нить результат Гриневицкого и мягкими шагами пошла на свидание с уцелевшими. Все следующие дни она продиралась между арестами, спешила с прокламацией к русскому народу, с письмом к Александру III, сколачивала, кто бы освободил Желябова. Только узнав, что Желябов будет казнён, — задрожала, упала, в слезах просила оставшихся друзей спасти вожака. Тут она потеряла благоразумие, губила других, губила себя, пошатнулась с революционного уровня, — и арестована, со списком петропавловских солдатских подруг. Но снова — непроницаемая, железная, ехала на казнь в чёрном халате, с доской на груди — «цареубийца».

...Ты восстала, ты убила,
Потому что ты любила
Свято родину свою.
Злая сила, вражья сила
Раздавила грудь твою...

Софья — Вера — Любовь...

Вера Фигнер — отдельная поэма. Как после 1 марта она пыталась воссоздать Народную Волю.

Что за женщины! — слава России! Пробрало же старого Тургенева: *Святая, войди!*

Увы, как горько предчувствовали казнённые, — Первое марта не преобразило России, не вызвало всенародного восстания. Россия вплыла в полосу густого серого, безнадежного мрака, чеховское время... Наша с Адалией юность... И молодость, Неса... Какую веру надо было иметь, чтобы понять: это не тупик, не подвал — это долгий тоннель, но он вынырнет в свет!

Фигнер — в Шлиссельбурге. И сроки — по 25 лет. И кто же мог думать, что их реально придется отбыть. Что человеческое сердце может их выдержать.

А вспомни Ивановскую? По делу Народной Воли отбыла больше 20 лет. Вернулась в Петербург уже совсем не молодая — и опять примкнула к террору. Вот сердце!

Тут тоже были имена, была своя твёрдость, она не легче, хотя не так захватывает чувства. Несгибаемые поборницы женского равноправия — Философова... Конради... Стасова...

А — Цебрикова? Сейчас уже мало кто вспоминает это имя, но в 90-х годах мы произносили его благоговейно, как в 70-х шепталось имя Чернышевского: её знаменитое письмо Александру III, с такой пламенной силой она клеймила самодержавный

режим! — не побоялась расправы... — и вышвырнута в Смоленскую губернию! Её письмо обращалось среди молодёжи, переписанное чернилами... Новые руки держали это письмо, новые глаза читали.

Как мы ярко встречали ХХ век, не просто как новый год, с каким факелом надежды! — и факел нас не обманул. История как будто ждала этого человеческого отсчёта — и в первом же году ХХ века выпустила студенческие толпы к Казанскому собору, — и тут же на арену выпрыгнул террор, броском Гершуни, и скоро — месяца не проходило без превосходных актов, и прежние народники обновлённо возродились эсерами.

Перед славными предшественниками трудно верится в достоинства молодых, а между тем — какая блистательная новая плеяда, и если о женщинах — то какие женщины! и это уже для тебя не седая былль — они все в твоём детстве, тебе было уже семь, десять, двенадцать, когда они просверкнули, и кто из них не казнён и не сошёл с ума — те и сегодня на каторге или за границей.

Тут из первых конечно — Дора Бриллиант, она на десять лет моложе тебя, Даля. Киевская студентка, большие чёрные глаза, замороженные террором. И готова принести себя, мечтала о смерти, и лишиться жизни — мучало её, и умоляла товарищей дать ей бросить бомбу самой. А досталось — только готовить бомбы. И в Петропавловке сошла с ума.

Нет, из первых — Мария Спиридонова! — никакая не революционерка, ни к чему не готовилась, не член никакой партии, но — носится в воздухе священная месть — и молодые сердца отзываются, не могут не отозваться! Гимназистка, вышла на борисоглебский перрон, в муфточке — револьвер, встречать генерала, усмирителя крестьян, и — за поротых мужиков — ухлопала наповал! И прежде всякого суда — казачья казнь ей, изнасиловали взводом, в очередь.

Ты изведала, Мария,
Всю свирепость палачей.
Я молюсь тебе, Мария,
В тишине моих ночей.

Нет, у Волошина ещё лучше:

На чистом теле — след нагайки,
И кровь на мраморном челе.
И крылья вольной белой чайки
Едва влачатся по земле.

А Биценко-Камеристая? Из замечательных актов, проведенных женщиною самой, в одиночку. И как драматично придумано! — она не просто пришла к Сахарову с прошением, как Засулич, но в прошении написала Сахарову смертный приговор — и дала ему время прочесть несколько строк, дала осознать, поднять удивлённые глаза — и только тогда выстрелила! Подлинно: приговор — и исполнение! Её адвокат начал с того, что послал ей в камеру большой букет цветов.

Глубокая вера в святое дело — вот что вело их всех! Как Баранников написал, ожидая казнь: «Ещё одно усилие — и правительственно перестанет существовать. Живите и торжествуйте! Мы торжествуем — и умираем».

Красоту и философию террора хорошо понимала Женья Григорович. И ведь опять: дочь генерала, и генерал-то — почти единомышленник! тоже знак времени! — помогал ей спасать революционеров от ареста, прятал у себя в доме заговорщиц, узнавал часы проезда и приёма намеченных к удару лиц. А друг отца помог Жене, когда готовила покушение на Трепова, устроиться в Петергофе, рядом с царём, нелёгкая задача. И вот в трёх шагах от неё проезжают в коляске Николай с Алисой! — а у Жени нет оружия при себе, и плана такого не было, — и она вспоминает, что следила за царственной четой, как кошка за рыбами через стену аквариума. Для показа — светская жизнь, баловство живописью, — а при себе всегда капсула синильной кислоты, хотя партия и запрещает самоубийство. Она шла на акт как на торжество, резвилась с подругой, упражнялась в лесу в стрельбе, в бумажку с надписью «Трепов». В день покушения хорошо выспалась, хорошо пообедала, получила от портнихи специально заказанное театральное платье, и веселилась, смеялась — и в задоре пошла на спектакль Кшесинской. Вот так идут подлинные революционерки на жертву и смерть! К несчастью, Трепов почему-то в театр не приехал, — и сразу стало ей скучно и гадко от глупых плясок на сцене, от гладких затылков в партере, от бессмысленной болтовни в ложе. Сразу — и невозможность победы и невозможность пострадать. Ей пришлось уехать в Италию.

Или Каляев! — ведь это был великий человек, и прирождённый Поэт, его так и звали. Но он пожертвовал своим даром — и весь его обратил на художественное выполнение актов. Чего ему только не досталось, пока он выслеживал Плеве! Как он играл! Сам элегантный, изящный, — в засаленном заплатанном пиджаке,

рыжих битых сапогах, картуз набекрень, грыз подсолнух, отругивался на площади, заводил знакомства с дворниками, извозчиками, — а по воскресеньям вместе с квартирным хозяином шёл в церковь в красной рубаше, крестился истово, а на херувимской пластался ничком. Чтобы легче дежурить на улицах, играл роль разносчика, таскал тяжёлый ящик, продавал папиросы, разную дребедень, и картинки «героев» японской войны. Говорил: «Не навиху эти картинки, во мне страдает художественное чувство! А иной дурень платит за них последний пятак. Герои “Варяга”, Чемульпо — грудь колесом, нахальные рожи, слава отечества! Патриотизм — повальная эпидемия глупости. Погодите, дурачье, собьёт с вас спесь японцев!»

Акты — не всегда убить, бывали замыслы грандиозные, от которых вся Россия должна была онеметь: в том же Петергофе готовили захват полного состава Государственного Совета, прямо на заседании. Вот уж затряслись бы заслуженные старички, представить! Это уже — наши, максималисты, под руководством Михаила Соколова: план был ворваться с бомбами на заседание, взять их всех заложниками и чего-то потребовать от правительства, ещё не решили — чего. А если откажутся — то и взорвать весь Совет и себя вместе с ними! Это было бы неопишимо!

Соколова знала Агнесса хорошо, это был не человек — исполин! Это первый он и придумал: начать террор против рядовых помещиков, чтоб им жизни не стало в имениях, а ещё — террор фабричный, и экспроприацию денежных сумм. Началось московское восстание — он бросился на Пресню и был начальником боевой дружины. Это он создал и максимализм, откололся от эсеров за их бюрократизм, неповоротливость, осторожность. Дядя Антон пошёл на свой акт в согласии с ним. Это был план Соколова — ворваться к царю на автомобиле, полном динамита, — и так взорвать всю свору. Его же было — и знаменитое взятие кассы в Фонарном переулке, сразу 600 тысяч рублей. И при всей твёрдости — какая это была чувствующая душа! Составляли план акта — Соколов просил играть на рояле и напевал. На петербургской улице он обернулся подать нищему — тут его узнал сыщик, и арестовали. Через день его казнили. Он крикнул палачу: «Руки прочь!» — и сам надел себе петлю на шею.

А Наташа Климова? — этот цветок среди максималистов. Она задыхалась в скучной, пресыщенной жизни своей рязанской дворянской семьи, своего круга, жизнь казалась бессмыс-

ленной. Сперва она тоже, вот как и вы, искала правду в красоте, потом в служении людям — и так пошла в террор. Да без истинного яркого действия — разве может быть в жизни счастье, Вероня?.. Вместе с Соколовым они готовили захват Государственного Совета и взрыв на Аптекарском, Наташа и поехала «барыней в фаэтоне». При прислуге они разыгрывали с Соколовым мужа и жену, Соколов был наряжен баринном, старался смеяться по-дворянски, Наташа покупала поддельные украшения. А вдвоём оставались — неловко, и спали никогда не раздеваясь. И какая была богатая натура! Она говорила мне: ведь вся природа — чудо, закат — чудо, и каждая мелочь в природе. Близость смерти открывает перспективы, которых в обычной жизни не видишь. За недели вот такой сгущённой жизни можно отдать годы пресного благополучия!.. А красноречием и внушением — она была второй Нечаев. Сумела обратить в свою веру тюремных надзирательниц — и устроила знаменитый групповой побег из Новинской тюрьмы.

Да, был путь и через искусство: из богатых семей посылали девушек за границу изучать искусства, — а там они встречались с настоящей молодёжью, усовещивались — и шли в революцию.

Таню Леонтьеву, кстати — племянницу того самого Трепова, голубоглазую изящную аристократку, прочили во фрейлины императрицы. (Её лучший замысел и был — убить царя на придворном балу, поднося ему цветы.) Дочь вице-губернатора, она тяготилась высшим светом, общением с неприятными людьми. В Петербурге вращалась в самых знатных кругах — и приносила революционерам ценнейшую информацию. И хранила у себя динамит. Генеральская родня не давала делать у неё обыска. Всё же с динамитом она и арестована, но родные подстроили признать её психически больной, освободили из Петропавловки, отправили в Швейцарию, там она примкнула к максималистам. Но исключительно ей не везло: как-то поручили ей в Лефортовской больнице дострелить уже раненного шпиона — ей не удалось. А в Швейцарии — приняла за Дурново какого-то пожилого швейцарца, был похож, и имя было Карл Мюллер, под каким и Дурново путешествовал. Застрелила — а оказался не он. Она так глубоко всё переживала, так рыдала после казни Каляева...

Иногда отказывали нервы. Тамара Принц, тоже генеральская дочь, никак не могла решиться убить назначенного генерала, друга её отца. В классическом мундире террористки — чёрном шёлко-

вом платья, она трижды ходила его убивать. Один раз — не решилась, в другой — истерика её взяла, она всё прокричала и была арестована. Выпустили, третий раз пошла — уже с браунингом и с бомбой, — но обронила бомбу на улице, маленький взрыв зажигателя — нервы Тамары сдали окончательно, она бегом вернулась в гостиницу и покончила с собой.

Нет, не жаль тех, кто погиб или попался после успешного акта: он — *свершил!* Безумно жаль тех, кто не дошёл до победы. Зильберберг и Сулятицкий с их смелым планом застрелить Столыпина во время молебна при открытии медицинского института. И так же — в петропавловской часовне, на панихиде по Александру II, должен был взорвать бомбу Макс Швейцер, да в день 1 марта, да сразу грохнуть и Булыгина, и Трепова, и Дурново, — и, несчастный, взорвался в гостинице, на приготовлении. И Синявский, Наумов и Никитенко — повешены, не дотянувшись взорвать царя в его петергофском дворце! И Соломон Рысс повешен, так и не дотянувшись...

Многие женщины — не сами стреляли и взрывали, но готовили бомбы. Марии Беневской так руку оторвало — и всё равно не пощадили, дали каторгу. Её товарищ поехал за безрукой в Сибирь и женился. Тоже была из дворянской военной семьи, а о том, что насилие есть способ борьбы за добро, — заключила из Евангелия. Она очень искала морального оправдания террора.

Маня Школьник, портниха из местечка, рвалась непременно метать сама, хотя по темпераменту скорей пропагандистка, очень страстно говорила. Муж Арон всё не пускал её в террор, но не мужнина, а её бомба ранила черниговского генерал-губернатора.

Все героини и были — народоволки, анархистки, эсерки, максималистки. А если нужно маскироваться — одевались под социал-демократок, безвкусные цвета, «Капитал» под мышку, — и иди хоть сквозь полицию, безопасно. Эсдечкам не надо было ни нарядно одеться, ни понравиться, ни — проникнуть, ни — даже зеркальца на цепочке, проверять, следят ли сзади.

А ещё, а ещё из королев террора — Евлалия Рогозинникова. Она всё предприняла, чтоб увести с собой побольше. Из браунинга застрелила начальника тюремного управления — и должна была выбросить браунинг в форточку как знак успеха и сигнал товарищам идти убивать Щегловитова и других. Она рассчитывала, когда возникнет схватка, взорвать с собой ещё несколько крупных чинов, и весь дом, где было тюремное управление, и несколько

этажей их квартир. Но так не повезло, что её не допрашивали крупные, а прислали на обыск жён тюремщиков, потом вызвали полковника артиллерии — и у Евлалии, распластанной на полу, он обезвредил шнуры от батарейки к лифчику, полному тринадцати фунтов динамита.

Какое же отчаяние борьбы, какое же исступление справедливости надо испытать, чтобы так себя зарядить — и пойти как человек-динамит!..

— Как Женя Емельянова говорила, помнишь: *началось бы всюду! добиться бы правды!* — а там на всё остальное — наплевать!

Какая же правая ненависть вела этих девушек, этих несбывшихся невест!

Как же можно жить лёгкой, ничтожной жизнью — выставки, лекции, спектакли — и забыть об этих героинях? и не ощущать пылающей ответственности перед их святыми жертвами?

— Да что эти великие далёкие примеры! — перед дядей, перед дядей родным, Вероника!?!

61

В портрете дяди Антона что должно было быть заметно первому неприсмотревшемуся взгляду — поиск. Что жизнь этого молодого человека и не устоялась и не хочет он устояния, а ищет: понять правду и ей послужить. Это — и в глазах, как он всматривался выше аппарата, чуть прихмурясь; и во лбу, никогда не размягчённом от складок мысли; и в отклоне головы вместо парадного позирования; и в продороге узкой шеи, кажется вот на снимке видном.

За две руки подвели Веронику к портрету — и стояла она, рослая, как старшая, между щуплой тётёй Адалией и приземистой тётёй Агнессой.

Глазам Ленартовичей безмерно был роден брат и дядя, но несомненно светилась в нём и родственность обобщённая: наша общеинтеллигентская, наша неповторимая, несравненная, жертвенная, по которой и незнакомые — с первого взгляда друг другу сродны и соединены.

Запечатлённая талантливость. Энергичная худощавость. И этот горький продрог шеи, как будто уже так рано он обманулся в людском идеале.

А ещё понёс Антон от рождения — печать обречённости, и уже с отрочества он как будто понимал, что обречён. Да даже в детстве, странно, он был задет выражением: «умер от Антонова огня», и всё спрашивал: а что это — *Антонов огонь*, а почему от него умирают?

Впрочем, такие обнажённо чистые выражения лиц всегда производят впечатление, близкое к обречённости.

Если правда, что отпечатываются на рождённом звёзды неба, то отпечаталась на дяде Антоне та — через мрак весёлая — весна 1881 года, когда казнили тирана, а Антон родился. Когда народ, не понимая собственного своего добра, тысячами рыдал на панихидах. Не только не понял освободительного смысла удара, но приписал убийство порочности Петербурга и злодейству дворян, недовольных отменой крепостного права. Не упивался от радости в трактирах и питейных, но сумрачно отхлынул от них, и не было на улицах пьяных, а весело пили только студенты по квартирам и дразнили университетских сторожей: «Ну-ка скажи: слава Богу!» — «Слава Богу». — «Радуйся, твоего царя убили!»

Над люлькой Антона качались трупы пяти повешенных народовольцев — опять пяти, как и декабристов.

Задушены были пятеро отважных, к счастью для себя так и не познав разочарования: не вкусили, что только озлобление возникло у тупых обывателей, у черни — против своих спасителей, против учащейся молодёжи. Казнь царя, которая мнилась как вершина освободительной борьбы, как сигнал ко всеобщему восстанию и погрому помещиков, — оказалась лишь первым пиком в этой обрывистой горной гряде, только началом долгого жертвенного похода.

— Да дядя Антон как бы и рос под сенью террора. Слышал в доме революционные разговоры — и на него они действовали не так, как на тебя, — он очень рано начал всё понимать. И как раз к его двадцати годам совершились великие акты. И уже тогда он себя определил на тот же путь.

— Готовил себя, тщательно. Говорил: прежде, чем стучаться в дверь Бэ-О, каждый должен проверить себя: достоин ли? чист ли? В святилище надо входить с разутыми ногами.

— А как он рано возненавидел все петербургские дворцы, помнишь, Неса? Говорил: «Вот с ними-то мы и бьёмся. У меня кулаки сжимаются при виде дворцов. Как они нахально бахвалятся! О, скоро вы задрожите, с вашими обитателями!»

— Он был знаком и даже ученик Каляева. От него перенял и эту теорию... Что очень хотел бы погибнуть на месте акта — вспыхнуть и сгореть без остатка! смерть упоительная! — Тётя Агнесса волновалась, видно тоже, несмотря на свои 42 года, эту теорию разделяя и сегодня, тоже ли не была ученицей Каляева. Из сиреневого облака — она и дым — глаза попыхивали как маяки. — Но! Но есть счастье выше: умереть на эшафоте! Смерть в момент акта как будто оставляет что-то незаконченным. А между актом и эшафотом — ещё целая вечность, может быть самое великое для человека. Только тут, говорил он, почувствуешь всю красоту идеи, мистический брак с идеей! Сладчайшее наслаждение — умереть как бы дважды: и на акте и на эшафоте. А ещё какое наслаждение — суд! Умирая во время акта, ты уносишь всю свою ненависть невысказанной. А тут — обливая презрением судей, ставя ни во что их корректную законность, — излить на них всё, что накопело, поставить к столбу самодержавную Россию, эту все-светную сводницу!

Нельзя сказать, чтобы Вероника зажглась, — этого быть не могло, тёти знали уравновешенность её характера, — но опалило её это откровение великого террориста. Она смотрела большими тёмными глазами в изумлении. Хорошо и так, почва разрыхлялась!

Но каждое время приносит своим чадам и новые задачи, и средства их выполнения. Когда дядя Антон вошёл в полную зрелость и готовность отдать себя в акте — уже расходился, бурлил Пятый год, всё пришло в движение, обстановка менялась от месяца к месяцу, вспыхивали мятежи там, здесь, наконец московское восстание, — в тот год Антон, как многие, отверг индивидуальный террор и рвался к вооружённому восстанию. Всюду по России такое было желанно, но восстание бы в Петербурге было единственным и окончательным. И из самых первых Антон поставил вопрос о флоте: молодых сознательных петербуржцев ждёт флот, а по соседству — дружественная, всегда антицаристская Финляндия. Балтийский флот, а главное, Кронштадт своими пушками почти без канонады продиктовали бы царю падение. Из первых же Антон носился со списками судовых команд, доставленных

революционными офицерами, знакомился, готовил везде сторонников. Очень помогли японские неудачи флота, настроение флотских было упавшее.

Но восстание в Петербурге всё никак не возгоралось, а в Москве вспыхнуло, и Антон светло завидовал им, однако не бросился туда со своего участка. Подавили в Москве? — что ж, Петербург за всё отомстит! Но вот и Думу разогнули, а Петербург постыдно немотствовал, — и если уж *теперь* не восстанет флот!?

— Ах, как мы могли не победить в Девятьсот Пятом?! Ведь правительство было совсем растеряно, городовые невооружены, заводы переполнены молодёжью, на Японскую их не слали...

— А просто: народ ещё отделял себя от революционеров.

После разгона Первой Думы начались лихорадочные дни: надо было срочно ответить! Был план поднять одновременно Севастополь, Кронштадт, Свеаборг, весь флот — и кончить царизм одним ударом. Организация послала Антона в Свеаборг, на главную базу Балтийского.

— Ты же и о Свеаборге не знаешь толком?..

Вероника в ответ только могла моргать, уже пожалуй и виновато.

Там давно уже и свободно агитаторы разворачивали кругозор недовольных, два-три передовых офицера сами распространяли брошюры среди своих подчинённых. И едва командование выполняло одни требования — от массы выдвигались новые, нельзя было дать брожению успокоиться. Но тут, не теряя времени, не теряя связи с разогнутой Думой, надо было поднять восстание немедленно, — а конкретного плана не было, и дата не решена. Ещё не были готовы, но забыли предупредить, и по ошибке сигнально выстрелила условленная пушка, — и на одном острове поднялись артиллеристы, а пехота, искалеченная казарменной выучкой, осталась против народа, оказала кровавое сопротивление. Пришлось кое-где заставлять присоединяться, часть островков восстала, арестовали своих офицеров, — другая нет, среди них и главная крепость, — и восстание выродилось в войну между артиллерией и пехотой. Тяжёлые батареи восставших громили крепость, но и слабые пушки пехоты отвечали такой картечью, что всё горело. Антон в группе вольных агитаторов вместе со штабс-капитаном Серёжей Цином прибыли руководить восстанием, уже опоздав. Цион стал его вождем. Но разочарование было, что под лозунг «Правительство грабителей заменим Учредительным Собра-

нием!» — не пошёл флот, ни одно судно не примкнуло к восстанию, хотя после «Потёмкина», после «Очакова» так ожидалось! Значит, агитации было слишком мало. Показались броненосцы на горизонте — тут гениально придумали послать к ним навстречу на катере восставшего офицера с поддельным приказом якобы Командующего открыть огонь по крепости, но его распознали и арестовали. Так флот оказался предателем, как и свеаборгская пехота. При несомненности солдатского и матросского сочувствия восстание несчастно проигрывалось. Правда, к восставшим пришла финская красная гвардия, но всего 200 человек, они подвозили оружие. Три раза руководители держали совет: взорвать ли самим пироксилиновые склады минной роты? Тогда взорвалась бы и центральная правительственная крепость, но и многие свои, и размело бы прибрежную часть Гельсингфорса. Не нашлось специалиста подсчитать силу взрыва — и не решились, как бы не больше потерять. Тут от неосторожной спешной стрельбы взорвался ещё один свой пороховой склад, и было 60 убитых. Сплошное невезенье! Вторую ночь восстания Цион, Антон с отборной командой тайно стаскивали сами своих убитых в море, чтобы оставшиеся не видели, поддержать их дух. Антон готов был ко многому, но не такому кровавому месиву, он изнемогал, заболел. А издали стал бить недосыгаемый флот — и снаряды всё ближе ложились к пироксилиновым погребам. Цион скрылся, и раненный подпоручик Емельянов с советом представителей решили поднять белый флаг. Но самим представителям надо было бежать с островов: застигнутым в крепости в штатской одежде могла быть казнь. Скрывались на простых лодках (часть лодок расстреляли из пулемётов), прорывались в город одиночками. Антон удивительно спасся, с ним — восставший сын одного подполковника, защищавшего крепость. Раненых всех пришлось оставить в плен, да и здоровые спаслись не многие. Убито было несколько сот человек.

Пережившим такое тяжкое поражение не приходилось думать о второй попытке. Идея восстания утонула. Когда вся Россия обращена в тюрьму — возможны только смелые удары одиночек. Оставалось мстить и мстить! И снова Антон обратился душой к Террору.

— Ты не помнишь, и тебе даже трудно вообразить, какое это было чёрное время, какая тёмная ночь, когда реакция снова распростёрлась над нами! Даже стойкие революционеры падали духом, что их страдания и жертвы никогда никому не принесут поль-

зы и бессмысленны! Совершенно обезкураживались, что всё, всё — тупо, глупо, гадко, безцельно. Это второе подполье, после свободы Пятого года, было куда тяжелее первого, сколько душ изуродовало!

Только редкие, гордые продолжали незатемнённо видеть звёзды грядущего обновления. И среди них — Антон. Всякую неудачу он всегда считал не неудачей, а преступлением, которое если нельзя поправить, то выход только — харакири. Теперь он избрал своей целью подавителя московского восстания Дубасова: сразу отомстить и за Москву и за Свеаборг! А тот уже избежал нескольких покушений, в том числе и самого Савинкова. Теперь Антон пошёл за ним охотиться в Таврический сад, где старый адмирал имел обыкновение гулять.

— После Фонарного это был следующий крупный акт. Антон хотел дать салют в самый день казни Соколова! Для этого поспешили — и опять не повезло, уцелел.

Антон прошёл весь задуманный желанный цикл — и акт, и суд, и эшафот. И конечно излил судьям своё презрение и ненависть. Но — не было свидетелей суда, ни эшафота. И даже, по своей исключительной конспиративности, Антон отдал жизнь, не прославясь, не войдя в Пантеон увенчанных героев. Со своим товарищем Воробьёвым он стрелял, был арестован, сужен и повешен — инкогнито, не имея надобности открывать судьям имя, а ошибкой дворника своего однодельца записан перед судом как Березин.

Повешен! Прямо отсюда, из этой квартиры, из этой комнаты ушёл молодой герой, — и шею его скрутили казённой верёвкой. А родная племянница, а следующее поколение — уже свободно от памяти? от долга чести?

Конечно, прямо перед портретом юно-умершего дяди Антона Веронике трудно было защищаться. Да и кого не тронет, не покорит безоглядное самопожертвование молодой жизни? Разве молодости свойственно бросаться в смерть? Вероника искала слова со смутностью, повода на тётей своими устойчиво внимательными глазами. Она и сама искренно недоумевала, как могла так отойти от семейной ветви, но и... но и...

— Тёти, милые... Но мы дядю Антона любим все, и я не меньше вас. Но всё-таки, я осмелюсь сказать, — он не святой? не агнец? Ведь он же первый пошёл убивать?

— *Первый?* — ахнули тёти. — Да кто же *первый* начал угнетать свой народ? Кто же первый загородил все иные пути освобождения? Кто — первый казнил за каждый шаг к свободе?

— Ну... народовольцы первые пошли?

— Нет! — решительно отказала Адалия. Когда касалось народников, лицо её тоже жестело и зажигалось. — Народники шли пробудить в народе общественную жизнь и сознание гражданских прав. Если б им не мешали — они б не начали взрывать бомбы. Правительство и заставило их отклониться от чистого социализма.

— Но тётеньки! — почти умоляла Вероника густым своим взглядом из-под писанных темноватых бровей. — Но какое кто имеет право... идти через насилие?

— Имеем! — как вулкан обкуренная, послала тётя Агнесса. Она страстно умела это объяснить, тётя Адалия уже не так твёрдо ступала дальше. — Революционеры за то и называются революционерами, что они — рыцари духа. Они хотят свести уже видимый идеал с неба своей души — на землю. Но что при этом делать, если большинству этот идеал ещё не внятен? Приходится рыхлить почву для нового мира — и поэтому долой вся старая рухлядь и в первую очередь самодержавие! Революционеров нельзя судить по меркам старой нравственности. Для революционера нравственно всё, что способствует торжеству революции, и безнравственно всё, что мешает ей. Революция — это великие роды, это переход от произвола — к лучшему праву и к лучшей справедливости, к высшей Правде. Тот, кто знает всю ценность жизни вообще, и свою собственную отдаёт смерти, знает, что он отдаёт и что отнимает, — тот имеет право и на чужую жизнь. — С таким пыланием это выговаривала тётя Агнесса, как будто и сегодня ещё сама могла пойти на *акт*. — Метод насилия в общественной борьбе вполне допустим. Только бы взвешенно применялся, чтобы не допустить несправедливости больше, чем с которой борешься.

— Но как это взвесить?

— Это всегда видно, понятно. В случае борцов против самодержавия это вообще исключено: большего зла, чем самодержавие, вообще и придумать нельзя.

— Восстание — это я могу понять, — упиралась Вероника, рассудительно пожимая круглыми плечами. — И то, когда народная стихия, а не когда заставляют примкнуть под угрозой. Но — индивидуальное убийство??

— Да не убийство! — топнула тётя Агнесса, уже раздражаясь. — А как нам оставили прорваться к освобождению, если не через террор? Нам нужна в конечном счёте — общая революция, да!

Но Революцию вводит за руку только Террор! Без террора революция так бы и завязла в российской грязи и глине. Крылатый конь террор — только и вытащит её. Надо видеть не сам террор, а высокие цели его! Убивают не конкретного человека — в его лице убивают само зло!

— Высокие цели, я понимаю, — Вероника мягко, руку к груди, вповёрт к одной тётке и к другой, нет, она не была потеряна, ещё не была разложена этой нигилистической развязностью. И сейчас, вопреки её словам, на лице её видели тётки чистую готовность поверить и увлечься. — И кто же может не сочувствовать освобождению народа, не подозревайте меня в этом. Но вот, вы рассказывали, Гершуни и Кочура написали харьковскому губернатору ложное завлекательное письмо от реальной женщины. Да как же не подумали о её чести? — а в чём эта женщина с её личной жизнью стоит ниже всех тех народных интересов?..

О-о-опять она в болото проваливалась!

— Я говорю, — спешила исправиться, — что, идя на террор, самый даже чистый возвышенный человек ещё прежде того выстрела или взрыва должен совершить какие-то... неблагоприятные шаги. Иногда вот сделать подлог, в другой раз притворяться, лгать, а то воспользоваться для убийства простым человеческим доверием, как вот все эти приходы с прошением в одной руке и с револьвером в другой. А Рогозинникова — даже вечером, в неприёмное время, притворилась слезами, с обиженным женским горем, а у самой не только браунинг, но — и пуд динамита? Да ведь... Ведь при этом теряется доверие между людьми — а оно может быть ещё важнее, чем освобождение народа?

Ну, это было слышать невозможно! Девчёнка тупо ставила на одну доску, равняла в нравственных правах — угнетателей народа и освободителей его! Опять её — на диван и, обсевши с двух сторон, обе тревожно и настоятельно, а Агнесса — особенно, с огненно-дымной страстью, кредо всей своей жизни.

— Девочка, не надо отвлечённой декламации. Мы не стремимся фарисейски оправдываться. Ну конечно, никто не настаивает на «абсолютной» моральной чистоте революционера. Абсолютная моральная чистота вообще мыслима только в ангельском мире. А люди — слишком люди, чтобы быть такими сияющими. Обстановка нашей общей жизни на земле пока слишком пакостна, а российской жизни — особенно мерзостна, и мы не можем не запачкаться хоть краем одежды. Так и о моральной чистоте

те революционера мы можем говорить не абсолютной, а — о чистоте *постольку поскольку*. Поскольку он удерживает себя в дисциплине кристально-чистых намерений, как это было у дяди Антона. Поскольку он живёт в гармонии политических, общественных и нравственных идеалов. Поскольку он отвлекается на нравственно-опасные дороги только по необходимости. Пусть и лжёт — но во имя правды! пусть и убивает — но во имя любви! Всю вину берёт на себя партия, и тогда террор — не убийство, и экспроприация — не грабёж. Лишь бы только революционер не совершил преступления против духа святого — против своей партии! Всё остальное ему простится! Я тебе и другие примеры приведу. Короткое время революционеры вынуждены бывают действовать и сами подобно сыщикам — хотя уж кто ярче испытывал отвращение к этим гамзеям, жандармам и провокаторам! Были случаи, да, — устанавливалась и слежка за подозрительными товарищами, и производились — тайком или насильственно — обыски у них, чтобы проверить подозрение. Да, у революционеров сколько раз бывали — и нарушение неприкосновенности личности, и притворство, и подлог, и обман, — но всегда для чистой цели! И несчастный Сазонов, убивши Плеве, мучился в тюрьме: «Боже, милостив буди мне грешному!» Трагедия террора — это и есть трагедия того, кто взялся нанести освободительный удар! Трагедия человека, кто добровольно взвалил на себя нечеловеческое нравственное бремя. Кто добровольным выбором шагнул под собственную смерть и взял на себя ответственность за всё, что произойдёт! Зато в этой близости к смерти — и очищение. «Иди, борись и умирай!» — в трёх словах вся жизнь революционера. А кто добровольно идёт на смерть, тот не только левее всех политически, но — правее всех нравственно! Да что тут говорить! Да вся наша русская интеллигенция, с её безошибочной чуткостью, всегда это понимала! всегда принимала! Не террорист безсердечен! — безсердечны те, кто осмеливается потом казнить этих светлых людей!

А в случае с Антоном это было ещё очевидней: ведь они не убили кровавого вельможу, только контузили (сперва был слух, что убили, — и уже ликовали обе столицы, и газеты), — и за что же, с какой безсердечностью повешены сами?! Да даже если б и убили — как можно сопоставить, сметь уравновесить жизнь этих жертвенных мальчиков — и этого упившегося карателя? Кто ж настоящий убийца, разве не Дубасов, от кого захлебну-

лась и смолкла Пресня, замерла в агонии революционная Москва??

— А ведь точно известно, — горестно сглотнула тётя Адалия, — что и Дубасов сам просил простить покушавшихся.

— Ну, *точно* это никому не может быть известно, мы документов не читали! — спичечно возразила Агнесса. — Палачи любят украшать себя легендами.

— Слишком знающие люди говорили. Даже Дубасов простил! А не простил их — Столыпин. — Тётя Адалия невесомую руку положила на плечо племянницы. — Так что можно считать, что дядю твоего повесил Столыпин.

Сто-лы-пин! — как угрожающе звучит фамилия. Тенью мрачной пересекла русскую историю.

— Если мы и по сегодня сидим без свободы — так это именно Столыпин отнял её у нас.

А ведь была уже в руках!..

Тёти агнессины глаза, серые с искринкой, вспыхнули:

— А славно наши максималисты рванули его на Аптекарском! Вот покушение! — памятник!

Она сама тогда только что вернулась с каторги по Манифесту, её не брали на акт, давали отдохнуть.

— Грандиозно было задумано! — и только мелочь подвела. Техника их была безупречна: три браунинга по карманам, если удастся подойти вплотную (а один был одет генералом, должен был проникнуть легко), а на запас в портфелях — сильнейшие бомбы, всем погибать так всем! Подвела техника более тонкая: двое террористов были одеты жандармами, но не знали, поди уследи, что за две недели перед тем изменили форму жандармских касок, и по этим чёртовым каскам дежурный генерал и пёсшвейцар кинулись останавливать приехавших (а ещё может быть — слишком бережно несли под мышками портфели с бомбами). Тогда рванулись в переднюю, как успели, — и бросили на пол, как попало. И бомбы рванули прекрасно, да ведь уже были не лабораторные, прошли ремесленные времена Кибальчича и Доры Бриллиант, когда готовили сами на квартирах, — теперь взрывчатые вещества с лучшими гарантиями и в лучшей упаковке продают европейские фирмы. Взрыв был такой силы, что на другой стороне Невки, а она там широкая, выбило стёкла в фабрике. Но счастлив каратель — ни одной царапины. Всё равно Соколов считал удачей: грохнуло на всю Россию, убило и ра-

нило несколько десятков человек, а важна именно грозность террора, планомерность: ещё придём! доберёмся! Должны знать, что на них идёт сила! Дело не обязательно в устранении, а в устрашении.

Но ещё должно было пять лет миновать и многие попытки разбиты, уже отчаивались дерзкие пловцы под нависшей громадой корабельного носа — он шёл и шёл, Россия упивалась обывательским благополучием, казалось отгремела счастливая боевая эпоха, — как раздался исторический выстрел Богрова!

— Ну уж, Неса, выбирай слова.

62

— Конечно исторический: по результату, по последствиям? — первосентябрьский акт превосходит в с е акты, это венец русского террора! — и равен он только первомартовской бомбе. А по справедливости мести...

Тётя Адалия в сомнении покачала головой:

— Знаешь, вот такое ощущение: богровский выстрел — не наше порождение. Общество не ощущает 1 сентября так сердечно и так восторженно, как 1 марта. Первое марта было совершено — прямо нашими руками, и Народная Воля тотчас взяла на себя ответственность. А первое сентября — какой-то чужой, потёмочной душой, двусмысленной фигурой. И никто не взял на себя, ни тогда, ни потом.

— И это — позор для революционных партий! Выстрел Богрова — в е л и к о е событие! И, если хочешь, даже в трёх отношениях. Он совершён в тот год, когда террор считался окончательно подавлен. И организован — одиночкой. И убит — самый главный, самый вредный зубр реакции.

Тётя Адалия зябко свела узкие локоточки:

— Нет уж, нет уж! Честь — выше всего! Ты доказываешь, что террористу многое прощается, — да. Но есть один грех, который никогда никаким судом совести не простится никакому революционеру: это сотрудничество с охранкой.

— Да не сотрудничество!! Надо же различать — сотрудничество или невольное касание в операции. Служба им — или использование их для революции?

— Ну да, азефовщина это плохо, а богровщина — хорошо.

— Да ты не смеешь такого слова даже строить! — полыхнули огнисто-серые глаза Агнессы. — Термин один — азефовщина. Это он — выворотень!

Азеф — Вероника знала: какое-то страшное, гадкое предательство, хуже которого нет.

— А какой такой особенный выворотень? Он — добросовестно служил охранке, а не революции.

— Как? Войдя в руководство партии и втянувшись в акты?

— А в какие такие акты он втянулся, назови? Плеве убили летом Четвёртого, Сергея Александровича — зимой Пятого, и всё это время действовала только Бэ-О, по их уставу ЦК эсеров не мог ни руководить, ни знать.

Агнесса не была эсеркой, но всё же:

— Такие люди, как Савинков, Чернов, Аргунов, не могли же лгать!

— Но когда Лопухин открывал Азефа Бурцеву — то как осведомителя, только. А потом эсеры — придумали двойничество.

— Но зачем бы это им?

— О-о! большой смысл: чтобы перед молодыми эсерами оправдаться в неудачах. Если и правительство запуталось, и правительство убивало даже само себя, чтобы только разгромить эсеров, — другая картина. А почему Гершуни, тигр революции, защищал Азефа перед смертью? Подумай? Он-то больше всех знал, что Азеф никакого отношения к Бэ-О не имел!

Сыпались имена, имена, будто известные всему миру, и угадывалась целая неписаная напряжённая история, которая, в общем, Веронике была и не нужна, но уж если слушать:

— Тётеньки, милые, а кто такая Бэ-О?

— Боевая Организация. Ядро террористов.

— Нет! — тётя Адалия была неумолима, потряхая гладково-лосой, мирной, стареющей головкой. — Перед судом революционной этики не может быть оправдания *никакому* пути через охранку, и этому тоже.

— Ну, какая рационалистическая крайность! — изумлялась тётя Агнесса. — Так ведь так и вообще ничего сделать нельзя! Действовать нельзя! Если охранка используется — против самой себя? Если охранка обманута, опозорена и наказана — тоже нельзя? Это уже чистоплюйство непомерное!

— По нашим народническим идеалам — и такое невозможно. Богров реально служил охранке и предавал.

— Да не доказано это! — пылала тётя Агнесса. — Это же — охранские и данные! Вот судьба одинокого идеалиста: ещё и быть оболганным перед потомками. Богров? — в эпоху всеобщего разочарования и разложения — одиноко! замкнуто! имел твёрдость провести свою стальную линию, — да так одиноко, так тайно, так гордо, что вот три года прошло и только теперь начинают выплывать, разъясняться подробности. Потому что группа анархистов-коммунистов, к которой Богров себя идейно причислял, из какой-то политической осторожности, не захотела публично засвидетельствовать его революционной чистоты. Очевидно, это вредило партийным их целям. И так и засыхает на умершем герое вся эта грязь. Он ушёл загадкой. А либеральчикам — выгодный момент отмежеваться от террора, ведь они теперь разлюбили террор, теперь они хотят заявить себя верноподданными паиньками. А социал-демократы, кто и револьвера в руках держать не умеют, не знают где ручка, где дуло, тоже обрадовались: не свалишь на революционеров, не свалишь на евреев. И ты поддаёшься, Даля, этой гнусной либеральной клевете!

На защите ли, в нападении, но в вопросе страстном тётя Агнесса умела становиться розовато-серой пантерой, розовые пятна к приседи волос. Страшноватой. Уж была лапой — так всех подряд, никого не щадя, никого не боясь.

Но и картина не могла не захватить: одинокий смельчак — и всеобщий заговор несправедливости?

В такие минуты, когда тётя Агнесса особенно горячилась, — тётя Адалия, в своём тёмно-сером или выгоревшем чёрном, как монашенка, старалась как можно больше выиграть кладнокровностью. На узкой груди она сжимала пальцы в неразорвимый замок, а тонкие губы ее выразительно изгибались в недоверии:

— Так-так. Но что-то уж слишком невероятное совпадение: решительно всем, кто никогда ни в чём не сходится, от крайне-левых до крайне-правых, вдруг сошлось выгодным одно и то же: считать Богрова охранником. Не похоже ли всё-таки на неопровержимую истину?

Тёти уже позабыли и племянницу. Когда между ними разгорался принципиальный спор — забывали они, что у них может кипеть, бежать, гореть на плите, не чуяли запахов, не видели дыма — и несколько уже кастрюль погигло в жаре их столкновений.

— Потому что правда о Богрове — страшна правительству и всем правящим! — отдавала розовым Агнесса, рассказывала по комнате с хвостом папиросного дыма. — Потому что: правительству невозможно, стыдно признать, что всю их знаменитую мощную государственную охрану морочил одинокий умница-революционер. Чего тогда стоит весь их департамент полиции! Какое тогда уважение к государству? Ч-чистый случай превосходства блистательного ума! Богров обморочил, переиграл охранку — и открыл себе все недоступные двери! В будущей свободной России Богрову вернут его честное имя. Он станет — из любимых народных героев, ему поднимутся памятники на русских площадях. Реакция в России уже торжествовала полную победу! Всё казалось подавлено на тысячу лет. А тут им высунулся чёрный браунинг — и...

ИЗ УЗЛОВ ПРЕДЫДУЩИХ

СЕНТЯБРЬ 1911

Июнь 1907

Июль 1906

ОКТАБРЬ 1905

ЯНВАРЬ 1905

ОСЕНЬ 1904

ЛЕТО 1903

1901

1899

63

Он родился в день, когда умер Пушкин. День в день, но ровно через 50 лет, через полоборота века, на другом конце диаметра. И — в Киеве.

Его прадед по отцу и дед по матери были винными откупщиками. Дед по отцу тоже долго служил по питейному промыслу, но оказался способный литератор, «Записки еврея» Богрова, напечатанные Некрасовым, сочувственно читались в 70-х годах, а с еврейской стороны вызвали нападки за выставление неприглядных сторон быта. К старости дед крестился ради женитьбы на православною, покинул первую семью и умер в глухой русской деревне ещё до рождения внука. Сын от первого брака, Герш Богров, оставался в иудейской вере, по материнской линии получил наследство, был влиятельный присяжный поверенный с миллионным состоянием (мог одновременно пожертвовать на больницу 85 тысяч), владелец многоэтажного доходного дома на Бибиковском бульваре, второго от угла Крещатика. Он был из видных коренных членов киевского Дворянского клуба, председатель старшин клуба «Конкордия», известен как чрезвычайно счастливый игрок, в его доме за карточным столом сходились знатные киевляне. Семья бывала часто за границей, жили по-барски, у каждого из двух мальчиков была своя фройляйн, учили языки. Младшего, едва подросток и до последнего дня, прислуга звала «барин», и для удобства жизни имел он к своим комнатам парадный вход, отдельный от родителей. Посетителей к нему вводила горничная.

Без труда он был принят в 1-ю киевскую гимназию, тут же, через несколько домов. Как и все гимназисты того времени, он жадно вживался в либеральные и революционные учения. Постоянное сочувствие к революции и ненависть к реакции густились в нём, как и во всей русской учащейся молодёжи. Гимназистом 5-го класса Богров уже посещает кружки самообразования, читает *литературу* и агитирует сам — булочников, каретников. Он очень рано определяет своё презрение к нерешительным социал-демократам, сочувствует *эксам* и террористическим актам. Переменяясь,

он отдаёт свои симпатии то эсерам, то максималистам, то анархистам. В споре с отцом, предпочитающим эволюционное развитие, мальчик до слёз отчаяния отстаивает путь не только революционного изменения строя, но полного уничтожения основ государственного порядка. При одной из поездок с родителями на европейский курорт юный Богров на границе обыскан полицией — и так родителям явлен вокруг сыновьей головы почётный ореол неблагонадёжности.

Весною не какого-нибудь, но 1905 года он кончает с отличием гимназию, той же осенью поступает в Киевский университет. Однако по начавшемуся революционному времени родители отвозят его вместе со старшим братом в университет Мюнхенский. Он долго потом не может простить себе, что поддался этому отъезду: в Киеве его сверстники митинговали на Крещатике, свергали с думского балкона царскую корону, прокалывали царские портреты, стреляли, — братьев Богровых держали в безопасности в Мюнхене. Тут вслед за Манифестом 17 октября произошёл в Киеве еврейский погром — и весть о погроме властно звала младшего Богрова назад: «Не могу оставаться сложа руки за границей, когда в России убивают людей!» Но родители не дают ему отдельного паспорта, хотя ему и девятнадцатый год.

В Мюнхене он обильно изучает революционную литературу — и отвергает избранный им анархизм-индивидуализм за то, что тот прославляет личность как таковую и ведёт к буржуазному идеалу. Он читает Кропоткина, Реклю, Бакунина — и переходит к анархо-коммунизму. Это учение — враг государства, собственности, церкви, общественной морали, традиций и обычаев: каждый член общества может и без того рассчитывать на такое количество благ, которые ему потребны, — ведь человек по природе не корыстен и не ленив и никто не будет уклоняться от работы, ведь в людях глубже стремление ко взаимопомощи, чем к обособлению.

Но его всё время мучит, что он ушёл от напряжённой борьбы тяжёлого времени, — и в конце 1906 он возвращается в Киев.

Рос и зрел дисциплинированный ум и характер со способностью к систематическим действиям. Среди черт его проявились постоянная сосредоточенность, внимательность, осторожность, даже напряжённость. Отметной особенностью его было — никогда ни с кем не соглашаться, всегда иметь своё мнение. На массовке в Дарницком лесу его описывают отстранённым, нелюдимым,

необщительным, в выступлении — отчётливо-отрубистым. По замкнутости натуры он и действительно нуждался часто в уединении, остояться самому с собой, предпочитал отношения деловые, друзей отталкивал иронией, насмешкой, холодностью. Насмешка так и струилась из его острых глаз, оттопыренных губ, ему стоило усилия выражаться не колко. Но иногда он находил силы побыть в компании с запасом фраз на случай и даже с короткой репутацией «весёлого малого, хохмача».

Взгляд его, теперь всегда за пенсне в металлической или черепаховой оправе, был вдумчив, со смесью печали и иронии. Наружность никак не была революционной, напротив — в узких рейтузах, при свежем воротничке и чёрном галстуке, он выглядел типичным белоподкладочником. Одет был чаще всего элегантно, и манеры таковы. Он был высоковат, всегда худ, бледен, или с нездоровым румянцем, неестественно моложав — к двадцати годам никакой растительности на лице. Всегда он казался истощён, переутомлён, недоумён и невесел. И голос его был надтреснут, с вибрирующими нотками, как у лёгочных больных. Когда же Богров улыбался — улыбка как бы механически добавлялась к его лицу, а черты не пропитывались ею. Телесной силы совсем не было в нём, как он ни нагонял её гимнастическими приспособлениями в своей богатой квартире.

Филёры дали ему кличку «Лапкин» — метко, и по наружности и по манере действовать.

Ему немало и рано выпало светской жизни, киевских клубов, театров, бегов, скачек, зарубежных курортов. Он играл на тотализаторе, в карты, в рулетку, отдавался азарту, ценил его. Отец не слишком стеснял сына в денежных выдачах.

Богров никак не считал такую жизнь своим идеалом, но и не мог отказаться её вести. Изнеженное тело его привыкло к благам и даже на самый короткий срок отвращалось от сурового испытания. Вот это своё охотное приспособление к удобствам он считал своей слабостью, развращённостью. Для того чтоб этими удобствами пользоваться без зазрения, надо иметь другую, скрытую, осмысленную жизнь. Такую жизнь могла быть только жизнь революционера. Так как и внутренние стремления и общественная температура втягивали молодого Богрова туда же — он и делал шаги ознакомления в революционной среде.

Одно время в университет он ходил с браунингом в кармане — потому что ненавидел насилие и обязан был с ним бороться во вся-

кий внезапно возникающий момент. Браунинг из кармана взывал к свободе. Но к возне студенческих организаций Богров относился пренебрежительно: в университет ходят экзаменоваться, а выступать на простой студенческой сходке уважающий себя конспиратор не станет.

Выбор правильной партии — решающий выбор жизни. Богров ещё снова колебнулся к решительной партии максималистов — и опять снова к анархистам. В 1907 году среди анархистов, достигших и не достигших 20 лет, — Наума Тыша, братьев Городецких, Саула Ашкинази, Янкеля Штейнера, Розы 1-й Михельсон, Розы 2-й — Богров уже слыл умелым и смелым боевиком, хотя сам ещё ни разу не участвовал ни в одном эксе, ни в одном акте, ни в одном прямом нападении, лишь смело отбивался при разгоне литературно-драматического общества да пропагандировал среди арсенальных рабочих. Но товарищи ценили Богрова за остроту суждений, верность мнений и хладнокровие в прятании и пересылках оружия. В его руках были партийные деньги, он финансировал расходы по устройству лаборатории взрывчатых веществ, покупку оружия и транспортировку его дальше по Югу, но даже и в Тамбов и Борисоглебск. Правда, некоторые, как Леонид Таратута, Иуда Гроссман, Дубинский, недолюбливали Богрова за его богатое положение, для всех его кличка была «Митька-буржуй», однако он стал утверждённый герой, особенно для девушек — Ханы Будянской, Ксеньи Терновец, которые вне партийной деятельности им бы не восхищались. Среди киевских анархистов положение его стало так значительно, что, когда Бурцев при побеге из Сибири пробыл пять дней в Киеве, — единственный анархист, который знал его укрытие и встречался с ним, был Богров.

И многих своих товарищей он превосходил теоретическими суждениями. Он указывал, что для обширных массовых движений и общественных переворотов нужна настолько организованная партийная деятельность, какой у них не было и быть не могло — при возмутительно плохой конспирации и недержании речи, — небрежности конспирации выводили его из себя. А что всегда было легко применить и давало яркие результаты — это террор. Всякий акт революционного террора достаточно мотивируется всем укладом буржуазной жизни, важно только понять классовую целесообразность в данный момент. Неправильным он считал направлять террор против крупной буржуазии, а правиль-

ным — против чинов самодержавия, причём не стрелочников убивать, а — самых главных, то есть террор *центральный*. В ответ на стеснения евреев и разные киевские эпизоды с ними, после разгона вот уже Второй Думы, — Богров не раз и не одному высказывал, что надо переходить к государственному террору, предлагал убрать начальника Охранного отделения, Жандармского управления и командующего Киевским Военным округом Сухомлинова. В том году он высказывал намерение и сам лично убить кого-нибудь из высокопоставленных. Позже этот мотив погас у него, не слышали.

Разные группы российских анархистов выражали свои буйные убеждения в трёх эмигрантских журналах: «Анархист», «Бунтарь» и «Буревестник». В одном из них как-то напечатал теоретическую статью и Богров. В ней он осуждал *экономический террор*: убийство заводских мастеров не наиболее разрушающе действует на современный строй, а иногда может и оттолкнуть рабочих от анархизма. Осуждал и профсоюзы: борьба за лучшие условия *продажи* рабочей силы никак не является частью революционно-насильственной борьбы рабочего класса. Но: первый вопрос практики революционной работы — отношение к экспроприациям. Дело в том, что у вожakov анархистов развился дух компромисса к тому, чтобы деньги, добытые экзами, распределять на личные нужды самих анархистов. Но такая экспроприация не имеет решающего революционного значения, ибо деньги переходят как бы от одного собственника к другому. И киевская группа анархистов, уверял Богров, отказалась от личного дележа добытых денег.

Уж если б она совсем отказалась или давно отказалась, то негде было бы Богрову эту делёжку наблюдать. Но всё более смущало его кипение анархистского дележа. В письмах и разговорах того времени Богров решался даже высказывать отвращение к этой корысти. Отвечали братья-анархисты: «Тебе, буржуй, хорошо говорить, тебе папаша даёт!» — и он тупился. Так легло принципиальное раздражение между ними. Среди революционеров всегда полагалось говорить только об угнетённом пролетариате, как будто слои достаточные, самодеятельные, просвещённые не достойны были ни защиты, ни свободной лучшей жизни.

Даже начинало казаться Богрову, что все эти революционные партии и группы больше сходственны, чем различны, так что не столь и важно, какую изберешь. А хоть и никакую. Никакой *член*

партии ничего крупного совершить не может, а только свободная талантливая личность.

Отец посмеивался: он уважал своего умного сына и вовсе не сомневался, что тот очнётся. А лёгкое касание к революции и большие симпатии к ней — обязательны для всякого порядочного человека в России.

А тут как раз и вся революция по всей стране — опала, распалась, показав свою неготовность и ничтожество. В 1907 в ответ на разгон Думы не вспыхнула полоса военных мятежей, ни забастовок, как годом раньше. Свалило, сдуло все знамёна, крики и взрывы революции. Такую уже почти взятую игру — и проиграли бездарно! У революции не оказалось верных сил, а у самодержавия — оказались.

Да с этим сбродом, какой повидал Богров, мудрено было бы победить. Никаких революционных железных рядов из них не составить. А даже и победить с ними вместе страшно: эта рвань ничего и не жаждала, кроме грабежа и дележа. После победы они выступили бы разрушителями свободной и независимой жизни.

Теперь испытывал Богров физически брезгливое чувство, как очиститься от этой швали, как отрясти с себя связи подполья и вернуться в свою преимущественную устойчивую жизнь. Вернуться не для счастливого прозябания, но хотя бы иметь досуг и простор обдумать унижительное поражение. Развитое общество, круг и слой Богрова, — он-то и понёс поражение, у него-то и вырвали уже взятую свободу.

Однако отрясти прежние связи было и не так просто: все эти братья-анархисты и сёстры-анархистки — Эндель Шмельте или Ровка Бергер, Шейна Гутнер или Берта Скловская — вцепились в Богрова и держались. В наступающее строгое время они своим неумелым копошеньем и несдержанной болтовнёй могли и должны были его погубить, а все вместе не были способны ни на что действенное. По простым санитарным мотивам была бы достойна эта грязная публика стереться с киевских улиц. Процесс ухода от них неизбежно должен был стать мероприятием активно-санитарным. В том и досада была, что Богров измазался ни за что, ничего не совершив, — а из-за этого не мог теперь двигаться дальше, уже под подозрением, уже на дурном счету у охраны.

Он хотел уйти от партии — а не от революционного действия. Он больше — или пока — не нуждался ни в партии, ни в организации, и даже не знал таких отдельных людей, с кем хотелось бы поделиться замыслом или сотрудничать. Одинокий и хрупкий, он

нуждался сам изжить горечь, искать и искать какой-то путь — переиграть проигранное, он не мог примириться с разгромом.

Но на всяком пути действия ему противостояла и перегораживала — Охранка.

Надо было снять её пристальность к себе, если такая где-то таится. Но не благонамеренным же тягучим замиранием. А — самому, наоборот, пойти, проникать её и понять. Врага надо знать. Познакомиться с этим львом, пощекотать ему усы? Снова острая игра, этап игры. Того стоит.

И даже не противоречит его недавнему. У анархистов нет партийной дисциплины, учение анархистов допускает каждого члена выбирать линию поведения по собственному усмотрению.

А узнав врага, можно будет лучше понять, как его обвести. Кое-какие методы и тонкости работы охранки хорошо освещались в легальном журнале «Былое». Остальное надо было доузнать собственным опытом.

Если действовать — даже никакого другого решения и найти было невозможно.

Всего полгода — от своего приезда из Мюнхена — провёл Богров в кипении киевского анархизма — и уже пришёл к такому решению. И он — явился в киевское Охранное отделение и предложил услуги *сотрудника* — тайного осведомителя. Добровольная явка студента, да ещё из такой почтенной семьи, да ещё такого подавляющего ума, — редкий случай, чрезвычайно обрадовавший начальника секретной агентуры Охранного отделения ротмистра Кулябку. (Богрову нетрудно было предварительно собрать сведения, что Кулябка — не алмаз охранного дела, неудачно служил в московской полиции, уволен, здесь был писцом, но поднят протекцией своего шурина, тоже поднявшегося.)

Однако приятной беседой и улыбками такое знакомство не могло ограничиться, — совершенно ясно, что предстояло *называть* — лица, события, планы. Богров обдумал тактику и ранее — а смотря на глупо-хлопотливое лицо Кулябки и вовсе уверился в своём обезпеченном превосходстве. Кулябка был выдающийся баран, до поразительности ни о чём не осведомлён, рад каждому второстепенному сведению и не могущий различить ценности его. (А Богров ещё так недавно предлагал применять к этому дураку террор!) При такой ситуации не было и нужды производить крупные выдачи. Можно было дурить: придавать вид агентурных сведений некоторым результатам уже происшедших провалов. Мож-

но было в увлекательной форме представлять сведения безразличного характера или хотя бы партийную дискуссию. Или указывать явные преступные деяния — но без лиц. Или известных лиц, но без преступных деяний. Ощущая десятикратное превосходство ума, всё это Богров разыгрывал без труда — и суетливый, глупый, жадный Кулябко сиял от его осведомлённости, Богров казался ему светочем, ни с кем подобным он не работал. Разумеется, приходилось давать и более существенный улов — но можно было и пожертвовать кем-то из этой скотины, только грязнившей революционное знамя: чей-то адрес, или по какому подложному документу живёт, чью-то линию переписки, не самой важной; или пункт передачи журнала «Буревестник»; или свинячью группу борисоглебских максималистов; и группу анархистов-индивидуалистов (может быть немного увлёкся, не надо было); или предупредить экспроприацию в Политехническом институте (всё равно делили бы деньги между собой). То — разъяснил трудное дело Юлии Мержеевской, нервической и даже сумасшедшей девицы, лишь по случайности не успевшей в Севастополе убить царя (опоздала на поезд), но затем болтавшей о своём покушении вслух и всё равно обречённой. Богров вошёл в её доверие, брал её конспиративные письма и носил в охранку. (После этого уже не было границ кулябкинского доверия.) Но при провале группы Сандомирского Богров владел самыми серьёзными документами — и не выдал их.

Для правдоподобия пришлось и самому испытать дома обыск, огорчив родителей, затем, до конца 1907 года, на время самых интенсивных арестов, уезжать в Баку. Воротясь — тем спокойнее продолжать свои еженедельные визиты в охранку.

Хладнокровному, пронизательному, внимательному юноше всё это доставляло забавный наблюдательный материал — ограниченность этих чиновников, неукрытые личные мотивы их, слабость методов, слепота, — невероятно, на чём вообще эта охранка держалась и существовала ли она в самом деле в России. По сути, только то существенное и знали они, что могли им принести секретные осведомители. Кулябку Богров рассматривал только юмористически. Обманув столько недоверчивых революционных друзей — этого-то селезня ничего не составляло дурить.

Разумеется, для правдоподобия Богров жаловался, что отец скуп, трудно бывает расплачиваться с картёжными проигрышами, — и получал от охранки в месяц когда 150 рублей, когда 100, смеясь, как легко они полагают покупать верность.

Когда в 1908 году Богров предложил друзьям-анархистам так построить анархическую работу в России, чтобы в Киеве сохранялись только конспиративный центр и лаборатории, а террористические выступления перенести на остальную страну, — то кроме несомненной тактической разумности он не без насмешки думал, что и им с Кулябкой так будет покойнее.

Ещё, повышенно интересуясь побегам из тюрем и помогая эти побеги устроить, Богров провалил два важных — Эдгара Хорна и группы Наума Тыша, своих товарищей из Лукьяновки. При этом, чтобы пригасить подозрения, он должен был арестоваться и сам — и осенью 1908 арестован. (Как предуказанием судьбы: у здания оперного театра и в сентябрьскую ночь!)

Свой арест Богров сам же и предложил Кулябке, но в решительный момент дрогнул: его изнеженность протестовала окунуться в душную общую Лукьяновку, он телесно испугался тюрьмы — и Кулябко устроил ему сидение при полицейском участке: приличную комнату с казённой обстановкой. Однако и в этой льготе Богрову невыносимо было оставаться пленным — и он метнулся к опрометчивому решению: освободиться уже через 15 дней.

Такое скорое освобождение вызвало, конечно, подозрения к нему и даже слухи о провокаторстве. Богров объяснял хлопотами влиятельного отца (хлопоты и были честно произведены, и даже киевский губернатор участвовал в них). Но тут в Женеве расправились с Борисом Лондонским (он же Бегемот, он же Карл Иванныч Йост) — провокатором безусловным, провалившим и всю мощную южную Интернациональную Боевую Группу анархистов-коммунистов, и звезду анархизма Таратуту и загнавшим в тупик самоубийства одного из Гроссманов, — и теперь на казнённого упали и другие подозрения, а Богров обелаялся.

Особенно поразило, что убийство произошло в вольной голубоватой Женеве. Даже в тех прекрасных западных городах и на лазурных курортах, ни в Мюнхенском университете, значит, не оставалось покойного житья, если ты заподозрен товарищами. А Богров после освобождения, взяв заграничный паспорт, как раз и ехал полечиться в Меране, пожить в Лейпциге, Париже, а заодно и посетить заграничные анархистские центры. (Иногда и охранка оплачивала ему такие поездки, он из них привозил Кулябке что-нибудь свеженькое, забавное. А службисты все друг с другом повязаны, и вот Богров по частному поручению Кулябки посещает в Ницце помещика Бутовича с предложением добровольно усту-

пить жену — генералу Сухомлинову, так и не убитому, да видно, что и убивать незачем.) Но как ни чисто работал — подозрения против него длились, тянулись, слухи повторялись. Нельзя было дать им ходить. Богров возвратился в Киев и в конце 1908 добился своего оправдания от товарищеского суда анархистов в Лукьяновской тюрьме. С этой реабилитацией он в начале 1909 снова поехал в Париж и просил опубликовать её в эмигрантской печати. Центровые анархисты отговорили его: это было бы только раздуванием сплетен вокруг его честного имени.

Теперь, когда большинство товарищей пошли по тюрьмам и каторгам, Богров стал фигурой, одним из немногих *старых работников*, уцелевших после разгрома, — а с устойчивыми заграничными связями и единственный в Киеве, так что мог быть уверен: если где по России анархисты что захотят предпринять — они будут списываться с Богровым.

Но честолюбие никогда не было настойчивым чувством его. А эта ответственность была ему лишняя, а острота этой двойственности была куда больше, чем испытаеть на тотализаторе или на рулетке. Он пробирался в полной одиночной тайне (ни отцу, ни брату этого нельзя было говорить, а любимой женщины у него не бывало) — и только мог художественно полюбоваться сам, как это удалось: проползти безшумно, невидимо, между революцией и полицией, разыскать там щель и точно в неё уложиться. Никто больше в России не догадался так!

И вдруг — в том же январе Девятого года, когда Богров добивался печатать свою реабилитацию, в той же самой эмигрантской печати, а через несколько дней и в российской — он прочёл об Азефе. Это остро ранило его двойкою: не только он оказался не один такой оригинальный, умный и изворотливый, но вот — и покрупней его, но вот он видел и публичное раскрытие: как такое двойничество кончается. По всем газетам он следил за каждой подробностью, даже приходил в одну киевскую редакцию — уточнить вопросом. Как разбивается толстое стекло, со змеистыми трещинами во много сторон, — так от провала Азефа нельзя было сосчитать и исследовать все выводы. Многократно увеличатся подозрения революционеров. Увеличится недоверие охранки. Если не один такой Богров в России, то и не двое их с Азефом, их могло быть много, как в отражательных зеркалах, и те, с кем безопасно он играл, могли на самом деле играть с ним. И — оказывалось у него совсем не просторно, не так много времени, как он считал.

А он — ещё ведь и шагу не сделал по пути своего большого замысла. Он и по сегодня — вот четвёртый год — не отомстил за киевский еврейский погром октября Пятого года, от которого дал себя увезти — в 18 полных лет увезти, по сути бежал.

И, как ища опоры оправдания, он в ту зиму в Париже без надобности нарушил свою глубочайшую конспирацию, высказал редактору «Анархиста» свою непокинутую, вынашиваемую и даже всё более определённую идею *центрального террора*. Наша задача — устранять врагов свободы, внести смуту и страх в правящие сферы, довести их до сознания невозможности сохранять самодержавный строй, да. Но для этого надо убивать не губернаторов, не адмиралов, не командующих войсками: убить надо или самого Николая II или Столыпина.

А слова, высказанные нами вслух и с которыми люди связали нас, — уже как объективный факт обратно входят в наши убеждения, укрепляя их.

И теоретически легко рассчитать, что именно так: повернуть течение огромной страны может только центральный террор, конечно же не губернский. А в Столыпине — и издали было видно — собралась вся неожиданная сила государства, о которой два года назад нельзя было и предположить, что она возродится. И властный руководитель этой дикой реакции — именно Столыпин, самый опасный и вредный человек в России (о нём много и недоброжелательно говорилось в круге отца). Кто сломал хребет революции, если не Столыпин? Режиму внезапно повезло на талантливого человека. Он неизгладимо меняет Россию — но не в европейском направлении, это видимость, он оздоравливает средневековый самодержавный хребет, чтоб ему стоять и стоять, — и никакое подлинное освободительное движение не сможет разлиться. Умён, силен, настойчив, твёрд на своём — так он и есть несомненная цель для террора.

Как будто Столыпин не предпринимал никаких мер против евреев? Но он создавал общую депрессивную обстановку. Именно со столыпинского времени и с его Третьей законопослушной Думы евреев стало охватывать настроение уныния и отчаяния, что в России невозможно добиться нормального человеческого существования. Столыпин ничего не сделал прямо против евреев и даже провёл некоторые помягчения, но всё это — не от сердца. Врага евреев надо уметь рассмотреть глубже, чем на поверхности. Он слишком назойливо, открыто, вызываяще выставляет *русские*

национальные интересы, русское представительство в Думе, русское государство. Он строит не вообще свободную страну, но — национальную монархию. Так еврейское будущее в России зависит не от дружественной воли, столыпинское развитие не обещает расцвета евреям.

Богров мог идти в революцию или не идти, перебивать у максималистов, или анархистов-коммунистов, или вовсе ни у кого, как угодно менять партийные убеждения и сам меняться, — но одно было ему несомненно: невероятно талантливому народу должны быть добыты в этой стране все полные возможности развития нестесняемого.

Однако само жизненное сопротивление не даёт нам успевать за нашими замыслами. Подходит и время кончать университет — ради российского диплома. Может быть, это и лучше — как можно меньше встречаться с уцелевшими анархистами, остужать прежние связи, — а Кулябке всегда можно наворотить любую пустую ерунду. Если кто посторонний, но развитой, спрашивал о политике, Богров отвечал: «Перестала интересоваться». Зато часто видели его, безукоризненно светского юношу, в клубах Коммерческом, Домовладельческом, Охотничьем за карточными столами.

Но всё это мало радует двадцатидвухлетнего. Он заключает, что в конце концов жизнь — это унылая обязанность съесть безчисленный ряд котлет, и только. А глубже всего, вероятно, его разочарование от того, что он не встречает женской любви. Этим веет и его портрет — чистюли с растопыренными губами. А в разговорах и письмах он роняет о личных неприятностях, которые доводят его до бешенства. (Не утихают подозрения против него.) И, как всегда в таком положении, более всего опостылевшим кажется нам само место — вот Киев, который, однако, нельзя покинуть из-за цепи экзаменов, затем и эта неудобная страна, затем и своя безудачная жизнь. Лучше бы всего — прокатиться опять за границу, на Ривьеру, но — связанные руки, экзамены, экзамены.

Наконец, в январе 1910 он оканчивает университет «безполезным членом адвокатского сословия». Как еврей, он не может стать сразу присяжным поверенным. Отец предлагает ему крупную сумму открыть коммерческое дело — он отказывается. Но канцелярия губернатора даёт подтверждение о его политической благонадёжности — и Богров приписывается помощником киевского присяжного поверенного Гольденвейзера, друга отца. Однако работа не

нравится ему, и хочется поскорее куда-нибудь уехать из Киева (гнетут подозрения революционных товарищей, и Кулябко тоже советует ему уехать). Но — куда? Где в этой унылой стране можно приткнуться? Не в какой же нибудь губернской дыре Европейской России, так и слепленной из болот и невежества, — разве вот в интеллектуальном свободолобивом ссыльном Иркутске? Теперь, с университетским дипломом, он имел повсеместное право жительства, чего прежде не было, ибо принципиально он, как и отец, не хотел креститься для получения льгот, и в документах по-прежнему стояло: Мордко.

Да и ещё ж одни оковы: воинская повинность. Даже окончившие университетские ещё должны отслуживать в их армии. К счастью, вот и бумажка освобождения (уж чисто ли от врача или опять отцовской помощью): этот юноша не может служить в армии по глазам, он не способен *прицелиться и выстрелить*.

В последние его университетские месяцы прогремел из Петербурга взрыв на Астраханской улице и открыл, посмертно, ещё одного двойника — Петрова-Воскресенского. Так сколько же нас таких? Каждый открывался публичности при вспышке своей гибели и на разной протяжённости их головоломного пути, в разных позах — скрюченного или поднебесного вызова — могла осветить их эта последняя вспышка.

Вся история Петрова-Воскресенского так и не открылась полностью, но сколько можно было понять — Петров возвысил уровень изобретательности террора на ступень по сравнению с прежними боевиками: он вёл сложную личную одиночную игру между эсерами и охранкой, сам обмысливал ходы, сам разыгрывал их, стал необходим охранке — и заводил невод взорвать сразу кучу крупнейших чинов полиции, вместе с Курловым, заместителем министра, — но по случайности взорвался только Карпов один.

Пример Петрова был поучителен: как не надо отдавать себя глупому заданию подпольной банды. Не к такому готовил себя Богров. Он чувствовал в себе накопленное сосредоточение — пойти на поединок с целым государством — и ударить в центр его. Теперь, освобождённый и от университета, и от армии, — теперь он кинулся из Киева без сожаления вон — и конечно не в Иркутск, а в Петербург. Там будет всё видней.

Петербург — не центр свободомыслия, зато там положение адвоката-еврея благополучнее, чем в любом другом городе. Там

жил и брат Лев, тоже помощник присяжного поверенного, по нынешним временам вся семья Богровых шла в адвокаты. Известный присяжный поверенный Кальманович по связям охотно взял к себе Богрова помощником. Правда, адвокатский приём не успел сложиться и заработка не дал, но по другим связям устроили Богрова ещё и в общество по борьбе с фальсификацией продуктов питания. Стал Богров и в Петербурге завсегдаем клубов.

Он как будто был и облегчён порвать с киевским Охранным отделением, но и — по запаслivosti? — просил Кулябку послать о нём рекомендации новому начальнику петербургского отделения фон Коттену, преемнику Карпова. Не сразу, но в июне он дал о себе знать — и встретился с фон Коттеном в ресторане.

Фон Коттен, потому ли, что так оплошно погиб его предшественник, был недоверчив, сдержан, да и умней Кулябки, да, кажется, и не понравился ему Богров. Но поручил новичку следить за петербургскими анархистами и предложил те же 150 рублей в месяц. На второй встрече Богров ответил, что анархистов в Петербурге нет, — ну, тогда за эсерами. Богров — зачем-то опять как будто возобновлял эту игру — хотя не знал ясной цели, и не имел намерения серьёзно что-либо *освещать*, и не испытал той юмористической снисходительности, как к Кулябке. Он как будто и стал сообщать нечто, с очень слабой регулярностью, — по скудости знаний у охранных отделений это даже могло походить на серьёзное осведомление? — а серьёзного не было ничего. Не могли охранку обогатить такие сведения, что у заграничных эсеров взбудораженность против Бурцева: зачем он сенсационно поспешил открыть партийную принадлежность Петрова? Самое большее вот такой эпизод: из Парижа с письмами от ЦК эсеров приехала какая-то случайная дама и должна была передать их или через Кальмановича (небольшой вред Кальмановичу, но он стоит крепко), или через Егора Лазарева в редакции на Невском, но эсеры забыли про Троицу, по празднику всё было закрыто на три дня, все в отсутствии, и пристраивать письма досталось Богрову, отчего он и мог показать их фон Коттену, а ничего определённого или слишком интересного не было в них, потому-то Богров их и показал. Ведь он не служил, он, пожалуй, на фон Коттене продолжал исследование Охранного отделения, только теперь столичного. И впечатление было не намного уважительней, чем о киевском. Вот — и Петров тут управился хорошо.

Петров отражался, отражался в двойных зеркалах, показывая Богрову его самого и какие возможности есть (их было, конечно, больше, чем тот разглядел).

Но — и нелегко стягивалась жертвенная воля, расслабленная буржуазным существованием, — как когда-то не собралась посидеть в Лукьяновке.

И вдруг — внезапный случай. В том же июне Богров от своего общества по борьбе с фальсификацией пришёл невзрачным агентом на городской водопровод — по контролю очистных устройств. И вдруг — лишь чуть отгесняя его, без охраны, без предосторожностей, в сопровождении инженеров шагах в десяти прошёл и даже останавливался — С т о л ы п и н !

Крупной фигурой, густым голосом, и как он твёрдо ступал, и как уверенно принимал решения — Столыпин ещё усилил то впечатление крепости, несбиваемости, здоровья, какое улавливалось и через газеты, с дальних мест всероссийского амфитеатра. Да сила и всегда была несомненна, раз один человек мог вывести такую страну из такого положения. Эманацией за десяток шагов так и потянуло на Богрова этой силой — победной и враждебной.

А браунинга, а браунинга — не было в кармане! — оставлена та привычка...

Да если б и был — не было решимости, вот так сразу — и...?

Теоретически всё было давно обосновано и ясно, — но вот так сразу и... ?

Эта встреча обнажила Богрову его безсилie и погрузила в мрачность. Если можно было рассчитывать на невероятность — так вот она произошла! — и миновала! — и второй уже не ждать.

Ни к чему не приблизил его Петербург...

Но Столыпин же, в своей речи об Азефе, которую Богров перечитывал со вниманием ненависти, прямодушно и подтвердил план Богрова. Что никакой серьёзный акт уже не стал успешным, если он связан с большой организацией. Столыпин среди тысяч поверхностных читателей нашёл внимательного, Богрова: что с 1906 года у ЦК эсеров сплошь провалы актов — и значит, вместе с ними действовать нельзя. Покушение на Аптекарском острове, экс в Фонарном переулке, убийство Мина, Павлова, графа Игнатьева, Лауница, Максимовского — все удались только потому, что действовали автономные группы, летучие дружины, не имеющие связи с ЦК.

Неизбежный центральный террор не мог, не мог оказаться невыполним даже и в эпоху всеобщей расслабленности! Но только — единолично!

У Богрова обострился интерес к криминалистике. Иные дни он высиживал в уголовном суде в качестве простого слушателя. Писал из Петербурга: «Я влез в миллионы разнообразных комбинаций. Когда-нибудь это будет *что-нибудь в особенности*, как мы говорили».

А ходил по Петербургу тихий, вежливый, замкнутый. И даже с квартирной хозяйкой — ни слова никогда ни о чём.

Тот маловажный случай с эсеровским письмом из Парижа привёл Богрова сходить и к Егору Лазареву. Лазарев был известный член эсеровской партии, враг режима, сторонник уничтожительного террора, но в данный момент не мог быть ни в чём уголовно обвинён и мирно работал в одной из редакций на Невском, не высылаемый даже из Петербурга.

После того первого маловажного визита Богров, волнуясь, напросился на вторую встречу с Лазаревым. Волнуясь, потому что и партия эсеров была несравненна с анархистами по террору центральному, и сам Лазарев в партии — фигура немалая. И вот ему первому и единственному решился Богров приоткрыть свой созревающий замысел. (Да как убедить, чтобы поверил?)

Явился к знаменитому эсеру полуболезненный, утомлённый безусый юноша в пенсне, с передлинёнными верхними двумя резцами, они выдвигались вперёд, когда при разговоре поднималась верхняя губа, — и голосом надтреснутым объявил:

— Я — решил убить Столыпина. У меня нет для этого подходящих товарищей, но они даже и не нужны. А я — твёрдо решил.

(Уже совсем ли твёрдо? совсем безповоротно? Ведь ко многим отчаянным мыслям мы иногда примеряемся как бы в игру: а что, если вот сейчас выпрыгнуть из поезда?..)

Лазарев не мог скрыть улыбки:

— Да что ж это вы так сразу высоко?

— В русских условиях, — ответил Богров давно готовым, — систематическая революционная борьба с центральными правящими лицами единственно целесообразна. В России режим олицетворяется в правящих лицах. Убивать подряд каждого, кто б ни занял эти места. Не давать никому задерживаться. Тогда они уступят. Тогда мы изменим Россию.

— Но почему сразу именно Столыпин? — всё ещё насмешливо, как мальчика, спрашивал Лазарев. — Как вы взвесили: за что именно его?

О, да! это было более всего и взвешено:

— Надо ударить в самое сплетенье нервов — так, чтобы парализовать одним ударом всё государство. И — на подольше. Такой удар может быть — только по Столыпину. Он — самая зловредная фигура, центральная опора этого режима. Он выстаивает под атаками оппозиции и тем создаёт режиму ненормальную устойчивость, какой устойчивости на самом деле нет. Его деятельность исключительно вредна для блага народа. Самое страшное, что ему удалось, — это невероятное падение в народе интереса к политике. Народ перестал стремиться к политическому совершенствованию. Так забудут и Пятый год! Люди вживаются в это благоустройство жизни — и стирается память обо всём Освободительном прошлом, как будто не было ни декабристов, ни нигилистов, ни Герцена, ни народовольцев, ни кипящих первых лет этого века. Столыпин подавляет Финляндию, Польшу, инородцев. Поразить всё зло одним коротким ударом!

— Но слушайте, молодой человек, — уже с большим сочувствием говорил Лазарев, — о Столыпине со сладострастием думали уже столько боевики — но никому никогда не удалось.

— Простите, — сдержанно, методично, невозмутимо настаивал болезненный, слабый молодой человек в пенсне, с руками слабыми и даже как бы чуть пригорбленный от физического недоразвития, — но убийство Столыпина — хорошо обдуманная задача, которую я решил во что бы то ни стало выполнить. Если можно так выразиться — он слишком хорош для этой страны. Я решил выкинуть его с политической арены по моим индивидуальным идеологическим соображениям. К тому же есть и хорошая традиция убивать именно министров внутренних дел. Это место — должно обжигать.

Уже под впечатлением такой взвешенной готовности и в большом раздумьи, не зная этого юношу достаточно, Лазарев продолжал возражения:

— Но вы — еврей. Обдумали ли вы, какие могут быть от этого последствия?

Всё он обдумал! Ещё готовней отпечатал:

— Именно потому, что я еврей, я не могу снести, что мы, позвольте вам напомнить, до сих пор живём под господством черно-

сотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей. А где Герценштейн? А где Йоллос? Где тысячи растерзанных евреев? Главные виновники всегда остаются безнаказанными. Так вот я их накажу.

— Отчего ж тогда сразу не царя? — усмехнулся Лазарев.

— Я хорошо обдумал: если убить Николая Второго — будет еврейский погром. А за Столыпина погрома не будет. Да что Николай, он игрушка в руках Столыпина. Потом — убийство царя ничего не даст. Столыпин и при наследнике будет ещё уверенней проводить свою линию.

Интеллектом своим Богров, как всегда, произвёл сильное впечатление. Но не физическим видом. И Лазарев оставался в колебании и покручивал головой.

— А зачем, собственно, вы пришли мне это объявить? Я должен быть вам чем-нибудь полезен?

— Я и в Питер приехал, собственно, для того, чтобы повидаться с вами, — тут подоврал Богров.

Однако, спешил объяснить, он совсем не пришёл просить у мощной партии эсеров — помощи, материальной или технической, или курса обучения, как убивают премьер-министров великих государств. Нет, он всё рассчитает сам и сумеет всё сам. Ему только вот что нужно: *от чьего имени он убьёт?* Он просит разрешения сделать это от имени партии эсеров, вот и всё.

— Я всё равно так сделаю, это решено. Но меня тяготит мысль, что мой поступок истолкуют ложно — и тогда он потеряет своё политическое значение. Для воспитательного эффекта надо, чтобы после моей гибели остались люди, целая партия, которые правильно объяснят моё поведение.

Богров уверял, как это всё решено и безповоротно, а Лазарев слышал его прерывисто-вибрирующий голос, шурился на болезненно-вялое его лицо, на изнеженную тщедушность — и не верил в его решимость, и ясно представлял, как ему не хватит силы дошвырнуть бомбу или, меча её, как он обронит пенсне. Как, схваченный полицией, он саморасшлѣпнется в мокрое место — и положит невзрачное пятно на репутацию партии эсеров. (А может и вообще всё — провокация?) И опять отшучивался:

— Да что это вы — в таком раннем возрасте и такой пессимизм? Вероятно — несчастная любовь? Переживёте, пройдёт.

Богров настаивал, что его решение совершенно окончательно. (В самой необходимости настаивать оно ещё укреплялось.)

И от чести такого акта — как может отказаться партия эсеров? Тяготит, что в полной тайне подготовленный, никому не объяснённый индивидуальный акт может подвергнуться кривотолкованию. Хорошо, он просит партию эсеров санкционировать акт только после следствия, суда и казни — только если он умрёт достойно! Но, умирая, он должен быть уверен, что будет поддержан и объяснён.

Нет, не сумел произвести убедительного впечатления. Лазарев отказал, и настолько отрезно, что даже не согласился передать предложение Богрова на рассмотрение ЦК эсеров. Единственный дал совет: если в самом деле это настроение не временное — не делиться больше ни с кем.

Богров и сам видел, что он на это обречён.

— Но всё-таки, если... Можно мне вам как-нибудь... написать?

— Ну, напишите. На редакцию. На имя, вот, *Николая Яковлевича* имярек.

Не ожидал Богров такого отказа. Опора — отошла, надежды и расчёты повисли ни на чём. Покушение расплылось в сомнительной целесообразности.

Искать у социал-демократов было и совсем безнадежно: тайно будут рады убийству, а публично отмежуются и станут негодовать.

А ещё ж и климат петербургский какой дрянной! За восемь месяцев здесь испортилось его здоровье, то боли в спине, то расстройства желудка, а хуже всего — угнетённое состояние, тоскливо, скучно, одиноко, никакого интереса к жизни. И врачи послали измученного молодого человека отдыхать и лечить нервы в Ницце. Так и не началась никакая его адвокатская практика.

И весь замысел покушения — отошёл в тумане.

В декабре 1910 он был уже на Ривьере. И всю зиму вместо петербургской сырости и темноты он провёл на юге Франции, куда к нему приезжали и родители, тоже любящие зимний южный морской отдых.

В этот раз он не сокасался с эмигрантами-революционерами. Но чтоб не бросить игры, всё же как-то написал фон Коттену: малозначительные сведения о заграничных эсерах, и попросил денег. Тот — высылал в Ниццу, но Богров за последними не сходил и получить.

Он играл на рулетке в Монте-Карло, играл в карты, настроение постепенно рассеивалось. Из зеркальных окон отеля — голу-

боватые бухты. Что это ему так настойчиво мерещилось — какое покушение? Как можно прекрасно жить.

Но каждой сказке конец. В марте он вернулся в Киев, возобновил регистрацию помощником присяжного поверенного. Однако — опять не работал, не пришлось ему произнести ни одной адвокатской речи, ни — использовать выгодно покровительство многоизвестного Гольденвейзера.

Не навещал он и Кулябку — с тех пор ещё, как уезжал в Петербург. Забросил эту игру.

Разбирала его душевная незаполненность, неопределённая тревога. Нынешнюю свою жизнь после обещательных успехов учения он находил ничтожной, и все удобства, блага и развлечения не возбуждали в нём чувств. Не вспыхивала любовь ни к одной женщине, и в него никто не влюблялся. Быстро снова опостылел Киев. А уж Петербург он отведал, хватит. А о красной Москве и мысль никогда не возникала. Да само время, так деятельно переживаемое всеми, — как бессмысленная последовательность часов или как тупая эпоха — оно-то, время, и постыло.

В этом же марте, когда он вернулся в Россию, пережил и новый удар в душу: мартовским постановлением распространили на экстернов исчисление еврейского процента. Ни самого Богрова, ни его родственников это сейчас не касалось, но принципиально это был пинок болезненный в грудь, разбудивающий задремавшую душу: до сих пор экстернат был открытый путь для скольконибудь зажиточных евреев обходить процентную норму. Теперь и этот путь закрывали.

И в этом же марте произошло в Киеве убийство какого-то мальчика — и стали вменять его евреям как ритуальное, обвинили соседнего еврейского приказчика.

Нет! Эта страна была несправима, и несправим её самоуверенный, верно разгаданный премьер-министр. Вся эта глухая эпоха могла быть оборвана только сильным взрывом. Но взрыв не по силам. Тогда — нужным выстрелом в нужную грудь.

Несколько револьверов постоянно хранились на квартире у Богрова — такую вольность он мог себе разрешить при положении отца да и при дружбе с Кулябкой.

Но — к чему они теперь? Пустое он хвастал Лазареву: как можно ему дотянуться до Столыпина? Не удавалось самым опытным террористам. А случай на водопроводе неповторим.

Вдруг газеты этой весны зашумели об отставке, о падении Столыпина. Опоздал? Свалится и сам?

Нет, устоял. Но сильно пошатнулся в обществе. А вот теперь бы его и...

Вдруг возникли слухи, а затем начались по Киеву и грубые, шумные приготовления к царским торжествам в сентябре. Что такое? Памятник Александру Второму, 50 лет освобождения крестьян, памятник княгине Ольге — а в общем, ищут повода утвердиться самодержавной пятой в Киеве, сделать его опорой русского национализма — столыпинская же и мысль.

Вот так удача! *Центральных* людей России не надо искать по Петербургу — они катили в Киев сами!

Но будет царь со своей сворой-свитой — а будет ли Столыпин?

В каком сердце, хоть чуть касавшемся революции, не вспыхнет ненависть к этому наглому торжеству? Как удержаться — испортить врагам их праздник? посмеяться?

В июне родители ехали на дачу под Кременчуг — он с ними туда же. Там, над Днепром, он теперь ходил в одиночестве, ходил — и обдумывал. Степной воздух не успокаивал истерзанной, изъеденной груди.

Приехал и брат с женой на дачу. Но ни с ним, ни с отцом Богров не поделился ни обрывком мысли.

В начале августа вернулись в Киев: родители ехали продолжать отдых в Европе, брат возвращался в Петербург. Младший Богров остался в многоэтажном родительском доме свободен, ну, с наглядом над квартироснимательским делом, — и один, ну, со старой тёткой, с горничной, кухаркой, обслугой.

Один.

Большое облегченье груди, голове: не притворяться, не скрывать, никто не просит ничего рассказать. Всё — молча, всё — в себе.

Тем временем уже наехавшая из Петербурга и Москвы полиция подходила на улицах даже к людям солидной внешности и просила предъявлять документы. Производилась временная высылка из Киева неблагонадёжных лиц. По всем путям ожидаемого высочайшего проезда осматривались квартиры, чердаки, погреба, делались кое-где обыски.

Ну, готовьтесь, готовьтесь, свора!

Что не покидает Богрова все эти дни — самообладание. У него счастливое свойство: чем ближе опасность, тем полней само-

обладание. Он пишет обстоятельные деловые письма отцу (он вполне сумел бы хорошо вести коммерческие дела!): как дать взятку инженеру, чтобы кто-то получил выгодный заказ от городского самоуправления, и какие предосторожности принять, чтобы взятка, не осуществляясь, не уплыла бы из рук, чтоб обе стороны имели гарантию. «Я надеюсь, папа, ты поверишь моей опытности».

Тянут ли его сомненья, мученья, отчаяние — это не выходит наружу.

Так наступают — когда-то наступают — в каждой человеческой жизни главные дни.

64

Украсились киевские улицы и дома — флагами, царскими вензелями, портретами. Многие балконы драпировались коврами, тканями, уставлялись цветами, некоторые дома были иллюминированы. Обыватели телячье ждали зрелищ. К сведению их (и Богрова) подробно была объявлена вся программа торжеств — с 29 августа по 6 сентября.

В одиночестве, в ожидании, в томлении Богров много сидел дома, лежал, ходил по комнатам, фантазируя, вырабатывая... А ещё — методически просматривал и уничтожал, что не должно было оставаться.

Всё это выглядело как колоссальный цирк, где зрителями был создан весь Киев, да по сути — вся Россия, да даже и весь мир. Сотни тысяч зрителей глазели из амфитеатра, а наверху на показной площадке, под самым куполом, в зените, выступали — коронованный дурак и Столыпин. А маленькому Богрову, чтобы нанести смертельный укол одному из них, надо было приблизиться к ним вплотную — значит вознестись, но не умея летать, взлезть, но не имея лестницы и в противодействии всей многотысячной охраны.

Образ цирка вызывает образ центрального шеста, поддерживающего вершину шатра. Вот по такому шесту — совершенно гладкому, без зазубрины, без сучка, надо будет взползти, никем не поддержанному, но всеми сбрасываемому, взползти, ни за что не держась.

Задача — исключительно невозможная.

Но посмотреть: нельзя ли изменить хоть одно исходное условие? Добавить себе крыльев? — не дано природой. Искать помощи у разных ЦК? — уже отвергнуто. Уменьшить высоту шеста? — она задана. Добавить ему шероховатостей? — сперва поискать на своём теле. А затем и на шесте: нейтрализовать сопротивление охраны? Это надо попытаться. К чему-то же, зачем-то же были эти несколько лет игры-сотрудничества?

Если охрана окажется умна — тогда пустой номер. Но опыт подсказывал, что — не окажется.

Лежал, ходил, откидывался в качалке, упражнялся с гантелями. Фантазировал, вырабатывал.

Было душно, окна нараспашку. К обеду мороженое, к напиткам лёд. Как во сне сидел с тётёй за обедом, за ужином у просторного стола. Не ездил в клубы, не играл в карты. Его задача требовала сосредоточения всего ума, всего тела.

Программа царских торжеств лежала перед ним, И ясно, что самый удобный центр её — 31 августа, Купеческий сад, на берегу Днепра.

Но если — там, то — Днепр рядом! Как не попробовать ещё и ускользнуть? Найти моторную лодку, добежать, прыгнуть?..

И он ходил бродить по набережным, на пристань, по берегу.

Но легче было изобрести невообразимое — как дотянуться до председателя совета министров, чем найти способ и язык объясниться с чужими, грубыми, непонятными днепровскими лодочниками, внушить к себе доверие в такие подозрительные дни и самому доверить уголок своей конспирации. Он мог заплатить за моторку — сколько угодно. А правдоподобно уговориться — не умел. Это были люди с другой планеты.

Наконец 26 августа он зашёл к доверенным знакомым, оставил письма: одно — родителям, два — в газеты.

И позвонил, от себя из дому, в Охранное отделение: *дома ли хозяин?*

Не повезло: Кулябку не застал. Но — знал он там всех, и заведующему наружным наблюдением Самсону Демидюку предложил встретиться, срочно.

Они сошлись в Георгиевском переулке, в парадном. И Богров объявил Демидюку: *во время торжеств готовится террористический акт против самых высоких особ!!!*

Одной этой чрезвычайной фразы было достаточно, чтобы Демидюк побежал бегом к Кулябке. Но Богров не поспешил и на

несколько деталей: приезжает группа из Петербурга, с оружием. Ищет способа безопасного въезда в Киев и устройства здесь. Богров должен получить инструкции.

Находка не просто дерзкая — гениальная: двигаться почти напрямую и говорить почти правду! Какое ещё убийство готовилось так: всё время настаивая перед полицией, что именно это убийство произойдёт!?

Зацепка — во всяком случае. Для них — служебно невозможно пренебречь таким сенсационным донесением.

Вернулся домой, нервно ходил. Начало было важнее всего: вообще по шести можно ли взбираться хоть сколько-нибудь или тут же соскользнёшь?

Снова позвонил в Охранное, когда Кулябко уже был там. Обрадованный, блеющий, глупый голос! Полтора года пропал — и вот объявился любимец, и сразу с таким известием! Поверил, захвачен — первая удача.

На первую сажень уже взобрался — держит, не скользит.

Ещё новое: назначает прийти не в Охранное, а — к себе домой. Небывало, что за изменение? Ловушка? Простодушно объясняет Кулябко: да обед уже назначен, переменить нельзя.

Радушный голос, человеческая слабость. Признак полного доверия.

Богров идёт к Кулябке, однако, с браунингом в кармане. (Так было задумано, когда собирался в Охранное: если версия не будет принята, а сразу разоблачение, — стрелять в него, стрелять в других, бежать, стрелять в себя?.. Теперь, по домашности, как бы и лишнее. А может и не лишнее, незнакомый дом, незнакомый ход. По домашности — тем более не будет обыска. Взять.)

В сообщении Богрова нет ни одной зазубринки факта, ни одного реального выступа — скользь, и разбился. Отступления нет, браунинг несётся в кармане.

Через Золотоворотскую улицу, через чёрный ход, Демидюк провёл Богрова в квартиру Кулябки. Хозяин (стал подполковник теперь) встретил его в задней прихожей и провёл к себе в кабинет (доверие!)... через ванную, другого хода нет.

Сюда из гостиной довольно слышен оживлённый обеденный разговор. И у Кулябки — не совсем вытертый масляный рот, вкусный обильный обед ещё не закончен — и приятно его доканчивать, имея на десерт такого посетителя, о котором там

сейчас и похвастаться близким гостям. Радушный, весёлый, доверчивый вид, — кажется, и к столу бы позвал, если б не неприлично.

Хотел повторить ему тот же пунктир, уже расширяя в сюжет, но Кулябке хочется к обеду, к гостям: «Ты садись и напиши всё, голубчик!» Оставил Богрова в кабинете (ничему не научил его взрыв на Астраханской!) — и пошёл дообедывать.

Писать? Если донесение истинно и террористы нависают за спиной? Самоубийство. На что ж Кулябко рассчитывает, подавая перо? Догрызть утиное крылышко?

Когда мы в жизни проходим сквозь мелкое событие — никогда мы не знаем, насколько ещё оно может пригодиться нам впереди. А теперь вело чутьё: из прошлого — как можно больше правдоподобных деталей, каких сегодня нет, как можно больше истины в прошлом. И все последние дни удочкой памяти Богров выцеплял обломки этой незначительности: дама из Парижа на Троицу 1910, совсем забывши про Троицу... Кажется: подруга дочери Кальмановича... Почему-то через неё — второстепенные письма от ЦК эсеров... Кальманович, сам уезжая, поручил все передачи своему помощнику Богрову... Богров эти письма показывал фон Коттену... А потом передал: Егору Лазареву (про Лазарева знал Богров, что Столыпин заменил ему ссылку в Сибирь на границу, так что тому не опасно) и... были ж ещё два письма... Одному молодому революционеру... Скажем, «Николаю Яковлевичу». (Такое имя в редакции назвал ему Лазарев, теперь всё годится.)

Узелки завязаны, вперёд, моя история! Так вот этот Николай Яковлевич в начале лета вдруг прислал письмо: не изменились ли убеждения Богрова? С революционерами приходится настороже, опасно и смолчать, опасно и высказать правду. Нет, мол, не изменились. И вдруг! — в июле на дачу под Кременчугом (вот и дача пригодилась, уже покинутая, там томился, гулял, не знал, что так скоро пригодится, как можно больше реальных совпадений!) явился сам «Николай Яковлевич»! И открыл...

(Если он серьёзный террорист, идёт на такое великое предприятие — и доверяется одной почтовой фразе неактивного подозрительного анархиста Богрова, и сразу едет к нему и открывается со всеми тайнами?.. О, какой скользкий гладкий шест! Прижаться к его палочному телу самим собою, всем телом своим тереться и переползать по неправдоподобностям!)

...открыл: что едет их группа террористов, трое, из разных мест, в Киев, чтобы совершить акт во время празднеств. Говорят, на вокзале и на пристани строгая проверка документов. Так вот, не может ли Богров помочь им: перед самыми торжествами въехать в Киев — ну, например, моторной лодкой из Кременчуга? (Прицепился этот Кременчуг, как та дама из Парижа, очень удачно. И моторная лодка сюда перескочила, складывается само.) Пусть добудет им моторную лодку, а потом в Киеве — конспиративную квартиру на троих. И — уехал.

И — пришли, весёлые, подвыпившие, неравновесные с обеда — жирный селезень Кулябко. Остроусый, красивый, пронизательный, образованный, осмотрительный, струнно-служащий полковник Спиридович. И ещё какая-то бледная штатская немочь — действительный статский советник. Очевидно, за обедом уже было рассказано — да, вот он, тот интересный субъект, который работал у меня раньше несколько лет и давал всегда точные сведения. Какие же в этот раз?

Тёплыми пальцами брали бумагу с жаждой новости, полупьяными глазами читали, вертели, передавали, смотрели друг на друга понимающе: террор как будто давно заглох — и вдруг сейчас словить такую группу? — большие награды, большие повышения! И как легко шли террористы сами в сеть!..

(Ах, верно он изучил их клёв! Ах, знал Богров их душёнки! А — в о ч т о тут было поверить? трезвому человеку — во что? Выпирал из кармана браунинг явно (зачем взял? проклинал), и в шесть глаз не видели, только спросить: а это — что у вас? И тогда — стрелять? Их — трое, и из квартиры не выскочишь...)

Впрочем, они — полиция, и не забыли, что надо поморщить лоб, расспросить придиричиво: а откуда Николай Яковлевич узнал ваш дачный адрес?

Сперва приехал в Киев ко мне домой — и домашние сказали.

А... почему вы не пришли к нам с этим важным сообщением сразу?

(Почему он вообще пришёл — не наплыло им спросить: разумеется, каждый обязан явиться. За четыре года Кулябко никогда не пытался понять: а з а ч е м Богрову вся эта служба? что за человек Богров?)

Доверчиво смотрит на опытных полицейских через пенсне молодой интеллигент с удлинённой стиснутой головой, постоянно чуть изогнутой набок, с постоянно несомкнутыми губами, вид-

но — и скрыть ничего не умеет: поскольку Николай Яковлевич тут же и уехал, у меня остались как бы пустые руки, мне было неловко так приходиться. И я всё ждал, что он объявится. Но время идёт, подходят торжества. А в одной из газет (к тому же правых, которые так и читают взахлёб присяжные поверенные...) промелькнула заметка о возможности какого-то покушения. Я — просто взволновался, не знаю, что мне делать. Если они теперь нагрянут и потребуют, я под их наблюдением уже никак не прорвусь к вам спросить: добывать ли им лодку? искать ли им квартиру?

Нет, моторной лодки не давать, — строго отводит Спиридович. А квартиру? Чтобы знать, где они будут, и легче их взять, отчего же? Кулябко думает — можно, и даже знает какую: разведенной жены полицейского писемоводителя.

(Богрову это никак не годится: призраков нельзя поселить к реальной хозяйке.)

Замялся: как бы чего не пронюхали, вдруг она вызовет у них подозрение, тогда всё провалится.

А чью бы вы предложили?

Да тут... одна знакомая уехала за границу. Да если разрешите — и мою: родители уехали.

Что ж, может быть и хорошо (легче наблюдать через Богрова). (Держится! Держится!)

Ещё ближе к истине, ещё естественней: я так понял — акт будет не в начале торжеств, а — к концу, когда охрана ослабеет. (Как будет — так прямо и говорить! так прямо и предупреждать охрану, вот дерзость!)

Спиридович — самый профессиональный и единственный умный: но как Николай Яковлевич так легко вам доверился, все подробности?..

А! Я заявил Николаю Яковлевичу, что не хочу быть пешкой в их руках, а должен быть посвящён во все планы, это моё условие. (Я — не мелкий! Я буду всё знать! Верьте мне и держитесь за меня!)

Убедительно.

Но уж если все планы, — сверлит-таки усопронзительный Спиридович, — так тогда: н а к о г о ? На Его Императорское Величество?

Нет! (Не только нет, потому что — нет, уж Богрову ли не знать, а и — нет, чтоб и в мыслях ни у кого не было! И если только сейчас допустить о царе — слишком подхвоятся!) Нет, в этом случае опасаются еврейского погрома. Поэтому план террористов: по-

кушение на двух министров — на Столыпина (так-таки наоткрытую!) и Кассо. (Министр просвещения, лютая ненависть передового студенчества, очень реалистично. И — раздвоить внимание охраны.)

И — так и видно, как настороженность вся вышла из Спиридовича, и вернулось послеобеденное блаженное упитое состояние.

(Держится! Как угадано!)

Спросили приметы Николая Яковлевича. И был готов, и — не был, ещё не сжился с ним Богров вполне. Ответил с лёгкостью, но приметы вышли хлипкие: жгучий брюнет, средней длины волосы, чёрные средние усы, интеллигентное лицо, привлекательные глаза...

Приняли. Записали. «Надо послать в Кременчуг».

Статский советник: вы эту записку вашу — подпишите, пожалуйста.

Только усмехнулся Богров, до чего ж новичок статский советник и до чего ж ничтожный чиновник: о, нет! вот это — слишком опасно для меня, в вашем аппарате может быть предательство.

(И — опять достоверно, опять выиграл!)

Вот и вопросы исчерпались. Исчерпались сомненья подполковника, полковника...

(Богров так и надеялся. Он знал за собой, за ним признавали какую-то особенную убедительность рассказа: он, когда хочет, как завораживает, как пение редкой птицы, вытянувшей шею, и даже врагам своим в такие минуты он становится милым.)

Смелеет, дерзает и делает ещё один переполз, важности которого вне чиновного мира даже невозможно охватить, он сам не понимает сотрясательности удара, он хотел только впустить между ними каплю расслабляющего яда:

— Николай Яковлевич говорит, у них есть связи и среди чинов Департамента полиции и в петербургском Охранном отделении. Они — уверены в успехе.

(Но: зачем тогда им в Киев ехать? не перебрал?..)

Нет, не перебрал! Они — союзники тут, единомышленники, вот — их четыре единомышленника здесь. И Кулябко подходит к пачке (она здесь и лежала!) заготовленных билетов-приглашений на торжественный спектакль 1 сентября, а есть и на общественное гулянье в Купеческий сад на 31 августа — и предлагает Богрову взять, сейчас впишет его фамилию! (Из благодарности? Или с целью какой? Или по селезнёвой суетливости просто? Даже

непонятно — зачем? Волосы прилизанные, светленькие, глупые. И знал Богров, что Кулябко глуп, — но не ожидал такой лёгкости!)

И отважный увидел себя — уже на половине шеста, нет — выше половины: уже мелкими кажутся те безправные муравьи, из которых пополз три часа назад. И уже совсем не так далеко вверху заветная площадка! Ничем не удостоверенный, скользя по невероятностям, — как он поднялся? на чём он держится??

То, что нужно! Билет на закрытый спектакль, где будет открытый Столыпин, да кстати ещё и этот... император. Ожигая револьверную руку, в неё сам плывёт театральный билет! Какая удача! Какая победа — и сразу!

И всякий другой юный схватил бы билет. Но — не умудрённый Богров. Нельзя принимать слишком лёгких побед. А достигнутое доверие дороже билета. (Да ещё до театра — шесть дней, они могут опомниться и отобрать.)

И — отклоняется Богров от багряно-желанного билета — движением чуть утомлённым, безкорыстным, узкая голова чуть на сторону: нет, он не хотел бы афишироваться.

Хорошо. Поручили ему дальнейшее наблюдение за террористами. Если понадобится — в его распоряжении Демидюк. Расстались.

Расстались — с полной инициативой у Богрова, никаких обязательств: когда же связь или когда следующая встреча?

Ошеломлённый сверхожиданной удачей, несомый победным счастьем, весёлый Богров идёт к тем знакомым — отбирать назад те письма с объяснением выстрела, какой сегодня не понадобился.

О счастье! Разве — нейтрализовал? Он — взял полицию к себе на помощь, вместо эсеров! Какой юмор — и не с кем поделиться, и оценит кто-нибудь, когда-нибудь?

Условия задачи сильно изменились: уже не всё против, только не отдать взятого.

Стоп, может быть за ним установили слежку? Проверил — нет, передвигается ненаблюдаемый.

Вот идиоты! Вот олухи!

О счастье! Ещё когда тот выстрел, ещё когда то обречение, а сегодня — победа, свобода, киевское лето к зрелым каштанам. Впереди — свободная ещё неделя.

Да и вообще он — свободен! Кому он обязался? кому подписался? Допустим, Николай Яковлевич передумал, не придет. И все последствия — денежный пакет от Кулябки.

Но — и одиночество.

Но — и обдумывание.

И — всё напряжённее.

27 августа.

А зато: как сразу и навсегда очиститься — от всех подозрений, обвинений! Убил — и чист навсегда.

28-е.

В колоде бывает 52 карты, 36, и меньше. Здесь — составных элементов ещё даже меньше, но они неуловимые. Только Кулябко отлился в толстого простофилю, бубнового короля, а вот Николай Яковлевич никак не представится во плоти, не хватает воображения. Пиковый валет.

А в Кременчуг — погнали целый отряд филёров. Хорошо, меньше будут толкаться в Киеве. Кременчуг и моторная лодка — очень удались, ветер достоверности.

Элементы — простые, но не строго очерченные, оттого комбинации их множатся, перетекают, — и на какую же опереться дальше?

Главная наживка — держать их в напряжении, в расчёте перехватить террористов живьём, получить служебный эффект. Держать — до последнего момента и даже через последний момент, всё никак не завершая.

И поэтому — ни в чём не торопиться, оттягивать, не видеться часто.

Ещё для того не видеться, чтоб не навязали ту полицейскую квартиру.

В душевой заперти Богров сидел, сворачивался, лежал, ходил, сидел, раскачивался — обдумывал. Те несколько нужных капель для рокового мига должны были накопиться, насочиться — в мозгу? в зобу? в зубу?

29-е. Три дня созревания замысла в завихре мыслей, отточка каждой детали, всех вариантных возможностей — раздробленных, рассыпанных, неожиданно могущих вспыхнуть. И такая тревога, что в нужный момент может отказать сообразительность? или внимание? или память? или смелость?

Но самое удивительное — не беспокоилась, не спрашивала, не звонила охранка, будто мелочь такая, группа бомбистов при царском пребывании, не беспокоила её. Деликатно не спрашивали — но и за ним самим не следили! никуда не сопровождали! — только установили заметный пост против дома, на случай прихода такого отметного Николая Яковлевича.

И по расчётам Богрова это и было самое выгодное: оставить охранке как можно меньше времени для обдумывания мер.

Безумно трудно было — удержаться все эти дни, не сделать лишнего, не сорваться с достигнутого. Часы одиночества тянулись невыносимо, варианты казались упускаемы. (Но в записях филёров не отмечено, чтобы Богров много выходил в эти часы.)

А совершенно точно: он в эти дни обедал с тёткой, принимал неизбежные посещения друзей — Фельдзера-старшего, Фельдзера-младшего, в какие-то часы ходил и к Гольденвейзеру в контору. 29-го написал отцу за границу очень деловое письмо: что плохо сделан ремонт пола, и — о страховке. А в 11 вечера ещё один друг, Скловский, зашёл к нему со своей барышней, они втроём выпивали. Около часа ночи Богров вышел их проводить, на пустынных улицах снова и снова убеждаясь, что наблюденья за ним никакого нет, и значит, Кулябко верит беззаветно. Особенный вкус и подъём: пьянеть с людьми, кто и отдалённо не представляет ни подвига твоего, ни успеха, — это всё остаётся твоим нераздельным счастьем и роком, а ты весело болтаешь о пустяках. А вот на углу Владимирской — твоя бывшая гимназия, питалище твоих юных надежд, — какой бывший ученик, и в седине, и в пустынную ночь пройдёт без шевеления сердца мимо своего вечно-го здания, где и он, вперебой со сверстниками, мечтал о великой прославленной жизни? Как раз в эти самые дни их гимназия ждала своего столетнего юбилея — на рубеже сентября, в разгар торжеств и царского посещения. Она не знала, какой юбилейный салют её ждал.

Так — Богров выдержал, и только 31 августа, и то не с утра, а в час дня, он поднял свою домашнюю телефонную трубку и попросил у телефонной станции соединения с номером Охранного отделения.

Ещё недостаток телефона: разговор может слышать случайная телефонная барышня. Правда, такого умного, кто мог бы понять и проверить, там не бывает.

В Охранном трубку взял дежурный Сабаев, письмоводитель, хороший знакомец, — он в доме Богровых бывает запросто, часто, чуть не ежедневно, правда не у самих хозяев, а посещает кухарку их. Подполковника Кулябки? Нету.

Опять — потеря на косвенную передачу, ослабление эффекта, новый риск.

— Тогда, пожалуйста, передайте подполковнику: Николай Яковлевич приехал, имеет при себе, что надо, остановился тут, у меня. И мне — нужен билет сегодня в Купеческий сад.

Несколько часов изводящего ожидания. Кулябко — не отвечает.

Вот когда остро пожалел, что переиграл, не взял билетов.

Уже не верит?.. Раскрыл?.. Провал?..

Переигрыш. Передержался.

Перемудрил — давали билет!

Последние часы перед началом гулянья — а телефон молчит.

Кто б ещё оценил, кто оценит когда-нибудь силу и смелость этого построения: навлечь наблюденье и слежку на собственный дом — перед тем, как идёшь на акт? И ещё при этом уничтожительном совпадении: горничной нельзя приказать не открывать Сабаеву; Сабаеву же ничего не стоит самому прийти и проверить у кухарки, что в доме никто новый не появился.

Или иначе: вот уже сейчас оцепили дом и кинутся *брат* Николая Яковлевича, не дожидаясь остальных? Неудачно сказал: имеет при себе, что надо. Значит — возьмут с бомбой, чего им ещё?

Выходил, снова выходил на балкон. Опытным взглядом просматривал Бибиковский бульвар. Нет, не оцепляют. В скуке дежурит один филёр.

Нет, не бросятся брат. Ну, возьмут одиночку с оружием, а где доказательства, что он покушался на государственных особ? Где эффективность? Схватить заранее — ничего не доказать.

Но почему ж тогда нет звонка? Известись.

То неудачно, что не попал на Кулябку, не получил ответа, не подбодрился его хлюпающим голосом.

А, вот он!! Да! — по телефону возбуждение и хлюпающая радость Кулябки: приехал??

Для правдоподобия — приглушенный осторожный голос (ведь кто-то в соседней комнате сидит). Для правдоподобия — такую свертхайну, не очень охотно по телефону, но и нельзя же совсем ничего: у меня — один, будут и *другие*. Принять активное участие я отказался, но кое-что мне поручено и буду *проверен*, — и для того, во избежание провала, мне надо быть сегодня в Купеческом саду.

Не поверит! — как грубо сшито...

Коченеет, онемела вся долгота тела, вот — свалится со всей высоты. Упадать гораздо больнее, лучше б не начинать и взползать.

А Кулябко — и не задумался даже. Кулябко и не переспросил: а зачем же собственно билет?.. В Купеческий сад, куда не попасть и лучшим семьям Киева, — хорошо, присылайте посылного!

Опять удача! Черезсильно извивнулся удолженным телом, спиралью, — и ещё поднялся!

Но не успел положить трубку — звонок опять. Знакомый, Певзнер. Очень просит его простить, две минуты назад он звонил Богрову и по вине телефонной барышни его соединили до окончания предыдущего разговора...

Оледенел!

...Очень просит простить, но слышал, с какою лёгкостью Богрову пообещали билет в Купеческий сад. Очень бы занятно там побывать. Не может ли Богров устроить билет и ему?..

Барышня — идиотка! и совпадение — невероятное, на двести телефонных звонков не бывает!..

Оборвал, ответил зло, вообще не разговаривал, язык отказал, только: «Надеюсь, это будет в секрете?»

Когтит по груди, расцарапывает: с какого места слышал? Может — всё??..

Почему все оступки, оскользы и срывы не постигают нас в плавной жизни, а только — на самом крутом опасном месте?

Почему: то растягивается время и дремлет, то — сжимается режущее петлёй?

Вихри мыслей — расчётов — опасностей — отклонений — посылной уже заказан и пошагал, а:

может быть, это последний час твоей жизни?

И:

«Дорогие, милые папа и мама!.. (Через папу и маму, их чувствами, всего-то жалче и себя.) Вас страшно огорчит удар, который я вам наносу... Но я иначе не могу. Вы сами знаете, что вот два года, как я пробую отказаться от старого... (Обломанная лапка у «ж», а задняя лапка «я» — как в землю морковкин корень.) Но если бы даже я и сделал хорошую карьеру — я всё равно кончил бы тем же, чем сейчас кончаю...»

И это письмо — опять к знакомому.

(Не следят!..)

И — посылной принёс заветный билет. И с браунингом в кармане, празднично проталкиваясь по бешено иллюминированным улицам, мимо огненных абрисов зданий и гор огня, у входа в Купеческий — мимо открытого вчера памятника Александру II — что-

то итальянско-бронзовое, а внизу обсажен лубочными народными фигурами, «Царю-Освободителю — благодарный Юго-Западный край», — через контроль полицейский — по счастливому билету — в недоступный сад.

(Не следят!..)

И — по толчее сада, иллюминированного ещё безумней. Многоцветные фонтаны из ваз. Снопсы светящихся колосьев. Букеты, рассыпающиеся в звёздочки. Слева издали через густоту деревьев — как висящий в воздухе крест святого Владимира в лампочках. У открытой ложи царя — симфонический оркестр. Крестьянский хор. Хор русских и малороссийских песен.

Мимо оркестров, мимо эстрад и хоров... Как разбирают эти скрипки! А может быть, отдать музыку, иллюминации, ласкающей тёплой южной ночи — да и бросить всё?.. Ведь никому не обещано, никто не ждёт, никто не упрекнёт.

Сколько раз безчувственным осязанием, безчувственным ртом принимал эту жизнь, сколько раз внушал себе, что своя жизнь — не стоит, чтоб её тянуть, — а вдруг стало позывно жаль: ведь только двадцать четыре года! Можно прожить ещё полвека! Можно узнать, что будет в 1960 году!.. Твоя жизнь — ещё вся при тебе, вся надеется и ждёт, вся плывёт в этой музыке. И ещё где-то есть женщины, которые могут тебя когда-нибудь полюбить? (И ещё где-то крадутся с револьверами безстрашные, которых ты можешь выручить на суде блистательной речью и отойти под аплодисменты?) Но собственный единственный нажим на спусковую дужку — и вместе с грохотом выстрела обрушивается навсегда весь мир...

И — любишь себя. И — презренье к себе.

Жаль не приготовил моторной лодки.

На площадках, залитых электричеством. И под тёмными зелеными аллеями... И даже — в первых рядах публики близ царского шатра...

Шатёр устроен над днепровским обрывом, смотреть фейерверки. Сам шатёр — из гранатовой материи с золотыми орлами и увенчан шапкой Мономаха в белых и голубых огнях. А с кручи вниз — светятся и сооружения набережной, одна пристань белая, другая зелёная, и громадная мельница Бродского, и на Трухановом острове горят царские вензеля, а по Днепру медленно плывёт ладья из огоньков в форме лебеда, огни отражаются в воде. И самой тусклой деталью — через Днепр на небе луна. При взрывах ракет-

ных гроздьев оба берега Днепра с многотысячными толпами видны как днём — и оттуда возносятся оркестровые гимны.

Но у шатра — не видел царя. А близ эстрады с малороссийским хором — вдруг оказался, притиснулся — в двух шагах от него — не в трёх, а в двух! Чуть сзади, вползатылок, гладко подстриженный тёмный затылок под военной фуражкой, — и между головами приближённых — открытый прострел! И в кармане — браунинг с досланным первым патроном. В кармане на ощупь передвинуть предохранитель — вынуть — и бей!

И — взорвать их сверкающий праздник весь!

Богров задрожал от сладости. Сколько раз он отвергал эту мысль — убивать царя, — но чтобы так доступно! но чтобы так!!!

Даже голова закружилась от своего могущества. Слабый нажим указательным пальцем — и нет ещё одного русского царя! И даже — целой династии может быть, всех Романовых — снять одним указательным пальцем! Событие мировой истории!

Но — с усилием охолодил себя: этот царь — только название, а не достойная мишень. Он — объект общественных насмешек, он — лучшее ничтожество, какого только можно пожелать этой стране. Никакой удачный выстрел и никакой наследник потом не сделали бы эту страну слабей, чем делает этот царь. И вот уже 10 лет — убивали министров, генералов, а этого царя не трогал никто. Понимали.

Зато, напротив, расправа за смерть его, за рану, становится в противоречие с целью. Именно в Киеве это будет что-нибудь особенное. Убрали бы царя где-нибудь, только не в Киеве, — так-сяк. Но если в Киеве и — он, Богров, — это будет страшный еврейский погром, поднимется тёмный безумный народ. Живое, родственно ощущаемое еврейство Киева! Последнее, что б хотел задержать на земле Богров: чтобы Киев не стал местом массового избиения евреев, ни в этом сентябре и ни в каком другом!

Трёхтысячелетний тонкий уверенный зов.

И он погасил свою охотничью дрожь. И дал себя оттеснить. И пошёл дальше.

Зато уже — Столыпина он твёрдо решил убить сегодня! Премьера Столыпина — ничто не могло в этот вечер спасти, ничья рука, ничья преграда, ничья защита! И чернь — его не знает, и никто за него не поднимется.

А просто — не встретил. Не увидел. Может быть — и по близорукости.

Даже — показалось, видел издали, неотчётливо. Но нагонял, проталкивался, — упустил.

А может быть, всё-таки искал — не так уж упорно?

И — любишь себя. И — презренье к себе.

Не встретил, не нашёл.

А вечер — кончился.

Упущено.

И, едва выйдя из сада, среди разъезда экипажей в устье Крещатика, перегороженного у Михайловской улицы жандармами и казаками, чтоб любопытные толпы не хлынули сюда смотреть, — уже очнулся от этой размягчённости и был тоскливо безвыходно сжат — внутри.

Стояли сиволобые, охраняли, а он! — уже проточился в самое сердце, смертельный укол неся при себе, — и? — рассеялся... не нашёл...

От себя не уйдёшь. Ещё не доехал извозчик до Бибиковского — уже знал Богров: надо добывать следующий билет.

Завтра? А пока поспать...

Нет, уже никогда не спать.

Но — Кулябко?! Все эти дни — ни вопроса, ни беспокойства: приехали террористы, нет? и — что было в Купеческом? и — зачем так нужно было туда пойти? Николай Яковлевич *имеет при себе всё, что нужно*, — и никакого беспокойства! Блаженная толстокожесть! — такой не ожидал Богров, даже зная охранников.

Как их назначают? Как их отбирают? Как они продвигаются по служебной лестнице? Всё — по знакомству и угодству.

А может, наоборот: всё разгадали?.. А может — сейчас придут с арестом?.. Следили в саду?

Возможно! Возможней всего! Похолодел.

Полночь. Час ночи. Движение к раздеванию? Нет, и думать нечего спать.

С каждым часом бездействия он — терял.

Как он мог так расслабиться в Купеческом, как он мог упустить? Меньше бы слушал скрипки, быстрее бы ходил-искал.

Завтра утром опять не застать Кулябки. Завтра днём своё непрерывное движение торжеств, и можно театр упустить.

Добывать билет — сейчас же, сейчас же, не рискуя откладывать.

Со своей мистификацией — уже сам сживаешься. Двоение реальности. «Николай Яковлевич» сидит вон в той комнате. Что

он подумает, услышав ночной уход своего сомнительного хозяина? Как объяснить ему? И как разгадать его завтрашние планы? А что передать Кулябке? Поверит ли Кулябко? Поверит ли Николай Яковлевич? Только бы не отказала острота, мгновенность доводов.

Отрепетировать их. Вот, изложить чётко на бумаге. Да по ночному времени к Кулябке без записки и не попасть.

...Николай Яковлевич ночует у меня. У него в багаже два браунинга... (Как можно ближе к истине — не поскользнёшься. Чем ближе — тем верней играет роль, тем меньше морщин на лбу.) Ещё приехала «Нина Александровна». (Когда-то встречалось в жизни такое сочетание, обаятельная, молодая...) Я её не видел. У неё — бомба. (Без этой бомбы — ничего нового, охранку не сдвинешь и не проймешь.) Остановилась на другой квартире... (Это вот для чего, прекрасное построение: если здесь у меня — не все террористы, то на квартиру нагнать нельзя, испугаешь остальных. Но и — надежду надо им дать. Но и — ограничить во времени.) Завтра днём она придёт ко мне на квартиру от двенадцати до часу. (А с шести вниз посмотреть — закружится голова: уже какая высота!) Подтверждается впечатление, что покушение готовится на Столыпина и Кассо.

Всё им открыто! всё от начала до конца! сам на себя доносчик перед исполнением! — невиданно! Лазарев — распутает ли когда-нибудь? оценит?

...Николай Яковлевич считает успешный исход их дела несомненным. (Надо, чтобы Кулябку тряхнуть. Перетревожить их нельзя, но оставить сонными тем более...) Опять намекал на таинственных высокопоставленных покровителей... (Утомлённая голова уже не придумывает новых мотивов.) Я обещал во всём полное содействие. Жду инструкций...

В этой язвительной наглости обнажения всего, как будет, — есть что-то завораживающее, Кулябко и должен онеметь, он должен — душевно смириться, подчиниться.

И всё-таки: невозможно понять, почему они так равнодушны?..

Бомбой — взорвёт он безпечность Кулябки! Именами министров — успокоит. *Высокопоставленными покровителями* — окостенит. Этими *покровителями* он прокусит сердце Кулябки. Если и покровители так хотят — то зачем Кулябке стараться больше всех?

В два часа ночи к городовому у подъезда Охранного отделения подошёл хорошо одетый господин и потребовал доложить начальнику. Дежурный в отделении — всё тот же Сабаев, он ещё не сменился (а сменясь — не отправится ли к нашей кухарке, как раз когда бы ей готовить завтрак Николаю Яковлевичу). Пригласил в приёмную. Стал звонить на квартиру, разбудивать подполковника. (Богров тербил их как проситель, будто это ему, а не премьер-министру грозило покушение...) Кулябке, конечно, страх не хотелось ночь разбивать: ну, какие там ещё спешности? ну хорошо, пусть изложит письменно... Да записка уже готова, вот она... Ну, тогда отошлите её Демидюку, пусть разбирается... Нет, он настаивает — только вам лично.

Понесли записку. Течёт ночь, перемесь безсонницы и провалы сна. Сидит Богров у Сабаева. Ключёт носом Сабаев. А Кулябко на эти четверть часа ещё, наверно, улёгся спать. Но, встряхнутый бомбою Нины Александровны, — поедет в отделение? Нет, конечно: звонит и велит — привести Богрова к себе на квартиру.

Второе свидание, и опять на квартире, вот пошло!

А это и есть — то, что нужно! Человек, сжигаемый замыслом, несравненно сильнее человека, хотящего только покоя. Человек, не ложившийся спать, всегда превосходит человека, вырванного из постели. Вслед за рассчитанной своей запиской хладнокровный Богров вступает и сам гипнотизировать расслабленного Кулябку.

А Кулябко и ещё последние эти четверть часа, после второго телефонного разговора, додрёмывал. И, с простотой российской, — вышел к нему перевалкою селезня, так и не дав себе труда одеться, ведь сейчас опять в постель, — в бордовом халате, зевая густо:

— Что вас так беспокоит, голубчик? — с сожалением к себе, к нему, к таким несчастным...

А ведь и не стар, сорока ему нету. А толст.

Человек в халате, едва сведённом, и вовсе ничто перед человеком в костюме.

В этой драпировке сейчас — должно решиться.

А Богрову и нужен-то всего только: один театральный билет на сегодня. Вон там они лежат, стопочкой, в кабинете.

Но говорить открыто — ещё и сейчас неосторожно. (Самого себя изломало это откладывание. Всё тело болит.)

Кулябко встретил его с полусонной теплотой, не очень взорванный бомбой, не очень окостеневший от покровителей, — и другу своему подполковнику дружески растолковывает Богров те подробности, которых днём не мог по телефону: террористы поручили ему установить приметы Столыпина и Кассо. (Они — во всех иллюстрированных журналах, но сонному этого не сообразить.) Для этого и пришлось идти в Купеческий сад, не пойти — никак было нельзя: террористы, очевидно, следили за ним, как он выполнит.

Шест как будто прочный, вкопан, но наверху, уже близко к куполу, — как раскачивается! вот сбросит! И неизвестно чем держась, становишься беспомощен, самые нелепые движения: где следили террористы? в саду? так сами бы и собрали приметы, хоть прямо бы и грохнули... И если так не доверяют — пойдёт ли в сад, то — как доверяют все тайны, все планы, самих себя?..

Надо бы крепче всё увязать, но уже не хватает усталого ума.

Но тем более — у сонного Кулябки. В лице Кулябки глупость — даже не личная, а типовая, если не расовая. Почёсывается, укутывается плотней, ничего не заметил, всё правильно. Спа-а-а-ать!.. — он сам как тройная подушка.

И ещё перемалывая, что было в записке, и развивая: Столыпина не видел, поручения о приметах выполнить не мог. А Николай Яковлевич настаивает... (Подготовка, что понадобится театральный билет... Но братъ — нельзя. Дороже билета — доверие. Может дать и билет, но приставить трёх филёров.)

Но покушение — не на Государя??..

Нет-нет.

Кулябко всё более успокаивается. Кулябко не понимает, за чем его вообще разбудили.

Да! спохватился, вспомнил жалобу из Кременчуга: приметы Николая Яковлевича слишком общи, невозможно искать, уточните, голубчик!

Какой дурак! Зачем ему Кременчуг?..

Что ж, можно. (Немного врасплох.) Вот: роста выше среднего... довольно плотный... брюнет... небольшие усы (а как там было раньше?)... подстриженная борода... рыжеватое английское пальто... котелок... тёмные перчатки.

Тёмные перчатки особенно убедительны для православного жандарма: ведь у террориста — когти, надо прятать.

Пошёл Кулябко спать, а Богров — пустыми улицами, освежаясь.

Ещё раз убедился: на ночь филёрский пост снимают, за домом не следят. Или — самовольно спать уходят.

Вился, вился — какое искусство! Не отказало внимание, не отказал смысл.

Но — утром? Но утром, когда Кулябко очнётся, — ведь он же должен докладывать? Как высоко? Самому Столыпину? По смыслу — нельзя не доложить.

Так не слишком ли углубился кинжал истины?

А могли — и раньше доложить? Должны были — и раньше. И — ничего?

Не переиграл ли он со своей откровенностью?.. Но скажи одного Кассо — не дадут и билета.

В этой игре с истиной — уже чудовищная несоразмерность: премьер-министру объявят, что на него готовится покушение! Так он — бережётся, он и в театр не пойдёт?

Не спрячется. Пойдёт. Никак же не меньше, чем эту кулябку, обдумывал, изучал Богров свою будущую жертву. На вызов лётчика-эсера ответил же он тем, что сел с ним на двухместный аэроплан! Характер Столыпина — не уклоняться от опасности. Так он и встретит свою верную смерть.

Приманка поставлена прекрасно: террористы сойдутся, но не раньше полудня. Значит, раньше их брать нельзя. Раньше нельзя приходить с арестом на богровскую квартиру. (Только б не догадаться проверить через Сабаева!..)

Но и — билета нельзя просить раньше: ведь не знает же Богров, что решат и что прикажут ему террористы...

Сколько там ни спал — а с утра, взвинтись кофе, был нервно весел. Счастливое чувство: обхитрил, победил, приблизился — и вот наступает момент, для которого ты жил всю жизнь.

Сколько там ни спал, а утренняя голова всегда сообразит больше. В ночном свидании ошибки не было, хорошо. Но и — решения нет.

Надо развить его. Допечатлеть ночное впечатленье.

И — перед полуднем, за час до критической встречи террористов, хозяин квартиры вышел пешком. (Филёры уже стоят, смотрят — но за ним не идут. Доверие сохраняется.)

Он вышел на Крещатик — и среди солнечного дня открыто пошёл в Европейскую гостиницу, где, он знал, Кулябко сейчас. Где, знал весь Киев, расположились на дни торжеств многие приезжие высокие власти и пировали там. (Какая же смелость? — на про-

смотре у террористов, и не боится их? А вчера звонил прямо из дому в Охранное отделение, слал посыльного за билетом, — терпеливые террористы всё сносят и не беспокоятся? Как это знобко видно при свете и жаре южного дня!..)

Кулябко принял его в комнате того статского советника, Веригина.

Оба. (Но не трое, и то хорошо.)

Безукоризненно следить за каждым выражением.

Но дело и не в выражении, а — во втягивающем ворожении.

Неважно, что сказать, — важно, как смотреть. Перемальвать всё то же. (Эти не изменились.) Изменение одно: дневное свидание у террористов не состоится. (А откуда они друг о друге так точно узнают? как они это всё сговаривают?..) Встречу перенесли — на Бибиковский бульвар, на углу Владимирской, в 8 вечера. (За час до спектакля.)

Отложено, но — акт не отменён?

Нет! — навстречу всем опасностям Богров. И честных глаз не сводя с обоих.

Всё-таки понимает. С двух сторон: где же он может произойти?

Правду, правду и только правду! Скорее всего... у театра. (Чуть откачнулся при конце.)

Статскому советнику, промокательному пресс-папье, очень хочется показать свои полицейские способности: а как узнать террористов на многолюдной улице? И как узнать их намерение: акт состоится или опять отложен? (Если отложен, тогда повременить с арестом?)

Кулябко: если идут на акт — пусть Богров подаст знак курением папиросы.

(Всё расплывается: ему — идти на бульвар? на пустую скамейку? А как же — в театр?.. Всё рассыпается, и доводами спясть невозможно.)

А только — привораживающим взглядом, чуть набок плосковатую голову, такой милый юноша, ему хочется верить, как ему не поверить, ему надо верить...

Конечно, Богров всё готов исполнить, и папиросу. Но ему тяжело, что террористы затянут его в свой насильственный акт. Он как раз к этому часу хотел бы изолироваться, отойти от этой компании, да чтоб с ними и не арестовываться. Ему хотелось бы изолироваться от бомбистов.

Но — под каким предлогом?

Предлог как раз хороший: вчера в Купеческом саду не удалось собрать примет Столыпина. Николай Яковлевич — недоволен, и требует. Так может для этой якобы цели — в роли разведчика для террористов — и пойти в театр?

(При режущем свете дня так ясно видна вся подмазка и как естественно прилепился к столбу в том месте, где быть и не должен. Тут всё рассыпается: зачем же ему в театр, если встреча на бульваре и акт — у театра? Как же он будет сигнализировать о намерениях, если изолируется? и — зачем им приметы так поздно? Но, сплывленное гипнотической волной, всё как-то удивительно держится.)

Даже вот как: а в театре Богров неправильным сигналом мог бы испортить их предприятие.

(И — держится!)

В праздничной суматохе (да они же опять спешат на завтрак с шампанским), перед очевидностью успеха и наград — держится!
— Но как вы объясните им, откуда вы достали билет?

— О-о! Через певицу Регину. А она — от своего покровителя из высшего света.

Ещё непонятно: так значит, Богров не укажет террористов на бульваре?

Ну, филёры легко могут следовать за Николаем Яковлевичем от дома Богрова. А в театре Богров пожалуй будет и понужнее.

Пожалуй...

Но как же террористы проникнут в театр?

(Всё смешалось.)

О-о, при *высокопоставленных покровителях...*

Завораживающе.

Кулябко и Веригин обсуждают ещё другие возможные варианты, в которые может быть поставлен террористами их сотрудник.

Без нажима, но чуть притерпевшись: причём мне надо получить видное место в партере: они могут за мной наблюдать, проверять, там ли я.

Ведь Богров под жестоким контролем террористов, каждый его шаг просматривается...

Веригин: в первых рядах — никак нельзя, там — только генералы и высокопоставленные.

Кулябко: в партере, но — дальше. Билет — пришло, если планы революционеров не изменятся ещё раз, а то они всё время меняются.

Уплыл билет? Может и нет. Настаивать нельзя. (Ослабло тело, распускаются мускулы, язык устал, глаза закрываются, сейчас — мешком по столбу вниз?..)

Домой — на извозчике: и по слабости, и как бы торопяся в стиснутое общество Николая Яковлевича, не заподозрил бы в отлучке.

В собственную стиснутость. Так хорошо плёл, переползал — и срывается? А завтра вся эта царская банда поедет по другим городам — и надо дальше переставлять как фишки — Николая Яковлевича, Нину Александровну, и придумывать ещё персонажи, сюжеты, приметы... Уже не брала голова. Срывался.

Устал... Сколько мы, превосходные, тратим энергии, искусства — и на что? Проклятье! Они превращают нас в сыщиков.

Часы, часы одинокие, в безвыходном остром тупике, в переключивании предположений. Обед с тёткой. Ничто не лезет в горло. Сам не заметил: с тёткой распустился и обронил, что был вчера в Купеческом. Изумилась: да как же попал? Петербургские знакомые помогли.

Как же можно было вчера пропустить Купеческий? Ведь такие удачи не повторяются.

Ещё вот не подумал: швейцар! Просто придут к швейцару и проверят: проходил ли парадное хоть раз вот с такими приметами?

А приготовлены, развешаны горничной — фрак, белый жилет. Этот фрак готовился для публичного адвокатского выступления, так и не состоявшегося ни разу.

Часы напряжённейших нервов. Ах, скорей бы конец, и в нём — вся награда! Кончатся прятки, сойдёмся лицом к лицу — и посмотрим, кто побледнеет. Скорей бы кончать. Скорей бы стрелять. Заслонил Столыпин весь свет.

Вдруг в комнату — стук, чей-то чужой. Револьвер — на столе, упустил прикрыть, почему-то рванулся к двери.

Полицейский!!!

Сабаев.

Открыли?? Всё провалилось?! Уже все комнаты проверил, никакого Николая Яковлевича?? Уже топчется в прихожей полицейский наряд??

Сабаев вежливо: можно ли ему с их телефона позвонить к себе в Охранное отделение?

Нет! Нет! (Ловушка? Ещё усилить наряд?)

Удивился Сабаев.

Нет, понимаете, в моём положении я не могу этим злоупотреблять. Это может быть замечено.

Ничего. Обошлось. Значит, он — к кухарке. Значит, там у них всё хорошо.

Ещё, ещё рассказывать, ждать, томиться. Лечь — не ложится, встать — не ходится.

Будет билет?

Как-то всё-таки перетягиваются стрелки часов. Ближе, ближе к семи. Нет сил дожидаться до ровного. Позвонил Кулябке. На этот раз — он.

Голосом приглушенным (чтоб Николай Яковлевич не слышал): планы не изменились, пришлите билет.

Хорошо. Демидюк принесёт швейцару сам, скажет — от Регины.

Голос Кулябки — обычный.

Но — двадцать минут, но — тридцать минут, — не несут!

Уже и фрак надет, стеснительно жаркий, в кармане брюк — браунинг. Ходить, привыкая. Браунинг — большой, крупнокалиберный, выпирает, надо будет чем-то прикрывать.

Не несут!

И, с запасной запиской в кармане, объясняющей свой преждевременный выход и задержку террористов (...Николай Яковлевич очень взволнован... из окна через бинокль он видит наблюдение, слишком откровенное... Я — не провален ещё...), — 8 часов! уже там, на бульваре, их смотрят! — Богров выходит на улицу сам.

На первый в жизни акт.

Уже стемнело. Филёры. Не прорваться Николаю Яковлевичу...

Вот и сам Демидюк. Чтоб не попасть под глаза террориста из своего окна — знак ему, дальше, дальше, и к Фундуклеевской.

И вот — билет в руке!!!

Самообладательно — ещё раз перегнуть его, и в карман фрака. Судьба правительства. Судьба страны.

И судьба моего народа.

А по Фундуклеевской, по Владимирской, а на Театральной площади — почти сплошная толпа. Тысячи глупых людей хотят хоть глазом увидеть проезд своего глупого царя.

Автомобили и экипажи с разряженной знатью — подъезжают и подъезжают. Ещё час до спектакля, а театр полон.

(Но уже за 8 — а террористы не сошлись на бульваре. Опять отложили? — но как они всё переключают? По телефону? так его и подслушать можно, вот Певзнер, а если догадалась и полиция? А если отложили — то покушения не будет? — и для чего ж идёт Богров? Да, собирать приметы и дать ложный сигнал — кому? какой? о чём? И помешать покушению — безоружный и без содействия?..)

Рядом с каждым билетёром — полицейский офицер. Как гордо иметь честный законный билет, выписанный на твоё собственное имя. А фрак, безукоризненные жесты и манеры тем более сливают тебя с этой знатью.

(А вдруг вот сейчас — обшарят и легко найдут браунинг с восемью патронами?.. Страшный момент: сейчас-то и обыщут, это естественно!)

В вестибюле похаживает Кулябко. Всё-таки — ждёт известий. И — в мундире, при орденах, вот тут, при всех открыто, готов разговаривать со своим любимцем.

Ах, какой глупый селезень, даже жалко его иногда. После того как дал билет, появилось сочувственное к нему.

За колонной: да ведь я же здесь под перекрестным досмотром, нам очень опасно разговаривать на виду.

— Вы думаете, их агенты и в театре?

— О, ещё бы! У них связи...

По-думаешь, ещё бороться ли с ними. По-думаешь, ещё портить ли отношения.

А — свидание на бульваре? Отменено. Опять? Перенесли на частную квартиру, неизвестную мне. И Николай Яковлевич переедет туда, после 11 часов.

Бросило в жар Кулябку, вытирает пот из-под кительного воротника. Обкладывали, обкладывали добычу — и всё зря? Просочатся и уйдут? Вместе и с наградами? Ускользнут?

— Так слушайте, идите и проверьте: дома ли ещё он?

(Ах, опять перебрал! Трудней всего — равновесие.)

— Так я только что вышел — он был дома.

— Нет, нет, вернитесь и проверьте, сейчас же!

— Так я же для него — в театре, как же я вернусь?

— Ну, скажите... перчатки забыл.

В поту заёжилось жирного — и как могла промелькнуть к нему жалость? Одолеть всю недостижимую, неправдоподобную высоту — зачем? чтобы теперь сползть назад? Билет в кармане — и как нет билета.

— Идите, идите, голубчик! — торопит, гонит Кулябко со всей своей страстной суетой. — Идите проверьте, вернётесь — доложите.

Сползая, сползая по остроганному, но хоть без занозы. Сползать — вряд ли легче, чем подниматься. И — как уже устали все мускулы кольца!..

Идти домой? Глупо, и не протолпишься, не успеешь вернуться к началу. Не домой? — филёры доложат потом, что не возвращался.

Но — потом. П о с л е.

Перешёл на ту сторону Владимирской. Потолкался минут пятнадцать около кафе Франсуа. А может — за ним уже теперь следят? И вот — уже всё провалилось? А в такой толпе не откроешь слежку.

Вернулся в театр, к другому контролю. Полицейский чиновник не пропустил: билет уже использован.

Но зорко видит и спешит на выручку Кулябко: этого — пропусти! этого — я знаю сам!

Ну, что? Дома, сидит ужинает. Но — заметил наблюдение за домом, грубо следят, очень встревожен. (Раньше бы это сказать! Забыл, а в кармане даже записка.)

Значит, Николай Яковлевич никуда не выйдет. Значит, Кулябке пора успокоиться.

И — ещё, ещё не начинается спектакль. Вся густая разряженная публика расхаживает по фойе, в буфетной, по коридорам — показываясь и разглядываясь. За десятки лет киевский оперный театр не видел такого собрания. Много и петербургских.

Это была — *его* публика! Она думает, что пришла на «Сказку о царе Салтане» да посмотреть на ожерелья царских дочерей, — а она увидит, чего не видела Россия, и ещё внукам будет рассказывать каждый: это при мне убивали Столыпина, вот как это было... Эта публика не видела, как взбираются под купол, под верхнюю площадку, — она увидит только последний фокус.

Он вот как придумал: выпирающий карман брюк прикрывать широкой театральной программкой, в полуспущенной руке.

Звонили звонки. Обдавая духами, шли дамы в цветных платьях. И — военные, военные, больше всего военных.

В генерал-губернаторской ложе, слева над оркестром, возвышался царь с парой дочерей. Царицы не было видно.

И Столыпина среди крупных чинов у подножья — сзади издали опять не разобрать. Но он должен быть там: театр тем и отличается от гулянья в саду, что здесь места — по чинам.

Гасли лампы. Увертюра. Раздвигался занавес. Глупые девки в идиотской деревенской избе, разряженные как можно по-русски, что-то вздорили, а вздорный царь подслушивал их и выбирал невесту.

Он вот что ещё придумывал: почему считать себя обречённым? почему после выстрела не бежать? Все, конечно, растеряются, можно выскочить из театра, схватить извозчика?..

Надо быть уверенным, что за ним не следят. Не похоже на Кулябку, а всё-таки. А если следят — тогда ничего не сделаешь, тогда успеют руку перехватить в последний момент.

Значит, в первом антракте нельзя пробовать. Первый антракт — на проверку слезки: быстро уходить в уборную одному, быстро переходить по лестницам. Хорошо, значит можно отложить акт — на один антракт.

Или — вообще отложить?..

Ведь в этом гореньи, в этих расчётах меньше всего думал: а *вообще-то* — насколько неизбежно? Именно ему?

Но — слишком много удачно сошлось. Как бросить бы три кости сразу — и на всех трёх по шестёрке!

И кто ж бы другой это сумел?

Антракт. Начал быстро ходить, проверять.

Нет, не следят.

Наёмным биноклем с разных мест рассматривать: где же Столыпин? И — сколько лиц и как охраняют его?

Там впереди, впереди... У подножья царской ложи никакого явного караула не было. И не угадывалась рассадка специальных людей. Там, впереди...

Да, Столыпин в белом сюртуке сидел в первом же ряду под царской ложей, и почти у прохода.

Без всякой видимой охраны. Так, собеседники.

А не время ли — вот и идти на него?

И — горячий удар внутри.

Нет, ещё какая-то неготовность, какая-то ещё разведка. Да ведь антракта — три, и ещё потом разезд.

Небывалый партер: эполеты, эполеты, звёзды министров, звёзды и ленты придворных, бриллианты дам.

Как объявлено: *народный спектакль*.

Он — вот что вдруг заметил и вспотел: мужчины почти все в мундирах, военных или чиновных, а кто в гражданском — то не во фраках, а в светлом летнем, такая жара.

И только почти он один ходил между всех чёрным пятном. За-метный...

Просчёт.

И — опять Кулябко: неприлично близко подошёл, поманил в закоулок — и ни о чём же новом, просто так, разговаривать о Николае Яковлевиче.

Отделался от Кулябки только началом второго акта.

И теперь уже, из 18-го ряда в первый, уверенно видя в бинокль затылок Столыпина — только его, не спектакль, — просидел весь акт неподвижно, скорчась.

И такую ненависть в себе ощущал, что мог бы его глазами заколоть через бинокль.

Антракт.

Публика почти вся выгуливала из зала, немногие оставались.

И опять же — Кулябко. Кивал — отойти в закоулок.

За все дни он так не кипятился, как сейчас: прошло полтора часа — и где же там Николай Яковлевич, не ускользнул ли мимо филёров? В театре — вам нечего больше важного делать, незачем дольше оставаться. А ступайте домой и следите за Николаем Яковлевичем.

Зануда, не взял слезкой — дожует хлопотней, до третьего антракта не даст дожить. Не согласиться — не отстанет. А сейчас уйти — кончено всё.

Быстро, сразу, не возбуждая подозрений: уйду.

И — уходить.

Понимая — что никогда уже не удастся больше. И даже — обман обнаружится через несколько часов.

Это был — последний момент!

В коридоре скрылся от Кулябки — и повернул!

И повернул! — и пошёл в зал, рискуя же снова встретиться с Кулябкой. (Ну, забыл бинокль, перчатки...)

Не было Кулябки.

Но могло — Столыпина не быть на месте, в единственный этот момент.

Был!!!

И стоял так открыто, так не прячась, так развернувшись грудью, весь ярко-белый, в летнем спортуке, — как нарочно поставленный мишенью. В самом конце левого прохода, облокотясь спиной о барьер оркестра, разговаривая с кем-то.

Почти никто не попался в проходе, и зал был пуст на четырёх пятах.

Не вспомнил, даже не покосился — что там в царской ложе, есть ли кто.

Шагом денди, не теряя естественности, всё так же прикрывая программкой оттопыренный карман — он шёл — и шёл! — и шёл!! — всё ближе!!!

Потому что по близорукости был освобождён от стрельбы.

Никто не преграждал ему пути к премьер-министру.

Сразу видно было, что ни вблизи, ни дальше никто защитный не стоял, не сидел, не дежурил. Сколько было военных в театре — ни один его не охранял. Охватил, а понимать уже некогда: он прямо и не раз им объявил: покушение будет — на Столыпина! И весь город, и весь театр был оцеплен, перецеплен, — а именно около Столыпина — ни человека!

И никто не гнался за Богровым, никто не хватал его за плечо, за локоть.

Сейчас вы услышите нас — и запомните навсегда!

Шага за четыре до белой груди с крупной звездой — он обронил, бросил программку, вытянул браунинг свободным даром —

ещё шагнул —

и почти уже в упор, увидев в Столыпине движение броситься навстречу, —

выстрелил! дважды!! в корпус.

65'

(Пётр Аркадьевич Столыпин)

Главный узелок нашей жизни, всё будущее ядро её и смысл, у людей целеустремлённых завязывается в самые ранние годы, часто бессознательно, но всегда определённо и верно. А затем — не только наша воля, но как будто и обстоятельства сами собой стекаются так, что подпитывают и развивают это ядро.

У Петра Столыпина таким узлом завязалось рано, сколько помнил он, ещё от детства в подмосковном Середникове: русский

крестьянин на русской земле, как ему этой землёю владеть и пользоваться, чтобы было добро и ему, и земле.

Это острое чувство земли, пахоты, посева и урожая, так понятное в крестьянском мальчике, непредвидимо проявляется в сыне генерал-адъютанта, правнучке сенатора (по родословному древу — в родстве и с Лермонтовым). Не знание, не сознание, не замысел — именно острое слитное чувство, где неотличима русская земля от русского крестьянина, и оба они — от России, а вне земли — России нет. Постоянное напряжённое ощущение всей России — как бы целиком у тебя в груди. Неусыпчивая жалость, ничем никогда не прерываемая любовь. Но хотя любовь как будто вся — из мягкости, а как что прикоснётся э т о г о — твёрдость дуба. И так всю жизнь.

Впрочем, это чувство земли выныривало и в конногвардейце-деде, от которого, видно, и заповедалось: не будет расцвета русскому крестьянину, пока он скован круговой порукой общины, ответом каждого за всех, принудительным уравнием, обезнадёжливими пределами земли, никогда не в сросте с нею, бессмыслицей каких-либо улучшений, и длиной, узостью, нелепостью, отдалённостью полосок пахотных и сенокосных участков. Приехав даже изблизи, с земель белорусских или малороссийских, как не подичиться этой щемящей великорусской чересполосице, хотя и умилишься устоявшемуся вековому искусству крестьян измерять и уравнительно распределять во всём неравную, негладкую, несхожую землю?

И — просто до ясности, и — сложно так, что ни взять, ни объять. Передельная община мешает плодоносию земли, не платит долга природе и не даёт крестьянству своей воли и достатка. Земельные наделы должны быть переданы в устойчивую собственность крестьянина. А с другой стороны? — в этом умереньи, согласии своей воли с мирской, во взаимной помочи и в связанности буеволия — может быть, залегает ценность высшая, чем урожай и благоденствие? Может быть, развитие собственности — не лучшее, что может ждать народ? Может быть, община — не только стеснительная опека над личностью, но отвечает жизнепониманию народа, его вере? Может быть, здесь разногласие шире и общины, шире и самой России: свобода действия и достача нужны человеку на земле, чтобы распрямиться телом, но в извечной связанности, в сознании себя лишь крохой общего блага витает духовная высота?

Если думать так — невозможно действовать. Столыпин всегда был реалист, он думал и действовал едино. Нельзя требовать от народа небесности. И через собственность неизбежно нам проходить, как через все искушения этой жизни. И община — порождает немало розни среди крестьян.

(Хотя наш неизбежный очерк о Столыпине и деле его жизни будет как можно деловит и сжат, автор приглашает погрузиться в подробности лишь самых неутомимых любознательных читателей. Остальные без труда перешагнут в ближайший крупный шрифт. Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память её, и перебиты историки.)

Не все дают себе труд изучить предмет, но броски все к любимым доводам: де, русская поземельная община — это лучшее создание русского народного духа, она существует от Рюрика и Гостомысла и будет существовать, пока жив русский народ, аминь! И ещё как надо вникнуть, чтоб разошёлся романтический туман: мир — был на Руси испоконь, но принудительного земельного по-равнения ещё и до XVII века не было. Мир был — церковный приход, он содержал церковь, выбирал на священство, и добрых людей судных целовальников — правду стереги, и ведал помощью сиротам и вдовам, но не было принуждения равнять или переделывать участки, а: куда топор, коса и соха ходили — тою заимкой крестьянский двор владел, и продавал, и завещал.

Однако с первых Романовых всё уверенней распростиралась над этой крестьянской землёй — царская воля дарения и пожалования, так что земля под крестьянской сохой и косой невидимо переобразилась в землю помещичью. А там Пётр Первый разложил свою жестокою подушную подать, обязал помещиков взыскивать её — и для успешности взыскания понадобилось уравнивать землю по тяглам, а значит, и переделывать её временами. Так-то и создались общины — в одной Великороссии. Так и родилось то «извечное создание народного духа», которое нравилось теперь с разных сторон: государственной бюрократии — удобно для взыскания податей и для порядка в деревне; землевозцам, народникам, социалистам — уже почти готовый социализм в русской деревне, археологическая святыня, ещё шагнуть — обрабатывать землю сообща и пользоваться продуктами сообща — и из сегодняшней общины вырастет всероссийская наизжеланная земельная коммуна.

Вот освободили крестьян. Но деревня не расцвела от того, а упала. Вослед освобождению потянулась какая-то мёртвая полоса. Земля — та же, не ширится, а население распложается, так наделы падают. И несутся стоны об оскудении русского центра, о невыносимой земельной тесноте, — а удобной-то земли у нашего крестьянина — ещё вчетверо боль-

ше, чем у английского, в три с половиной немецкого, в два с половиной французского, — да только пользуется он ею худо: от этих разбросанных ненаследуемых полосок захватывает его безразличие, и где доступно взять 80 пудов с десятины — берётся 40. Община никого не защищает, но всех ослабляет. Никто из хозяев не может применить своей склонности к особой отрасли хозяйства, но все должны следовать единому способу. Говорится «община», а надо говорить: «черезполосица с трёхпольем без права выбрать вид посева и даже срок обработки». Всё от безразличия: ни в какой участок не надо вложить слишком усердно труда и удобрений — ведь его придётся скоро отдать в переделе, может какому-нибудь лодырю. Земельная теснота как будто должна направить на усиление обработки — нет, побеждает равнодушие и даже пьянство. И жажда крестьянина катит его сердце не как улучшить свой надел, а как прихватить бы где побольше. Земля и есть у него — и нет земли, и нет в нём острой и возбуждённой жадности, как: где бы землицей раздобыться?

Но если земля перестаёт кормить — то надо переустраиваться так, чтобы кормила? Нельзя доводить людей до нечеловеческого образа жизни.

От той же связи с землёй и что растёт из неё — Пётр Столыпин выбрал естественный факультет (Петербургского университета). От той же связи и студенчество не увлекло его ни в какое общественное возбуждение, но пошёл он на государственную службу — и в ведомстве земледелия успел поработать в одной из комиссий, ещё доводивших освободительные реформы Александра II. (В тех же годах он был и свидетель остановительных движений Александра III.) Дальше служба повела уездным предводителем дворянства, там — губернским, там — губернатором, и всё в губерниях западных, где земля у крестьян — чаще в подворном пользовании, — и Пётр Аркадьевич видел и убеждался, насколько это плодотворней, а где община — местами склонял крестьян к мирским приговорам на раздел, на хуторские выселки — и испытывал, что это — добро. И повсюду — свой любимый уклон и пристрастие: то склад сельскохозяйственных орудий, то сельскохозяйственное общество, посевы, покосы, посадки, лошади; своё любимое состояние: объезжать рысаков или, в высоких сапогах, непромокаемой куртке, пересекать грязевища осенних полей, в это особенное время, когда земля говорит только работнику, а для всех пикников — покинута, неуютна.

И так уже был он самый молодой — сорок лет — губернатор в России, а тут революционеры убили очередного министра внутренних дел (Плева), и при вызванных тем перемещениях Столыпин был внезапно переназначен в крупную Саратовскую губернию, из самых революционно-бурных. Левые партии были здесь богатые (пожертвованиями богатых людей), щедро тратились на газеты и прокламации, а к властям устоялась такая накалённая непримиримость, что иные интеллигенты даже в симфоническом концерте хлопали креслами и уходили, если

в свою ложу вошёл губернатор. И в самих революционных беспорядках уже устанавливался такой порядок, что при волнениях губернские власти покидали Саратов, иллюзорное же управление переходило в руки младших администраторов. (Да и среди старших, увешанных царскими орденами, выставлялись иные оппозиционерством.) Ярче, чем во многих местах России, саратовское общество чувствовало и высказывало громко свою как бы несомненную правоту, а власти умели выставлять войска, никогда — аргументы, смирясь со своей как бы несомненной виновностью. Нов и неожидан выказался губернатор — рослый, прямой, с решительными движениями, властной повадкой, не из тех, какие по ночам в своих дворцах не спали от страха, но выезжал на коне без эскорта к разъярённой толпе на площади, шедшему на него парню с дубиной бросал свою шинель — «подержи!» — и голосом полнотонным, уверенной речью уговаривал толпу разойтись. И наоборот, когда иная толпа, в оскорблённом патриотическом чувстве, в Балашове осадила здание, где собралась интеллигенция для обсуждения политической резолюции, Столыпин спас их тоже вмешательством личным, сквозь толпу, и погромщик ещё ушиб булыжником его отроду большую правую руку.

В три первых года этого века — Девятьсот Первом, Втором и Третьем, Россия была охвачена опасно нарастающим ознобом, уже в жару. Всё указывало — начать методическое неуклонное лечение. И тут, как сталькая заболелаящего лёгочного в прорубь, открыли войну с Японией.

Не только верность службе, но верность монархическому принципу стягивают человека в дисциплине, заставляя все усумненья и ропот перемальвать в себе и, даже если всё отрывается внутри, — соблюдать внешнюю бодрость. Смутны истоки войны, нечётка её неизбежность на русском пути. От этого трудно найти в себе влечение к жертве, ещё труднее разбудить в других. Но есть зов царя — и каждому сыну родины остаётся... (На таких безвыгодных речах развивалось умение говорить и вера в то, что говорить он умеет.)

В *передовой* губернии и покушения на власть были передовыми. В бурную осень 1905 года в доме Столыпина в Саратове был разнесен бомбой генерал-адъютант Сахаров, присланный подавлять мятежи. (Эти бомбы бросались очень просто: приходила просительница с жалостным лицом. А эти каратели были доступны любому необыканному просителю даже и в неслужебные часы.)

Первое покушение на Петра Аркадьевича было тем же летом, при объезде губернии, просто в деревне: два револьверных выстрела. (Как и последнее...) Столыпин сам бросился догонять стрелявшего, но тот убежал. Второе — на театральной площади, при возбуждённой, недоброжелательной толпе: с третьего этажа к его ногам упала бомба, убила нескольких — но губернатор остался невредим и ещё уговорил толпу разойтись. Третий раз (как и последний...) покуситель уже навёл револьвер в упор, тоже перед толпою, — Столыпин распахнул пальто: «Стреляй!» — и тот обронил револьвер. Не удавалось самого — стали

приходить анонимные письма (революционная этика): отравлен будет ваш двухлетний сын, готовьтесь! (Единственный сын после пяти дочерей.)

Но и все покушения не остерегли Столыпина, не отвадили, напротив, — он ещё решительней ездил по губернии, в те именно места, где гуще бурлило, где дерзей всего левые, — и всегда безоружным входил в бушевань толпы. И утишал — речами, всё более владея своим голосом и спокойствием, не крича, не угрожая, но разясняя. При внутреннем ядре его жизни, крестьянам — он только и мог *объяснять*, он больше всего это и любил: глядя прямо в глаза, объяснять, — метод, забытый русской администрацией. Делить помещичью землю? — Тришкин кафтан, не прикроет; даже если всё разделить — не намного обогатитесь; а без царя — и все пойдёте нищими. У крестьян он имел и успех наибольший — они слушали его благожелательно, и бывало, что бунтарская сходка требовала священника и служила молебен о царе.

Молодой саратовский губернатор чем более думал, тем более проникался, что грозны для России не демонстрации образованной публики, не волнения студентов, не бомбы революционеров, не рабочие забастовки, даже не восстания на иных городских окраинах, — страшно и угрозно для России только стихийное пламя крестьянских волнений, погромная волна — такая, что от одной горящей усадьбы можно докинуть глазом до другой. Так и в Саратовской губернии в 1905 не было недостатка в этих поджогах, перебрасывавшихся как зараза, так что крупные владельцы уже и не бывали вовсе в своих усадьбах. На сельских пространствах шла необъявленная пожарно-революционная война. И вместе с тем, сколько мог видеть сосердственный наблюдатель, — это вовсе не было следствием революционных идей в народном сознании, но — взрывами отчаяния от какого-то коренного неустройства крестьянской жизни. Это безвыходное неустройство такую трещиной проходило в крестьянской душе, что даже в крупноурожайный год, как минувший 1904, большие заработки крестьян не послужили к устройству их положения или лучшему ведению хозяйства, но по большей части растрчивались по винным лавкам. Что-то запирало крестьянину всякую возможность улучшения, упрочения. А запирала: невозможность подлинно владеть землёю, которую одну только и любил и мечтал иметь крестьянин. Путь ему перегораживало, самого крестьянина заглатывало — общинное владение. И судьба России и спасенье её: остановить эти погромы усадеб, эту крестьянскую раздражённость. Но — не карой, не войсками, а: открыть крестьянину пути свободного и умелого землепользования, которое и обильно бы кормило его и утоляло бы его трудовой смысл. Путь был только один: возвышение техники обработки.

В конце каждого года полагалось губернаторам посылать на высочайшее имя рутинный отчёт о состоянии губернии. Каждый год Столыпин не мог удержаться, не вписать туда что-то из своих заветных мыслей о крестьянстве и земле. Кончая же 1904, саратовский губернатор переступил все формы бюрократической записки и вложил свои излюб-

ленные наблюдения и страстное сочувствие, пытаюсь убедить читающего (вообразительно — самого Государя): нужно открыть выход из общины в самостоятельные зажиточные поселения. И такие устойчивые представители земли смогли бы, в опору трону, устойчивому государственному порядку, противостоять городским нетерпеливым теоретикам, их разрушительной пропаганде, — создать в противовес им крепкую земельную партию.

Давнее зерно всей жизни должно было где-то пробиться ростком, не удивительно, вот и пошло стеблем живым через толщу бюрократического отчёта. Но таких губернских отчётов до ста собиралось в Петергофе, красиво переплетенных, да бесплодных, и не всех судьба была испытать прикосновение к себе царских пальцев, не то что перелист, не то что внимательное чтение. Чудо русской истории, что монарх — не слишком напряжённый читатель и мыслитель — именно эти страницы (по чьему ли совету? уже никогда не узнаем) прочёл, и стебель их пробился к его сердцу, отнюдь не безчувственному, а в зажатости и застенчивости мечтавшему найти бы путь к народному благу, да только неуильный; но были бархатом завешаны зренье и движенья императора. (Может быть, на эту отзывность и намекает Столыпин через три года:

...минута, когда вера в будущее России была поколеблена, нарушены были многие понятия, не нарушена только вера Царя в силу русского пахаря.

Не явно, но именно главная связь русской земли и должна проявляться в её роковые минуты; именно такую цепочку допустимо предположить и здесь.)

И в апреле 1906 полетела вызывная телеграмма из Петербурга в Саратов. Государь принял Столыпина ласково, сказал, что давно следит за его деятельностью в губернии, считает его исключительным администратором — и вот назначает министром внутренних дел.

Среди сотен государственных назначений — почти всегда ошибочных, близоруких, даже ничтожных — чудо русской истории было это назначение 26 апреля 1906 в первый думский кабинет, в канун открытия 1-й Государственной Думы, через три дня после объявления первой русской Конституции, на рубеже нового, думского периода России. Приходила Дума — но и правительству было кем встретить её.

Столыпина озадачило: такого возвышения невозможно было предвидеть, он не готовился к такой ответственности и к такой власти. Да, он был и уверен в своей силе, и знал себя прирождённым вождём, и у него много было соображений выше, чем губернских, но...

«Это против моей совести, Ваше Величество. Ваша милость ко мне превосходит мои способности. Не благоугодно ли было бы Вам назначить меня лишь *товарищем*?.. Я не знаю Петербурга и его тайных течений и влияний...»

Нет, Государь в этот раз не колебался.

Впрочем, дар отравленный: уже двое предшественников на этом посту убиты.

Соображений выше, чем губернских: если не явится спаситель с крепкой рукой и крепкой головой, монархия погибла. Но Столыпин вправду явился в Петербург не столичным чиновником, а волевым послом русской провинции. (Министры на заседаниях морщились от его провинциальности.)

Есть два пути к посту министра внутренних дел: по лестнице полицейской и по лестнице административной. Путь прихода потом называется перевесом деятельности первой или второй. Все мысли Столыпина были склада общегосударственного. А вот прежде надо было дать чужой полицейский бой — да такой, какого русская революция ещё не встречала и не ждала.

1-я Дума собралась — уверенная в себе, резкая, громкая, с неостывшими голосами от свежевыхваченной победы. Дума собралась — бороться против любого законопроекта, какой бы ни был предложен этим правительством. Когда этой Думе прочитывали с трибуны, сколько террористических убийств совершено в разных местах, — иные депутаты кричали с кресел: «Мало!» Дума собралась непримиримее и резче, чем сама Россия, собралась — не копать в скучной законодательной работе да по комиссиям, не утверждать да исправлять какие-то законы или бюджеты, а — соединённым криком сдунуть с мест, сорвать и это правительство, и эту монархию, — и открыть России путь блистательного республиканства из лучших университетских и митинговых умов под благородной среброволосой копной профессора Муромцева. В первой же резолюции эта Дума потребовала: отнятия и раздела помещичьих земель! упразднения второй палаты — Государственного Совета (чтобы быть свободнее самой)! да и — отставки правительства, чего уж! Собранная Дума публично требовала начать законодательную жизнь с изменения Конституции (что вне Думы считалось уголовным преступлением) и так обещала обществу новую форму революции! В Думе сидели (чаще вскакивали) почти открытые эсеры, почти открытые террористы, легальные представители нелегальных партий, но более всего — кадеты, цвет интеллигенции двух столиц и десятка самых разговорчивых городов, — и они торжествовали своё умственное превосходство над бездарным дряхлым правительством, никогда, кажется, не давшим ни оратора, ни ума, ни государственного мужа.

Для них внезапным встречным ударом выдвинулся никому не известный Столыпин, — не генерал и не чиновник, без единой орденской ленты, не тряская старая развалина, как было принято, но неприлично молодой для российского министра, — шагом твёрдым всходя на трибуну, крепкого сложенья, осанистый, видный, густоголосый, в красноречии не уступая лучшим ораторам оппозиции, и с тою убеждённостью в мыслях, живых и напряжённых к отстаиванию, какие не сотворятся ни чинами, ни годами, ни шпаргалками. С той убеждённостью в правоте, которую не раздёргать, не высмеять, не отринуть, с той уверенностью, что никакой здравомыслящий не может же с ним не согла-

ситься, — и левые колыхались, возбуждались, вскакивали с рёвом, стукали ногами, крышками попнитров — «в отставку!»

А Столыпин стоял не согбась, оваянный вызывающим спокойствием. Быть может, и он ожидал встретить здесь не *этих*, по арифметике населения он мог бы рассчитывать встретить здесь Думу крестьянскую, но вот оказалась такая — он и к ней обращался со всей серьёзностью, надеясь и этих убедить, нисколько не подлаживаясь под оттенки их стиля, нисколько не стыдясь обруганного понятия «патриот». Он и их призывал к терпеливой работе для родины, когда они собрались прокричать лишь — к бунту! Бунт упущен был в главных городах, неосуществив одну профессорской учёностью, но ещё можно было вздуть его через деревню: разбудить крестьянство воззванием к захвату помещичьих земель, — и тогда сами вспыхнут пожары, заревут погромы — и сдунется трон, и Россия станет счастливой, демократической. Но именно на этой деревенской дорожке, устойчиво опираясь, и стоял против Думы всё тот же Столыпин: не земельные подачки, не беспорядочная раздача земли! Как всякое созревшее историческое действие, общинная реформа была обдумана на верхах и до Столыпина — но он был первый, кто отдал ей всю волю, всю веру и свою судьбу. Теперь-то, в разгар революции, тем более реформа эта стала жизненно нужна. Столыпин настаивал перед Думой, что Россия в целом не разбогатеет ни от какого передела, а только разгромятся лучшие хозяйства и уменьшится хлеба. Он напоминал земельную статистику, совсем неведомую тёмным мужикам (никто из правителей, из тёплых поместий, никогда не просветился объяснить её народу), но и для кадетов настолько досадливую, что они её не хотели признать и усвоить: казённой земли — 140 миллионов десятин, но это большей частью тундры да пустыни, остальное — уже в крестьянских наделах; всей крестьянской земли — 160 миллионов десятин, а всей дворянской — 53, втрое меньше, да ещё и под лесами большая часть, так что и всю до клочка раздела — крестьян не обогатить. Так — не раздача земель, не успокоение бунта подачками. Землю надо не хватать друг у друга, а свою собственную пахать иначе: научиться брать с десятины не по 36 пудов, а по 80 и 100, как в лучших хозяйствах.

Но заложены были уши и левых, в Думе и вне Думы, услышать доводы его:

Правительство желает видеть крестьянина богатым, достаточным, а где достаток — там и просвещение, там и настоящая свобода. Для этого надо дать возможность способному трудолюбивому крестьянину, соли земли русской, освободиться от нынешних тисков, избавить его от кабалы отживающего общинного строя, дать ему власть над землёй; и заложены уши правых:

Землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных вместо голодающих и погромщиков. Отсутствие у крестьян своей земли и подрывает их уважение ко всякой чужой собственности.

(Может быть, помещики через свою собственность поймут и крестьянскую нужду.)

Со всех сторон все городские люди и все кадеты защищали общину, — иным совсем и ненужную, непонятную, чужую, — но из своих расчётов или из игры политики.

В конце июня правительство обратилось к населению, пытаясь что-то объяснить из сути дела, — в начале июля постановила и Дума: обратиться мимо правительства прямо к населению, что никогда не отступит и не даст себя уклонить от принципа принудительного отторжения частных земель!

Дума сама отлила свою судьбу! Это был прямой крик законодательного учреждения: мужики, отбирайте землю, убивайте хозяев, начинайте чёрный передел! Только не совпал политический календарь с природным: ещё хлеба на корню. Но вот как справятся с уборкой — и заплохает?

И что же было с такой дерзкой Думой делать? Вызываемый, среди других, на консультации в Петергоф, где Государь замкнуто жил по революционному времени, Столыпин мог понять, что в близком окружении Государя вихрилась неразбериха. Дума оказалась дерзка к правительству — но ведь она *народная* и, стало, не может не быть лояльна и даже родственна своему народному царю? Глас народа требует отнятия земель у помещиков — но, может быть, на это надо и пойти? Тайно велись переговоры с лидерами думских кадетов — и те охотно соглашались брать власть, но не обещая никакого снисхождения взамен. А между тем натерелый, но престарелый, срок службы переживший Горемыкин едва удерживал правительственный руль и очень хотел его передать, и сам твёрдо указывал на Столыпина. (Такое назначение и вовсе было бы сотрясательно и громоподобно для Двора: первым министром всегда назначалось лицо в соответствии со старшинством службы, числом уже полученных наград, достаточно близкое ко всем приближённым, никому не досадившее, а то и услужливое.) Но столыпинская программа решительных мер столкнулась с прекраснородушной программой другого кандидата в премьеры, Дмитрия Шипова.

Любовь к народу бывает разная и разно нас ведёт. Шипов, заслуженный земец, чистейший нравственный человек, всю жизнь и отдал этому служению народу-богоносцу. Донашивая лучшие представления, что все люди в основном добры и народ добр, лишь не умеем мы дать расцвести его судьбе, Шипов отказался принять от Государя возглавление кабинета министров при кадетском в Думе большинстве: возглавить и должны были избранники народа кадеты. И тем более он возражал против разгона Думы — не по взрывоопасности такого действия, но: какая есть, неработоспособная, неработооочая, бунтарская — пусть, пусть Дума делает ошибки! Куда б она России ни завела, это естественное развитие: население будет знать, что это — ошибки его избранников, и исправит при следующих выборах.

А Столыпин возражал, что прежде такой проверки свалится вся телега. Что в России опаснее всего — проявление слабости. Что нельзя так покорно копировать заёмные западные устройства, но надо иметь смелость идти своим русским путём. Мало иметь правильные мысли — нужно проявить и волю, осуществляя их.

А Шипов возражал, что и уверенная воля и успешные действия — тоже не всё, но выше того должна быть глубина нравственного мирозерцания — и в его недостатке он винил Столыпина.

В те первоиюльские дни в петергофской тиши определялся ещё один узел русской жизни, которые вот так зачастили. Разогнать Думу? — вызвать горшующую бурную революцию? Не разгонять? — катиться в неё же?

Всего два-три дня петергофских консультаций были у Столыпина, чтобы решиться на принятие великой и горькой власти. И он хорошо понимал, какое наследство ему предлагают: после нескольких десятилетий, упущенных в государственном строительстве, после нескольких месяцев, уступленных расползу революции.

Доводы Столыпина убедили Государя (но в сильнейшем колебании; уже дал согласие, уже объявили роспуск, — а всё не ставил последней подписи на указе). Решение состоялось: новым председателем совета министров был назначен Столыпин — принять все последствия вызванной бури. Два месяца назад ещё губернатор — вот премьер-министр.

Прошлой осенью там, в Саратове, как и все остальные тогда губернаторы, как и все провинциальные власти, Столыпин был изумлён, застигнут полной внезапностью Манифеста 17 октября 1905. Не только не было о нём никакого предварения, предупреждения, но само опубликование произошло так нелепо, что в иные места текст его прибывал раньше частным образом, а не правительственным (а слухи ещё раньше), печатался в местной частной типографии и вывешивался в окне еврейской аптеки — на соблазн постовых городских, к полной растерянности властей и к восторгу интеллигентской публики. И толпы стягивались трясти ворота губернской тюрьмы на сутки и на двое раньше, чем по тюремному управлению сообщался приказ о выпуске амнистированных.

Манифест, поворачивавший одним косым ударом весь исторический ход тысячелетнего корабля, как будто был вырван из рук самодержца вихрем поспешности? едва ли не раньше, чем тот сам перечёл его второй раз? Дан в таких попытках, в такой катастрофической срочности (отчего? как это было понять из Саратова, Архангельска, Костромы?), что не только разъяснений местным властям не было подготовлено и послано (и все толковали его по-своему, революционеры — как можно шире, и в городах сталкивались до крови демонстрации сочувственные и враждебные), — но в самом себе Манифест ещё не содержал ни одного готового закона, а лишь ворох обещаний, почти лозунгов, первой всего — свободы слова, собраний и союзов, затем: к выборам в Государственную Думу

привлечь те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав.

Означало ли это всеобщее равное голосование? Чего проще было бы сказать? — обходчиво не было сказано. Зато с торопливостью:

Установить незыблемо, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы.

Неизвестно ещё как выбранной в будущем, ей уже заранее доверялась неизменность той будущей системы. Торопились влезть в петлю и затянуть её на своей шее. Сама же избирательная система пришла двумя месяцами позже, от кружка расслабленных государственных старцев, и опять поспешная, плохо обдуманная, десятикратно запутанная: и не всеобщая, и не сословная, и не цензовая; например, перед рабочими даже заискивали, давая им гарантированные места в Думе, отделением ото всего населения укрепляя в них ощущение своей особенности.

А даже и не был избирательный закон результатом только испуга и поспешности, но лежали в его основах ошибки коренные. Одна: что необъятная, неохватная, почти целый материк, богатырская и дремучая, ярко самостоятельная Россия не может и не должна открыть ничего подходящего себе другого, чем выработали для себя несколько тесных стран Европы, напоённых культурой, с несравнимой историей и совершенно иными представлениями о жизни. Другая ошибка: что вся крестьянская, мещанская и купеческая национальная масса этой страны нуждается в том именно, чего требуют громким криком безосновательные кучки в нескольких крупных городах. И третья: что, при несхожем по образованности, по быту, по навыкам составе населения, уже созрела пора и вообще возможно разработать такой избирательный закон, чтобы вся корявая масса послала в Думу именно своих корявых представителей, соответственных истому облику и духу России, а не была бы на подставу подменена острыми развязными бойчиками, которые выхватят ложное право глаголить от имени всей России. В деревнях выборы были почти всеобщие (и, как корове седло, тайные), но за две и за три ступени происходила подмена депутатов. Ради мнимой простоты не предусматривались уездные избирательные собрания, где встречались бы выборщики от отдельных разобшённых курий, узнавали бы друг друга и посылали бы в губернию от своей уездной совокупности таких лиц, кто могли бы дальше представлять уездные интересы, были бы известны своему населению, достойные и почвенные деятели. Вместо этого выборщики от уездных курий ехали прямо на губернское собрание, тонули там в незнакомой толпе, особенно терялись крестьяне, не готовые ко всей системе выборов, и образованные кадеты легко изматывали их на губернских собраниях. Да и все, забыв уезды, сбивались по классовому признаку, что и открывало путь речевитым политическим главарям. Так расплылась в ничто и опора на крестьянство. Такая подмена ещё на многие десятилетия обрекала Россию не быть представленной в своём парламенте своими истинными представителями: те истинные смутятся, тем истинным ещё надо было развить в себе уверенность, грамотность, лёгкость речи, широту кругозора, государственный опыт. А, пожалуй, ничто для общественной русской жизни не было важ-

нее и лучше, как: на живом деле развивать все виды земств, и особенно волостное, с которым медлили уже 40 лет.

По обещаниям Манифеста собирался в Петербурге парламент, но не 82% его, как в самой стране, представляло сельское население. Власть тоже боялась возобладания крестьянской численности в парламенте: тёмная масса, совсем не созревшая к правовому сознанию (но тогда и зачем же парламент?), поглотит культурные органические элементы общества. Сростясь с имущим напуганным дворянством, российская государственная власть и в прошлом царствовании и в нынешнем не доверяла своим крестьянам и, декорируя парламент, тоже искажала их нормальное развитие. Не доверяла истой сущности России и её единственному надёжному будущему.

Манифест 17 октября был не только суетлив и плохо продуман, но — неясен и двойственен. Вобранный затем в раму Конституции 23 апреля 1906 (названный «Основными Законами»), чтобы не дразнить уха Государя «конституцией»), он как будто и ограничивал самодержавие, а как будто пытался его и сохранить. Манифест только дальше распахнул ворота революции, а теперь призываемому премьер-министру предстояло закрыть их, оставаясь под сенью Манифеста же: только законными методами законного правительства. Руками, оплетенными пышноцветными лентами Манифеста, надо было вытягивать живую Россию из хаоса. Но, принимая должность, Столыпин и понимал, за что берётся и на каких условиях. Какая ни создалась в России конституция, разделившая прежде единую власть, — ему теперь доводилось первому с этой конституцией обращаться, учиться самому и учить других — вести Россию новым необычайным средним фарватером. Он намеревался честно и упорно выполнять эти обязательства — и теперь принимал к себе в кабинет лишь таких министров, которые искренно согласны с новым конституционным строем. Он понимал, что сразу же густятся враги на двух крыльях: крайне-правые, желающие изорвать Манифест и вернуться к безконтрольному управлению, и по-российски неумеренные либералы, желающие не хода кораблю, но завалить его на противоположный бок и придавить противников.

А весь сегодняшний размашистый расшат России Столыпин, как губернатор и премьер-министр, слишком хорошо обнимал представлением. Это не была прежняя цельная устойчивая страна. В революциях так: трудно сдвигается, но чуть расшат пошёл — он всё гулче, скрепы сами лопаются повсюду, открывая глубокую проржавь, отдельные элементы вековой постройки колются, оплавляются, движутся друг мимо друга, каждый сам по себе, и даже тают. Вместо прежней «земли и воли» лозунг революции стал теперь: «в с я з е м л я и в с я в о л я», настаивая, что от воли Манифест кинул только клочки, а землю — будет отнимать решительно всю, никому ни клочка не оставив.

Как будто существуют, сильно помягчвшие, законы о союзах — но союзы (инженеров, адвокатов, учителей) вольно действуют, даже не пытаясь легализоваться, как им любезно предлагается. Печать свобод-

на, она течёт, не спросив правительства, — и вот враждебные правительству лица используют её для растления населения (а значит — и армии!). Уж как наименьшее: легальная печать «воспроизводит без комментариев» любую дичь революционных воззваний, любые резолюции нелегальных конференций. Целый Совет рабочих депутатов интеллигенты укрывали на частных квартирах и печатали его разрушительные призывы. Разлито общественное настроение: верить всякой лжи и клевете, если они направлены против правительства. Пристрастие прессы: безответственно печатать эти клеветы и не опровергать потом, — пресса захватила себе власть сильнее правительственной.

В учебных заведениях хоронятся склады революционных изданий, оружия, лаборатории, типографии, бюро революционных организаций. Но всякий раз, когда полиция протягивает туда руку, — общество и пресса взывают о злоупотреблении властей, о вмешательстве их в неподлежащие дела, а учебное начальство, бессильное внести успокоение, ещё подлаживается к бунтующей молодёжи и оспаривает результаты обысков. На заседании учёного педагогического совета передают из рук в руки фуражки и ридикюли с надписями: «на пропаганду среди рабочих», «на вооружение», «в пользу эсеровского комитета»...

В гражданских и военных судах по политическим делам пристрастные послабления в пользу виновных: тяжёлых уголовно-революционных убийц освобождают до суда, под крики толпы применяют смягчения, равносильные оправданию, или откладывают дела, или даже не начинают их.

Революционеры повсюду наглеют, везут из-за границы оружие в опасных для страны количествах. Они силой выгоняют на мятежи или на забастовки. Где не удаются забастовки — там портят мосты, железнодорожное полотно, рвут телеграфные столбы, чтобы добиться развала страны и без забастовок. И охотно громят во множестве казённые винные лавки.

А местные власти — расшатаны, разъединены, нерадивы, да более всего — напуганы, как бы не тронули их самих. Кадетствующее чиновничество получает содержание от правительства и одновременно проявляет свою к нему оппозицию: состоит на государственной службе, а тайно — агитирует или участвует в революционных группах, — иногда по сочувствию к ним, иногда по боязни мести. Представители власти — как в параличе вялости, растерянности, боязни. Служащих, деятельных против дезорганизации, террористы безнаказанно убивают.

Страх, одолевший власть, это — уже поражение её, уже — торжество революции, даже ещё не совершённой.

Также и полиция в дремоте или в страхе. Низшие полицейские чины и стражники, сжившись с местным населением, долго не обращают внимания на растущее вокруг брожение — а потом оно взрывается и губит их самих первыми: низшие чины — самые беззащитные, на них-то посягательство самое и лёгкое, к городovým, по роду их службы, могут обращаться за справками все проходящие. И террористы пользуются

этим. Уездная полиция перед враждебно настроенной толпой часто проявляет совершенную слабость в действиях и только развращает этим массу, толкая на новые выходы.

А деревенские раскинутые просторы — и тем более без наглядно и удержу, и любые агитаторы успешно сеют на них возбуждение. Вот трое городских агитаторов, с девушкой, подняли 400 крестьянских подвод на разгром сахарного завода: они сами — в масках, и в квартире управляющего играют на рояле, пока крестьяне громят завод. Пришлые поджигатели — не соседние крестьяне — распарывают животы скоту на племенном заводе, и быки и коровы подышающе режут над своими внутренностями. Крестьяне жгут имения, библиотеки, картины, рубят в щепки старинную мебель, бьют фарфор, топчут ногами, ломают, рвут, где — не дают спастись из горящих домов, где — увозят награбленное возами. (Разгромили и усадьбу помещика-либерала, и он просит помощи губернатора.) А сельское духовенство, многолетнее подавленное, не в силах остановить мятежные движения своей паствы. (А иные городские батюшки даже и сами действуют против правительства.)

На аграрные беспорядки высылаются большие армейские отряды, иногда целые полки. Они бессмысленно содержатся стянутыми — и тогда остаются без охраны угрожаемые районы, или их дробят мелкими подразделениями — и эти маленькие отрядики становятся добычей агитаторов. Гражданские начальники развращаются правом пользования необычными войсками в необычном месте: создают себе чрезмерные конвои при разъездах, ставят возле своих частных квартир целые отряды с артиллерией, пользуются нижними чинами для личных услуг — и так оскорбляют войска, действуя разрушительно, как и те агитаторы.

А брожение страны перекинулось, конечно, и в воинские части. Идут солдаты по увольнительной в город — и там стоят на митингах (вперемешку с гимназистами). Вне казарм для солдат полное безначалие, хоть и пьянство. Да одних газет начитавшись, впору только бунтовать, ничего другого. Впрочем, агитаторы являются и прямо в казармы, лишь натянув военную одежду, и беспрепятственно агитируют здесь, и тащат кипы листов. И уже установилась терминология: что Россией правит шайка грабителей, армией командуют враги трудового народа, и никто в армии (и в России) не научен возразить, а только — ловить и наказывать. Агитаторы используют каждое слабое место, каждый промах — замедление отпуска призывных, опоздание со сменой обмундирования, худые харчи, невыписку проездных билетов. Запущенность, конечно, есть везде, запущенность оттого, что страна опоздала в развитии, а потом, этим же революционерам сопротивляясь, — несколько десятков лет не развивается нормально, — поэтому агитаторским языкам легко. А в воинских частях никакого наглядно за агитацией нет, и воинские начальники привыкли рапортовать: «в части всё благополучно». Армейское командование, как все гражданские власти, охотенело или слишком быстро напугано, оно вдруг разрешает общую сходку в казар-

ме и предлагает составлять требования. И требования составляются (партийными агитаторами): «Дать ответ в трёхдневный срок! это не улучшение довольствия, если в день добавили полфунта мяса!»

Да, но и платить бы солдатам не 22 копейки в месяц, и курить разрешать не только в отхожем месте, а за неотданье чести не ставить безчувственной чуркой. Как и с крестьянами, как и с рабочими, запущенность в армии большая. Есть окостенение традиции, и полковникам и поручикам кажется: ни над чем не надо думать, будет вот так само-само плыть ещё триста лет.

Передние ноги коней российской колесницы уже плавали над пропастью — и не много было минут размышлять: хватать ли за узды разнесшихся коней? принимать ли непосильную власть в непосильный момент?

А ещё и в эти самые дни петергофских консультаций братишки-террористы успели убить одного генерала в самом же Петергофе (спутали по мундиру, приняли Козлова за Дмитрия Трепова), одного адмирала в Севастополе.

И лёг под высочайшую подпись первый указ, ведомый мыслью и пером Столыпина:

Выборные от населения вместо работы строительства законодательного уклонились в непринадлежащую им область, к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению.

Роспуск Думы вполне мог показаться — и казался! — не последневременным хватаньем под узды, а ещё одним отчаянным толчком — туда! в ту пропасть! (Государево окружение и Трепов страшились этого шага.)

Но то был риск хладнокровной руки, знающей, что: уже взяла — и держит!

Да восстановится же спокойствие в земле русской и да поможет нам Всевышний осуществить *главнейший*, — выделял Столыпин, —

из царственных трудов наших — поднятие благосостояния крестьянства. Воля наша к сему непреклонна, — направлял Столыпин царскую волю, —

и пахарь русский, без ущерба чужому владению, получит там, где существует теснота земельная, законный и честный способ расширить своё землевладение.

Верим, что появятся богатые мысли и дела и что самоотверженным трудом их...

Тут и была вся программа начатого боя: обе стороны хотели *поднять* крестьянство: радикальные интеллигенты — поднять на поджоги и погромы, чтобы развалить и перепрокинуть русскую жизнь; консервативно-либеральный правитель — поднять крестьян в благосостоянии, чтобы русскую жизнь укрепить.

А ожидая удара революции, в тот же день Столыпин ввёл по Петербургской губернии — положение чрезвычайной охраны.

Так уверенно рвалась Дума к горлу власти, казалась — неудержимой, предвидела победу и никак не ждала встречного удара! И — что же теперь? Удар был нанесен, наступил момент испустить клич революции! Но — клич неожиданно не испустился. Испустился как бы воздух из проколотого шара — сперва громче, но сразу и тише — Выборгское воззвание.

Однако кроме оробевших кадетов в разогнанной Думе были и боевые эсеры (переназванные для легальности в «трудовиков») и захлѣбчивые социал-демократы. Эти — опубликовали в Петербурге 12 июля

МАНИФЕСТ К АРМИИ И ФЛОТУ

Солдаты и матросы! Мы были избраны заявить царю про народные обиды и добиться *земли и воли*. Но царь послушал богатейших помещиков, которые не желают выпустить из рук имения... маньчжурских генералов, которые убежали от японцев и расстреливали Москву... Зачем вы будете защищать правительство? Разве вам хорошо живѣтся? Вас отдают в рабскую службу денщиками... Мы хотели издать законы о денежном жалованьи солдатам, о запрещении всяких оскорблений.

Мы, законно избранные представители от крестьянства и рабочих, объявляем вам: без Государственной Думы правительство незаконно! Вы присягали защищать отечество. Ваше отечество — это русские города и сѣла. Всякий, кто будет стрелять в народ, есть преступник, изменник и враг, им не будет возврата в родные селения. *Правительство вступило в переговоры с австрийским и германским императорами*, чтобы немецкие войска вторглись в нашу страну. *За такие переговоры мы обвиняем правительство в государственной измене!* вне закона! Солдаты и матросы! Ваша священная обязанность — **о с в о б о д и т ь** народ от изменнического правительства! В бой за землю и волю!

Как всякая революционная прокламация, терпела и эта без проверки любую дичь, хоть и переговоры с Германией. Но здесь не только взрывались слова: уже мотались революционные гонцы между Севастополем, Кронштадтом и Свеаборгом — поднять восстание в единый срок! (Даже не скрывали план: после уборки хлебов зажечь восстания сельские, войска кинутся туда, — а передовые крепости тут и восстанут.) Вновь раздуть восхитительный багряный воздух революции!

Тут не случайно замелькала Финляндия — и Выборг, где можно было воззвание оглашать, и Свеаборг — главная морская крепость на островах у самого Гельсингфорса. Уж когда по всей России ослабли законы, то в Финляндии они почти и вовсе не действовали. Едва разогнали Думу — именно сюда штабс-капитан русской службы Цион телеграфно звал думцев: «Будете под защитой пушек Свеаборга!» Именно в Гельсингфорс кинулись революционеры из эмиграции и самой России, именно в его кофейнях и скверах заголосили лучшие ораторы, а матросы и солдаты гарнизона безпрепятственно слонялись от митинга к митингу, слушая об измене русского правительства и что пришло время свергать его. По финским законам не только не мешали тем митингам, но по Гельсингфорсу маршировали вооружённые отряды открыто за революционеров; действовало легальное издательство «Фугас», и выходил социал-демократический «Вестник казармы», звавший к восстанию против «террористического правительства» и «всероссийского палача».

Финляндия! Это была ещё одна из прогноз заболевшего российского тела. Для какого-то величия, украшения или мнимой пользы России включили в неё Финляндию, отобрав у Швеции, признали её конституцию на 100 лет раньше российской; дали ей парламент на 60 лет раньше нашего; дали вольности Александра I и Александра II, на которые внутри самой России не решились до сих пор; освободили от воинской повинности; дали финнам привилегии на территории Империи; так устроили валютную систему, что финны жили за счёт России. Потом двумя ослабленными границами — финско-шведской и финско-русской, открыли лёгкий проход из Европы революционерам, революционной литературе и оружию. И всех тех дарований Столыпин не имел права теперь не признать. Финляндия стала для российских революционеров более надёжным убежищем, чем соседние европейские государства: оттуда, по договорам с Россией, их могли выдать, а финская полиция вообще за ними не следила, и русская не могла иметь в Финляндии агентуры. Финляндия стала легальным заповедником и плацдармом всех российских конспираторов, гнездом изготовления бомб и фальшивых документов. Здесь, под куполом почти западной свободы, в 25 верстах от столицы России и неотграниченно от неё, — проводились десятки революционных конференций и съездов, готовился террор для Петербурга, сюда же увозили награбленные террористами деньги. Началась российская смута — под видом мирной классовой организации была разрешена финляндская «красная гвардия», она открыто по всей Финляндии проводила воинские учения и парады, даже под стенами Выборгской крепости, нападала на жандармов, — и от этого всего наплыва могучая Россия могла только отгородиться белоостровским кордоном.

В Финляндии же 17 июля вспыхнул дикий Свеаборгский мятеж — сразу с побоища между восставшими артиллеристами и невосставшей пехотой. Таким побоищем меж русскими солдатами и протёк он все три дня. Присоединяться к бунту заставляли под угрозой смерти, офицеров арестовали (показав и другие жребии: кого застрелили, кого подняли

на штыки и утопили, один застрелился сам). «Бей офицеров!» и был лозунг, под которым звали пехоту, но пехота в восстание не пошла, и за это три дня её поливали тяжёлыми пушками, а она отстреливалась полевыми. В этой взаимной канонаде и при взрыве пороховых погребов, с которыми без офицеров не управлялись, от русских снарядов погибло несколько сот русских солдат. К восставшим сбежали десятки каких-то гражданских бесов — и три дня они поджигали это взаимное уничтожение, а в последнюю ночь Цион и его друзья тайно сбежали, покинув восставших на расправу.

И во всей Финляндии у русских властей не нашлось войск для подавления, это сделал только — ещё новым обстрелом — пришедший флот.

На третий день взбунтовался и Кронштадт, но здесь бунта хватило лишь на 6 часов.

И именно этих — финскую красную гвардию, взорвавшую мосты между Гельсингфорсом и Петербургом, валившую телеграфные столбы и взятую с оружием на территории мятежной крепости, — по свободным финским законам неслыханно было бы привлечь к военному суду, это оскорбило бы конституционное чувство финнов. И так, их всех отпустили под мягкий суд на короткие сроки, военный же суд судил только русских (а потом большинство приговорённых к казни помиловали).

Мысль Столыпина была: чем твёрже в самом начале — тем меньше жертв. Всякое начальное попустительство лишь увеличивает поздние жертвы. Умиротворяющие начала — где можно убедить. Но этих бесов не исправить словами убеждения, к ним — неуклонность и стремительность кары. Что же будет за правительство (и где второе такое на свете?), которое отказывается защищать государственный строй, прощает убийства и бомбометание? Правительство — в обороне. Почему должно отступать оно — а не революция?

Где с бомбами врываются в поезда, под флагом социальной революции грабят мирных жителей, там правительство обязано поддерживать порядок, не обращая внимания на крики о реакции.

(В то время в России такое заявление воспринималось как наглая реакция. Через 70 лет по всему миру это, пожалуй, понятнее.)

Революционеры вооружённо захватывали типографии, печатали призывы ко всеобщему восстанию и массовым убийствам, возглашали местные областные республики, пылал Прибалтийский край, бунтовали полки в Тамбове, на Кавказе, в Брест-Литовске, волновались Ставрополь и Батум, бастовал Каспийский флот, тульский оружейный завод, весь южный промышленный район или вся Польша, — меры должны были быть решительны, даже суровы, — но строго законны. Изъять массы оружия; восполнять места бастующих — под охраною войск, добровольцами из патриотических организаций, — но не давать им оружия и права междуусобицы; твёрдо поддержать полицию, чья служба особенно тяжела. Именно суд своей правильной, твёрдой и быстрой дея-

тельностью значительно устранит применение административного воздействия. Но слабость судебной репрессии деморализует всё население.

Допущенная в одних случаях снисходительность, в других может порождать мысль о неуместности строгой кары, которая превращается как бы в излишнюю жестокость.

Так же и медленный судебный аппарат не произведёт впечатления в массе и никого не успокоит. Значит — военно-полевые суды: обстановка гражданской войны? — так и законы военного времени. А быстрые меры вызовут и поддержку населения, это верней всего и остановит революционеров:

Одна решимость благомыслящих людей открыто выступить в защиту порядка произведёт такое впечатление, что понизится безумная смелость «боевиков», которая живёт за счёт малодушия сторонников мирной жизни.

Однако эти простые мысли не только опережали всемирную эпоху, но и — волю трона, оробевшего от дерзости распустить эту 1-ю Думу, — а теперь ещё дальше двигаться в грозно-опасное подавление?

Исход ускорили сами террористы: они решили прервать жизнь нового премьер-министра после одного месяца его деятельности и 12 августа взорвали казённую дачу премьера на Аптекарьском острове как раз во время приёма посетителей. Это был — из успешнейших взрывов революции: 32 тяжелораненых и 27 убитых! (Всё больше — посторонние. Раскопками солдат двух полков и пяти пожарных команд обнаруживали раненых и трупы в скрюченных позах, с оторванными частями тел, без голов, рук, ног.) Разнесло полдома, отпали стены, лестницы, трёхлетнего единственного сына Столыпина и одну из дочерей выкинуло с балкона через забор далеко на набережную, мальчику сломало ногу, девочка попала под раненых перепуганных лошадей, на которых революционеры подъехали в фэзтоне. Одна просительница была с младенцем — убило обоих. В ключья были разорваны и сами революционеры и оставившие их генерал и швейцар, — и только одна комната в доме совсем не пострадала: кабинет Петра Аркадьевича. В момент взрыва он сидел за письменным столом. От воздушного толчка большая бронзовая чернильница взлетела через его голову, залила его чернилами — и это был весь ущерб.

Приехал царский катер, взял семью Столыпина в пустующий Зимний дворец. В яркую летнюю субботу катер проезжал под мостами, а там наверху шло кипливое шествие с красными флагами. Восемилетняя, не раненая, дочь в испуге спряталась от них под скамейку. Столыпин, только что умоливший не ампутировать ног раненой дочери (их мучительно пролечат два года, но она останется хромой на всю жизнь), сказал тут, остальным:

— Когда в нас стреляют, дети, — прятаться нельзя.

Вся левая печать в эти дни намекала Столыпину («страдания его детей так подействовали на его нервы»), что самое время ему — усвоить урок, пока не поздно, уйти в отставку, спасая детей и себя. (А между тем

признав и обречённость правительства: «быть может освежилось его сознание, что невозможно управлять без полномочных представителей народа».) Нет! именно теперь Столыпин и не уступил главарям террора: пусть подаёт в отставку кто трус!

Где аргумент — бомба, там естественный ответ — беспощадность кары. К нашему горю и сраму лишь казнь немногих предотвратит моря крови.

Так начался пресловутый *стольпинский террор*, настолько навязанный русскому языку и русскому понятию — говорить ли об иностранных! — что посегодняя он стынет перед нами чёрной полосой самого жестокого разгула. А террор был такой: введены (и действовали 8 месяцев) для *особо тяжких* (не всех) грабительств, убийств и нападений на полицию, власти и мирных граждан — военно-полевые суды, чтобы приблизить к моменту и месту преступления — разбор дела и приговор. (Предлагали Столыпину объявить уже арестованных террористов заложниками за действия невзятых — он, разумеется, это отверг.) Была установлена уголовная ответственность за распространение (до сих пор практически безпрепятственное) в армии — противоправительственное учений. Устанавливалась уголовная ответственность и за восхваление террора (до сих пор для думских депутатов, прессы да и публики — безпрепятственное). Смертная казнь, согласно закону, применялась к бомбометателям как прямым убийцам, но нельзя было применять её к уличённым изготовителям этих самых бомб. Собрания, устраиваемые партиями и обществами, если они происходили без посторонних и не в публичных помещениях, или с посторонними, но интеллигентной публикой, — не требовали надзора администрации.

Такие *драконовские* меры вызвали в русском обществе единодушный мощный гнев. Посыпались газетные статьи, речи, письма (и от Льва Толстого), что нельзя сметь казнить вообще никого, даже и самых зверских убийц, что военно-полевые суды не могут обновить нравственного облика общества (как будто террор обновлял его), а лишь содействовать одичанию (как ещё того успешнее — террор). Гучков, осмелевший открыто поддержать введение военно-полевых судов (они-де лучше, чем расстрелы озлобившейся полицией или войсками), был заклёвнут левой травлей. Да даже всякая телеграмма сочувствия пострадавшим должностным лицам вызывала либеральное негодование. Всякий, кто не одобрял громко революционного террора, понимался русским обществом сам как каратель.

А между тем одичание не одичание, странно: тотчас по введении военно-полевых судов террор ослаб и упал.

Эти самые решительные месяцы Столыпин с семьёй, нигде теперь не опасённые, по настоянию Государя жили в перепыщенной мрачноватой тюрьме Зимнего дворца, где сами цари давно не обитали. На всех входах и въездах менялись строгие караулы. Пётр Аркадьевич, так любивший верховую езду да сильную одинокую ходьбу по полям, теперь гулял из зала в зал дворца или всходил на крышу его, где тоже было

место для царских прогулок. Вот тут, взнесенный над самым центром Петербурга и скрытый увалами крыш, премьер-министр России только и мог быть неуязвимым. А император этой страны так же потаённо прятался уже второй год в маленьком имении в Петергофе и так же давнo нигде не смел показываться публично и даже под охраною ездить по дорогам собственной страны.

И в чьих же тогда руках была Россия? Разве — ещё не победили революционеры?

В залах Зимнего горели только дежурные лампочки, отчего было ещё мрачней. В полумраке тускнела позолота рам бесчисленных портретов, позолота и хрусталь несветящихся люстр. Чехлами была покрыта неподсчитанно богатая отслужившая мебель, стольких высокоумудрых сановников принимавшая в свои изящно-изогнутые объятия, а вот — с пустыми затынутыми зевами, с застывшей хваткой мертвецов. И чехлом же был покрыт императорский трон. Как тоже отслуживший.

И забирала продрожь: да жива ли русская монархия? И та династия, что готовилась к 300-летию?.. Перепуганным Манифестом 17 октября не сама ли себя душала?

За этой мёртвой мебелью Столыпин ощущал тысячи высокопоставленных живых мертвецов, кто сбившейся своей толпой хотел бы остановить всякое движение истории. А вокруг дворца бродили обесевшие юноши с бомбами, кто хотел бы взорвать историю и тем тоже окончить её. И вырисовывался перед Столыпиным единственный естественный, но в землетрясной обстановке почти невероятный путь: путь равновесной линии по обломочному хребту. До сих пор почему-то: реформы — означали ослабление и даже гибель власти, а суровые меры порядка означали отказ от преобразований. Но Столыпин ясно видел совмещение того и другого! А по свойству характера: то, что видел и знал, — он уже и умел проделать мужественно. Его склонность и была не к публичным политическим распрям с одной стороны и не к парадом с другой, — но достигать и делать. Он видел путь и брался: даже из этого малоумного виттевского манифеста вывести Россию на твёрдую дорогу, спасти и ту неустойчивую Конституцию, которую сляпали в метаньях.

Но даже слов «конституционный строй» и «конституция» он не смел употреблять, щадя чувства Государя. Мало было премьер-министру двух слитных яростно-вражьих полос с двух сторон, — ещё он должен был отзывчиво балансировать, чтоб не повредить уязвимых, робких чувств Государя. Как верующему невозможно делать что-либо серьёзное, говоря и полагая, что он делает это своею мощью, а не по Божьей милости, так монархисту невозможно браться за большое дело для родины, выйдя из пределов монархопочитания. За несколько месяцев Столыпин уже померился и увидел, что российские говоруны, почти легендарные, если смотреть из провинции, — на самом деле не сила и не разум. И про себя успел увидеть, что отлично способен им противостоять. Но принявши пост главы правительства России, он должен был думать — не как развернёт свои свободные замыслы, а: как сумеет ввести их в русло

монаршей воли. И даже когда этой воли явственно не было, а была напуганность, но в перемеси с упрямством, даже и в ошибках, и как высший импульс — не переживать безпокойств, — всё равно надо было бережно отыскивать этот бледный, слабый огонёк монаршей воли и отклонять его от задувания и подпитывать его, чтоб он не гас. Потому что Россия в обозримое время не могла бы двигаться и даже выжить при сломе её монархического облика и устоя. Нельзя было поддаваться простой человеческой оценке вяловатого, мягкого собеседника, вот курящего через стол, с простой мягкой улыбкой между простыми усами и бородой, но в самом себе искренно подстраивать образ, исконно парящий в золотом ореоле. Потому что никакому величайшему министру не подменить собою слабого наследного Государя. Путь Бисмарка — нестеснённо насиловать волю монарха в интересах монархии — Столыпин не принимал для себя.

Несомненно было, что Государь растерян, не уверен, боится делать решительные шаги — как бы ещё не увеличить беспорядки. (Как распоряжение государственное: прошу приказать вести точный счёт телеграммам, получаемым мною от Союза Русского Народа, и засим представить мне общую ведомость.) Ему несомненно нужна сила, которая сделает всё за него (мою мысль разрешаю обсудить в Совете министров), но так, чтобы народ знал: это мысль царя и царю близки народные горе и радости.

И всё это вместе вызывало у Столыпина — боль и жалость, за первую — Россию, но сразу же — и за венценосца, слабого, но добродетельного, слабейшего всех своих предшественников в династии, не по своей воле попавшего под тяжкую мономахову корону в самые тяжёлые годы. И порыв: не оставить этого царя в беде, но вложить ему всю свою решительность. Не только потому, что иначе им не совершить общего русского дела, но — из сочувствия к его обречённой медлительности и шаткости. (Хотя очень видно вперёд, как этот царь может легко отшатнуться и предать своего министра.) Следуя форме, обкладывая свои стремительные властные решения подушками почтительности. ...Повергнуть на ваше благоволение... И как вы правы, Ваше Величество, как вы правильно угадываете... Простите, Государь, за смелость моего чистосердечного мнения, высказываемого по долгу службы и присяги, и верьте, что я менее всего хотел бы влиять на свободу вашего решения... Все мои стремления — к тому, чтобы оберегать вас от затруднений и неприятностей...

Только в зимнем саду многообразно перекликались певчие птицы. Да ещё во всех залах и при всех дверях дежурили старые лакеи, привычно сторожа дряхлеющую немую старину и даже неприятно поражённые живой фигурой премьер-министра как призраком Гамлетова отца. Они церемонно-обязательно шаркали, молчали, отвечали необходимое и оживлялись, только если их спрашивали о старине.

Нет, Столыпин так задышался: без часовой живой прогулки вся его неисчерпаемая работоспособность — до трёх часов ночи и с девяти ут-

ра — могла подкоситься. Хоть один час подлинной прогулки с размышлением сообщает предметам ту крупную совзвешенность, без которой невозможны большие решения, а судьба — утопиться в мелочах.

Тогда изобрели поездки, проводимые по плану охраны: это она определяла, а не сам премьер-министр, через какую из множества парадных дверей его сегодня выведут, где ожидает карета, по каким улицам повезут и куда. За городом, на окраине, Пётр Аркадьевич гулял. И снова не знал, каким путём его вернут, обещал не вмешиваться, не давать приказаний кучеру, чтобы не сбивать. На таких же условиях ездил он и с докладами к Государю — летом в Петергоф, зимой в Царское. По распоряжку Государя утро начиналось почти к полудню, так что Столыпин ездил с докладами всегда вечером, а возвращался к часу ночи.

Несмотря и на такую замкнутость жизни, террористы изобрели, как найти и убить его. Сперва: через студентов, через старшую дочь подставить в семью учителя младших дочерей — террориста. Разоблачилось. (Ухаживая за старшей, он звал её к себе на квартиру — но дочь сочла неблагородным открыть этот адрес отцу, — и Столыпин согласился.) Тогда: ввели террориста в охрану Зимнего дворца, и более чем удачно: с револьвером в кармане он стоял на карауле как раз при том входе, через который однажды и вышел Столыпин, — но от неожиданности растерялся, не выстрелил, а затем вскоре был разоблачён. И ещё раз: социалисты-революционеры пронаблюдали, как Столыпин посещает больную сестру, снял квартиру в доме через улицу, готовились стрелять из окна в окно, — сорвалось и это. И ещё раз: при открытии медицинского института (группа Зильберберга). И ещё раз: на поездке в Петергоф с докладом (Сулятицкий). Всего за год были пресечены покушения: группы Добржинского, «летучего отряда» Розы Рабинович и Леи Лапиной, «летучего отряда» Трауберга, группы Строгальщикова, группы Фейги Элькиной и группы Лейбы Либермана.

Об этих месяцах Столыпин говорил близким: «Каждое утро творю молитву и смотрю на предстоящий день как на последний в жизни. А вечером благодарю Бога за лишний дарованный в жизни день. Я понимаю: смерть как расплата за убеждения. И порой ясно чувствую, что наступит день, когда замысел убийцы наконец удастся. Но ведь несколькими смертям не бывать, умирают только раз».

И уже в первый вечер изнурительной жизни в Зимнем, едва оправясь от взрыва, при двух раненых детях и перепуганных остальных, Столыпин сидел и работал глубоко в ночь. В наш самый грозный час, при наибольшей жизненной стеснённости, как раз и выполняется главная задача жизни! Террористы порывались убить его, но Россия свисала над бездной. Горели поместья, взрывались бомбы, бунтовали воинские части, судили военно-полевые суды, — а смотреть надо было далеко в будущее, а продвигаться — по единому стержню продуманной системы реформ. Прекращая беспорядки физической силой, правительство тем более должно было направить нравственную силу на обновление страны, и прежде всего на земельную реформу.

Мы будущими поколениями будем привлечены к ответу. Мы ответим за то, что пали духом, впали в бездействие, в какую-то старческую беспомощность, утратили веру в русский народ.

Узел русских судеб завязан в деревне. Лечить государство надо не с высшего общества, где развращены, заражены: чиновники — рутинной службы, помещики — свободной жизнью, отсутствием обязанностей, Двор... — о Дворе монархисту судить не приличествует. У государства должны быть прежде всего прочные ноги, и лечить его надо с ног — с крестьян. Никакое здоровое развитие России не может решиться иначе как через деревню. Это была главная мысль Столыпина: что нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина, а такой гражданин в России — крестьянин. «Сперва гражданин — потом гражданственность». (Это и Витте говорил, что всякой конституции должно предшествовать освобождение крестьян, но сам же Витте нервным дёргом ввёл конституцию — а Столыпину теперь доставалось освобождать крестьян уже после неё.) Абстрактное право на свободу без подлинной свободы крестьянства — «румянец на труп». Россия не может стать сильным государством, пока её главный класс не заинтересован в её строе. И, говорил Столыпин, —

нет предела содействию и льготам, которые я готов предоставить крестьянству, чтобы вывести его на путь культурного развития. Если эта реформа нам не удастся, то всех нас надо гнать помелом.

На правительстве — нравственное обязательство указать законный выход крестьянской нужде,

каждому трудолюбивому работнику создать собственное хозяйство, приложить свободный труд, не нарушая чужих прав.

Немедленную уступкою крестьянам части казённых, удельных, кабинетских земель (9 миллионов десятин тотчас же — указ об этих 9 миллионах был подписан в самый день взрыва на Аптекарском острове, при дружном семейном сопротивлении великих князей, не желавших отдавать удельную землю всю и не желавших безвозмездно); облегчением продажи земель заповедных, майоратных (для примера и сам Столыпин продал своё нижегородское имение Крестьянскому банку); понижением платежей по ссудам, увеличением кредита, — но главное: свободой выхода из общины.

Невыносима дальше необходимость всем подчиняться одному способу ведения хозяйства, невыносимо для хозяина с инициативой применять свои лучшие склонности к временной земле. Постоянные переделы рождают в земледельце беспечность и равнодушие. Поля уравненные — это поля разорённые. При уравнительном землепользовании понижается уровень всей страны —

и сельскохозяйственный, и общекультурный.

Заноса руку разрушить земельную общину, ещё бы Столыпин не знал, сколько государственных актов перед тем были направлены — общину сковать и заморозить. Даже Николай I настойчиво вёл земельную программу, не отличимую от мечты нынешних эсеров: равномерное (по дворам, по сёлам, по волостям, по уездам и даже по губерниям) наделение землёй и периодические переделы по переписям. Попытки в конце его царствования в виде опыта расселять государственных крестьян на семейно-подворных участках были остановлены при Александре II. При освобождении крестьян от помещиков хотя и видна была несуразность оставить их в зависимости от общины, но сделали именно так (сохраня теоретический выход: выйти единовольно после уплаты всех выкупных платежей; но почти никто не нашёл сил выкупиться так, а в конце царствования Александра III и этот выход запретили — пока все выкупы были прощены царским махом осенью 1905). Русские цари один за другим таили недоверие к самому трудолюбивому и обширному классу, на котором зиждилась страна. Не доверял крестьянам и Александр III, запрещая даже простой раздел крестьянского двора без согласия общины, специальными указами напоминая неотчужденье наделных земель (и как раз после голода 1891, когда ожидался бы вывод противоположный!), стесняя робкие права деревенских сходов властью дворянских начальников — властью штрафов, арестов и даже розог.

Ошибкою Александра III было: перенести на крестьян гнев, вызванный интеллигентскими мятежниками.

Не доверял крестьянам и царствующий Государь, всего три года назад настаивая на неприкосновенности общины, даже когда уже отменялась невыносимая, несправедливая круговая порука сельских общин за неисправных плательщиков; и даже в прошлом году с высоты трона было повторено, что наделные земли неотчуждаемы. Держать общину настаивал и Победоносцев (чья сила исчерпалась только осенью 1905).

А просто: осознанно, неосознанно, — весь правящий слой дрожал и корыстно держался за свои земли — дворянские, великокняжеские, удельные: только начнись где-нибудь какое-нибудь движение земельной собственности — ах, как бы не дошло и до нашей. (Да ещё обзаведись крестьяне своей землёй — уменьшится предложение крестьянского труда.)

А с дворянской землёй не помогала и самая убедительная статистика: выше всех цифр и доводов парила в крестьянской груди наследственная обида на помещичье землевладение: не у нынешнего поколения, не у отцов, не у дедов, даже не у прадедов, — но у каких-то предков наших когда-то вы отняли землю ни за что, *дали* нас целыми деревнями вместе с землёй! — и этого незажившего пыланья не могли остудить столетия.

Но именно: отсутствие у крестьян подлинно своей, ощутимо *своей* земли и подрывает его уважение ко всякой чужой собственности. Затянувшиеся общины своим мировоззрением и питают социализм, уже накатывающий во всём мире. Несмотря на святую общину, деревня

в Пятом году проявила себя как пороховой погреб. Правовое беззастенчивое обращение с крестьянами далее нетерпимо, крестьянин закреплён общиной. Нельзя дальше держать его на помочах, это несовместимо с понятием всякой иной свободы в государстве.

Чувство личной собственности столь же естественно, как чувство голода, как влечение к продолжению рода, как всякое другое природное свойство человека,

и оно должно быть удовлетворено. Собственность крестьян на землю — залог государственного порядка. Крестьянин без собственной земли легко прислушивается к толкам, поддаётся толчку разрешить свои земельные вожделения насилием. Крепкий крестьянин на своей земле — преграда для всякого разрушительного движения, для всякого коммунизма, то-то все социалисты так надрываются — не выпускать крестьянина из плена общины, не дать ему набрать сил. (Да и скученная жизнь в деревне облегчает работу агитаторов.) Земельной реформой уничтожаются и эсеровские поджоги.

Свой ключевой земельный закон Столыпин понимал как вторую часть реформы 1861 года. Это и было истинное, полное освобождение крестьян, опоздавшее на 45 лет. (И как тогда подогнало крымское поражение, так теперь подогнало японское.)

Вероятно, многое из этого говорилось и внушалось на ночных приёмах в Петергофе летом и осенью 1906 года — и имело успех. Государь вот уже и сам был искренно уверен, даже увлечён, что это именно он чувствовал и выразил: благоденствие крестьянства — главный царственный труд Наш. Что это именно он задумал реформу в продолжение великого дедовского освобождения крестьян, и удачно, что Столыпин находит для неё формулировки. И теперь Государь сам настаивал — проводить закон без Думы, чтоб она не тормозила, по статье 87 Основных Законов:

Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость, Совет министров представляет законодательную меру непосредственно Государю императору.

(Но за 2 месяца восстановившихся занятий Думы закон, не утверждённый ею, а тем более не представленный ей, умирал.)

То была золотая пора их отношений с Государем. И Столыпин спешил с практическими делами.

В то лето он тщетно пытался привлечь к себе в кабинет представителей не слишком левой общественности — Гучкова, Шипова, Николая Львова, привлечь именно этой линией: что нынешнее время — не слов, не программ, не звучных рассуждений, но — дела и работы. Делу — поверят, и дело увлечёт скорей и верней, чем слова. Не торопиться собирать для такой же безответственной болтовни следующую неработоспособную Думу, чьи депутаты под прикрытием неприкосновенности будут вести разлагающую работу. Но поспешить сделать шаги и реформы, на-сущно необходимые сразу большим группам населения.

Надо было не топтаться, не оглядываться, а — двигаться, и не отставая от скорости века, в движеньи не теряя из глаз точные контуры современного положения. Угадывать лучшее и иметь настойчивость осуществлять его. Таким талантом и обладал Столыпин. Он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции.

Нет! Такова была в русском обществе радостная ослеплённость солнцем свободы, что никакое бедствие не казалось сравнимым со счастьем публично рассуждать. *Человек дела* — воспринималось синонимом тирана. Никто из приглашаемых общественных деятелей не рискнул войти в кабинет Столыпина, кто и сочувствуя ему.

5 октября 1906 Столыпин получил царскую подпись на указ о гражданском равноправии крестьян, уравниении их с лицами других сословий, — дать им то положение «свободных сельских обывателей», которое было им обещано 19 февраля 1861. Крестьяне получали право: свободно менять место жительства, свободно избирать род занятий, подписывать векселя, поступать на государственную службу и в учебные заведения на тех же правах, что и дворяне, и уже не спрашивая согласия «мира» или земского начальника. Отменялись и все последние специфические крестьянские наказания. (Ни 2-я, ни 3-я, ни 4-я свободоносные Думы, страстно любящие народ и только народ, никогда до самой революции так и не утвердили этого закона! — и во время его многолетнего обсуждения правые громкими возгласами поддерживали левых ораторов, а Столыпина обвиняли в революционизме.)

Провёл указ о волостном земстве — то есть безусловном местном самоуправлении, чтобы начать децентрализацию управления государственным. (Та же судьба: свободолюбивые защитники народа утопят и этот закон до самого февраля 1917, упрекая его в недостаточной демократичности, и правые охотно поддержат их. Так навек будет закрыто крестьянам самим управлять местными делами — финансами, орошением, дорогами, школами, культурой.)

Когда городские интеллигенты выхватывали Манифест о свободе слова и собраний, они позабыли, что ещё существует понятие и свободы вероисповедания. Теперь, в междудумье, Столыпин отменил часть вероисповедных ограничений, уравниал в правах старообрядцев и сектантов. Установил свободу религиозных общин, право на молитвенные здания.

Долго готовил Столыпин и настойчиво пытался провести также закон о равноправии евреев — следуя духу Манифеста, но имея и мысль большую часть евреев оторвать от революции. По его закону с евреев снималась значительная часть ограничений (а некоторые облегчения текли и прежде того) — и уже состоялось постановление правительства. Однако, после колебаний, тоже долгих, и с редкой у него твёрдостью, Николай II отверг этот закон. Столыпин был озадачен, но принял меры, чтобы тень отказа не запятнала царя в глазах общества. А коль скоро закон о еврейском равноправии отодвинут — так вот и полная причина для Думы задерживать равноправие крестьянское: не даёте евреям — так мы не дадим крестьянам!

И ещё ряд земельных законов: о землеустройстве, о мелиорации, об улучшении форм землепользования, о льготном кредитовании.

А венчая их, 9 ноября 1906 — основной указ о праве выйти из общины, укрепить свой надел в личную собственность (отруб) или вовсе выделиться, с жильём (хутор).

Но гораздо и больше того за эту осень и зиму было наготовлено 2-й Государственной Думе законопроектов, наготовлено не на её силы, — на историческое переустройство России.

Выбиралась Дума совершенно свободно. При повышенной общественной горячности от разгона 1-й Думы, 2-я собралась не менее грозной. Кипели слухи, что весь созыв обманен, что Думу тотчас и распустят, — нет, Столыпин созывал её, чтобы с ней работать, и прямодушно предлагал равную критику взаимных законодательных предположений.

Дума открылась в конце февраля. А 2 марта 1907 в зале её заседаний в Таврическом дворце обрушился высокий потолок — балками, люстрами, досками, штукатуркой на весь центр думского пустого зала, на три четверти депутатских мест, президиум, оратора и правительство, и если б на несколько часов позже — погрёб депутатов бы триста да сильно бы ранил, оставляя невредимыми лишь крайне-правых и крайне-левых. Только потому уцелела Дума, что обвал случился не в час заседаний.

Левые депутаты не преминули объяснить событие
грубым презрением к народным представителям
и даже заговором:

Может быть, это входило в расчёт, тогда этот расчёт жесток... Нам нужно обеспечить нашу жизнь на будущее время.

А голосистый социалист, «рабочий» (корректор) Алексинский:

Если народ узнает, что над нами валятся потолки — он смеет сделать из этого соответствующие выводы!

(Потом нашлись вполне достоверные объяснения, почему этот потолок и неизбежно должен был рухнуть: исследования о том, как он строился при Потёмкине, как подгнил от долговременной здесь теплицы. Однако этот обвал не мог не произвести впечатления на современников даже материалистических, так и толкая развидеть тут символ — но чего именно?.. — не устоять ли Думе? или этому правительству? или самой России? Ещё надо было протечь десяти годам, день в день, чтобы открылся и символ и день падения потолка.)

Заседания перенесли в белый зал Дворянского Собрания, на Михайловскую. Там 6 марта Столыпин — неуничтожимый, всё тот же цельный, безуклонный, прямой, всё с той же бодростью и верой в своё дело, всё с тем же вызывающим взглядом, вышел перед очередной «Думой народного гнева» (хотя уже без свистков) прочесть правительственную декларацию.

В первых же словах признав, как того жаждала Дума, что по воле монарха отечество наше должно превратиться в государство правовое, чтобы обязанности и права русских

подданных определялись писаным законом, а не волею отдельных лиц,

то есть утвердив, что государство будет перестраиваться в соответствии с Манифестом 17 октября (и даже трактуя этот процесс как усиленный национальный *рост*), а для того будет пересмотрено всё действующее отечественное законодательство (для правых — революционный выпад, как взрыв анархистской бомбы), Столыпин тут же перешёл к обоснованию своего заветного Земельного закона:

Невозможно откладывать настойчивые просьбы крестьян, изнемогающих от земельной неурядицы; нельзя медлить предупредить совершенное расстройство самой многочисленной части населения России, которая стала экономически слабой, неспособной обеспечить себе безбедное существование своим исконным земледельческим промыслом.

А дальше, — как если бы Россия и давно была государством парламентским и перед ним сидел бы традиционный опытный парламент, — Столыпин развернул перед новособранной Думой объёмную и разработанную постепенную программу — самый полный, связный, стройный план переукладки России, когда-либо высказанный в нашей стране. Хотя он мог предложить лишь ту

серую повседневную работу, скрытый блеск которой может обнаружиться только со временем.

По всем направлениям общественной жизни тут был подробный разворот множества мер, объединённых единой мыслью. Как создать единство губернских и уездных управлений, упразднить многочисленные *присутствия*. Упразднить настраивших всем земских начальников. Упразднить даже и жандармерию, введя новый полицейский устав и точно определив сферы полицейской власти. Отменить административную высылку. Ввести судебный контроль над задержаниями, обысками, вскрытием корреспонденции. (Кажется, и за весь XX век ничто в нашем отечестве не выполнено и ничто не устарело.) Создать местный суд — доступный, дешёвый, скорый и близкий к населению. Мировых судей избирать населением и расширить их компетенцию. Установить гражданскую и уголовную ответственность государственных служащих. Ввести защиту в предварительное следствие. Допустить: осуждение — условное, освобождение — досрочное. Разработать меры общественного призрения, государственное попечение о нетрудоспособных, государственное страхование по болезни, увечьям и старости. Широкое содействие государственной власти благосостоянию рабочих, ненаказуемость экономических стачек. Дать естественный выход экономическим стремлениям рабочих, административно не вмешиваться в отношения между промышленниками и рабочими. Врачебная помощь на заводах. Запрет ночных работ женщин и подростков, сокращение длительности рабочего дня. И об улучшении гужевых дорог. О развитии рельсовых путей. Водных и шоссейных. Судостроения. О постройке Амурской железной дороги (из Забайкалья в Хабаровск). И школьная рефор-

ма: законченный круг знаний в начальном, среднем и высшем образовании, но и связь трёх ступеней. Во всех ступенях — улучшить материальное положение преподавателей. Подготовить сперва общедоступность, затем и обязательность начального образования во всей Империи. Профессиональные училища. Наконец — изыскание средств для этого всего, бюджет. Его трудности после неудачной войны. Бережливость. Равномерность налогового бремени для населения — подоходный налог и облегчение неимущим. Финансирование земств, городов...

Мог бы рассчитывать Столыпин, что хоть кто-нибудь из присутствующих оценит грандиозность и стройность его программы. Но если и были такие немногие депутаты в неопытной Думе, то не их голоса были слышны. Ах, да разве для этого собрались со всей Империи пламенные ораторы 2-й Думы, а особенно закавказцы! (Хотя представляла Дума как будто всё население России, но на трибуне всё мелькала по-человечески череда необузданных закавказских социал-демократов.) Неужели — дремать над цифрами росписи государственных доходов и расходов? Неужели каждый вечер до полуночи заседать в комиссиях и доводить этот необъятный ворох законопроектов до окончательных формулировок? Избавьте! Вот уж не могла такая мелочность привлечь сочувствие депутатов! Слишком уж много предлагалось этой серой работы со скрытым блеском, который публика оценить не может. И — куда же направить алый гейзер свободолобивых речей? Эта программа с её множеством конкретных пунктов, даже с облегчением рабочего класса, с отменой ссылки и жандармерии, — не могла не быть коварной лицемерной уловкой, чтобы миновать революцию. И чем дать увлечь себя в крючкотворное законодательство и в беспросветную работу — лучше громко разоблачать правительство и громко говорить о свободе.

Тотчас в атаку ринулся краса социализма Церетели. Это правительство —

правительство военно-полевых судов, сковавшее всю страну, разорившее вконец население

(за 8 месяцев своего существования, законами о крестьянском равноправии и хуторах). Как все тогдашние русские социалисты, он лил и лил из своего катехизиса, как бы не слышав произносимого в думском зале и не имея цели к чему-нибудь прийти с этим собранием. (Председатель Головин счёл долгом подтвердить, что не находит, в чём бы поправить этого оратора.)

Ц е р е т е л и: Правительство организует расстрелы целых кварталов!

(Тут председатель потребовал от правых не нарушать порядка.) А Церетели гнал волны гнева:

...в целях сохранения крепостнического уклада!.. Законопроекты урезают даже те права, которые народ уже вырвал из рук своих врагов. Мы разберём их при свете кровавых деяний правительства. Пусть наш обличающий голос пронесётся по всей стране и разбудит к борьбе всех, кто

ещё не проснулись. Мы обращаемся к народным представителям с призывом готовить народную силу, — то есть к восстанию? — иначе понять нельзя.

Под видом успокоения страны оградили интересы всякого рода паразитов... Распродают земли в интересах помещиков... Социал-демократическая фракция возлагает все надежды на *движение самого народа*.

Александринский: Помещики, которые именуют себя русским правительством... Крестьяне, желающие получить всю землю без выкупа, не получают её иначе как путём *борьбы*.

Кадеты же в этом заседании — демонстративно молчали. Они выразить хотели ту степень осуждения, которая выше всяких гневных слов. Но проявился в молчании и оттенок растерянности. Кадеты не могли не видеть — но и не хотели видеть! но и запретили себе видеть! — что Столыпин и предлагал либеральную освободительную программу, разворачивал обновлённый строй, давал верный тон соотношению исполнительной и законодательной власти, давал тон самой Думе. Но это приходило — от власти, значит — *не из тех рук*, и слишком прямо вело к укреплению жизни, когда надо было сперва её развалить. Кадеты молчали — и в молчаньи своём ненавидели этого выскочку. Конституционная партия, для которой и делались уступки, не хотела их, а рвалась к революции.

Все фракции, от кадетов и налево до края, отказались даже обсуждать правительственную программу по её сути. Тщетно какие-то тёмные депутаты-крестьяне предлагали

прежде всего работать и работать вместе с правительством. Россия, посылая нас сюда, приказывала не взирая на революционные меры, а стараться мирным путём облегчить нужды народа, утолить его голод, дать ему свет.

Джапаридзе от фракции с-д предложил формулу перехода:

Государственная Дума, вполне разделяя недоверие народа к правительству, рассчитывает, *опираясь на его поддержку*, претворить волю народа в закон.

То есть восстанием.

А этот невыносимый царский министр под градом левых речей не убежал, не скрылся, не изничтожился. Но — в чёрном глухо застёгнутом сюртуке, с мраморной осанкой и мистически уверенной выступкой фигуры, невыносимый именно тем, что он — не угасающий нафталиновый старец, не урод, не кретин, но — красив, но в сознании своей силы и вот несомненной победы, в поединке одного против пятисот, ответил с трибуны громким, ясным голосом:

Языком совместной работы не может быть язык ненависти и злобы, я им пользоваться не буду... Правительство должно было или дать дорогу революции, забыв, что власть есть хранительница целостности русского народа, или — отстоять, что было ей вверено. Я заявляю, что скамьи правитель-

ства — это не скамьи подсудимых. За наши действия в эту историческую минуту мы дадим ответ перед историей, как и вы. Правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение неустойчивости, злоупотреблений. Но если нападки рассчитаны вызвать у правительства паралич воли и сведены к «руки вверх!» — правительство с полным спокойствием и сознанием правоты может ответить: «Не за пугаете!»

Слова его впечатывались и во врагов и в друзей. За много лет впервые оппозиция встретила в нём противника блистательного и смелого.

Вне Думы речь его быстро стала знаменита, к нему потекли адреса с десятками тысяч приветственных подписей, даже от грамотных крестьян. Москвичам (в Москве он провёл детство) Столыпин ответил:

Надеюсь не на себя, а на ту собирательную силу духа, которая уже не раз шла из Москвы, спасая Россию.

В ту пору (и ещё через десяток лет) образы Смутного Времени навевались многим русским людям, привлекались ораторами, вдохновляли деятелей, казались посильными для повторенья и нами.

Но в 1907 году этой великой программой и великой речью открылась ещё одна неработоспособная Дума безконечных бесплодных прений.

Хотя закон о военно-полевых судах без утверждения Думы сам собою отпадал через полтора месяца — Дума начала горячо осуждать именно его, ибо это было выигрышно. И ещё через неделю всё тот же невозмутимый, твёрдый, эпически достойный Столыпин вышел отвечать вновь:

Мы слышали тут, что у правительства руки в крови, что для России стыд и позор — военно-полевые суды. Но государство, находясь в опасности, обязано принимать исключительные законы, чтоб оградить себя от распада. Этот принцип — в природе человека и в природе государства. Когда человек болен, его лечат ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Когда государственный организм потрясён до корней, правительство может приостановить течение закона и все нормы права. Бывают роковые моменты в жизни государства, когда надлежит выбрать между целостью теорий и целостью отечества. Такие временные меры не могут стать постоянными. Но и кровавому бреду террора нельзя дать естественный ход, а противопоставить силу. Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных хирургов. Страна ждёт не оказательства слабости, но оказательства веры в неё. Мы хотим и от вас услышать слово умиротворения кровавому безумию.

О нет, вот уж нет! Перестали бы левые депутаты представлять свои партии, если бы посмели призвать к окончанию террора. Прекратите вы свои суды, а террор — мы продолжим! Дума, конечно, отказалась осудить восхваление террора в печати и противоправительственную пропаганду в армии.

Дума, разумеется, не стала рассматривать государственный бюджет (хороший способ запутать дела правительству), не рассмотрела и двадцатой доли конструктивной программы Столыпина, у неё не было и понятия «конструктивность». Думские комиссии не могли приняться за работу, ни у кого не было и навыка работы. Не исторический ход России интересовал Думу, но аплодисменты левого общества. На заседаниях сыпался слева град запросов — кто громче и пронзительней крикнет. Да может быть, свой высший смысл Дума и видела в длительности заседаний — чтобы дотянуть до автоматической остановки военно-полевых судов. После этого срока левое крыло даже жаждало роспуска Думы — утвердить легенду о своей силе и слабости правительства.

Не получив утверждения Думы, должны были теперь остановиться также закон о крестьянском равноправии и все земельные законы Столыпина. Напротив, эта Дума, как и предыдущая, требовала в заседаниях (а члены Думы печатали в газетах призывы) отнимать у помещиков землю силой. Столыпин снова выходил и доказывал (Дума ещё голосовала, дать ли ему выступать), что

переделением всей земли государство в целом не приобретёт ни одного лишнего колоса хлеба,

что раздел помещичьей земли — решение не государственное, что Россия не расцветёт от разрушения 130 тысяч культурных хозяйств, крестьянские же наделы, хотя немного и увеличенные, при быстром росте населения и разделах скоро обратятся в пыль. Что вообще

никакой передел не есть развитие, а развитие — это углубление труда.

Что, начав систему переделов, уже не удастся остановиться и на помещичьей, но делить далее и успешную крестьянскую, всё выдающееся дробить, делить и сводить к нулю.

Нельзя укреплять большое тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса; надо создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда весь организм осилит болезнь; все части государства должны прийти на помощь слабейшей — в этом оправдание государства как социального целого.

Государство закупало бы предлагаемые в продажу частные земли, прибавляя их к общему земельному фонду, а малоземельные крестьяне приобретали бы на льготных условиях.

Нет! Такое скучное серое решение без погрома и поджога имений не насыщало русских свобододолюбов.

Но и Столыпин, как всегда, на своём:

Правительство, сознающее свой долг хранить исторические заветы России, правительство стойкое и чисто-русское...

— что за гнусный намёк на *чисто-русское*, и какие это ещё «исторические заветы России»? Кому они нужны?

Противники государственности хотят освободиться от исторического прошлого России. Нам предлагают среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины — чтобы на этих развалинах строить неведомое нам отечество.

И снова, подходя к одной из своих знаменитых фраз, громко, ясно, камenea в крупной сильной простоте:

ИМ НУЖНЫ — ВЕЛИКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ, НАМ НУЖНА — ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!

Как мрачный вешатель без единой разумной мысли остался впечатан в русскую историю ненавистный Думе, *передовому обществу* и бомбовым социалистам этот неутомимый премьер-министр, не уставший присутствовать в поносительных заседаниях, энергично бравший слово в самом начале прений, чтоб отчётливо, уверенно изложить взгляд правительства и помочь отбросить неделовое.

(Десятилетие спустя, в последние месяцы перед февральской революцией, когда чехардою ничтожных министров будет вытащивать общество и позориться Россия, вспомнят ещё Столыпина и враги, даже Керенский, что за *его* словами уж никогда не стояла пустота:

Кто помнит первую декларацию Столыпина? С каким напряжённым вниманием встречала Дума каждое его слово — кто с бурным приветствием, кто с гневом. Знали и верили: его слова — не сотрясение воздуха, но решение мощного правительства, имеющего громадную волю и власть, чтобы провести в жизнь обещанное.)

От этого столыпинского стояния мог начаться и начинался коренно-новый период в русской истории. Стало казаться вьявь, что 1905–06 не повторятся. (Близким сотрудникам говорил Столыпин: «Ещё 10–15 лет, и революционеры уже ничего в России не возьмут!») Столыпин так верил в Россию, что возрождал в ней доверие к самой себе:

На втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Он принял государственную жизнь в расползе и хаосе — и вытягивал созидательно

к России, свободной от нищеты, невежества и безправия.

Он всё выступал перед 2-й Думой, надеясь образумить её и спасти для работы. Он принял это в неизбежное наследство: народное представительство — введено, и убедил себя и убеждал Россию, что эпоха конституционного управления — началась. И он стал — сторонник такого управления, и относился к Думе серьезнее, чем сами думцы, и всё убеж-

дал себя, что с этой 2-й Думой ещё удастся сотрудничать (он даже для неё олибералил состав своего правительства). И зачем бы было разогнать эту плохую Думу, — чтобы получить ещё худшую следующую?

Но, как признавался Столыпин: «1-ю Думу трудно было разогнать, 2-ю — трудно сохранить».

В ней всё заострялось к воспламенению, в огонь кидали всё, что было способно загореться. Шло утверждение очередного возрастного призыва в армию — вышел на трибуну тифлисец Зурабов и хужейшим русским языком стал поносить русскую армию в общем виде, изгаляться над её военными поражениями — что она всегда была бита, будет бита, а воевать прекрасно будет только против народа. И Дума шумно одобряла зурабовские оскорбления — а вне Думы вознегодовали обширные слои, и не было момента, более сочувственного для разгона Думы.

Однако Столыпин всё силился сохранять её — и инцидент прошёл безо всяких последствий.

С весны непосильна стала семья Столыпиных тюрьма Зимнего, и по приглашению Государя они переехали на лето в Елагин дворец. (Раньше там любил жить Александр III, последние десятилетия никто не жил и там.) Сад его был огорожен колючей проволокой, ходили часовые снаружи и чины охраны внутри, — и только тут мог теперь гулять да сотню сажений прогresti на лодке по такому же пленному, в заборе, отводу Невки премьер-министр необъятного государства: осада террористов продолжалась. (А раненая дочь уже перенесла несколько операций и всё не могла ходить.)

Тут же предстояло обдуматься и решиться судьбе русской конституции.

Быть может, главная причина, по которой рушатся государственные системы, — психологическая: круги, привыкшие к власти, не успевают — потому что не хотят — уследить и поспеть за изменениями нового времени: начать благоразумные уступки ещё при большом перевесе сил у себя, в самой выгодной позиции. Мудр тот, кто уступает, стоя при оружии, а не опрокинутый навзничь. Начать уступать — безпрекословность авторитета, власть, титулы, капиталы, земли, безперебойное избрание, когда все эти твои права ещё облиты щедрым солнцем и ничто не предвещает грозу! — это ведь трудно для человеческой природы.

В России такие благоразумные изменения уже начинались при Александре I, но непредусмотрительно были отвергнуты и покинуты: победа над Наполеоном затмила умы александровским мужам, и то лучшее благоденственное время реформ — сразу после Отечественной войны — было упущено. Восстание декабристов рвануло Россию в сторону, победитель его Николай I плохо понял свою победу (побед и не понимают обычно, поражения учат беспощадно). Он вывел, что победа есть ему знак надолго остановить движенья, и только в конце царствования готовил их.

Александр II уже и спешил с реформами, но стране не пришлось выйти из колдобин на ровное место. Террористы — своим ли стадным инстинктом или каким-то дьявольским внушением — поняли, что именно теперь их последнее время стрелять, что только выстрелами и бомбами можно прервать реформы и возвратиться к революции. Им это удалось, и даже дальше, чем задумано: они и Александра III, по широте характера способного уступать, по любви к России не упустившего бы верных её путей, — и Александра III загнали в отъединение и в упор. И снова и снова упускалось время.

Николай II, внезапно застигнутый короной, и по молодости, и по характеру особенно был неподготовлен к самым бурным и опозданным годам России. Девятьсот Первый, Второй и Третий пронесли мимо него мигающими багровыми маяками, — он со всем своим окружением не понял их знаков, он полагал, что неизменно послушная Россия непременно управляется волею Того, кто занял русский трон, — и так легкомысленно понёсся на японские скалы. Испытания, выпавшие ему в те годы, были по силам разве такому, как Пётр, а больше, может быть, никому в династии. Тогда в потерянности он заслонился Манифестом.

Это сделано было опрометчиво, нерассчитанно, без запаса, и безвыходно составлено. Но — сделано. И когда теперь тронное окружение и все закослено-уверенные, что Россия — глыба без развития, даже радуются безумствам и срыву двух Дум и теребят — отобрать Манифест и вернуться к прежнему, — они не только толкают Государя к нечестности, но повторяют ошибку двух предыдущих неудавшихся застоев.

Попытаться — уже нельзя. Совсем отказаться от законодательных учреждений, отобрать уступленное — уже нельзя, этим только сдёрнулось бы всё к революции. В положение до Пятого года Россия уже никак не может вернуться. Дали конституцию — значит, надо учиться работать по конституции.

Но и: плыть этому дальше, как оно плывёт и срывается, — дать нельзя: это к той же революции, и не медленнее. Виттевский избирательный закон призывает в Таврический дворец не Россию, а карикатуру на неё. Этот избирательный закон всё равно не даст верного представительства России: ещё нет той массы граждан, готовых ко всеобщим равным выборам. Итак, чтобы сохранить саму Думу — надо изменить закон о выборах. Такое изменение закона, хоть и царским указом, после Манифеста — противозаконно. Но — нет другого пути создать работоспособную Думу. Простые разгоны Думы только раздражают, а призовётся новая — ещё революционной и безалаберней! Такой парадокс: только незаконным изменением избирательного закона спасётся выборность и само народное представительство.

В истории самые трудные линии действий — по лезвию, между двух бездн, сохраняя равновесие, чтобы не свалиться ни в ту, ни в другую сторону. Но они же — и самые верные: между двумя революциями,

между двумя враждующими массами, между двумя посредственностями и пошлостями.

В эту весну Столыпин тайно встречался с небезнадёжными (их в шутку звали «черносотенными») кадетами — Маклаковым, Челноковым, Струве, Булгаковым, ища сговориться и составить с ними такое правительство — на ребре, не опровергаемое ни слева, ни справа. Встречались тайно и от тех и от других. Столыпину эти кадеты доверяли: в личных встречах он поражал прямызню, открытостью, спокойным верным взглядом, определённо выраженных, и глаза блестя умом и твёрдостью. Но даже открыться однопартийцам они боялись, где ж тогда составлять правительство!..

Меньше чем за два года это была третья попытка, когда российское правительство приглашало общественность разделить власть, — но та отказывалась, чтоб не испачкать репутации. Роль гневной оппозиции оставалась более лёгкой. Как-то мечталось русским радикалам: всё снести до основания (не пострадавши ни петербургскими квартирами, ни прислугами) — а тогда уже строить совсем новую, совсем свободную, небывалую, удивительную российскую власть! Они сами не понимали, насколько сами нуждаются в монархии. Они не умели управлять и не учились, а детски радовались взрывам и пожарам. К тому ж безповоротно убедился Столыпин, что эта Дума никогда не утвердит его земельную реформу.

Последняя тайная встреча с кадетской четвёркой была в Елагином дворце в самую ночь на 3 июня.

А ещё с мая подкатил случай: на квартире у депутата Думы было застигнуто полицией заседание из членов социал-демократической фракции Думы с делегатами революционной военной организации. В тот раз задержанные члены Думы были отпущены.

1 июня Столыпин взял в Думе слово и неожиданно — всё неожиданным приходился *обществу* каждый его решительный шаг — предложил Думе: исключить из своего состава 55 членов фракции с-д за участие в противоправительственном заговоре и дать согласие на арест 15 из них, наиболее замешанных.

Кроме обязанности сохранять неприкосновенность депутатов, на власти лежит и долг охранять общественный порядок, тем более в столице, где случилось многое.

(Думская фракция социал-демократов без стеснения вела подрывную пропаганду в петербургском гарнизоне — и 5 мая делегация солдат пришла с петицией о своих требованиях на депутатскую квартиру по Невскому 92, где депутаты ждали их, а полиция следила.)

Дума была ошеломлена: как ни шумела она о невыносимых притеснениях, но уж депутатскую неприкосновенность считала мандатом на любые действия, хоть и бомбу бросать. Председатель Головин извернулся — найти формальный ход, чтоб избежать голосования, губительного для Думы при обоих исходах: стать ли на сторону подрывателей или отречься от них. Но увёртка не помогла: 3 июня последовал арест тех

из 15, кто не успел скрыться, указ о роспуске Думы и новый избирательный закон. В сопровождавшем царском (стольпинском) манифесте настаивалось, что это не отход от Манифеста 17 октября, что все права народа сохраняются, но

многие из присланных от населения не с чистым сердцем приступили к работе, а — увеличить смуту и способствовать разложению государства,

почему и меняется теперь лишь самый порядок призыва выборных, чтоб они верней выражали нужды народа.

Хотя Столыпин оконечно стремился провести интересы крестьян — он пока вдвое сокращал их мнимое, неподготовленное представительство в Думе, но усилил крупных землевладельцев, а более всего — опытных культурных земцев.

Может быть, этот разгон Думы и эти объяснения не вызвали бы в обществе столь сильного возмущения, не положили бы столь долгого шрама, если бы в царском манифесте по роспуску не прозвучала так невыносимая либеральному уху и так настойчиво-свойственная Столыпину русская нота:

Государственная Дума должна быть русскою по духу. Иные народности, входящие в состав Державы Нашей, должны иметь в Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто-русских.

Сужались избирательные права восточных окраин, убавлялось депутатов Кавказа, Польши, утоплялись в своих губерниях некоторые города. Столыпин мог повторять, что речь идёт не о полицейском успокоении, а о постепенном терпеливом создании правового государства, что никому не удаётся сразу, — нет! не хотели ни слышать, ни слушать. Обозначило русское общество этот решительный шаг 3 июня — государственным переворотом, а свою недостаточно левую часть, которая это изменение признала и потом сотрудничала с властью в попытках построения России вместо того, чтобы разнести её в клочья, как бомбою террористы, — «третьиюньской общественностью».

(Надо было пройти многим десятилетиям, чтобы В. Маклаков, озираясь из эмигрантской дали, признал бы:

Дата 3 июня стала для нас таким же нарицательным и по-рицательным именем, как 2 декабря для Франции. Но после всего пережитого такое суждение односторонне. Если этот переворот и прекратил насильственный острый период ожесточённой борьбы исторической власти с передовой общественностью, то он же начал короткий период совместной работы власти и общества в рамках конституции. Не произошёл в 1914 европейской войны, Россия могла бы продолжать постепенно выздоравливать без потрясения. Переворот 3 июня, при всей своей незаконности, может быть, помог нам тогда избежать... полного крушения

власти, на 10 лет раньше 1917 года, в обстановке, насколько не лучшей для мирного оздоровления.)

Всё общество только поносило Столыпина — за реакционность, за надругательство над конституцией. Никто не заметил, что 3 июня было началом великого строительства России. В раздражении не заметили, что кроме ограничений в третьиюньском законе было и расширение прав: земства, то есть народных интересов. По Столыпину, земство не было придатком к централизованной бюрократии, но — в древнерусском духе и в своих александровских формах — должно было становиться добротным основанием всего государства. Работоспособное, охочее земство, занятое не лихорадочной фрондой, не политикой, а упорством и украшением народной жизни, было для Столыпина идеалом, до которого он хотел поднять и Думу.

Думу так поднять он не сумел, но отношение земства к министерству внутренних дел и, значит, к властям вообще, при Столыпине сменилось быстро и ярко. Это вызвалось и личным отношением Столыпина к земцам, и его законодательством. Вообще, возносясь в постах, он это возвышение понимал как острую потребность всё более изучать и изучать: и государственное право, России и Запада, и военные и морские науки; посты его были — обязанность десятикратного трудолюбия. Но с тем большей страстью он отдавал земцам своё соображение, схватчивый переим мысли у собеседника, ёмкую память и дельность. Он много с ними встречался, занимался, исслеживал их нужды, жадно собирал сведения о пожеланиях земств, искал удовлетворить их. И земцы видели человека необыкновенного на этом месте, с его чётким напряжённым сознанием потребностей всей страны и потребностей местных, — и уходили от него душевно побеждённые, ища или даже не ища, как в этой неожиданной симпатии оправдаться перед либеральными друзьями.

До Столыпина министры внутренних дел и губернаторы чинили земствам осложнения, препятствия, а земства утыкались в политику. Это было уродливостью развития и ещё накалилось в революционные годы. Столыпин же считал местное самоуправление почти таким же желанным благом для России, как и хуторское устройство. В первые же свои месяцы он стал энергично восстанавливать земское дело. Восстановил отменённые при Александре III прямые выборы уездных земских гласных на крестьянских волостных сходах, открыл крестьянам свободный путь в уездное земство. Отменил контроль губернаторов над расходными земскими сметами. Обязал министерство просвещения к ежегодным значительным дотациям на земские школы (ещё через два года провёл закон о переходе ко всеобщему начальному образованию в них). Другие дотации земствам полились из главного управления земледелия-землеустройства — для разнovidной агрономической помощи крестьянским хозяйствам: содержать опытные поля, станции по борьбе с оврагами, ветеринарные, прокатные машинные, и целую армию землемеров, землеустроителей и агрономов. Столыпин поддерживал кредитные кассы, товарищества и сельскохозяйственные кооперативы,

противопожарные меры в сельских местностях — и собирал всероссийские съезды специалистов всех этих направлений. Характер земских съездов при Столыпине изменился, стал дружелюбен правительству.

В тесном сближении земств, городов и правительства я вижу будущее России.

Приведа к расцвету земскую деятельность, основательно надеялся Столыпин через то поднять по всей России и культуру крестьянского земледелия. Всё, что ни делал он, как будто само сходялось (им сводилось) к одному заветному главному — поднять крестьянскую Россию.

При открытии 3-й Думы в ноябре 1907 ему не пришлось излагать правительственную программу слишком подробно: вся та прежняя осталась на очереди, 2-я Дума и не притронулась ни к чему; за последние месяцы в программе ещё вызрело

государственное попечение о неспособных к труду рабочих, страхование их, обезпечение им врачебной помощи.

Но, упорно увлекая вперёд весь охват своей программы, Столыпин упорно выныривал на своём и своём:

Внутреннее устройство окажется поверхностным, улучшения администрации не проникнут вглубь, пока не будет поднято благосостояние основного земледельческого класса. Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом.

Та природённая, природная победность, которая была в фигуре, в натуре и в судьбе Столыпина, больше всего и поражавшая оппозицию и публику, в этот раз проявилась в нём как никогда, ибо была овеществлена: быстрым концом кровавого хаоса и — этой Думой, в надежде работоспособной. Колесница не сорвалась в бездну, а завернула от края. Да — р е в о л ю ц и я ли то была?

Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное движение, созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперёд все противообщественные преступные элементы, разоря честных тружеников и развращая молодое поколение.

Но —

бунт погашается силою, а не уступками... Чтоб осуществить мысль — нужна воля. Только то правительство имеет право на существование, которое обладает зрелой государственной мыслью и твёрдой государственной волей.

И вот он вышел перед Думой, как никогда имеющий силу и власть, повернувший Россию из рушенья в выздоровление (ещё недавно не верилось, а вот наступило). После «третьиюньского переворота» он не обвиняемым вышел, оправдываться в отклонениях от конституционного пути, но возглашал

восстановление порядка и прочного правового уклада, соответствующего русскому народному самосознанию.

Снова и снова эта опасная настойчивость в проведении русской линии:

Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать силу в русских национальных началах — в развитии земщины и в развитии самоуправления. В создании на низах крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью. Низов — более 100 миллионов, и в них вся сила страны.

Поражало это упрямство мысли, десятижды высмеянной просвещённым либерализмом: как может образованный человек так не бояться смеха света:

Народы иногда забывают о своих национальных задачах, но такие народы гибнут.

С думской трибуны, пронизываемый безжалостными корреспондентскими взорами, Столыпин безо всякой иронии, нисколько не стесняясь, декларировал

многовековую связь русского государства с христианской церковью. Приверженность к русским историческим началам — противовес беспочвенному социализму...

Он даже брался учить свободолубивейших и образованнейших граждан России, высших понимателей свободы, — самому понятию свободы:

Свобода настоящая слагается из гражданских свобод и чувства государственности и патриотизма.

Эта Дума на днях отвергла слово «самодержец» в обращении к Государю, и потому-то Столыпин, не опасаясь выглядеть старомодно, дерзнул поучать избранных народа — даже ценности самодержавия:

Историческая самодержавная власть и свободная воля монарха — драгоценнейшее достояние русской государственности, так как единственно эта власть и эта воля призваны в минуты потрясений и опасности — спасти Россию, обратить её на путь порядка и исторической правды. Если быть России, то лишь при усилении всех сынов её охранять царскую верховную власть, сковавшую Россию и оберегающую её от распада.

Со своей, ещё преждевременной, надеждой, что в России сила не может стоять выше права, он всё же видел путь к парламентаризму не простым и не быстрым:

Русское государство развивалось из собственных корней, и нельзя к нашему русскому стволу прикреплять чужестранный цветок.

Такой напор не мог быть молча принят левым крылом Думы, чтобы кадетам не перестать быть самими собой. Среди ответчиков взнёс Родичев, из первых красноговорцев кадетской партии, никогда не умевший говорить спокойно (такие речи у него сонно разваливались), но только в огне страсти, когда не успевают промерять аршином, и — о так называемой России:

У России вовсе не было истории, лучше не говорить про неё. За 1000 лет именно из-за самодержавия она не выработала личностей, а без личностей не может быть истории. Это было очень модно тогда: утверждать, что *нет людей* в России, переполненной ими, и менее всего допускать их в *людях земли*. И накачивал любимую мелодию русских радикалов:

Когда мне говорят об истинно русских началах, то я не знаю — о *каких* идёт речь? Национальное чувство есть и у нас и заставляет нас прежде всего требовать осуществления *права*. Может ли каждый из нас быть уверен, что право его не будет нарушено ради государственной пользы?

Извечная проблема, нигде не решённая и сегодня, вечное качание весов: как взять права, не неся обременительных и даже опасных обязанностей? или как заковать в обязанности, не давая прав? или как найти им чуткое равновесие?

Нашёл ли Родичев, что его речь становится даже академичной и не насытит ярости его партии? Он обострял, перешёл к военно-полевым судам, но и всё ещё его речь не вошла бы в историю, если бы безоглядная страсть к афоризмам и толкающее чувство ненасыщенной партии не погнали его показать на своей шее пальцами стяг петли и назвать — *столыпинским галстуком* (перефразируя «муравьёвский воротник»).

Он ожидал аплодисментов, к которым привыкли вожди оппозиции, но в этот раз не досталось ему устало-счастливо улыбнуться залу: бледный Столыпин вышел из министерской ложи, в зале поднялся и длился оглушительный шум, половина Думы стала стучать пюпитрами, кричать и набегать на трибуну, угрожая стянуть Родичева. В неразборном шуме председатель прервал заседание — уже не голосом, а своим уходом, высокий же старик-кадет, прикрывая Родичева, дал ему отступить в Екатерининский зал. А там его настигли — с вызовом на дуэль! — секунданты премьер-министра.

Не тот был Столыпин министр, кто на оскорбителя ищет параграф закона. Тут он — весь: в ответ на необузданное, ненаказуемое, до протитудии распущенное *свободное слово* XX века — послать рыцарский вызов, одно остаётся мужское решение. Он — уже вёл уверенной рукой Россию, успокаиваемую от разбоя, но сам из себя не состроил предупредительно такой для неё самооценности, которая позволяла бы ему пренебрегать личными оскорблениями. Нутрянее всех своих государственных обязанностей он был — рыцарь («с открытым забралом» было его любимое выражение). Он — всё вложил в свою государственную линию, он вёл её сердцем, умом и жизнью, но даже и в ней не мог остаться в такой миг и всё бросал, чтобы сразиться с обидчиком, и готов был к смерти через одну ночь. Щедрость в нежалении своей жизни, которая только у тех и бывает, чья жизнь особенно дорога.

Сын севастьяпольского генерала сказал:

— Я не хочу остаться у своих детей с кличкой вешателя.

Несовременное — тем более это и поражало! Родичев был огоршен, как и все кадеты: за долгие годы гибкой словесности они забыли, что оскорбление может дёрнуть курок пистолета. Они привыкли блистательно насмеяться над всем инородным себе — они только забыли, что за свои слова надо отвечать, даже и жизнью.

Премьер-министр, 45-летний отец шестерых детей, не поколебался поставить свою жизнь. 53-летний тверской депутат не был готов к такому повороту. И — пришлось помятому оратору в этот же перерыв поплестись в министерский думский павильон просить у Столыпина извинения. Столыпин смерил Родичева презрительно: «Я вас прощаю» — и не подал руки.

Сила этого характера, полтора года назад вовсе неизвестного России, проступала всё неоспоримей. Он остался до конца заседания, и Дума устроила ему овацию. А Родичеву пришлось с трибуны взять свои слова назад, просить у Столыпина извинения — и всё равно быть исключённым на пятнадцать заседаний.

(Однако: словесность взяла своё, и в истории остался «столыпинский галстук». То и был перевес века. Эпоха безграничных гражданских свобод есть и эпоха безответственных обвинений.)

Ту зиму семья Столыпиных опять проводила в Зимнем дворце среди пустынных мёртвых залов, где меньше всего можно было верить, что самодержавие — развивается. Притекали анонимные угрожающие письма. Террористы всё тянулись пронять металлом непроницаемого министра — и было предотвращено покушение даже в самой Думе: стрелять должен был из журналистской ложи социалист-революционер с паспортом итальянского корреспондента.

Даже не предчувствием, а спокойным знанием — ещё с Аптекарского острова — сложилось у Столыпина, что ему не умереть своею смертью (как и не умирают бойцы). Каждый раз, выходя из дому, он мысленно прощался с родными. И повторял, завещал, это запомнилось: похоронить его там, где он *будет убит*.

Александр Гучков обещал Столыпину поддержку партии октябристов. Поддержка эта оказалась неровна, условна, иногда радовала дружностью и ковременностью, иногда оказывалась и не поддержка вовсе, а столкновение. Третьиюньский закон своё исправил: хотя и в новой Думе накалялось повышенное внимание к политическим трактовкам и пониженное к деловой работе, — собралась 3-я Дума уже с перевесом гучковских октябристов над кадетами. Но и не создалось сильного правого крыла, которое препятствовало бы столыпинским реформам со стороны другой. Так эта Дума давала надежду на примирение власти и умеренной общественности, без чего Столыпин не видел спасения России. Такая укреплённая Дума давала надежду противостоять и безгранично-влиятельным, всегда анонимным дворцовым силам — истратам монархического правления.

Но тут же доводилось отведывать Столыпину истраты правления парламентского: рассчитывая на поддержку октябристского большинства, узнавать его сопротивление. (Неизменно на стороне Столыпина были только русские националисты.) Так в начале Девятьсот Восьмого — сперва о постройке четырёх броненосцев. В то время для России это был вопрос не побочный. После сокрушительной Цусимы все лучшие силы русского флота упокоились на дне Японского моря. Вот уже третий год, как у России оставался не флот, а разрозненные корабли, не имеющие никакого сочетательного смысла, да береговая оборона. И руководящие морские круги и всё правительство, угнетённые поражением, не смели возгласить большой морской программы, только эти 4 корабля на доступные для России средства. Возражений не было, что флот не нужно отстраивать или что запрашиваемые средства непомерны. Возражение общества было другое, настойчиво выраженное в Думе Гучковым:

Морское ведомство — в неустойстве, и прежде флота должно быть преобразовано. Наша критика лишена малейших элементов злорадства. Патриотический траур напитал атмосферу этой залы. Мне и моим политическим друзьям мучительно больно отказывать правительству в кредитах после катастрофы. Однако в рескрипте 905 года обещалось: «нравственный долг перед родиной — разобраться в наших ошибках».

И что сделано за три года? Всё та же пустая парадность в поведении флота, а адмирал Алексеев, преступно проваливший японскую кампанию, — наказан? Нет, в Государственном Совете. Октябристское большинство Думы отказало в кредитах, сперва требуя расчистки штатов морского министерства от завали и гнили.

Глубоко посмотреть, они были правы, и Столыпин сам не мог им не сочувствовать. И как раз той расчистке мешали придворные круги, и полезно было чем-то мощным её ускорить. Но, ещё глубже глядя: внешние враги России — не ждали, Россия лежала беспомощна и малоподвижна. И: желанные спокойные годы её зависели от сильного морского щита. И — с неутомимостью и с поразительной находчивостью, разнообразя аргументы и вытягивая всё новые и новые, как будто не было им счёту, Столыпин с надеждой и напором выступил на трёх заседаниях — думской комиссии, Думы, потом Государственного Совета, — каждый раз против сложившегося большинства и каждый раз сотрясая его, —

если не изменить предрешённое мнение, то доказать, что может существовать противоположный взгляд — и не безумный.

Не всякий парламентский министр с большим опытом мог бы найти столько энергии и проявить такое уважение к доказательному спору. Тем более — никому из царских министров негде и не перед кем проявлять такую изворотливость и настойчивость аргументации, так сильно

вылепливать доводы, наносить их в блестящем каскаде сравнений, а каким-то и вызвать хохот и союзников и противников:

Если гимназист срезался на экзамене, нельзя ж его наказывать тем, что отнять учебники.

Он убеждал, что этак сойдёт энергия страны, весь мир перестраивает флоты, а Россия не защитит и берегов, весь флот обратится в коллекцию старой посуды, не обучен останется и личный состав без подлинной эскадры; он просил не избавлять правительство от ответственности за морскую оборону России, — всё тщетно.

И вскоре вслед отказала ему Дума в ассигнованиях на постройку Амурской железной дороги — не потому, чтобы могла возразить его речи об опасности, что дальний тот край пропитается чужими соками и будет утерян для России, — но просто считала такую трату непосильной для ослабленной страны, а верней: сама ещё была юна и не приучена судить государственно.

В других случаях Столыпину удавалось Думу убедить, в этих — нет. И тут от крайности уговоров он обратился к крайности действия: использовал думские перерывы и провёл своё по «87 статье». В двух этих случаях собравшаяся потом Дума не решилась остановить уже начатые без неё постройки — и броненосцев, и Амурской дороги. По той же маневренной статье провёл он и закон о старообрядческих общинах, и о переходе из одного вероисповедания в другое. Но и для самого Столыпина была в том грозная недоуменность: он был министр не придворный, он возвысился не по протекции и не удерживался таким ни дня, своей равновесной линии он действительно никогда не провёл бы без Думы, он истинно нуждался в ней, именно он и убеждал Россию, что эпоха конституционного правления утвердилась, а вот: настоятельно-необходимого не мог провести через Думу — и нуждался её обойти.

И — каков же должен быть образ правления, чтобы правитель, преданный своей стране, мог бы, во благо ей, править быстро и энергично? Твёрдая устойчивая практика законодательных учреждений — и во всех странах возникала не вмиг.

И даже перед этой укрепленной, совсем не шалой 3-й Думой — ещё год, и год, и год должен был отстаивать Столыпин ограничительные меры к печати, этой «матери революции»:

Если б нашёлся безумец, который сейчас одним взмахом пера осуществил бы неограниченные политические свободы в России, — завтра в Петербурге заседал бы совет рабочих депутатов, который через полгода вверг бы Россию в геенну огненную;

и исключительные меры против террора (Гучков со своим серединным большинством сперва поддерживал их, потом потребовал прекращения):

Не думайте, господа, что медленно выздоравливающую Россию достаточно подкрасить румянами всевозможных

вольностей и она станет здоровой. Наши внутренние задачи приходится решать между бомбой и браунингом. Когда изнеможённое, изболевшееся народное тело укрепится — исключительные меры отпадут сами собой.

От выступления к выступлению несомненно проявлялись способности Столыпина: мгновенное соображение поданных реплик (выкрикивалось два слова, смысл мог быть сложней, его надо было достроить в секунду); и лёгкость ту-секундного ответа на эти реплики; и такая добротная укладность в памяти, что не упускались подсобные мысли, дремлющие в притёмках, — тотчас вдвигались, давая речи корпус и рельеф; не дремала тонкость различения понятий, определений, процедур, и так же не дремали и вступали в дело нужные примеры из государственного права Европы, которым Столыпин не уставал заниматься, свободно зная три языка; и почти фонтаном били, внезапно возникая, популярные сравнения, всегда разъясняя мысль, иногда и веселая слушателей. В стране, где вся иерархия от императора до урядника предпочитала молчать, скрываясь за печатными распоряжениями, — невиданный этот царский министр измотал и склонил оппозицию своими речами, чёткими, как его почерк. И он не избегал приезжать на заседания, выступать, пользовался каждым случаем ещё и ещё продвигать своё дело, распахивать свою веру. По горячности сердца он не удерживался смолчать и там, где удобно было беззвучно уклониться.

Так было, например, в феврале 1909, когда оппозиция сделала запрос об Азефе. Испытав провал с ним и провал во многих своей деятельности, лидеры эсеров выдвинули фантастическую сложную картину демонического двойничества Азефа, как бы участия правительства в террористических актах против себя самого: что правительство само создаёт Азефов и убивает даже высокопоставленных лиц, только бы разложить революцию. Это было язвительное обвинение правительства, и русская общественность тотчас же и без проверки охотно его подхватила. Широковещательно разнеслось, что 11 февраля оппозиция внесёт в Думе громоподобный запрос. По закону Столыпин вовсе не обязан был являться в Думу отвечать: он мог ответить заочно, письменно, через месяц. Но он — сам рванулся на заседание, и слушал речи левых, переполненные не доказательствами, не знанием дела, а оскорблениями правительства и государственному строю. Кроме броской потрясающей гипотезы, ораторы оппозиции Покровский и Булат в напряжённом, перенабитом думском зале не могли подкрепить ни единым фактом. Столыпин вспыхнул, поднялся и выдвинулся под бой. Он ярко доказал, что левые лидеры преподносят басню, чтобы спасти свои знамёна. Не смолчал — и оставил нам речь, без которой сегодня и не докопаться бы до всей истины.

В этой горячности Столыпина не без влияния могло оказаться и то, что бывший глава полиции Лопухин, выдавший революционерам осведомительство Азефа и помогший Бурцеву сочинить азефовский миф дальше, — был товарищем Столыпина по гимназии, — и вот явил ли хлипкость, столь распространённую в русских образованных людях?

или особенно — в государственных чиновниках, обсевших трон, вот страшно? Искал, как спасти свою карьеру: главные убийства — Плеве и великого князя Сергея Александровича — беспрепятственно совершились при Лопухине, он пропустил предупреждения того же Азефа, не принял мер охраны — и теперь пытался всё свалить на Азефа, в сотрудники нанятого не им, гораздо раньше (но однажды спасшего жизнь и Лопухину). Пропустивши жизнь своего водителя Плеве — теперь не погнушался встретиться с его убийцей Савинковым, чтобы вместе оболгать Азефа и правительство. И даже слал протест Столыпину против попытки остановить его поездку в Лондон к террористам — и заверенную копию этого письма тут же пересылал западным эсерам, чтобы те публиковали в западной прессе. Даже не так поражала личная мерзость Лопухина, как твердеющая догадка: сколько же десятков — или сотен? — таких карьерных шкур и составляли слой власти в России?

Теперь в Думе Столыпин перечислял несомненные даты и факты. Что Азеф с 1892 года и по самое последнее время был добровольным секретным сотрудником полиции. (Даже нельзя вслух назвать — каким последовательным и первоклассным.) Что до 1906 года (ареста Савинкова) Азеф никак не участвовал в террористической деятельности эсеров, но все частные сведения, которые ему удавалось получить через знакомства в партии, — он тотчас и добросовестно сообщал полиции. Так он дал сведения о Гершуни как центральной фигуре террора, помешал покушению на Победоносцева, одному покушению на Плеве, сообщил данные о подготовке против Трепова, Дурново, и опять на Плеве — удавшееся в июле 1904 (и даже указывал именно на Егора Сазонова). Что обвинения, будто Азеф участвовал в убийстве Плеве и Сергея Александровича, — скроены неумело, без внимания к фактам: в обоих случаях Азеф находился за границей, тогда как в практике эсеров направители и вдохновители всегда присутствуют на месте, чтоб исполнителя подбодрить и тот бы его глаза видел. Так Гершуни был на Исаакиевской площади при убийстве Сипягина, на Невском при покушении на Победоносцева, и в Уфе, когда кончили Богдановича, и в харьковском «Тиволи» сидел рядом с убийцей и подтолкнул его, когда тот заколебался. Так же и Савинков везде был сам — при убийствах Плеве, Сергея Александровича, при покушении на Трепова, и на Соборной площади в Севастополе. А с 1906, когда Азеф получил доступ к действиям боевой организации, — решительно все её акты были умело расстроены и не совершены. Так, к Азефу ни в каком отношении не применимо слово «provocateur», излюбленное революционерами для прикрытия своих неудач: так не может быть назван осведомительный агент полиции, а лишь инициатор преступления.

Насколько правительству полезен в этом деле свет, настолько же для революции необходима тьма. Вообразите, господа, весь ужас увлечённого молодого человека или девушки, когда перед ними обнаружится вся грязь верхов революции. Не выгоднее ли распускать чудовищные слухи

о преступлениях правительства и переложить на него все преступные происки и деморализацию, все непорядки в революции — на правительство,

и заодно надеяться,

что наивное правительство само поможет уничтожить преграды для победоносного шествия революции,

откажется от всякой тайной агентуры — которая только и предупреждает убийства.

Вся наша полицейская система есть только средство — дать возможность жить, трудиться и законодательствовать. А преступной провокации — правительство не терпит и никогда не потерпит.

Уже за полночь он сошёл под рукоплескания всего зала.

Для одного государственного деятеля, и всего в несколько лет, слишком много проколыхалось и прогудело этого: бомб, браунингов, убийства правителей. Через такие кровавые годы пророчество само пропитывалось в сознание. И в этой речи об Азефе пророчество тоже прорвалось:

Мы строим леса для строительства, противники указывают на них как на безобразное здание, и яростно рубят их основание. И леса эти неминуемо рухнут, и может быть, задавят нас под своими развалинами, — но пусть, пусть это случится тогда, когда уже будет выступать в главных очертаниях здание обновлённой свободной России!..

Этой речью оппозиция была подавлена, Столыпин заставил поверить, что честность — не на стороне революции. (Впрочем, по законам либерального ветра — как и «стольпинский галстук» или «стольпинский вагон» — присохнет на столетие не стольпинская правда, а чёрно-бурцевский детектив об Азефе.)

О содержательности понятия свободы приходилось Столыпину спорить с кадетами не раз:

Нельзя только на верхах развешивать флаги какой-то мнимой свободы, мы призваны освободить наш народ — от нищеты, от невежества, от безправия!

О каком бы внутри- или внеполитическом, административном, устройственном вопросе ни шла речь, Столыпина никогда не покидало это чувство связи с низами — как с главной опорой государства:

Поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощённую землю. Земля — это залог нашей силы в будущем. Земля — это Россия!

Увы, даже улучшенная рискованным третьиюньским законом, Дума всё ещё не стала рачительным национальным собранием, отзывчивым крестьянскому делу. Горше всего и в 3-й Думе пришлось реформе земельной.

От указа, изданного приёмом всё той же 87 статьи, в обход ещё 2-й Думы, — прошёл год, и два, и вот уже следующая Дума прела и прела над

каждой его статьёй, не соглашаясь, возмущаясь, требуя объяснений. Кадеты, от азарта оппозиции потеряв понятие, что Столыпин выполняет именно либерально-правовую программу в деревне, стояли стеной в защиту коллективистской общины. Правые опасались крутого разрыва с традицией — и защищали ту же общину. И так велико было отвращение образованного общества от этого шага — освободить крестьянский труд и самостоятельность крестьянина, что в двух-с-половиной-летних прениях цеплялись за ступеньку каждой фразы, где только можно было закон задержать. И вот придумано было этими адвокатами и профессорами, что глава крестьянской семьи не может быть допущен к единоличному распоряжению своим участком, но на каждый имущественный шаг должен получить согласие сочленов семьи, своих баб и своих детей. Любой из этих состоятельных, самостоятельных, сиятельных горожан и помещиков ощутил бы надругательством такой порядок для себя в собственной семье (а любой европеец счёл бы глупой шуткой). Но того угнетённого крестьянина, *святого труженика*, которого они все кряду сердечно любили по наказу русских писателей и только ему и служили тут, в народном представительстве (хоть и не владея его языком и чуждые его понятиям), — того крестьянина они считали настолько неправомочным в его зрелые лета и настолько безповоротным пропойцей, что, получи он участок в собственное владение, он тотчас же его и пропъёт, пуская по миру семью; так если отпала над ним власть помещика, отпала власть общины, — должна была остаться над святым тружеником хоть власть семьи. А вызвавши на то ответ Столыпина, что нельзя всё взрослое население отдавать в опеку своим детям, нельзя всё крестьянство рассматривать как хронически слабых, весь русский народ как пьяниц, нельзя создавать общий закон ради уродливого явления. Когда мы пишем закон для всей страны, надо иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. Таких сильных людей в России большинство, —

общественность тут же обронила это «большинство», а — выхватила, понесла, перекувырнула — с лёгкостью неотмываемого оболгания, которая так доступна тысячеконной безликости, — что, мол, Столыпин проговорился: его закон — это ставка на *сильных* крестьян, *то есть значит* на перекупщиков-кулаков. И в лад с ними с другой стороны голосили правые, что «защита сильного — глубоко антинациональный принцип». (Так и с этим клеймом, как с другими, предстояло слишком неуклонному министру встунуть в своё столетие. Ложь за ложью посмертно лепили ему враги.)

И часть духовенства выступала против реформы: расселение на хутора ослабит православную веру в народе.

За эти два с половиной года уже стёкся миллион крестьянских заявлений о выходе на хутора, уже работали землеустроительные комиссии, переводя землю в собранные отрубá, уже посылао правительство в сельские местности растолкователей закона (не знал Столыпин, что следом за ними шли студенты и толковали наоборот: «не слушайте их,

не идите на хутора, опять обманут!»), — а Дума еле-еле дотянула принять закон большинством в несколько голосов.

И ещё на год позже, с треньями и колебаниями, закон прошёл через Государственный Совет.

И когда и все законодатели уже проголосовали — закон ещё месяца ждал последней подписи Государя, и в эти месяцы Столыпина резко атаковали справа, облыгая, что он — канцелярский реформатор, даже будто чиновники выгоняют крестьян из общины насильственно, что развал общины — из самых вредных его идей и отдаёт крестьян во власть еврейских скупщиков. (Хотя в законе отчётливо оговаривалось, что надельная земля не может быть отчуждена лицу иного сословия, не может быть продана за наличные деньги и не может быть заложена иначе как в Крестьянский банк.)

Ещё теперь надо было ждать подписи Государя: не сломят ли, не отклонят ли за кулисами?

Государь имел то отчаивающее свойство, что один приятный посетитель мог в один разговор изменить его устоявшееся многолетнее мнение. Вокруг же Государя простирались и обращались несколько отдельных и очень многолюдных, из титулов и званий нанизанных сфер, которые были нечто не-Россия, но от вращения которых более всего зависела русская судьба. И, в занятом ими пространстве, не эти *сферы* были болезнью, отклонением, пороком, — но именно Столыпин, мелкопоместный, прорезавший эти сферы до самой вершины власти — незаконно, несогласованно, провинциально, без протекции и помощи, — а теперь утвердившийся тут чужеродно. Он стал вторым лицом Империи, совсем не принадлежа и не зная ни придворного мира, ни великосветского, ни высокосановного, и никогда не готовленный к ним. Вне *сфер*, в большой России, Столыпин мог пытаться строить свод новых законов, и законы эти даже могли начать действовать на пространстве России, — но на пространство придворных сфер они не имели никакого влияния.

А шире — дело было так: Столыпин для всех для них оказался полезным, нужным человеком, пока спасал их от революции, от поджогов и погромов. С лета 1906 по осень 1908, хотя и проявлялась к нему недоброжелательность правых кругов и высших сфер, но они не боролись с ним, а давали ему бороться с революцией. Когда же эта его борьба окончилась поразительным успехом и Россия из безнадежного Смутного времени вдруг переплыла в мерные воды нормального государственного существования, — политика Столыпина стала им всем нетерпима и невозможна. А более всего непонятно, почему он до сих пор не отбирает назад Манифеста 17 октября, играет в конституцию, представительные учреждения и правовой порядок.

Им всем — это, по определению Гучкова, трём группам: придворной камарилье, которой при конституционном строе ничего не остаётся делать, как только исчезнуть; отставным бюрократам, всем неудавшимся правителям, плотно сжившимся в правом крыле Государственного Совета (он был засижен отставными бездельными старцами, и в

них останавливалось продвижение живого дела, как в старческом организме останавливается кровь); и — той зубровой части дворянства, которая полагала господствовать Россией ещё столетия вперёд, не подавшись на вершок. Можно добавить сюда и Союз Русского Народа: от первых же признаков успокоения в стране Союз поносил Столыпина за недостаточную твёрдость против революции, няньченье с Думами, преданность конституции, негласные облегчения евреям, за либеральные идеи: куда он ведёт Россию?!. Но Столыпин не поддался и им, как и никакой партии никогда. Он служил — России, а не петербургскому озеру влияний. Ни в каких его действиях никогда не бывало личных расчётов.

Но мало того что Столыпин не отбирал назад Манифеста: подавив революцию, он всерьёз потягивал цепь невыносимых реформ и расчисток, которые дальше разнесли бы неподвижное насладительное существование *сфер*, и те увидели это раньше его самого, а отдельные группы их уже и прямо почувствовали на себе грозовую полосу сенаторских ревизий.

Столыпин в своём поединке с революцией и со счастливой уверенностью делателя — не оценил опасности с этой стороны. Он неуклонно ступал и победно продвигал свои законы, уверенный, что врежет и утвердит их и в *сферах*, — себе же от *сфер* не усваивая никакого закона: не искал там ни друзей, ни союзников, не выспрашивал мнений (он не был их братом-бюрократом, и они не чуяли на нём родного воскового налёта). И, более всего ненавидя корыстных и взяточников и уже задумываясь о реформе полиции, уже назначив комиссию для того, — ещё не видел большого стеснения и опасности, что именно в эти месяцы, с начала 1909 года, *сферы* посадили ему (через царское благоволение, даже личную волю царицы) в министерство внутренних дел первым заместителем — жадного хорька Курлова. (То уже, может быть, была и подготовка его отставки. И собственный департамент полиции стал подслушивать телефон своего министра.) Столыпин — всё ступал далее и высказывал тем более резкую правду, чем более вверх. Он как будто не замечал постоянной к себе неприязни государыни (эти отношения не входили в статут Совета министров, хотя Государь в доказательство ему приводил и так: «эту точку зрения безусловно разделяет и государыня императрица»). И он уже привык на каждом шагу ожидать, но и парировать внезапные перемены государева настроения: то — даётся согласие на смелую меру по министерству просвещения, даже грозящую студенческими волнениями, то вдруг — в обход соответствующего министра и премьер-министра — подписывается публичное повеление прямо противоположного смысла, хуже чем подрывая устойчивость правительства. Так о каждой согласии Государя всегда приходилось помнить, что оно ещё, собственно, не согласие.

И всякий раз к аудиенции (а Государю удобно было принимать премьер-министра лишь после 10 вечера, и то не в субботу и не в воскресенье, которое естественно отдать семье и развлечениям; а многие месяцы надо было не экипажем ехать в Петергоф, но поездами в Крым и на

зад, неделю в дороге, чтобы два дня поработать с Государем, а с устранением революционных опасностей Государь и на четыре месяца мог отбыть в Германию, отдохнуть на родине супруги), — идя на высочайший приём, всегда готовый к шатким внезапным изменениям высочайшей воли, Столыпин нёс в портфеле письменную просьбу об отставке, подписанную сегодняшней датой, — и иногда подавал её.

Весной 1909, когда сферы стали плотно давить на Столыпина, такая отставка, всё время зревшая, едва не произошла. Случай казался мелочным: подтверждение штатов морского генштаба, но Столыпин проявил нетерпение, провёл через Думу и настаивал на своём решении, тогда как Витте поспешил указать в Государственном Совете, что здесь создаётся прецедент ограничения императорской прерогативы в военных вопросах. Ход событий был искажён внезапным воспалением лёгких у Столыпина. Государь предложил ему взять отпуск и отдохнуть в Ливадии. *Отпуск* — это вполне истолковывалось как подготовка к отставке, а посланный в Ялту рескрипт о даровании Столыпину ордена Белого Орла — как смягчение отставки. Столыпин воротился в Петербург в апреле — ещё с тёплым крымским воздухом в лёгких, порывом на свежий воздух и здесь — скорей на сырой Елагин, с ещё не оттаявшим снегом. Весь Петербург уже говорил, что Столыпина заменит министр финансов Коковцов, а на министерстве — Курлов. И вероятно, Государь в эти дни уже решался уволить. Но в конце апреля последовал ещё один рескрипт, открыто для публики утверждающий Столыпина. (Всё же полное ведение военных вопросов он должен был оставить за Государем — и так стал терять поддержку октябристов и Гучкова.)

Отношения с Государем — это была уязвимая перемычка всей столыпинской работы и постройки: совсем не участвуя в той постройке, эта перемычка решала, однако, всю её. Как только ни злословили об этом царе в обществе! какого только чучела ни высмеивала в нём образованная Россия! — почти единодушно считалось, что он и недалёк, и глуп, и зол, и мстителен, и нечувствителен. Столыпин и прежде, из отдаления и невидения, не разрешал себе подумать так. А приблизившись и соприкасаясь тесно и в главном, — убедился, что это совсем не так. Государь был даже страдательно уязвим, даже хрупок, но всё это загонялось им внутрь и переносилось лишь его отменным здоровьем. И не только не был он мстителен и зол, но был христиански добр, был воистину христианин на троне, и всем сердцем любил свой народ, и благоволил ко множеству людей, с которыми ему приходилось знаться. (Хотя обиду мог понести — и нести уже потом долго, до конца.) Он искренно хотел, чтобы всем в его царстве и во всех остальных царствах было хорошо. (Но только: чтоб от него не требовали для этого слишком большого и длительного напряжения.) И он мог вникнуть в любую аргументацию, и понять совсем даже не упрощённую мысль. (Но тоже: чтоб не слишком утомительно и часто.) Государь Николай Александрович нисколько не больше отходил от средности, чем и всякий средний монарх, который по вероятности должен уродиться, — а добротой чувств даже

сильно избыточествовал над средним. И тем более долг монархиста был: уметь работать с этим Государем.

Государь был сердечно уверен, что всегда держит перед собой одну цель блага родины, а мелочные чувства личностей перед этой целью меркнут, и повторял о своей страшной ответственности перед Богом, а подписывал назначения и поддерживал нашепты то дворцового коменданта, то начальника походной канцелярии. Государь сознавал свою страшную ответственность — но и откровенно оттягивал как скучные дела важные государственные вопросы или вовсе отменял такую неприятную процедуру, как личный приём всего состава Государственной Думы, — а многое в 3-й Думе могло бы пойти иначе, если бы этот приём состоялся. Но не было для Государя — любителя широчайших военных парадов (где участники, однако, безсловесны) или узких застольных бесед (где участники все свои) — ничего более неприятного, чем встреча с десятком, сотней, полутысячей развитых инакомыслящих людей — не немых и не своих. Так нежно и так хрупко было всё мировоззрение Государя, а главное — способность отстаивать его, что он не мог его вынести на ветер мнений. Он мог только в запахнутом сосуде теплить веру в свой прекрасный народ и прекрасных государственных деятелей, которые всё устроят — и с просвещением, и с гуманностью, и со свободой, и с расцветом. И самого Столыпина долго ценил как такого прекрасного министра, который осуществит прекрасные цели и выведет жизнь народа в благоденствие, — лишь бы не слишком теребил своего Государя и не вынуждал делать неприятное какому-нибудь прекрасному человеку из придворных сфер.

А Столыпин не только не имел выбора иного, как всячески поддерживать и внешне возвышать этого Государя — по службе и по верности, но он и внутренне полюбил этого доброго, честного человека, хотя и с государственно важными недостатками. («J'aime le petit», — говорил жене, — «люблю Маленького». Маленького императора, не сильного, как прежние.) И стремился помочь ему эти недостатки одолеть, а от слабостей — выкрепиться. Если держать целью укрепление в России её исторических начал, то ныне царствующему монарху следовало слушать всеми силами (смирясь с его недоможностями, как смиряется сын с неудачностью своего отца). И Столыпин не упускал случая прославить Государя, поставить в центре народных торжеств (двухсотлетие Полтавы), упоминать его только в тонах высочайших, приписывать ему заслуги собственных догадок и законов («царь обратил свои взоры к русскому крестьянству») и заклинать слушателей в верности («Россия, преданная своему Государю»). Даже в откровенных беседах с Гучковым, своим единомышленником по думской борьбе, чьим резким речам Столыпин больше сочувствовал, чем мог выразить внешне, и с кем вместе планировали, как расколоть правый сектор Думы и выделить умеренное крыло, — даже наедине с Гучковым, недоброжелательным к царской чете, Столыпин никогда не позволял себе выразиться о Государе неодобрительно. И чем слабей, а от слабости упрямее (чтоб отстоять

своё сознание силы) бывал Государь то там, то здесь, — тем необходимо было уступать этому упрямству, чтоб его впечатление силы не хрустнуло. И подкреплять это впечатление в нём, благодарить за милостивое участие, и оговариваться: «что я непрошеною мерою мог поставить Ваше Величество в неудобное положение...» А когда уж совсем невозможно было миновать дать урок, это тоже было бы изменой монархизму, — надо было форму найти такую, будто урок произносится для самого себя или о ком-то вообще постороннем:

Для государственного человека нет большего греха, чем малодушие.

Столыпин отлично видел о себе, как он подходит к посту, как умеет властвовать и до чего необходим этому царю. Но тот, конечно, не мог соразмерить доли своего интеллекта и энергии в государственном управлении и доли премьер-министра, он искренно не понимал, сколько тут вкладывается работы и времени. Поэтому Государь не видел тягости для своего статс-секретаря ездить к нему в Ливадию из Петербурга с докладами. Или, будучи отпущенным по Полтавской и Орловской губерниям осматривать своё любимое затеище — хутора, непременно поспеть к высочайшему обеду в честь датской королевской четы.

Государь позабыл или совсем никогда так и не понимал, в какую бездну уже почти сверглась Россия в Девятьсот Пятом и Шестом. Когда теперь, тремя годами позже, перед открывшейся первой свободной поездкой Государя в Полтаву, Столыпин не без гордости доложил ему:

— Революция устранена, Ваше Величество, и Вы теперь можете перемещаться свободно, — Государь ответил даже с раздражением:

— Не понимаю, о какой революции вы говорите. Даже и беспорядков бы не было, если бы власть была в руках более мужественных и энергичных людей, как ялтинский градоначальник Думбадзе.

Столыпину стало горько: как быстро и легко Государь забыл об опасностях, которым подвергался сам же. Как будто и не видел всего, что сделано для спасенья страны.

Правда, в первые годы Государь очень был к Столыпину расположен, живо ощущая его спасителем страны и себя. Он предлагал ему для безопасной жизни свои дворцы и прогулку на императорской яхте по финляндским шхерам (как ездил и сам).

Летом 1908 в такой прогулке на яхте Столыпин побывал инкогнито в Германии и там испытал неценное счастье всякого простого человека: ходить свободно по улице, не скрываясь от убийц. Но о его поездке стало известно императору Вильгельму, тот захотел встретиться. Столыпин уклонился, ускользнул, Вильгельм погнался за ним несколькими кораблями, однако не настиг. (Их разговор состоялся годом позже при встрече императоров. Вильгельм до неприличия пренебрегал царственным братом и его супругой, весь уйдя в разговор со Столыпиным, от которого пришёл в восхищение, — и ещё через 20 лет повторял, что тот был дальновиднее и выше Бисмарка.)

Да! Ведь кроме внутренней политики (которая и есть единственная нужная политика — терпеливое устройство собственной страны) — существовала ж ещё и внешняя. И как премьер-министру, а не только министру внутренних дел, Столыпину полагалось бы много заниматься ею?

Совсем нет. Сколько мог, он от внешней политики уклонялся, игнорировал, жалел силы на неё: по сравнению с внутренней, она казалась ему чрезвычайно легко решаемой: тут не было такой запущенности отношений, таких накопленных вековых несуразностей, а главное — такой истребительной ненависти, таких яростных идейных врагов, для которых не существовало жизни вне этой вражды. Ему казалось: во внешней политике достаточно приложить четверть силы, как богатырь передвигает горы: тамошние горы и пропасти — кажущиеся. Он был уверен, что правитель с самым посредственным разумом может остановить внешнюю войну во всякое время.

Может быть, из-за этого невнимания кабинет Столыпина был назначен назначением в министры иностранных дел молодого честолюбца Извольского. (Да ещё: насколько русское правительство было кабинетом? Только-только начинали привыкать, что оно — нечто единое. Все эти годы министр иностранных дел не обязан был своих докладов повторять председателю Совета министров. И — уволить того же Извольского или оставить на посту — тоже решалось без председателя.) В поисках эффектного дипломатического хода и свободных рук по отношению к Турции Извольский попался в ловушку своего австро-венгерского коллеги и попустил тому захват Боснии и Герцеговины в конце 1908 года сопроводить объявлением, что захват произведен с согласия России. Это было наглое использование нашей послеяпонской слабости, наступали на ногу и заставляли улыбаться: Германия потребовала от России даже не молчания, не нейтральности, но — унижительного публичного *согласия* на оккупацию: преклонить колена и отречься ото всей славяно-балканской политики. Русское общество было возмущено, взялась тряска в печати и в Думе, — а, кроме войны, отвечать было нечем, упущено. А войной-то — хуже всего нельзя, Столыпин вник в военное министерство (оно, как и все, работало отдельно) и ещё более убедился, в чём был убеждён из соображений общих: воевать нам — никак нельзя, мы ещё долго будем не готовы, для нас сейчас война — поражение, но ещё раньше — революция. Вывод сам по себе был горек, но очень смягчён для того, кто и не намерялся воевать ни в коем случае, да и не горел панславянской миссией никогда. Временный ущерб самолюбия был ничто перед громадностью внутренней постройительной программы. Столыпин не мог вскрыть аргументы публично, он только разубедил Государя, уже решившегося на мобилизацию против Австрии: это потянет и войну с Германией и угрозу династии. (И сказал близким в тот день: «Сегодня я спас Россию!») И ещё личными переговорами Столыпин успокаивал лидеров разгневанного воинственного думского большинства.

Кадеты — очень рвались в войну (не собственными телами только) и ещё долго шумно гневались после потсдамской встречи императоров в 1910: зачем Россия отказалась от наступательной позиции? А французы тревожились, почему ликвидируются в Польше четыре русских крепости. Столыпин же считал: все эти союзники — никакие не друзья и отвернутся от России, если её постигнет несчастье. Англия опасается международной силы России и желала бы её распада. Во Франции нет к России ни любви, ни уважения, а — только страх перед Германией. Никому в Европе и даже в мире не кажется полезной сильная национальная Россия.

И результат убеждал Столыпина, что внешняя политика не стоит слишком настойчивых и долговременных усилий: вот все реальные угрозы были без труда удалены. Если сильная держава *не хочет* войны — никто её не заставит воевать. При назначении после Извольского министром иностранных дел Сазонова Столыпин просил его: только избегать международных осложнений, вот и вся политика. России война совершенно не нужна, и во всяком случае нужно 10–20 лет внешнего и внутреннего покоя, а после реформ — не узнать будет нынешней России, и никакие внешние враги нам уже не будут страшны.

Когда будут здоровы и крепки корни русского государства, — слова русского правительства совсем иначе звучат перед Европой и перед всем миром.

Он не предвидел обстановки, которая позывней истребовала бы Россию к войне, чем аннексия двух славянских областей, — а вот не вступили, и обошлось, и не заметно, чтоб уцербнулся свет самодовлеющего светила. И не было у него раскаяния ни перед честью российского государства, ни перед английским неверным союзником, когда в октябре 1910 в Потсдаме на встрече с Вильгельмом они с Государем обязались не участвовать ни в каких английских интригах против Германии, за что и Германия обязывалась не поддерживать австро-венгерской агрессии на Балканах. При разумной русской внешней политике просто вообразить было нельзя, с кем бы и зачем России предстояло воевать.

В три-четыре года столыпинского премьерства, не урывком, не враз, а постепенным неуклонным движением преобразилась страна так, что и друзья и враги, и свои и чужие не могли бы этого не признать: багровый хаос больше не зыбился, революция кончилась, она была — прошлое. А всё более вязалась обыденная живая деятельность людей, которая и называется жизнью. Страна приняла здравомысленный склад. Третий, четвёртый, пятый год кряду Столыпин влёл всю Россию, куда ему виделось правильнее. Он доказал, что управлять — это значит предвидеть. Доказал наилучшим доказательством — действием. Самим собой. Любя Россию, а к партиям равнодушный, он не примыкал ни к одной, был свободен от давленья любой из них и поднялся над ними всеми, при нём партии потеряли свою опрокидывающую силу. Вокруг него было прополото всё мелкое политиканство. Он был чужд мелочей,

а потому и — мелкого самолюбия. Явное отсутствие личных интересов привлекало к нему людей. Он излучал бодрость, не скупился убеждать каждого сам, — с ним весело, легко было работать, и передавалась его безтрепетность перед угрозами и почти художественная формовка его огромных дел. Он был в расцвете лет и сил — и вливал свою крепкую молодость в государственное управление. Он был для всей России прозрачен, на просмотре, не оставляя болотец для клевет. В оправданье фамилии, он был действительно столп государства. Он стал центром русской жизни, как ни один из царей. (И вправду, качества его были царские.) Это опять был Пётр над Россией — такой же энергичный, такой же неутомимый, такой же радетьель производительности народного труда, такой же преобразователь, но с мыслью иной, и тем отличаюсь от императора Петра:

преобразовать наш быт, не нанося ущерба жизненной основе нашего государства — душе народной,

ни народному облику, ни верованиям:

Русское государство — в многовековой связи с православной церковью. Вы все, верующие и неверующие, бывали в нашей захолустной деревне, бывали в деревенской церкви. Вы видели, как истово молится наш русский народ, вы не могли не осязать атмосферы накопившегося молитвенного чувства, не могли не сознавать, что раздающиеся в церкви слова для этого молящегося люда — слова божественные.

(И почти в тех же днях, сознавая сторону другую:

Вашему Величеству известно, что я глубоко чувствую синодальную и церковную нашу разруху,

и что обер-прокурор должен быть сильным духа и сильной воли.)

Линия Столыпина стала кристаллизующим стержнем, и к нему притягивались по всей России все те образованные — увы, уже — е щ ё ? — немногие, в ком сохранялись непостыженные остатки или раскрывались неуверенные начатки русского национального самочувствия и православной веры.

Этот духовный процесс тоже нуждался в развёртывании времени, вероятно — в тех же двадцати непотревоженных годах.

Столыпин приобрёл такую крепкую стояния и усвоенного места, что уже без труда принимал затрёпанные стрелы оппозиции и с силою и с новым свежим оперением метал их обратно:

Да! После перенесенных испытаний Россия естественно не может быть довольна. Но она недовольна не только правительством — она недовольна и Государственной Думой. И Государственным Советом. И правыми партиями. И левыми партиями. Она недовольна собой. Недовольство это пройдёт, когда укрепится русское государственное самосознание. Когда Россия почувствует себя опять Россией.

Его закон о выходе из общины, промытарившись через законодательные палаты, был окончательно подписан, — а между тем уже два

миллиона хозяев подали заявление о выходе на хутора. И, предвидя зерновое изобилие, Столыпин создавал по всей России широкую сеть зерновых элеваторов государственного банка и субсидировал крестьян для хранения там зерна.

А была ещё одна, заветная, область, о которой Столыпину не досталось много спорить, ни встречать отчаянного сопротивления, успехи же были особенно зримы, быстры, переполняли звонкой радостью. Эта область — переселенческое движение крестьян за Урал — в Сибирь, Киргизский край и Семиречье.

Кажется, ничего нельзя было указать естественнее для русских крестьян, чем переселяться им на свободные земли за Урал, — не лежать же им веками и веками в пустоши! И эта мысль, опережая многие другие, — давно сообщилась крестьянским низам, мудро выхватывая из неизвестности ту перевесь причин и условий, которая через полста лет получит и учёное обоснование. Этот порыв породил мечты, легенды, рассказы — о «царицыных землях», о «сибирских садах», о «Мамур-реке», — и крестьяне кидались даже в одиночку, перехватываемые начальством, иногда убегая из родной деревни беззвучной ночной повозкой, имея впереди тысячи вёрст по чужим местам, где всё так же нельзя было объявляться и не всегда удавалось получить ночлег, просить подавание, — и уж вовсе к неизвестному дремучему обиталищу. От самых великих реформ 1861 русское правительство мешало расселению своих крестьян на свободные богатые земли под корыстным настоянием помещиков, боявшихся, что возрастут цены на рабочие руки в их поместьях завтра, и не доходящих, что будет со всей Россией послезавтра. Из Европейской России, где приходился 31 житель на квадратную версту, в Сибирь, где жило менее одного человека на версте, так не пускали крестьян до самого голода 1891, затем послабили, даже начали строить сибирскую железную дорогу, — и всё ж дождались начала 1905 и усадебных погромов.

Кроме улучшения обработки земли переселение было ещё одним выходом крестьянской нужде — и так оно легло во внимание и усилия Столыпина. Поток переселенцев получил многие льготы: казённую отвозку смотроков, государственную информацию, предварительное устройство участков, помощь на переезд семьями, с домашним скарбом и живой скотиной (были даже строены для этого особые пассажирские вагоны с упрощённой планировкой, к ним потом, перенабивши арестантскими душами и зло исказив смысл, приклеили название «столыпинов»), кредиты на постройку домов, покупку машин, — и самый предприимчивый слой крестьянства, однако недостаточно устроенный на старых местах, потянулся на восточные земли. Под переселение были отданы и кабинетские (собственные царские) земли Алтая — пятикратной Бельгии. Ещё и солдаты, обратно пересекшие Сибирь с Японской войны, двинули этот крестьянский интерес. Уже в 1906 переселилось 130 тысяч, а затем в год по полмиллиона и больше. (К войне 1914 — больше 4 миллионов, — столько же, сколько за 300 лет от Ермака.) Зем-

лю переселенцы получали даром и в собственность, а не в пользование, — по 50 десятин на семью, так раздавались дальше миллионы десятин, и с каждой снимали по 60 пудов, мечта Петра Аркадьевича. Орошали Голодную Степь, рыли общественные каналы. Всего прошло только четыре года, ничтожный срок для русской истории, 75 раз он мог быть использован в одной романовской династии, — и вот Столыпин с любимым своим министром Кривошеиным, с кем делили всё деревенское устройство, теперь, в августе и сентябре 1910, объехали многие переселенческие места в Сибири — большую часть в телеге — и не меньше самих переселенцев дивились и радовались их привольной, здоровой, удачной жизни на новых местах, их добротным заимкам и сёлам, даже целым городам, где три года назад не было ни человека, их весёлой спорой работе уже с первыми плодами нажива и прибýtка, с нескучным лесом, урожайным землеществом, вольным скотским отгулом, даровой охотой и рыбной ловлей, — за три года людям уже и не верилось, они ль это жили до се в теснотах и отчего же не трогались сюда?

И если это всё — за 4 начальных года, и уже подняли годовой сбор хлеба до 4 миллиардов пудов, что ж можно будет устроить за 20 лет разогнанных?

Весь вид этого огляженного благоденствия, всё движение и воздух сибирских степей были Столыпину высшей радостью его жизни, несравненно с наградами, которыми когда-либо мог одарить его трон или почать русский народ: в эти счастливые месяцы (и безо всякой охраны) ему привелось увидеть, как его канцелярские усилия образились в устройстве великого народа на богатых просторах. Эти люди, смело пошавшие в необжитость и даль, крепкие, неуёмно подвижные, ядрёная порось русского народа, были сыты своим трудом, свободны и как же далеки от революционной мути, и как неподневно заявляли себя царю и православию, требовали церквей и школ. Перенесенная на новое место Россия воссоздавалась даже очищенной: в Заволжье встретил Столыпин бывшего крестьянина-революционера, члена 1-й Думы, теперь страстного хуторянина и любителя порядка.

И весь путь Столыпин с Кривошеиным радостно разрабатывали, какие новые государственные меры надо принимать, чтобы вольно развилась этот переселенческий вал.

Через месяц Столыпин сидел в Потсдаме рядом с императором Вильгельмом, ощущая спиной сибирскую поселенческую добротность, и ещё и ещё удивлялся лёгкой устрояемости международных дел, этой пресловутой «внешней политики». Отношения с Германией могли установиться как угодно хороши.

Русская жизнь выздоравливала — непоправимо. Ощущение этой уже достигнутой перемены пропиталось и в головы, груди революционеров. Тридцать кряду лет эти головы и груди были охвачены жадной надеждой на близкую в России революцию, только тем жили и двигались. Теперь же — безверие, усталость и отступничество залили их в безвыходном положении: их слов больше не слушали, революция ху-

же чем не состоялась, она была проиграна и перестала собою розовить горизонт будущего, лишь багрово догасала на горизонте прошлого. (В историю это впечатано как «годы столыпинской реакции» — да, это была реакция ещё не догубленных душ на свою отвратительную деятельность. И реакция здоровой части народа на нездоровую: в сторону, не мешайте трудиться и жить!) Так и от самого Столыпина террористы отвалились года с 1910, перестали охотиться, искать случая убить. В прошлом неудача многих попыток не заставляла их отчаяться и покинуть замысел, но вот наступили годы, когда террористы перестали встречать восторг и благодарность даже в тех интеллигентских домах, в которых привыкли. Во всём населении они почувствовали себя не столько гонимыми, сколько ненужными и отверженными. И это лишило их силы действовать.

Теперь дошло Столыпину позаботиться и об очистке вод, стекающих в Неву, и о бесплатном чае для нищих по ночлежным домам. Его счастливого здоровья хватало на все работы, и постоянно свежим видели его.

Зиму 1909–1910 Столыпин жил уже в доме на Фонтанке, никак не прятался, выезды его в Таврический дворец происходили в заведомо известные дни, а летом он мог ехать в своё любимое ковенское имение.

Однажды Столыпин осматривал летательные аппараты, и ему представили лётчика Мациевича, предупредив, что это известный эсер. (Состояние в эсерах не препятствовало ни военной службе, ни обычной работе.) Вдруг, блеснув взглядом вызова, именно этот лётчик с улыбкой предложил Столыпину — полетать вместе.

Не свою только жизнь — даже всю русскую судьбу в руках держа, от подобного вызова Столыпин уклониться не мог: честь поединка парила в нём выше рассудка и обязанностей, как уже не раз при покушениях. Он — тотчас согласился.

И они полетели. И сделали круга два на значительной высоте. В любую минуту лётчик мог разбить обоих (жертвовать и собою — обычный был шаг террористов), а то и попробовать разбить лишь пассажира. Но он этого не сделал, и противники только вели незначущий разговор и мерились взглядами. (А очень вскоре Мациевич, летая в одиночку, убили. «Жаль смелого летуна», — отозвался Столыпин.)

В те годы не принято было грубо восхвалять на всю страну государственных деятелей, ни — обклеивать их портретами улицы. И в стомилионной глубине России далёкие от политики обыватели меньше всего запоминали, кто там сейчас председатель Совета министров, знали одного царя (за которого Столыпин и затенялся охотно), да видели вочью, что жизнь успокоилась, разбоя нет, снова можно жить на Руси покойно.

И кадеты не смели поносить Столыпина, устали атаковать. Они для себя новое положение приняли, лишь не желая чествовать победителя. Он врзался неизъяснимо-чужеродно: слишком националист для октябристов, да и слишком октябрист для националистов; реакционер для

всех левых и почти кадет для истинно-правых. Его меры были слишком реакционны для разрушительных и слишком разрушительны для реакционных. И, таким странным, *общество* уже привыкло терпеть его.

Но был один слой, где каждый день напряжённо помнили, кто именно сегодня председатель Совета министров, и удивлялись, как долго держится; где с негодованием и завистью следили за каждым новым успешным шагом этого невиданного карьериста, счастливица, которому всё липнет в руки, самоуверенного честолюбца, чужака, не петербуржца, с кем не установишь взаимного счёта услуг, да ещё и предвзятого оптимиста, попугайски твердящего о светлом будущем, когда всё угрожей подрубались привилегии и права. То был — высший служилый и придворный слой, по сравнению с толщей России — ничтожный, но достаточный по толщине и объёму, чтобы все служебные движения министра-председателя связывались бы им. Их счёт был особый, как бывает на биллиарде или карточной игре, — счёт по шарам или картам, отмечаемый мелом, — как будто стираемый, тленный, но — бело-горящий, превыше всей страны и вселенной за пределами игральной комнаты. По этому счёту Столыпин был не в выигрыше, а в проигрыше кругом: он рано, не по годам, взлетел; он дерзко считал себя никому не должным; во всех *человеческих* случаях (кого поднять, повысить, перевести, наградить или защитить от наказания) он решал не по-человечески, как свой бы среди своих и для своих, но — прячась за бессердечной придуманной, якобы государственной необходимостью; он не вступал ни в какой комплот, ни в какую дружескую компанию, он разыгрывал вполне независимого, чего быть не может, не бывает, — и цифры неоплатимого счёта разбухали в рассыпчатом мелу. Этот интриган обольстил, обморочил Государя и передержался на своём посту, — но по всем счетам ему пора было убираться! И, переводя на меловой и восковой язык, ему приписывали в долг и в вину каждую его удавшуюся реформу: он виноват был, освободив крестьян на отрубá; он виноват был якшаньем с земствами, кому уже начал передавать часть незыблемого неделимого государственного управления (реформировать же уездное управление ему помешало дворянство, хотя половина дворянских предводителей даже не жила в своих уездах); он виноват был, увеличив из кармана помещиков земские сборы в пользу крестьянского устройства; он виноват был, готовя страхование рабочих за счёт фабрикантов и государственных налогов; он виноват был, введя праздничный отдых приказчиков; он виноват был защитой старообрядцев и сектантов; виноват невниманием к чинам дворцовой службы. Наконец, или самое первое: он не заслужил гофмейстера и статс-секретаря!

Он был выскочкой нестерпимой для тяжело-седых сановников Государственного Совета, неподступист для всего дворцового окружения и всё более неугож Ея Величеству. (И каждый, кто достигал высочайшей аудиенции, доносил высочайшему уху, что Столыпин растит свою популярность за счёт популярности Государя.)

Эта среда не отличается стальной упругостью, но — болотной вязкостью. Она долго подаётся под ступающею ногой и даже податливо

месится — но с какого-то сжатия непобедима. Не только государево сознание и уши наполнились, но весь воздух, вся среда дрожала подозрениями, осуждениями, негодованием, как неприлично одному человеку так долго, так властно держаться за столь высокое место. И императору открылось постепенно, что его первый министр, уже пять лет на этом месте, не благожелательный спаситель трона, но в каждом новом успехе пожинает славу себе и заслоняет собою своего Государя.

В такой вязкости всегда тянутся неисследимые липкие нити из одного края в другой, они и дают болотной среде свою непобедимую болотную упругость, отзываясь в неожиданном месте. Государево чиновничество не смело открыто сопротивляться законной правительственной власти — так сопротивление Столыпину неожиданно прорвалось через церковь, и именно — в саратовской епархии, где он не так давно был губернатором: епископ Ермоген, а с ним иеромонах Илиодор, фанатичный инок с безумными глазами, проповедывали против властей как еретиков и изменников Государю, — а кто же эти власти возглавлял, если не Столыпин? Вдруг оказались они оба в дружбе и союзе с Распутиным, входившим при Дворе во влияние (потом, правда, рассоривались и с ним, и друг со другом). Государь повелевал прекратить начатое властями против Илиодора преследование, возвращал его на богослужения в Царицын, предпочёл уволить обер-прокурора Синода, члена столыпинского правительства. В те месяцы слышали от Столыпина:

Ошибочно думать, что русский кабинет есть власть. Он — только отражение власти. Нужно знать совокупность давлений и влияний, под гнётом которых ему приходится работать,

безсильное положение правительства перед анонимными сферами, тёмными гнёздами позади кулис. Некоторые, как Гучков, убеждали Столыпина вырваться из связанного положения, дать открытый бой тёмным силам. Но Столыпин не мог этого сделать, не превращаясь сам в такого же Илиодора.

Враги — множились, хотя Столыпин не множил их. Он не давал воли личным раздражениям и порывам, ибо не на этой стезе шла его битва. Так, он долго избегал резкого столкновения с Распутиным. (И не настаивал черезсилу, когда было высочайше отменено полицейское наблюдение за ним, его кутежами, аферистскими связями и не удалась высылка в деревню в 1908 году. Объяснил однажды Государь: «Лучше один Распутин, чем десять истерик императрицы».) Столыпин долго лишь отстранялся, чтобы не пересеклись пути государственные и распутинские. Однако это оказалось невозможно: липкие нити тянулись повсюду, определяли назначения митрополитов, сенаторов, губернаторов, генералов, членов Государственного Совета, — а вот и в собственном министерстве внутренних дел Столыпин был подстережён и опутан своим же первым заместителем Курловым — нечестным, чужим, неприятным, не им выбранным, но августейшей волей, — и вдруг оказавшимся во главе и Департамента полиции и Корпуса жандармов, оглавив как буд-

то защиту России, ему безчувственно недорогою сравнительно с мутными личными спекуляциями. Первый заместитель Столыпина по министерству, он вдруг — каждый раз вдруг — оказывался и добрым знакомым того самого Илиодора, потом и Распутина, — именно тогда, когда Распутин хорошо укрепился в Царском Селе, становился уже нетерпим в государственном теле, — невозможно было дать определяться государственному вопросу на уровне этого мужика, и Столыпин — в начале 1911 года — решился выслать его на родину, — увы, не надолго, и ко взлёту вящему. (Кривошеин предупреждал: «Вы многое можете сделать, но не боритесь с Распутиным и его приятелями, на этом вы сломитесь». На этом Столыпин и потерял последнее расположение императрицы.)

Несоскребённое болотное петербургское покрытие должно было непременно дать отдачу. Свойства напряжённых конфликтов — раздражаться внезапно и даже по третьестепенным поводам, не знаешь, где споткнёшься. Попалось — сложное да и спорное западное земство. И вдруг на этом месте сошлось сопротивление всей чвакающей среды.

На 9 западных губерний, от Ковенской до Киевской, Александр II в своё время не решился распространить выборное, как внутри России, земство — и там оно по сегодня оставалось назначенным. Такое земство как будто имело преимущество нереволуционности: назначенные служащие добросовестно работали и никогда не были в оппозиции к правительству. Но, глубже: назначенные земцы не могли так смело, как выбранные, использовать местные силы, не считали себя вправе расширять деятельность своих земств, укреплять усилением земских сборов, перенимать часть правительственных функций. А именно этого и хотел Столыпин ото всего российского земства. Расширение земских прав лежало на его главном государственном пути.

Но не решался Столыпин применить и простое географическое распространение правил: в этих губерниях было всего 4% поляков, а в Государственном Совете все 9 депутатов Западного края — поляки. При крестьянах — литовцах, русских, белорусах и малороссах, помещики были сплошь польские, в их руках было всё богатство, экономическое воздействие, наём рабочей силы, влияние на быт, образование, религию, уверенное господство и политическая опытность, сводящая их в спаянную национальную группировку. Оттого и выборное земство обещало стать под давящим польским влиянием, и путь всех 9 губерний сложиться польским, прочь от России. И задача была: не обратить расширяемое земство в инструмент польской политики, но повсюду застраховаться от несправедливого преобладания.

Однако по общему земскому закону Александра II помещики имели решительное преобладание над крестьянами. Теперь в 9 западных губерниях этот противокрестьянский корыстный закон правящих обещал национально отомстить за себя. Чтобы в западных губерниях спасти русскую, предстояло вывернуть прежний земский закон: не дать польским помещикам перевеса над своими крестьянами, нейтрализовать

сословный характер выборов. Для этого производить выборы раздельно по национальным куриям, допустить к выборам духовенство (всё — не польское), а ещё (невиданность!) понизить имущественный ценз, чтобы маломочные не-поляки избирали больше гласных, чем состоятельные поляки (впрочем, и им оставалось 16%, четырёхкратно по сравнению с численностью). В земских управах должно было быть обезпечено большинство от сельских общин, а не от богатых поляков. Особо требовалось, чтобы были русскими (или украинцами, или белорусами, в те годы это никем не различалось серьёзно) — председатель земской управы и председатель училищного совета.

Запечатлеть открыто и нелицемерно, что Западный край есть и должен остаться русским. Защитить русское население от меньшинства польских помещиков.

(Как хорошо-то было бы прежде додуматься до того в самой России. Отчего ж в России-то ещё полвека назад не встал вопрос, как защитить крестьян от помещиков?)

Можно здесь предположить в Столыпине долю политического лукавства: хотя цель его была самая прямодушная, на пересечении двух, даже трёх его излюбленных линий — крестьянской, земской и национальной, но не упускал же он из виду, что такая демократизация земства, снижение имущественного ценза для гласных, так что в земство потечёт и русская полунинтеллигенция, склонная к революции, вместо консервативного польского дворянства, — не может не понравиться Государственной Думе. Действительно, приморщилась она от националистического духа законопроекта (и левые голосовали против), но приняла снижение ценза, даже вдвое, нежели Столыпин предлагал. И Дума, пожалуй, была права, а дальновидные правые должны были заполошиться: как бы это снижение ценза не перебросилось заразою на саму Россию потом. Итак, в первой палате закон прошёл, а во второй не мог не вызвать оппозиции — не против национальной, но именно против земской линии Столыпина.

Вторая палата — Государственный Совет, и держалась как бы для торможения и мудрой проверки скороспешных законов Думы. Из полуроста человек там около половины было выборных членов, около половины — назначенных самим Государем. (Этот приём назначения и вообще всегда имеет смысл тормозительный и личного влияния монарха, а для Николая II он давал выход его особой склонности назначать на важные должности лично ему приятных людей для противовеса слишком решительным деятелям — так, чтобы не самому останавливать их.)

«Лёд усталых душ», — говорил Столыпин о Государственном Совете. Тут были и старцы, настолько уже дряхлые и даже глухие, что не успевали на заседаниях схватить смысл обсуждаемого и должны были в виде репетиций знакомиться с порядком дня до заседаний. Тут был и отстойник всех бывших деятелей, уволенных, отставленных, ушедших на покой, а значит, и тщеславных неудачников. Змейёй Государственно-

го Совета в это время был Витте, личный ненавистник Столыпина: его изводила сухая, тоскливая, бесплодная зависть, как Столыпину удалось успокоить и вытянуть Россию там, где при Витте она впала в истерику и погрязла. (Смешно: даже не только, что Столыпин перенял его пост и исправлял его провалившуюся систему, сколько: одесская управа разыменовала «улицу Витте» в другое имя, Витте слёзно-коленно перед Столыпиным умолял не разыменовывать, а Столыпин не вменялся.) Витте и стал — не главный открытый оратор противной стороны, но главный вдохновитель сопротивления за кулисами.

Всё ж до злополучного этого проекта как-то управлялся Столыпин с Государственным Советом. Но по проекту западного земства тут возникло упорное сопротивление — сословная их корысть оказалась выше всего. Казалось бы: не такой был важный законопроект, чтоб из-за него давать решительный бой и ставить под опасность уже 5-летнюю и ещё, может быть, долгую правительственную линию Столыпина?

Но даже и в комиссии Совета большинство пунктов было принято. Однако перед пленарным обсуждением, чуя нарастающую враждебную стену, Столыпин применил силу — взял от Государя подпись на письмо к председателю Совета, наводящее закон к принятию. Тогда один из решительных противников, В. Трепов, добился у Государя аудиенции и спросил: понимать ли письмо как приказ или *можно голосовать по совести*? Излюбленно уравновешивая борющиеся силы, да и естественно, — Государь призвал голосовать по совести, а излюбленно к скрытности — скрыл этот эпизод от Столыпина. Впрочем, к этому времени уже много накопилось у него против министра-председателя: всё окружение Государя и все приходившие на приём возбуждали его против Столыпина; в этих же первых месяцах 1911 года были и главные кризисы с Илиодором и Распутиным, где Столыпин действовал против царского сердца и потерпел поражение.

4 марта на пленарном заседании Государственного Совета законопроект был провален. И 5 марта Столыпин подал прошение об отставке.

Не редкий пример из жизни людей и обществ: как подлóm происходит будто на чём-то побочном, обходимом, когда по главной линии все тяжёлые препятствия взяты. От долгого ряда побед ослабляется ощущение всех сопротивлений, прорывается пылкая нетерпеливость.

Действующий конституционный порядок не требовал отставки правительства при вотуме недоверия в одной из палат: правительство оставалось по конституции ответственным лишь перед монархом. Но в том и дело, что голосование в Государственном Совете, как тем более настроение вокруг него, являли Столыпину, что, где-то за кулисами и не проявлясь, Государь уже отказался от своего министра-председателя.

Четыре дня не было ответа Столыпину на его отставку. (Уже Петербург называл премьером Коковцова, его фотографии появились в столичных витринах, в эстампных магазинах.) Потом он был вызван вдовствующей императрицей, от кого имел неизменную и верную поддержку. Мария Фёдоровна тепло уговаривала Столыпина остаться на посту:

«Я передала моему сыну моё глубокое убеждение, что вы один имеете силу спасти Россию». В два часа ночи фельдъегерь привёз Столыпину письмо от Государя, где тот, дружественно и отчасти извинительно, просил взять отставку назад.

Здесь Столыпин проявил крутость, ему несвойственную (размах досады или далеко вперед расчищая путь реформ?): вождей оппозиции, В. Трепова и П. Дурново, настоял уволить из Государственного Совета в безсрочный отпуск. А сам Совет (вместе с Думою, иначе закон не дозволял) — распустить, всего на три дня, — но в эти три дня издать по 87 статье закон о западном земстве. Это и было сделано 11 марта. Седовласые, многозвёздные, в лентных перевязях сановники принуждены были выслушать стоя высочайший указ о своём роспуске и многократно провозгласить «ура» в честь Государя императора.

Конституционно то был шаг неоправданный; 87 статья допускала издание законов Государем в *отсутствие* законодательных учреждений и при условии чрезвычайности положения, а не — искусственно распустить их для того.

Следует оценить, что Столыпин перегорачился и переупрямился, проявил резкость и нетерпение делателя, которому мешают делать, так уже тошно пришлось ему со *сферами*. Перед делом, перед государственной необходимостью казалась так досадна помеха от старцев.

Да наверно испытал он и задор проучить Государственный Совет — рассчитывая на верную поддержку Думы. Случай не стоил ни подачи в отставку, ни ломки Совета, ни применения 87 статьи. (Удалясь на охлаждающие десятилетия от спора, В. Маклаков потом указывал, что Столыпин не использовал верных возможностей закона: всего-то надо было ему потерпеть до летнего перерыва занятий, летом провести по той же 87 статье, уже неоскорбительно, — и Дума не имела бы повода отменять закон, одобренный ею самой, — и он бы даже никак не попал второй раз в Государственный Совет.) Но, оглядясь, ведь только по 87 статье, не иначе, удавалось Столыпину сообщать начальную скорость и всем своим основным законам, — хотя бы начальную скорость, а потом всё равно эти законы увязали в Думе или Совете или утапливались навсегда.

В этих нетерпеливых рывках творить законодательство без парламента можно видеть и следствие выкидышного рождения виттевской конституции в России, незрелости её и её исполнителей, — но просвечивало и предвещение тех великих испытаний, которые потом наслал XX век на все парламентские системы мира, того кузнечного испытания на прочность и поворотливость, какие нужны раскалённому железу под молотом, а Россию эти испытания лишь постигли ранее всех других и менее всех подготовленной. О верном соотношении парламентской процедуры и личной воли ответственного правителя — вывод основательный осторожнее будет отложить до начала XXI века.

Этим трёхдневным дерзким роспуском законодательных палат Столыпин восстановил против себя всё петербургское общество: левых

и центр — тем, что обошёл конституцию, правых — унижением и расправой с их лидерами.

Перегорячились и Гучков, неровный союзник Столыпина: хотя весь-то закон и проводился как раз в линии его октябристского думского большинства, он в негодовании (или упиваясь общественно-выгодной позой) сложил с себя думское председательство и уехал — не ближе как в Монголию. Хлопком двери он ещё преувеличил событие, сдвигая 3-ю Думу к нелояльности 2-й. (Столыпин очень удивился отставке Гучкова и надеялся на скорый возврат его. Не мог изменить ему Гучков!)

В петербургских *сферах* в первые дни столыпинский напор был разноречиво воспринят и как геркулесовы столпы нахальства зарвавшегося властолюбца, «самодурства, невиданного со времён Бирона»; и как удивительное счастье, когда и поражения обращаются в пользу.

А через полмесяца Столыпину пришлось защищать своё решение в Государственном Совете, который знал свою силу, ибо ещё через полтора месяца автоматически отменял закон непринятием его. Столыпин выслушал тут упреки во мстительной злобе, знобящей лихорадке безотчётного своеволия, самодержавии премьер-министра, манёврах для сохранения личного положения, игре на революционных инстинктах Думы, потеснении просвещённого независимого консерватизма, насаждении чиновничьего сервизизма; и подробные юридические возражения; и пафосные упреки, что это — рвут ключья из Манифеста 17 октября и выпускают Выборгское воззвание наизнанку. Но все обличения не пошатнули Столыпина, и он всё так же бодро и многоразвито отвечал шире и сильней, чем формально обязан был по запросу, не уклоняясь ото всего объёма схватки ни в подробностях, ни в целом. На все юридические доводы он не упустил ответить юридически, обильно цитируя западных знатоков государственного права и указывая примеры подобного роспуска, даже британского парламента Гладстоном. Он доказывал, что воля монарха не подлежит критике (он заслонялся тронном, уже изменившим ему), это она определяет чрезвычайность или ординарность закона, отрицать же право монарха на роспуск палат — значит подвергать опасности всю жизнь страны в будущие чрезвычайные моменты. У нас ещё нет политической культуры, при молодом народном представительстве трения поглощают всю работу, и в законодательных учреждениях может завязаться мёртвый узел, который по-сильно развязать лишь монарху, хотя это и — край, противоположный парламентаризму (он скользил ногой по основам того Манифеста, который тщился сохранять).

Столыпин устоял перед Государственным Советом и, казалось, сохранял всю мощную позицию правителя. Однако к концу апреля, когда подходили последние недели законопроекта и тот всё равно был обречён отмениться, — в той самой Думе, на кого более рассчитывал теперь Столыпин и в чьей формулировке, надеясь поладить, он провёл свой закон, — именно в Думе раздались самые уничтожительные речи.

Сперва Столыпин отвечал на запрос. Он выдвигал новые и новые доводы, так что вся постройка аргументации уже намного превзошла защищаемый законодательный акт. Особенно тщательно он защищал юридическую сторону, на которую ожидал главной атаки, но звал и к чувствам, напоминая, как законодательные палаты, из-за трений и по юности опыта, тормозили законопроекты, от чего страдали миллионы русских людей или загромождалась их молитва. А теперь в законе о западном земстве

победит ли чувство народной сплочённости, которым так сильны наши соседи на Западе и на Востоке?

Он намекал, что именно этим роспуском он отстаивал решение Думы и правоту Думы. И наконец, перед аудиторией напряжённо-неприятной, выдвинулся, по своей манере идти на бой открыто и первому вперёд:

Имеет ли право и правительство вести яркую политику и вступить в борьбу за свои политические идеалы? Достоин ли его продолжать вертеть корректно и машинально правительственное колесо? Тут, как в каждом вопросе, было два исхода: уклонение или принятие на себя всей ответственности, всех ударов, лишь бы спасти предмет нашей веры.

Когда-то сокровенно-укоризненно выраженная царю, теперь прорвалась с трибуны его задушевная мысль:

Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности. Ответственность — величайшее счастье моей жизни.

И это оказались — последние слова, когда-либо сказанные им публично.

Он сел в министерскую ложу слушать прения. В который раз удалось ли ему — переубедить, сдвинуть или хотя бы озадачить противомысленных слушателей? Уже первая речь от фракции октябристов, обезглавленной уходом Гучкова, обещала мало хорошего. Оратор назвал кризис — лично *председательским*, игрою в законность.

Даже желательные мероприятия, но проводимые путём сомнительной законности есть поворот к прошлому. Наш исторический грех: неуважение к идее права, к неизблемости закона. Не встретив противодействия, такие мероприятия имеют тенденцию повторяться.

Всегда ли главная работа — у того, кто говорит? Не труднее ли — слушать против себя, уже лишённым возможности ответить? Как легко законодателям *давать законы*, освобождённо от необходимости осуществлять их! или — останавливать законы, не понуждаемо искать выход из мучительного состояния страны. Как легко с лакированной трибуны XX века поставить неторопливую, прожёванную, проголосанную законность выше вопиющей неотлагаемой нужды! Как легко в пиджаке, галстук и запонках оценить наш исторический тысячелет-

ний грех, не упомня ни дебрей, ни морозов, ни хазар, ни татар, ни ливонцев, ни поляков, — то-то у всех у них, кто сжимал нас, было уважение к праву!

А следующим — по значимости партии и несравненно первым по умению говорить — вышел блистательный Василий Ма к л а к о в. Вот уж кто, тончайший из юристов, будет сейчас разбивать все заставы юридических доводов премьер-министра! Нет, с неожиданностью, доступной только великим ораторам, он великодушно (или другого избега нет) покидает то поле, где ждётся главная сила его:

Я думаю даже, что формально статья 87-я нарушена не была. Вот как! И главный юрист признаёт, что закон-то нарушен не был. Так что же тогда?

Но кроме прямого ненарушения закона необходимо его добросовестное и лояльное применение.

И атака Маклакова — что Столыпин, формально правильно применив закон, извратил его смысл. А говорится со страстью, и уже в первой части речи оратор с лёгкостью выговаривает, что извращение — политически-преступное, что премьер-министром владеет *mania grandiosa*, его мораль готтентотская по сравнению с европейской христианской моралью (сидящих здесь кадетов). В густой напряжённости зала Маклаков наносит эти оскорбления как звонкие пощёчины в министерскую ложу, допущенный наконец к недостигаемому — выразить за пять лет кадетскую месть. (А свежий председатель Родзянко, упоённый председательским местом, возвышается и не рискует прервать.) Маклаков не обходит тронуть сердце адвокатской руладой:

И какая была бы благоденственная демонстрация, если бы председатель Совета министров, всю энергию и решимость которого мы знаем, покорно склонил бы голову, —

и врезает новую пощёчину, назвав Россию *стольпинской вотчиной*.

Он бьёт свои удары — но как изменилось положение для премьер-министра: почему-то невозможно не только ответить, но — оскорбиться, выйти из ложи. Не потому, что повторение, но в этой новой обстановке было бы смешно и доказывало бы только правоту противника.

Это старая психология нашего правящего класса. Все наши губернаторы — Столыпины в миниатюре. Он так вырос в этой психологии, что не мог понять, что Дума станет на иную позицию. А для Государственной Думы быть или не быть земству в губерниях запада — мелочь, сравнительно с вопросом, быть ли России правовым государством.

Да, Столыпин дал глубокий промах, он недооценил Думу, он не вник, что для Думы — мелочь и западное земство, и вообще земство, и волостное, и само крестьянство, и национальные интересы, — а только расквитаться бы с премьер-министром за вереницу своих от него поражений. Зря он рассчитывал, что Думе — нужен закон о земстве, да ещё взятый в её думской редакции, что она повлечётся на снижение

земского ценза, перспективы демократизации, да ещё укрепить свои позиции против Государственного Совета, — нет! она все эти возможности отбрасывала. И хотя только что признал кадетский адвокат, что закон нарушен не был, теперь он поучал Столыпина:

всякий государственный человек должен уметь уступить, подчиняясь закону,

и таково было невыносимое соотношение, цена за земский закон, что надо было принимать поученья, опустив голову.

Давно ли председатель Совета министров был популярнейшим человеком в России?

(Только Дума никогда этого не признавала.)

Давно ли сами его противники относились к его политике с осуждением, но и с уважением?..

(Только тогда говорили другое.)

И вот, через несколько лет...

Через несколько лет — первый раз в думских прениях Столыпин оказался в положении слабом. Первый раз что-то сломилось и изменилось, и на каком же, кажется, не топком месте. Под их же улюлюканье вытаскивал всю Русь из дьявольского хаоса — и было под силу. А небольшая реформа в полудюжине губерний сбивает с ног.

Великое самомнение и великая дерзость ставить свои идеалы выше законов. Иногда история прощает дерзость тех титанов, умевших опрокинуть все законы и вести страну за собой; но тот, кто таких заслуг за собой не знает, должен быть скромнее.

Так он не вёл страну за собой? он ничего и не сделал?.. О, кто измерит труд со стороны, не сметив, забыв тот прежний край бездны и никогда не разделив натяжения наших мускулов.

Не уставая, четыре года мы указываем на позорное правление под его главенством... Жертва слишком большой уверенности в правоте своих взглядов... Образ честолюбивого правителя... Вместо подлинного успокоения он разжигал, чтобы сделать себя незаменимым...

Как будто он не через бомбы шагал, а — карьерист, ловко достигший поста. Не ответишь: только ваших детей не тронули, а моих изувечили.

...Удивительное ощущение: пять лет успешно строил, строил — и вдруг оказывается всё как бы в развалинах, всё — под сомнением... Пять лет назад оставить их с их говорильней — они погибли бы все. Но твёрдой рукой выведя их из гибели — теперь присуждаешься испытать заушение, и впервые заколебаться: да, ошибся, да, погорячился на ровном месте, да, хотел проучить заносчивый Государственный Совет.

И вдруг с неожиданнейшим изворотом, который и отличает великих адвокатов от маленьких, кадет Маклаков восклицает как о самом ранящем его:

Что сделали с монархической идеей! Я — монархист не меньше, чем председатель Совета министров, — огорошивает он Думу, —

я считаю безумием отрицать монархию там, где её исторические корни крепки. Но *этот* защитник монархии, вмешивая имя Государя в свой конфликт с Государственным Советом... Недостойная форма... Сомнительный акт... Из просьбы об отставке извлёк себе пользу...

Этот изворот и этот трепет адвокатского голоса — уже не к Думе, он вносится выше самоварного корпуса Родзянки — выше — выше — он не может не достичь *тех* ушей, не пронзить их неизбежностью окончательной отставки премьера. Выйдя говорить как будто в защиту Думы, Маклаков блистательно дотянулся отсечь недостойного министра от великого царя. Только так и могла Дума столкнуть Столыпина: в союзе с ненавидимым монархом и в союзе с ненавидимыми сферами. И, достигнув этой главной цели, недоступной Думе, хотя бы вся она проголосовала заедино, — Маклаков разрешает себе теперь и завершительную пощёчину:

Для государственных людей *этого типа* русский язык знает характерное слово — в р е м е н щ и к . Время у него было — и это время прошло. Он может ещё остаться у власти, но, господа, это агония.

И верно знает, где отрубил. И верно знает, что вот — отхлестав, оплевав — не получит вызова на дуэль как доказательства последнего банкротства.

Однако что может сделать единственная речь как будто безоружного человека: он не принёс своей лепты доводов, не положил своего догрузка на весы, — но мельканием лёгкого языка, но сочетанием известных элементов слушательской слабости — смахнул великана, сдюжившего со всей Россией, смысл в помой неотставленное правительство.

А на трибуне — новый монархист, в этот раз истерический, перекидчивый П у р и ш к е в и ч , — с коварной попыткой вырвать себе аплодисменты всегдашних левых врагов, а со Столыпиным расчитаться с той стороны, откуда он менее ждёт удара.

Довольно и здесь пощёчин: что трусливо прикрылся священным именем Государя, подорвал авторитет русского самодержца; не проявил твёрдости против смуты в Саратовской губернии, а заигрывал с революцией (уже и в этом!..), самовластен, не понимает государственных идеалов России (и в этом!), испытывает недостаток ума и воли (и в этом?), но, нужно полагать, уйдёт же он когда-нибудь!

(Место для аплодисментов.) Пуришкевич не признаёт за Столыпиным права называться русским националистом, его национализм — вреднейшее течение, которое когда-либо было в России, он оживляет в сердцах мелких народностей надежды на самоопределение и дифференциацию, он даёт самоуправление окраинам, а это — безумие, ибо иногородцы Империи не могут иметь самоуправления наряду с коренным рус-

ским населением. Западный край и не просил себе выборного земства, это придумала Дума, — и в угоду ей и в её редакции премьер-министр провёл закон, губительный для русского населения, к торжеству поляков и левых, в западные земства повалят социал-демократы, эсеры и сепаратисты.

Не всякому даже в жизни раз достаётся такой день публичного беззащитного позорища, медленной казни. Но ошеломляет, туманит, сбивает, что атака равно яростна с противоположных сторон. Упрёки следующих ораторов покрывают и догружают упрёки ораторов предыдущих. Со всех сторон череда несдерживаемых оскорблений — и вдруг пошатывается наша, никогда не шатавшаяся уверенность. Удар за ударом, попадая в нас, постепенно размягчают нашу стойкость. Цельный предмет, хорошо тебе известный, вдруг наклоняется, поворачивается, расщепляется, — и ты с содроганием уже усумняешься; да был ли он цел и един? Не то что не стоило класть голову за этот закон, но, может быть, ты и раньше, и раньше — видел не так?

А жаждающие ораторы всё меняются, их не десять и не пятнадцать, дорвалась 3-я Дума отыграться за проигрыши всех трёх Дум.

От социалиста слышит Столыпин, что он потопил русский народ в его собственной крови, и даже злейший враг не мог столько вреда принести русскому самодержавию, закон же о западном земстве — это вершина «пирамиды расправ».

И снова от кадета, и довольно известного:

Где мы видим те огромные заслуги за председателем Совета министров, чтоб он мог сказать, что является носителем национальной идеи? Мы не знаем ни победы под Садовой, ни у Седана.

(Уже и то ему в вину, что он не устроил войны.)

Притязание, что его идеи единственно-истинные для русского народа — оскорбление национальных чувств.

И опять от правого:

Председатель Совета министров, покайтесь и идите к престолу просить прощения, ибо вы подвели Верховную власть.

Как прорыв ненависти. Как будто все — только и ждали удобного случая взять реванш за то, что пересливали их столько лет.

Кто-то говорит и за — но их много меньше, и для совестливого сердца их аргументы никогда не кажутся успокоительны. Ощущение почти сплошное — разгрома, и не в одном этом законе, а — во всём пятилетии управления, во всех замыслах жизни.

Жил и ощущал, что сделал так много. А вот, оказывается: ничего, всё — прах.

Ораторы меняются, заседание тянется в вечер, и к полночи, и за полночь, и только тогда дали слово — и то по мотивам голосования — двум из западных крестьян, которым Родзянко отказывал весь день прений, хотя с них-то и надо было эту дискуссию начинать:

Вы нам зажали рот. Мы очень рады, что осуществляется и наше земство. Будь там статья 87-я или какая, но если от вас ждать, в а ш и х реформ, то мы никогда не дождёмся.

Но уже слишком было поздно, слух депутатов к тому не клонился, а скорее надо было голосовать: 200 с осуждением, 80 в защиту. Только русские националисты и остались неизменно верны Столыпину.

(Закон о западном земстве утонул — и лишь после смерти Столыпина был легко принят. И западное земство очень помогло в близкие годы войны.)

Уже в апреле чуткие придворные носы распознали, что Государь безвозвратно охладел и даже овраждебнел к Столыпину. И в сферах стала складываться вокруг Столыпина атмосфера конченности. Кажется, искалась только благоприличная форма отставки его на невнятный пост. Таким предполагалось, например, новопридуманное восточно-сибирское наместничество: услатить его в его излюбленные края.

И можно было Столыпину: поддаться, покорно уйти, и так (знаем теперь) — спасти жизнь и дожить до поры, когда он снова будет призван, когда он ещё пригодится России. (И как пригодится! В июле 1914, чтоб отклонить войну. В Петрограде и Могилёве в 1917 — чтоб не допустить всю страну до крушения.)

Но как после взрыва на Аптекарском Столыпин отверг этот выход слабости, куда его толкали революционеры, так и сейчас отверг выход, куда его толкали парламентарии. Он должен был вытянуть свой долг.

Тогда, после Аптекарского, он говорил:

Я совершил большую оплошность, что не составил для Государя памятной записки, чтобы в случае моей смерти не произошло никакого замешательства. Я должен непременно составить её на случай второго покушения.

Была ли такая на случай второго, четвёртого, шестого покушений — мы не знаем, да ведь от самого взрыва на Аптекарском и как поехали под мостами в Зимний — были ли сутки свободные для того? Задачи дня всегда неотложнее, ежедневная деятельность так увязчива, а предусмотрение терпеливо ждёт.

Но после апрельских поражений в Государственном Совете и в Думе Столыпин созрел для составления и диктовки обширной программы — уже, впрочем, давно в нём готовой: второй ступени, прямого продолжения той первой программы 1906 года, развёрнутой перед неслышащими ушами 2-й Думы, мало кем понятой и оцененной. Все эти 60 месяцев программа непрерывно осуществлялась — и в деле и в самом её авторе, неразличимо и неслышно нарастая звено на звено, кольцо на кольцо, как растут деревья, и только общему одноразовому круговому огляду доступно выделить и назвать: лечение ног, низов,

лечение крестьянства — отлично совершается, теперь пришла пора *лечить бюрократию*.

Вторая большая государственная программа Столыпина, диктованная в мае 1911 (в паузах: «и всё это, всё это можно будет сделать, если только Господу Богу угодно»), так и построена — по отраслям государственного управления.

Последний год у него уже действовал «Совет по делам местного хозяйства», где законопроекты подготавливались совместно — чинами министерств, губернаторами, предводителями дворянства, городскими головами и земскими людьми. Этот совет, молвою названный «Преддумье», имел цель, чтобы законы не были созданием чиновников, но проверялись бы людьми жизни. По новой программе дела местного самоуправления выделялись в отдельное министерство, которое перенимало все местные казённые учреждения от министерства внутренних дел (где оставались только органы охраны, полиция освобождалась от несвойственных ей функций). Права земств расширялись, используя опыт штатного управления в США. Земства брали полностью в своё ведение продовольствование (для угроз голода создавался новый продовольственный устав, по которому голодающее население кормили: имущие — кредитом, мускульно-сильные — общественными работами, немощные — благотворительным обслуживанием). Для кредитования земств и городов, для нужд местного благоустройства и дорожного строительства создавался особый правительственный банк. Высшие учебные заведения поступали в губернские земства, средние — в уездные, начальные школы — в волостные (которые пока что Дума не давала создать). Земский избирательный ценз понижался в 10 раз, чтобы могли быть избираемы владельцы хуторов и рабочие с небольшой недвижимостью.

Создавалось новое министерство труда, контролирующее все предприятия, с задачами: изучать положение рабочего класса на Западе и готовить законы, улучшающие положение нашего: из беспочвенного пролетариата сделать участника государственного и земского строительства. — Министерство социального обеспечения. — Министерство национальностей (на принципе равноправия их). — Министерство исповеданий — всех, а в части православного: Синод превращался в Совет при министерстве, и должно было разрабатываться восстановление патриаршества. Столыпин исходил из того, что русский народ в своей православной потребности покинут, следует значительно расширить сеть духовных учебных заведений, и семинарию обратить в промежуточную ступень, все же священники должны кончать академии. — Министерство здравоохранения — финансировать земства и города в устройстве безлатной медицинской помощи сельскому населению и рабочим, в борьбе с эпидемиями и повышении врачебного уровня в стране. — Наконец ещё новое и отдельное министерство — по использованию и обследованию недр.

Деятельность всех этих министерств нуждалась бы в сильном бюджете. Бюджет безумно богатой России неверно построен: более бедные

западные государства дают нам займы! при таком обилии сырья — такое отставание металлургической и машиностроительной промышленности. В России имущества обложены ниже своей действительной ценности и действительной доходности, и иностранные предприниматели легко вывозят капиталы из России. Исправлением этого, увеличением акциза на водку и вина и введением прогрессивного подоходного налога (малоимущие почти освобождались, и косвенные налоги сохранялись невысокими) бюджет увеличивался более чем втрое, и так открывались источники финансирования. Брать иностранные займы предполагалось только первое время и только: для исследования недр и для строительства шоссейных и железных дорог — так, чтобы через 15–20 лет (к 1927–1932) их сеть в европейской части России не уступала бы сети центральных держав, — такой план, включая водные пути и каналы, министерство путей сообщения должно было окончить разработку в 1912. Тут предполагалось пригласить и частных концессионеров, еврейские банки и акционерные общества (снятие ограничений с евреев было неременной частью столыпинских программ). Впрочем, постепенно предполагалось перекрыть операции частных банков — Государственным Банком.

Увеличивалась (расчётом по прожиточным нуждам) заработная плата всех чиновников, полиции, учителей, священства, железнодорожных и почтовых служащих. (Это давало возможность всюду привлечь образованных.) Бесплатное начальное образование уже широко началось в 1908 и должно было осуществиться как всеобщее к 1922. Число средних учебных заведений доводилось до 5000, высших — до 1500. Минимальная плата за проучение должна была расширить путь малоимущим классам; при всех университетах увеличивалось в 20 раз число стипендиатов. Венчая же их, создавалась Академия для подготовки на высшие государственные должности. В этой двух-трёхлетней Академии были бы факультеты, соответствующие направлениям народного хозяйства, с точной росписью: на какой факультет принимаются выпускники (самые способные и не меньше чем с двумя иностранными языками) какого высшего учебного заведения (на факультет недр — из горных институтов, на военный — окончивших военные академии, исповеданий — окончивших академии духовные). Так государственный аппарат России должен был заблистать знатоками и специалистами. На высшие должности попасть стало бы невозможно человеку неподготовленному, неспособному, по случайностям протекции. И министров не должен был выискивать Государь, сощурясь, перебирая в памяти и спрашивая совета у придворных, — но из рекомендательного списка, представляемого Советом министров. Министерство же национальностей должен был возглавить общественный деятель с авторитетом в нерусских кругах.

Готовилась также легальность социал-демократов, под запретом оставались террористы.

Программа Столыпина охватывала и политику внешнюю. Она исходила из того, что Россия не нуждается ни в каком расширении терри-

тории, но: освоить то, что есть; привести в порядок государственное управление и возвысить положение населения. Поэтому Россия заинтересована в длительном международном мире. Развивая инициативу русского царя о Гаагском мирном трибунале, Столыпин теперь, в мае 1911, строил план создания Международного Парламента — от всех стран, с пребыванием в одном из небольших европейских государств. Занятие его комиссий должно было быть круглогодично. При нём — международное статистическое бюро, которое собирало бы и ежегодно публиковало сведения по всем государствам: о количестве и движении населения, о развитии промышленности и торговых предприятий, о природных богатствах, незаселённых землях, о возможностях товарообмена; о положении населения, числе рабочих в промышленности, сельском хозяйстве, числе безработных, о среднем вознаграждении, доходах групп населения, налогах, внутренних задолженностях, сбережениях. По этим данным Парламент мог бы приходить на помощь странам в тяжёлом положении, следить за вспышками перепроизводства или недостачи, перенаселённости, — и Россия предлагала в такой помощи участвовать. Международный Банк из вкладов государств — кредитовал бы в трудных случаях.

Международный же Парламент мог бы установить и предел вооружения для каждого государства и вовсе запретить такие средства, от которых будут страдать массы невоенного населения. Войны с разрушительными средствами ещё несут ту опасность, что государственные формы будут легко меняться на худшие. Конечно, мощные державы могли бы на эту систему не согласиться, но этим повредили бы своему авторитету, — а и без их участия Международный Парламент что-то мог бы сделать.

Особо выделял Столыпин отношения с Соединёнными Штатами, от которых более всего ожидал он и поддержки Международному Парламенту. Соединённые Штаты не имеют оснований завидовать России, бояться её, они с ней и не сталкиваются нигде, — и лишь усиленной еврейской пропагандой в Штатах создано отвращение от русского государства (да и народа), представленьё, что все в России угнетены и нет никому свободы. Столыпин предполагал пригласить в Россию большую группу сенаторов, конгрессменов и корреспондентов.

Его программе могла помешать отставка — но он надеялся на поддержку Марии Фёдоровны, и даже если будет отставлен, то вскоре позже призван вновь. Могли противиться — и конечно бы изо всех сил противились — Государственные Дума и Совет, в которых как раз-то и не хватало высоты государственного сознания.

Эта обширная программа переустройства России к 1927–1932 годам, быть может превосходящая реформы Александра II, простёрла бы Россию ещё невиданную и небывавшую, впервые в полном раскрытии своих даров.

(Эта программа, в ожидании осени, лежала летом 1911 в его письменном столе в ковенском имении. По его смерти приехала туда прави-

тельственная комиссия и, в присутствии свидетелей, в числе других бумаг изъяла эту программу — н а в с е г д а. С тех пор проект исчез, нигде не был объявлен, обсуждён, показан, найден, — сохранилось только свидетельство помощника-составителя. Быть может, он был найден коммунистами, и какие-то идеи плана были использованы в обезображенном, искарикатуренном виде. По иронии, первая их пятилетка в точности легла на последнее столыпинское распланированное пятилетие.)

То лето Пётр Аркадьевич был как никогда утомлён, подавлен — и нежен с детьми. В тяжёлые минуты у него были опасения или предчувствия и своей смерти и катастрофы России. Первого он никогда не боялся — боялся второго. Министру Тимашеву он утомлённо жаловался на своё бессилие в борьбе с безответственными придворными влияниями. Сказал: «Вот ещё несколько лет проживут на моих запасах, как верблюды живут на накопленном жиру, а после того — всё рухнет...» А Крыжановскому, своему заместителю по министерству внутренних дел: «Вернусь из Киева — займётся реорганизацией полиции» (в духе его программы). В августе он последний раз ездил в Петербург, председательствовал в Совете министров в Елагином дворце, последний раз встречался и с Гучковым, обсуждая, как скорей продвинуть через Думу закон о пенсиях увечным нижним чинам. В Петербурге предупредили Столыпина, что как будто финляндские революционеры вынесли ему смертный приговор.

Сколько уже их было...

Царь ехал в Киев наслаждаться пышными многодневными торжествами — и ему в голову не пришло, что среди множества своих шталмейстеров и гофмейстеров он мог бы одного — своего премьер-министра — не брать лишней блестящей пуговицей, а оставить его при серьёзных делах.

А памятник-то открывали — как раз Александру Второму, 50 лет первой реформы.

Столыпин очень печально простился с родными, с соседями по ковенскому имению, с друзьями. Говорил, что никогда ему не был отъезд так неприятен. (Хотя один смысл в этой поездке всё же был: Киев был главным городом Западного края, где и надо было подкрепить земство западных губерний. И именно в Киеве в те годы разгорался свет русского национального сознания.)

Почему-то поезд, тронув со станции, остановился — и полчаса не мог сдвинуться.

Потому ли, что Столыпин ехал не из Петербурга, он не взял с собой офицера жандармской охраны, а только штаб-офицера для особых поручений Есаулова, — не для охраны, а в помощь своему секретарю: для распоряжений по приёмам, корреспонденции, для формальных визитов.

Всё дело охраны киевских торжеств, так задолго предсмакуемых Государем, и потому о них много толковали при Дворе, было организовано не обычным образом: заведывала охраной не местная власть, что было бы естественно, а специально к тому приникший и прилипший генерал Курлов, что очень импонировало Государю. Курлов с ранней весны 1911 начал объезжать места государевой поездки, и были ему подчинены все чины всех ведомств тех областей. Это возмутило киевского генерал-губернатора Фёдора Трепова, он протестовал Столыпину и просил отставки. Объявленная Государю, эта угроза могла бы исправить распоряжения об охране (и всё пошло бы иначе), но безусловно омрачила бы ребяческие предвкушения императора. И — пожалев царственного ребёнка, Столыпин убедил Трепова взять отставку назад. Из рук человека местного, знающего на месте всех и всё, охрана перешла в руки приезжего. А выше того подчинялся Курлов только дворцовому коменданту Дедюлину, от которого для связи в попечении особы монарха и приставлен был к Курлову полковник Спиридович.

Курлов был как будто подчинённый, заместитель, — а вот уже владел всей полицией и жандармами Империи, вполне независимо от Столыпина, — но Столыпину было так даже и лучше: его голова была занята не полицейскими заботами. Курлов был и сам по себе неприятен Столыпину и противоположен по всему образу действий и по всем жизненным взглядам: в каждом деловом решении из него так и выстораживалось: а что это даст лично ему? Было в нём — и от остромордого злого кабанчика, как он упирался ножками и пёр, и бил с разгону. Но — вкоренчив был, связи повсюду, и со всеми врагами Столыпина. И это не был тип беззвучного воскового бюрократа — а с большой жадностью жить как широкий дворянин, с ресторанными кутежами как мерилом жизненного успеха, оттого кроме службы вёл коммерческие дела, мутные спекуляции, утопал в векселях. И — умён не был, это как раз он попался на удочку Воскресенского, освободил его из тюрьмы для двойничества, едва не взорвался с ним на Астраханской улице, а потом сплетал обвинения на других полицейских генералов.

Но — слишком много требовалось добавочных усилий, чтоб освободиться от этого клеща вовремя. Имея задачи высокие, не тратят сил на такое. Должно было само со временем обойтись.

Дворцовый же комендант Дедюлин, маг и распорядитель торжеств, — был одно из важных болотных сцеплений *сфер*, ненавистник Столыпина. А теперь, лучше других зная, как охладел к нему Государь, он спешил дать въяве проступить этому охлаждению, стать зримостью для всех — да и натешиться же! Опытная придворная толпа ловит малейший признак, ведёт счёт оттенкам, — а тут грубо было показано, что Столыпин уже не достоин ни почтения, ни внимания. От самого приезда в Киев 27 августа Столыпин был — унижительно, демонстративно — оттеснён из придворных программ, и уж конечно не получил личной охраны — не то что достойной, но — рядовой.

Столыпину отвели комнаты в доступном нижнем этаже генерал-губернаторского дома, с окнами в плохо охраняемый сад, на аршин от земли, но Курлов отказал Есаулову поставить жандармский пост в саду: излишняя мера. К Столыпину являлись расписаться должностные и штатские лица, просто крестьяне, — прихожая была в нескольких шагах от комнат премьер-министра, и вход для всех свободный, ни одного дежурного полицейского, тем более офицера. Не охраняли его ни при поездках в Софийский собор (на молебен о благополучии высочайших особ), к митрополиту, ни — при депутациях от дворянства, земства и городского самоуправления.

Всё время, свободное от церемониала, Столыпин продолжал работать, ведя управление страной из Киева.

С 26 августа шла богровская игра, что готовится покушение на Столыпина, — премьер-министру никто об этом не сообщил и никто из компании Курлов–Веригин–Спиридович–Кулябко не проверил: да охраняется ли этот Столыпин вообще.

Стало широко известно, что он не охраняется, патриоты стали предлагать добровольную охрану. От них потребовали списки желающих, те представили 2000 человек. Списки задержали на утверждении, потом возвратили с вычёркиваниями, — уже было и поздно. С трудом Есаулов добился жандармского поста в прихожей.

29-го, так ничего и не зная, Столыпин ездил на вокзал участвовать во встрече высочайших особ. Ему не дали даже дворцового экипажа, на автомобиль у Департамента полиции не нашлось денег (но нашлись на курловские кутежи), Столыпин вынужден

был взять извозчика, открытую коляску, ехал в ней безо всякой охраны, с Есауловым, — и коляску задерживали не раз полицейские чины, не признавая и не подпуская к охраняемому дворцовому кортежу. Так же и при разъезде экипажей — настолько не было распоряжений о каком-то премьер-министре, что Есаулов с большими затруднениями добился, чтобы извозчиный экипаж министра был поставлен вслед за тройкой дежурного флигель-адъютанта.

Городской голова Дьяков, узнав о положении Столыпина, прислал ему для следующих дней собственный парный экипаж.

Как-то в эти дни профессор Рейн умолял Столыпина надевать под мундир панцирь Чемерзина. Столыпин отказался: от бомбы не поможет. Свою смерть он почему-то всегда представлял не в виде револьвера, а в виде бомбы.

И 30 августа, и 31, и в Купеческом саду Столыпин так ничего и не знал о явке Богрова и всех его сведениях...

Богров готовился слишком хитро! Он не представлял, насколько беззащитна против него одного вся императорская Россия! За эти дни, безо всякого театра, он мог стрелять в Столыпина сорок раз.

Только 1 сентября утром пришла остерегающая записка от Трепова, следом прибыл Курлов. Курлов приехал, собственно, со всеми служебными делами, и подписывать многочисленные награждения. А в ряду тех дел вот и это: предупреждение секретного сотрудника Богрова, посему лучше бы министру подождать мотора от охранного отдела.

Столыпин не придумал серьёзного значения. А нашли бомбу? Нет.

О чём он только не спросил, и чего предположить было нельзя: что этого осведомителя полиция приглашает в целях охраны. Это — категорически было запрещено, и Курлов знал, и не делалось такого никогда.

Да уже и торопили Столыпина выезжать на сегодняшние празднества — манёвры, ипподром. Поскольку он не принадлежал к дворцовому кортежу, его торопили выехать за полтора часа, иначе закроют проезд. Столыпин отказался швырять полтора часа.

Последние сутки своей неутомимой жизни он, ради придворного этикета, провёл в сплошных церемониях...

Входных билетов в театр лица, сопровождавшие Столыпина, не имели до последнего момента (получили их, может быть, не раньше Богрова). Есаулов получил билет не рядом со Столыпиным, в первом ряду у левого прохода, а в третьем ряду и затисну-

тый в середину. Но когда он явился и к этому месту — оно оказалось занятым полковником болгарской свиты. Есаулов долго выяснял недоразумение — и ему дали место к правому проходу.

Так никого даже под рукой не оказалось, не то что охраны.

Можно было пересесть в ложу к Трепову, но Столыпин отказался, считая излишние предосторожности малодушием.

Ещё при входе в театр Есаулов спросил Кулябку, арестованы ли злоумышленники, тот ответил: «Их совещание состоится завтра».

Спросил и Столыпин Курлова, какие новости со злоумышленниками, — тот ответил, что не знает, уточнит в антракте. Уже взвизвался и занавес.

В первом антракте Курлов ничего не узнал или не узнавал, Столыпин перестал и думать. Прошёлся один по партеру.

Доставало ему о чём подумать в эти нелепо теряемые для работы дни, в первый день рабочего сентября, осени, в которую должна была решиться его Реформа.

Во втором антракте к нему подошёл попрощаться Коковцов — он, счастливый, уезжал в Петербург, в министерство.

— Возьмите меня с собой, — пошутил Столыпин грустно. — Мне тут нехорошо. Мы с вами тут лишние, прекрасно обошлось бы и без нас.

Всегда это был — капризный, упрямый министр, которого надо было постоянно уламывать, потому что он видел роль министра финансов не в развороте бюджета для могучего хода России, а в задержке трат, в сохранении денег. Но сейчас так освежительно было видеть делового человека.

И в этом антракте Столыпин тоже не вышел из душевного зала, да некуда было идти. Он стал у барьера оркестра, локтями назад на него опершись, грудью к проходу. Он был в облегчённом белом сюртуке (а как бы стиснуто и жарко в броне!).

В зале оставались немногие, проход пуст до самого конца. По нему шёл, как извивался, узкий, длинный, во фраке, чёрный, отдельный от этого летнего собрания, сильно не похожий на всю публику здесь.

Столыпин стоял беседовал с пустым камергером, который не считал потерей ещё беседовать и рядом стоять с этим премьер-министром, никто более важный не подошёл.

Они оба — угадали одновременно преступника на его последних шагах! Это был долголицый, сильно настороженный и остроумный — такие бывают остроумными — молодой еврей.

Угадали — и камергер бросился в сторону, спасая себя.

А Столыпин — снял локти с барьера — вперёд! — руки вперёд и броситься вперёд, самому перехватить террориста, как он перехватывал прежде!

А тот уже открыл наставленный чёрный браунинг — и что-то косо дёрнулось в его лице — не торжество, не удивление, а как бы невысказанная острота.

Ожог — и толчок назад, опять спиной к барьеру.

И — второй ожог и толчок.

Как будто выстрелами пришило Столыпина к барьеру — он теперь свободно стоял.

Террорист, змеясь чёрной спиной, убежал.

И никто за ним не гнался.

Кто-то крикнул: «Держите его!» — кажется, да, это был надтреснутый голос Фредерикса, близко тут.

Столыпин стоял. Подвинуться он не мог, а стоял легко.

Сколько охотились — всё-таки достали.

Он ещё не почувствовал ничего, стоял как нетронутый, а уже знал и понял: смерть.

Ранило ещё и само выражение тонкого убийцы.

Столыпин стоял всё один.

Подбежал профессор Рейн.

Да, вот, расплывалась и густела кровь по белому скюртуку справа, большим пятном.

А под пятном, в этом месте, было тепло.

Столыпин поднял глаза вправо, выше над собою он чувствовал там или помнил, и теперь искал.

Вот Он: стоял у барьера ложи и с удивлением смотрел сюда.

Что же будет с... ?

Столыпин хотел его перекрестить, но правая рука не взялась, отказалась подняться. Злополучная, давно больная правая рука, теперь пробитая снова.

Что же будет с Россией?..

Тогда Столыпин поднял левую руку — и ею, мерно, истово, не торопясь, перекрестил Государя.

Уже и — не стоялось.

Выстрел — для русской истории нисколько не новый.

Но такой обещающий для всего XX века.

Царь — ни в ту минуту, ни позже — не спустился, не подошёл к раненому.

Не пришёл. Не подошёл.

А ведь этими пулями была убита уже — династия.

Первые пули из екатеринбургских.

66

Что такое государственная служба? Это — самая устойчивая из служб и самое выгодное из занятий, если его правильно понимать. Государственная служба — это осыпающее нас расположение высших лиц и постепенное наше к ним возвышение. Это — поток лестных наград и ещё более приятных денег, иногда и сверх жалованья. Если уметь.

Среди своих, как говорится, хе-хе-хе: поручи прокормить казённого воробья — без своего поросёнка за стол не сядем.

Пётр Великий, основавший наше регулярное государство, завещал нам великую Табель о Рангах: весь путь возможного восхождения, как по военному ведомству, так и по гражданскому, он выложил чёткими ступенями, не допускающими разнотолкования, чётко соотнося успехи на обеих лестницах, воздвигнутых над аморфным российским народом, и давая каждому служащему человеку точное понимание достигнутого им значения, степень его начальствования, степень подчинения и расчёт возможностей вверх. Тот, кто нутрянее этими законами проникнут, тот и успешнее продвигается к верхам государства.

Но и не так просто эти законы надо понимать, как терпеливую выслугу. Терпеливые в лямке выкладывались, высыхали в слишком мерном продвижении, так ничего заметного и не достигнув в жизни. Услужение высшим — неперемное условие успеха, но никогда не продвинуться достаточно высоко на одном лишь служении: надо иметь и собственные решительные движения. (Это можно пояснить служебным продвижением Наполеона.) И безупречное знание и применение всех законов — также условие неполное. Конечно, надо уметь во всякую минуту выхватить и выставить нужную статью. Знание законов вооружает нас как пастью сильных зубов, и ты находчиво обнажаешь их против недругов, против соревнователей, против ревизий, против, упаси Бог,

суда, — но иногда, чтобы верно знали твою силу, надо слегка дать почувствовать твои зубы — и стоящим *над* тобою (кроме, разумеется, незакатного государева солнца). В разумной дозе применённое, такое смелое действие может сильно поспешествовать твоему продвижению вверх.

На низах служебной лестницы по обстоятельствам или неразумению твоей юности могут произойти и ошибочные рыски: побуждаемый слишком прямолинейной мыслью о славе, ты неверно начнёшь службу гвардейским офицером, к чему есть не оценённые препятствия (даже, например, недостаточный рост). Затем ты исправишься — через военно-юридическую академию в военно-судебное ведомство, но всякое исправление есть уже попоздание, уже сорван темп твоего продвижения, 13 лет ты закисаешь в провинциальном прокурорском надзоре, тебе 43-й год, а ты — много ниже средней линии лестницы, ты — ещё в многолюдной чиновной полосе, где толпятся неудачники, и втуне всё твоё понимание способов, никак не применяются твои напористые возможности, и не подставляются те высокие кресла, к которым струятся достойные блага.

И вот, расхаживая в печали по своему вологодскому прокурорскому кабинету с окнами на провинциальную убогость и в который раз размышляя над цепью своих неудач, — ты вдруг осеяешься совершенно выдающейся мыслью, имеющей стремительно преобразить всю твою карьеру: ведь ныне могущественный министр внутренних дел Плеве тоже был некогда вологодским прокурором. И как же далее может функционировать вологодский окружной суд, не развесив на своих стенах галерею всех бывших вологодских прокуроров? И как же добыть в эту галерею почётный портрет всеми нами излюбленного министра Плеве, как не послав к нему в Петербург в специальную командировку? И — кого же как не инициатора этой идеи Курлова?

И всё составляется! И командировка, и польщённость Плеве, и самый этот портрет, тщательно обёрнутый для железнодорожной транспортировки, но — не любящими руками инициатора будет он прибит к стене (да ещё и устроится ли эта галерея?), ибо всемогущий министр, вглядываясь в перезревающего вологодского прокурора — низкорослого, мелкоголового, с низким бобриком, не слишком раскидистыми усами, а подбородком и вовсе скромно-голым, уж очень неуверенного в себе, но очень честного, преданного, спрашивает его *вдруг*: «А ведь нам нужны люди. Не

перейдете ли вы из судебного ведомства в администрацию?» Курлов — полноготововен к переходу, и с 1903 года начинается его безшумное движение — сперва вице-губернатором курским, затем губернатором минским.

Всё так, один изящный вольт, и теперь можно было бы начать безукоризненный энергичный подъём по главным ступеням лестницы, если бы не настигло всех её служителей и церемониймейстеров смутно-опасное время, когда не то что карьера, но даже сама жизнь высокого гражданского должностного лица подвергалась угрозе, например при возглавлении больших армейских отрядов для защиты крупных имений. (Эта тема возвращает нас к образу Наполеона. Что такое Наполеон? — это, при малом росте, железная воля и способность распоряжаться большими массами. Конечно, и романтика есть в том, чтобы в угрожаемом помещичьем гнезде принять кров и уют и за обедом успокаивать прелестных обитательниц своим хладнокровием, решимостью и глубоким знанием положения.) Такое смутно-опасное время, какого не мог предвидеть славный создатель Табели: ступени великой лестницы оскользали, и даже с верховные упали, разбивая голову насмерть, как и сам незабвенный Плеве, или срывались на несколько ступеней, или, все остальные, уже не могли шагать с прежней уверенностью и свободой, над собою зная всегда лишь волю начальства, а теперь постоянно скашивая глаза и поправляясь на то, чтобы нравиться и общественности или, по крайней мере, не быть ей слишком отвратительным.

Впрочем, Курлов был так озабоченно-пристален и знал за собою такую легкоподатливость во вращении, что чувствовал себя в состоянии совершать возвышение даже и при этом двойном законе: быть и преданным слугой престола и *persona grata* для либералов. Так, принимая Минскую губернию и велев разогнать в Минске беснующуюся молодёжь, в основном из «Бунда», — не упустить и не опоздать выказать себя убеждённым сторонником полного еврейского равноправия. (Еврейский вопрос — главный ключ к сердцу либерала.) Держа при губернаторском доме эскадрона два казаков, не упустить разъяснить народной депутации, что это — лишь из удобства конюшенного расположения, и то — по ведению воинского начальства. Если привокзальные войска открыли огонь по наседающей толпе, то предусмотреть возможные общественные нарекания губернатору и учредить воинское след-

ствие над стрелявшими. (А террористы — не оценили курловского такта и всё равно сбросили ему на голову бомбу, — но она не взорвалась: как потом оказалось — фон Коттен заранее вывернул детонатор своими руками.) Всё же поскользнувшись на этом эпизоде подавления и сорванный с минского губернаторства — дать всем правым кругам считать себя пострадавшим от «веяний 17 октября». Но, посылаясь (позже) губернатором в Киевскую губернию, весьма престолопослушную, не дать себя впрячь в гиблую упряжку правых кругов, а даже — афронтировать им и поддержать обаятельного генерала Сухомлинова, обвиняемого в юдофильстве.

Нет таких скользких лестниц, по которым не взойдёт, и таких угрожающих сплетений, из которых не выберется незапятнанным подлинно государственный человек, — только не ослабить остроту расчёта и не потерять хладнокровия. И в служебной российской иерархии знал Курлов немало подобных деятелей, ими и держалось государство. Оно тем более бы держалось, если бы все высокодолжностные лица действовали сплочённо, всегда понимая вышнюю общую спаянность, выручая друг друга в тяжёлых служебных ситуациях и никогда не роняя взаимного авторитета неприличными упрёками, как мог Дмитрий Трепов несдержанно обвинять Лопухина, что Департамент полиции не отпустил нужных средств на охрану великого князя Сергея Александровича. (И как могли потом за выдачу Азефа безчеловечно топить самого Лопухина, насколько не считаясь с его рангом и с авторитетом учреждения, — топить вопреки всем законам, ибо нет кары за разглашение государственной тайны и нет закона, который карал бы за неправильные действия с секретными сотрудниками.) Мы все скорбно чтим память великого князя и святость его вдовы, посетившей убийцу в тюрьме, — но это не даёт нам прав в чём-либо когда-либо поставить пятно на служебной репутации друг друга.

Чем владеет, однако, далеко не каждый чиновник — дар особенный, который Курлов за собою знал, это: не ждать пассивно благоприятных возможных перемещений или открывающихся вакансий, но, независимо от вакансий, самому наметить для себя следующее благоприятственное место и самому же настойчиво требовать его. Благосердный министр внутренних дел Дурново обещал Курлову увести его из бунтарско-еврейской Минской губернии в обильную и значением высокую Нижегородскую. Увы, сам Дурново не удержался на своём посту в первые бурные месяцы 1906, а заменивший его грубиян выскочка Столыпин, совсем неза-

коноположно взлетевший сразу в министры с такого же губернаторского поста, как и Курлов сидел (и на два года моложе Курлова!), — Столыпин не знал (притворялся?) или не хотел выполнить обещания Дурново: как и ожидалось (верные сведения), нижегородская вакансия открылась, но назначено было туда лицо совсем другое.

То был момент роковой: ведь под началом этого выскочки и чужака предстояло теперь служить. Нельзя было дать себя так унижить: вырвать уже обещанное. Надо было твёрдо поставить себя с самого начала. Да просто оставаться в революционном Минске в такие страшные месяцы — значило в ту или иную сторону сломить карьеру, потерять имя, а может быть и голову. И ничего не оставалось, как подать прошение об увольнении в отпуск.

Во всякую другую пору то было бы самоубийство: самоперерыв службы, это навсегда. Но в нынешнее неустойчивое время — может быть, самое благоразумное: отстраниться и посмотреть, что из этого выйдет. Если всё рухнет, то лучше выйти из-под угрозы заблаговременно. Если всё восстановится — то будет момент новых вакансий. (Курлов, естественно, не брал полной отставки, ибо был камергер Двора.)

И, будучи особенно дальнозорким, Курлов использовал свой длительный отпуск для продолжительной отдыхательной поездки за границу, конечно — *la douce France*. Оттуда он и наблюдал за развитием русских событий.

Тут надо оговориться, что хотя государственная иерархия есть органическая часть мироздания, корпус человечества, каменные устои, на которых держится мир, — всё же не она есть главная творческая и живительная ткань, та весёлая вода, которая струится между устоями. А — деньги. Деньги дают не только всю ту несравненную силу, что и власть, но ещё и — полную личную независимость, ещё и — розовый туман предвкушательного наслаждения. Жизнь и принципиально не могла бы быть ограничена одной службой: вся служба есть только фундамент для пользования дарами жизни.

Эту двойственность бытия Курлов понимал ещё в ранние свои годы, потому не без разумного выбора женился на дочери фабриканта, с богатым приданым. И вот теперь он мог разрешить себе больше, чем многие успешливые в службе генералы, он получал возможность из европейской дали, из Парижа, из Ниццы, со скорбью наблюдать за возможной гибелью императорской Рос-

сии, одновременно телесно вкушая блага мира. Даже если бы рушилось всё — он, при скромной жизни, мог бы ещё много лет прожить здесь.

Ход событий был безумный, восставали военные крепости, полки, целые области, под конец это всё осветилось огнём несравненного взрыва на Аптекарском острове (счастливчик Столыпин остался жить). Но к осени 1906 анархия пошла несомненно на убыль — и это был знак к возвращению в Россию, и на службу, и момент выдвинуться по министерству внутренних дел. Однако приходилось идти на поклон всё к тому же Столыпину.

Но уж раз отношения их начались неблагоприятно, Курлов избрал не линию угождения, но — деловой любезности, а за ней — неуклонного напора. Вдохновением к тому было ставшее известным Курлову расположение к нему Государя (после одной краткой аудиенции), не забывшего, как он пострадал в Минске, и выражавшего в минувшие месяцы большое огорчение о потере столь ценного административного деятеля. И вот теперь Курлов, не давая забросать себя второстепенными предложениями, высказал Столыпину давно обдуманное желание стать петербургским или московским градоначальником — несмотря на то, что эти посты были в настоящее время заняты. Но Столыпин не поддался (хотя не мог не знать о склонности Государя к Курлову) и уговаривал принять кратковременное назначение киевским губернатором (нынешнего требовал убрать генерал-губернатор Сухомлинов). Курлов согласился весьма нехотя: это не только не было крутым повышением, которого он заслуживал, но как бы даже понижением на одну ступеньку от прошлого (губернаторство несамостоятельное), что всегда подрывает человека в глазах чиновного мира. Он согласился — но только на короткий срок и по тяжести времени, и напомнил, что ожидает непременно должности петербургского градоначальника.

Вот тут-то в Киеве и создалась та сложная ситуация, из которой Курлов вышел великолепно, осадив зарвавшихся правых и польготив евреям. (Ему это было абсолютно необходимо после печальных минских событий: теперь на государственной лестнице действовал закон двойного осмотра.) Но назначение в Киев оказалось даже и очень счастливым. Укрепилась самая сердечная, вечная дружба с выдающимся генералом Сухомлиновым, делавшим крупную карьеру. Там же свелась дружба и с другим выдающимся генералом, Николаем Иудовичем Ивановым, кого задушев-

но любил Государь. В лице их двоих получал теперь Курлов тех постоянных добрых ходатаев при государевых ушах, которые могли бы время от времени напоминать Его Императорскому Величеству о пострадавшем и честном Курлове.

Да, немаловажно, и по киевскому Охранному отделению удалось узнать двух приятных и полезных людей: жандармского полковника Спиридовича, прославленного арестом эсеровского боевика Гершуни, а теперь после ранения возвышаемого на важный пост начальника дворцовой охраны (и на этом важном посту благоприятственно иметь доброжелателя!), — и мужа его сестры, комичного (допустим, необразованного), тороватого (допустим, немного и вороватого), возможно не очень умного, но зато какого радушного Кулябку. Этого Кулябку, после неудач военной и полицейской службы, перетрат и неосторожного использования неистинных документов, Спиридович взял к себе вольнонаёмным писцом, затем поручил секретную агентуру, а теперь, по известной разумной привычке всюду по своему пути помещать *своих* людей, оставлял после себя помощником начальника киевского Охранного отделения. Кулябка был из тех милых верных простаков, которые и свою душу распахивают и как бы в вашу душу входят — своею беззаветной верностью, включая и денежные дела.

К вопросу о денежных делах. Это — очень тонкая грань: иному другому человеку вы можете во всём доверять, и собственную особу и свою семью, но только не в денежных делах, — и настоящей близости нет. Ткань денежных отношений, она даже гораздо интимнее, чем отношения любовные: те — можно разделить едва ли не со всякой милостивой дамой, а эти — только с душевно избранным человеком. Но зато уж он становится тебе воистину близок. (Так — и с Кулябкой. Когда Курлов получит возможность, он сделает этого верного человека — жандармским ротмистром, поднимет в начальники, освободит от лишнего подчинения, то оградит от нападков, иногда и пожурит, но всё более и более придаст ему прав и значения. Пренебрежёт ли Кулябка перепиской с Департаментом полиции, надерзит ли губернаторам или поставит начальником сысского отделения уголовного — во всём он испушит свои ошибки ретивостью и доверенностью.)

А петербургский градоначальник всё не уходил, не уходил в отставку — и вдруг был убит террористами. (И самого Столыпина при том чуть не убили.) Теперь Курлов, естественно, ожидал обещанного назначения на этот пост, но дни шли — назначение не

поступало. Тогда он из Киева телеграфировал Столыпину, напоминая (со стороны Столыпина это был уже второй обман). Столыпин оправдывался (искренно или неискренно?), что назначению помешало высочайшее благоволение к Курлову: Государю императору благоугодно было выразить непожелание, чтобы такой верный слуга, как Курлов, был бы на новом посту через несколько дней так же убит злодеями. И даровал ему между тем звание шталмейстера Двора.

Курлов был глубоко растроган заботою Его Императорского Величества о себе, большею, чем он в погоне за избранным постом сам к себе допустил. Пост — не был получен в этот раз, но в расположении Государя обещательно сверкала вереница будущих успехов, против чего и всеильный Столыпин не имел власти.

Курлов стал вице-директором Департамента полиции, затем всё же отвлечён был на непроходимую вверх и опасную (опять же после убийства предшественника) должность начальника Тюремного управления. Ему приходилось преодолевать враждебное отношение самонадеянного директора полиции Трусевича, злобного министра финансов Коковцова, затаённую недоброжелательность министра юстиции Щегловитова, постоянную отчуждённую неискренность Столыпина, зависть товарища его Макарова, — но, всегда собранный на своей цели, Курлов пулеподобно пробивался в переплетённых обстоятельствах. Да и были же теперь у него невидимые верные друзья, настоятельные ходатаи вблизи трона, они помогли Курлову получить сразу больше, чем он добивался: с января 1909 при уходе Макарова — сюрпризом для Столыпина, перескоком через Трусевича (чьё самолюбие не выдержало такого удара, и он откатился в сенаторы) — стать товарищем министра внутренних дел! (Это было желание и самой государыни! Она сказала, что только при Курлове может быть спокойна за жизнь Государя. И вместе они считали, что в Курлове найдётся противовес излишнему либерализму Столыпина.) Да так назначен, что Департамент полиции попал в особое внимание и полное распоряжение Курлова, давая возможность широких перемещений, снижения лиц неприятных и повышения приятных. (Так милый смешной Кулябко возглавил охрану всего Юго-Запада России, даже многие генералы попали к нему в подчинение, хотя его самого едва успели произвести в подполковники. И так же был державно-мгновенно вознесен надо всей полицией Империи в качестве вице-директора Департамента, сразу подброшен в чине и в окладе — для всех до сих пор не-

значительный секретарь Веригин — чрезвычайно преданный человек, которому можно было доверять самые задушевные денежные тайны.) Зоркий глаз Курлова выхватывал доверенных людей для необычных перемещений, вообще же он, напротив, осаживал все необычности, вводя полицию в равномерное течение Табели, по-служного старшинства, — так, чтобы сам ход времени возвышал каждого чиновника к следующему посту, не обижая остальных.

Первые недели служебного взлёта были Курлову головокружительно приятны, но весьма скоро овладело им хладнокровие, и он усмотрел недостаточность завоёванной им компетенции: нельзя было полновластно распоряжаться всем полицейским делом России, пока оставался независимым Отдельный Корпус жандармов. А уже бывали прецеденты, в 1905, когда высочайшим указом и Департамент и Корпус были подчинены единому лицу, Дмитрию Трепову, и теперь Курлов хотел бы возобновить тот старый указ: он давал право личных докладов Государю и заседания в правительстве! Столыпин, конечно, не соглашался, опасаясь соперничества, эту мысль пришлось оставить. Но получить в руки сам Корпус фактически — изящно помог Сухомлинов, уже военный министр: он придумал назначить барона фон Таубе (ставленника Трусевича) на подходящее ему место наказного атамана войска Донского — и так освободить Корпус жандармов для курловского управления. Одновременно Курлов был переименован из советника в генералы (что, нельзя скрыть, как-то тоже напоминает восхождение Наполеона), однако и с оставлением в шталмейстерах. И вот развернулось перед Курловым государственное поле невиданного охвата — весь розыск и вся Охрана в Империи! К тому ж и Столыпин, всё более занятый землёй, или земством, или переселением, или промышленностью, всё меньше занимался собственно министерством внутренних дел.

При такой своей необычной мощи и уже достигнутой значительной успокоенности в стране, Курлов мог проявить и собственную политику дальнейшего успокоения: не крутую борьбу с революционерами, как неосмотрительно вёл Столыпин, подвергаясь их ярости и сам, но — аккуратное разряжающее скольжение, при котором все острые ножи беспоследственно спускались бы в песок, а руководство полиции находило бы себе моральную награду в отсутствии расправ и громких дел, а значит — ненареканий общества. Так разумно поступил Курлов со слетовской группой эсеров, прибывшей в Петербург для царевбийства: они пере-

оделись все извозчиками и следили за выездами Государя. Среди них был один секретный сотрудник полиции. Курлов легко мог арестовать всю группу прежде осуществления заговора и предать боевиков суду, с несомненным смертным приговором. Но такая кровавая расправа не могла бы остановить последующих покушений на драгоценную особу Государя, а на фигуру самого Курлова, между тем, в глазах общественности бросила бы кровавый отблеск. И Курлов нашёл исключительный выход: через того же *сотрудника* предупредить террористов, что охранка за ними следит, — и дать им всем возможность благополучно бежать за границу.

Или: подобно тому как Государь, форменно сказать, обожая свои войска, высочайше запретил какую бы то ни было осведомительную агентуру в армии, — генерал Курлов запретил такую агентуру и среди учащихся учебных заведений, имея целью всё то же общественное успокоение и личное себе ненарекание.

Пользование секретными сотрудниками чрезвычайно заманчиво, всегда необходимо, но требует большой проницательности, тут могут быть и срывы. Увы, такой срыв произошёл с благодарным Петровым-Воскресенским, которого в тех же целях умиротворения (и предупреждения цареубийств) именно Курлов и велел освободить. Миловал Бог, Курлов не поехал на ту встречу, где взорвались. А беспощадная пресса и тут ему ничего не простила.

В условиях непрерывных общественных обличений самое безопасное было бы — вообще не пользоваться осведомителями. А если уж пользоваться, то иметь их не в центре революционной партии, а лишь мелких местных агентов в местных Охранных отделениях, как это было великолепно поставлено у Кулябки; это не могло вызвать общественного скандала.

Итак, объём власти и служебной высоты был Курловым пока достигнут совершенно насыщающий. Охват власти пока удовлетворял гордую душу Курлова — однако стало недоставать денег для того благородного, вольного образа жизни, который один даёт полноту существования и который один приличествует потомственному дворянину. Да и где отражается трепет жизни более, чем в сверкании бокалов над белизною скатерти, над отменным ужином бывшего гвардейца, и в окружении привлекательных женщин? И в обстановке не скучной домашней — но клубной, но ресторанной, либо в мужской компании, и тогда уж с балеринами. Увы, именно этот образ жизни требует больших

свободных денег, а жалованье, вместе и с наградными, вовсе не было так велико, и приданое жены сильно поистратилось. Курлов жил в долгах.

Это вынуждало генерала Курлова, даже будучи товарищем министра внутренних дел, вести своё экономическое дело, о чём он при занятии должности и поставил в известность Столыпина. Конечно, это непрерывно ведомое личное экономическое дело и связанные с ним вексельные операции, иногда обременительные, несколько отвлекали генерала от его служебных задач (впрочем, он изрядно знал бухгалтерию). Но главным образом не они отвлекали его от твёрдой организации сыска в Империи — а многочисленные государевы поездки, которые и заполнили все годы пребывания Курлова у власти.

К этому времени уже была значительно погашена Смута в стране — и Государь пожелал выйти из своего многолетнего самозаточения, ездить за границу и показываться своему народу. Строго по должности Курлов совсем не обязан был брать на себя заботы охраны Его в поездках по стране, однако он быстро понял, что это во всех отношениях привлекательно: и тем, что Государь знает своего постоянного главного охранителя и благоволит к нему, и тем, что для таких сложных путешествий можно завести порядок, что ответственный генерал получает непосредственно на руки все отпущенные для охраны сотни тысяч рублей в «нуждах оперативного выплачивания» без разгласки и расписок тем и там, кому и где необходимо. Такой новый финансовый порядок был, не без сопротивления и язвительности врагов, введен и оказался удобен во всех решительно отношениях. При отказе от центральной агентуры после неудачи с Петровым — ничего не было известно о намерениях революционеров, и это приходилось восполнить усиленной наружной армейской и полицейской охраной, многими командированными из других мест отрядами, — этот эффективный способ то и дело требовал расплат из оперативных сумм, которые и могли производить такие доверенные люди, как Веригин или Кулябко, да ещё с их способностью экономить. (Оттого Кулябку Курлов приглашал также и в места вне его области, как в Ригу.) И Государь изволил пропутешествовать к итальянскому королю и к германскому императору, пожить два месяца в родном для императрицы Гессене, посетить широкие торжества 200-летия Полтавской битвы, Ригу, а осенью по несколько месяцев живать в Ливадии.

Все эти путешествия и отдыхи доставили высокое удовольствие Августейшей Семье, а значит, укрепили их благодарность и благоволение к генералу Курлову, доставив тем самым и ему высочайшее нравственное удовольствие. Это тем более подступало важно, что исключительный фавор Столыпина всё более пошатывался и миновал, при его неуёмном реформаторстве он обречён был пасть, — а Курлову с его правилом самому выбирать свой следующий пост не следовало упустить кризисного момента. Весной 1911, при столкновении Столыпина с Государственным Советом (где Курлов имел много сочувственников), уже определённо говорили, что тот доживает последние недели, а то и дни, и его переместят на какую-нибудь почётную бесполезную должность, — и тогда при всех раскладах никто как Курлов только и мог перенять у него министерский пост. В те дни срочность казалась настолько назревшей, что подступал момент заявить перед высочайшим вниманием свои притязания. Но Курлов имел осторожность ещё провести зондаж через великого князя Николая Николаевича — и тот разочаровал его сведением, что Столыпин остаётся сидеть крепко.

Но тогда из-за отсутствия расположения временщика ни Курлову, ни его покровительствуемым становилось невозможно продвигаться выше. Людям честным, не желающим лакействовать у премьера, просто невозможно становилось служить.

И сверх всего Столыпин ещё назначил ревизию секретных фондов Департамента полиции, что было уже невыносимо, душило.

В такой обстановке и было высочайше решено торжественное посещение Киева с освящением памятников святой Ольге и Александру Второму. Тем более поспешил Курлов взять на себя единолично все охранные мероприятия, отстранив и Департамент полиции, и генерал-губернатора Юго-Западного края Фёдора Трепова, который претендовал вести охрану сам и ещё выказал себя глубоко оскорблённым. Помощники Курлова имели уже большой опыт, а теперь Кулябко был прямо у себя дома в Киеве. Длительная командировка давала возможность Курлову обезопасить содержанием и значением своего двоюродного брата и других удобных лиц, а также на несколько недель облегчить и личный бюджет переходом на казённое содержание. Целые жандармские эскадроны и множество чинов наружной и охранной полиции были затребованы из столиц и других мест Империи для усиления киевской охраны — всего 2000 нижних чинов и 48 офицеров. А в верховном

надзоре Курлову неоценимо помогали и дворцовый полковник Спиридович и свой Веригин — уже камер-юнкер, а пришла пора добывать ему и камергера. Их двоих Курлов повелел включить и в городскую комиссию по распределению билетов на парадный театральный спектакль, чтобы город не допустил кого-либо нежелательного. Всеми же остальными билетами — в Собор, в Купеческий сад, на ипподром, на открытие памятника — заведовал свой двоюродный брат.

Нет сомнения, все революционные партии объявили мобилизацию, дабы совершить попытку цареубийства во время этих торжеств, и даже как бы не сам Савинков возглавлял террористические замыслы. Но и противостояла же им многолюдная продуманная курловская охрана.

Однако всё напряжение всех сил охраны никак не выявляло глубоко затаившихся террористов, пока вдруг 26 августа не позвонил Кулябке его бывший заслуженный умнейший сотрудник Богров. Это сообщение застало полицейскую верхушку за праздничным домашним обедом (в те недели все обеды были праздничные), который Кулябко давал в честь Спиридовича и Веригина, позвавши Сенько-Поповского и других. Человеческая теплота этого обеда распространилась и на беседу их с Богровым, что чрезвычайно понятно: чины розыскных учреждений, имеющие постоянное общение с секретными сотрудниками, не только к ним привыкают, но последние становятся для них как бы близкими людьми. И такому явившемуся сотруднику опасно выразить недоверие: тогда в его действиях появится неуверенность. Вдвойне дорогой, оттого что потерянный и вот вернувшийся, умница Богров докладывал наконец о злодейских планах. Это была крупная неожиданная радость, и вполне простительно, что мера доверия была несколько превзойдена.

Сам Курлов не присутствовал на том обеде из-за перенесенного им лёгкого ревматического удара (но, лёжа в «Европейской» гостинице, он не уставал руководить всеми необъятными охранными мероприятиями, обеды же с ограниченным числом приглашённых сервировались у него в номере). Поэтому о приходе и сведениях Богрова тройка доложила ему лишь назавтра, когда он уже полностью приступил к обязанностям. Курлов сразу оценил исключительность случая: какие награды отсюда могут проистечь. Практически же? можно было применить «слетовский» вариант: предупредить Николая Яковлевича через Богрова, что план их об-

наружен полицией, — и они тихо уйдут со своими бомбами, и празднества пройдут как нельзя благополучнее. Но не велик был и риск, а слава большая — захватить эту группу. И все распоряжения Кулябки были одобрены и даже усилены тем, что в Кременчуг на розыски симпатичного брюнета с интеллигентным лицом был послан отряд из десяти полицейских во главе с ротмистром. Курлов и охладил пыл Кулябки предлагать для террористов полицейскую квартиру: так можно было повредить Богрову, очевидно его собственная квартира более подходит, хотя и затруднительно наружное наблюдение за огромным домом Богрова-старшего, где помещение снимают даже целые больницы. Только во всяком случае не оскорбить Богрова личным наблюдением! Можно было добавить и объективный приём: телеграфно в Петербург запросить фон Коттена: действительно ли в прошлом году было такое письмо от ЦК эсеров к Кальмановичу.

А уже начинались большие праздничные попыхи, уже завтра ожидалось прибытие высоких гостей, все четверо сбивались с ног от подготовки, а генерал Курлов, несколько дней проболевши, должен был навёрстывать в указаниях, распоряжениях, выплатах, объездах, смотрах и визитах, — а ещё же нельзя было допустить померкнуть главному смыслу этих дней — торжественному, с обильными радостными обедами, ужинами, шампанским, музыкой и цыганскими хорами, чем царедворцы посылно разделяли августейший праздник. В этом круженье и не мог генерал Курлов припомнить довольно стеснительной просьбы Столыпина — делить соображения и меры с киевским генерал-губернатором. Ещё менее могла бы прийти нелепая мысль — с докладом о сведении Богрова отправляться к самому Столыпину: значение министра-председателя было настолько для всех явно утеряно, немилость Государя к нему проступала так отчётливо, что для Курлова было почти унижением — выбиться из общего тона и серьёзно принимать во внимание своего номинального шефа. Десятки совпадающих признаков обещали завтра ему самому это министерское кресло! Да если сейчас доложить такое Столыпину — он перехватит дело себе и захватит все лавры от ловли террористов. А если Столыпин вновь избегнет государевой отставки — то как будет обязан Курлову за своё негласное спасение! Да и не оставалось времени ни для каких личных докладов: никаких жандармских и войсковых охран не хватало, и только многочасовое личное самоотверженное присутствие генерала Курлова в наиболее опасных

местах уличных церемоний и его мужественная распорядительность обеспечивали безопасность Августейшей Семьи. Все дни проходили в построениях, прохождении, оцеплениях и приёмах, жизнь и всего киевского Охранного отделения текла на улицах, в канцелярии сидел один дежурный, думать о Богрове оставлено было старшему филёру, Богров ни о чём новом достойном знать не давал, а филёры пропустили, когда же этот опытный конспиратор Николай Яковлевич, обойдя всю слежку в Кременчуге и на вокзалах, проник незамеченным в дом Богрова. Новички полицейского сыска могли бы теперь сорваться: грубо вломиться в квартиру Богрова и арестовать Николая Яковлевича. Но это было бы не только не пол-успеха, но провал: как и при убийстве Александра II и Плеве, арест одного члена группы только вынуждал оставшуюся группу действовать быстрее. Правильная же охранная линия была: выжидать дальнейших действий террористов, неотступно следя за ними через Богрова, поскольку следить за самим Николаем Яковлевичем не было никаких средств.

Опасность была в Купеческом саду, где часть границы шла по холмам и плохо охранялась. Но всё сошло благополучно.

А донесения Богрова не заставили себя ждать: глубоко в ночь на 1 сентября он принёс новые сведения о прибытии бомбистки. Понятно было его необычайное волнение, ибо юноша попал в заговор огромного заговора. Остаток ночи у Кулябки был неподвижно разорван, это не сон: рано утром он уже был у Спиридовича и вместе с ним успел застать генерал-губернатора Трепова перед выездом на манёвры. Это было, конечно, ошибкой — вмешивать в историю Трепова, который уже был устранён от охраны, но они не решились потревожить так рано генерала Курлова, тем более, что до встречи террористов на бульваре ещё было в запасе несколько часов. Трепов до сих пор вообще ничего не знал о Богрове, ни о покушении, он теперь слал предупреждение Столыпину не выходить из дому и слал Кулябку отвезти Столыпину ночное предупредительное письмо Богрова. Но Кулябку, уже с Веригиным, естественно отправились сперва к своему руководителю. Генерал Курлов выбрал Кулябку за неуместную инициативу, что вмешательством Трепова внесли раздвоение и путаницу в охранную службу. Теперь, разумеется, приходилось что-то объявлять Столыпину, но, конечно, не обращаться же Кулябке прямо к нему самому, лишь к его адъютанту, и не вводить в такие детали, как ночное письмо Богрова, а пересказать в общем виде.

Сам же Курлов имел этим утром назначенный у Столыпина доклад по текущим делам (например, производство Веригина в камергеры и много подписей к наградам). При том докладе он не мог теперь миновать сообщить министру вкратце о богровской истории, но передал это по возможности с меньшим значением и только просил выезжать сегодня не в коляске, а в моторе.

Во время доклада Курлов смотрел и поражался, как безповоротно пал в значении председатель Совета министров. Он попросил у Курлова места в его железнодорожном вагоне в Чернигов.

— Как, разве ваше превосходительство не имеет места на царском пароходе?

— Меня не пригласили.

Последний знак унижения и немилости! Да, в малые дни предстояло ему потерять пост.

А что теперь требовало экстраординарных полицейских мер — это обеспечить благополучное возвращение Государя с манёвров, ценой даже изменения маршрута (уже помчался Спиридович к дворцовому коменданту предупредить и предусматривать). Затем благополучное пребывание его на смотре потешных на ипподроме. Благополучную поездку в театр. И сам спектакль (впрочем, наиболее обеспеченный: там 92 агента охраны и с ними 15 охранных офицеров).

При возврате в «Европейскую» на завтрак ждала Курлова ещё одна новость: самоотверженный Богров приходил опять, прямо сюда, в гостиницу, и сообщил о новом изменении планов у террористов. Что ж, надо было, не вмешиваясь, дать событиям развиваться и ждать новых сообщений от Богрова. И конечно, чтоб ему не утратить доверия террористов, — надо было снабдить его билетом в театр, как он просил. (Леденяще действовало замечание о *высокопоставленных покровителях* террористов. Надо было соображать очень-очень остро, а действовать очень-очень осторожно. Не попавши в струю, можно безвозвратно погубить свою долголетнюю безпорочную службу.)

Но впрочем, за колоссальными устроительными заботами некогда было как следует вникнуть в богровские подробности, еле остался часик посидеть вчетвером в ресторане. Предстояло энергично и заметно присутствовать на всех проездах Государя, руководя полицейскими мерами. Обречён был генерал Курлов весь сегодняшний день промотаться по улицам: то обманными громкими распоряжениями полиции дезориентировал собравшуюся тол-

пу; то — самостоятельно менял слишком опасный маршрут императорского кортежа на менее опасный; то — умолял дворцового коменданта Дедюлина, своего друга, просить Государя о других изменениях распорядка. И неумоимо, пронизательно и отважно во всех этих операциях содействовал Курлову полковник Спиридович.

Затем был пышный обед во дворце, а там подходило и время спектакля, и надо было Курлову сперва хорошо проверить, как осмотрен полицией театр (не спрятано ли что в артистических уборных, в гримировальных коробках артистов), потом выехать ко дворцу, принять кортеж Государя и довести его до театра. Лишь после этого, за несколько минут до начала, пойти и занять своё почётное ответственное место в первом ряду партера, третье от царской ложи (на первом — государев любимец, адмирал Нилов, всегда несколько выпивший, на втором — Дедюлин; от них обоих всегда получал Курлов первейшие дворцовые известия и имел в них лучших своих доброжелателей). А Столыпин занимал пятое кресло и сказал Курлову, что передал ему адъютант Есаулов от Кулябки, довольно безсвязное: что встреча террористов на бульваре вечером не состоится. А днём — состоялась? Столыпин ничего не знал.

А Курлов — знал: и на ипподроме днём, и не раз за день ему докладывал Кулябко богровские новости, и действия Кулябки вызвали полное одобрение генерала. Курлов — знал, но мог и не знать, во всяком случае так подробно, для доклада Столыпину. Он прошептался весь акт с дворцовым комендантом, не скрыв от него поразительную подробность о высокопоставленных покровителях, а после акта не кинулся узнавать для премьер-министра, но снова сам расспрашивал Столыпина, что именно знает он, — лишь потом по освободившимся проходам вальжно пошёл посмотреть, где там Кулябко.

А Кулябке достались немалые волнения: явясь в театр, Богров заявил, что и вечернее свидание террористов на Бибикивском бульваре, где уже расставлена была сеть филёров, — тоже не состоится! Это становилось уже мрачным: блестящий успех грозил обернуться поражением, террористы ускользали?! И Кулябко со щемлением понял, что нужен ему Богров не в театре, а дома, при Николае Яковлевиче, следить, чтоб не ушёл совсем. Однако так празднично был наряжен Богров и так горд, что попал на парадный спектакль, куда и самые достойнейшие люди Киева не могли достать билета, отгеснённые петербургской знатью (а из евреев

были только два миллионера), — так горд был Богров, что не хватало духа нанести ему удар и вовсе запретить идти на спектакль. На одно только решился Кулябко: послать Богрова быстро до спектакля проверить, на месте ли ещё Николай Яковлевич. Богров сходил домой (неудобно было бы дать ему в сопровождение агента), вернулся и объявил, что Николай Яковлевич ужинает. Та-ак, пока что покой был обеспечен продолжительностью этого ужина.

Но за время первого акта беспокойство Кулябки снова пружинисто надавливало. Пока на сцене в царском дворце облыгали царицу, а потом топили её в море вместе с царевичем, — ничего этого он не видел, а видел, как изошрённый неуловимый Николай Яковлевич просачивается невидимкой через цепь филёров — и уходит, уходит, унося в чемоданчике с браунингами — следующий чин, орден и денежную награду подполковника Кулябки, и не его одного.

И в первом антракте, как ни неловко было перед Богровым, Кулябко всё-таки опять попросил бы его сходить домой, но тут увидел своего благодетеля генерала Курлова, значительно шествующего по фойе.

Курлов схватывал всякую суть с первого слова. Он не одобрил этой посылки Богрова домой: ну хорошо, один раз за перчатками, а больше никак нельзя, будет провален. А вот что! — проницательнейшая мысль возникла у него: террористы уже второй день сколько раз меняют планы. Каким путём это происходит? — вот не догадались спросить у Богрова. Конечно, это может совершаться посредством записок, переносимых малозаметными лицами, а дом Богровых многоэтажен и многолюден. Но не исключено, что это совершается и через телефон? А в Киеве нет ли такой технической возможности: подслушать разговор по телефону Богровых? Тут как тут подскочившему Веригину Курлов и приказал: вызвать директора почт и телеграфов и обсудить с ним эту меру.

Ещё оставалось антракта немало, Веригин и Кулябко отправились через улицу напротив в кофейную Франсуа — и туда к ним явился (в театр ему билета не было) директор почт и телеграфов. Да, мера оказалась возможной. Обещал, что часам к одиннадцати вечера — значит, к началу третьего акта, телефон Богрова будет уже прослушиваться.

И право и расчёт полицейского начальника — все подобные детали удерживать при себе, не освещать никому лишнему: в них

может виться тайная нить, в них может обнаружиться и некоторый ущерб, который тем более не следует видеть со стороны.

И воротясь в почётный ряд, Курлов ответил Столыпину неопределённо, что — да, террористы будут встречаться позже где-то в другом неизвестном месте, узнаётся от Богрова. (Но не сказал, что Богров тут же за их спинами.)

А у Кулябки опять возросла тревога: 11 часов приближались, Николай Яковлевич конечно уже отужинал, — а после-то ужина, натурально, и ушёл на другую квартиру? И вся замечательная операция Охранного отделения — проваливалась? И едва стал задвигаться занавес после второго акта и прилично было встать — без покойный подполковник покрался кивать и вызывать Богрова.

А Столыпин всё-такиabezпокоился неопределённостью с террористами и отрывал Курлова от интересного разговора с дворцовым комендантом и просил его идти и выяснять обстоятельства. Вынужденный повиноваться, Курлов вышел из зала в коридор, кого-то из жандармских офицеров послал за Кулябкой. Увидел телефонную комнату, придумал позвонить директору почт, тут подошёл Кулябко, доложил, что Богров вторично послан к себе домой на проверку, что вызвало у Курлова большое неудовольствие, и он выговаривал Кулябке за непослушание.

И как раз в это время из театрального зала раздался сухой треск непонятого смысла, а потом сильные крики, волнение публики и бегство её из зала, что, мол, стреляли и убили Столыпина. Кулябко потерял над собой управление (и Курлов над ним потерял), бросился в зал — узнать или видеть. Курлов же воздержался метаться в потоке публики, пока ещё и опасность не миновала и выстрелы могли воспоследовать. Публика была отборно высокопоставленная и, натурально, многие могли ожидать следующих выстрелов в себя. Так бежал генерал Сухомлинов из первого ряда, да и Веригин приказал отпереть для себя запертые пожарные двери.

Что стрелял именно Богров (ах, жидёнок, какой же хитрый!), Курлов узнал от пронесшегося с обнажённой саблей Спиридовича: Спиридович обнажал саблю на убийцу, избиваемого офицерами в проходе зала, но, узнав Богрова, не ударил, — а побежал стать сабленосно на страже внизу под царской ложей.

Курлов и вовсе перестал идти в зал, услышав, что Столыпин не убит: всего неприятней было бы ему сейчас обменяться словами или даже взглядом с раненым Столыпиным.

А Кулябко, потеряв самообладание до опасного предела, брёл как потерянный, хватался за голову, за кобуру револьвера и обещал застрелиться.

Один только генерал Курлов сохранил полное хладнокровие. Он отправился распоряжаться: вышел на площадь, велел её всю очистить от народа, театр оцепить, на выпуске проверять всех лиц: он готовил благополучный отъезд Государя.

А пожалуй, это была и ошибка: пока убийца находился в руках жандармов, следовало поспешить взять его в свои руки.

Во время затянутого антракта Столыпина увезли в больницу, в зрительном зале исполняли гимн и сцена стояла на коленях перед Государем, Богрова завели в буфетную, обыскали, и его начал допрашивать дежурный жандармский офицер, спасший его от избияния. Кулябко без надобности топтался там же, оправдывался, отчаянно невменяем, полагая, что ослабит свою вину, если будет опорочивать и топить своих начальников. Спешил брать на себя вину, что не установил наблюдения за Богровым в театре. Ничего не мог ответить на простейший вопрос — почему он не обыскал Богрова при входе в театр? — и за него находчиво ответил Веригин: «Обыскивать *сотрудников* неэтично и может подорвать доверие, у нас это не принято».

Пойти туда самому Курлов опасался, что-то мешало ему внутренне. Но после доклада Веригина всё понятнее становилось, что если тут же не принять срочных мер, то можно всё и всех погубить. Минутами — решались многолетние службы и судьбы. Первое и лучшее, что можно было сделать, — это забрать Богрова для допроса в Охранное отделение и там всё следствие провести под своей рукой. Но собственная явка Курлова с этой целью могла выявить личную заинтересованность, нежелательно. Кое-как образумили Кулябку и отправили его в буфетную настаивать на взятии Богрова в Охранное отделение. Так же и Спиридович, уже вложивший саблю в ножны, объяснял, что заниматься Богровым — прямое дело Кулябки. Но уже успел приехать прокурор судебной палаты — и отказался выдать Богрова. Кулябко в отчаянии и иступлении настаивал — хотя бы поговорить с Богровым наедине, для получения важных сведений. Но и этого не разрешили. Тогда ходатайство Кулябки о личном свидании для получения правдивых сведений было поддержано и Курловым через третье лицо — прокурор заколебался, но и тут отказал.

Тем временем Курлову надо было обезпечивать (с каким сердцем!) возврат Государя из театра во дворец — и так он должен был отлучиться. (А дело текло!..)

Лишь после всех разъездов они все четверо собрались в «Европейской» гостинице решать положение. И тут совершили новую ошибку поспешности: вместо того чтобы сосредоточиться на успокоении Кулябки (как он оказался хлипкок!), просветлении его и указании ему истинного пути, решили сделать ещё одну попытку вырвать Богрова — и послали в театр полицейского пристава: от имени начальника Департамента полиции и командира Корпуса жандармов генерал-лейтенанта Курлова — взять Богрова для допроса в Охранное отделение. Но вышло катастрофично: прокурор не только осмелился не отдать Богрова (он уже снёсся с министром юстиции Щегловитовым), но, узнав у того же глупого пристава, что Кулябко сейчас находится в «Европейской», — немедленно по телефону вызвал его в театр для допроса!

А Кулябко, за эти короткие часы после выстрела не очнувшись, не осознавшись, не понял даже собственной выгоды и в этом неподготовленном, непрояснённом состоянии так и поехал на допрос, и там выкладывал, что Спиридович, и Веригин, и сам Курлов знали о допуске Богрова в театр, и все шаги он, Кулябко, предпринимал с ведома их, — совершал ошибку непоправимую и надолго осложнял следствие и положение товарищей, нисколько не облегчая собственного.

Так же и Богров, не испытав никакого влияния, никаких разъяснений, в начале допроса скрывал, от кого билет, а потом называл и Веригина, и Спиридовича.

А между тем правильный план оправдания быстро освещался и выстраивался в хладнокровных опытных головах Курлова и Спиридовича. Спиридович — конечно ничего о Богрове не знал, да и принципиально не нуждался знать, потому что это функция местного Охранного отделения, а Спиридович заведует охраной *дворцовой*. У него и времени на это не могло быть. Ещё меньше касался всего этого Веригин, который и вообще не нёс никаких специальных заданий по охране, даже не имел никакого отношения к политическому розыску, а состоял при Курлове для особых поручений. Касательно Богрова оба они не отдавали, да формально и не могли отдавать никаких распоряжений. Что же касается самого генерала Курлова, то, действительно, он отвечал в полном объёме за всё состояние охраны во время торжеств, но именно по огромности этой задачи он не мог вникать в каждую деталь (о Богрове был информирован лишь в самых общих чертах) и должен был доверять исполнителям отдельных участков,

без чего вообще невозможно никакое руководство. Непосредственное принятие розыскных мер не лежало на его обязанности. Кулябке же, работнику многолетнему и опытному, Курлов имел все основания доверять.

Если бы так рассудить и построить защиту с первой минуты, то все трое они, старшие по положению, сразу выходили из-под обвинения, становились на твёрдую землю, — и тогда тем более эффективно и авторитетно генерал Курлов мог протянуть руку помощи и защиты своему подчинённому, попавшему в беду по неосмотрительности и некоторым служебным упущениям. Ведь и сам Кулябко мог быть оправдан сильными доводами: что он никак не мог ожидать вероломства от Богрова, служившего прежде так усердно; что, только глянув на его щуплую, близорукую, интеллигентскую фигуру, никак нельзя было принять его *самого* за террориста; а подвергнуть его грубому наблюдению или обыску значило бы испортить всю игру. Здесь просто — несчастно сложившиеся обстоятельства.

Но Кулябко, как корова, искусанная оводами, от случившегося потерял всякое ясное рассуждение, метался, мычал, пускал слюну — и не мог быть наставлен прежде, чем позван на допрос.

А ведь вся перспектива разбирательства ещё и очень зависела от обстоятельств высших: насколько больше, или меньше значение будет придано ранению (смерти?) статс-секретаря Столыпина. По придворным признакам и деталям поведения Государя в этот вечер Курлов имел основания предполагать, что разбирательство пойдёт по нижнему регистру, и тем легче было бы выйти из всех неприятностей первоначальной осмотрительностью в показаниях. (Тем более, что от дворцового коменданта Дедюлина было в этот вечер подтверждение его обещанию, уже развитому в предыдущих разговорах: при падении — а теперь смерти — Столыпина ходатайствовать о продвижении Курлова в министры внутренних дел.)

Но что оставалось несомненным при всех вариантах: некоторые охранные упущения этих дней должны были теперь — в целях благоприятного развития следствия — быть восполнены, и как можно быстрее, просто — в эту же самую ночь. Надо было сейчас же прокатить по Киеву лавину обысков и арестов: ликвидировать все возможные связи Богрова. Прежде всего обрушиться на его квартиру, до сих пор пощаждённую, искать там Николая Яковлевича и оружия (отрядить побольше полицейских чинов!). Взять всех, об-

наруженных в квартире, включая и тётку. Арестовать по Киеву всех, кто когда-либо прежде привлекался как анархист. Задержать всех лиц, перечисленных в записных книжках Богрова, всех его родственников и всех знакомых, даже среди присяжных поверенных, хотя последнее вызовет возмущение. Но что ж, и на это есть аргумент: занятый принятием более общих и важных мер по охране порядка, генерал Курлов и тут не мог входить в подробности действий своих подчинённых. Зато деятельность этой ночи будет положительно зачтена ему против упреков в бездействии власти.

Таких лиц удалось задержать в эту ночь 78. Не всех их допрашивали потом.

А ещё правильный ход был теперь: хотя и сердечно жалко Кулябку, но распоряжением самого Курлова устранить его от должности.

Однако и на этом не кончилась бурная ночь: внезапно Курлов был вызван на квартиру Коковцова, до сих пор министра финансов, а вот, как оказалось, в ночные часы уже и назначенного исполняющим обязанности министра-председателя. Значит, в тех же часах могли и назначить временно управляющего министерством внутренних дел! Но не для этого вызвал Коковцов Курлова: в откровенно враждебном тоне, даже не подав руки, он спросил: «Добились? Довольны?» И по всему разговору стало ясно, что новый премьер-министр не пожалеет сил, чтобы обвинить Курлова в несуществующем преступлении.

С тяжёлыми чувствами встречал генерал Курлов рассвет 2 сентября. Теперь, когда неуправляемый Кулябка всё потянул в грязь, начинал рисоваться другой — последний и прямодушный — способ защиты. В случае смерти статс-секретаря, и притом быстрой (а первое впечатление врачей было обезнадёживающее), можно было: признать, что он, генерал Курлов, всё знал, и даже о допуске Богрова в театр! — но он действовал с ведома и разрешения самого Столыпина, которому систематически докладывал о ходе дел.

Умершего статс-секретаря это уже практически не отяготит, но Курлову чрезвычайно облегчит защиту.

А чтобы такое сообщение не грузило, не потонуло в судебных архивах, достаточно будет из-под руки информировать пару либеральных корреспондентов — и вся пресса громко подхватит и разовьёт этот самый выгодный для неё мотив: что Столыпин пал от собственной полицейской системы, которую он создавал против революции!

На следующее утро захлестнут был ошеломлённый Киев слухами изустными и газетными, ворохом из вымысла и правды. И сразу по всем направлениям: жив или нет? кто убийца? как убили?

Слух: пули были отравлены! Слух: убийца сидел в четвёртом ряду, из самых высокопоставленных! «Биржевые Ведомости» спешно сообщили, что убийца был из первых рядов и восторженный монархист, переговаривался с лицами свиты.

Наиболее достоверное было о Столыпине. Не потеряв присутствия духа, он сам снял скюртук, на белом жилете быстро увеличилось красное пятно, схватился за это место — рука оказалась в крови. Опустился в кресло, силы оставляли его. Случившийся рядом профессор медицины Рейн, затем и другие подбежавшие доктора, бывшие в театре, остановили кровотечение и сами сопроводили раненого к выходу, перемарав и свои костюмы кровью. Тем временем к театру прибыла карета скорой помощи, и она доставила раненого в лечебницу Маковского, поблизости, на Мало-Владимирской улице.

Пули было две. Одна вошла ниже правого соска — она ударилась о крест Святого Владимира на груди, помяла его, это ослабило силу ранения. Выходного отверстия нет, пуля застряла в мускулах у позвоночника. Опасаются, что она задела диафрагму и печень. Вторая пробила кисть руки, барьер, ушла в оркестр и там ранила в ногу скрипача. Выемка пули из спины считается второстепенной, и пока не намерены оперировать. Ночью положение было грозное, сердце — не крепкое у пациента — отказывалось работать. После перевязки раненый приобщился Святых Тайн, сам громко произнёс предпричастную молитву, крестился левой рукой. Он испытывал сильные боли, но переносил их стоически.

К утру наступило улучшение, объяснимое, может быть, духом больного, и врачи стали надеяться на благоприятный исход, даже с шансами 90 из 100. Больной попросил зеркало, посмотрел язык, сказал: «Ну, кажется, на этот раз я выскочу». А о болях в желудке: «Это во мне всё ещё сидит генерал-губернаторский обед». Он потрясён нервно: каждый стук и шорох его тревожит. Мостовую пе-

ред больницей покрыли соломой. Врачи ничего существенного не делают, выжидают. Из Петербурга вызван знаменитый Цейдлер. Аппетит плох, слабительного нельзя. Дают вино, чёрный кофе, бром. При болях впрыскивают морфий.

А покуситель? Молодой помощник присяжного поверенного. С большим революционным прошлым, и неоднократно подвергался обыскам и арестам. Член ЦК партии эсеров и её боевой организации.

Но публика этим не удовлетворилась. Такой большой и сложный акт не мог выполнить один человек, какой он ни будь разбоевой эсер! Естественное направление умов было: искать огромный заговор, большую группу террористов. Такой был слух: эсеры объединились с Бундом и с финнами, теперь будет серия крупных актов, это только первый. Стянулись и сопоставлялись сообщения о самоубийстве несколько дней назад в помещении Охранного отделения какого-то революционера (то оказался простой уголовник, не успевший сбежать за границу); о метаниях вчера близ театра по Фундуклеевской какого-то автомобиля (очевидно, случайного), седоки избили сторожа, не пускавшего их во двор; о перерезанной вчера в театре электрической проводке, лишь не удалось злоумышленникам достичь главного провода, погрузить театр во тьму и тем спасти убийцу, для бегства которого была уже приготовлена военная шинель и фуражка; и будто бы сам убийца на допросе признал существование такого плана.

Из этого ничто потом не подтвердилось.

Тут разнеслось, что убийца — не какой-то посторонний приезжий, но сын одного из уважаемых богатых горожан и прошёл в театр по его билету. Киевская чинная публика перепугалась (всё-таки убийство главы правительства!). Грозилась отобрать у Богрова-отца билеты в Дворянский клуб и в «Конкордию» (но не понадобилось). Заикались даже и отца исключить из адвокатского сословия (исключили сына, и то не сейчас). Присяжный поверенный, у кого Богров был приписан от самого университета уже полтора года, хотя ни разу не вёл ни единого дела, а только числился для властей, — заявил, что он отрекается от Богрова (и тоже поспешил, мог не отречься).

В газетной лавине, местной и центральной, мелькало множество сообщений — верных, но в суете не подтверждённых, неверных, но в суете не опровергнутых. Сообщали, что убийство могло произойти ещё 29 августа: за 20 минут до прибытия императорской семьи на площади перед зданием присутственных мест разь-

езжал посторонний всадник и удалился только после препирательств, — и этот всадник будто бы был Богров. А другое сообщение: что 1 сентября во время смотра потешных на ипподроме Богров был замечен на площадке, куда допускались с билетом неполным; и секретарь общества рысистого коннозаводства, кто не раз видел Богрова на бегах, услышал от него, что он ждёт «придворного фотографа», и выпроводил его с площадки, откуда только решётка в полроста и несколько шагов отделяли от министерских кресел.

Так и осталось для публики неразъяснённым, что́ из этого всего правда, что́ неправда.

Город чувствовал на себе ответственность: ведь билеты в театр распределяла городская управа. Днём 2 сентября было созвано чрезвычайное собрание городской думы — и городской голова Дьяков отвёл обвинения: преступник был допущен в театр не городом, а *другим учреждением*, которое потребовало себе часть билетов. А *каким учреждением?* — взревели гласные, хотя уже было понятно. И с удовольствием облегчился городской голова: **О х р а н н ы м о т д е л е н и е м.**

Дума взвыла. Дума потребовала фотокопию с книги распределения билетов и, ещё не успевая понять, как потянет общественный ветер, избрала Столыпина почётным гражданином Киева.

Общественный же ветер потянул так, что нельзя было ожидать разгадки более выгодной, — и большей горчицы под нос властям! Да для прессы поле всё равно было безпроигрышно: убили революционеры? — показательно и урок реакции! убили охранники? — ещё показательнее: сами убили своего министра внутренних дел и главу правительства! (К концу 3 сентября переломились к худшему сообщения врачей — воспаление брюшины, опасения велики, положение очень серьёзно, затем — угрожающее ослабление деятельности сердца, — всё более можно было говорить «убили».) И всегда ведь писали и говорили, что *Охрана* у нас прогнила, что она — государство в государстве. Полиция у нас и построена на провокации, вот так оно и есть! Симбиоз полиции и революции, охранки и террора! *Сама система* толкает полицию организовывать такие заговоры или их не пресекать!

Происшедшее всё больше оборачивалось либеральным ликованием: убрали подавителя революции — и пистолетом самой охранки!

(Катилась и дальше новая волна слухов: в книге Охранного отделения есть отметка, что револьвер выдан Богрову Кулябкой.

Ещё: перед самым убийством Кулябко выходил из театра и куда-то поспешно ездил на автомобиле. Ещё: Кулябко исчез из Киева, его не могут найти. Нет, не исчез, ещё распоряжался на улицах, и толпа будто кричала: «Долой провокатора!»)

Ужаснулись и центр, и полуправые, и правые, так зазяло всем, что не один Столыпин плохо охранён — вся Россия не охранена, беззащитна, в полной неготовности. Что безопасность государства плохо обеспечена и тайным сыском, и дорогостоящей шумной охраной. (Поспешливый Милуков объявил, что охрана торжеств обошлась в 900 тысяч рублей, потом спустили на 300, потом оказалось ещё меньше.) Как будто начало русское общество чуть-чуть отвыкать, отходить, отдыхать от террора. Представлялось, что террор обезоруживается, государственная власть усилилась, — и вдруг дерзость выстрела на парадном царском спектакле при чрезвычайнейшей охране — и в того самого, кто принёс стране успокоение!

В Государственной Думе создалась заминка. Октябристы хотели бы внести запрос о деятельности охранной полиции, но левые свели бы запрос на то, что полиция провокационно разлагает ряды революционеров. Пренебрежение всякими правилами охраны было настолько явным, что самая наиправая «Земщина», враг Столыпина и всей его линии, в эти дни соглашалась, что выстрел инспирирован охраной.

Да никак иначе этого и нельзя было понять и истолковать. По первым обломкам известий первых дней и то составилось: Богрова пустили с револьвером в театр для непонятно какого изобличения неназванного злоумышленника, который мог бы попасть в театр неизвестно как, просто не мог. Если и не было полицейского сговора против Столыпина, то наглого пренебрежения невозможно было оспорить. Надо было или хотеть быть обманутыми, или уж вовсе гомерическими дураками. И какие подробности ни попадали в прессу, все были удивительнее одна другой. Когда Богров выходил из дому в театр, простым филёрам он показался подозрителен, но заместитель Кулябки их успокоил: «Наш человек». Театральные билеты раздавались и другим тёмным личностям «народной охраны», например Францу Пявлоке, бывшему предводителю разбойничьей шайки (14 грабежей), а теперь служащему у Кулябки. И даже сам Департамент полиции был устранён от охраны торжеств, и генерал-губернатор Юго-Западного края тоже, а всё и всех заменили таинствен-

ные всемогущие Курлов, Веригин, Спиридович, — малоизвестные до сих пор, соединённые их имена набухали пауками. Как всегда в потрясениях, обнаруживалось сокрытое: что правые враги Столыпина давали Курлову большие суммы под векселя, до сих пор не оплаченные; что мелкий чиновник Веригин был непомерно взнесен Курловым в первый же день его власти, весь Департамент полиции заискивал перед фаворитом, он получал десятки тысяч рублей безконтрольно — а теперь уехал из Киева как человек посторонний и ни за что не ответственный; что недавно Распутин предлагал нижегородскому губернатору пост министра внутренних дел, выразившись о Столыпине, что его и *убрать легко*.

И вот в этот момент потянуло в прессу *от хорошо осведомлённого лица* чернильным облаком: что это *сам Столыпин* отстранил генерал-губернатора от охраны... что это *сам Столыпин* одобрил выдачу театрального билета Богрову.

Столыпин уже не мог узнать и возразить, а пресса восторженно подхватила: ах вот как? Двойная удача! Так это — провокация не полицейская, а правительственная?! Да не причастен ли и сам Азеф к убийству Столыпина? (И такой пустили слух.) Они хотели захватить сто революционеров и создать грандиозный судебный процесс? Так Курловы — только продукты столыпинского курса? Так Столыпин и был насадитель агентов-provokatorov по России? Столыпин и пал жертвой собственного провокационного замысла? Националистическая и религиозная политика России и не могла кончиться ничем лучшим!

От такого вывода не могла не вздрогнуть радостно кадетская пресса. Если и правая печать открыто защищала Курлова, «Россия» и «Русское знамя» не стеснялись поносить ещё не умершего премьер-министра, — отчего ж было и кадетской прессе, изошрённой в подцензурных уловках, не найтись, как выразиться:

Столыпин был поражён в тот момент, когда, счастливый и весёлый, как бы праздновал свой триумф. Откуда этот гнев судьбы? Не слышится ли за шумом этих револьверных выстрелов предостерегающий голос? Теперь у русского общества могли бы быть и некровавые способы протеста, — но может быть судьба хотела напомнить, что эти методы остаются?..

Из невольной дани приличию нельзя было прямо писать, что рады убийству, но и без грана сожаления рассудительно писали

«Русские Ведомости», что через террор естественно выразилось общественное настроение, следствие глубокого государственного неустройства, от которого глубочайшее неудовольствие разлито во всех слоях населения. Хороший случай был повторить, что «правительство враждебно народу» (не ошибается, не слепо, но именно враждебно). А «Речь» могла теперь окончательно вывести, что «национальная политика лишена всякого положительного содержания». В общем, Столыпин был так давно и так во всём виноват, что киевский выстрел раздался даже и как бы слишком поздно.

Хотя кадеты за последние годы уже как будто отстали аплодировать террору (уже стало принято говорить, что террористы открывают дорогу реакции) — они не могли не вглотнуть свежего воздуха от богровских выстрелов. (Внутри-то всегда точило: ах, хоть бы *они* взорвались!) Всё *общество* по наследственному чувству сладко замерло. Ведь так устойчиво было принято воспевать «героические поступки» и «самоотверженные жертвы» революционеров. Промелькнуло среди раскрытий, что некий член Государственной Думы как-то получил конспиративное письмо от заграничного ЦК эсеров, — это никому не показалось неприличным, не то чтобы криминальным.

А тут неумолимые телеграфы стали приносить и из-за границы отклики на покушение. Там можно было выражаться полнозвучно. Вот неумный Бурцев, якобы так пронизательный в конспирациях, выступил с соображениями. А ЦК эсеров грохнул (и легальная печать без стеснения перелагала): что партия никакого поручения на этот выстрел Богрову не давала, но эсеры горячо приветствуют убийство Столыпина, имеющее крупное агитационное значение и внесшее растерянность в правящие сферы.

И после этого в глазах общества ещё героичнее выдвинулась одинокая фигура Богрова! О, если б ещё и не связан с охранкой, — ведь народный герой!

И наметился такой поворот: теперь, когда вина охраны и правительства была доказана (через Богрова), — может, Богров-то сам и не виноват? Для всего общества, а тем более для знакомых и для семьи, главное стало: если можно — очистить Богрова от охраны! Доказать, что это — не азефовщина! Очень хотелось, чтобы Богров оказался чист — только кровь на руках, ничего другого! (Возненавидели Кулябку именно за клевету, что Богров — давнишний сотрудник. Печатали, что Кулябка этот уничтожал собственноручные письма Льва Толстого.)

Брат Богрова публично выразил возмущение, что в газетах смеют употреблять слово «убийство» (когда, подразумевай, это была справедливая народная казнь). Отец, застигнутый вестью в Берлине, и с видимой гордостью за возвращённого сына, дал интервью: мой сын любил лошадей, лодочную греблю, играл в карты, посещал клубы, бонвиван, совсем другой образ жизни. Он не нуждался в мелких деньгах. Здесь несомненна (ему в Берлине несомненна) преступная деятельность чинов охраны. Убил человека? — не могу примириться с этой мыслью. (Читай: человека бы? — не мог.)

Ни почтенный Богров-старший, ни всё почтенное сословие присяжных поверенных, только и призванное осуществлять справедливость, ни вся почтенная пресса, включительно до «профессорских» газет, — за важнейшим вопросом, можно ли считать Богрова честным революционером, не задались вопросом другим: а имеет ли право 24-летний хлюст единолично решать, в чём благо народа, и стрелять в сердце государства, убивать не только премьер-министра, но целую государственную программу, поворачивать ход истории 170-миллионной страны?

Только одно волновало общество: *честный* или охранник? О горе, о горе, если охранник, — но даже и лучше: тем более виноват тогда не он, но *среда*, но проклятый *режим*, а Богров — лишь трагическая жертва его.

Были всё-таки некоторые цензурные границы, не позволявшие прямо славословить убийцу. Но — восхищённо выхватывала печать каждую его похвальную чёрточку. По слухам, Богров даёт показания с большим самообладанием. Держится очень спокойно, очень иронически. Держится как истинный революционер, исполнивший свой гражданский долг. Даёт показания курия и скрептив руки по-наполеоновски! Держится почти беззаботно! Жалеет родителей. Интересуется, что пишут о нём в газетах!..

А так как и правые не защищали Столыпина, то только почти одно «Новое Время», которое тоже не очень ладило с ним, давало тон свой:

Снова пошла тёмная рать... Утеряно чувство безопасности... Столыпин не прятался, и тем легче было нанести удар. Это вызов русскому народу, пощёчина русскому парламентаризму... Это не частное злодейство, но нападение на Россию... Не страдания пролетариев подняли руку убийцы, сына миллионера, а чувство человека своего племени, которое стало встречать пре-

граду своим захватам. Столыпин готовил национализацию русского кредита. Столыпин — это русская национальная политика, и за это он принял муку.

Но громче всего и шире всего в эти дни заливали Россию молебны. Ещё прямо из театра некоторые пошли в Михайловский монастырь и служили молебен в ту же ночь. 2 сентября в киевских церквах был поток молебнов. В переполненных Софийском и Владимирском соборах они шли непрерывно, при рыданиях многих людей. Совет профессоров университета Святого Владимира телеграфировал, что возносят молитвы. В тот же день в Петербурге Гучков устроил молебен в Таврическом дворце, были молебны в зале городской думы, в церкви Главного Штаба, в Адмиралтействе. В Казанском соборе заказывалась череда молебнов: от октябристов, от националистов, от Государственного Совета, от военного министерства, от министерства внутренних дел, от министерства земледелия...

И потом ещё сколько по остальным храмам.

И — в Москве.

И — по всем, по всем городам Российской империи.

И МОЛЕБНЫ ПЕТЫ, ДА ПОЛЬЗЫ НЕТУ

Что пишут в газетах о нём? — но что и о Столыпине?

Неужели — ещё жив? Неужели — останется? Жжёт, разрывает: зачем же тогда всё?..

Богров стоял так близко, что видел как бы вздрагивание ткани сюртука при незастёгнутой верхней пуговице от вихревого удара

пуль. Он физически ощущал, что не просто стреляет, но вбивает пули в самое туловище врага. И уже не выпускал всех восьми, какие были, но и не считал, сколько выпустил, сбился, — а насытился, уверился в успехе — и кинулся бежать.

И как же он поторопился! Теперь оказывается: всадил всего две пули, и вторую — всего лишь в кисть? (Сам не заметил, как револьвер качнулся. Это значит — он уже убежал?)

Тогда, в момент стрельбы, ему ясно мелькнуло, что ещё можно и спастись! Настолько перепугался неполный зал благородной публики, — кричали истерически, и убегали, и за кресла прятались — другие, как будто надо было спастись им, а не Богрову. Проход был чист перед ним — и Богров кинулся бежать, так и неся револьвер в руке (может быть откинуть бы его — и не узнали б?), — и уже недалёк был от выхода — как офицер схватил его за руку с револьвером так железно у кисти, что браунинг выпал или вырвали, он уже не успевал всё заметить и объяснить, ударили по голове, кажется биноклем, а потом он уже не замечал — чем, кто именно свалил его с ног, куда и как били.

Уже позже, в буфете, на первом допросе, он понял, что выбиты два зуба.

Готовясь к подвигу, он готовился к строгим допросам, даже и к потере жизни, но забыл, не подумал, никак не ждал избиения, не ждал боли и муки для тела прежде казни. Обычно никого из революционеров не били. И даже когда просто наручники надели, чтобы везти в крепость, это оказалось так неожиданно больно, что Богров вскрикнул и просил ослабить. И это — в первую ночь, когда в пылающем гордом состоянии он ещё мало болей замечал.

На второй же и на третий день, когда возбуждение сменилось удручённостью, всё разбалчивалось — и в камере Косого Капонира эти боли удручали больше, чем предстоящее. И при болях и в таком состоянии особенно невыносимо оказалось отсутствие удобств — промывного унитаза, водопровода, электричества, мягкой постели, домашней еды. Мучительная покинутость, запущенность тела. Богров вызывал врача.

От избиения военной публикой в театре Богрова спас жандармский подполковник Иванов: перебросил его через барьер в ложу. И он же, очень доброжелательно, вёл, в помощь главному следователю, часть допросов. Не уклонялся и сам ответить на вопросы Богрова: что пишут о нём в газетах? как узнали и что сказали родители? И — как Столыпин??

Столыпин всё ещё не умер, но надежда была большая: задета печень!

А главное — угадано было общественное настроение, что «этой жертве — не посочувствуют».

Когда ненависть насыщается до самых своих краёв — она перестаёт нас тяготить. Чувство исполненного долга уравнивает нас.

Прекращенье борьбы. Даже и чувство сладкой слабости. В первый раз отлила всякая ответственность.

Да, он был прав, пойдя на акт, кончились все его сомненья и расщепленья. Вся ценность нашей жизни лишь в том состоит, как выполнить её цель. У кого цель требует — беречь себя, а у кого — пожертвовать.

И как это в конце концов оказалось несложно — поворачивать историю: всего только получить театральный билет, миновать 17 рядов партера — и нажать гашетку.

И он сделал — всё один, по своей внутренней оригинальной идее! Никого не вовлёл, ни на кого не упадёт удар. Не даст привлечь никого из знакомых покровителей, присяжных поверенных.

Теперь, когда главное дело — всей его жизни главное дело, оказывается! — было выполнено, а будущность решена, — теперь эти следственные вопросы не только не были Богрову досадчивы, но даже — облегчение, но разрядка от того неудержного сгущения тайны и расчётов, какие извели его за последнюю неделю, так что каждое словесное прикосновение тогда раздражало. Теперь наконец-то можно обо всём говорить! — хоть с *этими*. Крыльная лёгкость следствия, когда выполнена задача, можно гордиться собой, не нужно юлить, выворачиваться. Ещё в буфете он спешно заявил себя анархистом. (Хоть и не был им давно.)

Конечно, куда веселей было бы теперь разговаривать с людьми из своего общества (ещё блистательней бы — с корреспондентами!), — именно теперь, когда ему удалось *что-нибудь в особенности*. Но и все следователи были интеллигентные, вежливые, внимательные собеседники, с полным уважением к личности и взглядам Богрова, а к тому же всё главное записывалось в протоколы, и значит, неизбежным ходом бюрократии, все показания Богрова будут наилучше сохранены, когда-нибудь появятся и в прессе — и объяснят, и оправдают перед историей его одинокий великий подвиг.

И без напряжения, сокрытий, расчётов, лавировки — он теперь гордо, полно, прямолинейно объяснял. Да, помощник присяжного

поверенного Мордко Гершевич Богров. Покушение на Столыпина задумал давно, задолго до киевских торжеств. Да, именно на него как на народного врага. Считает Столыпина главным виновником реакции в России, притеснений печати, притеснений инородцев. Он игнорировал мнения Государственной Думы. Револьвер купил три года назад. Стрелять приходилось мало, в воздух. План покушения мною разработан не был. Был уверен, что в театре найду момент приблизиться. Покушение совершил без какого-либо уговора с другими лицами и не как участник какой-нибудь организации. (Такая и записка была приготовлена в его бумажнике, взята с ним: «Подтверждаю, что я совершил покушение на убийство статс-секретаря Столыпина единолично, без всяких соучастников и не в исполнение каких-либо партийных приказаний».) Билет был выписан на моё настоящее имя. Пули не были отравлены.

Правда ли, что — давний сотрудник Охранного отделения?

Тут — никуда не деться, этого не скрыть.

Да, я сотрудничал с Охранным отделением. Да, уже 4 года. Да, давал сведения. Причина? — гм... я хотел получить некоторый излишек денег. Для чего мне нужен был этот излишек? — я объяснить не желаю. (И не объяснишь ведь!..)

Но не назвал ни одного нового имени, не вспомнил ни одной явочной квартиры или конспиративного факта. Да о таком — никто и не спросил.

Повторно и повторно: Кулябко не знал о моей цели. (Один раз проговорился, что это было *предложение* Кулябки — дать билет и в Купеческий сад, и в театр.) Нет-нет, не знал. (Да и что видел Богров от Кулябки, кроме поддержки, одобрения, денег? — а теперь тот сам попал в какую беду. Проступает даже больше, чем благодарность или расчёт, — какая-то неестественная сроднённость у него получилась с Кулябкой. Ни один истинный анархист не мог бы двинуть и пальцем из жалости к начальнику Охранного отделения. А вот...)

И вот — вся история ошеломительного убийства не оказалась ни загадочной, ни трудной. И была исчерпана двумя-тремя ясными протоколами.

2 сентября написали и ещё один протокол — побочный: о том, что у Богрова возникала мысль совершить покушение на Государя, но была оставлена из боязни вызвать еврейский погром.

Да, как еврей он не считал себя вправе совершить такое деяние, которое могло бы вызвать хотя бы малейшее стеснение еврейских прав.

Тут — Богров не комбинировал, не изобретал, он оставался верен до конца своему народу: и очевидно здесь была главная сила его внутренней твёрдости.

И даже в своей верности уже настолько верен, что отказался подписать и этот свой ответ: узнав о таком моём заявлении, правительство получит оружие — устрояя погромы, удерживать евреев от террористических актов. (А они должны происходить в России беспрепятственно.)

Оттого и пришлось этот ответ выделить отдельным протоколом: его подписали только следователь и прокурор.

Имеете ли ещё что существенное добавить или изменить в показаниях?

Нет.

(Задета печень! Умирает! Совершенно!)

Ещё вопрос: как же всё-таки и почему, после честной четырёхлетней службы в Охранном отделении, вы решились на такое убийство?

Богров ответил снисходительно-презрительно: «Я отказываюсь объяснить причины».

Ещё ли вы не поняли, что я никогда вам не служил? И что же вы поняли во всём этом деле?..

Не я вам — вы мне служили. Но это прочтёт и поймёт История.

И вот — следствие кончается?

Теперь дело будет передаваться в суд.

Суд? Какой ещё суд! И как он заранее неуклюж. Вот был суд: подсудимый — премьер-министр. Но не допрашивался ни он, ни свидетели. И весь суд состоял из кипения одинокого разума. И приговор был — смерть! И приведен в исполнение.

А между тем остывает и голова, и задор. И такая боль в побитом теле! (Избиение — потрясло его.) И так не хватает выбитых зубов.

И возвращается реальность: суд?? Как получилось, что, сам из адвокатской среды, он, изодрённо планируя покушение, не планировал суд? Он — весь отдался покушению. (А иначе б он его не сделал.) Но ведь суд — это светлый выход (как вышла Засулич!). Сколько свободных манёвров русской юстиции откроется ему теперь! Можно брать защитника — да лучшего защитника Киева!

И — через него сразу связаться с родным миром! — дать понять, передать и узнать самому?..

Нет. Захлопнуто. Он — «охранник». Это — единственное пятно, которое вывести нельзя ничем. Которое не может простить общество, и публичный судебный диспут об этом зачумит его перед всеми честными людьми. И об этом — даже невыносимо разговаривать сейчас с доброжелателем. Если завтра он вызовет Гольденвейзера и будет рыдать перед ним, что всё было — искусно придумано, что это был только ход для разложения охраны, для великого убийства, — нет! ни Гольденвейзер не властен через это переступить, ни общество. Адвокатские языки будут у него, но без адвокатских сердец. Уже нельзя в его защиту произносить пламенные речи.

Закрыто. Он — зачумлен. Все последствия — на нём, и он должен защищаться сам.

А передаётся дело — в военно-окружной суд.

Ого. Это — не судебная палата. Это — не Засулич. Тут самое малое — неотвратимая каторга.

После допросов отводят в камеру. Они здесь по-старинному — без глазков, без форточек, запираются на тяжёлые висячие замки, но внутри — светлы и просторны. Это — круглый башенный Косой Капонир в углу Печерской крепости, на приднепровском обрыве. Из окна видны старые земляные валы, малохожая тропка светлеет по жёсткой выгоревшей траве — а за оврагом видна и соседняя Лысая Гора. Где и казнят осуждённых военным судом.

Овражная, голая, дикая гора. Та самая Лысая Гора — легендарное прибежище ведьм и их шабашей.

А тут — деревянная бочка для нечистот, застаивается, мерзкий запах. И ни ванны, ни душа, ни быстрой смены белья — этого уже не спрашивай.

А ещё после пыла первоарестных дней вдруг вернулся аппетит — да какой! давно не испытанный, просто голод! Тот «безчисленный ряд котлет», над которым он иронизировал, — теперь начинает манить! Да как же он мог поедать его так скучающе?!

Как вообще он не ценил свою устроенную жизнь. А ведь сейчас, вернись в неё, и всё опять к услугам, и как удобно можно жить.

От перенапряжения, от самогипноза, от позы, от инерции, от шока — отходит тело (и то неосозаемое, что в нём обитает) — и возвращается уколами, толчками, вспышками: а — как бы вернуться в жизнь? Вернуться!

И — тесно, и пусто это каменное пространство — от параши до окна на безнадежную гору — на место *твоей казни*? И — уже му-

чит желанное прежде одиночество, и тоскливо, что кончились все разговоры с живыми людьми, жаль, что кончилось следствие.

А оно — ещё не кончилось. Ведут ещё на один добавочный допрос.

И пока ведут, через круглый тёмный вестибюль и гулкой коридор, — неумершая способность изобретательства снова закручивается, завинчивается в поиске. Напрягись! Найди!

Снова тот симпатичный жандармский подполковник Иванов (и приятель Кулябки), спасший от избияния в театре. Один, без главного следователя. И такой же опять доброжелательный.

А вопросы его: вот найден револьвер также у вашего отца, — вам не известно, пользовался ли он им? для какой цели держал? А вот — такой-то и такой-то, имярек, посещали ваш дом? По каким делам?

И остальное — не серьёзнее. И допрос — окончен, увы. Подпись на протоколе.

Допрос окончен, но Иванов не кончает. Он смотрит на Богрова с большой симпатией и пониманием. И говорит. Почти задумчиво.

Разрешите вам высказать несколько соображений. Вы — человек редкой силы духа, исключительного мужества. Вы совершили то, что никто не мог бы совершить. Но ваша нынешняя позиция ничего вам не даёт. Зачем вам такая гордая принципиальность, эти ваши заявления о замысле, да ещё давнем? Вы только отяжелите свою участь: будет верная смерть. Зачем вам лезть в петлю? Ради верности революционерам? Но они все от вас отреклись, никто вас своим не признал. Чтó вы реально хотели сделать — вы сделали, и это никуда не уйдёт, а зачем вам настаивать дальше? Теперь — подумайте о себе, облегчите свою участь. Не высказывайтесь таким принципиальным государственным преступником, не настаивайте на безусловности такого замысла — убить премьер-министра. Вы могли это сделать под влиянием момента, аффекта, почти случайно. Напротив, вы честно служили Охранному отделению против революционеров, — а чтó вы теперь потеряете в революционной среде? Но вы смягчите свою участь. Обдумайте. Я вам очень советую: измените показания на суде.

Разве не поздно переменить показания?

Нисколько. Это — можно, так делают. Назначат переследствие. А противоречия — ни с кем вам не грозят, у вас не было сообщников, участников, свидетелей, никто не собьёт вас.

Из осторожности, из недоверия — Богров не ответил порывом. Но — широким ножом вошла в него эта мысль, разрезая прежние скрепы.

И — в толстокаменной камере опять. Не наблюдаемый, не видимый никем. И снова — от двери к окну. И — замораживающий вид из окна на проклятую гору.

И правда, что так сразу впал в слабость, в эвфорию смерти, покорился? Да попробовать же спасти свою жизнь!

А ведь террористам — заменяли смертную казнь на каторгу, и часто. Даже Сазонову за Плеве.

Если избиение было так больно — то насколько ж повешенье!

Да, он проиграл следствие, теперь это видно. Он провёл его не так.

И раз эта вся толпа революционеров отказала ему в поддержке, никто не захотел его подвиг взять на своё знамя, — так он и свободен?

Да и когда он принадлежал к этой банде? Разве он — революционер? Он — свободная индивидуальность, он — сторонник либерального развития. Только.

Сменить версию? Сменить всё объяснение поступка?

Уронить подвиг — но спастись?

Да он никогда не был честолюбив.

Уже жертвовал жизнью, — мало. Теперь пожертвовать и общественной честью?

Да она уже и измарана, нескоро отчистится.

Как стесняется мир! — одно зарешеченное окошко, тропа по пустому склону, не видно даже Днепра — да ветер, ветер над пустой ведьминской горой, — уныние, дикость и обречённость, как всё в этой проклятой России. И где те очаровательные бухты Лазурного берега, как в *Villefranche-sur-Mer*, на которые смотришь утром с балкона — принявши душ, в узких рейтузах, в белейшей сорочке, молодой, готовый к жизни? (К жизни, которая всегда обещает, а не даёт главного...) Пальмы Ниццы, весёлые овощные ряды на улицах с подмигивающими торговками?.. Променады дез Англе?.. Пляжи уютной Ментоны?.. Непомерные платаны перед казино Монте-Карло? Чрезмерное вычурное богатство залов, золотистые стены, золотой купол.

В первом зале, где игра по мелочи, — взвинченная нервозность, курящая девушка за игорным столом и старушки-одуванчики, заглоченные мужчины, фанатичные исследователи с ка-

рандашами, — а над расчерченным игорным столом всё то время, что не носится шарик по черно-красному кругу в чашном углублении, — мечутся проворные лопатки-загребалки помощников крупье, как костлявые руки ведьмы, и во мгновение убирают всё проигранное посетителями и как бы презрительно выбрасывают редкий выигрыш. И сами морды крупье — то подслеповатонедолепленные, то черноусо-бандитские, с карикатурными носами, то с видом благородного учёного в очках. А молоденькая в лиловом платки, с чернокрашенными бровями и ресницами, выталкивает дым сильными толчками вверх и глубоким диким взором следит за игрой. А когда выигрывает, так же помалу, как и проигрывает, то зачарованная улыбка блуждает на её лице — но ошибся бы, кто отнёс эту улыбку к себе и попытался бы увести её от стола.

Ставил Богров и в этом зале, разгораясь следить за сумасшедшим шариком. Но когда с деньгами было свободней — шёл в глубину.

Глубже, куда дорого за вход, — залы *приватной игры* — настоящей, где ставки не ограничены, где нет толпы ни играющих, ни наблюдающих, а меньше десятка у каждого стола, где волноваться считается неприлично — и дерзко выглядит молодой несчастливый игрок, с безумным лицом расхаживающий от стола к столу. Под такой же непомерной высотой зала — нервная тишина, почти пустота. Здесь и не берут жетонов вместо денег, но апоплексически покрасневший старик за столом баккара, как бы не считая, вынимает из сумки у ног пачку за пачкой, сто штук по 50 франков, сто штук по 100, обклеенные пачки новеньких, а худой выразительный итальянец, вкрадчиво и безошибочно раскладывающий карты, так же вкрадчиво и безошибочно смахивает пачки в глубокий внутренний ящик.

Какой азарт! какой накал! — в полчаса можно пережить целую жизнь.

Переволнованы куда больше, чем Богров в зале киевской оперы. Но и — какая музыка жизни!

И никогда больше этого не увидеть.

В этих переглядах с лица на лицо, в этих переходах из зала в зал, в этих переездах из городка в городок, счастливо играешь или несчастливо, смотрел ли на девушек только издали или купил итальянку на ночь, — вдруг создаётся, и не сразу, а потом, из отдаления, из раскидистого щедрого Киева, из сырого хмурого Петер-

бурга, а теперь из замкнутой камеры, — ощущение, что то были золотые страницы твоей жизни.

А ты — и не ценил...

Если перебрать — что случилось, видел, чувствовал, мечтал, этот впитанный аромат удовольствий, во всех европейских поездках, курортном житье...

1906? — Мюнхен... Париж... Висбаден.

1907? — Ницца... Ментона.

1908? — Меран... Монтрё... Лейпциг.

1909? — Париж... Ницца... Монте-Карло.

1910, и даже в этом феврале, эту последнюю весну, — снова Лазурный Берег.

24 года — это жизнь короткая? Или даже длинная?

Если уметь...

Нет — играть дальше! И ставка — крупной, чем в залах приватной игры!

Обманывает Иванов? Подослан? Конечно подослан. *Этим* — выгодно так. Но не безвыгодно и Богрову.

Убыстряются движения между каменными стенами, благо никто не наблюдает.

Нет, не биться в стенки как баран. Нет, не подкоп и не подкуп.

Но — извилиною сильного ума.

Показания потеряют правдоподобность? — так и пусть вешают на охранку! Если уже всё равно связал своё имя с охранкой — почему ж не взять с неё ещё одну плату? Поможет — спасена жизнь! Не поможет — так всё повиснет на вас!

Да! Это и остался сильный ход: навесить себя на охранку!

Изобразить последовательное сотрудничество, какого и не было! Перемешать террор с охранкой, чтоб им не распутаться сто лет! И только возрастёт неизмеримо социальный эффект акта! Удвоенный удар по режиму: опорочить саму охранную систему — значит ещё раз ударить и по Столыпину! Дотянуться — ещё и с того света.

Для такой ещё новой большой цели — отдать и личную репутацию до конца.

Что было невозможней: сплести покушение из ничего? Он — сплёл, голыми пальцами!

Неужели же не проще теперь?

69

Глаза — всё в точку одну потолка, как позволяет тело. Нельзя на правый, и на левый плохо, а только всё время навзничь, придавленный в спину, как сразу был пришит к барьеру, и всё время ощущая невынутую пулю под лопаткой.

Первая ночь была грозная, смерть дышала в лицо, отказывало сердце.

А с утра отступило. Рана затаилась.

А сознание — полное, ясное, в свободном движении, как и положено быть всему духовному в нас. И уже не верится в смерть.

В зеркале — живая окраска лица, не помертвело. И температуры нет. И пронзающие боли первых часов опали (или это от морфия?), и тошнота упала, — и так хочется забыть о заботах тела, и жить одним духом и мыслью, — как легко бы!

Куда же попала главная пуля? Толкуют врачи, что — во Владимирский крест, и так ослабла, и изменила направление.

Изменила — к лучшему? Изменила — к худшему?

Толкуют, что нет кровохарканья, нет перитонита, это хорошо.

Больной, раненый сразу выбывает из числа взрослых, самостоятельных людей. Он теряет не только власть своего положения, но даже просто право человека знать о себе самом. Если бы от студенчества не знал латыни, не понял бы по недоговоркам врачей: пуля пробил диафрагму и разворотила печень.

Всё-таки не сердце, не горло, не умер враз. Не самое худшее.

Но и печень у нас одна.

Знают враги, что выклёвывать: печень.

Неужели — смерть?

Всё-таки — дотянулись.

А недоможная правая кисть — искалечена уже навсегда. Наверное, правой рукой заслонился.

Спросил, как раненый музыкант. Ничего серьёзного.

Хотя теперь не имело значения, но «интересно»: как же это произошло? как убийца мог попасть в театр? Эта загадка задевала вполне по-земному.

Впрочем, что стоило убить его все эти киевские дни, зачем театр?..

Какие они все полицейские! Искатели чинов и возвышений. Вот был Герасимов в Петербурге, в самые революционные годы, — сколько раз он беззвучно спас и царя, и Столыпина, и других. Террористы в отместку оклеветали его, а Курлов съел.

Курлова! — тёмного, путаного, себеумного, ничтожного, навязанного начальника всех полиций — сам не убрал, оставил его взбалмошную охрану, пожалел государевы чувства. Взглянуть бы ему сейчас в глаза!

Просил вызвать его. Не шёл, лукавый. Уехал праздновать вместе с Государем.

Да разве Столыпин имел ещё власть вызывать?

Да разве Столыпин и главою правительства имел когда-нибудь полную власть?

Как же просто оказалось: убили главу российского правительства — и никто даже не приходит объяснить.

Впрочем, первый день настолько прилично чувствовал себя — казалось, выберется из беды и ещё разберётся здоровый. Вполне земно шли мысли. И врачи не скрыли от раненого прочтённое в газетах: стрелял — агент Охранного отделения Богров.

Богров? Тот самый, о котором вчера и говорили? Секретный сотрудник, доносящий о террористах? Умопомрачительно.

Эти вопросы бы сейчас затравили, заелозили бы телом, если бы уже не всё равно: какая разница кто и зачем? Дотянулись...

На самом деле — дух плавал свободно и необидчиво. Мысль была ясна необыкновенно.

И Пётр Аркадьевич — ждал. Для важнейшего во всей жизни разговора.

Ждал.

Государя.

Вечером, едва привезли в больницу и наложили перевязку, — Столыпин тотчас, ещё до первого причастия, просил передать Государю: что готов за него умереть.

В первую тяжёлую ночь, когда смерть нависала, ждал его все часы.

Утром сегодня, когда стало легче, тем более ждал.

Столько было ему передать! О столько предупредить! Сейчас Столыпин мог разговаривать с ним как никогда независимо и до-полна.

Но день тѣк, но день тѣк — а Государь не шѣл.

И знал, и знал же Столыпин своего Государя! И мог бы вспомнить, что даже и в день Ходынской катастрофы не был отменѣн бал у французского посла. И мог бы помнить, что для Государя ничего нет радостней и дороже военных парадов — а 2-го сентября как раз и идѣт по распорядку главный военный парад, и далеко за городом, и согнаны десятки тысяч войск, — и как же может быть регламент нарушен.

Знал — а ждал.

И к вечеру 2-го сентября, когда Государь вернѣтся в город, — ждал особенно.

Но тот — не приехал.

И — бесплодно прошѣл самый ясный, невозвратный день сознания.

Неужели он не мог изменить распорядка торжеств — ни на мало?..

Неужели ему совсем не существенно узнать — о делах государства? О несделанном? О будущих опасностях? Перенять мысли умирающего? Весь план своей Реформы Пѣтр Аркадьевич хотел изложить Государю сегодня — как наследство. И убедить, и увлечь к исполнению.

Не в заслуги прошлого — не за то, что Столыпин победил ему революцию, восстановил здоровую страну, — но себе же на будущее! Себе же!

Ведь он сам не видит, как ещѣ заклинена Россия. И как вырываться ей.

А пришѣл — следовательно, какой-то мелкий. Допрашивал, записывал в протокол: как именно произошло там, в театре, как именно стоял министр и близ кого, как подошѣл убийца и в какой руке держал...

А приехал, и врачи допустили, — Коковцов. Он уже стал временно исполняющий министр-председатель.

В две отставки не произошедшее, это произошло теперь: Коковцов — принимал пост.

Не противник. Но — узок в уме и в чувствах. Как углубить ему ум, как расширить сердце? Ему надо сердцем осмелеть, прежде чем всё это потянуть.

Почему — не Кривошеин?..

Государева воля.

Кое-что изложил ему. (Из первых: добиться у Государя заменить Сухомлинова, открывается сумбур в военном ведомстве.)

В незаполненный день приносил зато секретарь пачки телеграмм — со всех концов России пожелания выздороветь.

В час беды мы слышим эти клики друзей — и всегда с опозданием. Как дороже бы иметь одну шестнадцатую их рядом — но в минуты деланья.

И — телеграммы, и газетные сообщения об отслуженных молебнах, — особенно в церквах столичных навёрстывали молебнами. А местные — передавали образки, образки. И епископ черниговский привёз масло от мощей великомученицы Варвары.

Как любят на Руси эту чрезмерность. Да не взамен бы ежедневного дела. Легче отмолиться, трудней поддержать. Трудней — делать дело.

Столыпин и сам над собой постоянно знал — реющего, веющего, направляющего Бога.

И наипервыми своими усилиями стремился засыпать крестьянские закрома.

И неужели — уйти сейчас? Перед главной своей реформой?

Хотелось бы чистого, твёрдого голоса, обещающего продолжение воли и силы.

Но нигде по России такой голос не раздался. Да — есть ли?

Уйти — ещё полным сил, в сорок девять лет! И оставив Россию — ещё всё раздираемой бешеной этой враждой гражданского состояния к императорской власти. Клеветой. Недомыслием.

Как это устроено Тобою, Господи, с непонятным планом для нас: сколько бы Ты ни отпустил каждому сделать, сколько б раз мы ни пересекли наш последний предел замысла, — но на каждом новом горизонте и даже на последнем горизонте смерти — ещё больше, ещё больше тревожно неуправного, где так нужен я, но Ты повелел рукам моим опуститься.

А — Оля?.. А шестеро? — маленьких и взрослых?..

Наказанье это Божье или милость Его: не облегчённый забвеньем, разве коротким сном, непрерывно знаешь и помнишь: вот, я ранен. И могу умереть.

И, наверно, умру.

Ничего нового от телеграмм, от слухов. И не вникнуть в боли и шелохи в самом себе: что там совершается? разрушается? исцеляется? густится не в месте кровь? или отсасывается утомлённым сердцем?

Врачи — как будто и не лечат: только морфий да кофеин. Говорят: встанет через три недели. Не меняют повязки, не шевелят.

Собирались пулю вынимать — отставили. Ждут знаменитость из Петербурга.

Вечно деятельному — всё обрезано враз. И говорить не с кем. И передать невозможно. И сознание, осуждённое никогда не вмешаться в будущее, перебирает своё прошлое.

1906. Всё в мятежах и бунтах.

1907. «Не запугаете!»

Как эти фразы неподготовленные вдруг состраиваются. Счастье стояния! И несчастье брести среди раздоров злоб вместо упругости сцепленных государственных сил.

Но как жаловаться? Он должен был погибнуть ещё на Аптекарском, ничего не сделав. А отпущено было — пять лет работы.

И, ощущая в себе перекрестье всех тяжей России, — несомненность решения: с тем фанфароном идти на дуэль.

Да и сегодня — та же дуэль. Только враг — исподтишка, а грудь действующего всегда открыта.

Поразило выражение лица убийцы: торжествующая уверенность в правоте. Ликование достигнутой победы в кривой усмешке интеллигентного лица: поймут ли, как это остроумно?

Их всех обратили так. Полвека их обращали.

Что им Россия! Что её задачи...

Не-ет, это не агент Охранного отделения.

Посылаются нам в жизни пророческие предупреждения, какие-то заранее примеры и подобию, они являются как посторонние, а касаются нас больше, чем мы думаем. И мы обычно этих предупреждений не опознаём. Тогда, в речи об Азефе, так мерзко было допустить, чтоб охранный агент и направлял террор. А думские враги так и пророчили: правительство само погибнет от этих осведомителей! И вот — какое-то уродливое подобие того?

Как они будут сейчас доторжествовать невыигранное тогда... Как им всем этот выстрел кстати. Докопчил апрельские думские заседания.

Надо было найти время и внимание для полиции, не брезговать.

1909. Разгон России всё шибче.

1910. Год свершений. Хутора уже сеются по российскому лику, и меняется лик природы. И своя же счастливая сибирская поездка, подлинно вершина жизни: всё это — твоё создание.

Да может быть — ты всё своё и выполнил? Не так-то много отпущено отдельному человеку. Одному человеку — не всю Историю повернуть.

Но даже и в эту высшую пору, и даже особенно в неё, — был со всех сторон обставлен, связан...

Нет, не так! Нет: о, Господи! Благодарю Тебя, многощедрый, что Ты дал мне это всё — совершить.

Как раз с августа на сентябрь и был разгар поездки: вот эти самые дни, такие нудные в здешних торжествах, — в прошлом году такие раскидные, раздольные в сибирской степи, меж воздвигаемых одоньев, холмов зернового хлеба.

И — ещё бы разик съездить туда!

Прошла и ночь на 3 сентября, не такая грозная, как первая. И температура всё так же 37, и пульс не больше 90, — и так хочется поверить врачам, что надежда велика! Ни жара, ни бреда, только недвижимое тело тяжко налито, и слабость. Правый бок, вокруг раны, железно огружен.

Что там в глуби происходит тайно? Кровотечения больше нет, и повязки не меняют. И не лечат ничем. Нельзя?

Приехала Оля из ковенского имения.

Да, видишь, друг мой... Да... Вот так...

Но ни поздно вечером, после парада, не приехал Государь, ни рано утром.

Приедет днём?

А что у него по распорядку? А по распорядку опять вне Киева — Коростень, Овруч.

Так не приедет?..

Не шёл.

И — знал Государя Пётр Аркадьевич! И всё-таки — ждал, что придёт. Он приготовился говорить с ним уже не как подданный, а как присмертный. Одному ему, больше никому!

...Ваше Величество! Не обманывайтесь, что всё уже хорошо! Одна крепкая буря нас ещё повалит! Всё те же две силы разрывают нас — безответственные, безумные! И одна из них — вся под вашей рукой, расчистите эти заросли, Ваше Величество!

И сам распнутый, направо и налево, этот бычий разрыв испытавши своими плечами, — кого же взамен себя он мог предложить Государю? Ведь не было.

Жалел ли теперь, что криком таким не сотряс Государя раньше? Или, напротив, что не удержал его расположения?

Он вёл себя всегда так, как чувствовал в деле. Не мог он подмениться и не мог подменить дела.

Ну, только этой весной сильно вспылел с западными земствами.

Но пусть осудит тот, кто сам вёл государство.

Всё стройно до каждой башенки боковой — так никому не дано.

Почему если успешно тянешь главную работу и на главном направлении, то все вокруг становятся твоими врагами и всё вокруг — враждебным?

Как в речи сказал о строительных лесах: противники рубят их яростно, не давая нам строить, и леса эти неминуемо рухнут, так и сказал — *неминуемо*, и раздавят под своими развалинами нас (и мстящий Родичев: вы не достроите ваших лесов, упадёте!), — но пусть это случится тогда, когда в главных очертаниях уже встанет обновлённая Россия.

Но разве — она встала? Но разве главное уже сделано? Боже мой, теперь-то Пётр Аркадьевич и видел всё самое главное, — теперь, не имея сил приподняться даже на локте.

Умереть — совсем не страшно. Страха смерти не знаешь уже давно, самому удивительно, и это прежде пятидесяти. Все боязни всегда — за Россию.

О, не помогу уже ничем!

Страшно, что не найдётся наследников и не придёт додел. Мы все так не допущены до настоящего дела, вместо нас насажено всюду немцев или трухлявых уродов, а если появляются направительные руки, прокладывать дорогу, — тотчас налетают со всех сторон выбивать нам из державы циркуль, аршин, кирку, лопату.

...Ваше Величество! Если не образумить и тех и других — мы можем ещё рухнуть! Недопустимо жить стране в таком разрыве! У меня — тёмные предчувствия, Государь, — и не оттого только, что ждал меня этот выстрел. Пятый год ещё может и повториться, Ваше Величество. И не дай Бог опять война. Надо растить, растить здоровые слои! И не доверяйте корыстным людям, их много вокруг вас!

Тянулся, тянулся день, уже не с такою ясною мыслью, как вчера. То темнилось, то тошнило, то испарина, слабость, и всё железней огружена печень — и приехал петербургский Цейдлер, и всё равно не решаются ни на что хирурги.

А Государь — открывает в Овруче храм.

Очень ждал, хотелось, чтобы приехал Гучков: эти годы так хорошо понимали друг друга, восстановить бы сейчас.

И он — ехал, или выезжал, — но тоже не поторопился. Прислал вперёд старообрядческую икону.

А уже становилось всё хуже.

— Похоронить меня, Оля, в Киеве. В этом городе хорошо лежать.

Это и давнее было его завещание, все близкие знали: похоронить *там, где его убьют*. И получилось, что убили — в колыбели всей России, где первый русский корень, — и именно тут за последние годы ярче всего держалось русское национальное чувство, — не в чиновном Петербурге, не в академичной Москве, — тут! И для этого Киева он и держал последней весной свой бой о западном земстве.

В те недели и сорвавши сердце. Сейчас-то оно бы и помогло, разгонять кровоизлияние, сейчас-то и не было его прежнего.

К вечеру сознание стало сбиваться — и тут пришло ему в голову, что ведь он может Государю всё изложить письменно. Как же он не догадался раньше! Теперь фразы строились горячие и ещё куда убедительней, чем в полном яву. Теперь-то он совершенно убедит Государя! — и тот не может не выполнить, какое благо.

И он требовал бумагу, подкладку, ручку — и вдруг вспомнил, что рука-то правая — и всегда писавшая с поддержкой левой, теперь ещё ранена, как же он будет писать?.. И — ослаб.

Наплывали бреды. Сидела жена и доктор Афанасьев, не отходивший все ночи.

Утром сознание вернулось. Врачи были тревожны, находили воспаление брюшины, пульс 120. На что не решались в хорошие дни — решились теперь: перевязка. И операция на спине, вынули пулю-убийцу.

Посмотрел на неё Пётр Аркадьевич.

Сегодня он уже был так слаб, что не мог бы говорить много и сильно, приди Государь.

А Государь, оказывается, был в лечебнице вчера поздно вечером — но больной лежал без сознания.

А сегодня утром опять уехал из Киева. По расписанию.

В перерывах, в дрёме, в уколах прошло 4 сентября.

И думалось отрывками.

Он распахнул ворота в русское будущее — но как бы их не затворили опять.

Боже, как представить это Будущее — светло-высокое? или снова тёмно-клубистое? Как увидеть продолжение начатых движений — и как это всё повернётся?

Так бы и кинулся — участвовать в нём. Я — для него! Я весь — для него!

Но разливалось уже и примирённое отстранение: это — уже не моё. Всё — и так хорошо.

Утром 5-го Пётр Аркадьевич снова проснулся в полном сознании и требовал от профессоров:

— Как вы можете говорить мне неправду в последний день моей жизни?

Профессора уклонялись. Правая кисть была перевязана, а левой рукой он не мог себе сам нащупать пульса — да кажется его и не стало. Давали кислород. И кофеин.

Столыпин лежал сосредоточенный, в сознании.

Он ясно понимал, что умирает.

И сегодня — так и не было Государя...

Слабый, и сам несчастный своею слабостью, уклончивый, отвращённый — так и не пришёл.

И не без Божьей же воли нам послан в т а к и е годы — т а к о й Государь...

Не нам Твой замысел весить.

О, Господи, Создатель наш! Просвети его ум и сердце! Отпусти ему твёрдости для невзгод великих!..

Весь день 5 сентября больной, затемняясь сознанием, тяжело страдал, стонал, метался. Удивлялись, что сердце его ещё тянет — иногда совсем переставало, и только от кофеина возобновлялось.

Когда накануне установили кровоизлияние под диафрагмой — вероятно, следовало оперировать, удалить кровь, затампонировать печень. Не решились.

В комнату уже никого не допускали посторонних.

Вечером, впадая в забытьё, требовал электрического света. — «Дайте письмо!.. Дайте перо!.. Кто же даёт ручку без пера?»

И — что-то об управлении Россией.

Несколько раз ясно: «Финляндия», — и левой рукой чертил на простыне.

А дали карандаш с бумагой — не смог.

В восемь часов вечера стали холодеть конечности. Дыхание сильно затруднилось.

В девять сказал последнее: «Переверните меня на бок». Доктор Афанасьев перевернул.

И — совсем потерял сознание.

Стали впускать людей.

Протоиерей прочитал отходную.

Живой цвет лица сохранялся до самой смерти.

Жена каменела стоя.

В десять вечера, примерно в час убийства, после четырёх суток борьбы, Столыпин скончался.

Доктор Афанасьев, дежуривший около него четыре ночи, делился: приходилось наблюдать обречённых на смерть многих людей, выдающихся по интеллекту и способностям, — и обыкновенно все они цепко хватались за жизнь, обнаруживали растерянность, слабость духа, молили о спасении, ловили надежду во взгляде врача. А от этого обречённого — не было мольбы, но редкостное спокойное самообладание.

Столыпин встречал смерть как равный. Владетельно переходил из одного вида жизни в другой.

*ЧЕРЕЗ КОГО МИР СВЕТ УВИДЕЛ —
ТОГО И ОБИДЕЛ*

Объявление о смерти хотели задержать до утра, но это оказалось невозможно из-за паники, охватившей евреев Киева (слух просочился неудержимо), а тотчас и Одессы. Начались отъезды из города. Представители кинулись к властям — молить о защите евреев.

Защита была обещана — и дана. Внимание властей сосредоточилось на том, чтобы не допустить погрома. (Расчёт Богрова оказался верен.) Патриотические манифестации на улицах на всякий случай разгонялись полицией. Производились аресты лиц, за-

подозренных в подготовке погрома. В Киев стянули до 30 тысяч войск, ещё не разошедшихся после парадов, разместили близ еврейских кварталов. Исполняющий обязанности председателя Совета министров Коковцов разослал и опубликовал строгий циркуляр принять самые решительные меры для охраны евреев. Генерал-губернатор объявил повеление Государя, уезжающего из Киева: «Воспрещается толпе, обществам и отдельным лицам проявление своеволия, могущего вызвать беспорядок». Союз Михаила Архангела выпустил воззвание к своим членам соблюдать на улицах самый строгий порядок. В городской думе лидер правых сделал заявление, что всякое выступление против кого-либо противоречит совести и смыслу политики Столыпина, борца за порядок и законность. «Как духовный пульс населения Киева мы должны сделать всё, чтобы внести успокоение». Правые решили не допускать далее манифестаций, чтобы не дать толчка для общественных беспорядков. (Киевские же правые спохватились перед самой смертью Столыпина, что лечебница Маковского, где он лежал, не получила от полиции никакой охраны: начни Столыпин выздоравливать и найдись у Богрова единомышленник — ничего не стоило бы прийти в лечебницу и всадить добавочные пули.)

Вероятно, такое сдержанное поведение тем легче далось правым, что они никогда не считали Столыпина своим, но, напротив, предателем: вместо того чтоб отвергнуть и растоптать Манифест 17 октября, Столыпин искал развитие России в его вынужденных пределах. Хотя он и выволок Россию из революции, он остался им недостаточно хорош: та нетерпящая правая крайность, которая знать не желает никакого развития общества, никакого движения мысли, никаких тем более уступок, а только всемолитвенное поклонение царю да каменную неподвижность страны — ещё век, ещё век, ещё век. Правда, теперь, убитый евреем, Столыпин стал для правых более приемлем. Местные киевские союзники (Союз Русского Народа) готовились продемонстрировать в том же оперном театре, где прозвучали выстрелы, на спектакле «Жизнь за царя». (Но узнав о том, власти отменили этот спектакль — и дневной, и вечерний.) Однако в верхушке правых, в Петербурге, неприимчивость к Столыпину не изменилась: из думской фракции правых демонстративно никто не поехал на похороны — ни Марков 2-й, ни Пуришкевич, ни Замысловский. И правые газеты писали откровенно:

Россия не давала Столыпину своего имени... Да будут его увлечения — предостережением каждому его заместителю: не поддаваться гипнозу современных либеральных веяний.

Архиепископ Антоний Храповицкий на панихиде в Житомире осудил реформы Столыпина как левые и призвал православных замалчивать его грехи. А прославленный и безвозбранный в своей лихости царицынский Илиодор (к тому же и с личными счётами к Столыпину) отказался даже и панихиду отслужить: «Столыпин нам не родня, не знакомый, никакого добра не сделал».

А главный тон им всем — задавал Государь. Никак не осталось незамеченным, что он посетил лечебницу всего один раз — и даже не прошёл к самому больному. Давно разработанная программа чаянных торжеств выполнялась неуклонно, ни на волос не дрогнув от выстрела в театре: воинский парад, осмотры киевских заведений, поездка в Овруч и в Чернигов. Оттуда Государь вернулся лишь 6 сентября — уже слишком поздно, чтобы проститься с умирающим, но и слишком рано, чтоб задержаться до завтра, к переносу тела в Лавру. В механической программе своих торжеств Государь, как проходя между кеглями на цыпочках, обминул и первые минуты раненого в театре, и ожидания его в лечебнице, и день смерти его, и день перевоза в Лавру, и день похорон. Все видели, что российский единоподержец не сострадает раненому.

Передавали устно — и просочилось в печать: «Говорят, Государь не считает особенной потерей».

Тем легче не прихлынула большая волна сочувствия. Молебны по России сменились на панихиды, те отзвучали — и всё.

Тем более не нуждалась либеральная печать теперь и заикаться о какой-либо «глубокой печали». (Но вся пресса перепечатывала восхищение жандармского подполковника Иванова личностью Богрова.) Появилась возможность подекламировать:

Что передумал раненый министр перед смертью? Не прояснился ли в его уме истинный взгляд на сущность полицейского строя, в котором он жил и действовал?

И приляпать биржевую оценку от имени истории:

Был ли покойный большим государственным человеком? Была ли у него широкая, глубокая государственная программа с определёнными принципами и систе-

мой? Нет, он не отличался мощным размахом объединяющей идеи.

В эти самые дни правительственная комиссия в ковенском имении Столыпина изымала программу развития России на 20 лет. Судили о покойном газеты с той размашистой самоуверенной пошлостью, которую в XX веке никто не выразил так отъявленно, как журналисты. И поучала кадетская печать:

Никому не дано забывать, что *право* (то есть кодекс статей, выработанный выпускниками юридических факультетов и вогированный другими юристами в законодательном учреждении)

выше религии и выше национальных чувств.

Только Меньшиков в «Новом времени» написал:

Это был выстрел на весь мир. Убит в цветущем возрасте, посреди исполнения долга, политическая жизнь его только начиналась. Он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции. Это был новый тип государственного деятеля. А мы — ничем не можем ответить, кроме «вечной памяти» и синего кадыльного дыма. Так мы реагируем на то, что Россию обезглавили. Все эти панихиды — тени дел. А революции надо дать отпор не театральный.

А кроме журналистов и политиков разве остаётся ещё какое-нибудь мнение у страны? Русской потери у нас почти не объяснили.

Некоторые киевляне обсуждали ставить Столыпину памятник. Государство не предложило участвовать.

Хоронила Россия своего лучшего — за сто лет, или за двести — главу правительства — при насмешках, презрении, отворачивании левых, полулевых и правых. От эмигрантов-террористов до благочестивого царя.

Только в европейских странах можно было прочесть, что (французский официоз) покушение было не на лицо, а на основу государственного порядка. Что Столыпин был — великий деятель, опора порядка, за изумительно короткий срок восстановивший в России благоденствие. Что («Таймс») он приспособил русскую политическую жизнь к представительным учреждениям так скоро и в таком порядке, как это не было сделано ни в одной стране. Что он пал мучеником за свои убеждения, смерть его — национальное горе России, и можно только надеяться, что эра Столыпина не кончится с его смертью. Что (венские газеты) опять великий муж России пал жерт-

вой зверской страсти; русские социалисты-террористы, с большим влиянием в кругах русской буржуазии и университетских, называют себя освободителями, прикрывая этим отвратительное варварство и только препятствуя мирной культурной работе.

После смерти Столыпин лежал в дубовом гробу, в белом ките. Из многих венков вдова выбрала терновый и положила ему на грудь. У ног на подушке лежал измятый пулей орден Святого Владимира. В тесную лечебницу вход был затруднён, но шли чередой прощаться.

Хоронить намеревались у Аскольдовой могилы. Но Государь, посетивший лечебницу, повелел хоронить в Лавре.

7 сентября несколько вёрст от лечебницы до Киево-Печерской Лавры Столыпина перевозили в открытом гробу по улицам, запруженным толпами и обставленным шпалерами войск, — теперь дана была умершему защита, какой не хватало живому. То не находилось и одного жандарма, а теперь все сотни их, какие только собрались из трёх столиц, — ехали конные и шли пешие и впереди и позади процессии, формально — потому что покойный был и министром внутренних дел, но обрамленьем своим извращая его великую службу России. Множество лиц, каких не достало живому на поддержку, — все, все теперь были здесь, и депутации от учреждений, и высшие военные и гражданские чины. (Но Курлов отбыл в Петербург, Спиридович — в Ялту.)

Играли многие военные оркестры. Впереди процессии шли факельщики. Затем в белых одеждах дворяне, земские чины. Хор злополучного театра. В синих кафтанах хор соборных певчих. Десять хоругвей. Высокий крест. Попарно псаломщики и дьяконы с кадилами. Три архиерея, восемь архимандритов, митры блестяли на солнце. Кое-где перед колесницей народ становился на колени. Впряжены были 6 лошадей в белых сетках и с белыми султанами. При остановках близ церквей архиереи читали Евангелие. За колесницею после родных шли генералы, офицеры, монархические организации со стягами, везли сотни серебряных и живых венков, процессия тянулась три часа.

Не хватало малости: Государь изволил накануне отбыть из Киева на отдых в Крым. (Но был от Их Величеств венок. И от вдовствующей императрицы.)

А к 9 сентября, к похоронам, уже приспели и петербургские депутации. От Государственной Думы негусто — человек 50, прослойка русских националистов, которые только и верны были Столыпину от начала до конца (но и киевский их лидер Шульгин лечился в Крыму), да кучка октябристов с раскаявшимся Гучковым. Ни от левых, ни от крайних правых членов Думы не было никого. Родзянко привёз венки, но только от собственного имени. «А почему не от Думы?» — спросили его. — «Депутаты меня не уполномочили».

И — не было никого из великих князей.

Гроб простоял минувшие ночи в Трапезной церкви, у него дежурили предводители дворянства, земские деятели, гласные городской думы и опять-таки чины министерства внутренних дел. Правда — и верные друзья по земельной реформе — министр земледелия Кривошеин и помощник Столыпина Лыкошин.

Митрополит служил заупокойную литургию. Епископ Евлогий от Холмской Руси произнёс пылкую прощальную речь, назвал покойного крестоносцем.

Перед выносом гроба удобно расположились у места погребения представители печати, фотографы и кинематографисты. «Союзники» настояли, что это оскорбительно, — и потребовали удалить. Журналисты не шли, их вывели.

Под колокольный звон гроб понесли из церкви. На караул брали снова жандармы. На подушечках — снова ордена. И в белом облачении — 54 священника, 6 дьяконов, 4 епископа, митрополит. Гроб несли сановники, но не очень высшие (высшим — указал отъезд императора). Из министров сопровождали Щегловитов да Тимашев. Кривошеин вёл вдову. Да Родзянко, Гучков, Балашов, Владимир Бобринский. Пихно.

Какой-то мужичок старообрядец пытался сказать у гроба слово — жандармы оттолкнули его, не дали говорить.

После литии у могилы — с «Коль Славен», «Вечной памятью» и под три ружейных залпа за стенами Лавры — опустили великого русского в склеп, между Трапезной и Великой церквами. И стали заделывать.

Не запугали.

Убили.

71

А через несколько часов в одной из больших камер Косого Капонира начинался тайный суд над Богровым. Не оправдался слух последних дней, что Богрова будут открыто судить в Петербурге и так осветятся все подозрения против охраны. Нет, судили его, конечно, трусливо-закрытым судом, и не был опубликован обвинительный акт, — и нельзя было лучше подтвердить подозрения и укрепить левых: нужно *самим* быть очень виновными, чтобы так скрывать истину о деле Богрова! Богров и был *их* человек! Власти *сами* и подстроили убийство!

И чего, правда, стоили эти шпалеры войск при похоронах и жандармы, берущие на караул при орденских подушечках убитого, если скрывали суд?

...Как оказалось, вчера, 8 сентября, подсудимый просил бумагу «для чрезвычайно-важных показаний». Сообразуясь с тем, что он уже передан военно-окружному суду, тюремная администрация отказала Богрову в бумаге. К сегодня была осведомлена и прокуратура, но ничего не изменила в ходе.

Суд был назначен на пять часов пополудни. Не рассчитали, что в Косом Капонире нет электричества, а и день попасмурнел, начали уже в серости, и вскоре послали собрать керосиновых ламп.

Четверо членов суда были полковники и подполковники из гарнизона, председатель — генерал-майор, прокурор — генерал-лейтенант. Два последних, очевидно, имели случай заметить и усвоить все пренебрежения императора к раненому и умершему премьер-министру. Они и сами могли тут выводы сделать, а вероятно и спрашивали совета, мы никогда не узнаем у кого. Во всяком случае, было вызвано 12 свидетелей — и пятеро из них не явились. Курлов — даже и не числился среди вызванных, суд (а перед тем и следствие) не смел дерзнуть так высоко. Веригин как *совсем не причастный к делу* поспешил уехать в первых же днях в Петербург. Спиридович, связанный охраною при дворцовых торжествах, уехать из Киева сразу не мог, но пренебрегал вызовами на следствие и не являлся дважды. Когда министр юстиции предупредил министра Двора, что будет личным докладом им-

ператору добиваться вызова Спиридовича, тот явился на следствие раз, но (по сговору четвёрки) не ответил ничего по существу, ибо ведь он был и вовсе ни при чём. И тем более не явился сегодня в суд.

И никто из пяти неявившихся свидетелей не был востребован повторно.

Защитника не было, поскольку подсудимый от него отказался. Но и более замечательная особенность: не вёлся протокол судебного следствия, полная запись показаний, — как если бы этот суд происходил на театре военных действий и снаряды противника уже сотрясали бы башню. Или как если бы этот суд был — о карманной краже.

На суде присутствовали важные местные лица: генерал-губернатор Фёдор Трепов, командующий военным округом Николай Иудович Иванов (ему-то и спас Богров однажды жизнь, выдав покушение), киевский губернатор, губернский предводитель дворянства, несколько прокуроров. И министр юстиции Щегловитов заезжал на часть времени. И никто из них не указал на упущение с протоколом или не видели упущения в том.

Объяснение было слишком неприятно власти, чтоб его подробно расписывать. А по законам бюрократического бытия мнение о случившемся уже впечатлилось во всех них.

И вдруг Богров (всё в том же фраке, помятом при аресте и от тюремной жизни, уже без воротничка, манжетов и бабочки) — попросив на время своих объяснений оставить в зале и свидетеля Кулябку (по закону это воспрещалось, но суд согласился!), — Богров хладнокровно взорвал всё, что было на следствии. Ему не дали вчера бумаги представить всё это письменно — теперь он переворачивал голосом.

Его показания были — прямо противоположны прежним!

Уже не стало великого замысла убрать врага народа, врага инородцев, врага прогресса и конституции, а — произошла случайность: Богров ходил несколько дней с револьвером, да, но все ещё не решив, что кого-нибудь убьёт и кого именно. Он совершил убийство Столыпина безо всякого злоумышления и неожиданно для самого себя. В Охранном отделении он служил всегда чисто идейно, из сочувствия к целям охраны, а вознаграждения практически и не получал.

(Я — ваш! Я даже ещё более ваш, чем вы до сих пор думали. И если я потону — то и вы!)

Однако этой весной и летом к нему дважды приезжали делегаты от парижских анархистов, требовали отчёта в израсходовании партийных денег 1908 года, обвинили, что он — в сношениях с Охранным отделением, — и потребовали совершить какой-нибудь террористический акт, а иначе огласят его провокаторскую деятельность и убьют самого.

(Спасите меня, я ваш! Вы видите — я пострадал за вас.)

Анархисты посоветовали Богрову убить — Кулябку.

(Кулябко — вздрогнул как подстреленный. Так вот что ему грозило?? Он, рыдавший эти дни на допросах и признавший свою запредельную глупость, чтобы только избежать квалификации государственного изменника, — он сам и был главная намеченная жертва?!)

Вносились керосиновые лампы. Появлялись угрожающие тени на сводах, увеличенные чёрные взмахи передвижений и жестов.

Богров и сам наметил Кулябку — потому что при постоянных сношениях такое убийство можно было совершить вполне безнаказанно.

(Милый, милый умница Богров! — просветляется теперь Кулябко: так ведь если я главная жертва, так я уже почти и не виноват?)

Однако доверие Кулябки и его ласковое к Богрову отношение остановили последнего. В ночь на 1 сентября (как всё опять ложится удачно!) он и приходил домой к Кулябке, чтоб его убить, зачем бы иначе? — но был обезоружен его добротой и домашней ночной раздетостью.

(Я жалел — Кулябку, такого же, как вы все! Признайте же меня — я ваш!)

И — горячие слова в защиту Кулябки: что тот — поверил в Богрова. Что тот добросовестно заблуждался.

В странных тенях на сводах не отличишь мира этого от того.

И всё это — к вечеру, рядом с Лысой Горой.

Суд — поражён сенсационным поворотом.

— Но почему ж тогда вы убили статс-секретаря Столыпина?

— Совершенно случайный выбор. Просто — самое видное лицо в публике.

Откуда ж тогда наполеоновская гордость первых часов? И почему же столько дней в плаще геройском — шёл и шёл на эшафот? Нагораживал против себя всё самое тяжкое, до высшего размаха обвинения?

Суд — поражён, но не настолько, чтобы задать хоть один из этих вопросов. Да — поражён ли суд? Никто не спрашивает, чем же объяснить катастрофическую смену показаний? Какие мотивы? Где же истина?

Углубить допрос? Начать вести подробный протокол? Назначить переследствие? Отсрочить своё решение?

Нет, как будто снаряды ложатся близ самой башни Косого Капонира, — суд спешит кончать. Суд спешит кончить как можно быстрее и глуше — будто нарочно подтвердить все худшие обвинения левой прессы: это *ваш* человек!

Как по гладкому спуску допрашивается блеющий от радости Кулябко. (А ему тем легче теперь попасть в лад, что он всю новую версию слышал.) И он хвалит и хвалит верного сотрудника Богрова. Да ведь он и всё время так говорил: деятельность Богрова для Охранного отделения была исключительно полезной. Не поверить Богрову было бы совершенно невозможно, контролировать его — неэтично. А почему Кулябко не попытался арестовать на квартире Богрова мнимых революционеров? А потому что он ещё не схватил бы их на несомненном замысле, но этим выдал бы революционерам тайну Богрова. Что же касается допуска в театр, то (без подсказки Курлова Кулябко этого бы и придумать не мог, и шепнуть бы не осмелился): *Богров был допущен в театр с ведома Столыпина!!*

Уже засыпана, уплотнена земля стольпинской могилы. Теперь можно топтать и так.

Оказалось всё просто, исчерпывающе ясно. (Да ведь надо и спешить.) И при таком совпадении показаний Богрова и Кулябки — зачем суду допрашивать кого-либо из шести ещё прибывших свидетелей? А из неявившихся — зачитать Спиридовича и Веригина, — и суд может удаляться на совещание?

Тот каляевский задуманный Суд, героическое увенчание Акта. Что желает сказать подсудимый суду ещё?

Что в тюрьме он страдает от голода (тем большего, чем больше вернулась надежда на жизнь) — и просит накормить его хорошо.

Вызванный администратор доложил, что Богров содержится на офицерском положении.

Распорядились накормить вволю.

А всего через двадцать минут вернулись и с приговором: помощник присяжного поверенного Мордко Гершов Богров, признанный виновным в соучастии в сообществе, составившемся для

насильственного посягательства на изменение в России установленного основными государственными законами образа правления (им непременно нужно *сообщество*, так гласит статья 102-я, а иной статьи в кодексе и нет, весь кодекс не предусматривает одиночных революционных выстрелов, какие вспыхивают уже полвека, весь кодекс не готов к революционным годам), — и в предумышленном убийстве, —

— приговаривается к лишению всех прав состояния и к смертной казни через повешение.

И — качнулся Богров.

Так — сразу?.. Так сразу — и всё??

Рассчитал, должно было взять! Не взяло.

Шарик выпал — худшим образом.

(Да может быть суд и охотно бы его помиловал. Но ещё был один закон, которого Богров не знал: в радиусе двух вёрст от Государя всегда действует военное положение. Не в том дело, что обвиняемый убил премьер-министра, но он стрелял — в присутствии Государя!)

И отдельное постановление о Кулябке: не принял мер... не распорядился... не учредил наблюдения... Об этом — сообщить подлежащим властям гражданского ведомства.

Только и всего. Не судить же.

Теперь дали Богрову последний в жизни лист бумаги — уже в камеру не будет бумаги дано — для последнего письма родителям.

Расходились, уходили. Мелькали на сводах чудовищные тени тустороннего мира. Ждали конвоиры.

Богров при керосиновой лампе, на столе, мог писать.

Версии меняются — а родители одни. По версиям он карабкался, сколько мог, — а возможность этого письма не повторится.

И письмо — разве только к родителям? Его десятки раз напечатывают. Это письмо — ко всему миру.

Но э т о в с ё — как выразить? И — чтобы прошло?

«Дорогие мама и папа! Единственный момент, когда мне становится тяжело... Вы должны были растеряться под внезапностью действительных и мнимых тайн...»

И — мнимых. Кажется ясно: не верьте тому, что наговаривают обо мне: что агент охранки. Нет, вот ещё ясней:

«Пусть у вас останется мнение обо мне как о человеке честном».

Честный — нельзя выразиться ясней! Для Богрова-отца, для всего круга присяжных поверенных, для всего российского общества *честный* — это враг правительства и властей. Честный — значит убил идейно.

И цензуру пройдёт.

Так спешили с судом и казнь, что в следующую ночь, на 11 сентября, и должны были казнить. (Тщетно просили родственники Столыпина отсрочить казнь до результатов уже начинающей работу ревизии киевского Охранного отделения — 10-го сенатор Трусевич назначен, 11-го приезжает в Киев.) Казнили бы, если б не закон, что под воскресенье нельзя. Значит, под понедельник.

Никого из крупных террористов в России не судили, не казнили так судорожно поспешно. Быстро-быстро убрать, чтоб не передпрашивать, не переследывать, не переигрывать. Последний, судебный, вариант оказался совсем неплохой: почти никто и не виноват, почти ни на ком служебного пятна.

Однако Охрану начинают ревизовать — а суд не затруднился протоколом с подписью обвиняемого. И как же будет доказана безупречность Охраны?

И в субботу же 10 сентября, в тишине Косого Капонира, в камеру осуждённого на смерть, по закону закрытую для всего этого мира, прокрадывается или даже проходит нестеснительно — следователь!

Для добавочного допроса! Какого не бывает со смертником нигде никогда! (Мы узнаём, что такое *сферы* и сила их. Стены тюрем, во сколько бы кирпичей ни выкладывали их, имеют такую особенность: неодолимые для арестанта, они легко проницаемы для имеющих власть.)

Но и — встрепетьвается сердце Богрова! Его вариант работает! — ещё не все извивы закрыты уму!

Этот прокрававшийся некто — снова жандармский подполковник Иванов, почти влюбившийся в Богрова за эти дни, заявивший прессе: «Он — из самых замечательных людей, которых я встречал в жизни». (Много лет спустя, после всех революционных успехов,

уже вышвырнутый в эмиграцию, он ещё будет возражать белогвардейской газете, посмевшей оценить наружность Богрова как несимпатичную.)

Проник через непроницаемые двери — для благодарности за спасительный вариант, высказанный на суде?

Нет, потому-то он и пришёл, что судебный вариант Богрова оказался недостаточным.

Но и судебное решение — не обещанное.

Суд — не в руках Охраны.

Что же теперь, за гранью приговора?

Побег!! Ещё лучше! Не каторга — а заграница. И это — в руках Охраны.

Трудно верится.

Но если подполковник, вот, допущен к смертнику — вне всяких законов? И если заинтересовано *много влиятельных лиц*? И — разве это первый раз? А сколько уже Охрана устраивала побегов? — Петров-Воскресенский. Соломон Рысс. Да многие.

Это верно.

У человека извне, да ещё жандармского чина, бесконечный перевес непроверяемых жизненных возможностей перед смертником, запёртым уже на последние свои замки.

Но — вибрирующим в надежде! но — вибрирующим в комбинациях!

Да ведь не так много и просится дополнительно, надо лишь акцентировать. Так, как это высказано на суде, — недостаточно убедительно. Надо выявить, что была полная основа вам доверять до самого конца. Надо подчеркнуть, что к террористическому акту вас внезапно вынудили революционеры под прямым страхом смерти. И дать детали.

И подписать.

Этот объёмный разговор — скрыт от нас, мы ничего никогда о нём не узнаем, оба участника давно в земле. Но осталась формальная запись.

И по ней: недавно гордый смертник охотно отвечает на внезапном допросе, помогает искать формулировки и подписывает их.

Допрос начинается приёмом, как бы машиной времени переброшенным в 1911 год из послевоенного смятенного 1946: *просто* показом фотографической карточки какого-то человека: не знаете такого?

Ждущему казни — чем томиться о вечности, беседовать с Богом или раскаиваться в прошлом — ну отчего бы не пособить жандармскому подполковнику насчёт фотокарточек? Как будто только и ждал смертник этой фотографии — и вот непринуждённо сразу потёк его рассказ.

Да, да, в минувшем марте именно этот анархист пришёл ко мне после Лукьяновской тюрьмы и сообщил, что там против меня сильное раздражение: год назад пришло в тюрьму письмо, снова меня обвиняющее. Теперь ему поручено расспросить меня вновь.

Исчерпана фотокарточка, но уже рассказ потёк, что поделаешь. И не как на суде, есть время записать.

В мае — новый приход, два анархиста из Парижа, «революционная комиссия», объезжающая Россию, места, где прекратилась революционная работа: выяснить причины провала, собрать силы и оружие. За Богровым числят недостачу 520 рублей. Хотя не считал себя в растрате — взял у родителей, уплатил. Но в конце июля на дачу под Кременчугом (все чудеса оттуда — и Николай Яковлевич, и моторная лодка) всё равно прислали из Парижа заказное письмо (в Киеве бы оно было зарегистрировано, а в селе поди спрашивай) с враждебными контрольными вопросами.

И не жалко — отбросить триумф победы, сойти с пьедестала? Отринуть всё достигнутое? Войти в историю даже не бонвиваном из Монте-Карло, но мелким полицейским служкой? Снова подсчитывать растроченные и уплаченные партийные деньги, вспоминать мелкие доносы и объяснить весь подвиг своей жизни страхом: убить кого-нибудь в искупление, чтоб не убили за предательство тебя самого? И ясно же, что пишется протокол не тайною на века: чуть изменённое в передаче, это самое будет передано в газеты в эти же дни. Избрать позорный вариант, который самому же казался хуже смерти?

Но смерть, при столкновении с ней в лицо, оказалась ужаснее безделья.

Другим — всегда умирать легче, себе — всегда тяжелей.

А если жизнь, так — о-о-о! — я всё это ещё опрокину!

Да, 16 августа на киевскую квартиру явился к Богрову ещё один знакомый анархист, проездом из Парижа, от группы «Буревестник». (Долгий, тщательный, неторопливый протокол. Голова, как и раньше, находит много реальных подробностей.) Так вот: предательство Богрова установлено окончательно, решено теперь обо всех фактах сообщить во все места, где Богров бывает, и при-

сжанным поверенным, и всему обществу, — смерть гражданская. А за ней придёт и физическая от мстителей. Но разрешает «Буревестник»: реабилитировать себя террористическим актом не позже 5 сентября, а лучше всего — Кулябку.

Кулябку, Куля... Вот с Кулябкой-то и получился грубый перебор. Ещё один небольшой вопрос: «Почему во время суда вы так выгораживали Кулябку?» Богров: «На вопросы прокурора Кулябку так растерялся, не знал, что ответить. Я пожалел его».

Но не настолько же он любил Кулябку! — как товарища по постели? Тоже не ответ. Ну хоть так.

А тут случайно — киевские торжества, и вот подвернулся Столыпин. Знал его в лицо (случайная встреча на петербургской водопроводной станции), на нём же было сосредоточено и внимание публики — вот и решил. Но если б кого-нибудь раньше увидел в проходе — мог убить того. (Свободные возможности террориста!) Я совершал террористический акт почти безсознательно. (Преступление почти не готовилось, жест отчаяния, — так надо и Курлову.)

Мастер мистификаций, мастер *возможных* версий, — вот он построил ещё одну — и снова сходились даты, мотивировки, поступки. (Не все — но и в главной версии не все.)

Но если всё так — отчего б анархистам не похвастаться, что это убили они? (Слабое место.)

А ещё могла быть такая версия: зрело свободное гордое решение — а угроза подтолкнула. И то бы — лучше.

Но не то требуется заказчику.

С такой извивчивой изобретательностью взползти на самую верхушку шеста, ужалить к восторгу публики — и вдруг свалиться обмякшей тряпкой вниз?..

Ах! Умирать не хочется!..

Выстрелить, повернуть всю тупую русскую тушу, — а самому, обрызганному духами, снова войти в золотистый зал Монте-Карло?

Достоевский много душевных пропастей излазил, много фантазий выкубил, — а не все.

На следующий день, в воскресенье, к осуждённому был допущен раввин. И Богров сказал ему:

— Передайте евреям, что я не желал причинить им зла. Наоборот, я боролся за благо и счастье еврейского народа.

И это было — единственное несменённое изо всех его показаний.

Раввин упрекнул Богрова: ведь он же мог вызвать и погром.

Богров ответил:

— Великий народ не должен, как раб, пресмыкаться перед угнетателями!

Это тоже было широко напечатано в российской прессе.

И текли часы смертника — а к нему больше не шли. Не шли открывать дверь на побег...

Обманул Иванов?!

К вечеру воскресенья пустырь под фортом Лысой Горы был обыскан и оцеплен пехотой, казаками и полицией. Кроме законной комиссии получили разрешение присутствовать на казни человек двадцать из Союза Русского Народа, выразившего сомнение, что Богров будет действительно повешен, а не подменён. При посадке в арестантскую карету его, всё в том же фраке, уже теперь насмешливом, осветили электрическим фонариком, и союзники признали: «Он, он!» — «Я ему в театре хорошо поддал!»

Не походило на инсценировку.

Четыре версты ехали. Богров пожаловался, что его лихорадит.

На месте казни при свете факелов помощник судейского секретаря громко прочёл приговор (всё тот же, о преступном сообществе).

Спросили Богрова, желает ли ещё что сказать раввину. Да, он желает продолжить беседу с раввином, но наедине. — «Это невозможно». — «Тогда приступайте».

Обманул Иванов.

Попросил присутствующих передать последний привет родителям.

Затем — тихо и спутанно, ничего уже не разобрали.

Палач, из каторжан Лукьяновки, завязал Богрову руки назад. Повёл к виселице. Надел саван.

Из-под савана Богров спросил:

— Голову поднять выше, что ли?

Палач выбил табуретку.

Тело, поплясавшее вначале, — висело 15 минут, по закону. Горели, потрескивали факелы в глубокой тишине.

Кто-то из союзников сказал: «Небось, стрелять больше не будет».

А ему — уже и не надо было.

Союзники взяли на память по куску этой верёвки.

Многие киевские студенты-евреи надели по Богрову траур.

И как хорошо всё кончилось, этими правильными показани-ями: просто несчастные метания заземлённого человечка. Не осталось ни пятна на полицейских генералах. Ни на одном видном чине.

Ни — гордого вызова этой стране.

Ни — подрыва Верховной императорской власти.

Она так любила умиротворяющие незначительности. Сглаживающие выводы. Ничтожные концы.

72

Первого сентября Аликс была нездорова, и Алексей тоже, и она на весь день осталась во дворце и вечером не поехала в театр. А Государь днём на ипподроме с удовольствием смотрел своё любимое зрелище — церемониальный марш потешных; четыре полковых колонны из гимназистов, реалистов, городского и ремесленного училищ, приютов и школы призрения; и благодарил их всех. Малый отдых — и надо было ехать на долгий генерал-губернаторский обед. Ещё малый отдых — и в оперу, на парадно-народный спектакль, с двумя старшими дочерьми.

Во втором антракте вышли из ложи в аванложу, Государь курил, Оля и Таня пили прохладительное, а из должностных лиц зашли посетить их, узнать впечатления, пожелания, приказания.

В этот момент из зала послышались два выстрела. Они все вбежали в ложу и сверху, через бархатный барьер, увидели совсем близко, под собою, ещё стоявшего вприслон к оркестровому барьеру Столыпина.

И Столыпин медленно-раненно повернул голову сюда, увидел Государя, поднял руку, почему-то левую, и благословил носителя российской короны.

Государю видно было из ложи, тут всего сажени четыре, что Столыпин сильно побледнел, а на белом скюртуке у него — большое кровавое пятно. Сразу за тем он шагнул к креслу и стал расстёгивать скюртук. Профессор Рейн и седовласый граф Фредерик помогали, склоняясь к нему.

Из глубины зала, от выхода, доносился шум: это поймали, били и ругали убийцу, и весь зал, кто был там, гудел встревоженно. А вскоре сюда подбежал отважный Спиридович с обнажённой саблей, протолкнулся перед первым рядом — и так, с саблей, пружинно-преданно стал и стоял, как часовой, под самой царской ложей.

Вот тебе раз! Уж как великолепно была поставлена охрана! Нет, против этого бесовского отродья не уберёжешься. Бедный Столыпин. И как омрачительно, что это — в дни таких прекрасных торжеств.

Печальное это событие теперь удлинит антракт. Около Столыпина собрались врачи, какие были в зале. Приподняв его под руки — медленно повели. Праздничный зал снова наполнялся, гудел, но и сдерживался в присутствии Государя. И вновь заполнились все места, кроме столыпинского в первом ряду, близ прохода. И воинственный Спиридович вложил саблю, сел на своё место в третьем.

Публика потребовала, чтобы в ответ на злодейский выстрел был бы теперь непременно исполнен гимн. Вышла на сцену вся оперная труппа в костюмах салтанского царства и с тамошним царём, стала на колени и запела «Боже, царя храни». И поднялась вся публика. И Государь с великими князьями стоял у барьера ложи, чтобы всем было удобно видеть.

И повторили гимн ещё два раза.

Потом сыграли-спели 3-й акт, и Государь с дочерьми уехал. Предосторожности охраны были ещё повышены, если они допускали повышение. Весьма старался преданный генерал Курлов.

Государь возвращался во дворец в очень грустном состоянии. Он понимал, что произошло событие трагическое.

Бедный Столыпин.

Но сам удивлялся себе и досадовал, что не испытывал уж такого сокрушения и горя. И искал причину.

А всё потому, что Столыпин — передержался в должности. Зачем он не подал в отставку раньше? Ведь это уже так созрело, и он понимал. Зачем ожидал увольнения?

Подал бы в отставку — и был бы теперь цел.

Сейчас пока исполняющим обязанности назначить Коковцова, он уже не раз заменял Столыпина при отлучках.

Во дворце Аликс ещё ничего не знала о покушении. Она лежала с сильной головной болью и невралгией в спине, а наследник у себя в комнате, в постельке, но, слава Богу, за часы театра никому тут не стало хуже.

Николай сказал о случившемся, форсируя горькие выражения голоса. Тут ворвались Таня и Оля и в слезах рассказывали матери, как это всё было.

Но Аликс отнеслась спокойно. И Николай уже не так упрекал себя за безчувствие. Какое-то возвращалось равновесие.

Девочки ушли, он присел к Аликс, и она, через боль, морща лоб, сказала задумчиво:

— Знаешь... может быть, это и не самый плохой выход. Даст Бог он поправится — а отставлять его так или иначе было необходимо. Но неприятны были бы все эти толки, пересуды в газетах, в гостиных. И сопротивление матушки.

Фактически верно, но и какая-то моральная неправда в этом.

— Это я виноват, — сказал обезкураженный Николай. — Не решился. Уволил бы вовремя — и был бы Столыпин цел.

Аликс лучисто смотрела со своим глубоким пониманием. Но и сожалением:

— Моему супругу всегда ведь немного не хватает твёрдости. А на самом деле твёрдость монарха — это благо для подданных. Твёрдостью — все вопросы решаются милосердней.

Николай понуро сидел, локти на коленях, голову в чашку ладоней:

— А сам бы он — не подал, не дожидаться.

С весны Николай как освобождения ждал этой отставки. Как жалел, что в марте уступил Мамá! Никогда за всё время Дум не жгли его так думские прения, как весной по западному земству, особенно речь Маклакова: Государь увидел себя осмеянным, игрушкой Столыпина в неверном деле.

— Поставил такие жёсткие условия. Так грубо обошёлся с Государственным Советом.

— Да никогда, Ники, он не был по-настоящему наш. Укреплял возмутительную Думу. Держался за злосчастный Манифест. Сколько раз тебе все об этом говорили.

— Нет, в тяжёлое время он помог.

— Но и не так был твёрд, как Думбадзе.

Однако то тяжёлое время уже никогда не повторится. Войска, преданные Государю, уже никогда больше не могут так заколебаться. Народ не может второй раз поддаться такому агитаторскому одурманиванию. Трёхсотлетняя династия простояла кризис — и теперь ещё, может быть, простоят три тысячи лет.

— Манифест он никак не хотел отменить, ослабить, да. Все правые осуждают его.

— И никогда он не уважал нашего Друга! Даже был безсердечен к нему.

— Да, он не облегал жизни, — должен был согласиться Николай. — Утомительный.

О, какой утомительный! И почему, за что самодержавный Государь должен был находиться под таким угнетением?

Полноглухая тишина стояла в покоях — не слышен был ни дворец, ни город.

И Аликс сказала:

— Он был бы рад занять твоё место.

— Ну, как это? — запротестовал Николай, не только по невозможности дикой мысли, но и тон их разговора вызывал протест. — Это нелепо.

— Ну, я хочу сказать: он добивался чрезмерной славы и не опасался заслонить тебя.

Увы, об этом говорили не раз.

— Будем молиться! — настоятельно, как возражал, Николай. — Будем молиться, чтобы он выздоровел. А потом, конечно, отпустим на покой.

А Таня долго ещё и много плакала в ночь. Обе старших плохо спали.

О раненом сообщили утром, что он ночью сильно страдал, ему часто впрыскивали морфий. Но посетить его никак не выкраивалось времени: на этот день, 2 сентября, был назначен обширный парад войск, по окончании манёвров, и далеко, в 55 верстах от Киева, много времени взяла поездка на моторах туда и обратно, да сам парад. (Все великие княжны были на молебнах во Владимирском соборе и в Андреевской церкви.)

Но как удался парад! Гигантский неохватный четырёхугольник войск представляли ему Иванов с Алексеевым, такие славные генералы. В воздухе реяло шесть аэропланов. Четыре армейских корпуса проходили мимо Государя, казалось, бесконечно: пехота, артиллерия, драгуны, уланы, гусары, казаки — донцы, кубанцы, терцы, оренбуржцы, рысью и шагом. Потом конная артиллерия, военные тяжеловозы, автомобили, мотоциклеты, — и все ниточка в ниточку. Наконец церемониальным маршем прошла и воздухоплавательная команда — и перед Государем выпустили из строя вверх шар с двумя офицерами, до тех пор удерживаемый. Всего было войск до 90 тысяч, и каждая часть услышала царское спасибо.

Этот парад достойно завершил чудесные киевские дни — из самых счастливых дней во всей жизни Николая: тут, в сердце русской земли, и в месте крещения её, испытать такие восторженные встречи! Так воочию увидеть неистребимую любовь народа к себе!

С парада вернулся поздно, а ещё же был большой приём для офицеров, и вечером во дворце — обед для начальников частей. А назавтра рано-прерано надо было ехать в Овруч, где восстановлен был и ждал освящения древний собор Святого Василия, XII века.

А эта поездка была — ещё по-новому чудесной! До Коростеня — железной дорогой, оттуда, почти в 8 утра, — автомобилями в Овруч. Утро — пасмурное, но без дождя и обещало распогодиться. При выезде из Коростеня — хлеб-соль от крестьян. Дальше по дороге крестьяне настроили приветственных арок, украшенных цветами и иконами, — и много раз по пути ещё была хлеб-соль под восторги народа, и встречали крестные ходы.

А сам Овруч, оказывается, всю ночь не спал. Пришло из волостей 36 крестных ходов и 30 тысяч крестьян, перед самым городом толпа стояла в три версты длиной. На площади был выстроен почётный караул местного полка и потешные городского училища. Сыграли гимн, Государь обошёл караул и потешных. У собора его встречали депутации дворян, земств, города, и все подносили хлеб-соль. И духовенство во главе с архиепископом. Главная святыня — икона Святого Василия с мощами. Началась служба освящения храма и литургия. Потом Государь посетил архиепископа в его покоях.

Только вечером вернулись в Киев. По пути с вокзала во дворец Государь заехал в лечебницу, видел приехавшую жену Столы-

пина, но сам раненый был плох, и врачи не посоветовали заходить к нему.

Государь испытал и облегчение. В данную минуту и не хотелось бы разговаривать со Столыпиным.

А у себя во дворце нашёл горку сочувственных телеграмм — от английского и сербского королей, от французского президента, от султана, от имперского канцлера, от австрийского и других правительств. Все выражали сочувствие русскому Императору в его глубоком горе и возмущение злодейством.

Потоком этих телеграмм создавалось тоже невольное преувеличение роли министра. Николай вспомнил, как Вильгельм и Эдуард всегда жарко расспрашивали о Столыпине. Они не испытывали, как несладко работать с таким своеобразным министром, у которого все идеи уверенно настойчивы, и монарх ощущает, что не может сохранить самостоятельности. Так и в газетах этих лет установился к Столыпину нездоровый тон повышено-подробных сообщений: что он делает в данную минуту, что он собирается делать, — как если бы это был единственный центр государственной жизни.

В воскресенье 4 сентября после литургии в домовый церкви генерал-губернатора Государь посетил 1-ю киевскую гимназию: она праздновала свой столетний юбилей, открыта была как раз перед наполеоновской войной. Очень было парадно, чинно, все гимназисты и много приглашённых. В гимназической церкви отслужили молебен. В актовом зале — государевы портрет и вензеля, на эстраде хор, исполнявший «Славу». Государь поклонился всем, рассматривал выложенные реликвии. Кассо прочёл государев указ о пожаловании гимназии звания Императорской. «Ура», и весь зал запел «Боже, царя храни». И ещё были хорошие речи. Государь расписался в гимназической золотой книге, сказал несколько фраз ближайшим студентам, обошёл некоторые классы. (Кстати, оказалось, что убийца — как раз выпускник этой гимназии.)

Ещё присутствовал на открытии памятника Святой Ольге — дар Киеву от Государя. В тот же день успел осмотреть военно-исторический музей и кустарный музей, давались очень интересные пояснения. И принимал во дворце профессоров университета.

А вечером уже надо было садиться на пароход и плыть в Чернигов от иллюминированных киевских гор — давно задуманная речная

поездка, а чтобы проплыть по Десне — специально для царя переоборудованная из захудалого пароходика милая яхточка, какой не бывало в здешней флотилии. Против течения плыли медленно, хотя фарватер готовили специально, пришлось посидеть и на мели, — Десна песчаная, извилистая, судоходство по ней трудное. (Вся Августейшая Семья выходила на палубу, смотрела, как снимались с мели.) Но и какие же девственные, а порой уютные виды берегов!

И так всё время ушло на дорогу. Приехали в Чернигов уже после полудня 5 сентября, под звон колоколов. На специальной царской пристани встречал фронт почётного караула с гимном. Государь пропустил караул церемониальным маршем. Дальше встречали дети с цветами и лица свиты, приехавшие поездом, — Фредерикс, дворцовый комендант, начальник походной канцелярии, адмирал Нилов, и военные, среди них милейшие генералы Сухомлинов, Иванов, обязательный восторженный Курлов, и обер-прокурор Синода, и здешний губернатор Николай Маклаков, брат того язвительного кадета, а этот симпатичнейший, преданный — как это возможно, из одной семьи?

И этот губернатор устроил совершенно великолепную, незабываемую программу, хотя и на несколько всего часов. Хлеб-соль от городского головы, от мещанского общества, от евреев. В открытом экипаже — в кафедральный собор, а по сторонам — шпалеры, шпалеры жителей. Весь центр города утопал во флагах, зелени, цветах, балконы и витрины были завешаны коврами и малороссийскими тканями, бюсты и портреты Их Величеств и вензеля были выставлены во многих местах. Да и погода стояла изумительная! — здешняя осень солнечней северного лета. И какая дивность — собор! Прикладывался к святыням, ко гробу Святого Феодосия. Затем на площади произвёл смотр пехотному полку и двум тысячам потешных. Потом посетили дворянское собрание, там был дан завтрак. Осмотрел музей. Обошёл делегации крестьян Черниговской губернии — старост и выборных, всего больше 3 тысяч, — повторяло это, как в Полтаве два года назад. Какое сильное светлое чувство — непосредственно перед собой видеть живые, в натуре, свой бородатый, доверчивый, благодарный народ! — ничто так благотворно не действует, какое восстановление сил. К вечеру — опять на пароход, в Киев. И по берегу вослед пароходу бежали толпы, пели гимн, кричали «ура».

Правда, и сюда достигло известие об ухудшении здоровья Столыпина. А на другой день утром на киевской пристани после салю-

та ждал Коковцов и сообщил о кончине Столыпина накануне. Так-таки не спасли! Ах, бедный, бедный, и такой молодой, и оставил сирот. Как жалко их! Надо будет вдове назначить пенсию в размере жалованья, какое получал покойный.

А времени оставалось в обрез, через несколько часов отходил севастопольский поезд. Государь съездил в лечебницу, на панихиду, а у Аликс совсем не оставалось времени, царская семья спешила во дворец, собираться.

Столыпин лежал под простынями на столе. Бедная вдова стояла как истукан и не могла плакать. Сказала: «Вы видите, Ваше Величество, что Сусанины ещё не перевелись на Руси». Искренне жалея несчастную, Государь не возразил ей, конечно. Фраза — прощительная для вдовы, но сопоставление с Сусаниным уж чересчур натянуто. Там была — жертва за царя, здесь — правительственная служба, и не всегда уравновешенная.

А во дворце ждали новые телеграммы глав государств — теперь с сочувствием о смерти премьер-министра.

Но нет, что-то мешало Николаю слишком отдаться горю. Ещё и сейчас как будто оставалось с весны стеснение в груди, от насилия над своей волей. Ещё и сейчас не мог без боли вспомнить, как со слезами вышел от матери.

На киевских улицах порядок был до конца изумительный, трудно вспомнить, где ещё бывал такой. И в центре — по Александровской улице, по Бибиковскому бульвару снова шпалерами стояли гимназисты. Киевляне, южане, не похожи на скованных петербуржан, и от их несдержанных приветствий у Аликс навернулись слёзы, и Николай тоже был глубоко растроган.

На вокзал провожать съехались гражданские и военные власти, много дам. В царском зале обходили присутствующих. Там же объявил Коковцову, что его назначение министром-председателем уже не временное, но постоянное. Никто другой в правительстве не подходил больше, Кривошеин был слишком столыпинский, а Коковцов станет успокоительным контрастом к покойному, с ним легче будет дышаться, он будет руководить кабинетом, но не Империей. А министром внутренних дел вместо покойного? Государь предложил, не слишком уверенно, нижегородского губернатора Хвостова-племянника (Аликс хотела, Григорий так просил), но Коковцов — неожиданно отказался. Ну хорошо, пока не замечать, пусть исполняет обязанности Курлов, обсудим при вашем приезде в Крым.

А теперь предстояло — несмотря на весь киевский блеск — нечто ещё более радостное: путешествие в Крым. (Да ведь Крым и соединил нас окончательно, вспомни!) И притом — в новостроенный, ещё ими самими не виданный дворец!

Тронулись. Вот уж где для Николая наступил полный отдых, даже и от торжеств. Как ни радостны эти приёмы, депутатии, приветствия, цветы и возгласы — но отдыхать в одиночестве ещё лучше. Ничто так не успокаивает, как долгая равномерная поездка в поезде, — это понял Николай в свои многие поездки в Японскую войну. А после вынужденного замкнутого унижительного сидения в революционные годы, подлинного царского заточенья, — ни ездить верхом, ни выезжать за ворота куда бы то ни было, и это у себя дома! стыд за нашу родину и негодование! — после этого ещё больше оценишь мелькание, мелькание своей страны за окном. Долгая поездка из Петербурга в Крым и назад — всегда наслаждение.

А уж сам-то Крым!..

7 сентября приехали в Севастополь ко времени дневного чая — и сразу в Южную бухту. Стоял дивный тёплый день. Какая радость в такой день гребным катером снова попасть на свою любимую яхту, в каюту, где всё висит на прежних местах, прилечь на койку, подумать, встать, пройтись по палубе. Очень полное чувство возврата к себе, всё внутри устанавливается на свои места. В годы смуты «Штандарт» и был единственной их свободой, и так любили его, и так по нему скучали.

Но и — сразу же нельзя было Государю не поехать к черноморской эскадре. Осмотрел броненосцы и другие корабли. Блестящий отполированный вид судов и весёлые молодецкие лица команд привели Николая просто в восторг. Какая разница с недавней революционной пакостью! Слава Богу, всё наладилось.

А вечером иллюминирован оказался и город, и корабли. Светились транспаранты с вензелями Их Величеств, взлетали фейерверки. Рейд соперничал с городом световыми эффектами, суда ударили прожекторами.

Однако, как ни рвалось сердце, в Севастополе пришлось простоять на «Штандарте» почти неделю. Задержка была в том, что архитектор, построивший новый ливадийский дворец, умолял дать ему ещё несколько дней, чтобы всё было готово, как надо. И стоило прислушаться к его желанию, чтобы первое впечатление было полным и без изъяна. Да и Аликс лучше отдохнёт на привычной

освоенной яхте, чем в новом дворце, с ещё не совсем устроенными комнатами.

А пока стояли в Севастополе, Государь произвёл смотр войскам гарнизона на Северной стороне — в субботу 10-го, и потом ещё раз в понедельник, и потом, после дождей, ещё раз во вторник — для тех частей, которые не были в понедельник. А в воскресенье, после обедни и панихиды по усопшим государям и Столыпину, — представлялись ветераны севастопольской обороны. Потом пропустил церемониальным маршем юных гимнастов. И ещё саму яхту посещали потешные, показывали ружейные приёмы, соколиную гимнастику. И кончили шлюпочной гребной гонкой учащих.

В эти дни на яхте Николай много отдохнул и очень много спал — здоровым, крепким сном, при открытом иллюминаторе, морской воздух, поглескивание воды. Написал большое письмо Мамá — обо всём путешествии от Белгорода до Севастополя, так излеянным в семейных мечтах ещё с весны, обо всех впечатлениях, чаще радостных, иногда грустных, — методически и с аккуратностью обо всех событиях подряд, манёврах, парадах, приёмах, убийстве Столыпина, не забывая и погоду каждого дня (он записывал её отдельно и потом вставлял в письма), рассказал Мамá и о придворных церемониях и свадьбах, о которых она ещё не была извещена.

Дел в эти дни, собственно, не было никаких, предстояло только назначить, кем же заменить убитого на министерстве внутренних дел. Дворцовый комендант Дедюлин каждый день приступал и советовал — Курлова. И действительно, Курлов вполне заслуживал этого поста и был замечательный специалист полицейского дела — кому же и обязан был Государь своими чудесными безопасными путешествиями последних лет? И с какой искренней готовностью он всегда говорил, что скорее сам погибнет, но не допустит до беды с Государем! — впрочем, все опасности он предвидит и знает. По всему служебному расположению надо было назначить, конечно, Курлова. Но эта киевская история, по несчастью, легла на него как бы несколько порочащим отблеском: что всё-таки и он не усмотрел. И так, несмотря на настояния дворцового коменданта, Государь не решался. Аликс же хотела назначать Хвостова, весёлого и талантливого человека, по убеждениям правого, и дружественного к Григорию. А Коковцов в письмах настоятельно предлагал — Макарова, бывшего тоже столыпинского заместителя, которого Аликс не любила.

Но как ни хорошо текли эти дни в Севастополе, а самое замечательное было — предвкушение переезда в новый ливадийский дворец. Придворные, кто уже съездил в Ливадию за эти дни, привозили самые заманчивые известия: ослепителен снаружи! невероятно уютен внутри!

Это из самых больших радостей, доступных человеку: со своей любимой семьёй переезжать в новый дом, который тебе по сердцу.

Государь отклонял уже не первый проект железной дороги по южному берегу Крыма — чтоб она не нарушала тишины Ливадии. Да невозможно дать вторгнуться железу и дыму в эти заповедные, как будто от сотворения мира нетронутые места.

И каждый раз притягательно посмотреть на эти утёсы, эти выси, эту поднебесную дикость — ещё и с корабля, подъезжая. Чередование синевато-зелёных кудрявых и голо-скалистых мысов с глубоко запавшими голубыми бухтами.

В Ялте уже усиленно приготовились к прибытию высочайших особ (из-за постройки в прошлом году не приезжали сюда совсем). Был устроен особый помост для причала «Штандарта», на молу заново отделана царская беседка. Встречали местные власти и радостная публика. Мост на ливадийскую дорогу был украшен триумфальной аркой.

Шоссе поднималось — и бились сердца: что сейчас увидим? На архитектора Краснова надеялись — очень способный, и Николаше уже отстроил отличный дворец. Но когда вдруг возникла перед царской семьёй вся эта ослепительно-белая, радостная, изящная итальянская стройность — они все ахнули. Вышли из автомобилей, стали обходить, потом входить, не погоняя удовольствие, но для его, — Аликс не выдержала и ещё далеко до середины осмотра сказала:

— С детства мечтала о таком дворце!

Действительно: стены, которые сразу любишь. Ступеньки, которые так и зовут всходить и сходить. А кабинет Аликс, очаровательный, светлый, на втором этаже угловой, с балконом на Ялту! А большой кабинет самого Государя! Все спальни какие светлые, милые, весёлые, соединённые общим балконом. Угловая игральная Алексея. А мавританский дворик! А столовая к нему!

— Теперь мы будем здесь каждую весну!

— Иногда и осень?..

С более важными докладами министры будут приезжать, им тоже приятно.

Зиму в Царском, лето в Петергофе, а здесь — весну и осень. Каково здесь в начале марта, когда в Петербурге слякоти, туманы, мятели, — а здесь глицинии, акации «золотой дождь», итальянские анемоны, тюльпаны, ирисы!

Теперь — на сколько дней увлекательное освоение новых комнат, устройство в них!

Предстоит 16-летие Ольги, устроим бал — здесь?!

Какое чудесное будет отдохновение, какая желанная жизнь! Тут, в любимом семейном кругу, в соединении с близкой, любовно-дружественной душой, за прогулками, завтраками, чаем, чтением друг другу вслух, иногда небольшими дружескими *parties* с милыми любезными друзьями, — так можно было бы провести и всю жизнь, если б не иметь на себе груза обязанностей.

У Аликс блистали её дивные гордые глаза:

— Это всё — надо показать нашему Другу! Я хочу, чтобы наш Друг увидел и благословил этот новый дворец! Ведь мы — поживём теперь здесь долго? Декабрь здесь — изумительный! Пригласим его сюда на твои именины?.. И он расскажет нам ещё о Палестине.

Минувшей весной Григорий ездил в Палестину, куда императорской чете положение и обязанности не позволяли так просто поехать. А Аликс очень хотелось.

Как будто — место же не изменилось, то самое, и вот он рядом, отцовский деревянный темноватый и сыроватый дворец, — но этот белый, праздничный, ещё более выдвинутый к морю, к обрыву — всё меняет! И — чуждая беломраморная цельная скамья при беломраморном цельном столике — сесть лицом к морю и замереть. Дорогое Чёрное море! — есть ли что на свете благословеннее тебя? Смотреть отсюда, из-под сени олеандров, — часами. Набегание мощных морских валов (их слитный шум достигает и сюда). Вдали — пароходы, паруса. С этой высоты — безлюдное, прямое единение с морем.

Человек с чувствительной душой не может не впечатляться ежедневным ходом природы через всех нас. И глубже всего воспринимается природа в отъединённости от людского множества. Что может сравниться с дивными ливадийскими и ореандскими высотами над морем? Отсюда смотреть, замерев, на эту обворожительную, необъятную, переменчивую, рябчатую, то синюю, то зелёную, то лиловую водяную скатерть. Или гулять с кем-нибудь в тихой беседе по горной тропе, так особо проложенной к Ореанде,

чтобы не подниматься и не опускаться, не шире и не уже, а всегда на двоих, — отступают все эти петербургские неприятности, настойчивости, домогательства, дразги, все эти головоломные государственные вопросы, которым нельзя отдавать всю страсть и сердце, потому что лопнет всякое нормальное сердце и не выдержит никакой ум, — а спасенье от них только и есть: на несколько недель или месяцев отодвинуться, забыть, как не было, и отдыхать в этом уголке, подобии Божьего рая, вдыхать магнолии, щуриться на море меж ветвей.

Нигде больше не чувствуешь себя так в раю и так отдельно.

А всё же, как ни стараться забыть, — нет окончательной лёгкости: от уютнейших крымских гор накинута и далеко на север и на восток легла распространная мантия России, — и эта мантия нечеловечески оттягивает плечи, никогда от неё не забыться вполне.

Через немногие дни приехал Коковцов, только входящий в дело, и значит, много вопросов.

И среди них: весьма неприятно проходит следствие по убийству, ложится тень на Курлова и Спиридовича — не только плохая порядочность, но как бы даже косвенное соучастие.

Это ужасно.

Но таким образом Курлов не может воспринять от убитого — поста министра внутренних дел?

Но этим самым он уже и жестоко наказан.

И кого же теперь? Пришлось принять кандидатуру Коковцова: Макаров.

Ну, пусть пока.

Однако Коковцов считал, что надо наказывать или даже судить Курлова и других.

Но ведь нет такого точного закона, который бы они нарушили! Государь находился в смущении и затруднении.

Но вот что: под влиянием упоительного крымского воздуха как раз в эти сентябрьские дни приспело выздоровление наследника. И Государь, в тёплой волне благодарности, которая уже и не помещалась в нём, хотел и других одарить милостью.

И он выразил Коковцову, что хочет ознаменовать выздоровление наследника добрым делом: прекратить следственное дело Курлова–Спиридовича–Веригина–Кулябки.

А Коковцов убеждал, что нельзя заглушать естественный ход следствия. И всё общество следит пристально.

Ну так тем более нельзя поднимать меч так высоко.

Да ведь Государь прощал и за себя: ведь и его самого могли убить — и в театре, и в Купеческом саду.

А он — прощал.

По новизне ли после пяти лет, было свежо и удобно с Коковцовым. Смена министров всегда освежает. И Государь сказал ему напрямую:

— Я рад, что вы не ведёте себя, как покойный Столыпин.

— Ваше Величество, — возразил Коковцов, — Столыпин умер за вас.

Ну, далеко не совсем так.

А государыня, не стоявшая долго на ногах, усадила Коковцова рядом, беседовала милостиво и сказала:

— Мне кажется, вы придаёте слишком много значения деятельности и личности Столыпина. Верьте мне, не надо так жалеть тех, кого не стало. Я уверена, что каждый исполняет свою роль, и если кого нет среди нас — то это потому, что он уже окончил свою роль, ему нечего больше исполнять. Я уверена, что Столыпин умер, чтоб уступить вам место, и что это — для блага России.

73'

(Царское милосердие)

Ещё при неумершем Столыпине Коковцов назначил ревизию киевского Охранного отделения. Министр юстиции Щегловитов приехал в Киев и внезапно для Кулябки опечатал отделение. Ещё не был казнён Богров — уже прикатила в Киев и сама ревизия: сенатор Трусевич с отрядом судебных и полицейских чинов. Можно было ждать безжалостного расследования. (Особенно потому — публика не держала этого в оскорблении, а в чиновном мире это всё, — что Трусевич был обойден и оттеснён Курловым по службе и, стало быть, его личный враг. Впрочем, и Кулябка был назначен на свой пост тоже при Трусевиче, это ослабляло.) Отобраны были дневники агентов и филёров. Даже предприняты хлопотливые допросы сотен полицейских (частью уже воротившихся в Петербург) об их стоянии при проездах Государя. В общественном мнении убийство и поспешный скрытый суд повисли загадкой — и все ждали от Трусевича сенсационных разъяснений. В Государственной Думе (она открылась как раз в 40-й день по смерти Столыпина, но

не его почтила, а умершего между тем члена Думы, лишь потом Родзянко напомнил о Столыпине) новый министр внутренних дел Макаров обещал, что правительство ничего не скроет, но намерено пролить самый яркий свет.

Однако весь этот размах разоблачений повис в воздухе. Шли месяцы — и не только не был пролит яркий свет, и не только не было ничего опубликовано официально, но когда газеты время от времени печатали якобы подлинными куски предварительного следствия о своре Курлова (все четыре имени были уже широко известны и соединены), то редакторам грозили судебной ответственностью, если... материалы окажутся подлинными. Был слух, надежда общества, что Кулябку подвергли домашнему аресту, но и этого не произошло.

Ревизия проходила вполне скрыто. Кулябко, сколько мог, тормозил её, а сколько успевал — врал, ещё и меня показания. На первом допросе он отрицал даже, что Богров был допущен в Купеческий сад. Но во всяком случае вся четвёрка знала, что Богров — в театре (как и сам Богров показал в первую ночь). Веригин по неопытности допустил колебание: ему *кажется*, что Кулябко докладывал об этом генералу Курлову. Курлов: абсолютно ничего не знал, и так же твёрдо, что не знали Спиридович и Веригин. Закрутившийся Кулябко напоминал, что оба знали Богрова в лицо, и видели в театре, и не могли не узнать, и почему-то же Спиридович остановил свою занесенную над Богровым саблю. Тем настойчивей был Спиридович: что от него умышленно что-то скрывали. А уж Курлов: и в лицо Богрова не знал, и фамилии не знал, и ни с какой стороны вообще ничего не знал.

Как бы ни рвался Трусевич к следствию, но уже была охвачена его ревизия параличом Верховного пожелания. И записывала так: «Полковник Спиридович дал сенатору свои объяснения». Всё. (На время следствия Спиридович и не отстранялся от должности начальника дворцовой охраны.)

Трусевич дал себе волю только в расследовании денежном. Он вывел, что Кулябко тратил огромные средства на агентуру и наблюдения, а поставлены они были слабо. Что Курлов безконтрольно ведал суммами по 150 тысяч рублей и из них выплачивал личные долги, а Веригин так и не отчитался в 50 тысячах.

Но Курлов на все суммы представил расписки каких-то подотчётных лиц. И доказывал, что не только не расплатился с долгами, но остаётся в задолженности, что и подтверждает его честность. Вообще же касаться частных экономических операций сенатор Трусевич не полномочен.

Сложны, неприятны были Курлову все эти объяснения перед ревизией, но и не так же, как если бы пришлось повидаться со Столыпиным в его последние дни, когда по телефону три раза вызывали Курлова к умирающему, но все три раза удалось не попасть туда. Там он должен был бы отвечать неизбежно нечто другое и при неизбежных свидетельствах — и теперь было б ему трудней свести концы.

Ясный ум юриста и человека, долго служащего, подавал Курлову неопровержимые защитные аргументы — и он, третий месяц отбиваясь от ревизии, оставался товарищем министра. И удержался б дальше, если б не подло-лукавая подножка Макарова. Тот, воротясь из Крыма, перedal Курлову якобы слова Государя: «Я удивляюсь, что такой честный и преданный слуга, как Курлов, не подал до сих пор в отставку». А — как проверить? Не запросишь Государя, так ли он в действительности высказался? Курлов вынужден был подать в отставку. Большое упущение: теперь из-за этой отставки, даже добившись оправдания, он не получит ни полного подсудного содержания, ни максимальной пенсии и не сможет быть назначен в Сенат. (А всё это очень бы ему пригодилось теперь, когда он готовил вторую женитьбу. И вскоре же Распутин, большой сердцевед и христианин, охотно обещал помочь Курлову вылезти из-под всех несправедливых обвинений.)

По причине высокого положения Курлова итоги ревизии были поданы не по судебной линии в Сенат, но — в Государственный Совет, и там несколько месяцев томились безо всякого разрешения. Это составляло уже 9 толстых томов, но ещё надо было испросить новые объяснения четвёрки. Они все пришли не короткими, но от Курлова — необычайно пространными. Прежде всего он отводил ото всех обвинений Веригина и Спиридовича, ибо хотя они и носились поверх всей охраны, но никаких официальных поручений по ней не имели. Далее он отвергал, что Кулябко не соответствует должности, а только — не отличается талантливостью, так этим не может похвастаться и никто из жандармских офицеров в России. Курлов спрашивал в свою очередь: где же точная формулировка деяний, которые ставились бы ему в вину? Единственный фактический момент: нарушение циркуляра о недопущении секретных сотрудников для охраны государственных лиц. Но, во-первых, он и не знал о допущении, а во-вторых, этот циркуляр издан по Департаменту полиции, Курлов же как товарищ министра стоит выше Департамента и не обязан подчиняться той инструкции. Совершенно неуместно и обвинять, что не была использована связь кухарки Богрова с филёром Сабаевым для проверки, существует ли террорист: такие методы не могут быть вменены в обязанность полиции, они противоречат этическим нормам. Самое же главное: не могут быть виновны одновременно и начальник и подчинённые. Раз Курлов ничего не знал, то виноват один Кулябко. А если бы Курлов знал, то был бы виноват он, а Кулябко чист. Но Курлов даже обо всём плане покушения ничего не знал до самого 1 сентября, но и в этот день — не подробно. А весь тот день он должен был простоять на улицах, обеспечивая проезды Государя. Не мог же генерал Курлов, начальник *всей* охраны, лично заняться слежкой за Богровым. В таком неохватном деле невозможно руководить, не доверяя своим подчинённым. Курлов даже в театр прибыл позже Столыпина и только *от него* узнал, что не состоялось какое-то свидание террористов на каком-то бульваре. Тут надо отметить, что высшего руководства поли-

цией никто никогда со Столыпина не снимал. С другой стороны, ещё и теперь неизвестно, может быть, сообщения Богрова и не были вымышлены. Никак нельзя и упрекнуть, что охрана внутри театра была недостаточна: там находилось 95 чинов охраны при 22 офицерах. Но вообще надо признать, что даже при самой идеальной постановке охраны не существует возможности предупредить террористические акты, особенно одиночные.

(Пройдёт 10 лет, и в эмиграции он состроит ещё безупречней: «Сообщения Богрова сильно меня тревожили и, несмотря на скептическое отношение Столыпина, я настаивал на вызове одного из офицеров личной охраны министра», — то есть ещё одного из Петербурга в дополнение к сотне здесь. — «Но Столыпин находил и без того преувеличенными меры его охраны», — то есть неохраямую прихожую и сад под окнами первого этажа. После этого Курлов сам «намеревался ни на шаг не отходить от Столыпина» в театре, но тот же сам его и послал выяснять у Кулябки — чего единственного Курлов все эти дни не успевал.)

А Кулябко теперь в ответах Сенату отказался от первоначальных своих показаний, что Курлов *знал*, и просил считать действительными новые показания, что Курлов *не знал*.

И всё же выводы Государственного Совета оказались не в пользу четвёрки. Курлов не выполнил условия Столыпина: не принимать важных мер по киевской охране без соглашения с киевским генерал-губернатором. Напротив, непомерно расширил охранные права Кулябки, не соответствующего даже и своей должности. Легкомысленно доверил ему действовать с Богровым, не подвергнув никакой проверке первостепенное сообщение, а то мистификация была бы разрушена тотчас. Курлов по приезду в Киев не произвёл элементарной проверки агентыры. Пренебрег предупредительным сообщением о личности Богрова из Департамента полиции. Не придавал значения подозрительной переменчивости богровских сведений. Билеты распределяла комиссия, в которую входили и Спиридович и Веригин. Заведомо политически неблагонадёжный Богров был допущен без обыска и без досмотра и в Купеческий сад, и в театр — и свободно разгуливал там, выбирая жертву. Для охранников обязательна подозрительность, здесь её не было, а систематический ряд бездействий. Все шаги или исчезновения Богрова принимались с полным доверием. Подготовливаемый террористический акт был предметом общего обсуждения четвёрки, и никто из них не может быть отведен от следствия. Наличествуют преступления, рассматриваемые в судебном порядке. Возбудить уголовное преследование и назначить следствие.

Так беспощадно звучат юридические доводы и так же беспощадно они обрушиваются на людей незащищённых. Но *эти* были скрыто защищены настолько, что не страшна была Курлову и враждебность председателя Совета министров. Министр юстиции был понуждён к двум решающим послаблениям. Поскольку не существовало предварительного сговора их четверых с Богровым о его злоумыслии — то

преступление их должно считаться не политическим, а по должности. И поскольку деяния всех четверых совершены при исполнении обязанностей не военных, но полицейских, то, хотя трое из четверых носят военный чин, они должны быть подвергнуты суду не военному, а гражданскому.

Всего лишь убили первого министра страны — гражданское нарушение по должности. Вся главная туча, ещё не ударив, разряжалась.

А пока, что тоже было благоразумно: 31 января 1912 высочайшим приказом по военному ведомству был уволен *по домашним обстоятельствам* от службы Отдельного Корпуса жандармов подполковник Кулябко — с зачислением... в пешее ополчение.

Долго ли, коротко ли, — весной 1912 было учреждено следствие сенатора Шульгина. В июне он начал его. В августе приехал и в Киев. Всеми такими затяжками очень излечивается общественное волнение: долгие месяцы публика уверена, что правосудие движется, оно — придёт. А к тому времени остывают страсти. И если с Богровым полезно было кончить в 9 дней, то разбор четвёрки естественно растянулся на 15 месяцев.

Однако всё ж дело закручивалось. И Курлов, теперь свободный от службы, засел за новое объёмистое сочинение, где отточенным взглядом бюрократического скалолаза не упускал ни одного выступа или углубления для носка или когтя, чтоб не опереться, не подтолкнуться к спасению. Всё та же главная схема защиты, выстроенная им в первую сентябрьскую ночь, дальше от раза к разу у него тонко развивалась, исхищрялась, умножалась и дополнялась.

Он и вообще не может быть обвинён в бездействии власти, ибо не имел прямого распоряжения чинами местной полиции. Он только давал руководящие указания по докладам. Потом: все главные охранные меры принимались по соглашению с генерал-адъютантом Треповым. Затем: Богров никогда не привлекался к политическим дознаниям, и его никак нельзя было считать политически неблагонадёжным. Не было и никаких оснований сомневаться в сведениях, сообщённых Богровым. Следить за Богровым? — конечно, следовало, но Курлов считал, что такой элементарный приём розыска никак не может быть упущен опытным начальником Охранного отделения. Сам факт преступления Богрова был совсем несложен. Каждое сведение и каждое распоряжение подробно докладывалось статс-секретарю Столыпину. Курлов теперь припоминает, что, кажется, Богрову, да, было поручено следить за министрами в Купеческом саду, но с достоверностью о допуске Богрова в Купеческий сад Курлов никак не знал. Посылать агентов непосредственно на квартиру Богрова было недопустимо: так можно было спутнуть прибывшую группу террористов. Перед спектаклем и в 1-м антракте Курлов был занят тем, что расспрашивал Столыпина, что тому известно от Кулябки. И пытался получить сведения от Кулябки, — но тот не успевал рассказать существенного, и потом Курлов докладывал статс-секретарю свои неполные сведения. А всё 1-е действие и всё 2-е дейст-

вие Курлов обсуждал с дворцовым комендантом, что предпринять. Выстрел произошёл совершенно неожиданно и не мог быть предусмотрен. И в голову не могло прийти Курлову, что Богров в театре. Курлов предупредил Кулябку, что Богров должен неотлучно находиться при Николае Яковлевиче. Вполне возможно, что Богров и за час не знал, что ему придётся убивать, требование застало его врасплох и подчинило чужой воле. Здесь надо искать глубокие политические причины и неведомые нам тайные силы, а не обрушиваться на отдельных служебных лиц. *Личных счётов* со Столыпиным у Богрова не могло быть, а поэтому не могло быть у него инициативы совершить это убийство с риском для своей жизни. Курлов понял так, что Кулябка разговаривал с Богровым где-то у подъезда театра, возможно — во время спектакля. О перчатках? — да, что-то Кулябка сказал о перчатках, но не было понятно, что речь идёт о белых театральных, а не простых обиходных. Решено было, что после спектакля Кулябка пойдёт и сам станет на наружное наблюдение за домом Богрова. Со Спиридовичем? — кажется, никто не вёл никаких разговоров, во всяком случае, это не сохранилось в памяти. После покушения Курлов приказал Кулябке составить подробный рапорт обо всей этой истории, но Кулябка почему-то медлил исполнить это приказание, поэтому Курлов и не мог собрать точных сведений, что же произошло. Взять Богрова для допроса в Охранное отделение? — да, Курлов поддерживал такую мысль, но её разделял и новый председатель Совета министров статс-секретарь Коковцов. (Такие петли, вовремя наброшенные, очень помогают удержаться над пропастью.) Генерал-губернатор Трепов (ещё петелька) никогда не заявлял о несоответствии Кулябки занимаемой должности и был согласен возложить на Кулябку заведывание народной охраной.

Стал сенатор Шульгин собирать следственные протоколы Богрова — и вдруг в суде почему-то *не оказалось никаких протоколов*, — они почему-то не велись. И пришлось ему допрашивать присутствовавших на суде прокуроров и сановников, чтобы восстановить ход суда.

Несмотря на изумительно находчивые объяснения Курлова, несмотря на его авторитет в полицейском деле и правоту всех его методов и теорий розыска, — сенатор не дрогнул и возвёл на Курлова всё те же обвинения: преступное бездействие власти; не принял мер предотвращения злодеяния; не распорядился о надзоре за Богровым, об исследовании в его квартире, о проверке его сведений; *з* *н* *а* *л* о выдаче билетов оба дня, не воспретил, не распорядился обыскать на оружие, наблюдать за ним в театре; не установил охраны министров, об опасности которых было предупреждение.

Также и трём остальным чинам сенатор не нашёл смягчающих обстоятельств.

Обвинительные заключения были составлены в августе 1912 (даже и в 1914 цензура не пропускала к печати многие части их, а Спиридовича, как близкого ко Двору, закрывала полностью). Но правосудие (в полной мере след и к лицам, поставленным высоко) — самая медленная из ко-

лесниц. И только в декабре 1912 собрался департамент Государственного Совета разобрать дело курловской четвёрки.

Все изучившие дело — и сенатор-докладчик и прокурор — обвиняли согласно. Богров имел возможность также и бросить снаряд в царскую ложу, и остановила его не полиция, а лишь боязнь еврейского погрома. Если бы Курлов не знал, что Богров в театре, то это ещё усугубило бы его вину — незнания. Он был командирован поставить всю охрану — и не может сваливать вину на подчинённых. Спиридович и Веригин, каковы бы ни были их служебные поручения в тот момент, состояли на выдающейся государственной службе; они знали, кто такой Богров, видели его в театре и молчали.

Хотя обвинения формулировались о бездействии власти с особо важными последствиями, но из материалов выпирало, что все четверо были соучастниками убийства, а Кулябко — даже очень активным.

Так, вопреки милости, выраженной Его Величеством, следствие ползло и ползло, подступая вот и к горлу.

Но не суду был предложен этот обвинительный акт, а почтенным старцам Государственного Совета. А они все почивали в сени благой государевой воли и ею держались. И были ещё злы на Столыпина. И они же своим долготочинным сердцем не могли приесть такого грубого обвинения. Да кто-то из них и сам когда-то попадал в тяжёлые служебные обстоятельства. Да кто вообще — святой и не может попасть? А Курлов не раз и заступался за обвинённых в бездействии, в превышении, в растратах. Между людьми, кто служит десятилетиями единому аппарату власти, должна быть взаимная выручка. И голосами старчески-блеющими, с задыханием и дребезжанием, аргументировали один за другим: что если Курлов виноват, то не виноват Кулябко; а если виноват Кулябко, как видят все, то не виноваты трое остальных. С Курловым же случилось не бездействие, а несчастье. Ни от какого начальника нельзя требовать, чтобы он всё осуществлял сам, не полагаясь на надёжных подчинённых.

Единодушно осудили только Кулябку — за всё, вместе с воровством казённых сумм, на страшный срок в 16 месяцев тюремного заключения. (Высочайшим повелением этот срок был сведен к 4 месяцам.)

О трёх остальных разделились и голоса департамента. Шесть членов (среди них многопрославленный потом плаксиво-благостный Штюмер) — за оправдание, пять — всё-таки за осуждение. Но среди пяти был председатель, да прибавил к ним свой голос упорный в честности министр внутренних дел Макаров, — и так, неосязаемым перевесом, обвинение всё же состоялось. Однако шестеро оправдателей потребовали, чтобы на высочайшее усмотрение было представлено и их особое мнение.

Хотя следствие тянулось уже 15 месяцев, но общество не забыло, ждало решения, в газеты пробивались то сведения, то опровержения: голоса разделились пополам, мёртвая точка; уже составляется обвинительный акт; будет грандиозный процесс в Екатерининском зале Таври-

ческого, — нет! решения Совета не получили высочайшего утверждения, и Курлов будет повышен.

И, как всегда, худшие слухи были наиверными. В начале января 1913 стало известно, что на протоколе Государственного Совета Его Императорское Величество изволил начертать собственноручно: дело о генерале Курлове, полковнике Спиридовиче и статском советнике Веригине прекратить без всяких для них последствий.

Через два месяца ожидалась амнистия к 300-летию династии. Можно было для приличия осудить, тут же и амнистировать. Нет, император спешил отметить помилованием своё особое доверие и расположение, особую склонность и симпатию.

К этому вгрызчивому крысо-хорьку, чемпиону бюрократического мира. И к этому дворцовому угоднику, веретенному теоретику розыскного дела, клюнувшему дешёвую наживку. Да к этой бледной статской немочи — без начала, без лица и без конца.

Этим умилительным милосердием император предварил и символически отметил 300-летие династии.

Конечно, царь мог помиловать и раньше. И — такова была его воля: ведь это не государственное какое-нибудь дело, а дело личных судеб, личного милосердия к проступившимся, но преданным людям. Он предрешил помилование давно раньше: в тот счастливый сентябрь в Крыму, когда утеря опостылевшего премьер-министра была вознаграждена очередным выздоровлением наследника. А когда заменивший Столыпина министр внутренних дел Макаров принёс Государю расследование об убийстве и оказалось, что нити ведут к Курлову, — Макаров сразу стал Государю неприятен. Государь взял все бумаги, сказав, что хочет ознакомиться внимательно, — и оставил дело навсегда у себя, никогда больше не заговорил с Макаровым. (А после его голосования в Государственном Совете против Курлова — и снял тотчас с поста министра.) Царь — мог помиловать давно и раньше. Но он надеялся, что верные старцы Государственного Совета поймут и сделают сами.

Они и сделали, как умели. Как ночная нежить, они узнавали своих по запаху и по уголькам глаз. Они выгораживали и вытягивали *по-человечески* такого же, как сами, попавшего, как и они могли попасть. Они бы дико откинулись, если б им сказали, что голосование было не о Курлове, но о том, как скоро будут потро-

шить их собственные дома, расстреливать их самих и резать домочадцев.

Да куда ж им было соревноваться с революционерами? Те жертвовали своими жизнями в 18–25 лет, шли на безусловную смерть, только бы выполнить задуманное. Эти — в 40, 50 и даже 70 лет почти поголовно думали об одной карьере, а значит — о своём неперменном сохранении для неё. Думать о России — среди них было почти исключение, думать о кресле — почти правило. Они не давали себе напряжения соображать, медлили в действиях, нежились, наслаждались досугом, умеренно сияли в своих обществах, интриговали и сплетничали. Что же парило над ними? Показное православие (чтобы как у всех, они все регулярно отстаивали церковные литургии) да преданность Государю как лицу, от которого зависит служба.

Как же могли они не проиграть России? Все их служебные помыслы были напряжённое слежение за системой перемещений, возвышений и наград, — разве это не паралич власти? То-то: как почти ни одного крупного генерала, начинавшего войну 1914 года, мы не встречаем потом в Белом движении, так ни один из этих полицейских зубров, любимчиков Двора и старцев Совета, не протелькнёт на защите трона, когда он станет падать: все притаятся или рассеются. Они от Седьмого года и до Семнадцатого не несли сознания полной опасности, наступила революция — они не имели присутствия духа даже для самозащиты.

15-месячное расследование подтвердило всё, что было известно с первых пылких минут, — и дело предано забвению! Всё собралось в том трусливом, стыдливом, скомканном окончании — и дела убийцы, и дела предателей. В том уклончивом умолчании, где так узнаётся характер нашего последнего императора.

Либеральному обществу удобно было посчитать Богрова охранником, — и, только чтоб не наказывать своих угождателей, русский царь позволил этому гнусному объяснению остаться в памяти России и пятном на чести её. Чтобы спасти три чиновные шкуры — весь грязный заляп Верховная Власть принимала на себя. Вершина дерева беззаботно отдавала здоровые побеги, повеивая дряхлыми.

Эта медленная история прощения убийц — открывает тем, кто не отгораживается видеть. Каждое милосердие к своре — омертвляло государство. Уже достаточно перед тем проявил император, что был не на высоте задач, решаемых Столыпиным. После его

смерти — потерю курса покойного и вот прощением убийц — проявил нечувствие этой страны в 170 миллионов, за чьи души, мнения, память и честь помазанник Божий отвечает перед всеми судами Земли и Неба.

И так ещё совпало, что в тот же день с неосуждением Курлова Государственный Совет вынес ещё одно мудрое решение: отказал Архангельской губернии в праве иметь земство. Самый русский, самый грамотный, безкрепостной, самостоятельный крестьянский край, расцветавший при древнем Новгороде и Московии, — не мог получить самоуправления в XX веке из-за того, что там не доставало дворянства! Русская монархия не решалась опереться на неразвитый крестьянский класс — да почти детей, не могущих жить без опеки образованных.

Посмеявшись над Столыпиным, посмеялись и над любимой земской идеей его.

Акт милосердия января 1913 был окончательным предательством Столыпина трону — всего дела и всей жизни Столыпина, и это отчётливо было понято всеми партийными направлениями. В том же году открывался в Киеве памятник убитому (по общественному сбору, не на средства казны), — и вот снова обсуждалась жизнь и смерть Столыпина. Но теперь либеральная (то есть подавляющая) печать выбривалась, как не смела в дни убийства: что это был властный и даже *типичный* временщик, который не имел своего направления политики, а всякий раз выбирал, что выгодно для него лично, каждый шаг его определялся соображениями личной карьеры и беспощадностью к тем, кто попадался на пути. Само открытие памятника либеральные газеты называли «киевским действием», где «сдружились над дорогим трупом» русские националисты и часть октябристов (другая часть постеснялась приехать), «захотелось людям пошуметь перед памятником». Родзянко снова привёз венки от себя лично, не от Думы. Какие министры приехали — каждый сам от себя, не от правительства. И представителей от Двора и династии — не было.

Всего два года прошло от смерти Столыпина, — почти вся российская публичность и печатность открыто насмехалась над его памятью и его нелепой затеей русского национального строительства.

Выстрел Богрова оказался — бронебойный и навывлет.

74

Только и было его беззаботной лёгкой жизни — до 26 лет, только и было тех несравненных петербургских зим. По утрам — уже хиреющие теоретические занятия по государствоведению, в 22 года отпали и они. А целые дни свободны, чай, завтраки и обеды с титулованными и приближёнными, ни одного вечера дома, балеты, французские пьески, песенники и цыгане, то венгерцы, то зурначи с лезгинкой, вина, пробы рулетки, редко ложился Николай раньше часа, а то и в три, с трудом подымался или даже скрадывал сном половину урока и никогда не оплакивал отмену заседания Государственного Совета или заседание короткое. (Отец заставлял отсиживать. Сам с собою заключал пари, сколько минут сегодня продлится заседание, точно следил по часам и рассчитывал, куда ещё можно успеть ринуться.) В году два раза говенья, иногда праздничные приёмы, а то — всенедневная свобода, на катке в Аничковом весёлая возня с девицами Шереметевыми или с ними же в прятки, то смотреть через забор на Невский, то с молодёжью по набережной. Рано усвоенная привычка записывать это всё в дневник, когда-нибудь забавно будет вспомнить. И рано оцененное чтение из русской истории — оказалось, что нет интересней книг, живое чувство предков, как будто это сегодня происходит или ещё произойдёт. Английский, немецкий, французский языки — как будто и не в труд, сами собой. А теоретическим военным занятиям всегда предпочитал практическую службу: последовательно в пехоте — командиром батальона преображенцев, в кавалерии — командиром эскадрона лейб-гусар, да два года в гвардейской конно-артиллерийской бригаде.

Каждое лето и отбывал с ними поочерёдно лагерные сборы. То переходы верхами, то разыгрывание атак (ото всего на память — снимки), иногда подъёмы среди ночи, а с рассвета досыпанье, с офицерами состязания по стрельбе в тарелки, трубачи и песенники, — всё это легко и весело молодому, здоровому. Жизнь на вольной природе, вне дворцового ритуала, — свои удовольствия: прыгать через костёр, играть в городки, возиться на сене, лазить

на крышу, грести на байдарках, на лёгких двойках, ловить рыбу, стрелять уток, в дурную погоду — бильярд, анекдоты. А вечера — всё равно свободны. Красное Село — рядом, после обеда каждый вечер туда, усиленная закуска с выпивкой, или катанье на музыке в охотничьем шарабане, или танцы с институтками, или ужины с испанцами, с малороссиянами, с цыганами до 6 утра. А в сезон милого красносельского театра — на оперетки, на балеты, и ходить за сцену. Положительно очень заняла маленькая Кшесинская 2-я, всё больше обаяла.

Ещё особые месяцы — это сентябри, месяцы императорской и великокняжеской охоты. Охота — из самых лучших человеческих удовольствий. Конные переходы, загоны, стоянье на номерах, стрельба, стрельба — вот олень на полном скаку падает как заяц, за наезд убивали одних оленей десятками, а козлов, а кабанов! (Иногда и неудача, пропуделяешь.) Дамы на псовой охоте. Масса зайцев, фазанов, куропаток, наконец и тетерева. Трудолюбивые охотники не знают себе пощады — то встают в темноте, то в дождь и холод в сёдлах по 30 вёрст. Обеды с музыкой, вкруговую из рога шампанское за убитых оленей. Охотничьи музыканты на валторнах. Дразнить беловежских зубров. Лаун-теннис. Обедни в походной церкви. Сеансы фокусника. Для препровождения времени — игра на деньги, в карты и в бильярд. Приходили соседние крестьяне с музыкою славить — раздавали по полтысячи платков крестьянкам, давка.

Потом, по воле отца и собственному выбору, — несравненное долгое путешествие, да не в Европу, как ездят все, — на Восток. С двумя Георгиями — своим братом и греческим принцем Джорджи, с молодой весёлой свитой. В Греции — Олимп, в Египте — подъём на пирамиду Хеопса, Асуан, Мемфис, тайно смотреть на пляску альмей. В Индии — охота на пантер и тигров, Цейлоне — на слонов, Яве — на крокодилов. (Брат Георгий в Индии сильно простудился, отправили домой, с тех пор много болел.)

Но забавы забавами, возникают и впечатленья иные. В Индии испытываешь несносное чувство — быть окружённым самоуверенными англичанами, повсюду видеть их красные мундиры. В Сиаме нельзя не изумиться этой необычайной тонкой древности. В Японии в Оцу — неожиданное нападение фанатика, — и только Джорджи не растерялся, спас Николая, а удар палашом мог быть смертелен — грозное напоминание о беззащитности наших судеб, всецело в Божьей воле.

Накопилось от путешествия — какие же рядом с нами живут цивилизации, до того необычные, до того многотайные. Как велик и сложен Божий мир, как многого мы в нём не понимаем.

Потом двухмесячное возвращение по Сибири, конским гоном. Пространство, поражающее даже русское воображение. Страна — вся наша, а тоже почти не известная никому. И с радостным сочувствием рассматриваешь города, в которые никогда ведь не соберёшься больше: Иркутск, Тобольск, Екатеринбург.

А между тем — развивается чувствительное сердце и жаждет идеальной любви. Когда-то на свадьбу дяди Сергея с тётей Эллой приехала её 12-летняя сестра, ангельская Аликс, принцесса Гессенская, и, танцую с нею на балу, 16-летний Николай подарил ей брошку, а она не решалась принять. В беседке вырезали имена. С тех пор её неземной образ Николай понёс в сердце, при её посещениях Петербурга рвался видеть, и в 20 лет уже принял окончательное решение добиваться её руки. Как это всегда бывает с монархами, десятки побочных политических расчётов встали на пути цесаревича, пытаясь отклонить его выбор. Очень против была Мамá, недоволен Папá, они имели что-то другое в виду, но юный Николай настаивал непреклонно, предчувствуя единственное счастье. После нескольких лет сопротивления наконец, о! разрешение было дано — и в 26 лет, свою счастливейшею весной, поехал в Кобург свататься и обручаться. Хотя свита князей сопровождала русского цесаревича, а к юной Аликс для душевной поддержки приехала её бабушка английская королева Виктория, — но по сути ничего ещё не было решено, главное препятствие: согласится ли Аликс перейти в православие? Первый трудный разговор во вторник с замечательно похорошевшей, но грустною Аликс. Она — противилась перемене религии, и Николай устал душою обезнадёженно. Впрочем, уже то было утешительно в среду, что она вообще соглашалась с ним видаться и разговаривать. Четверг пережил только свадьбою германского принца, да вечером «Паяцами» и пивом. А в пятницу — о, незабвенный день жизни, какая гора свалилась с плеч, как обрадуются Папá и Мамá: Аликс — согласилась! И Николай весь день ходил как в дурмане, не вполне сознавая, что, собственно, с ним приключилось. Вильгельм поздравлял молодых с помолвкой, а всё разветвлённое королевское семейство на радостях лобызалось. Даже не верилось, даже не верилось цесаревичу, что теперь у него наконец была невеста! И какое же это возвышенное неземное счастье — состоять женихом! А как переменялась Аликс в обращении! — одним этим

приводила в восторг. Она даже написала почти без ошибки две фразы по-русски. Ездил вместе с ней в шарабане, сидели у пруда, рвали цветы и сирень, снимались — и публика теснилась в сад смотреть, а пехотная музыка и драгуны играли у жениха и невесты под окнами. Так странно было просто вдвоём кататься в шарабане, ходить и сидеть с ней, даже не стесняясь нисколько! Аликс подарила Николаю кольцо! Удивительное чувство! Как она была трогательна с ним! То и дело теперь сидели вдвоём, даже и до полуночи. Сердце с благодарностью обращалось к Господу. Невозможно было представить себе на сколько-нибудь теперь разлучаться — а приходилось, ужас. Аликс уехала к бабушке в Лондон, а Николай один ходил по местам, отныне дорогим, рвал её любимые цветы и вечерами отсылал в письмах. На каждом шагу воспоминания о ней. При себе носил, при еде у прибора ставил карточку Аликс, окружённую розовыми цветами.

Невозможно оказалось прожить без неё в России более двух месяцев — и он снова плыл в Лондон, вполне наслаждаясь чудной отцовской яхтой «Полярная звезда» и сходя с ума от ожидания. И снова череда прелестных дней, неразлучно с милой душкой Аликс, то прогулка в королевской коляске по Виндзорскому парку, то — на выставку роз, то с наслаждением гребя по Темзе, то на роле в четыре руки, — а затем засыпая в своей уютной комнате под одну кровлей с нею. Улучать каждый получас и затем каждый вечер, иногда и до рассвета, чтобы сидеть наедине со своей дорогой невестой. И уже нет от неё тайны дневника, хотя она не понимает по-русски, но то и дело перенимает перо и вписывает сама (по-английски: ...с беззаветной преданностью, которую трудно выразить словами),

или вперёд, шагая по чистым страницам, там и сям заносит строчки ненаглядным почерком, они переплетутся потом с его петербургскими записями, и так переплетутся души их

(по-немецки: есть нечто чудесное в любви двух душ, которые воедино сливаются, радость и страдания переживают вместе, и от первого поцелуя до последнего вздоха поют друг другу о любви).

На завтраки, на обеды, на смотры и на спектакли — сам то в венгерке, то в конвойской черкеске, в ментике, в полной гусарской форме или в сюртуке гвардейского экипажа, сразу показывая и русскую славу и свою мужественность. Одеваться в формы полков — увлекательно, как бы успеваешь переслужить во всех этих

полках, почувствовать их военный жребий. Чудные дивные спокойные вечера у милой Аликс. Месяц райского житья в Англии пролетел совсем незаметно.

(Изображение сердца. *По-английски*: никогда не забывай ту, чьи самые горячие молитвы — сделать тебя счастливым.)

Заехал в магазин старинной мебели, купил красивую кровать, умывальник, зеркало *Empire*, очень понравились. Просто умирал от любви к безценной. Выбирал для неё вещицы у ювелиров. Однажды рассказал ей о Кшесинской, ведь это никогда не повторится.

(*По-английски*: мой дорогой мальчик, неизменный, всегда преданный, верь и полагайся на свою девочку. Я люблю тебя ещё больше после того, что ты мне рассказал.)

Ещё, ещё последние дни у моря, сидеть на песке, смотреть на прилив, бродить по воде голыми ногами. Ни на минуту не отходить от милой дорогой невесты. Ещё день, потянуть ещё день блаженного пребывания. Едва расстался с ненаглядной прелестью, гребным катером до яхты — а там сюрприз! уже ждало от неё дивное длинное письмо.

(*По-английски*: ...любовь поймана, я связала ей крылья. В наших сердцах всегда будет петь любовь.)

Какое же сердце может выдержать эти строчки? Тут же ответил с отплывающим англичанином. От тоски и грусти совсем устал. Как пережить два месяца разлуки?

(*По-английски*: пусть мягкие волны тебя убаюкают, твой ангел-хранитель стоит на страже.)

По пути отправлял ей письма с лощманами.

Увы, осенью внезапно и тяжело заболел Папá. И, при страстном желаньи лететь на крыльях к милой Аликс, Николай покорился долгу и поехал с родителями в Крым. Там изнывал, грустил ужасно, в какой день не получая письма от драгоценной Аликс, зато на другой день двойной наградой всегда приходило два письма. Слезно огорчилась она из-за отмены приезда жениха. И отчего он не женился этим летом! Тянулся сентябрь, в иные дни Папá было и гораздо лучше, он был на ногах, каждый день занимался с министрами и бумагами. В своей крутой манере он отклонял всякое лечение, не давался эскулапам. Николай смотрел на спуск почтовых голубей, много ездил верхом — на виноградники, на ферму,

на водопад, и подальше — к маяку, в Учан-су и в Алупку. У Папá самочувствие стало скверное, его мучило. Горько, что ему так плохо, бедный отец. С невесёлыми думами и тоскою Николай сидел на камешках у моря, волны катились громадные. Ехать к Аликс было нельзя.

Вскоре съехалось уже пятеро врачей. В начале октября однажды отец почувствовал себя настолько слабым, что сам захотел лечь в постель. Дорогая Аликс написала Мамá — и Папá и Мамá разрешили выписать её из Дармштадта сюда. Николай несказанно был тронут их добротой. Какое счастье снова так неожиданно встретиться, хоть и при печальных обстоятельствах. Папá ложился после завтрака, а Николай впервые читал за него бумаги, привозимые фельдъегерями. Бумаги бывали скучные, бывали головоломные, и всегда много новых имён и неизвестных обстоятельств. Какая тоска, как Папá это всё помнит? Ездили в Ялту встречать гостей, всегда освежает разнообразие новых лиц. Неуместно завтракали с музыкой — и уже потом узнали, что Папá в это время приобщился Святых Тайн.

Впервые пробрал страх: а вдруг отец скончается? Что тогда будет? О Боже, как страшно и незащитно станет! И как можно, ни к чему не готовому, рискнуть управлять Империей? Где взять такое богатство, как у отца? А кому ещё? Старший сын, наследник, не уклониться. И Георгий в чахотке.

Ещё через день встречал обожаемую Аликс и вместе с ней в коляске ехали в Ливадию. Какая радость! — половина забот и скорби как будто спала с плеч. На каждой станции татары встречали хлебом-солью, вся коляска была в цветах и винограде. Папá был слабее, и приезд Аликс утомил его.

И снова вместе днём и вместе вечера, пока не отводил невесту до её комнат. Не мог нарадоваться её присутствию, садился заниматься бумагами у неё. Ездили в Ореанду, любовались морем, играли в карты. Присутствие Аликс давало столько бодрости и спокойствия! — с каждым днём он любил её всё больше и всё глубже: что за счастье иметь такое сокровище женою! Помогал ей вышивать воздушы для Святых Даров ко дню её первого причастия.

(По-английски: Твоё Солнышко молится за тебя и за любимого больного. Будь стойким и прикажи докторам сообщать тебе ежедневно, в каком состоянии они его находят и все подробности, что будут делать. Таким образом ты обо всём всегда будешь знать первым. Не

позволяй другим быть первыми и обходить тебя. Ты — любимый сын отца. Выяви свою волю и не позволяй другим забывать, кто ты.)

Она права: надо научиться проявлять себя и дать понять.

Гуляли у моря. Коляски не было — и боялся за ноги Аликс, под силу ли ей будет взлезть наверх.

Ещё день — и Папá снова причастился. О Боже! Да неужели это так серьёзно? И возможен — к о н е ц ? Как сердце сжалось за благородного, сильного, щедрого отца! И, о Господи, отгони от меня это испытание, не возлагай на мои плечи этого непосильного, нежеланного!

Часть вечера провёл у Папá, его мучил сильный горловой кашель. Стал готовить Николая к тому, что ему придётся царствовать. Теперь будут вместе заниматься каждый день, отец будет объяснять. Холодный страх опадал по телу ото всего. И страшно, и так больно сердцу — ничего голова не воспринимала. Позже — опять сидел у дорогой Аликс.

(Когда чувствуешь себя упавшим духом — приходи к Солнышку, она постарается согреть тебя своими лучами.)

Эту ночь Папá вовсе не спал, и так худо было утром, что всех к нему позвали. Не прощаться, но и как бы — прощаться. Что за дни! Чем же это кончится?! Этого мига Николай всегда боялся.

Теперь никуда не смели отлучаться из дому. Такое утешение иметь дорогую Аликс! — пока читаешь дела от разных министров, а она целый день сидит у тебя. Потом совещание докторов у дяди Владимира. Завтракали так, чтобы не шуметь. Потом Папá почувствовал себя бодрее, сидел на следующий день в кресле. И снова Николай был у него, и занимались. Сколько имён, сколько дел, как это охватить? и как направить? как научиться решать? Потом Папá лёг в страшной слабости.

На следующее утро затруднилось дыхание, давали кислород.

Отец причастился третий раз — и отозвал его Господь к себе.

Боже, да ведь это — сотрясение всей России. Что ж это будет! Голова шла кру́гом, не хотелось верить, чувствовал себя как убитый.

Императорский штандарт на дворце стал медленно спускаться, так что видела вся Ялта, и крейсер на рейде дал пушечный салют.

Вечером была панихида — в той же спальне.

В один день — какая страшная перемена! Уже никогда не будет прежней лёгкости. Все заботы теперь станут его уделом на всю жизнь.

Быть русским царём? — непереносимо трудно!

Но на то, но на всё — Божья воля.

Чёрным осенним вечером несли умершего из дворца в церковь, между двумя рядами факелов. Жутко.

Но и в глубокой печали Господь даёт нам тихую радость: милая Аликс была миропомазана. Потом целый день отвечали с нею на телеграммы. Было холодно, море ревело. И на второй день только и делал, что отписывался от туч телеграмм. И на третий день писал телеграммы без конца. Днём катались с нею, вечерами по обыкновению сидел у неё, — и это общение давало силу нести свой жребий.

(По-немецки: Господь ведёт тебя, своё дитя. Не бойся.

По-английски: Почаще спрашивай себя: как бы я поступил, завидя ангелов?)

В большом династическом семействе теперь спорили, как устраивать свадьбу: торжественно или частным образом, в Петербурге после похорон или теперь же здесь? Все дяди, забрав много влияния, настояли, что в Петербурге. Николай и не брался с ними спорить.

Через неделю после кончины выехали. Казаки и стрелки, чередуясь, донесли гроб от ливадийской церкви до ялтинской пристани. Под андреевским флагом повезли покойного императора вдоль крымских берегов. В Севастополе вся эскадра стояла выстроенная в одну линию. Траурный поезд двинулся на север. На крупных станциях служили панихиды. Утешение и поддержка — присутствие неналюбной красавицы в поезде. Сидел с ней целыми днями.

(По-английски: Что любовь соединит — ничто не разъединит. Скоро стану твоей единственной жёнущкой.)

Через Москву до Кремля гроб везли колесницею и у десяти церковей останавливались для литий. И — первый шаг прямо вместо отца: в Георгиевском зале надо было сказать несколько слов собравшимся сословиям. С утра волновался, ужасные эмоции! — но, слава Богу, сошло благополучно.

В Петербурге шествие с гробом от вокзала до Петропавловской крепости продолжалось 4 часа. Панихида в крепости при за-

хоронении. И снова панихида вечерняя. И новые, новые панихиды день за днём, в присутствии иностранных делегаций и принцев. Уже у всех надорвалась душа, заплакали глаза. И с каждой панихидой всё ясней ощущал Николай неотвратимое налегшее бремя. Пришлось принимать полный состав Государственного Совета — и опять говорить (Победоносцев приготовил речь и наставлял). Свиту принимать — и опять говорить. И читать министерские доклады, и выслушивать первые устные. И с каждым членом иностранных делегаций о чём-то изыскивать разговаривать. И сербский король, и румынский король отнимали немногие свободные минуты, когда бы видеться с Аликс. Всё — урывками, скучно так, поскорей бы жениться — тогда конец прощаниям. И — снова архиерейская служба с отпеванием, на двадцатый день — снова панихида в крепости, и молились на могиле. Двое принцев уехало, скорей бы вынесло прочь и остальных. Принимал разных иностранцев, с письмами и без писем. Отвечать приходилось на всякую всячину, совсем терялся, с толку сбивался, на душе камень, чуть не расплакался от обиды, давая обед всем заезжим принцам в концертной зале Зимнего. Всё больше шло министерских докладов. Принял весь Сенат в полном составе в бальной зале. Принимал серию генерал-губернаторов. Губернаторов. Серию командующих войсками. Атаманов казачьих войск. Массу делегаций со всей России, по 500 человек разом в Николаевской зале. День отдыха — когда нет приёмов и докладов или читать приносили мало, и можно было чудно погулять, посидеть с Аликс. При таких тяжёлых обстоятельствах странно думать о собственной женитьбе: будто о чужой. Чересчур тесно было бы поместиться вдвоём в четырёх прежних комнатах Николая — и ездили с Аликс выбирать ковры и занавеси для двух новых комнат.

Наконец, о великий день, из большой церкви Зимнего вышел женатым человеком, — и поехали с Аликс в карете с русской упряжкой в Казанский собор мимо выстроенных по Невскому войск. (В день свадьбы распорядился удалить всю полицейскую охрану молодых.) Затем — рассматривались свадебные подарки ото всей семьи и отвечались новые телеграммы, уже свадебные. Невообразимо был счастлив с Аликс, просто не было сил расстаться друг с другом, всё бы время проводил исключительно с ней, — но отнимали занятия. Чтобы скрыться от министерских докладов — на неделю уехали в Царское и там невыразимо приятно жили, никого не видя и день, и ночь, и без нужды читать бумаги. Безпредельное

блаженство. Большого и лучшего счастья человек на этой земле не вправе желать.

(По-английски: Не могу достаточно благодарить Бога за моего Безценного! Покрываю поцелуями дорогое твоё лицо. Если твоя маленькая жёнушка невольно огорчала тебя, душки, прости ей!)

Гуляли по парку, катались на дрожках, на санках, посещали цейлонского слона. Играли в четыре руки на фортепьяно, рисовали, рассматривали альбомы, вычитывали смешные стихи из старых модных журналов. Не описать словами, что за блаженство жить вдвоём с нежно любимой женой в таком хорошем месте, как Царское. (Да он и родился тут.)

Опять Петербург. Развешивали картины и фотографии на стенах новых комнат. На сороковой день — заупокойная обедня в крепости. Рассматривали проекты устройства комнат в Зимнем, выбирали образцы мебели и материй. Без конца читал губернские рапорты. Опять тормошили Николая целыми утрами: то Победоносцев с наставлениями и предостережениями (он приходил, когда сам назначал), то министры с противоречивыми друг другу докладами, совсем одуревал, то череда военных представлений, то приём целого Адмиралтейского совета, то подписывание указов Сенату о наградах — к своему же тезоименитству. А там — готовить подарки к Рождеству в Англию и в Дармштадт, и разбирать вещи душки-жены, приехавшие из Дармштадта, и рассматривать свои подарки под ёлкой. И покататься вдвоём в охотничьих санях на иноходце. Вот уже больше месяца, как были женаты, а только начинал привыкать к этой мысли, любовь к Аликс продолжала расти. А несли, несли безжалостно много бумаг для прочтения, и редко оставалось почитать вслух французскую книжку или для себя исторический журнал. (Так приятно окунуться в дальнюю русскую историю! А более всего любил Николай царствование Алексея Михайловича. Он любил то старое допетровское время, когда московский царь был в простых нравах со своим народом.) Полупраздником был день, когда принимал только одного министра или так удачно, что торжественное собрание Академии Наук заканчивалось в один час, оставалось время для коньков или поздно, при луне, — санками на острова.

Так — ни в какой отдельный день, а незаметно во все эти траурные дни Николай втягивался в безвыходный жребий стать всемогущим, всевластным монархом. Что надо было делать? Что гово-

рять? Кого назначать? кого смещать? С кем соглашаться, с кем нет? Где-то пролегалла единственно правильная линия, открытая Божественному Провидению, но сокрытая от глаз людских — и от глаз юного монарха, и его советчиков, которые, конечно, тоже ошибались. А от покойного отца не досталось Николаю выслушать ни одного политического наставления — ни при здоровьи его, всё считалось рано, пусть сын позабавится, созреет, ни в дни болезни, всё считалось не смертельно. Только запомнилось из последних дней: «Слушайся Витге». Отбывал когда-то Николай скучные отсидки в Государственном Совете, но почти не вникал в смысл прений этих подагрических, диабетических, седых и лысых старцев.

Теперь дядя Владимир успокаивал Николая: и Александр II и Александр III вступили в царствование в смутном положении, а сейчас, после 13 лет мира, всё спокойно, ни войны, ни революционеров, и нет необходимости торопиться с какими-то новшествами, с изменениями, даже и людей на постах менять никого не надо, — это создало бы впечатление, что сын осуждает действия отца. Такой совет чрезвычайно понравился Николаю, это было самое лёгкое: не ломать головы, ничего не менять, пусть плывёт как плывёт. (Только министра путей сообщения сразу пришлось уволить за жульничество, но и отец собирался.)

Однако нельзя было рассчитывать на слишком частые советы дяди Владимира из-за того, что тётя Михен вполне владела им, а она нехороша была с Мамá. Как и на советы дяди Алексея, дяди Павла, дяди Сергея: у каждого была своя жизнь, и каждый мог справедливо считать, что он более подготовлен наследовать трон. Тем меньше можно было ожидать полезных советов от восьми двоюродных дядей, а двоюродный дедушка, Михаил Николаевич, генерал-фельдмаршал и председатель Государственного Совета, был сердечно занят одною артиллерией. Правда, был Победоносцев, недавний учитель наследника, когда-то и первый наставник отца, ему принёс Николай жалобу на огорчение первых недель: подчинённые заваливают бумагами, некогда читать. Победоносцев объяснил: многое — пустое, дают на подпись, чтоб избежать ответственности, надо их от этого отучать. Но как бы ни был умён Победоносцев, нельзя было отдаваться его властным советам, да и мнения его не могли так решительно превосходить мнений других умных приближённых людей, как например Витге. А Витге, быстро узнал Николай, был переполнен определительными мнениями и ничего слаще не знал, как только высказывать их, особенно в об-

ластях, не касающихся его министерства финансов, — с тем ли, чтобы все области других министерств от него зависели. Но даже и по министерству финансов не он единственный имел идеи, например, вводить ли золотое обращение? Один одно говорил, другой — другое, и приходилось созывать совет, чтобы разобраться, — и всё равно разобраться было невозможно. То Витте предлагал создать комиссию по крестьянским делам — и молодой Государь соглашался. Приходил Победоносцев, указывал на вздорность этой затеи — и Государь гасил. Тут Витте присылал толковую записку о крайней необходимости комиссии — и Государь на полях полностью соглашался, убеждённый. Но приходил Дурново настаивать, чтобы комиссии не было, — и Николай писал: «повременить». То Сандро (и дядя, и зять, и друг, и сверстник) находил никому до сих пор не известного выдающегося патриота и понимателя русской жизни, и тот увлёк Государя такой мыслью: всеми силами препятствовать вторжению иностранных капиталов в Россию. И Государь уже поставил несколько резолюций в этом духе на бумагах, этот взгляд тотчас стал известен иностранным компаниям, — встревоженный Витте принёс записку профессора Менделеева о крайней пользе именно притока иностранных капиталов и настаивал, чтобы Государь высказал мнение, обязательное для всех министров. И собрали Совет министров и постановили дозволить.

Вот это и было в роли монарха самое мучительное: среди мнений советников избрать правильное. Каждое излагалось так, чтобы быть убедительным, но кто может определить — где правильное? И как было бы хорошо и легко править Россией, если бы мнения всех советников сходились! Что бы стоило им — сходиться, умным людям — согласиться между собой! Нет, по какому-то заклятью обречены они были всегда разноголосить — и ставить своего императора в тупик. И только душили его записками, докладами, докладами.

А Николай потому был особенно неуверен, что так хорошо и крепко было жить за спиной отца.

А тут ещё, как будто мало было разногласий в кругу министров, — многие отдалённые от трона и даже от столицы, подогреваемые надеждами, что над ними нет теперь твёрдой руки покойного Государя, захотели также высказывать свои мнения и иметь свою долю в управлении русскими делами. Подобные дерзкие мысли самонадеянных ораторов, чуть ли не доходящие до ограничения Государя и до конституции (в безумии говорения

они не понимали, что их же самих конституция и погубит), стали высказываться на губернских земских и дворянских собраниях. Это было очень обидно, именно: что молодого монарха не считают за силу, а хотят поживиться на его первой слабости и раздёргать власть по перышкам. Но как ни был Николай молод, он понимал, что наследовал мощную силу, сильную только в своём соединении, и нельзя дать её расщеплять, ибо именно в полноте мощи она нужна огромной стране. И он собрал всего себя и решил, что даст отпор: на приёме дворянских, земских и городских deputаций ответит им наотрез. Однако волновался как никогда в жизни. (И Аликс волновалась: достойно ли её поклониться депутациям, решила не кланяться.) Стал бояться не запомнить короткую подготовленную ему речь. Но и не хотел открыто читать, а высказать как собственные свои слова, только сейчас приходящие. Близкие надоумили его держать записку с речью на дне фуражки, которую по церемониалу он снимет. И всё было сделано так, и произнёс ли, прочитал он всё уверенно: охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как незабвенный родитель; но в главном месте, что некоторые земцы увлекаются беспочвенными мечтаниями об участии в делах управления, — ошибся и выговорил «безмысленными» мечтаниями. Всё прошло хорошо, поставил их на место. (И кажется, велика ли ошибка? — всё равно отказ. Но много лет не могли ему забыть, всё попрекали этими «безмысленными».)

И недаром эта церемония была отмечена весьма дурным предзнаменованием: когда тверская делегация (с которой и возникли главные неприятности) подносила приветствие — из рук предводителя выпало блюдо и покатилося со звоном. Всё — на пол: хлеб — развалился, соль просыпалась. А Николай сделал помогающее услужливое движение — поднять блюдо, но ощутил, что императору это неуместно и только больше смущает всех. (И потом вспоминалось: правда, все беды начались с этого приёма, с этого блюда.)

Тяжко быть русским царём, особенно поначалу, не освоен. Но не так было бы тяжело с одними вопросами внутренними, если б не ломала голову ещё политика внешняя, где того многообразнее лица, мнения, возможности, — и в грустные минуты таишь про себя тоску, что выбрать истинный путь непосильно уму человеческому. Умирал вослед за своим Государем старый опытный министр иностранных дел Гирс — и в первом же докладе сообщил юному мо-

наруху, что уже два года Россия скована с Францией секретным военным союзом, настолько секретным, что даже Советы министров обеих стран о нём не знают, а между тем и разработанным, так что уже определено, что в случае войны с Германией Франция обязана поставить близ миллиона человек, а Россия — восемь миллионов. И с этим тайным бременем обречён был теперь Николай получать настойчивые, почти любовные, письма от Вильгельма, горячо любящего друга и преданного кузена, о том, что не случайно Россия и Германия и царствующие в них дома уже столетие связаны традиционными узами дружбы: в этом — единство их противостояния анархизму и республиканизму; тот монархический принцип, который только и держит эти страны на прочных основах рядом с Францией, где президенты мостятся на троне обезглавленных королей, а едва посаженных злодеев распускают амнистиями; рядом с Англией, где всемирный приют скотам-анархистам, где министерства плетутся к падению, сопутствуемые насмешками всех.

Чем-то очень привлекал и покорял Вильгельм! Он так был всегда искренен, так уверен в правоте каждого слова, какое высказывал, — да ведь и несомненно правда! Его слова многое объясняли Николаю. Даже не пройдя никакой государственной школы, Николай существом понимал, что Россия крепка именно монархическим принципом, а при переменной республике погубят её случайные болтуны в их сменной чередё (от торопливости смены каждый спешит насытить честолюбие) и молчаливые капиталисты, имеющие деньги покупать газеты и тем направлять общественное мнение.

Так-то так, но и воля отца была над наследником. Почему-то же вступил отец в союз с президентом, ютящимся на троне обезглавленных королей, и со своей обнажённой головой — выслушивал же в Кронштадте «марсельезу»?

Как любовно-ласково-дружествен был Вильгельм к Ники и к Аликс, так всем сердцем ему навстречу хотелось быть откровенным и Николаю, но тайный союз тяготел и отяжелял искренность его ответов: страшно подумать, что будет, когда Вили об этом союзе узнает?

Перед смертью старого министра успел понять Николай, что же толкнуло отца на странный союз: между Германией и Россией прежде был тайный договор о взаимном страховании — если одна из них втянется в войну, другая обеспечивает благожелательный нейтралитет. Но молодой Вильгельм, едва наследовав деду и отста-

вив Бисмарка, послушался нового канцлера и в 1890 не возобновил договора.

Так что ж, за страстно-льстительными словами Вилли и подарками при каждом письме надо было угадывать и встречную тайну? Так жить — не хватит ничьей головы. А если подойти ко всему с хорошим сердцем — так это всё может быть одно недоразумение. Надо в одном сердце совместить и Германию и Францию, надо просто помирить их!

Тут сразу и случай представился: торжества открытия Кильского канала. Все флоты идут туда, неужели же французский не захочет пойти вместе с русским? Уговорил. И какое торжество — первый шаг к европейскому примирению! (Во французском парламенте очень бранились потом: совпало с 25-летием франко-прусской войны.)

А тут и другой случай. Ещё в те месяцы, когда умирал отец, проворная Япония, о которой никто до сих пор и не слышал, которой и в списке держав не было, вдруг начала войну против безпомощного Китая и быстро побеждала его. Изю всех европейских правителей молодой Николай один только и видел тот край своими глазами, и от этого как бы ощущал особую за него ответственность и особую к нему направленность. Время не ждало, нельзя было откладывать, пока освоишься и привыкнешь управлять, а — немедленно останавливать хищницу. И тем же толчком миролюбия он призвал двух старинных врагов, Францию и Германию, вместе помочь ему в этом. И хотя всем казалось невозможным их совместное выступление, но вот они выступили вместе, втроем с Россией, и получилось очень удачно: Япония прервала свою победную войну, отказалась от Кореи, от Ляодунского полуострова с Порт-Артуром, взяла себе только Формозу, ничего на континенте, — и обещала крайне осторожно относиться к интересам других держав.

Вот, бывает же мудрость в сердце кротких! Юному монарху удалось такое, что не снилось опытным старым политикам.

Кузен Вильгельм разгорячился на японскую выходку даже больше, чем сам Николай. Он признавал, что несомненно великая задача России — цивилизация азиатского материка и защита Европы и креста от вторжения жёлтой расы и буддизма, Европа должна быть благодарна Николаю, что он так быстро понял российское призвание, а Германия позаботится, чтоб европейский тыл России был при этом покоен.

Николай же до сих пор ещё и сам не понимал этого российско-го призвания, но теперь всё больше стал задумываться и понимать. Да не случайно же судьба повела его ещё юношей на этот таинственный Крайний Восток и какими-то нитями связала с ним, даже и покушением в Оцу. Восток был теперь для него не абстракция, но обширные плодородные тёплые пространства у тёплых морей, рядом с нашей ледяной Сибирью, не поддающейся обработке, не знающей морского выхода, — а в сплошном сухопутном прилегании одного к другому была своя пророческая связь. (Витте подал золотую мысль: строить нам дорогу не вокруг Амура, а сокращённо, по Маньчжурии, Китай не сможет отказать.) Да оказалось, что ещё и отцом были отпущены одному предприимчивому буряту 2 миллиона рублей на мирное завоевание Монголии, Китая и Тибета, истрачены, а теперь испрашивались ещё 2 миллиона на продолжение предприятия. И стоило дать. Восточная идея становилась личной излюбленной идеей молодого монарха. И, конечно, не слабая Япония была нам там помехой, но всюду подставленное железное английское плечо. (Вилли подозревал, что Япония так крепкоголова только благодаря тайным английским обещаниям.) Действительно, кто был исконным врагом России всегда и везде — это Англия. Среди немногих государственных фраз отца запомнил Николай: всегда и везде — в Азии, в Персии, в Константинополе и на Балканах — каждому русскому шагу мешала именно Англия. (Хотя так приятно было гостить у королевы Виктории.)

Какую тайну можно сохранить при республике? Во французском парламенте очень скоро проболтали тайну союза с Россией. Так стыдно было перед Вилли! — хотя не Ники же придумал такой союз. Но дружба их выдержала это испытание, Вилли простил великодушно (да ведь не сказано было в договоре, что против Германии). Только пришлось выслушать от него, что в один прекрасный день Николай и не заметит, как втянется в самую страшную войну, какую когда-либо видела Европа.

А уже миновал и год смерти отца. Снялся траур — хотя совестно и жалко, траур служил последней видимой связью с дорогим прошлым. Так ощущал Николай, невидимо, что ещё хотел отец переструить ему какие-то советы, какую-то тайну передать, которую не успел на Земле, — но всё это молодой монарх теперь должен был постигнуть сам. Да — с Божьей помощью.

И тут же стали готовиться к коронации — двадцати майским праздничным дням в Москве. Как на всякое общественное испыта-

ние, где придётся много показываться публике и, может быть, говорить публично, Николай ехал со стеснённым сердцем, внутренне боясь. (Знала об этом только Солнышко Аликс и подбодряла.) Но и сам же он доверчиво ждал, что от возложения венца в Успенском соборе он весь переменится, станет уже подлинным властным правителем с ведением, вложенным от Бога. И с этой верою и жаждою он, в порфире и в венце, с державой и скипетром в руках, читал пересохшим горлом Символ веры и слушал коронационную молитву: «Даруй ему разум и премудрость, во еже судити людям Твоим во правду, согрей его сердце к заступлению нападствуемых, не посрами нас от чаяния нашего». Со дня коронации почувствовал себя возмужавшим. Со дня коронации много задумывался об избранности и верховодности королей. А направить может только Господь.

На четвёртый день после коронации выпала незаслуженная беда: за гостинцами с ночи собравшаяся толпа вдруг рано утром бросилась давиться без видимой причины — и сама в себе за десять минут растоптала 1300 человек. Печальным зачерком легла эта жертва на все торжества, сердце Николая сжалось и омрачилось: за что наслал Бог это несчастье? почему оно прилегло к коронации? нет ли здесь дурного знака?.. Но не только для размышлений не оставалось времени, а неуклонное расписание празднеств требовало в тот же вечер ехать на бал ко французскому послу, — и Аликс считала, и все дяди дружно голос повысили, что не поехать было бы некорректно ко Франции.

Шаги монарха расчисляются не так, как у всех. Соотношения держав и народов входят в его повседневный быт. И к этому надо привыкать.

А получилось нехорошо.

Николай проявил милость, чтобы не пострадал и не был наказан никто из распорядителей Ходынского поля: не увеличивать ещё числа несчастных.

Но над самбю царскою четой как будто повисло какое-то небесное непощение: летом поехали в Нижний Новгород на всероссийскую выставку русского труда — и как раз в час их посещения нашла чёрная туча, пошёл сильный град и дробил многие стёкла в павильонах, сыпал и бил, как громил выставку.

Тем летом совершили большое приятное заграничное путешествие: посетили императоров австрийского, германского, короля датского — родного дедушку, гостили в Шотландии у бабушки Виктории и наконец пожинали триумфы в Париже, где толпа встреча-

ла русского царя почти так восторженно, как московская, портреты его раздавались на улицах, печатались на конфетных обёртках, с русскими гербами продавалась посуда, мыло, игрушки, — и на военном параде растроганный Николай решился сказать о *братстве по оружию* с французами (хотя память его и образование не хранили: когда же такое было). Потом отдыхали от восторгов на родине Аликс в Дармштадте. И мрачные воспоминания Ходынского поля и нижегородской выставки больше не преследовали царственных супругов.

Парижская встреча так растрогала Николая, что снялась его недоброжелательность к республиканской стране, и он тепло согласился с французским правительством на какой-то дружественный уговор по Турции, о котором только в Петербурге ему объяснили, что в Париже его обманули, связали руки-ноги: ничего не делать по проливам.

Вот так обещать хорошим людям! — а тебя обманывают. Николай так обиделся, что дал министрам уговорить себя в исправление: теперь же высадиться в Босфоре! Турция — умирает, и надо брать наследство. Наш посланник в Константинополе особенно добивался этого, уверял, что сопротивление будет самое ничтожное, и военный и морской министры подтверждали полную стратегическую возможность. Очень было заманчиво! — начать новое царствование со славного взятия Царьграда, недоступной мечты всех предков Николая. Действительно, когда-то же и кому-то надо выполнить эту историческую задачу России, возврат к византийскому пепелищу, — и раз навсегда защитить всех славян. Какой-то внутренний голос подсказывал Николаю, что это время пришло и задача — на его плечах. Константинопольский посол уже составил для себя письменные инструкции от имени Государя — право в избранный им момент вызвать в Константинополь наш флот с 30-тысячным десантом — и Николай подписал. Придут в Дарданеллы чужестранные флоты? Ну что ж, примем войну и со всей Европой! (Но Англия воевать не будет, она предпочтёт делить Турцию и захватить себе Египет.) Тут вернулся из-за границы дядя Алексей, адмирал, и руками замахал: в Париже уже идут слухи, это будет огромный скандал! И Николай отобрал полномочия у посла.

Ещё никак он не был уверен, что его движения — истинно императорские. Он жаждал бы проявлять движения властные и безпрекословные — но не рождались. Он жаждал бы иметь полное знание, как править государством, — но не от кого было взять.

От самого первого дня короны он застигнут был состоянием недоумения и так и плыл в нём. Он очень бы хотел понять законы совершающихся событий, но не видел, где почерпнуть их. Примеры из давней русской истории, которые он многие знал и любил над ними размышлять, — всё как-то не давали ему ясного указания. И стеснялся спросить кого-либо, да по гордости не хотел и показать, что не знает. Да и не осталось таких советников от отца. Победоносцев ему ещё в юности надоел своими наставлениями, — настойчивый брюзга, длинный, худой, очкастый, со впалыми щеками, отставленными ушами, как оттопыренными против этого хужающего безнадежного мира. А ретивый неутомимый Витте, такой подавляюще умный, что от его рассуждений дух захватывало, изобретатель винной монополии, такой умелец добыть деньги у Ротшильдов, — пугал и давил своей склонностью обратить всю жизнь и всё государство в отдел министерства финансов. В министры проводил он только таких, кто не мог соперничать с ним.

Николай остался хуже чем сиротой: ни одной доверенной души, кроме горячо любимой Аликс да мудрой Мамá. В высшем свете не оказалось друзей у молодой императорской четы — оттого ли, что они не вели шумной жизни Двора, но всё старались оставаться тихо вместе. Даже их с Аликс привычка не пропускать ни обедни, ни всенощной воспринималась аристократией как причуда.

Может быть, следовало теплей и доверчивей отнестись к Вильгельму, пылкому другу, — но его пылкость немного и пугала. Равновластный император, и тоже молодой, его настойчивые, горячие советы иногда добивались до самого сердца. Нашли с ним удобным иметь между двумя великими монархами кроме неуклюжих министерств ещё и личных посланников-адъютантов — для быстрого искреннего обмена. *Для нас в Азии*, — говорил Вилли. Азиатские дела стали их общие. В 1897 он приехал в Петербург, долго гостил, было особенно сердечно и откровенно, установили единство всех взглядов и совместный идеал защиты белой расы на Востоке. Как-то августовским вечером возвращались из Красного Села в Петергоф вдвоём в коляске, и Вильгельм, почти усами к лицу дорогого кузена, наговаривал, наговаривал — и согласил Николая не препятствовать ему занять Киао-Чао, этой настойчивости невозможно было противостоять!

А мы после японо-китайской войны объявили Китаю, что не только не имеем с ним спорных вопросов, желаем жить в дружбе, но готовы защищать его от европейцев — и за то получили от

Китай право строить железную дорогу по Северной Маньчжурии. Теперь Китай обратился к России с просьбой о защите от Германии. Создалось щекотливое положение. Придуманно было ответить так: Россия готова помогать Китаю, но для этого нуждается иметь операционный пункт на китайской территории. Те предложили Порт-Артур. Собралось совещание — брать или не брать? Николай понимал, что это незаслуженно и по-человечески нехорошо, — однако мог ли великий Император иметь простые человеческие мерки? Никаких твёрдых императорских правил вообще не было никогда на земле. Порт-Артур был очень необходимый незамерзающий порт, далеко на юг от русского побережья, — для вящего величия России как не взять? имеет ли Государь право не взять? К тому же мы должны стоять твердыней против жёлтой расы (и Аликс очень против жёлтых). Решился — брать, на 25 лет в аренду и с правом соединить его с Великой Сибирской магистралью, которая поспеет скоро.

Вильгельм аплодировал: мастерское соглашение! Собственно, ты становишься хозяином Пекина! Благодаря твоему великому путешествию ты стал знатоком Востока. При твоём уме тебе всегда удастся найти выход. Глаза всех с надеждой обращены к великому Императору Востока. — И сам готовил для Ники гравюры в подарок, как они вдвоём охраняют Европу от жёлтой опасности.

Да, тут много было верного. Что-то особенное чувствовал и понимал Николай в Востоке. Может быть, это было из первых прозрений помазания: призвание России расширяться далеко-далеко на Восток. (Тем более, что Босфора никогда нам не дадут взять.)

Однако китайские приобретения Германии и России усилили напряжённый английский поиск. И Вильгельм честно предупредил Николая, что Англия ведёт с Германией переговоры о союзе, — неужели же она разлучит друзей? Но ещё раньше перед тем, ответил Николай, Англия предлагала союз и России, хотя бы союзом её связать и удержать от дальневосточного развития, — и получила отказ. Переменчивость дипломатических отношений приводила в головокружение: между отдельными людьми не бывает таких перемен и крайностей, как между странами. А все короли при этом — братья и кузены, женаты на родственницах, все — родня.

И к чему ведёт это нескончаемое соревнование вооружений великих держав? Кому ли нибудь обезпечивает оно мир? Только расточение сил всех народов, а потом худшую войну. Военный министр Куропаткин докладывал однажды Государю, что вот неиз-

бежно подходит и нам и Австрии, чтоб не отстать ото всех и друг ото друга, — вводить скорострельные пушки, и потратит на них Россия не меньше 100 миллионов рублей. А вот, с мужицкой простоватостью высказал он, договориться б нам с Австрией — ни им, ни нам не вводить? Только выгодно обеим, а соотношение сил не изменится. Ожидал Куропаткин, что Государь побранит за неуместную мысль, но Николай, глубоко взволнованный, ответил ему:

— Вы меня, значит, ещё мало знаете. Я — очень сочувствую такой замечательной мысли. Я долго был и против введения последних новых ружей.

С несомненностью почувствовал он, что вот наконец здесь нашёл истинное государево дело, внушённое Богом.

Стали перебирать: разве одни скорострельные пушки предстояло вводить? А полевые мортиры? фугасные снаряды? бетонные укрепления? новые типы пулемётов? Сколько бессмысленных трат! — поражать бюджет, подрывать народное благосостояние — и во имя чего? Долгие мирные перерывы — только накопление небывалых боевых средств. А через малое число лет и это всё оружие потеряет цену и значение, и потребует новое. А что если обратиться ко всем державам сразу: договориться и не развивать вооружений дальше? Ведь предложил же Александр II всему миру — запретить разрывные пули, — и запретили! И надо поспешить с обращением именно теперь, когда неевропейские нации тоже быстро воспринимают изобретения современной науки. (И именно теперь, после наших приобретений на Лядунском полуострове, дать всему миру доказательства русского миролюбия.) Мысль разрабатывалась и всё более манила: именно России взять на себя миролюбивый почин. Именно Россия может себе позволить даже и отстать в вооружениях: мы так велики, что на нас никто не нападёт. А сэкономленные деньги, мечтал Куропаткин, пустить на крестьянское устройство, на укрепление наших корней. Бросить в мировую ниву великое семя. Освободить миллиарды для благосостояния людей. Создать благодарную память в потомстве. Августейшим именем запечатлеть начало грядущего столетия.

И в августе 1898, не предупредив ни союзную Францию, ни братски-дружественного Вильгельма (никому не дать преимущества размышления, а главное — не дать себя отговорить), — послали всем державам ноту российского правительства. (Излюбив каждое слово там, Николай трижды читал её государыне вслух — и всё более излюбивал.) Нота призывала не к разоружению, что

вызвало бы тревогу и недоверие, но положить предел развитию вооружений. Вместо мира напряжённо-вооружённого — установить истинный и прочный, сохранить духовные и физические силы народов, труд и капитал от непроизводительного расточения. Созвать для этого конференцию и создать третейский суд между государствами.

Весь мир был застигнут врасплох. Печать (а значит — народы?) похваливала, отнеслась местами даже восторженно, правительства — иронически или недружелюбно: с царского трона легко произнести всё что угодно, правительство царя не зависит от общественного мнения, от одобрения кредитов. Франция была обижена, как союзница, от которой скрыли подготовку ноты, и возбуждена, что у неё хотят отнять 27-летнюю подготовку вернуть силу Эльзас и Лотарингию. Англия и Америка отнеслись спокойней, поскольку не предлагалось ограничивать флоты, а они своих целей достигали флотами. Тут между Англией и Францией вспыхнул грозный конфликт в Африке, угрожавший войною. Так запутались счёты между державами, что нельзя было избрать момента, равновыгодного всем для остановки вооружений: всегда кто-то оказывался отставшим. Да и у самой России были проблемы: всё тот же Босфор и Крайний Восток, и ещё подумать надо было, не поспешить ли всё-таки перевооружиться скорострельными пушками, чтобы сравняться, чтобы не думали: мы потому предлагаем остановить вооружения, что истощили свои средства. Перевооружиться — а уже потом ограничиваться? Вильгельм телеграфно приветствовал возвышенность побуждений русского Императора — и тут же увеличил свою сухопутную армию.

Либо надо было покинуть благородную затею, либо продолжать настойчивей. От многих обществ и частных лиц Николай получал выражение благодарностей — и уже одни они вдохновляли продолжать. В декабре 1898 он согласился на вторую циркулярную депешу державам. Предлагалась всеобщая конференция с программой: удерживать вооружённые силы в границах, определённых соотношением армии к населению, военного бюджета к государственному, запретить вводить новое огнестрельное оружие, новые взрывчатые составы и подводные лодки для морской войны. И согласиться на третейское разбирательство между державами.

Всё это было так невозвратно, что державы не могли отказаться от конференции, но и согласиться не хотели ни на что. Мирровая

печать по-прежнему хвалила начинание русского царя, хвалила конференцию, она состоялась в 1899 в Гааге, но нового столетия не открыла собою. Германский представитель заявлял, что его народ не изнемогает от бремени расходов и всеобщая воинская повинность для немцев — тоже не бремя, а честь. Комиссия главных держав отклонила все основные предложения России, и арбитраж тоже не был признан обязательным. Только и создали в Гааге Международный Суд над державами.

А между тем такая большая правда была во всём начинании! — и так тупо шлёпнулось в болото. Николай перенёс неудачу как личную. Он — двоился, он уже и раскаивался, что всё это начинал и оказался как будто в дураках, дал называть свои намерения комически-сентиментальными и подозревать лукавые расчёты у России.

Нет, и помазанному монарху трудно прозреть предначертанный путь. Самый манящий шаг вдруг оказывается в пустоту или в слякоть. Разделяется истина в противоборстве держав, разделяется истина в спорах советников — и только терзается душа. Мечтал бы делать лишь верное и хорошее, но никто не может указать, никто не в силах. А несомненны — только семейная жизнь и самые простые занятия. Солнышко Аликс. Купанья душики маленькой, первой дочери. Утренние и вечерние прогулки, наблюдать Божью природу. Иногда — на байдарке, или по царскосельскому парку на велосипеде, или дрессировать собак. Вечерами отдыхать на красивых операх, на смешных пьесах, иногда и дважды на один спектакль. Большое счастье, когда приходится принять церемониальный марш войск, всегда поднимается дух! То — осенняя серия полковых праздников, то — весенняя. (Николай и весь годовой календарь ощущал по полковым праздникам: у какого полка когда.) А то — глупеть, подписывая безконечные распоряжения, приказы, да дуреть от двух ежедневных министерских докладов, всё поглядывая на часы, что затягиваются уже за счёт завтрака, отнимая простое человеческое время. Никто не знал верно, что надо делать, но все министры и множество их подчинённых уверенно что-то делали каждый день.

Как невыносимо быть императором, да ещё всероссийским, как хорошо и естественно — простым семейным человеком: освободить себе вечер да сидеть почитать историю прежних лет, тем приятную, что в ней все выборы уже сделаны и известно, как пошло дальше.

А иногда и гордо. Не только когда дню именин твоих салютует и расцветивается даже германский флот. А вот: когда разгорелась война Англии с Трансваалем, захватило капканом извечную смутьянку и хищницу, и Николай был всецело поглощён этой войной, прочитывал в английских газетах все подробности от первой до последней строки и радовался английским потерям, вот что значит полезли в воду, не зная броду! — в его груди разгоралась гордость, что он был единственный человек на земле, кто мог изменить ход войны в Африке на гибель Англии. И всего для того простое средство: отдать по телеграфу приказ всем своим туркестанским войскам мобилизоваться и подойти к границе. И всё! И никакие самые сильные флоты в мире не помешают ему расправиться с Англией в самом для неё уязвимом месте!

Но — нет, возражали советники (тем всегда и неприятные, что возражают), мы недостаточно готовы к военным действиям, наша армия технически отстаёт, да и Туркестан не соединён сплошной железной дорогой с внутренней Россией.

Да, это была лишь мечта приятная. Решимости не было начинать большие действия самому. Но — гордо так помыслить. А что нужно: укреплять наши дороги и наши войска, наше влияние и наше положение в Азии. Будущее России несомненно лежало в Азии, в которую она так естественно входила сибирским массивом. В Европе один Босфор уже вынуждал к европейской войне, но даже и с Дарданеллами ничего не давал, кроме другого такого же замкнутого Средиземного моря. В Азии самые малые гарнизоны обещали принести великие успехи. Невозможно было не расширяться в Азии, когда давалось так легко, безо всяких военных усилий. (А когда подспеет великая Сибирская дорога — насколько возрастет цена нашим приобретениям!) Китай был удобным большим рыхлым телом, от которого любая сильная держава брала то, что ей нужно. Его правительство плавало в ничтожной слабости, и всем было выгодно продолжать это состояние. Но там звучали свои возбуждающие голоса, подпирало недовольство национальным унижением, — и вот летом 1900 китайцы восстали, помимо своего правительства, отрезали Пекин от моря, осадили тамошний международный посольский квартал, говорят, убили несколько сот белых по всему Китаю. Весь мир завыл от китайских зверств и жестокости. Безпроводного телеграфа ещё не было, нельзя было узнать, что делается в несчастном посольском квартале, очевидно шли массовые убийства, и только войска могли его выручить. Согласие европейских держав составилось как никогда полное.

Собрали международный отряд, третья часть войск — русская, и русские же заняли Пекин. И вдруг посольский квартал оказался совершенно нетронут, он был блокирован слабыми китайскими войсками и ими защищён от повстанцев. И Николаю стало отвратительно и совестно, что он участвовал в этом общем нападении. И Витте настаивал, что враждебные действия против Китая полностью неразумны, когда мы получаем всё договорно. (Впрочем, за время этой малой войны взяли себе полосу от Маньчжурии до Порт-Артура сплошь.) И Николай заявил державам, что из Пекина уходит и предлагает то же всем. Предупредил не ожидать дальнейшей помощи от России европейским войскам.

Было просто стыдно: ведь мы обещали Китаю защиту — а вот нападали вместе со всеми.

Тут ещё такой эпизод рассказали: когда пронёсся слух о китайских зверствах, в Благовещенске, к тому же обстрелянном с китайской стороны, люди возбудились, выгоняли из домов своих жителей-китайцев и заставляли их плыть через Амур. Многие потонули.

Власть Императора — непомерна. Нельзя бездействовать — но и при действиях неосторожная длань давит сотни и тысячи людей. Когда можно не действовать — лучше бы не действовать, вместо крутых мер — золотую середину. По-христиански нельзя делать другому — Китаю, того, чего не хочешь себе — России. А практическая политика заставляет — делать, строить дорогу через Маньчжурию, укреплять её охранной полосой, связь по суше установить до Порт-Артура.

В том году Николай отменил ссылку в Сибирь: не засорять её беспокойным сорным элементом, очистить эту великую здоровую страну. Умственным взором он видел, как Россия скоро порастёт в ту сторону.

Естественно, всё главное внимание и зоркость царя уходили на разгадку козней, интриг и заговоров внешних врагов. А внутри России врагов бы быть никак не должно, лишь подданные, ожидающие своей очереди милостей. России быть бы единой. Но нет: все те годы, что Николай напрягал разум разобраться в международных сплетениях, — здесь, внутри, совсем не было спокойно, они не вняли его твёрдому отказу в конституции, волновались всегда недовольные земские служащие и те бездельники из дворян, кто свободен был от забот истинной нужды и мог насытить свой досуг измышлениями о нуждах пресыщения. Но хуже: профессора портили и учашуюся молодёжь, захватывали за собой.

Четыре первых года царствования Николай верил, что и вовне и внутри можно уладить по-мирному, терпеливо выжидая или прося терпеливо подождать. Но на пятом, 1899, году пришлось ему жестоко разочароваться: и Гагская мирная конференция не принесла всеобщего мира — и внутри страны обнажилась злоба и борьба.

Это вспыхивает совсем неожиданно. Вдруг на торжественном акте в Петербургском университете оскорбились студенты может быть неумелым, грубоватым предупреждением ректора не буйнить и не пьянствовать после — освистали его, сорвали акт, на выходе полиция неосновательно потеснила студентов к одному из трёх мостов, разделяла конными и применила нагайки, — прискорбно, но что ж началось? Студенты объявили университет надолго закрытым, не давали ни читать лекций, ни посещать, за ними забастовали все студенты Петербурга, все — Москвы, и все провинциальные университеты. Николай хотел уладить отечески, назначил для расследования комиссию генерал-адъютанта, известного симпатиями к студентам, — и можно было рассчитывать на возврат мира, и полиции впредь запрещено было где-либо вмешиваться, — но нет, забастовка длилась месяц и другой, в Киеве случилось побоище в аудиториях, и ещё месяц, и никто не слушал умиротворяющей комиссии, но всё образованное общество подзуживало студентов продолжать.

Имея силы противостоять мировым державам, — в каком нелепом положении находишься, не в силах взять в руки собственное возбуждённое юношество. Но если вспомнить, что большая часть их учится, не имеющая средств, половина освобождена от платы за обучение, четвёртая часть получает стипендии в помощь, — то ведь и разгневаешься: почему государство должно за студентами ухаживать? Почему все находятся в рамках долга — а они нет? И Николай согласился: наказывать. Одобрил предложенное Витте: из высших учебных заведений за беспорядки исключать на год, на два или на три и на время исключения отдавать в войска, хотя б и не подлежали призыву, хотя б и нестроевыми: воинское воспитание есть лучшее исправление.

Четыре года казалось — можно управлять скорее даже в духе деда, чем отца. Четыре года важные решения как будто замедлялись, не стучались в дверь, — тут сразу пошли одно за другим.

Финляндия. Если она — часть России, то может ли она не жить по русским законам, и только те из них принимать и постольку принимать, как одобрит сама? Всего-то призывает Финляндия 10 ты-

сяч солдат — но из них ни одного не имеет права Россия переместить хотя бы в другую губернию. Александр I не жалел им подарков в начале века, но жизнь перестаёт быть такой просторной, и в последний год века приходится потеснить то, что было подарено в первый год его. Или тогда уже не жить с Финляндией вместе? Но кто бы взял на себя распад наследованной Империи?

Земства. Дал дед земства не всем губерниям, как будто действительно надо теперь распространить их на остальные, но, — нащёптывает неистощимый и переменчивый в мыслях, всегда блестящий и убеждённый Витте, — земства вообще несовместимы с самодержавием. Вместо обслуживания местных нужд они тянутся вырасти и подорвать монархию.

Решения толпятся, принимать их — проще в один цвет. Непокорных студентов — в солдаты. Земств — не распространять далее. Финскую армию набирать на новых основаниях. А более всего как зеницу хранить — русскую крестьянскую общину.

Но деревня отвечает неурожаями — в самых богатых и обильных губерниях. Но Финляндия волнуется к полному отделению. Но общество возбуждается до крайней черты озлобления, так что, кажется, им и Россия сама не нужна, только бы не было у них царя. И то, что пишут они в газетах, так далеко от исконных русских представлений, как если бы два несхожих языка — и нет никаких переводов, и нет пути объясниться. А в университетах полтора учебных года прошло спокойно — и вдруг, открывая XX век, в феврале 1901 студент застрелил министра народного просвещения Боголепова!

Что должен делать монарх? Поклониться студентам? Просить ещё других выстрелов?

Суд был гражданский, он не имел прав покарать убийцу смертью (вскоре тот и легко сбежал от наказания), — да за 6 лет царствования Николая ещё и не было ни одной политической казни, он никак не думал к ним прибегнуть. Тут собралась перед Казанским собором студенческая тысячная толпа. Были окружены, кое-где с дракой, и целыми толпами арестованы, восемьсот человек, так что не хватало места не только в тюрьмах, но и в полковых манежах. Одним внушали, других исключали, третьих рассылали по родным их местам. Надежда была, что теперь, без самых буйных, утихомирятся. И назначил нового, мягкого, министра — не мстить за убитого. Тот начал с разрешения университетских сходок и с поисков, как улучшить уклад учебной жизни.

Но в тех же днях стреляли в Победоносцева (не попали). В ответ на мягкие меры вражда общества к власти только усилилась от месяца к месяцу и принимала формы беспощадные.

В начале следующего года, 1902, новым юношеским выстрелом был убит министр внутренних дел Сипягин. И общество не скрывало ликования.

Вот тут Николай испытал уже — гнев. Это были выстрелы, по сути, в него самого. Ему — запрещали вести страну, требовали сдаваться. Но у него и колебания не было такого. Он нёс историческую корону, весь народ был за него — и только кучка интеллигентов против. Государь назначил новым министром — сторонника подавлений Плеве.

Именно внутри страны, где все — свои русские, и должно бы идти наиболее гладко, — вгонялись смертные эти занозы. Любя эту страну и желая ей только добра — почему нельзя было жить всем мирно, хорошо?

Апрельской ночью поехать на глухарей. Хоть и вовсе не спи — на другой день после охоты всегда бодрое состояние, а можно после министерских докладов поспать. Объезжать казармы и благодарить войска за службу. Присутствовать на манёврах и потом на длинных интересных разборах. Посмотреть, как стрелковый батальон продельывает рассыпной строй. Поспеть верхом на обычное место прохода улан или егерей в свой лагерь (Аликс подъедет на шарабане). В чудную погоду, море как зеркало, покататься вдвоём на тузике. Или смотреть гонку барж, вельботов, шестёрок. Вечером поехать на какую-нибудь весёлую пьесу, если летом — то в красносельский театр. (Красное Село всегда покидаешь с грустью — это центр всех воинских лагерей.) Но нет лучшего наслаждения и освобождения, чем поехать на обед в офицерское собрание и засидеться там до ужина и дальше, непринуждённо беседуя, слушая неистощимые военные рассказы, цыган или русский хор, вернуться в два часа ночи — и ещё на другой день подняться под прекрасным впечатлением проведенного вечера.

Как легко жить тем, кто несёт ответственность только за свою семью! Но молодой монарх отвечает ещё за несколько десятков великих князей и княгинь, за своих двоюродных братьев, и даже тётей и дядей, намного старше его, за доходы от их удельных владений, занимаемые ими посты, — и даже за поздние привязанности их: дяди Михаила, потом дяди Павла, когда, пренебрегая династической представительностью и не желая побороть свои страсти,

они избирали позорный путь морганатического брака, и так были удаляемы со всех постов, лишаемы званий, высылаемы за границу, — сколько это огорчений для всей династической семьи!

А наследник престола — вдумчивый кроткий брат Георгий — тихо истаял от чахотки, в уединеньи, в кавказских горах, мало пережив отца.

Трудность управлять — это трудность применить свою голову не к одному своему послушному телу, лёгкому на передвижения, и не только к своей семье, и не только к императорскому Дому, но осенить собою пространство, никак не свойственное отдельному человеку. Иногда, скалывая лёд в саду Зимнего, или во время верховых прогулок под Царским, Николай так напрягался умственно, сопоставляя противоречивые мнения собеседников и подчинённых, что передайся его напряжение в лом — тот бы запласал как бешеный, а пройди и отзовись его усилие в лошади — она бы захрапела, понесла.

Трудность управлять — это и несносная трудность обращаться к управляемым. Легко — если это один-два-три собеседника в закрытой комнате или застольника за обеденным столом. Приятно, если это в военной, гвардейской среде, — тогда легко раскрывается рот, привольно льётся речь (тут выпал юбилей Пажеского корпуса — его праздновали долго, шумно, во многих формах, и Николай с удовольствием много говорил). Но сжато и стеснительно, когда надо что-то вымолвить перед собранием штатских людей, да ещё весьма образованных и многомысленных, — руки Николая как связывались, ни одного естественного жеста, вяз язык во рту, не способный продвинуться, чтобы произнести одно милостивое или любезное слово, и опасался император, что может быть даже краснеет, что смущение его видно, — и не знал, как провалиться сквозь землю, скорее уйти. (Рядом с Пажеским выпали столетние юбилеи Государственного Совета и учреждения в России министерств — Николай вынужден был туда казнить ехать, но ни тем ни другим не произнёс ни одного слова.) Послан едва ли не каждому второму человеку этот дар — свободно держаться перед собраниями, но Николай костенел, леденел и только надеялся, что его молчание выразится достаточно важно.

Трудность управлять — это мучительная трудность принять правильное решение и трудность выбрать верных людей, на которых бы положиться. Сколько раз казалось — вот, нашли решение! — но сопротивлением событий оно разваливалось или

сызначала же не находилось сил его выполнить. И сколько раз мнилось — нашёл правильного человека! Но хором других людей указывалось, что человек избран неверно. Да и все советники никогда не сходились едино, а все друг другу противоречили, из чего вытекало, что и сами они не знали, как будет верно. И год от года Николай стал всё меньше и меньше доверять советникам и даже не открываться им полностью, лишь выводывал их мнения, но в каждом заранее предполагал ошибку. Внутреннее царское чувство должно подсказать верней.

Все министры, кто скромней, кто развязней, выставляли положительность своих мнений и действий и постоянно настаивали кого-нибудь награждать или назначать на выгодную должность, в какой-нибудь опекунский совет или в почётную отставку в Государственный Совет. (И сам Государь, внимая просьбе Кшесинской сложить с неё штраф за ношение не того костюма, был вынужден пожертвовать директором театров.) Кто, как Витте, считал, что блистает талантами, — внушал Государю, что именно на таланты надо ему опираться. Напротив, другие доказывали, что нужна лишь верность и преданность, и царя должны окружать не гении, но средние люди, чистоплотные труженики. Многотруден был путь — выслушивать одного, другого и третьего в их противоречиях, и прочитывать и прочитывать все стопы подкладываемых бумаг, а министры тем временем многое успевали делать сами, так что государево решение оказывалось уже и ненужным. От роя противоречий и несогласий между министрами стал Николай более всего не доверять именно министрам — чем дольше тот был на своём посту, тем больше, — и снова начинал доверять им после отставки. Он приучался наружно выслушивать министра (чаще — скучая, иногда оживляясь, если доклад содержал забавное), и даже повышенно-любезно, если предполагал от него вскоре отказаться или решить ему наперекор, приучался скрывать от министров свои чувства и свои мнения, а искать верного совета у кого-нибудь случайного, доброго проникательного человека, не занимающего никакого поста, — и издавать важные акты без соответствующего министра или учреждения.

Если бы мог Государь непосредственно узнавать мнение своего народа — вот это было бы решение. Но министры забором стояли между ним и народом.

А ещё происходили задержки и перемены решений оттого, что Аликс и Мамá оказывались почему-то разных мнений, тем бо-

лее — всё многолюдье великих князей (но многие из них претендовали повлиять на решения), да и всякие допускаемые на приём интересные лица. И, сперва застенчивым, а потом всё более уверенным голосом, научался говорить Николай: «Я так хочу. И не желаю, чтобы со мной дальше об этом разговаривали».

Год от году он всё больше стал верить в самого себя, не более грешного и ошибочного, чем все они, но зато укреплённого Божиим помазанием. Он был — самодержец, и давно пора ему это понять, как ему и внушала Аликс. Он был — избранник от самого дня рождения и уже поэтому мог управлять лучше их всех, только надо самому в себя поверить и следовать велениям совести, она никогда не обманет. Недаром говорится: «Сердце царёво в руках Божих». Николай ответствен ещё и перед историей, история поймёт его путь. А что его распоряжения не нравятся современникам — это не удивительно: люди, живущие в безверии и в круге совсем других представлений о мире. Счастье, что с Аликс так хорошо понимали друг друга и поддерживали.

Правда, иногда, по грешному нетерпению, хотелось более отчётливо знать Божию волю через мистические связи, которые существуют для сведущих. Для этого можно воспользоваться посредничеством тех таинственных людей, которые общаются с потусторонним миром — и через него многое безошибочно узнают. Как раз такой обаятельнейший человек — мсьё Филипп, оккультист из Лиона и доктор медицины, счастливо появился при петербургском дворе (через дядю Николашу и черногорских княжён). Он объяснил царю, что и не нужно никаких других советников, кроме высших духовных сил. Он без труда стал вызывать духов, среди них и тень Александра III, который, выполняя упущенное при жизни, и стал теперь диктовать сыну приказания, как управлять отечеством. (Одно из первых было: назначить черногорскому князю пенсию в 3 миллиона.) Также обещал мсьё Филипп помочь в их семейном горе: Аликс родила уже четырёх девочек, а наследника всё не было. Он внушил Аликс, что она беременна мальчиком, — и у царственной четы прошло несколько счастливых месяцев. Затем оказалось горестно, что беременности вообще нет, и эта внезапная смена потянула сплетню высшего света, что рождён был урод и пришлось его придушить. Такая великосветская гадость оставила глубокий шрам на чувствах Аликс и Николая. Вот уж кто от них был дальше всего в России — это высший свет с его лицемерным раболепным преклонением и готовностью тут же предать. От чуждости высшему свету, на-

пряжённому этикету и от любви к скромной жизни императорская чета прекратила устраивать придворные балы: их счастливые вечера были — в кругу семьи, их субботы были — у всеношных.

У всех на свете есть враги, нашлись они и у мсьё Филиппа и представили сведения, будто он — не доктор медицины и преследовался во Франции за обман. Эта клевета на человека, ставшего ему и Аликс дорогим, разгневала Государя, он небывало вышел из себя, бросил бумаги на пол, топтал их ногами — и велел просить президента Франции выдать Филиппу недостающий диплом. Велось переговоры, французское правительство опасалось запросов в парламенте, — тогда решено было дать Филиппу русский диплом, чин действительного статского советника и пожаловать в русские дворяне. Тут наш главный полицейский агент во Франции, некий Рачковский, обязанность которого была следить за нашими там революционерами, полез не в своё дело и донёс, что мсьё Филипп будто бы простой мясник без образования, французская полиция запретила ему лечить больных и он обратился к гипнотизму. Создался тяжёлый осадок, убрали Рачковского из Парижа, и в отставку.

Так разные несчастные обстоятельства отяготили светлые возможности мсьё Филиппа — и не более года тянулось это время полного освобождения от министерских мнений, когда Николай мог приказывать категорически, зная, что решение исходит от высших сил. К несчастью, не сумел Филипп получить и решающих указаний: как же Николаю единственно правильно вести себя на Крайнем Востоке?

Но — он видел этот край! — в этом, очевидно, сказался Божий замысел. И тот же замысел в сопредельности восточных русских земель с китайскими. Дремлющий в упадке Восток нуждается в сильной руке со стороны, — от кого ж как не от России? Очевидно, грандиозно замысленной задачей царствования Николая было — распространить русское влияние и власть далеко на Восток: взять для России богатую Маньчжурию, идти к присоединению Кореи, может быть, распростереть свою державу и на Тибет. И Аликс очень поддерживала. А чтобы при том не возникло никакой войны — лучшим залогом было мощное поведение России. Да никто там не посмеет против России.

И странно: величие и неотложность этих задач лучше всего разделяли с Николаем не естественные его помощники, русские министры, но германский Император. Это время они виделись с кузеном

каждый год и переписывались дружественно, со стороны Вильгельма — нежно, почти любовно. Даже свой морской флот Вильгельм предназначал, кажется, только для того, чтобы помочь Николаю поддерживать в мире спокойствие. Даже берлин-багдадскую дорогу он строил, кажется, только для того, чтобы предоставить её для переброски русских войск против Англии. В Ревеле в 1902 Николай открылся преданному, даже покорному, кузену и другу во всей великой азиатской задаче своего правления. Вилли, отплывая, изящно попрощался, морскими флажными сигналами передал: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого!» А подписывался — «всегда на страже, Вилли», — и действительно сообщал многие секреты, узнанные его агентами в Азии о скрытой английской враждебности и о японской подготовке. Он снова и снова предупреждал Николая об опасной *крымской комбинации* врагов России: что демократические страны, управляемые суматошным парламентским большинством, всегда будут против устойчивых императорских монархий, — и в своих азиатских шагах ещё увидит Николай и вражду Англии и Соединённых Штатов, и безучастность плохой союзницы Франции. Он объяснял, что на европейском континенте всякий понимает: Россия, подчиняясь законам экспансии, должна стремиться выйти к морю и иметь незамерзающую гавань для своей торговли, а для того иметь и *Hinterland* в виде Маньчжурии, иметь и Корею, чтоб она не стала угрозой и помехой в торговле. На континенте для всякого непредубеждённого человека ясно, что Корея должна быть и будет русской, а когда и как — до этого никому нет дела, а касается только русского Императора и его страны.

Увы, российские министры не были так единодушны со своим Государем — и только то было утешение, что они сами со временем противоречили себе прежним, как быстропеременчивый Витте, и постоянно противоречили друг другу. Витте, придумавший всю эту маньчжурскую железную дорогу и требовавший сперва послать побольше русских войск, затем отшатнулся и настаивал убирать войска, чтоб зарубежное долгое содержание их не принесло бы финансового краха России. А военный министр Куропаткин, кто, кажется, более всех был обязан поддержать воинственные намерения своего Государя, жаловался, как баба, что мы слабы иметь войска одновременно и на Западе, и на всём азиатском пространстве. Куропаткин советовал вовсе не касаться Кореи (между тем обещавшей нам очень большие выгоды в будущем), отказаться от южной Маньчжурии, от Мукдена, священного китайского го-

рода, которых мы защищать всё равно не сможем, но настраиваем против себя весь мир, — а остаться только в северной Маньчжурии, чем будет защищён Амур и железная дорога, и вдвое сокращена граница, и не будет столкновения с Японией. Этого столкновения особенно опасался Куропаткин из-за того, что ещё несколько лет нам необходимы для окончания Сибирской магистрали, а пока, из-за байкальского парома, только три пары поездов проходит в сутки по ней. (Он не понимал, что этого столкновения никогда не будет, Япония не осмелится.) Тут Витте, снова в противоречие себе, соглашался присоединять Маньчжурию и даже открывать лесную концессию в Корее. А Плеве надеялся, что азиатское столкновение отвлечёт и успокоит внутреннее брожение в России. Куропаткин, напротив, пугал, что война с Японией была бы крайне непопулярна и внутренняя смута увеличится. Удерживаясь же в одной северной Маньчжурии, мы наверняка избежим всякой войны.

Легче было бы не иметь ни единого советника, чем двух или четырёх. Разобраться, кто же тут прав, было бы просто невозможно, если бы Николай не превосходил их всех знанием Востока, а душой и сердцем не чувствовал бы лучше их славу и пользу России.

Тем временем смута образованных людей по всей России действительно не стихала, но необъяснимо разрасталась в какое-то общее сплошное круговое неудовольствие: делай ли так или наоборот — всё равно плохо. На газетные мерзости не было никакой управы, в газетах — ворох клеветы, оскорбительных фельетонов и возбуждение всех к беспорядкам. Как в таких случаях быть? как поступил бы отец? Рассказывали Николаю: когда какая-то Цебрикова написала против императора памфлет, и он ходил во многих списках по столицам, и её хотели арестовать, — Александр III распорядился: «Отпустите старую дуру!» Пробовало правительство и теперь не обращать никакого внимания — пропаганда разрасталась ещё наглей. И пробовало наказывать — где распустить земскую управу, где арестовать и сослать студентов, — разрасталось ещё хуже. В том был корень всех бед, что как только российский гражданин получал хоть начатки образования — он тут же непременно становился врагом правительства, и дальше уже ни лаской ни таской его нельзя было от этого отклонить. Поручали им дело — статистическое изучение деревни на предмет подъёма её, — превращали статистику в пропаганду: поджигать помещиков. Отдавали политически неблагонадёжных на исправление в армию — портилась армия и не хотела выполнять своих обязанностей. В то время

как всё японское общество строго и возбуждённо поддерживало своё правительство против России, было крепко в патриотизме, — русское общество как сошло с ума: оно не хотело никакой славы России, никакой выгоды её торговле, никакого расширения её влияния и готово было освистать даже любой успех и победу. По поводу же Крайнего Востока висла одна только брань.

Так великий замысел об освоении азиатского Востока всё более тяготел на одиноких плечах Государя. Однако смутой общества следовало пренебречь как помехой незаконной, незакономерной, временной.

А великий замысел и не может быть изъяснён даже самому себе в нескольких словах. Он парит высокими облаками над просторами Азии — и в Тибете ли ему край, в Индии, или в Персии, — этого никто из живущих не знает. Начали с маньчжурской железной дороги. А иметь дорогу — значит иметь и незамерзающий порт в конце. Иметь дорогу — значит нуждаться и в охране её, а разве может такую охрану обеспечить неустойчивая китайская власть, сама на развале? Китайские беспорядки 1900 года навели на то, чтобы русским войскам занять Маньчжурию — временно, против собственного желания России, только ввиду этих тревожных событий. Однако задержка там русских войск и после конца событий вызвала повсюду большое возбуждение. И в начале 1901 пришлось сделать публичное заявление, что мы, уважая неприкосновенность Китая, ищем способа скорей очистить Маньчжурию — как только восстановится центральное правительство в Пекине и нормальное положение в Маньчжурии. Однако — это частный вопрос между Китаем и Россией, и никто не смеет обсуждать его со стороны. А тут как раз Китай, запуганный Японией, не захотел подписать с нами соглашение об эвакуации — и это обстоятельство отныне развязывало нам руки! Отныне русское императорское правительство оставляло за собой полную свободу действий. О безусловном возвращении Китаю Маньчжурии теперь не могло быть и речи — пока во всём Китае не восстановится вполне нормальный порядок. Но Япония была глубоко задета — и выступила теперь уже как союзник Китая, якобы в защиту его целостности против замыслов России. Она не хотела примириться, что 6 лет назад была вынуждена уступить то самое, что Россия теперь взяла. Наш посол в Токио всячески разъяснял, что Японии нечего опасаться: только западно-европейские державы преследуют в Китае цели колонизации, Россия же, как и Япония, — держава восточная, инте-

ресы её в Азии — чисто домашние, она не может желать присоединить Маньчжурию. (Впрочем, на всякий случай мы и зондировали: к каким последствиям привело бы официальное заявление России о намерении присоединить? Это было постоянное истомляющее колебание: возвращать Маньчжурию или нет? Ясно было, что из западных великих держав ни одна не вступится прямо, — но так ли выгодна Маньчжурия, чтобы принять вызов Японии? А с другой стороны, Япония никак не может решиться на войну в одиночку против всемогущей России. А с третьей стороны: если уходить из Маньчжурии, то как не допустить, чтобы её отдали разрабатывать другим державам?) Кроме Маньчжурии был Порт-Артур — этот безусловно должен был остаться наш. (Куропаткин заверял, что он выдержит хоть десятилетнюю осаду.)

А ещё была — Корея, вопрос наиболее сложный. По соглашению 1896 года японские и русские права в Корее должны были быть равными, по протоколу 1898 Корея должна была оставаться независимой. Но Япония так обнаглела за минувшие годы, что уже требовала себе там исключительных военных и политических прав. И тщетно русские представители разъясняли японским, что Россия не может безучастно относиться к состоянию маленького соседнего государства и допустить утверждение в ней чужой политической власти. В Петербург приехал недавний японский премьер-министр, весьма влиятельный маркиз Ито, Николай принял его и подтвердил разъяснения, а Ито высказывал японские подозрения о затаённых русских планах в Корее, тогда как Япония нуждается там в политических и военных правах. Маркиз предлагал новое соглашение: признать права Японии в Корее, ибо Корея слишком слаба, чтобы существовать самостоятельно, и ни слова о Маньчжурии, Россия может свободно действовать в ней, — и ничто впредь не будет мешать тесной русско-японской дружбе, ибо Корея — единственный предмет раздора. Но Николай и сам без своих советчиков легко видел, что предложение маркиза — невыгодное, ничего нового не приносит России: Маньчжурия — и без того в руках у России, она так и остаётся, а Япония ещё не опиралась ни на что на материке, и вот в Корее приобретёт права, загоразивая такой же путь России. В Корею мы непременно должны также продвинуться в ходе своего естественного распространения — хозяйственными интересами и поддерживающими военными отрядами. Соглашение с Японией в декабре 1901 не состоялось.

Тотчас за этим Япония вступила в военный союз с Англией (дружественная поддержка при войне с одной державой и военная при войне с двумя), — Англия, еле вытянувшая ноги из Трансвааля, бралась поддерживать Японию, если вступится ещё или Франция, или Германия. Но Франция поспешила разъяснить, что русско-французский союз относится только к европейским делам. Но Германия, за пределами нежных писем Вильгельма, не желала помогать слишком явно. И даже старые друзья — Американские Соединённые Штаты — поворачивались против России, очевидно, под влиянием еврейского общественного мнения.

Велик был мир — а Россия в нём одинока.

Велика Россия — а Император в ней одинок.

И тем не менее он не мог отказаться от великого и таинственного азиатского замысла. Сосредоточением воли должен был Николай провести Россию этим небывалым фарватером. Оказывались худы, неспособливы все назначенные министры — значит, надо было действовать в обход министров, искать и использовать истинных, верных помощников.

Таким был прежде всего Сандро (женатый на сестре Ксенье). Сандро горячо брался за дело — как усилить наш флот в Тихом океане и как устроить лесную концессию в Северной Корее, не считаясь с неразумным противодействием корейского правительства. Таков был и адмирал Алексеев, опасавшийся, что нашей чрезмерной уступчивостью мы только вызовем новые японские требования. (И с этим отважным человеком Николай вполне соглашался: ни в коем случае не уступать!) Уж если воевать с японцами, то лучше в Корее, чем в Маньчжурии. Корея должна стать русской. И нельзя выводить войска из Мукденской провинции: останется необезпеченным Порт-Артур. Ещё был чудесный советник адмирал Абаза́, сухопутный. Но более всех пришёлся желанным помощником через того же Сандро представленный Безобразов, отставной кавалергард и потому особенно хорошо понимавший военное дело также. Это был человек решительный и цельный, он обещал *одной мимикой* взять для России и всю Маньчжурию, и всю Корею. Государь сделал его своим личным разведчиком и уполномоченным на Востоке, возвёл в статс-секретари и дал сноситься с собою отдельным шифром, минуя нерешительных министров. Это было государево око, зорко наблюдающее, где что ещё не доделано для нашего величия, где ещё не исполнены веления Государя. Безобразов, ознакомясь с секретными материала-

ми Генерального штаба, решил вопреки неуклюжему военному министру, что нам совсем не следует укрепляться на западной границе, но все средства бросить для восточного развития. К тому же, как объяснил он, наши экономические предприятия в Корее, лесная концессия, быстро начнут приносить фантастические барыши, и Восток окупит сам себя. (Пока что он взял кредит в 2 миллиона.) Его энергия воодушевляла Николая! Безобразов повсюду на Востоке в окружении своей свиты распоряжался, не считаясь ни с русскими министрами, ни с обязательствами русских дипломатов, ни с ничтожным китайским правительством. Он действовал сам от себя, и только такая диктатура могла двинуть вперёд дальневосточные задачи. Николай не мог нарадоваться своему выбору и как он сам ловко отделался от опеки министров. Теперь, минуя слишком осторожного министра иностранных дел, Николай сносился прямо с адмиралом Алексеевым и Безобразовым, и только огорчался, что и между ними двумя тоже вспыхивают противоречия. Никогда не удавалось ему иметь одновременно двух одномысленных помощников.

Но он и сам впервые креп в себе по-настоящему и чувствовал себя воистину самодержцем.

Да дела на Востоке и шли хорошо, всё сопротивление придумывалось пугливыми советниками. Наше влияние неуклонно распространялось, только чересчур медленно.

Летом 1903 сбылась одна заветная мечта Николая: самому участвовать в канонизации русского святого. Это был преподобный Серафим Саровский, умерший ещё при прадеде. В июле Николай поехал участвовать в торжествах в лесные места Тамбовской губернии. Он не взял с собой ни государственных людей, ни государственных забот, ни придворной свиты. Он — как бежал от этого безверного, насмешливого, затхлого петербургского мира, — бежал окунуться в святость и в свой народ. И ожидания его сбылись наилучше. На прославление святого, так забавное образованному обществу, во многих тысячах собрался простой народ, телегами из дальних мест. Не было потребности ни в дворцовых церемониймейстерах, ни в полиции, ни в охране: распрягнув коней по сторонам, бородатые паломники и в белых платках паломницы залили собою всё примонастырское пространство и стекали к обеим сторонам лесной дороги поглядеть, как их царь несёт гроб святого. Четыре дня шли богослужения то в одном храме, то в другом, полна была молящимися монастырская ограда, и многие вне её стоя-

ли на коленях и молились, и зажжёнными свечами молящихся в безветренную густую ночь был обставлен пеший перенос гроба из монастыря в скит, и слитные церковные песнопения поднимались с разных сторон в ночное небо. Николай не помнил, когда был так светел и счастлив. Вот, он видел несомненный народ в его жаркой вере и с несомненным совпадением его молитвенных чувств и своих, — и отсюда, из центра поднебных богослужений, так дико было представить где-то в этой же стране — высший свет, ушедший от Бога, профессорскую смуту, студенческие крики, дерзости печати и злодейство революционеров. Из Царского Села, из Зимнего дворца то всё казалось страшно, а отсюда, из гущи истинной России, — призрачно, как небылое. И что б сказали эти крестьяне, если б их посадить судьями над теми студентами, каким дано учиться, а они разгоняют лекции? Он радовался, что этой весной разорвал удерживающих советников — и вот этим самым добрым крестьянам отменил жестокую круговую поруку, ответственность невинных за виновных, послушных — за ослушников. Вот, без бумаг, канцелярий и высшего света он соприкасался со своим истинным народом и был истинным народным царём, какого и жаждет Россия. В народе — правда, и в царе правда, и как бы постоянно ощущать эту саровскую связь — и царскою волей выражать народную мысль?

«Не посрами нас от чаяния нашего...»

Николай вернулся из Сарова небывало утверждённый в себе. Ему совершенно ясно стало, что он должен быть неуклонен в своей царской воле и убирать препятствия. Тотчас по возвращении он пустил в почётную полуотставку Витте, извергавшего каждую неделю новый проект (и сам же высторанивался от своих мер, когда общество шумело). Теперь Государь осуществил свою идею: полностью выделить дальневосточные дела из русских, учредил особое наместничество адмирала Алексеева — исключив весь Дальний Восток из ведения всех министерств, отдав адмиралу и командование войсками, и управление краем, и всю дипломатию с Китаем и Японией, — вести дела, как он хочет и умеет. Государю так было и легче: получать лишь готовые доклады об успехах, не ломая перед тем голову, тем более, что этой осенью пришлось на несколько месяцев удалиться от государственных дел и из самой России: безвременно умерла гессенская принцесса (Аликс просто изрыдалась, не помнила другого такого горя) — и они вдвоём поехали жить там, на родине Аликс, и оплакивать умершую.

Теперь-то Япония должна была смириться, почувствовав русскую решимость! Но, странно, нет! — на что она рассчитывала? В августе прислала предложения — Николай не мог рассматривать их иначе как нахальство. Наши агенты оттуда доносили, что Япония готовится к войне, это и вовсе было бы для неё самоубийственно. Войны возникнуть никак не могло, но, разумеется, следовало её избегать. Алексеев разговаривал с японцами достойно-твёрдо. (Жаль, что они опять ссорились с Безобразовым.) Пришлось занять снова Мукден и подослать войск в Корею. В ноябре совсем, кажется, успокаивалось. В декабре вдруг сообщил военный агент, что японское правительство решило начать войну. И Вильгельм откуда-то взял, предупредил, что Япония начнёт войну в середине января. Очень были возбуждены японские газеты. Вот, как сказали им — «назад!», 8 лет тому, и они ушли, так решительно надо было и теперь — не отступать нигде и разговаривать твёрдо! Время — лучший союзник России, от каждого года мы станем только сильнее. В январе японцы дерзко предложили нам: совсем уступить им Корею, а по Маньчжурии у них претензий не будет. Свой же министр иностранных дел настолько не помогал, а тормозил всякую активную политику, что пришлось Николаю изобретать и действовать втайне от него: двух предприимчивых калмыков послать в Тибет, разжигать его против англичан. (Ах, жаль, ах, жаль, не вмешался в Трансваальскую войну, ещё не было тогда решимости!) В конце концов создавалось положение, полное томительной неизвестности. Если, не приведи Бог, война, то надо оттянуть её ещё на полтора года, пока мы сомкнём Сибирскую магистраль вокруг Байкала. Но лучше всего, конечно, сохранить мир. Так обсуждал на совещании с министрами 26 января — и весь день сохранялось приподнятое состояние: превзойти японцев миролюбием, духом Гаагской конференции, и они тоже очнутя. Вечером был на «Русалке», пели очень хорошо, а воротясь, получил телеграмму от наместника, что ещё в минувшую ночь японцы коварно атаковали Порт-Артур, повредили два наших броненосца, один крейсер — и намного подорвали наш флот по сравнению с их.

Самые большие несчастья даже не воспринимаются нами сразу, мы не можем их охватить. В эти дни ещё было только негодование против дерзости и решимость нанести достойную кару за вероломство. Военный министр Куропаткин, назначенный командовать Действующей армией, был уверен в быстрой победе: серьёз-

ного сопротивления не будет. После разгрома японской армии на материке надо произвести десант на японские острова, занять Токио, — разбить японцев хоть и вместе с Англией и Америкой. Богатырская Россия! — узнают её гнев. Лишь больно, что в самой России плохо подумают о нашем флоте.

Много других обычных чувств, забот и дел помещались в груди и в протяжённости дней. В эти недели сильно недомогала Аликс, теперь уже с несомненностью беременная, — всё время лежала, лежала с мигренями, лишь иногда переключалась на кушетку, совсем редко садилась к обеду. Не выходили, не выезжали вместе, без неё наслаждался «Сумерками богов», концертами соединённых хоров или андреевских балалаек, — тем более охотно в остальные вечера оставались одни и читал ей вслух. Дни всё так же были полны докладами, чередой представляющихся, чтением бумаг, чаями, завтраками, семейными обедами с Мамá или многочисленными членами династии, иногда под музыку, рядовыми церковными службами, а нередкими панихидами, отпеваньями, молебнами освящения зданий, гулять доставалось только в саду Зимнего, посещал очередные караулы с их оживлённой сменой мундиров, однажды выходил на крышу. Зима в Петербурге стояла на одних оттепелях, все ездили на колёсах, и уже в марте неслась по улицам убийственная пыль. Только по воскресеньям можно было вырваться в пышноснегое Царское, насладиться милым парком и подолгу восхитительно гулять, со спутником или с собаками. Всего два раза за зиму охотились в Ропше, в фазаннике, правда очень удачно, убивал сам по сотне птиц за день. Смотрел, как строятся корабли — на Галерном острове, в Новом Адмиралтействе, на Балтийском заводе, — работа кипела, и у рабочих были хорошие весёлые лица. Это залечивало обиду от тех сорока мерзавцев в Московском университете, телеграфически поздравивших микадо с победой над нами; от тех тифлисских или тверских гимназистов, семинаристов, даже епархиалок, кричавших по улицам «да здравствует Япония, долой самодержавие!» (что делать с такими?).

Надо было ждать и терпеть. Война на отдалённом театре требовала долгого снабжения, сосредоточения. Сибирская магистраль работала с байкальским перерывом. Балтийский флот ещё не скоро будет готов двинуться вокруг Африки и Азии. Франция в эти же месяцы объявила с Англией *сердечное согласие* и не помогала нам. (Прав был Вильгельм: они всегда сталкиваются в «крымскую комбинацию».) Но именно обязательства перед Францией не дава-

ли нам убирать свои войска с западных границ. Только Вильгельм был как никогда сердечен, гордился и титулом русского адмирала, и доверенностью к нему Николая, призывал вместе ждать помощи неба и тактично утешал в неудачах, над которыми открыто насмеялась вся печать либеральной Европы, Америки и собственные домашние либералы.

Война пошла — какая-то роковая, японцы и не спешили как будто, но каждый их шаг был удача, а каждый наш — поражение, так что благословенны были дни, когда с Востока не приходили никакие телеграммы, потому что приходившие были всегда плохими. Николай хранил большую надежду на Алексеева, писал ему долгие письма, получал от него благоприятные бодрые телеграммы — но они не подтверждались потом. Японцы трепали нас у Порт-Артура, не давали движения Владивостоку, на Пасху на японской mine взорвался первоклассный броненосец и несравненный адмирал Макаров на нём. Накопив войска на континенте, японцы стали наступать, а наши войска, несомкнутые, при недостатке снаряжения и даже провианта, везомого из России, ёжились и пятились на неохватимых пространствах Маньчжурии, теряя пушки (с Бородина мы не теряли их), разорванные отступали на север, и отступали на юг к самому Порт-Артуру, не удерживая выгодных рубежей. Ещё вчера Россия виделась всему миру, сама себе и своему Императору — державою несравненной мощи. И вдруг в несколько недель вся её мощь оказалась уязвимой, малочисленной и не на месте, роковым образом — *не там*: не там вся сухопутная армия, и не в том океане флот, и даже заперт не в том порту, и моряки, как подмененные, мазали непростительные ошибки.

Своим высшим достоинством в такое позорное время счёл Николай — скрывать унижение и горе за полной невозмутимостью. Чтобы как будто ничем не было нарушено отправленье ежедневных обязанностей. В саду добивал исчезающий снег — и, как всегда на свежем воздухе и от движения, настроение улучшалось. Не пропускал ни одной церемонии, где его ждали: подъём штандарта, церемониальное прохождение военных училищ (сам себя зная стройным и лёгким и ловким), парад с атакой на Дворцовой площади, юбилей кирасиров и парад их в конном строю, полковое учение лейб-гусаров или улан и многие другие смотри и полковые праздники, выпивал традиционную чарку перед фронтом парадов или в столовой нижних чинов, принимал закуски и завтраки в офицерских собраниях, принимал выпускников всех военных академий,

присутствовал при надувании воздушного шара, осматривал военно-санитарный поезд имени Ея Императорского Величества, осматривал новую морскую походную амуницию — и от того, как замечательно она продумана и прилажена, поднимался дух и веселел представлялось всё будущее вооружённых сил и армии. А ещё укрепляла всякая беседа с контужеными или ранеными, прибывшими с Дальнего Востока и снова туда направлявшимися: от этих касаний Николаю казалось, что он и сам там побывал и поучаствовал. Но особенно поднялся дух, когда Петербург встречал героев «Варяга» и «Корейца», Николай угощал их в Зимнем.

Само собою шла череда субботних и воскресных служб (и пасхальное большое христосование, 700 человек придворных и нижних чинов охраны), которые Николай не пропускал, и где в настойчивых молитвах прилагал те усилия, которых реально физически не мог простереть через Сибирь на далёкую Действующую армию. Как и каждый год, не пропустил апрельский молебен в годовщину своего чудесного спасения в Оцу от японского убийцы; в этом году память того события приобретала символическое значение: в тот день явлена была ему милость Божья — и не без смысла же.

Само собою Государь принимал удачно-короткие или тяжело-весные доклады министров, иногда до одурения читал бумаги и писал на них, не упускал множество мелких дел и всяких распоряжений. А когда подолгу не было подбодряющих телеграмм от Алексева — отводил душу в беседах с генерал-адмиралом дядей Алексеем или с адмиралом Абазой, которого и держал для этого в Петербурге.

Не было оснований нарушить регулярный годичный круг, как жила и переезжала семья: от конца весеннего таяния — в Царское, при расцвете лета — в Петергоф, к морю (при въезде традиционным — весь уланский полк выстроен по Александровскому парку). Регулярная смена любимых мест — одно из лучших наслаждений жизни. В Петербурге удобнее съездить в театр, посмотреть выставку исторических и драгоценных вещей или археологическую коллекцию, но гулять тесно и кататься только по набережным. В милом Царском чудные прогулки во всякую погоду, даже под проливным дождём или при сильном ветре, но особенно наслаждаешься солнечной мягкой; или верхом вокруг Павловска, или целой компанией в Гатчину к Венерину павильону и там чай пить, и готовят блюда на свежем воздухе. Этим летом ещё надумали кататься на железнодорожном моторе. Весной раза два охотился на глухарей

на току, а то наладился в царскосельском парке охотиться на ворон: сперва убивал по одной в день, потом уже и по две. А в Петергофе — поездки на шлюпках, на электрическом катере до баке-нов, или возиться с собаками у моря, или просто баловаться в речке, ходя голыми ногами, — ото всего этого распорядка вноси-лось большое успокоение. Да ведь 36 лет, молодое тело всего про-сит. А уж по воскресеньям устраивали строго-замкнутый домаш-ний отдых, никаких докладов, — и окончательно легчало на душе, будто в мире ничего дурного и грозного не происходило. (Не ото всего спрячешься и на семейных обедах: дядя Алексей, пожалуй, слишком много вмешательной власти забрал во всей азиатской истории и в этой войне, а устранить его от морского ведомства препятствовала Мамá. А для Кирилла, чудом спасшегося при взры-ве броненосца, когда погибли все, и Макаров, дядя Владимир теперь требовал отдыха и заграничного лечения, нисколько не стесняясь горькими событиями.)

В этом году отмечали между собой и 10 лет помолвки и 8 лет коронации (вспоминание об этом миге тоже подкрепляло, не могло быть помазание всуе). Но самое особенное было в этом го-ду — беременность Аликс и шестая вспышка надежды, что родит-ся сын! Как берёг её Николай в этот год! — почти все дни катал и катал в кресле по царскосельским и петергофским аллеям, по милым паркам (иногда девочки рядом на велосипедах), когда мог-ла — катал на шлюпке по прудам, а то — она в коляске с детьми, а он верхом рядом. И невыносимо было один день не увидеть её — никогда б и не отлучался, если бы не возникла счастливая большая мысль: что в руках монарха есть способ воздействия на войну высший, нежели доступно генеральским штабам или зависит от снабжения, снаряжения, провианта.

Способ этот: прямо передать войскам ту благодать, которой обладает помазанник. Показать себя войскам и благословлять их — целыми полками, батареями, отрядами, и даже — отдельно каждого передачею ему от царя священного образа, например Серафима Саровского. Такое благословение и зримый вид царско-го лика воодушевят солдат и многое исправят в упущениях подго-товки и полководительства. Аликс одобрила эту мысль, вместе с ней выбирали для войск образа. Невозможно было достичь тех войск, которые уже воюют на Востоке, но можно было застичь от-правляемые полки, — и Николай решил ни одного из них не упус-тить своим благословением, распорядился так подстроить их го-

товность к прощальным парадам в разных местах, но по одной железной дороге, чтоб, отлучаясь от Аликс не более чем на неделю, мог бы объехать и благословить сразу многих. В первую такую поездку объехал Белгород, Харьков, Кременчуг, Полтаву, Орёл, Тулу, Калугу, Рязань. Полки и батареи представлялись отлично, чудно, повсюду был большой порядок, даже после ливней проходили замечательно (лето стояло со многими частыми ливнями и даже бурями, но в тепле, и благодатно сразу нагревался и возносился воздух). Нечего и говорить, как войска были воодушевлены, что сам царь провожает их на войну, никого не забыл, не обошёл благословением. Но так пусто и тяжело без нежно-любимой. И какая радость под чудным впечатлением совершённой поездки быстро очутиться снова дома и увидеть родную Аликс. (И, увы, снова сесть за доклады, которые в поездку не посылались.)

Второй раз объехал Коломну, Моршанск, Тамбов, Пензу, Сызрань, Уфу, Златоуст, Самару, и было поразительно радостно смотреть на представляющиеся полки, удивлялся равнению и тишине в строю при церемониальных маршах (особенно отличились тамбовские и моршанские полки), кое-где среди запасных нижних чинов узнавал знакомых, виденных при отбытии ими службы, — память на лица и фамилии у Государя была редкая. На станциях представлялись многочисленные депутации, иногда население стояло вдоль железной дороги, в каждом городе непременно посещал соборную службу. Вернулся из поездки с умилённым благодарением Господу за его милости и с уверенностью, что Он не оставит России. Тем более было отрадно возвратиться в лоно семьи и снова катать свою жёнушку в кресле по аллеям. В третью поездку побывал в Старой Руссе и Новгороде, и снова остался очень доволен смотрами, и особенно — видом людей. Четвёртая поездка была на Дон — в казачий лагерь под Новочеркасском, правда очень жарко в вагоне. На платформе была встреча от Войска, дворянства и торгового сословия. Пропустил мимо себя донскую дивизию дважды, благословляя иконами. Казаки представились молодцами, на отличных лошадях, самое лучшее впечатление. Потом многие казаки скакали рядом с поездом и очень ловко джигитовали. По пути на станциях народу было масса, такие приветливые весёлые люди. Нет, непобедима Россия! Не оставит нас Бог никогда.

А между тем наступил незабвенный великий день, в который так явно посетила нас милость Божья: 30 июля днём в один час

с четвертью Аликс родила сына! Нет слов, чтоб уметь благодарить Бога за ниспосланное Им утешение в эту годину трудных испытаний. Поехали к молебну. Конечно, со всего света навалилась гора телеграмм, и пришлось три дня отвечать. Предложил Вильгельму быть заочно крестным отцом, он был очень польщён. (Во весь этот тяжкий год он — единственный верный внешний друг, сочувствовал погибшим и поражениям, обещал снабжать углем русскую балтийскую эскадру в кругафриканском плаваньи, давал советы, как черноморским флотом вырваться сквозь Дарданеллы, присылал агентурные сведения об Англии, как она помогает Японии, только очень настаивал на торговом договоре, тяжёлом для России. Послал к нему Витте.) На 12-й день состоялось крещение наследника — и вереница золотых карет выстроилась у моря, в окружении казачьего конвоя, гусар и атаманцев. В этот день отменил последние телесные наказания в России. А на 40-й возникло у маленького опасное кровотечение, но он был удивительно спокоен и весел. (Защемило сердце надолго.)

Перед рождением наследника японцы подошли к Порт-Артуру с суши и приступили к плотной осаде. Флот оказался в ловушке (несчастливая мысль была Алексеева держать его там). Николай велел флоту уходить во Владивосток, но прорыв не удался, потрепаный флот вернулся в обречённый Порт-Артур. Терпел неудачи и владивостокский крейсерный отряд. (И посылать ли теперь туда Балтийский флот? ведь он не справится.) Полоса дождей ещё удерживала сухопутное сражение. В августе оно произошло под Ляояном, при силах почти равных, но Куропаткин потерял дух, упустил возможную победу, принял обидное решение отступить, опасаясь окружения фланга. Тяжело и непредвиденно.

Какая-то бессмысленно-несчастливая война, без единой удачи. Как будто раскололось и гасло солнце России. Как будто рассыпалось в воздухе оружие, едва его подымал русский Император, — либо рассыпалась самая рука его.

После Ляо-яна что-то начало носиться в лицах и глазах, что мы можем — не победить.

Не сами потери были так велики — в битвах прошлых войн Россия теряла и больше, но славно. А эти были неожиданны, несоизмеримы воюющим странам, позорны, давая волю западным карикатуристам изображать, как маленькие макаки, спустив штаны с рослого великана, секут его и погоняют.

В это лето через два мерзких случая постигло две смерти: террористы убили сперва финляндского генерал-губернатора, затем — министра внутренних дел, когда он ехал в Петергоф с докладом. В лице Плеве Николай потерял незаменимого министра. Строг Господь, когда посещает нас своим гневом.

И — как разгадать нам гнев Его? Это значит — мы сами не видим, где неверно ступаем. С простодушной радостью кричали царю «ура!» все осмотренные им войска, вереницы сёл и уездов вдоль железных дорог махали руками, шляпами, бабьими платками, — но, может быть, за всеми их миллионами не следовало забывать всё более рассерженного, необъяснимо злого образованного класса? Быть может, ему в чём-то надо было уступить? Плеве успешно держался линии — всякое внутреннее недовольство подавлять. Но, может быть, во время неудачной войны министр внутренних дел должен быть помягче? Николай назначил князя Святополк-Мирского, зная, что его любят земцы, что и в нём самом либеральный дух, однако же не до конституции. Быть может, правильно было — никакой борьбы ни с кем внутри страны не вести, но дружно сплотить усилия и правительства и общества. Это всегда был самый трудный вопрос: что делать с недовольным обществом? И подавлять без конца нельзя, и уступать без конца неправильно. Самое верное было бы — увлечь их сердечной любовью к России. Но они не увлекались.

Хотелось сожмурить глаза, разожмурить, — и нет недовольства общества, а то бы — и Японской войны. Отдельные дни проходили спокойно — и если бы все так! Привычный распорядок укреплял душу. Искал с Мамá грибы. Опять катал Аликс в кресле, как привыкли до родов, вечерами много читал ей вслух, а маленькое сокровище лежало в постельке. Возникли большие осложнения с англичанкой-няней, долгие колебания и обсуждения, уволить ли её. Иногда на красивом закате выходил в море на байдарке. Николай жил с природой как с главным живым существом. Первым событием его дня всегда было: какая сегодня погода? И весь день он ощущал её всякую, хорошую или дурную, от этого зависело настроение его, как принимал он собеседников и мысли их, в какую сторону склонялись его решения, и вечером над дневником первая мысль была — о погоде минувшего дня. После странного лета осень грянула неоправданно, обидно рано, с пронзительными ветрами, с налитым холодом даже солнечных сентябрьских дней, и на эту раность Николай мог так обидеться,

что не шёл на прогулку. От моря переехали в Царское в конце сентября. Охотились за Гатчиной и под Петергофом. Облавы были удачные, летела масса пера, убивал фазанов, тетеревей, куропаток, а беляков даже и по полсотни враз. Всё так же посещал полки, парады, представлялись кавалергарды то шагом, то галопом, фотографировался с офицерами, пил за здоровье полков, ездил на освящение церкви драгун, на освящение суворовского музея, на праздник гусар в экзерцирхаузе. Приезжал в гости греческий принц Джорджи, спаситель Николая тогда в Оцу, просил отобрать у Турции Крит и передать Греции. Вечно ему благодарный, Николай охотно бы взялся за посредничество, но, по тяжёлому году, лишь поддержал ходатайство принца перед европейскими правительствами: в самом деле, и передать, отчего бы нет?

Не сиделось на месте безучастно к войне, и Николай снова и снова ездил в дальние поездки — благословлять иконами отходящие на Восток войска, целые дивизии или стрелковые бригады, верхом выезжая в лагерь с ближних станций, где встречали его депутаты дворян, депутаты крестьян. Все войска были в блестящем виде, и лошади хорошие. Отправка на фронт захватывала всё новые, ещё нетронутые военные округа, и поездки были — под Варшаву, в Одессу (где после собора проехали по бульварам, приём был удивительный, и порядок тоже). В такой дальней дороге много читал и, несмотря на тряску, ухитрялся на ходу писать Аликс.

Да если бы не Аликс, не маленький, и вообще не обязанность руководить министрами и политикой, — Николай, может быть, и сам бы отправился туда, на Восток. Болело его сердце, что он не разделяет тяжкого дальнего жребия своей армии, ничто не было ему так по душе, как находиться при армии. Он не пропускал беседовать с приезжими из Маньчжурии — слушал их всегда с интересом, радовался редким удачным рапортам — Стесселя об отбитых штурмах, Куропаткина о взятых сопках, и принимал, напутствуя, новых командующих русскими армиями — Гриппенберга, Каульбарса. Адмирал Алексеев правильно настаивал — наступать и выручить Порт-Артур! А Куропаткин оттягивал, жалуясь на недостаток войск, на несобранность. Наконец пришло же время заставить японцев повиноваться нашей воле! В середине сентября Куропаткин перешёл в большое наступление, но продвинулся на юг всего 20–30 вёрст, как встретили его японцы — и началось

девятидневное сражение на фронте в несколько десятков вёрст. На Покров Пресвятыя Богородицы уже стало ясно, что наша армия отходит и потери у нас, по-видимому, большие. И после долгой внутренней борьбы, никому не открытой, решился Николай уволить славного адмирала Алексеева с верховного руководства, и наместничество его этим кончалось. Это было крушение года великих надежд, собственного сердечного выбора. И хотя Порт-Артур ещё отбивался (уже с тифом, цынгой, недостатком патронов), — но прояснялся и горький жребий Порт-Артура. И уже веяли в воздухе такие мысли, не миновали Николая: едва начавшаяся война — вот уже не кончилась ли? Ещё как бы и не начатая, не развернулся флот, не доехали войска, — не подошла ли к своему закату, не пора ли махнуть рукой и заключить мир?

В дни тяжёлых сомнений этой осени никто так не поддержал Николая, как кузен Вильгельм. Истинный друг, он просто и слышать не хотел о конце войны, и передавал через приставленного русского флигель-адъютанта: даже если падёт Порт-Артур — заключение немедленного мира будет ошибкой для России и торжеством для её врагов! Разве может Россия успокоиться, не одержав ни одного осязательного успеха?

С благодарностью ответил Николай, что Вильгельм может быть уверен: Россия доведёт войну до того конца, что последний японец будет выгнан из Маньчжурии.

Чего касались сомнения ближе всего, это: посылать ли в кругосветное плавание из Балтийского моря на Тихий океан Вторую эскадру? Ей предстояло провести многомесячный путь, уязвимый со стороны Японии и Англии, — и прийти на место вдвое слабее японского флота. Из всех практических соображений выходило, что посылать не надо. Но: и как же было, имея большой флот, не послать его туда, где он нужен? Имея флот, отдать противнику море? Это и значило бы уже сейчас признать войну проигранной.

В эту осень одни душевные колебания накладывались на другие. Николай думал про себя и беседовал, собирал мнения, собирал совещания, — и несколько раз принимал решение — не посылать! И как гора сваливалась с плеч. И несколько раз решал: посылать! И снова воздвигалась гора на плечах, на сердце, — неминуемая, необходимая.

Да все задачи его царствования были такие: и поднять нельзя, и обойти нельзя. Крест Господень.

Николай всегда любил свой флот — но эту Вторую эскадру с какой-то особенной нежностью, будто с раскаянием или с предчувствием. Он посещал её в Кронштадте, в конце её снаряжения. И опять посетил перед отплытием, обошёл все суда и — чудесная погода, хорошее предзнаменование — на яхте провожал её из Кронштадта. (Подняли штандарт Мамá — и вся эскадра из двух колонн произвела салют, торжественная и красивая картина.) И ещё через месяц нагнал её поездом на рейде Ревеля, и опять обошёл все суда, окончательно прощаясь, часть судов даже с Аликс. (Все эстляндские дамы потом на вокзале представлялись ей.) И думал об эскадре по часам, когда она выходила из Либавы в своё многотрудное плавание. (Благослови, Господи, путь её, дай ей прийти целой!) И ещё отдельно ездил напутствовать два отставших крейсера. Ещё потом отдельно принимал команды подводных лодок. И тревожно следил за движением эскадры.

И всего через десять дней произошла ужасная беда: близ Англии ночью эскадра увидела неизвестные четырёхтрубные миноносцы, открыла по ним огонь, — а миноносцы куда-то исчезли, и подставились, как Дон-Кихоту мельницы вместо великанов, — английские рыбаки. Начался мировой скандал, Англия метала грозы, английские крейсера шли вдогонку русской эскадре, и нависла ещё как бы не война с нею, предлог был достаточный. Беды по одной не ходят.

Чем было умерить дерзость спесивых врагов? Правда: делай всегда добрые дела, они когда-нибудь скажутся. Предложил Николай и устроил когда-то Гаагский третейский суд, не предполагая сегодняшнего, — а вот сегодня и пригодился, разбирательством вышли из конфликта.

Это было у десятилетия смерти отца. Боже, как за эти 10 лет всё стало в России труднее. Но смилостивится же Господь, наступят когда-нибудь спокойные времена!

Чем дальше продвигалась Вторая эскадра, тем отлегалась опасность английских помех или войны. Но всё движение зависело от угля, только Германия могла его дать, — и тут-то высказал кузен Вильгельм, что снабжение нарушает нейтральность, становится всё опаснее, и Англия с Японией могут требованиями или силой его остановить. Германия с Россией сообща способны встретить эту опасность — но какова же милая союзница Франция в её *сердечном согласии* с Англией? Не пора ли её проверить, предложив присоединиться к союзу континентальных держав? —

и тогда нам не страшна никакая угроза, Япония погибла, Россия торжествует.

Да эта мысль Вильгельма была как будто исторгнута из головы самого Николая! Чья же заветная издавняя мысль эта и была, как не его! Он и начинал свои шаги, таща французскую эскадру на кильские торжества, чтобы примирить непримиримых, свой двойственный союз протянуть в сплошной тройственный — и избавить Европу от наглости высокомерной Англии! — а ныне осадить и нахальную Японию. И действительно: уже 12 лет союзница, что же Франция не спешила помочь в тяжкую минуту России? Тройственная коалиция принесёт мир и спокойствие всему миру. И Николай просил Вильгельма набросать план такого договора.

Вильгельм не заставил ждать, скоро прислал проект. Но проект ему не удался: там не столько были задачи войны с Японией, сколько обиход с Францией, если она не присоединится к двум. Исправили в Петербурге. Жаль, Вильгельм не соглашался, прислал новый проект и ещё зачем-то настаивал ничего не говорить Франции, пока не подпишут Россия с Германией, лишь тогда объявить, и она охотно присоединится, а при разгласке может преждевременно вспыхнуть война с Англией. Как во всяких дипломатических переговорах, здесь потянулись наросты, побочные предположения, ожидаемая реакция европейской печати, ответы и контрответы отсутствующих держав, опасения министра иностранных дел, что Германия хочет поссорить нас с Францией, — и так эта полезная смелая мысль зависла и заглохла.

А между тем в самих русских столицах происходило потрясение. Поначалу новый министр внутренних дел, прекрасный честный князь Святополк-Мирский, был приветствован обществом и газетами, ему слали адреса, он обещал благожелательное доверие к общественным силам, и, кажется, общество было готово отплатить доверием, и Николай тихо радовался, что, вопреки советам своего строгого дяди Сергея, он верно рискнул на это смягчение, для общего единства в стране. Вечно трудный внутренний вопрос, кажется, был решён милосердием.

Но, увы, газеты не остановились на взаимном доверии, а поплыли, поплыли — о многолетнем искусственном сне России, о том, что все поражения идут от правительственного аппарата, — как прорвало: вдруг вся печать и все имеющие гласность стали требовать немедленных, во время войны, преобразований, разлития всяческой свободы — до полного оскотления государственной

власти. (Из подававшихся раньше предложений было когда-то такое: создать «царскую газету», свою официальную, и там объяснять точку зрения и решения Верховной Власти. Никогда не собрались.) Об ограничении монарха заговорили сразу почти открыто, вслух, — а революционные партии кликали России военное поражение и террор. И либералы не погнушались съехаться в Париже вместе с террористами и требовать уничтожения монархии.

Тут ещё и Святополк упустил, не имел сразу твёрдости отказать самозванному съезду в Петербурге никем на то не избранных, самојившихся земцев. Николай даже бы согласился на съезд подлинных уполномоченных, истинных представителей всероссийского земства, как бы представителей народа, послушать стоило, царское ухо не должно быть к ним закрыто, — но выборы таких потребовали бы четырёх месяцев, а самозванные уже и собрались в Петербург. Святополк не решился им препятствовать, и они, заседая неразрешённо, а вместе с тем и открыто, выработали свои пункты, по которым правительство не имело бы никакой власти, — и тотчас распространили пункты по всей России. И тотчас же, как бы завершив свои задачи, Святополк стал просить отставки (очень рассердив Николая), а дядя Сергей — отставки себе, ибо не брался дальше быть московским генерал-губернатором при таком сахарном министре. И действительно получалось, что кому-то из них надо уйти, они не были совместимы. Мучительно труден выбор направления. И, удивляя сам себя, Николай согласился со Святополком созвать совещание для обсуждения возможных немедленных реформ.

А между тем по всей России как зараза распространились какие-то *банкеты* — все, кто мог и не мог, собирали вскладчину (или на какие-то сторонние деньги?) стол и произносили речи: ограничить царские права, ввести конституцию! Стало ясно, что общество использует *взаимное доверие* не для объединения с правительством, а — переменить государственный строй.

И вот на Невском толпы молодёжи свободно ходили с красными флагами и кричали: «Долой самодержавие!» А московская городская дума дерзко потребовала подчинить всю государственную администрацию контролю выборных людей, — и позорили по всей Москве своих членов, отказавшихся подписать. Молодёжь и на концертах кричала: «Долой царя!» и сбивала концерт революционными песнями. Где-то печатались и повсюду раздавались прокламации. На Страстную площадь однажды вывалили тысячи

людей, и опять красные флаги. Дядя Сергей не велел полиции стрелять, она разгоняла ножами и тупеём сабель, а демонстранты били её палками, кистенями, железными прутьями.

Эта междусобица больно оскорбляла, и Николай всё менее понимал, что же правильно делать. (Ещё какие-то и дни стояли: серая оттепель с резким ветром и темнота в воздухе ужасная!)

В начале декабря собрали раз и два совещание о мерах, как прекратить смуту реформами, — главных несколько дядей, главных несколько министров и сановников. Сперва склонялись: собрать ото всех сословий Земский Собор, но дядя Сергей решительно отговорил, что мера не вызвана состоянием дел, и не для военного времени. Тогда решили: от местных учреждений выборных представителей привлечь к первоначальному обсуждению государственных дел. Но сильно заколебался Николай и насчёт этого пункта. Дядя Сергей уговаривал — выбросить, Витте уговаривал — оставить, иначе в указе повиснут одни торжественные слова, которые никого не успокоят. Витте настаивал, что к представительному образу правления единообразно идут все страны мира, и так же надлежит России. О Боже! за что ты взвалил на мою голову эти решения — как идти России целыми веками? Нет, как шла Россия из глуби: полезен народный глас, но решение должно быть единолично царское. Нет, парламентский образ правления не может нас привести к добру, а только к злой сумятице сердец. Всё это — усиленные попытки направить Россию по пути, чуждому для её народного духа. Вычеркнули пункт.

Ещё потому так был подавлен Николай всё это время, ноябрь и декабрь, что жил не в привычной для этих месяцев ласковой крымской обстановке; но, по серьёзности положения, остался в сгущённой петербургской полутьме, и сердце его занывало, стеснялось, и все решения давались ему ещё труднее обычного. Он не мог уступить требованиям! И не смел им сопротивляться, если б за ними стояла истина, но — кто это знает? И при всём том достоинство монарха обязывало не показать своего смятения наружу — для всех на вид оставаясь всегда спокойным, даже равнодушным: свои заветные чувства и тревоги не дать трепать языкам. В эти недели он часто посещал Мамá в Гатчине, пил чай и засиживался до обеда, подолгу беседуя, ища у неё совета и руководства: как поступил бы сейчас на его месте отец?

Ещё ж и большой охоты он был лишён в эту осень! — в этот год не поехали и в Беловеж. Лишь несколько раз по одному дню охоти-

лись то в фазаннике под Петергофом, то под Ропшей (взяли хороший загон), то в Царскославянском лесу на лосей (один раз лоси ушли из круга, другой — убил лося с хорошими рогами, но всего четырьмя отростками). Однако даже и в дни охоты нельзя было освободить душу от докладов — с утра отсиживал их, следя, чтоб не опоздать с поездкой, а воротясь, весь утомлённый и свежий, ещё выслушивал.

А и зимой оставалась на Николае добровольно взятая, но святая обязанность: не пропустить благословить все уходящие на Восток войска. И сумрачным этим декабрём, так или не так окончив совещания указом, Николай (с братом Мишей и обычными спутниками) поехал в Киевскую губернию. Во вьюгах зимы как должно было это видеться войскам — почти чудом внезапным — появление вездесущего царя перед ними на замёрзших полях! Пехотные полки, стрелковые бригады, конно-горные дивизионы, сапёрные и понтонные батальоны выстраивались далеко за городами, бодро представлялись, вид людей был отличный. Один день, около Жмеринки, мороз с сильнейшим ветром был такой ужасный, что у Николая при объезде строя чуть не отмёрзли пальцы на левой руке, и он торопился благословить все части в каких-нибудь полтора часа. (А с Мишей сделалось от холода дурно.) После этого как приятно было сесть в тёплый поезд! На другой день близ Барановичей из-за мороза не решился ехать в открытое поле, приказал привести войска к вокзалу.

А в ночь, под Бобруйском, получил потрясающее известие о сдаче Порт-Артура. Громадные потери, болезненность состава, израсходование снарядов, всё так, предвиделось, — а всё время хотелось верить, что защитники устоят. Но, значит, на то воля Божья! Плакал и молился.

Неделю проездил — как счастлив был увидеть дорогую Алику и детей здоровыми! (Конечно, не обошлось сейчас же без докладов.) Только и отдохновение — быть дома, завтракать семейно, ужинать вдвоём. Рассматривать альбомы фотографий. Смотреть сцены кинематографа. Разбирать вазы, пришедшие с фарфорового завода. Принимать от уральского войска икону для маленького сокровища. Читать вслух, иногда с кем-нибудь поиграть на рояле в четыре руки, — да только в семейной обстановке и может найти успокоение душа человека. И мнится: всё худое минует.

Тут подступило и Рождество. Сперва ёлка для детей, потом ёлка для всех, потом в манеж на ёлку конвоя и туда же на ёлку вто-

рой очереди. Приезжал в царскосельский дворец митрополит славить Христа, завтракали. Государь посещал госпиталь вернувшихся с войны, для них тоже ёлка. Аликс, бедняжка, катаясь с горы с детьми, ушиблась.

Под Новый год принимал Святополка, одно расстройство, банкеты продолжались по всей стране — и как же их запретишь? Принимал Абазу: как же быть теперь на Востоке? Усиленно читал и подписывал всякого рода указы, указы. В царскосельском соборе отслужили панихиду по погибшим в Порт-Артуре.

Да благословит Господь наступающий 1905 год, да дарует в нём России победоносное окончание войны, прочный мир и тихое безмятежное житие! Поехали к обедне, после завтрака отвечал на поздравительные телеграммы. Провели вечер вдвоём. Так рады остаться на зиму в родном Царском Селе, в этом году не переезжать в Зимний. На святках была и офицерская ёлка, присутствовали все дети, даже сокровище, вело себя очень хорошо. С Нового года пришлось принять отставку дяди Сергея, он согласился перейти на военную должность, на командование войсками Московского округа. Приезжал, сделали с ним хорошую прогулку. Он не предвещал доброго при новом либеральном курсе. Вон, уже в Трепова стрелял ученик торговой школы. На другой день Николай имел крупный разговор со Святополком, — а ему что ж, он и сам просит-ся в отставку. Принимал Абазу, отводил душу.

На Крещение поехали к водосвятию в Петербург. После службы в церкви Зимнего крестный ход спустился к Неве на иордань — и тут во время салюта гвардейской конной батареи от Биржи одно из орудий выстрелило настоящей картечью и обдало ею рядом с водосвятием, ранило городского, пробило знамя, пули разбивали стёкла в нижнем этаже Зимнего, и даже на помост митрополита упали несколько на излёте.

Салют ещё и затем продолжался до 101 выстрела — царь не пошевелился, и не побежал никто, хоть могла прилететь и опять картечь.

Было ли это покушение или случайность — среди холостых попался один боевой? Или опять дурной знак? Угодили бы точнее — перебили бы несколько сот человек. Осталось тяжёлое чувство. Обедали вдвоём и легли спать рано.

На следующий день решали о покупке военных судов в Чили и в Аргентине: флот пошёл недостаточный, надо его на ходу укрепить. День выдался безпокойный, пришлось одного за другим при-

нять девятерых. (А такой чудный иней стоял на деревьях!) Дело в том, что за минувшую неделю в Петербурге разыгралась изрядная стачка. Началось с Путиловского, из-за какого-то местного случая, а вот уже, говорят, дошло до 100 тысяч человек. И требовали чего-то неосуществимого, и какой-то почему-то священник с домогательствами для всех заводов — такими, что полностью упала бы вся отечественная промышленность. Да наверно подали им соблазн, что легко уступили стачке в Баку. Большие толпы бастующих ходили от завода к заводу, фабрике, мастерским, требуя, чтоб и там прекращали работу, и грозя насилием. И, чтоб избежать ненужного побоища, иногда и сама полиция велела рабочим оставлять работу. Так и все типографии прекратили, и в Петербурге не вышла ни одна газета, и от этой мнимой пустоты (на самом деле — отдыха), очевидно, и было у всех такое ощущение, что опасность беспорядков сильно преувеличивали. У кого-то была мысль об аресте вожаков, но не доставало чинов полиции, занятой на охране порядка, да и не оправдывалась такая мера нынешней общей тяготой положения, на всех распространённой. Сходили вдвоём приложиться к иконе Знаменья Божьей Матери.

А на другой день забастовали уже, кажется, все рабочие Петербурга, странно и неблагоприятно для них же самих: если все будут не работать, то еды никак не добавится (или кто-то платил им?). В этот день стало известно, что завтра в воскресенье намеревается вся рабочая толпа собираться к Зимнему дворцу, чтоб о нуждах своих говорить с батюшкой царём. Никто из подчинённых, разумеется, не высказал вслух, но у всех стоял вопрос в глазах: как же это будет? поедет ли Государь в город и в Зимний, где думают его найти, и будет ли говорить?

А Николай никогда и с отдельным рабочим не говорил о его нуждах, он не знал такого разговора, — как же сразу со ста тысячами или больше? Он мог бы выйти перед такой толпой, но если б она составляла несколько дивизий, поставленных по порядку, при своих офицерах, и ожидала бы простых команд и простых приветствий. Но выйти одному к толпе неоформленной, невозглавленной — даже опускалось нутро: как же вести себя? что сказать? что произойдёт? Да горло пересохнет, глаз не поднимешь. Это было бы даже счастье — царю поговорить прямо со своим народом, это рисовалось ему в представлениях, — но теперь же сразу, без подготовки, и о чём? Занятый тяжкою войною и раздором с образованным обществом, Николай и позабыл

придавать значение ещё заводам, эти навалились вдруг неожиданно.

Всё же он склонялся поехать, и выйти на балкон дворца, и выслушать — но резко воспротивились великие князья. Тогда он склонился — не поехать, и Аликс вполне его поддержала, уж её сердце не ошибётся. Это был какой-то грубый вызов каких-то подозрительных вожаков, священник-социалист, там действовали революционеры несомненно. Когда к вечеру стала известна подготовленная ими петиция, это подтвердилось вполне: просьбы подменили. Простые немудрёные рабочие из своих нужд не могли бы такого придумать: что главная просьба их — всеобщие, прямые, равные, тайные выборы в учредительное собрание, затем свобода печати и ответственность министров не перед царём, а перед народом. И сам тон был дерзок: поклянись исполнить, не то мы все умрём здесь на площади, перед твоим дворцом! Пропустили, как эта петиция появилась в последний момент, читали её рабочим, или они не знали даже? Вся программа там была социал-демократов.

Приезжал в Царское с докладом о принятых мерах совсем потерянный, растерянный Святополк, он уже еле влёк свой пост, и Николай уже еле терпел этого министра, да не было подходящего дня для отставки. По слабости полиции, никак не подготовленной к массовому передвижению, и малочислию гарнизона, вызывались на завтра в Петербург из окрестностей войска — чтоб удерживать порядок, а ко дворцу не допускать. Объявить в Петербурге военное положение? — не было повода. Сделал градоначальник печатное объявление по городу: чтоб не происходило скопления народа, а то с толпой будут поступать по закону. Верно, на каждом посту свой ответственный генерал, и он знает, что делать, не о каждом шаге заботиться царю. (Только по забастовке типографий напечатали объявлений мало, маленькие, и расклеили далеко не везде.)

Вечеру Николай долго молился, почему-то была страшна ему эта выросшая внезапность — не социалистические те требования, а что двести тысяч, неуправляемые, вдруг пойдут по городу. И с утра на обедне молился между надеждой и боязнью. Все и всё ждало от монарха решений — а как бы хотелось без них! Он надеялся, что всё обойдётся по-хорошему. И остался в успокаивающем окружении царскосельского парка, в солнечном дне. Здесь его глаза не увидели этих рабочих лиц и уши не услышали роковых залпов.

Боже, какой тяжкий день! Ужасно, но местами войска должны были стрелять, потому что ни увещаниями, ни предупреждениями, ни угрозами, ни даже холостыми залпами они не могли остановить наседающих толп, все стремились к центру города, даже и с «ура» бросались на армейский строй. А попадавшие в рабочей толпе студенты — насмехались, оскорбляли войска бранными словами, бросали камни и даже стреляли из пистолетов. Пришлось применить огнестрельное оружие у Нарвской заставы, на Троицкой площади, на Васильевском (там и баррикада была), даже — у Адмиралтейства, на Певческом и Полицейском мосту, потому что и сюда просочились многие. И вот — было до ста убитых, и ещё умирали раненые.

Господи, как больно и тяжело! Откуда же это навалилось, и так внезапно, и чем заслужено? И как это всё было предотвратить? У царской власти не было таких сотен молодых помощников, которые бы шли туда, в самую толпу, где эти шествия готовились, и объясняли бы, напротив, что петицию им подменили злые, чужие, что царь-батюшка знает об их нуждах, но не доходят руки за тяжкой войною.

А потом думал: а всё-таки — шли ведь без красных флагов. А со стороны Путиловского — даже с хоругвями, с иконами, как на крестный ход, и даже полиция была смущена, пошла впереди шествия, с обнажёнными головами. И рабочие могли не понять сигнала армейского рожка, откуда бы у них выучка? И не могли знать, что царя нет в Петербурге. Шли-то ведь они — не к градоначальнику, не к министрам, а к н е м у, и значит с доверием. Шли — чтоб непременно дойти, впусте не возвращаться. Да ведь *просто* движение по улицам — не запретно? Не сказано, скольким можно идти, а скольким нельзя? Как-то это всё неподготовленно навалилось, на докладах не успели достаточно обсудить — ч т о же именно надо делать? Не уговорено было именно неотклонно стрелять.

Но если двести тысяч идут по улицам, так это что ж — революция? Вот так просто в один день и начинается?

Молился и плакал. О Господи, почему Ты не даёшь помощи? Почему же так мрачно обставилось всё вокруг? О, просвети, что же надо делать? Что же — надо было делать!?

И это же могло теперь повториться завтра и послезавтра? Так и ждали. Пользуясь отсутствием и смятением полиции, по Петербургу разбивали фонари, стёкла в магазинах, грабили товар, частные дома, один оружейный склад. Вечерами перереза-

ли электричество. Отдельных военных на улицах оскорбляли словами и действиями. Что ж это было, если не начало революции? Войска ещё два дня должны были нарядами стоять на улицах. Святополк совсем разваливался. Нужен был крепкий человек у власти. Как раз Дмитрий Трепов, покинувший московский пост вместе с дядей Сергеем, теперь был в Петербурге, собираясь в Маньчжурию воевать. Его и решил Николай назначить генерал-губернатором столицы и губернии, отобрав их обе у министра внутренних дел.

И не раскаялся. Это решение было счастливым. Твёрдый, решительный человек, и знающий, что делать. Всё успокаивалось, столкновений больше не было. Там и здесь начались попытки рабочих вернуться на работу, кем-то противодействуемые.

Успокаивалось — но и что-то переменялось, не возвращалось к старому. Отчасти волнения перебрасывались теперь в Москву. Министры докладывали: ни полиция, ни военная сила на самом деле уже не могут восстановить положения; после того как улицы столицы обгарились кровью — голос министров уже не может быть услышан, необходимо державное слово.

Державное слово? Да, наверное. Царь и народ должны быть едины. Но как это слово перекинуть через всё разделение? Кому, где и когда сказать его, если не пользоваться привычными канцеляриями, Сенатом, указами, рескриптами и должностными лицами, поставленными на то? Николай не умел.

Министры настаивали, что Государь должен что-то сказать. Они выработали такой манифест: выразить скорбь и ужас от случившегося, но события не были известны Государю своевременно, и (предлагал Витте) войска действовали не по его повелению.

Но — он не мог так сказать о своих войсках! Свои войска предать — он не мог! И хотя события действительно были ему не вполне известны и поняты не вполне — но и другим ведь так же, всех застигло врасплох.

Выручил Трепов: он предложил созвать делегацию благонамеренных рабочих от разных заводов. Только немного! — ну, человек тридцать, — это ещё можно преодолеть. Привёз их в Царское, через десять дней после события, и Николай объявил им (прочёл заготовленные) слова твёрдые, но сказал мягко, сострадаая:

— Вас поднимали на бунт против меня. Стачки и мятежные собрания всегда будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает неповинные жертвы. Знаю, что нелегка

жизнь рабочего. Но имейте терпение. Мятежной толпой заявлять мне о своих нуждах — преступно.

Он — не гневался на них. Даже больше:

— Я верю в честные чувства рабочих людей, в непоколебимую их преданность мне, а потому прощаю им вину их.

Но даже и после этого прощения — не уставилась, не вернулась в прежнее общественная обстановка. В эти самые дни ещё начал наступление Куропаткин, однако в несколько дней свершилась опять неудача, отошли с потерями. Что-то надо было предпринять Государю, но не дано было прочесть волю небес: что же именно?

В эти недели совсем безучастным остался Вилли, он вмешался, и очень горячо, как нельзя бы никому простить, но он — верный друг и равный монарх, и смел поставить себя на место Ники. Сперва через приставленного русского флигель-адъютанта, потом большим, страстным, даже резким письмом Николаю, вскоре, не успокаиваясь, ещё и через Мамá — Вильгельм нарисовал план, как должен был Николай действовать, и даже настаивал, со своей неудержимой пылкостью почти понуждал. Он стучался прямо в сердце: напряги силы! Россия переворачивает страницу своей истории. Режим Святополк-Мирского слишком быстро отпустил повод, отсюда и поток неслыханных дерзких статей, умаляющих уважение к власти. Доверчивыми рабочими завладела революционная партия — и они стали категорически требовать, о чём понятия не имели. Но ты должен был с балкона Зимнего принять некоторое количество этих невежественных людей и поговорить как отец. Это слово внушило бы массам благоговение — и было бы поражением агитаторов. Ведь мысли царя не известны массам. При самодержавном режиме сам правитель должен давать программу, а без этого любые реформы — пыль видимости от министров, все будут с беспокойством ощущать недостаток твёрдой руки. Когда монарх скрыт — уже и благонамеренные толкуют вкривь и вкось и начинают валить недовольство на царя. Самодержец должен обладать сильным умом и ясно сознавать результаты своих действий. Так, все в Европе согласны, что именно царь лично всецело ответствен за войну: и за её внезапность, и за очевидную неготовность России. Запасные неохотно едут воевать в страну, которой даже названия не знали до сих пор. Страшно вести непопулярную войну, когда огонь патриотизма не возожжён. Все ждут от царя какого-то великого деяния, при котором он не пощадил бы себя самого, может быть — принятия Верховного командования, чтобы вер-

нуть уверенность своим солдатам. В прежние времена твои же предки, прежде чем отправляться на войну, молились в старых церквах, собирали народ во дворе Кремля. Такого призыва Москва и ждала от тебя вслед за нападением японцев — и не дождалась. Глубоко отразилось, что эта война не объявлена с кремлёвских стен. Но ещё и теперь не поздно царю вновь овладеть Москвой, а с нею и всей Россией. Конечно, никакого соглашения с мятежниками, сохрани Бог от какой-либо уступки бунтующей черни, малейшая будет иметь последствия губительные. Анархию надо давить самыми энергичными действиями, но обставив их с подходящей торжественностью. Ты должен выявить свою монаршую волю, привлечь внимание народа и воодушевить армию. Невозможно вести одновременно два таких сложных дела, как большую войну и реформы внутреннего управления. А кончить войну с Японией нельзя без существенных успехов. Значит, всякие реформы надо отложить. Но это безповоротное решение надо объявить во всеулышанье и твёрдо. Наиболее подходящее место для такого объявления — московский Кремль. Появиться с блестящей свитой из высшего духовенства, дворянства, собрать благомыслящих представителей всех сословий. С хоругвями и иконами выйти на балкон и прочесть манифест верноподданным. Слушали бы затаив дыхание. Царская воля: прекратить обсуждения внутренней политики, все устремленья — к победе! После войны будут реформы — но каких ты сам пожелаешь, *habeas corpus act*, расширение прав Государственного Совета, — но никаких учредительных собраний, никаких распущенных свобод. (Только не доверяй внутреннего переустройства таким изворотливым, как Витте: у него скрытые намерения, он помнит все уколы, нанесенные его самолюбию когда-либо, и он не воодушевлён старыми дворянскими традициями.) Если нужно — скажи, что ты отправишься делить тяготы войны с их братьями (царь не может постоянно оставаться в Царском или в Петергофе!), — и весь народ упадёт на колени и будет молиться за тебя! И потекут народные приношения на войну.

Говорят, у каждого человека есть свой роковой человек, к которому тянет необъяснимо и с которым потом неизбежно связана главная судьба. Таким человеком для Николая проступал Вильгельм.

Было и обидно, и стыдно, и благодарно. Да, с этим человеком сообщая, никогда не нарушив их дружбы, можно было удержать от краха и Россию с Германией, и весь мир!

Но не испытывал Николай в себе решимости на крупные шаги, на резкие действия. И в Кремле выступить уже упущено (да вообразив перед собой в толпе насмешливых либералов, коими Москва роилась). И решиться на многие месяцы уехать на неприятный край света, — а душу Аликс, а маленькое сокровище — оставить?..

Нет уж, пусть всё идёт, как на то воля Божья.

Да всего несколько дней прошло — и в той самой Москве, в том самом Кремле, в пустом его дворе был разорван бомбами дядя Сергей! Не жил и минуты, от тела почти ничего не осталось (а кучер, получивший 80 осколков, ещё мучился). Это — громовой был взрыв. Злодеи (рощенные где-то же в России! хотя Вильгельм уверен был, что в Женеве) пристращались ко вкусу мяса, шли от убийства к убийству, от министров — теперь к великим князьям. Убивали по одному именно тех, кто стоял и удерживал смуту. И вполне могло быть, что их намерение — извести весь царствующий дом. Оттого и на похороны не мог теперь поехать сам Николай, но согласились, чтоб не ездили и великие князья и княгини, даже на панихиды в петербургские соборы, никуда, где заранее могут ожидать, — служили по своим домашним церквам, весь Двор надел траур. (Вспоминали с Аликс, как познакомились как раз на свадьбе дяди Сергея.) Вся династия вмиг оказалась как в плену по своим дворцам. Особенно травили дядю Владимира, посылая угрожающие письма. В эти же дни изловили дюжину революционеров со складом взрывчатых веществ. Небезопасно становилось и в самом Царском, с его раскинутыми просторами прогулок. А уж из него — никуда. Николай отменил все парады и внешние обязанности, с того несчастного крещенского водосвятия никуда больше не выезжали из Царского. Страха перед покушением не было в нём, однако самодержец не имел права себя подставлять.

Но с 9 января случилось что-то и худшее, не в один день это понялось. Петербургские рабочие как будто улеглись (хотя вспыхивали опасные слухи и ещё раза два вводили в город войска), — но забастовки передались в Москву, на железные дороги, в Прибалтийский край, а в Польше дороги вообще остановились. И по русским городам (даже в Ялту) перебрасывались грабежи, убийства, таинственные поджоги, малые бунты, так что в иных городах становилось опасно вечерами из дому выходить, и недоумевалось, может быть: да есть ли в этой стране царь? А войск на охрану не было, они всё более, теперь уже четырнадцатью поездами в сутки,

перетекали на поддержку маньчжурской армии. Как будто тайным каким-то способом, безо всякого видимого сведения, передалось лихим людям повсюду, что пришло время безнаказанно баловать, что их царь не применит больше силу и, гуляя по своим аллеям, сам не знает, что делать ему.

А, пуще всякого простого народа, с 9 января рассердился образованный класс, он как будто сам на себя рассердился, что упустил первую линию, — и теперь нагонял. Вот объявляли протесты и забастовки адвокаты, профессоры и даже академики, писали письма по триста человек, отказывались преподавать (но не отказывались от казённого жалованья). Объявили забастовку до осени и студенты почти всех учебных заведений (тоже не отказываясь от казённых стипендий), а кто хотел учиться — тех нечем было оградить от насилий забастовщиков. Да что, бастовали даже гимназисты, реалисты, даже в самом Царском Селе в реальном училище родители решили, чтобы дети их бастовали. Всё русское общество било как истерикой. Все газеты писали о Земском Соборе как о вопросе решённом. В Петербургском университете состоялись разрешённые студенческие сходки. На одной постановили, что не желают никакого Земского Собора, а желают Учредительное Собрание, то есть устанавливать власть понову, как если б в России ныне не было никакой власти. А на другой сходке сорвали портрет Государя, разорвали в клочки, топтали — и разошлись.

И — что же было с ними поделать? Не арестовывать же. Решено было — не заметить, как бы: не случилось ничего.

В эти серенькие мягкие февральские деньки Николай гулял по снежным аллеям — со сжатым сердцем, как съёженный, — и не мог решиться, что предпринять. Как будто развязали какой-то чёрный мешок — и из него посыпалось. Он всё более с ужасом думал об этой расходившейся, разъярённой образованной публике, которая плевала в него насмешками и проклятьями. Он совершенно терялся — что же можно поделать? Как пригласить их слушаться властей?

И никто не мог ему помочь. И советчики — разноречили. Едва он обрадовался, что нашёл единственного решительного прямодушного Трепова, не боящегося за свою жизнь, — как все министры дружно возненавидели его, более всех — Витте, и говорили, что Трепов погубит всё своей непримиримостью. И пути-то было всего два, как всегда: твёрдость или уступчивость? А выбрать между ними окончательно — не было душевного жара.

Николай стал теперь собирать в Царском Селе всех министров одновременно, под своим председательством, думая столкновением их мнений установить истину. Они все предлагали идти на уступки, собирать общественных представителей, не то разрушатся финансы, не будут верить иностранные державы, и разразится революция, — но всё ещё может быть спасено, если в четыре месяца соберётся Земский Собор.

Однако горел в сердце и совет Вильгельма — что надо самому обратиться к народу прямо. Но если не выговорить этого самому, то надо издать манифест. Сердце подсказывало, что Вилли прав: война, какие могут быть реформы? что Святополк был ошибкой, из-за тех уступок всё и развязалось. И вот, втайне от министров, с помощью других стойких людей, Николай приготовил и издал манифест: что призывает всех верноподданных на искоренение крамолы и одоление внешнего врага; что мы призваны на Тихом океане защищать интересы всех христианских держав; что основы русского государства, освящённые Церковью, должны остаться неизблемы.

Проявил твёрдость, подписал — и ощутил довольственную устойчивость. Но и сразу же — раскаяние, но и сразу же — сочувствие: а ведь многие добрые хотят подать добрые, благоразумные советы, — разве Государь намерен отворить слух свой от народного голоса? Он только не смеет порвать с историческим прошлым страны, он только не согласен отдать судьбы страны в руки выборных, предать борьбе партий, — а советам благоразумия он очень рад, он даже жаждет их! Воля царя и должна выражать народную мысль. И подвигся Государь наряду с тем непреклонным манифестом издать и щедрый широкодушный указ: что предоставляется всем подданным право открыто и свободно высказываться по вопросам совершенствования государственного порядка, а Совету министров поручено принимать и изучать все проекты реформ, кем бы они ни были составлены.

И теперь, ощутив прекрасное равновесие того и другого шага, Николай без Совета министров распорядился: опубликовать и манифест и указ в одно и то же утро, 18 февраля.

Но в то самое утро собрались к назначенному заседанию и министры. Указа они как и не заметили, но откровенно высказывали свою поражённость манифестом, без них созданным. И только что поднявшееся сердце Николая снова упало. А министры принесли составленный — да по его же распоряжению, он

не помнил, — проект рескрипта о подготовке созыва местных представителей для участия в выработке законопроектов, — и тут уже ничего не говорилось о подавлении крамолы и о задачах внешней войны, а так получалось, что, не глядя на войну, начинаются реформы. Этот рескрипт был прямо противоположен только что опубликованному манифесту и шёл совсем не туда, куда указ, — не к добрым советам, а к вынужденному парламентарству. Государя опять толкали на невыносимые уступки дружным согласием их всех — и никак невозможно было отклониться, отстояться от их настойчивых речей. Николай всегда боялся сам себя — что не выдержит характера. Вот и теперь, протомясь безвыходно среди министров, он подписал тем же числом и рескрипт. Благослови Бог манифест и указ, пошли, Господи, успеха и рескрипту.

А с заседания выйдя — так гадко себя почувствовал. И у Аликс разрыдался.

Все эти дни служили панихиды по дяде Сергею. Отвечал на массу телеграмм соболезнования — из-за границы конечно, а у нас ликовали смерти его. Тем временем у маленького сокровища прорезался первый зубок. Упаковывали подарки санитарному поезду Аликс. Приехал освобождённый японцами Стессель, герой Порт-Артура. Завтракали, много говорили с ним про осаду.

Что одно могло сейчас спасти Россию и перевернуть всё общественное настроение — это блестящая победа в Маньчжурии. Общество за своим развлекательным бунтом почти и забыло о той войне, но Николай горячо помнил, горячо молился, и — ждал. Он знал, что там стянулось друг против друга до 600 тысяч войск, невиданно. И когда он подписывал патриотический манифест, сердечный указ и злосчастный рескрипт — в эти самые дни Куропаткин начинал сражение под Мукденом.

О Господи! Да есть ли мера испытаний Твоих! За что же гнев Твой на нас так безконечен? Опять поражение, да какое! Избегая полного охвата, Куропаткин отступал под напором с трёх сторон, бросил до 100 орудий, даже знамёна, отдал 30 тысяч пленных и 60 тысяч потерял, — почти бегство.

Из того развязанного чёрного мешка летели и летели беды на Россию.

Этой весной удерживался в Царском, вынужденно, оберегаясь от террористов, любимое место оборотилось тюрьмой, было такое ощущение, что больше нет в его руках подлинной власти, что уже

не от него зависит, как пойдут или не пойдут события. Но не было власти и у либералов. А всё качалось как на перевесе, кто прежде достанет до твёрдого. Вся Россия — на перевесе.

Они создавали какие-то союзы. Потом Союз союзов. Безпрепятственно теперь собирали земский съезд, и более всего тянулись к своему самому сладкому — всеобщему-прямому-равному-тайному голосованию, как будто этим всё будет спасено. Николай надеялся, что съезд не будет допущен, уже довольно наболтались они, — но съезд был допущен. А указ всем радеющим о нуждах государственных подавать свои благие соображения был разнужданно истолкован так, что во многих местах собирались и громко, развязно предлагали — всё упразднить, вплоть до императорского трона и самой России. И общество и газеты открыто обсуждали, не заключить ли мир, как будто им, а не Государю предстояло это решить. И — что и сколько можно отдать Японии.

А весна стояла — дивная, великолепная! И в майские дни потянуло как низким холодным: стали доноситься сперва противоречивые, а потом всё более тяжёлые вести о бое в Цусимском проливе — и всё больше о потерях наших и ничего об их, — и в три дня обнажилась сотрясающая картина гибели почти всей эскадры! — и от радостной весны ещё острее чувствовался мрак.

Грозно же являет Господь свой гнев! Такого удара ещё не приносила вся война. Нет, видно это всё было написано на небесах — и так тому быть. И весть эта пришла — в 9-ю годовщину коронации.

Много ездил верхом, развеивался, иногда катался на байдарке, на велосипеде. Принимал артиллеристов, выпускников академии. Однажды приняли вдвоём симпатичного москвича Гучкова, приехал из армии, много интересного рассказывал. Дядя Алексей после цусимского боя решил уходить с морского ведомства, больно и тяжело за него, бедного. (Но он-то и не допускал до сих пор реформировать флот.)

Что делать теперь с войной? По 8-й частной мобилизации (всеобщей так и не было в России) составилось ещё 150 тысяч молодых солдат, которых за три месяца можно было довести до Маньчжурии и иметь армию в полмиллиона. Можно было объявить ещё и 9-ю частную мобилизацию, хотя тогда уже — затронуть опасно-возбуждённый Западный край. Однако море во власти Японии, нечем защитить Камчатку, Сахалин, устье Амура, и не готов к обороне Владивосток — ни войсками, ни снарядами, ни провиантом. Дух войск подорван, и особенно после Цусимы. Мно-

гие советовали Николаю искать путей к миру (и любимый адмирал Алексеев, зачинатель всего движения, более всех упал духом), другие — хотя бы узнать японские условия. Николай и сам этим проникся: конечно, нам важнее всего благосостояние внутреннее, и для него надо снести позор. Вернув России внешний мир, мы вернём ей и внутренний, и так благополучно разрешится всё, не разрешимое теперь. И надо спешить, пока японцы ещё не заняли ни куска русской территории. Даже само начало переговоров благоотворно отразится на настроении населения. Уж не знал Николай, как избавиться от этой несчастной войны. Какой он был счастливый, сам того не ведая, и как легко было управлять страной, пока война не начиналась!

А другие говорили: напротив, внутренний разлад никак не уляжется, если кончить войну без победы: вернётся угнетённая армия — разве настроение улучшится? И от Японии, как только она узнает, что мы ищем мира, возникнут новые унижения.

Получалось заколдованное кольцо: от худости внутреннего положения нужен мир — но мир ещё ухудшит внутреннее положение. О, как непросто всё на свете: громоздились и громоздились противоречия, не разрешимые человеческим умом. И возлагались все — на голову Николая.

А Вильгельм писал: твоя война непопулярна в твоём народе. Во имя своего понимания национальной чести нельзя посылать далее на смерть, Царь царей потребует ответа. Располагай мною для подготовки мира. Японцы чтут Америку, а мы с президентом Рузвельтом большие приятели, могу частным образом снести.

Ну, так тому и быть, само складывается. Он большой разумник, Вильгельм, как он всё видит!

Через несколько дней американский президент предложил посредничество, и переговоры начались. Николай ещё держался, как мог, отвечал в телеграммах патриотам, что никогда не заключит недостойного России мира, — а между тем посылал на переговоры вездесильного Витте. И даже знал, что Витте не пожалеет расплачиваться за счёт России, но надо было послать кого-то самостоятельного, умного, а, оглядясь, таких людей вокруг русского трона не было.

Он послал Витте на переговоры, а сам жил двойною надеждой: и что они удадутся, и что они не удадутся. И то и другое приносило своё облегчение: или освободиться от войны, или избежать позора. Или будет разбита вера в отечество — или кровопролитие.

Он не знал, чего желать. Это был один из непосильных выборов жизни, только вера во Всевышнего приносила утешение.

Внутри страны всё как разваливалось дальше: было восстание с баррикадами в Лодзи, смута в Одессе, ошеломляющий необъяснимый мятеж на броненосцах Черноморского флота с убийством офицеров, просто не верилось, какая срамная история! — а с другой стороны, мирно прошли две следующие частные мобилизации на войну, подкрепления в Маньчжурию текли и текли, армия сильно укреплялась, финансы страны были незыблемы, хозяйство не затронуто, старшие возрасты не призывались, и Россия могла воевать хоть ещё 10 лет, если бы не общество, — и в таком положении до слёз досадно было просить об унижительном мире. Поначалу японцы требовали с России весь Сахалин и большую контрибуцию, но уж тут решил Николай — ни копейки, и начал надеяться, что переговоры на этом сорвутся, и общество оценит, что не он, а Япония сорвала, и больше не будет бунтовать. Но Япония вполне внезапно вдруг отказалась и от контрибуции, брала Сахалин только южный, Порт-Артур, Ляо-дун, — и Витте подписал. Согласие Японии грянуло так неожиданно, мир был подписан так мгновенно, — Николай воспринял как новое поражение и горе, целый день ходил как в дурмане, лишь постепенно сильный холодный ветер продувал жаркий воздух и голову: может быть, и хорошо, что подписали. Вероятно, так и должно быть. Служили молебен во дворце, но радостного настроения не ощущал.

И началась война как во сне, и кончалась как во сне.

Лето жили, как всегда, в Петергофе, здесь и безопаснее, на ограниченном пространстве. Некоторые недели стояла здоровая жара, много купались, и Аликс с детьми ходила в воде. Катались на электрическом катере. Играли в теннис.

В эти тяжёлые недели Вилии предложил повидаться, и Николай охотно согласился, так нуждалась душа поделиться с близким, а вместе с тем — равным. По напряжённости русских обстоятельств, уговорились сойтись шхунами в Бьёрке, тут близко, в Финском заливе. Николай ждал поддержки и дружеских советов относительно японских переговоров, да и внутренних неурядиц, где Вилии так завидно видел выход. А Вильгельм приехал весёлый, но и очень озабоченный: он говорил, что именно теперь, когда Россия выходит из Японской войны, особенно опасно нападение на неё Англии и особенно зрелым и нужным стал их несостоявшийся

оборонительный договор, в который затем они втянут и Францию. За многими безпокойствами минувших месяцев Николай как-то потерял мысль, сейчас не мог собраться: почему именно теперь, именно к концу войны, только со дня заключения японского мира (не вступать же Германии против Японии) — Вильгельм считал таким необходимым этот договор? Вилли озабоченно, дружески и категорически настаивал — да оказывается, он привёз и весь договор готовым! Но ведь было условие сперва советоваться с Францией? Ни в коем случае, именно это нельзя, сразу станет известно Англии, и Англия успеет объявить войну. Надо подписать теперь же (вот, он уже подписывал!), а тогда Франции легче будет и присоединиться, если у неё есть совесть. И прямо ручку протягивал — подписывать. Николай никак не охватывал этого смысла до конца, не тем была занята его голова. И правда, Франция все эти годы войны и бедствий была чужая, совсем не союзница, и даже сердечный друг врагов. А Вилли был тот друг, который не покидает в беде, именно в Японскую войну они и стали друзья, как никогда. Он называл Ники милым братом и только одну надежду имел: видеть Ники достигающим успеха. Он говорил, что этот союз особенно полезен именно для России, потому он и предлагает его. Там дальше Двойственный Союз сольётся с Тройственным, образуется Пятерной, — кто против него устоит? А уж все мелкие государства естественно притянутся, доверчиво следуя за нами. Весьма возможно, со временем и Япония пожелает присоединиться к нам. Нынешний день начнёт новую страницу истории.

И Николай — подписал. Сколько было дружеской радости, обнимались. Теперь, говорил Вильгельм, надо поддержать договор в глубокой тайне, пожалуйста, не говори даже министру иностранных дел, а то — разойдётся. Даже министру иностранных дел? Даже! Но нужно чьи-то подписи для скрепления наших. Ну вот, с тобой морской министр. Пусть подпишет, только не читая. А от меня — адъютант. Простились с Вильгельмом сердечно. Николай вернулся домой под самым лучшим впечатлением этих часов. (Радостно было увидеть детей, но не министров.) Теперь, в тройственном союзе с Германией и Францией Россия будет снова непобедима.

Но что делалось внутри? Съезды собирались какие хотели — и соревновались друг со другом дерзостью резолюций. Съезд городов и земств захотел послать депутацию к Государю — и уже не во власти Государя было отказать: как школьник, он был обязан глаз

на глаз выйти к своим врагам, конституционалистам. Стоял против них, рассматривал лица — обыкновенных состоятельных людей, да почти все дворяне, и даже князья, — и ждал, чем они выстрелят в него. Однако слова были произнесены почтительные (или снисходительные?), но предрекали безсилие власти, пока не будут созданы избранники народа, как Государь и обещал.

Всё же Николай был тронут их неожиданной сдержанностью и ответил им тепло (да неужели же русские люди не могут между собой сговориться?). Это правда, он обещал, да что-то тянулось, никак не вырабатывался этот Земский Собор, или по-современному лучше назвать Государственной Думой, да и разное они вкладывали в неё: Государь представлял совещательным собранием умеренных положительных людей, чьи советы помогают не упустить какие-то пути, а мятежные дворяне представляли буйной ассамблеей: перехватить власть от царя — себе в многоголосье.

Через месяц эти же земцы собрали новый съезд и объявили уже не то, с чем приезжали в Петергоф: но что реформ ждать пустое, а революция — уже факт, и надо обращаться не к трону, а к народу. Никем не приглашённые, они одобряли самовольный проект конституции и отвергали государеву совещательную Думу. Многоголовые, они не давали следа, кому же верить: вчерашним или сегодняшним. Вот и обнаружилось, что все их просьбы о народном представительстве были ловушкой, захватить власть. А интеллигентский Союз союзов — в заседаниях открыто называл нынешнюю государственную власть разбойничьей шайкой. Интеллигенты умели выражаться хуже революционеров.

От Государя ждали Думы всенациональной и не сословной, а Николай всё более склонялся: как бы набрать туда почти одних крестьян — неветреных, некипучих, обдумчивых, даже предпочтительнее неграмотных, кто не повторяет газетных выкриков, не поддаётся проискам, а всю эту горластую наглуую городскую публику вообще от участия устранить? О, как бы правда установить единение и понимание между царём и Русью, между царём и земскими людьми? Ведь было же встарь! Открыв молебном летние совещания с людьми сановными и сведущими, Николай старался сам вникнуть в каждую статью и определить её редакцию. Он понимал, что идёт на шаг небывалый, чего, может быть, не простили бы ему отец, дед и прадед.

Лето было жаркое, со многими эффектными грозами. Из-за докладов и этих совещаний иные дни были заняты необыкновен-

но: по 5 и по 6 часов. А ещё надо было принимать многих раненых. Отдыхал, играя с офицерами и с Мишей в теннис, катаясь на моторе, на катере. Пили чай под зонтиком, на балконе, в китайском павильоне. Но ничто так не подбадривает, как посещение военной части и долгий приятный обед в полковой офицерской семье. Или дать тревогу в Конной Гвардии — а самому ехать верхом на военное поле смотреть, как собираются.

В эти же дни пришла горестная весть о кончине мсьё Филиппа.

На Преображение (и в день парада Преображенского полка), через полгода подготовительной работы, опубликовали закон о Думе, и уязвлённая городская рвань, и с нею князя из линии Рюриков, стали тут же кричать, что это обман. А Вильгельм, всё время торопивший публиковать, теперь поздравлял, но снова торопил: избирать депутатов как можно скорей, пусть условия ожидаемого мира отклонят или одобряют народные представители, тогда на них ляжет и ответственность решения, оппозиция смолкнет, а император освободится от нападков во всех случаях. Ни один смертный властитель не может брать на себя такого решения без помощи своего народа.

Все советы Вильгельма были всегда пронзительно уверенны. Но Николай знал, что истинный народ всегда верит в своего Государя, — и не спешил уклониться от тяжести одиночных решений. За 11 лет он к ним уже и привык.

Только вот: другая часть народа, но более подвижная, творила в стране что-то невообразимое, — и не наказавши поначалу раз, и не удержавши два и три, — уже ни в одном случае не было сил управить и остановить. Многие места Империи, а особенно Польша, Финляндия и Прибалтийский край, сотрясались забастовками, взрывами, убийствами и грабежами. Бастующие устраивали уличные шествия. В Баку — на две трети были сожжены нефтяные промыслы, и вспыхнула армяно-татарская резня. Такое же побоище произошло и в Тифлисе. Большими массами в Россию, видимо, везлось оружие. Когда садился на мель пароход с двумя тысячами швейцарских винтовок — случай становился известен. Уступая студентам, чтоб им после забастовки легче было начать новый учебный год, объявили автономию университетов, выборность ректоров, неприкосновенность их территории для полиции, — но студенты вместо благодарности и успокоения собирали там невозбранные митинги с поджигательными анархическими речами.

Всего этого просто выдержать не могла душа. И Николая давно занимала мысль: как бы от этих всех неприятностей уехать на несколько дней и дать себе отдохнуть? порадоваться и понаслаждаться жизнью немного для себя самого? Заключение мира с Японией сделало эту мечту осуществимой. На уютной яхте «Полярная звезда» со всеми детьми поехали в финские шхеры, стали на рейде военного отряда. Дети всячески радовались и возились с офицерами и матросами, и сам Николай как молодое дитя был счастлив этой свободой и отдыху. Надеялся он, что и маленький наследник полюбит море. Совершали прогулки, устраивали гонки шлюпок и парусные, вместе с Аликс посещали суда, кое-где производил тревогу — водяную, боевую, пожарную, остался доволен. Но больше всего забавлялись охотой, устраивали облавы на островах, загонщиками — матросы. Убивал тетеревей, зайцев, а то большую лисицу. Вечерами устраивали фейерверки для детей или играли в дутьё, или на инструментах. Устроили обед с мичманами и офицерами, много смеялись. А как спалось! Счастливые две недели. Как будто чувствовалось, что такая беззаботность повторится у них нескоро. В эти дни спешил представиться Витте, воротившийся с переговоров, Николай позвал его сюда в шхеры, пожаловал ему графа, тот был потрясён, три раза старался поцеловать руку. Наверное, ещё бы остались, но падал барометр, задувало, пришлось возвращаться в Петергоф, — и снова доклады, снова приёмы. Скучали ужасно по милой яхте.

Надеялся Николай, что теперь, после заключения мира, успокоится всё само. Но не только не успокаивалось, а возжигалось ещё сильнее. На студенческих сходках по 5–7 тысяч, вместе с посторонней толпой, в разрешённых теперь местах, и без всяких помех от полиции, горланили по целым неделям, — расходились домой, а на утро собирались продолжать, и постановления делали: если отменить забастовку, то как пассивную слабую форму борьбы, а перейти к активной агитации, университеты обращать в политические школы и революционные очаги. «Зачем учиться, когда вся Россия в крови? Да здравствует коммунизм!» Обидно было такое узнать, и негде, некому возразить, такого голоса нет у царя, и студенты неведомы, невидимы, да и сокровенно слишком, этого и близким не выскажешь: кровью, пролитой так несчастно 9 января, Николай был как обожжён, и теперь все движения правительства умерял осторожно, чтоб это не повторилось.

Но разгул только шёл дальше. Журналистика была совершенно распущенная, и никто не обращался в судебную власть за применением законов к ней. Начиная бастовать одна типография — её молодые наборщики в перемеси с какой-то подозрительной толпой шли выбивать стёкла в остальных типографиях, — и останавливались все. Иногда убивали, ранили городского, жандарма. (Только никого не арестовывать, ни даже зачинщиков, не разжигать недовольства!) Пока не бастовала почта — приходили бранные гнусные письма великим князьям. Потом — бастовала почта, за ней и телеграф, бастовали почему-то присяжные поверенные, гимназисты, пекари, перекидывалось от заведения к заведению. Даже Духовная академия! — и митрополит, явсья их усовестить, не был допущен внутрь студентами со свистом и революционными песнями. Некоторые священники отказывались читать послание митрополита об умиротворении. Москва не вытягивалась из забастовок и уличных столкновений весь сентябрь и на октябрь. Забастовщики требовали иметь на заводах неувольняемых, неарестуемых депутатов, а чтоб сами депутаты могли увольнять администрацию. Собирались самозванные съезды, депутаты выбраны сами собою. (Странно, но местные власти бездействовали.) Распространялись прокламации со многими обещаниями. Собирались уже и уличные сходки, и ораторы требовали не земцев, не думцев, а только — свержения самодержавия и учредительного собрания. Стрелять было не велено, а разгонять. Агентские телеграммы только и сообщали об убийствах городских, казаков, солдат, о волнениях и возмущениях. Но судебные власти не преследовали политических преступников, судебные следователи не обнаруживали виновных, и все они, и прокуроры, симпатизировали им.

А что ж, может и пусть текут эти все беспорядки: Россия сама убедится в их гибельности и сама от них отвернется?

Самообразовался революционный железнодорожный союз и стал принуждать к забастовке всю массу железнодорожных служащих. Это быстро у них пошло, с 7 по 10 октября забастовали почти все дороги, выходящие из Москвы. У них был план: вызвать всеобщую голодовку и помешать движению войск, если бы правительство хотело подавить. Студенты приказывали закрывать лавки. Пользуясь несообщением, злоумышленники пустили по Москве слух, что Государь «отказался и уехал за границу». Тут же Москва осталась без воды, без электричества, и забастовали все аптеки. В Петербурге же Николай отдал все войска гарнизона Трепову, тот предупредил, что

всякий беспорядок будет подавлен, и здесь держалось спокойно. Тем временем постановили делать всеобщую по стране забастовку, ужасно. Да может быть в рабочих требованиях и много справедливого, но никто не хотел подождать, когда всё бы решилось постепенно.

И надо же! — в самое такое грозное время двоюродный брат Кирилл, позоря династию, зажелал пожениться на разведенной двоюродной сестре Виктории — и упрямо не хотел подчиниться запрету Государя, так что пришлось и этого выслать за границу, и даже так разгневался Николай, что хотел небывало лишить его звания великого князя.

Однако что же делать? Затягивалось едва ли не хуже, чем в январе. Прервался всякий телеграф и телефон с Москвой. У министров не было никакой решимости и ясности плана, а все эти тревожные дни только обсуждали, ставить ли пост первого министра (хотел таким Витте стать) и подчинять ли ему остальные министерства? Нервы были натянуты до невозможности, да у всех. Было чувство, как перед жуткой грозой.

В эти ужасные дни попросил отдельной аудиенции Витте — и Николай с надеждой позвал и ждал его. Когда все звенья власти по стране ослабились, не подчинялись или совершали ненужное или вредное — на ком ещё можно было повиснуть надеждой, как не на этом выручателе из несчастной войны, вечно смелом и вечно знающем человеке? Витте стал приезжать в Петергоф с утра, а уезжал чуть не вечером. Один день он полностью всё докладывал Николаю, другой раз вместе с Аликс, и представил записку. В этом сложном положении мог помочь только выдающийся ум, вот он и был. Он умел мыслить как-то высоко, выше повседневных задач простого правительства — на уровне всей человеческой истории или самой научной теории. И говорил охотно, долго, воодушевленно, — заслушаться.

Он говорил, что в России ныне проявляется поступательное развитие человеческого духа, что всякому общественному организму присуще стремление к свободе, — вот оно закономерно и проявляется в движении русского общества к гражданским правам. А чтоб движение это, теперь подошедшее ко взрыву, не вызвало бы анархии — надо, чтобы государство смело и открыто само стало во главе этого движения. Свобода всё равно скоро восторжествует, но страшно, если при помощи революции, — социалистические попытки, разрушение семьи и религии, иностранные державы разорвут на части. Но ото всего этого можно легко спас-

тись, если лозунгом правительственной деятельности станет, как и у общества, лозунг полной свободы, — и тотчас правительство приобретёт опору и введёт движение в границы. (И Витте брался лично твёрдо такую политику провести.) Совещательная Дума предложена слишком поздно и уже не удовлетворяет общественным идеалам, которые передвинулись в область крайних идей. Не следует опираться и на верность крестьянства, как-то выделять его, а надо удовлетворить передовую общественную мысль и идти ко всеобщему-равному-тайному голосованию как идеалу будущего. И не надо бояться слова «конституция», что значит разделить законодательную царскую власть с выборными, надо готовиться к этому исходу. Главное — это выбор министров, пользующихся общественным уважением. (А кто же пользовался им больше Витте!) Да, Витте не скрывал: это будет резкий поворот в политике целых веков России. Но в исключительно опасную минуту невозможно дальше цепляться за традиции. Выбора нет: или монарху стать во главе освободительного движения или отдать страну на растерзание стихийности.

Аргументами Николай не мог противостоять этой неумолимой логике, и положение действительно вдруг представилось страшно загубленным (как это случилось? когда?). Но сердце его сопротивлялось и не хотело так сразу отдать — и свою власть, и традиции веков, и крестьянство. Как будто что-то было немножко не то — а не с кем больше посоветоваться с таким умным.

Ни один из министров в общем в советчики не годился, ни даже покладистый, заботливый министр двора Фредерикс. Как-то так оказалось, что в близости трона, да и во всей имперской столице, настоящих умных советчиков — не было. И Мамá была в отъезде, в Дании. Но Мамá всегда очень советовала в тяжёлые минуты держаться за Витте. (Да ведь и отец завещал то же самое!)

Был — немудрёный, преданный Дмитрий Трепов, но он не умел рассуждать столь широко, высоко и убедительно, а упирался только, что в этакой смуте никакой реформы делать нельзя. Надо военной силой подавить беспорядки, тогда реформы не будут выглядеть уступками.

Но с т о г о дня Николаю чересильно стало применить войска против толпы.

После виттевских обольстительных убеждений, не найдя решения и в Аликс, Николай день, и ещё день, советовался так, кое с кем, и томился, не находя и ниоткуда не видя решения. За эти

дни сплошных обсуждений он сильно устал, до полного рамолиссента. А тут приезжали совсем посторонние посетители, то уральские казаки с икрой, то трогательная депутация, непременно желающая видеть маленького, то иностранцы. Вечерами по привычке играли в дутьё или на бильярде, но утром, даже поздно встав, некуда было деться от проблемы.

А тем временем забастовки на железных дорогах не только дошли до Петербурга, но захватили и дорогу в Петергоф, так что нужные вызываемые люди не могли теперь приехать поездом, но — на колясках или на пароходах. Прелестные времена. (И погода была сквернейшая: холодные ветер и дождь.)

Тут почудилось, что, может быть, Витте преувеличивает и можно вообще избежать большого решения, принять простое небольшое. И Николай дал об этом Витте телеграмму: объединить действия всех министров (до сих пор разрозненные, так как каждый из них относился с докладами к Государю) — и восстановить порядок на железных дорогах и повсеместно вообще. А начнётся спокойная жизнь — там естественно будет и призвать выборных.

Но это оказалась как бы программа Трепова, и Витте, враг Трепова, принять её не мог. На следующее утро он приплыл в Петергоф и снова представлял, что путь подавления теоретически возможен, хотя вряд ли будет успешен, но не он, Витте, способен его осуществить. К тому же для охраны российских дорог нет достаточно войск, напротив, все они находятся за Байкалом и удерживаются дорогами же. Витте теперь привёз свои мысли облечёнными во всеподданнейший доклад, который Государю достаточно лишь утвердить — и будет избрана новая линия: излечивать Россию широким дарованием свобод, сперва и немедленно — печати, собраний, союзов, а затем постепенно выяснится политическая идея благоразумного большинства, и соответственно устроится правовой порядок, хотя и в течении долгих лет, ибо у населения не скоро возникнет гражданский навык.

Беседовали утром, и ещё беседовали к вечеру. Было много странного в том, что Витте предлагал, но и никто же не предложил, и не у кого было спросить ничего другого. Так что приходилось как будто и согласиться. Только страшно было отдаться сразу в одни руки. А не хотел бы Витте взять к себе министром внутренних дел человека другого направления — Горемыкина? Нет, настаивал Витте, он не должен быть стеснён в самостоятельном выборе сотрудников, и — не надо пугаться — даже из общественных деятелей.

Нет! Утвердить такого доклада Николай не мог. И потом: должно же что-то исходить лично от Государя, какой-то манифест. Дарственный манифест, который оглашается в церквах прямо к ушам и сердцам народа, жаждущего этих свобод. Для Николая весь смысл уступок только и мог быть в форме такого манифеста: чтоб это шло прямо от царя — и навстречу народным желаниям. Да, вот что, пусть Витте составит и завтра же привезёт проект.

Ни во что в этот вечер не играли. А с утра примчался дядя Николаша — обходя забастовки, на перекладных прямо из-под Тулы, из своего имения. Вот приезд, вот и кстати! Если уж твердую руку назначать, диктатора, — так кого же лучше? С тех пор как Николай был в лейб-гусарском полку эскадронным, а Николаша у него полковым, — остался для него Николаша большим военным авторитетом. И с приезде, с пыху, Николаша даже соглашался на диктаторство. Но тут опять приплыл Витте, полил свои сладкие увещевания — и Николай опять размягчел, растерялся, а Николаша совсем был переубеждён, стал горой за Витте и за свободы, и даже говорил, что застрелится, если Ники не подпишет свобод. Дело в том, убедил их Витте, что если энергичный военный человек и подавит сейчас крамолу, то это будет стоить потоков крови, а передышку принесёт лишь временную. По программе же Витте успокоение будет прочным. Только настаивал Витте публиковать его доклад — чтобы не Государь брал на себя ответственность (а пожалуй, хотел сам лучше показаться обществу?), да и трудно изложить в манифесте.

Впрочем, и манифест у него готовился: на пароходе составляли, сейчас на пристани там сотрудники дорабатывали. Послали за манифестом.

В нём были замечательные слова: «Благо российского Государя неразрывно с благом народным, и печаль народная — Его печаль». Это было именно так, как Николай истинно понимал и постоянно хотел бы выражать, да не было умелых посредников. Он искренно недоумевал, отчего не утихали злобные смуты, отчего не установится взаимное миролюбие и терпение, при которых жилось бы хорошо всем мирным людям и в деревне, и в городе, и множеству верных чиновников, и множеству симпатичных сановников, гражданских и военных, а также императорскому Двору и императорскому Дому, всем великим князьям и княгиням, — и никому не надо было бы ничем поступаться или менять образ жизни. (Особенно, всегда настаивала Мама́, чтоб никто не касался вопроса о каби-

нетских и удельных землях, которые эти свиньи хотят отобрать по программам разных партий.)

А ещё в манифесте были: все свободы, на которых настаивал Витте, и расширение избирателей уже объявленной Думы, и как будущий идеал — всеобщее избирательное право, а также — безсилie впредь каждого закона, не одобренного Государственной Думой.

Конечно, понимал Государь, что русский народ ещё не готов к представительству, он ещё в невежестве и необразованности, а интеллигенция между тем преисполнена революционных идей. Но ведь и уступка будет — не улице, не революции, а умеренным государственным элементам, для них это и строится.

И не совсем же это получалась конституция, если шла от царского сердца и его добрым движением была дана?

Все присутствующие оказались согласны — но из осторожности Николай не подписал и тут, оставил у себя, помолиться и подумать.

И посоветоваться с Аликс. И посоветоваться же ещё с кем-нибудь, с Горемыкиным, с другими. Составилось ещё два проекта манифеста. Однако Витте предупредил, уезжая, чтобы с ним согласовали каждое изменение, иначе он не берётся осуществлять. В воскресенье ночью послали старого Фредерикса в Петербург к Витте. Тот не принял ни единой поправки, увидел в этом недоверие к себе и уже отказывался от поста первого министра.

А решительно иного выхода — никто за эти дни не предложил: кроме верного Трепова, все во главе с Николашей убедились в необходимости дарования свобод и ограничения царской власти.

Решение было страшное, Николай это сознавал. Такие же муки и недоумение, как с японским миром: хорошо ли это получилось? или плохо? Ведь он изменял пределы царской власти, неущербно полученные от предков. Это было — как государственный переворот против самого себя. Он чувствовал, что как бы теряет корону. Но утешение было, что такова воля Божья, что Россия хотя бы выйдет из невыносимого хаотического состояния, в котором она уже год. Что этим Манифестом Государь умиротворяет свою страну, укрепляет умеренных против всяких крайних.

И благоугодно стало ему — даровать свободы.

Пришлось это — на понедельник 17 октября, и как раз в 17-ю годовщину от железнодорожного крушения, где едва не погибла династия (тоже поминали каждый год). Посетил праздник Сводно-гвардейского батальона. Отслужили молебен. Потом сидели жда-

ли приезда Витте. Николаша был что-то слишком весёлый. И ещё убеждал, что всё равно все войска в Маньчжурии, устанавливать диктатуру нечем. А у Николая голова стала совсем тяжёлой и мысли путались, как в чаду.

Ещё помолясь и перекрестясь — подписал. И сразу — улучшилось состояние духа, как всегда, когда решение уже состоялось и пережито. Да теперь-то, после Манифеста, всё должно было быстро успокоиться.

И следующее утро было солнечное, радостное, — хорошее предзнаменование. Уже в этот день Николай ожидал первых волн народного ликования и благодарности. Но, к изумлению его, всё вышло не так. Те, кто ликовали, те не благодарили императора, но рвали его портреты публично, поносили его оставшуюся власть, ничтожность уступок и требовали вместо Государственной Думы — Учредительного Собраниа. В Петербурге не было кровопролития только благодаря Трепову, он запретил всякие шествия вообще (пресса настаивала уволить его), но в Москве и по всем остальным городам они были — с красными знамёнами, торжеством победы, насмешками над царём, только не благодарностью. А когда через день в ответ, также по всем городам, поднялся никем не возглавленный встревоженный верующий народ с иконами, портретами Государя, национальными флагами, гимном, то и тут была не благодарность, и не ликование, а — тревога. Тщетно Синод пытался остановить второе движение, что царь могуч и справится сам, — два движения, красное и трёхцветное, по всем городам не могли не прийти в столкновение, междуусобицу толп, а напуганных властей как не было при этом. И поразительно, с каким единомыслием и сразу это случилось во всех городах России и Сибири: народ возмутился глумливым беснованием революционеров, а так как множество среди них — евреи, то злость встревоженного народа обрушилась кое-где в еврейские погромы. (В Англии, конечно, писали, как всегда, что эти беспорядки были организованы полицией.) Толпа местами так рассвирепела, что поджигала казённые здания, где заперлись революционеры, и убивала всякого выходящего. Теперь, через несколько дней, Николай получал отовсюду много сердечных телеграмм с ясным указанием, что желают сохранения самодержавия. Прорвалось его одиночество народной поддержкой — но зачем же не в предыдущие дни, зачем же они раньше молчали, добрые люди, когда и деятельный Николаша, и преданный Горемыкин соглашались, что надо уступить?

Самодержавие! — считать ли, что его уже нет? Или в высшем смысле оно осталось?

В высшем смысле оно не могло поколебаться, без него нет России.

Тут ещё ведь так случилось, что, кроме Манифеста и виттевского доклада, не было выработано ни одного более документа, не успели: враз как бы отменялись все старые законы, но не составлялся ни один новый закон, ни одно новое правило. Но милосердный Бог должен был помочь, Николай чувствовал в себе Его поддержку, и это не давало упасть духом.

Витте обратился за помощью к газетам и через газеты к обществу: дать ему несколько недель передышки, и он организует правительство. Но общество потребовало начать успокоение с отмены усиленной охраны и военного положения, с увольнения Трепова, с отмены смертной казни за грабежи, поджоги и убийства, с увода из столицы войск и казаков (в войсках они видели главную причину беспорядков) и отмены последних сдерживающих законов о печати, так, чтобы печать не несла уже ответственности ни за какое вообще высказывание. И Витте в несколько дней растерялся, не находя поддержки: как он ни звал, никто из земцев и либералов не пошёл к нему в правительство *возглавить* свободу. И хотя он сменил половину министров и 34 губернатора, уволил Трепова и многих чинов полиции — но не добился успокоения, а только худшего разора. Странно, что такой опытный умный человек ошибся в расчётах. Так же и новое правительство, как все прежние, боялось действовать и ждало приказаний. Теперь и Николаша очень разочаровался в Витте.

Только теперь, с опозданием, выяснилось, что московская забастовка уже накануне Манифеста переломилась к утишению: заработал снова водопровод, конка, бойни, сдались студенты университета, городская дума уже не требовала республики, Казанская, Ярославская, Нижегородская дороги уже постановили стать на работу, — ах, если б это знать в те дни! — уже всё начинало стихать, и никакого Манифеста не надо было, — а Государь поддал как керосину в огонь. И опять вся Москва забурлила, и даже генерал-губернатор Дурново снимал шапку при «марсельезе» и приветствовал красные флаги, на похороны какого-то фельдшера вышло чуть не сто тысяч, произносились речи не верить Манифесту и низвергать царя, из университета раздавали новенькие револьверы (не все пароходы садились на мель, морская граница длин-

ная, её всю не охранишь). А в Петербурге из Технологического института студенты бросили бомбу в семёновцев.

Ах, кто же *тогда* бы прискакал и сказал, что уже утихает?! Или почему, правда, летом не послушал Вильгельма, не поспешил избрать и собрать эту совещательную Думу? — ещё верней бы всё остановили!

А теперь — запылало только сильней. С красными флагами ринулись освобождать тюрьмы. Национальные флаги везде срывали. Прежние забастовщики требовали содержания за дни забастовки — а тем временем объявлялись новые стачки. Печать достигла разнузданной наглости — любые извращения о власти, ложь и грязь, а всякая цензура совсем отпала, и уже открыто появлялись революционные газеты. Сходки в высших учебных заведениях растягивались по неделям. Снова останавливалось движение на железных дорогах, а Сибирь — вся прервалась, восточней Омска — полная анархия, в Иркутске — республика, от Владивостока разгорался бунт запасных, не отправляемых на родину. Возникло возмущение в одном из гренадерских полков в Москве, солдатские волнения в Воронеже и Киеве. Кронштадт два дня был во власти перепившейся матросской толпы (и даже подробностей нельзя было узнать, не действовал телефон, только окна петергофского дворца дрожали от кронштадтских выстрелов), а флотский экипаж буйствовал в Петербурге. На юге и востоке России разгуливали вооружённые банды и предводительствовали в уничтожении имений. Городские агитаторы подбивали крестьян грабить помещиков — и некому было сдержать. Крестьянские беспорядки перебрались из одной местности в другую. Революционные партии открыто обсуждали, как вести пропаганду в войсках и поднимать вооружённое восстание. Самозванный совет рабочих депутатов в столице захватывал типографии, требовал денег. Польша была вся в мятежном движении, балтийские губернии и Финляндия — в подлинном восстании (взрывали мосты, захватывали целые уезды), генерал-губернатор сбежал на броненосец (Николай уступил финнам во всём, подписал ещё один манифест). Тут произошёл морской бунт в Севастополе. Опять во флоте! (Удивительно, как этих мерзавцев совсем не заботила честь России и как они своей присяги не помнили!) А тут объявилась всероссийская почтово-телеграфная забастовка — ещё хуже не стало ни движения, ни сообщения. Иногда из Царского Села разговаривали с Петербургом только по беспроволочному телеграфу. Узнать было невозможно,

как за один месяц упала Россия! — вся жизнь её, деятельность, хозяйство, финансы, не говоря уже о внешних отношениях. Ах, если бы власти исполняли свой долг честно и не страшась ничего! Но не было видно на постах людей самоотверженных.

А Витте, так и не возглавивший «естественное движение прогресса», теперь предлагал расстреливать и вешать, только у самого сил не было.

Да, подходило всё равно кровопролитие, только ещё горшее. И больно и страшно подумать, что все убитые и все раненые — это же свои люди. Стыдно за Россию, что она вынуждена переживать такой кризис на глазах всего мира, и до чего довели её в короткий срок.

Николай мучился, изводился отчаянием — одиноким и запертым, потому что опасался да и не привык отлучаться из Петергофа, из Царского. Да скоро все эти дворцы, и милая мамина Гатчина, могли исчезнуть. (Стала выдвигать требования уже и придворная прислуга.) Со смирением надо нести возложенный тяжёлый крест. Может быть, вот крестьянство войдёт в Думу — и потребует возврата самодержавия? Пошли Бог силы трудиться и спокойствия духа. В эти дни познакомился с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии, подлинным простым народным человеком. Помиловал Стесселя (против него, бедного, затеяли следствие и суд за сдачу Порт-Артура).

В эти горькие дни чего более всего не хватало душевно — это общения с гвардией, глотнуть их военного духа. Унизительная необходимость оберегаться от террористов не давала возможности ездить прямо в расположение частей. Но Николаю пришла замечательная мысль: приглашать целые полки к себе в Царское Село. Так и сделали! По два раза в неделю стали приходиться то семёновцы, то преображенцы, московцы, конная гвардия, лейб-казаки. В первый день полк вступал в Царское, располагался в казармах, а все офицеры обедали у императорской четы — долго разговаривали, как приятно было их видеть, освежалась душа. А на другой день на площадке перед большим дворцом или в экзерциргаузе, по погоде, полки представлялись парадом, и всегда великолепно, блестяще. Кавалергардов пропустил три раза — шагом, рысью и галопом, замечательно хорошо! А мимо строя финляндцев пронёс маленького Алексея, их шефа, он привлёк всеобщее внимание. После каждого парада — обед у офицеров, и засиживался до ужина, и далеко после него И полкам — какая бодрость, и на плечах Николая

как бы легчилось государственное бремя, вести Россию уже не казалось так тяжело. Это хорошо понял Вильгельм, отозвался: да, самый лучший способ облегчить заботы и огорчения — это заниматься своей прекрасной гвардией, делая ей смотры.

Однако с Вильгельмом эта осень тоже выдалась очень тяжёлой. Николай не удержался и открылся министру иностранных дел насчёт договора в Бьёрке, тот пришёл в ужас: да показать Франции такой готовый договор — значит, против кого же он заключён? это — коварный приём Вильгельма, чтобы расстроить нашу дружбу с Францией, самой Германии выйти из изоляции, а Россию привязать к ней! Тут неблагоприятное противоречие с русско-французским договором: у Франции единственная цель — реванш от Германии, для чего же бы и для кого она вступила в *такой* договор?!

Николай так не думал, он этого не видел прежде, теперь усумнился. С одной стороны, и Франция не была нам верная союзница, покинула нас в войне, а теперь вот не давала нового займа, по жалобе российских евреев. А с другой стороны, и Германия в торговом договоре использовала нашу связанность войной, пришлось пожертвовать русским зерном. Действительно, нет у России верных друзей. И теперь — неужели такое лукавство со стороны лучшего друга Вильгельма? Никак не ожидал Николай. Всё же, полагал он: если ловко взяться за дело — может быть, ещё можно от договора в Бьёрке освободиться? Стали пытаться.

Написал Николай Вильгельму так: наше соглашение — в высшей степени ценное, но пока Франция не присоединится, а большие встретились трудности, никак нельзя пускать его в ход. Иначе можно толкнуть Францию в объятия противника.

Вильгельм не уловился, но ответил очень строгой телеграммой: все обязательства России по отношению к Франции могли бы иметь значение лишь постольку, поскольку она заслуживала бы их. Но во время Японской войны она оставила Россию, тогда как Германия поддерживала всячески. Это налагает на Россию нравственные обязательства. Мы подали друг другу руки и дали свои подписи перед Богом, который слышал наши обеты. Что подписано — то подписано, договор должен исполняться нами как есть. И невероятно, чтобы Франция отказалась подписать.

Какое-то защемлённое положение, не хватало головы сообразить, как выскочить. Тогда придумали с министром так: в Бьёрке Николай не имел при себе документов, подписанных его отцом с Францией, — а те исключают всё, что могло бы привести к столк-

новению с ней. Вот почему договор в Бьёрке условен и пока не может войти в силу.

Но Вильгельм резко настаивал, что договор подписан и надо выполнять. И что Александр III, хотя и подписывал там что-то с Францией, но лично Вильгельму высказывал отвращение к французскому республиканскому строю.

И это, конечно, была правда. И такое же отвращение испытывал к нему Николай. И такое же отвращение испытывал французский республиканский строй к монархической России. Но вот: зачем-то же подписал отец, и не сын его имел право разрушить. А зачем перед тем Германия не продолжила дружеского договора с Россией?.. Всё это запутывалось узлами неведомыми, постичь и исправить их было нельзя. А зачем Вильгельм поступил так коварно в Бьёрке и так настаивал теперь?

Вот это властное насилие особенно оскорбляло Николая и порождало желание вырваться из объятий. Он же не ребёнок был!

Увы, таких сердечных отношений, как до Пятого года и в Пятом, — уже не было у них никогда. Слова о дружбе повторялись, но уже без прежнего значения.

Послеяпонская слабость России заставила искать соглашения с Англией, уладить, чтобы не беспокоиться о среднеазиатских границах. Приезжал дядя Эдуард на свидание в Ревель. (Он хотел в Петербург, но Николай не мог ему объяснить: тут — всюду террористы, тут ни шагу я не могу с тобою гулять.) Никак это единственное свидание не могло перевесить дюжины таких свиданий с Вилли — но вдруг стало как бы перевешивать. Вот уж никогда не задумывал Николай вступить в союз или в дружбу с коварной Англией, — но в глазах Вилли и всего мира стало так получаться: Россия как будто вползала в ненужный для неё союз с Англией.

И всё это сказалося через год, в 1908, когда Австрия захватила Боснию и Герцеговину (да ещё так лукаво выбрала время: Николай плывал на любимой яхте, долго не имел связи и ничего не знал). Все в Европе вели себя так, что с Россией не надо более считаться как с величиной. (И доклады военного министра о состоянии армии убеждали Николая, что следует терпеть и терпеть.) Теперь Николай слал Вильгельму его прежние слова: о тесном единении России и Германии как оплоте монархических учреждений, что он

всю жизнь будет стремиться укреплять эти узы, — а Вильгельм, уже не личным письмом и не через личного адъютанта, но грубым правительственным приёмом заставил Россию не просто смолчать, а унизительно поклониться Австрии за её захват Боснии. Всё русское общество, от правых до кадетов, всегда нервно-единое по славянскому вопросу, негодовало, ещё по-новому презирало своё правительство, — но и сам император не находил выхода из унижения. Дал себе слово Николай не забыть этого (не забыть — скорее Австрии, чем Германии).

И — ещё же продолжались их встречи. Ездил в Потсдам. Ездил на столетие освобождения Германии с русской помощью. И повторяли оба о честном сотрудничестве, о преданной дружбе, о братстве по оружию, возникшем так давно, — да никогда не имел и цели Николай вооружаться против Германии или воевать с нею!

Жила Россия свои лучшие годы отдыха, расцвета, благосостояния. Жила — укреплялась. Но вдруг, как в замороченном каком-то колесе, стала история повторяться, как она обычно никогда не повторяется — как ещё раз бы насмешливо просила всех актёров переиграть, попытаться лучше, — через 6 лет снова так же нависала Австрия над Сербией, только ещё несправедливее, — и снова держал Николай телеграмму Вильгельма...

Июль 1914

...о сердечной и нежной дружбе, связывающей их столько лет.

В телеграмме было и отчуждение этих последних годов, но и — ясными буквами проставлена сердечная нежная дружба! Вильгельм был застигнут событиями в норвежских фьордах, он ещё шёл по морю домой — а вот с пути телеграфировал Николаю, как мог делать только друг, а не посторонний государственный деятель. Какое счастье, что они установили эти отношения — прямые, честные, тесные и мгновенные. Насколько было бы медлительней, запутанней, а в тревожные часы и безпокойней сноситься через двух министров, двух послов: никто не отзывчив как струна, и в той же лысоватой подвижной голове долгоносого Сазонова — своё сопротивление, свои возражения и побочные соображения, на всём теряется и время, и точность слов, и прямота линии, ничто не может заменить прямой межимператорской связи.

И в том, что Вильгельм застигнут во фьордах, тоже было свидетельство, что нет тайного замысла с Австрией. Теперь ещё более убедился Николай, что Вильгельм правда и о захвате Боснии не знал в своё время. Это всё исподлобная австрийская манера, как и сейчас: послать ультиматум Сербии так, чтоб ещё не узналось, пока Пуанкаре давал на броненосце прощальный ужин Николаю. И какая неслыханная резкость, какой категорический тон ультиматума! И почему Австрия не хотела расширить срока его, давала только 48 часов?

Что ж, Франц-Иосиф, 66 лет на троне, не хочет умереть спокойно?

С пятницы Николай разрешил уже принять некоторые подготовительные меры: возвращать войска из лагерей на зимние квартиры, офицеров из отпусков, настроить крепости, флоты, чтобы не повторился Порт-Артур, — но даже частичной, смежно Австрии, мобилизации ещё не было надобности производить. А теперь, в понедельник 14 июля, с телеграммой Вильгельма, Николай и вовсе успокоился и написал Сазонову: не теряя времени, побудить Сербию обратиться с жалобой в Гаагский суд, — исключительно подходящий был случай для суда и разбора. Пусть Австрия представляет аргументы! Убийство эрцгерцога подготовлено в Австрии, она пожинала плоды своего боснийского захвата, — при чём тут бедная Сербия? Сербия ответила примирительно, почти все пункты своего унижения приняла.

А погода была — чудная! Поиграл в теннис с Аней Вырубовой. Весь вечер читал.

И такая же чудная — во вторник. С обычным регулярным докладом приехали военный министр Сухомлинов и начальник Генерального штаба Янушкевич.

Николай всегда очень уважал старого Сухомлинова, это был блистательно остроумный военный, он когда-то и лекции читал ему, ещё наследнику. И Янушкевич — умница, очень положительный, самообладательный, знающий генерал, ровесник Государя. Ничего нового не было у них, так что всё оставалось, как и в субботу: вести подготовительные меры для частичной мобилизации, если она понадобится, — и ничего резче. Да в руках таких опытных невозмутимых генералов всё было покойно. Сухомлинов повторял, что нам никакая война теперь не страшна, выиграем всякую.

В этот день кроме обязанностей успел и в теннис поиграть, и съездить в Стрельну к тёте Ольге, там у неё пили чай, когда Са-

зонов сообщил по телефону, что Австрия сегодня днём объявила войну Сербии!

Это — как громом поразило! Позорная война, слабой стране! Не наученная раз, не наученная два по лапам, лезла старая шкодливая кошка на чужое молоко.

Неурочно вечером принял Сазонова в Петергофе. Тот явился воинственный, так и кололся шильными глазами из впадин и настаивал объявить частичную мобилизацию немедленно. Он и перед тем, сразу после австрийского ультиматума, настаивал, что мирностью мы ничего не добьёмся: уступим Сербию, перенесём ещё одно унижение, — а Германия, раз она рвётся к войне, зацепит русские интересы ещё в новом чувствительном месте. Сазонов уверен был, что австрийский ультиматум прекрасно согласован с Германией. Николай думал, что — нет, нет! не может быть. Но и у него самого дрожало нутро, так хотелось проучить Австрию! Невыносимо было ещё раз снести боснийское унижение, ещё раз не осмелиться помочь славянам! Неужели мы не великая держава?

И всё же нельзя было терять голову, это повлекло бы слишком многое, и ещё не поздно было — обращаться в Гаагу. Но Сазонов настаивал, как не смел бы никогда, тряс своей маленькой лысой головой, в пределах приличного даже бегал — и потрясал руками, что вся общественная Россия не может снести такого позора. Изумительный подъём духа у всего общества, и мы только сорвём его полумерами. Вот это небывалое единство чувств Государя с обществом придавало Николаю и решительность. Да и трудно было не уступить этому народному уговариванию. Нехотя-нехотя дал Николай согласие на частичную мобилизацию — смежных с Австрией округов. Но в уме торопился к другому: телеграфировать Вилли. Только это уже делается без министра.

Его рука дрожала, когда он писал (по-английски), исправлял, перечитывал, потом дал шифровать. Ночью телеграмма пошла в Берлин. Николай писал, что прибегает к помощи Вилли. Что боится вскоре уступить давлению со стороны всей безмерно возмущённой России — и во имя старой дружбы умолял не дать австрийцам зайти слишком далеко, не допустить до бедствия Европейской войны!

Он представлял десятки их встреч, обеды и ужины вдвоём, дружеские обнимки, шутки, подарки, столько раз они были друг другу открыты — слава Богу, это не могло теперь невыручить!

Следующий день, среда 16-го, выдался необычайно безпокойный. Началось с приёма Янушкевича, который уже с утра поверг Государя в недоумение и страдание: оказалось, что частичная мобилизация, на которую Николай с таким трудом дал согласие вчера, была практически невозможна: в Генеральном штабе такой проект, оказывается, никогда не разрабатывался! Да и как разделить Варшавский округ — он граничит и с Австрией и с Германией? Так не хватило мирного времени об этом подумать?! Тут не было бы границ достаточно рассердиться, но абсолютно невозможно было рассердиться на бархатного Янушкевича — и голосом, и обходительностью, и мягкостью человека обаятельного (и знавшего своё обаяние). Да и был он начальником Генерального штаба всего четыре месяца, не с него следовало спрашивать. Но — так ли? Проверить бы надо у генерал-квартирмейстера Данилова, он всё знает! Проверено, Данилов прибыл из отпуска: такого проекта в Генеральном штабе никогда не существовало. Как странно, такая естественная мысль — частичная мобилизация против Австрии, — и никому никогда не пришла в голову? Но Сухомлинов? Он-то уже пять лет военным министром?! Янушкевич застеснялся, стусеивался, он никак не хотел подвести своего благодетеля Сухомлинова. И Сазонов, значит, когда вчера запрашивал частичную мобилизацию, — ну да, тем более не знал. И на Совете министров они никогда этого не обсудили, странно.

А может быть, это и к лучшему? Даже освобождались плечи Николая: значит, можно и никакой мобилизации пока не объявлять. Обождать. (Да вероятно же всё хорошо обойдётся: друг Вильгельм не оставит, всё уладим переговорами. Наконец, есть и запасный козырь: Англия до сих пор никак себя не проявила, и Германия считает, что та останется нейтральной. Но надо будет попросить Англию, та вовремя твёрдо заявит — и все опасности останутся.) Так хорошо, тогда не объявляем никакой.

О нет, о нет! — страдал чувствительный Янушкевич не менее самого Государя. Во-первых, уже трое суток, как ему поручено, и он уже составляет план такой частичной мобилизации. Гм-м... Достаточно понимал Николай военное дело, что план мобилизации и в три месяца нельзя вполне составить и распространить. А во-вторых, во-вторых... Переход от частичной затем ко всеобщей может вызвать большую путаницу, сорвётся всё расписание назначенных воинских поездов и маршруты мобилизованных команд... Бархат-

ный голос и бархатные глаза Янушкевича выстилались уговаривающим ковром... Нам удобно в случае тревоги сразу объявить всеобщую... нам удобно было бы сразу готовить и всеобщую...

И такой указ — о всеобщей мобилизации — вот, у него уже был приготовлен, привезен, ждал подписи Государя.

Николая даже отшатнуло. На всеобщую он не был согласен ни за что! (В Европе это будет воспринято грандиозно, грозно.) Да какая необходимость? Он и на частичную-то вчера так неохотно согласился.

Но ведь невозможно совсем не готовиться ни к какой. Само собой будет разрабатываться частичная, конечно. А само собой пусть наготове лежит и всеобщая... Упали мягкие веки Янушкевича от ужаса, что можно упустить... Да ведь подпись Государя это ж ещё не мобилизация, это только начало пути: ещё нужно получить подписи трёх министров, ещё нужно передать в Сенат для опубликования... Это — только заблаговременная мера.

Ну, если заблаговременная, правда... Ещё же министры, а они не подпишут сами... Так настойчиво, так уговорчиво Янушкевич просил! В самом деле, раз частичной нет, а совсем никакой нельзя же не готовить.

— Но только, вы же не подведёте, голубчик? Вы же будете советовать с Сазоновым?... сноситься со мной?

О, никакого сомнения!

Подписал.

(А заодно ещё — подписал не читая, уже и так беседа затянулась, Положение о полевом управлении войск.)

Но этим утренним разговором не кончились, а только начались волнения безпокойнейшего дня. Всё было достигаемо через телефон: по чрезвычайности обстоятельств подчинённые смели теперь вызывать Государя к телефону, чего никогда не бывало, и целый день то один, то другой, то третий, — ощущение приколоти звенящую булавкой, вот сейчас позовут — и для каждого разговора надо идти в комнату камердинера. И самому Николаю для скорости приходилось вызывать их таким же путём. А Николай всегда ненавидел телефон и не пользовался им. Что может быть неприятней, неестественней разговора по телефону, да ещё важного? Собеседника не ждал, теперь не видишь, и нет простора оглядеться, пройтись по комнате, подумать, помолчать?

Николай оставался приколотый в Петергофе, лишь произвёл гардемарины в мичманы да поиграл в теннис, но озабоченно, мрач-

но, не шла игра. А погода была опять чудная. А в Петербурге, Вене, Белграде, Берлине и всех других столицах происходили события, и все друг другу писали и телеграфировали. (А бедный Пуанкаре после гощенья у Николая ещё и до Франции не успел доплыть.)

Утром же к Сазонову явился германский посол с обнадеживающей вестью, что Германия будет всячески склонять венский кабинет к уступкам (этого Николай и ждал!), но просит не создавать препятствий преждевременной мобилизацией (этого Николай и не собирался!). Сазонов отвечал, что частичная мобилизация предстоит, но ещё не приступили к ней (и правда). Но наши военные меры никак не направлены против Германии и даже не предрешают наступления против Австрии. И Совет министров, собравшись в полдень, постановил: к частичной не приступать.

Пришло и другое: что Австрия отказалась от всякого обмена мнениями с Россией — непосредственно или через конференции.

Вот что значит — уступили тогда, в 1908. Австрия рассчитывала — мы опять побоимся заступиться.

А не заступимся сейчас, они, взявши Сербию, ещё следующий наглый шаг потом сделают.

Тут германский посол попросил у Сазонова второго приёма и прочёл телеграмму канцлера: если Россия будет продолжать свои военные приготовления, *хотя бы и не приступая к мобилизации*, Германия сочтёт себя вынужденной мобилизоваться — и тогда с её стороны последует немедленное нападение!

День был ясный — а на душе темно. В Петергофе — мирный простор, из окна кабинета — мирный Финский залив, а деться некуда. С нами разговаривали, как с Сербией, не как с великой державой. Даже простых предупредительных мер не разрешали.

Душило унижение! Одна надежда оставалась: Сазонов просил Англию выступить наконец и объявить свою позицию!

И тут принеслась спасительная телеграмма от Вильгельма — ну конечно же, Вилли не изменился и не изменил! Он обещал свою помощь, всё сгладить, — и только убедительно просил не доводить до войны.

Николай был снова окрылён. Их дружба всё спасёт! Он кинулся звонить, чтобы Сазонов с Сухомлиновым и Янушкевичем не приняли никаких безповоротных мер.

Он составлял теперь ответ Вильгельму. Их телеграммы так зачастили, что опережали одна другую, разминались и не были ответами.

Как согласить, спрашивал теперь Николай, твою примирительную дружественную телеграмму и совершенно другого тона заявление посла? Выясни это разногласие! Давай передадим весь австро-сербский вопрос в Гаагскую конференцию! Избежим кровопролития! Я доверяюсь твоей мудрости и дружбе!

А тут пришло известие, что австрийцы уже бомбардировали Белград.

Вот почему они были так несговорчивы. Вот для чего выигрывали часы!

Тем временем Сазонов и Сухомлинов совещались в Генеральном штабе у Янушкевича о частичной мобилизации, как было это им разрешено. И по телефону доложили Государю, что невозможно рисковать сорвать всеобщую мобилизацию проведением частичной. Только спутается всё. Они просили санкционировать всеобщую.

И решение надо было принимать в глупой прикованности, держа трубку у уха, — все мысли угнетены, не соберёшься. Уже бомбардируют мирных жителей Белграда. Что-то надо делать. А к частичной — мы оказались позорно неготовы. (Деликатность мешала сказать им в трубку: вы же сами во всём виноваты!..) Н-ну, что ж... н-ну, может быть... пока предварительные шаги, ещё не утверждается окончательно... Н-ну, хорошо.

Тем и тяжело решение, что принимается не под явными бомбами, не верхом на честном коне перед строем войск — а в какой-то эбонитовый раструб, в пустоту и немоту. Но от трудного слова с сопротивительным придыханием вдруг начнут двигаться и обращаться миллионы.

Печальные одинокие вечерние часы — уже никто не приезжает с докладами, уже никаких внешних обязанностей, от обеда к чаю, своя семья, — а где-то в неизвестности совершается непоправимое — и как же с этим лечь спать?

И вдруг — облегчающая телеграмма, опять от дорогого Вилли! опять вразмин, ответ на предыдущую. Ну конечно же! — он разделяет желание сохранить мир! Конечно, Россия может остаться только зрителем и не вовлекать Европу в самую ужасную войну, какую ей приходилось когда-либо видеть. Непосредственное соглашение Петербурга и Вены и возможно и желательно, и Вильгельм прилагает все усилия для того. Но, конечно, военные приготовления со стороны России помешали бы его посредничеству и ускорили бы катастрофу.

О, спасибо! Счастливое освобождение, всё ещё можно спасти! А может быть, наши уже всё пустили в ход? Нет, их задержат подписи министров, Сенат.

В десять вечера Николай в который раз спустился в комнату камердинера и велел соединить себя с военным министерством и с Генеральным штабом. И металлическая трубка голосом сильным, не похожим на изумительный бархат Янушкевича, и даже в манере уже не такой предупредительной, стала упрямо возражать, что мобилизация — это не коляска, которую можно по желанию то останавливать, то двигать вперёд, что начальник штаба не может взять на себя ответственность за подобную меру...

— Тогда я беру на себя! — воскликнул Николай.

— ...что уже, может быть, и ничего остановить нельзя, посланы мобилизационные телеграммы в военные округа...

— Но как это возможно? Когда это могло произойти? А подписи министров?

Не мог же он их собрать за эти полтора часа?! Трубка нехотя и с перхотой выдавала, что подписи всех министров уже собраны в течение дня как предупредительная мера. Что уже и Париж и Лондон оповещены Сазоновым о начале нашей всеобщей мобилизации. Что в данный момент, вот сейчас, уже посылаются телеграммы в округа... И отступить уже никак невозможно!

Остановить! Остановить! Слава Богу, он был не какой-нибудь выборный связанный президент, но монарх в своём отечестве! Остановить! Только частичная, — и дальнейших объяснений не хотел слышать Государь.

И как сразу опять полегчало!

Стояла тихая тёплая звёздная ночь. Так тихо было на море, что не доносился плеск.

Но прежде чем заснуть успокоенно, предстоял ещё приятный долг ответить Вильгельму. Благодарить его сердечно за скорые его ответы. Военные приготовления — не помеха, они уже пять дней как приняты, просто для защиты. От всего сердца надежда на посредничество Вилли. Да что телеграммы! — завтра же с подробным письмом поедет к Вильгельму генерал-адъютант.

Сейчас же вызвать и генерал-адъютанта, на завтра.

Зашифрованная телеграмма пошла уже в час ночи. Тяжёлый день Государя кончился. (И только завтра предстояло ему узнать, что в этот самый час ночи германский посол телефоном будил Сазонова и просил немедленно его принять.)

Слава Богу, утро четверга начиналось поспокойнее: не было тревожных телефонных сообщений. Лишь морской министр просил разрешения ставить минные заграждения в Балтийском море — и Николай не разрешил: на такое действие будет особое его повеление.

Если уж доверять Вилли — так доверять, надо рискнуть.

Да некстати звонил, добивался срочного приёма министр земледелия Кривошеин, просто смех как некстати. (Только потом узналось, что его побуждал Сазонов — умолять о всеобщей мобилизации.) Было отказано, чересчур занят.

Николай и правда был занят, но не той чередой малозначительных приёмов, которые шли по прежней записи, сами собою. А — надо было до середины дня написать ответственное письмо Вильгельму, письмо, которое сегодня же пойдёт с генерал-адъютантом и поможет окончательно расчистить горизонт между ними.

Но ещё не сел он за письмо, как снова его позвали к телефону. Это звонили из Генерального штаба Сухомлинов и Янушкевич: недовольные вчерашней отменой, они снова просили разрешить им приступить ко всеобщей мобилизации. Николай рассердился: такой назойливости он не помнил ни от кого из подчинённых никогда. Заботила ли их немецкая угроза — или просто они покрывали свою неготовность к частичной мобилизации? Решительным тоном отверг домогания их и просто прекратил разговор.

Прекратил — но ещё какой-то миг почему-то не положил трубки. И Янушкевич успел вставить, что с ним рядом в комнате Сазонов и просит дозволения взять трубку.

Счастливым это качество, у кого оно есть, — отрубать так отрубать, до конца и сразу. А Николай, когда и сердился, — отрубить не мог. Помолчал. Ну, пусть возьмёт.

Сазонов проворно выговорил в трубку, что просит принять его сегодня для неотложного доклада о политическом положении.

В такие дни не принять министра иностранных дел — невозможно, тогда зачем его и держать? Но чтобы стеснить его и чтобы всё одно к одному вместе и кончалось, назначил ему тот же час, когда должен был явиться за письмом генерал-адъютант.

И — сел беседовать с Вилли. Во всеобщем колыпании опасений и угроз — только и была надёжна одна струна между их сердцами. Не стеснён телеграфным языком и шифровкой, Николай писал теперь. Конечно, убийство эрцгерцога — ужасное преступление. (Чем эти террористы лучше тех, кто убили дядю Сергея,

Столыпина, ещё десятки генералов и сотни правительственных лиц в России?) Но где доказательства, что к тому причастно сербское правительство? А сколько бывает ошибок в судебных следствиях? Почему Австрия не откроет результаты следствия всей Европе — а вместо этого предъявляет короткий ультиматум и войну? Сербия и так уже пошла на невозможные для независимого государства уступки, но Австрия добивается карательной экспедиции, как в колонию. Успокоить воинственное настроение в России будет очень трудной задачей. И Николай обращается к Вильгельму...

Вчера вечером при получении телеграммы от Вилли и сегодня при пробуждении нынешнее письмо представлялось Николаю каким-то особо убедительным изливом души. Но вот — за разными ничтожными приёмами, телефонами, завтраком — утрачена замысленная свежесть, и уже нейдут лучшие слова. И вряд ли это письмо, дойдя до Вильгельма через два дня, решительно исправит ход европейских событий.

А между тем уже и приехал за ним генерал-адъютант. И Сазонов.

Так и принял их вместе, как собирался. Недовольно смотрел на пожилого Сазонова, почти лысого, с полумесяцем шерсти с темени на темя, лицо неприятное, неоткрытое, а сейчас и с невралгическим страданием. И в этой нервности, пренебрегая этикетом и производимым впечатлением, Сазонов стал говорить возбуждённо, непрерывно, долго. И иногда, правда, высказывал страшные фразы. Что наступил трагический час, который предрешит участь России и участь династии. Что мы не можем так сразу пресечь свою славянскую политику. Что война, давно созревшая, стала теперь неизбежной. Что она вполне решена, и даже уже начата Веной, а в Берлине не хотят произнести слова вразумления — а требуют снова капитуляции, снова от нас, срамом покрыть имя России, — чего уже и Россия не простит потом своему Государю. Что дипломатия — исчерпала свою роль. Совершенно явно, что Германия решила довести дело до столкновения, — и безопасность государства требует встретить его во всеоружии. Если мы не начнём всеобщей мобилизации тотчас же — она позже станет бесполезной, Россия попадёт в катастрофу, мы проиграем войну раньше, чем вытащим шашки из ножен. Несравненно лучше стать во всеоружии — мы же не начинаем войны! — чем, из страха вызвать войну, оказаться застигнутыми врасплох.

Да мы произведём мобилизацию как-нибудь тайно, в Европе даже не узнают.

Николай заходил, заходил по комнате как раненый, еле скрывая, что ломает пальцы. Его изводило, тянуло в разные стороны, разрывало. Он должен был вот сейчас, вот сейчас принять величайшее решение! — и ни присутствующие, ни отсутствующие, никто не мог помочь ему советом, а голос Господа не слышен был явно. Сколько было у него министров, генералов, великих князей, статс-секретарей — а решать он всегда обречён был сам, колеблющейся, измученной душой! Не было такого одного — твёрдого, умного, превосходящего человека, который взял бы на себя и ответственность, и решение, сказал бы — нет, сразу бы сделал: т а к, а не иначе!

Столыпин! — был такой человек. Вот кого не хватало ему сейчас, сию минуту здесь — Столыпина!..

В чём было острие всей тяжести? Если Германия обманывает нас, то мы — попадаем, да. (Хотя при наших необъятных границах насколько уж так попадаем? на какую полоску?) А если Германия искренна — то мы своим шагом вызовем войну, величины которой даже не может охватить разум...

Всё время молчавший генерал-адъютант, видя муки Государя, протянул сочувственно:

— Да, трудно...

Как от удара по натянутым нервам, Николай вздрогнул и резко отсек:

— Решать буду я!

Да, вспомнил он Сазонову, — что же ваша Англия? Что же стоило ей во все эти дни — сделать одно недвусмысленное заявление? И не было бы никакой задачи.

Да! вспомнил и Сазонов, уже он ехал сюда, в последнюю минуту ему подали свежее сведение: несколько часов назад германский флот вышел из Киля и на всех парах идёт в Балтийское море для внезапного нападения!

Как?? А Государь — не разрешил минировать!

И — как лопнули последние перенатянутые нервы! Урок Порт-Артура невозможно было забыть:

— Хорошо, вы убедили. Но это будет самым тяжким днём моей жизни.

И наступило облегчение.

Как всегда, когда уступишь.

Когда освободишься от решения.

Сазонов попросил дозволения сейчас же, по телефону из Петергофа, сообщить Янушкевичу, что всеобщая мобилизация начинается сегодня с полночи.

Хорошо.

А день был — такой тёплый. Море отсвечивало так ласково — неужели в другом месте его уже бороздила германская эскадра, крадясь на новый Порт-Артур?

Да так ли? Сведения могут быть и фальшивы.

Пошёл — и выкупался. С наслаждением.

Но облегчение от уступки и облегчение от купания как-то очень быстро соскользнули. А на душу и на голову — опять давило.

То ли предчувствием? В 6 часов принесли телеграмму от Вильгельма.

Уже не было ласковости в ней. Никакого противоречия с де-маршем посла; твоя мобилизация вызовет опасные серьёзные последствия. Ведь у Австрии до сих пор нет всеобщей мобилизации. Принятие решения ложится теперь всей своей тяжестью исключительно на тебя, и ты несёшь ответственность за войну или за мир.

О Боже, как затеснило, защемило! О Боже, как страшно! О, помоги мне снести нечеловеческое это бремя!..

И первое движение было — позвонить Янушкевичу и отменить.

Но — стыдно было перед своими же подчинёнными.

Николай живо представлял Вильгельма — его горящие глаза, его живую страстную манеру разговора, — и пытался вообразить его окончательным врагом, и не мог: он никогда за 20 лет не выступал врагом, это какое-то жуткое недоразумение, какая-то роковая недоговоренность, как 8 января 1905 года: задержать толпу, но не сказано было, как задержать.

И проступило просветлением: о, Вилли, очнёмся! Что же мы делаем? Мы погубим наши троны!

Но — неловко было звонить отмену. (Он не знал, что телефон Янушкевича отныне сутки будет сломан.)

А с другой стороны, — уже так много и так позорно уступали Австрии, — когда-то же надо проявить в поступках разнообразие, проявить и твёрдость! Теперь-то можно разговаривать твёрже — когда бес революции навсегда из России исторгнут!

И как это Сазонов обещал провести мобилизацию тайно? С утра 18-го на всех улицах Петербурга висели объявления на к р а с н о й почему-то бумаге — или уже залитые будущей кровью? или

красный флаг прокрался в императорский стан? Все иностранцы заметили, а красный цвет особенно почему-то действовал. И германский посол, затем австрийский бросились к Сазонову, — телефонными звонками вослед эти визиты отдавались Государю. Германского заверял Сазонов, что со стороны России не будет сделано ничего непоправимого. А тот принёс записку, что Германия делает какие-то шаги, что Австрия не будет посягать на неприкосновенность Сербии, но Россия должна признать локализацию конфликта.

Локализацию? — значит, дать душисть Сербию в одиночку?

Но ещё всё могло уладиться с Божьей помощью? О, если бы! О Господи! Жалость какая — почему не объявил частичную? Не подготовили частичную, неверные слуги. О, если бы обошлось!

Посол австрийский сообщил о согласии вступить в прямое с Россией обсуждение ультиматума.

И надо было начать обсуждение! А Сазонов почему-то — не вставивши помощникам своей головы, не вмешавшись вовремя сам! — отправил Австрию на переговоры в Лондон. И пусть прекратит военные действия. (Это — правильно, она же одна воевала тем временем.)

А день стоял — гнетуще серый, и такое же угнетённое, похоронное было настроение. Томила тоска: зачем согласился на всеобщую?? Но всё-таки, история же знает и демобилизации, не каждая мобилизация переходит в войну.

В одиннадцать все министры съехались на совещание в Петергоф. Обсуждали вопрос Верховного Главнокомандования. Кому же, как не самому Государю, всю жизнь между штатскими только пленнику, всё счастье и воздух — в смотрах, парадах, манёврах, разговорах с офицерами? Он давно решил, что станет сам во главе войск. И теперь оставалось только обдумать, как устроить без него гражданское управление Россией. Опять нет! — опять сопротивление! Все министры, и даже Горемыкин, дружно возражали: нельзя, чтобы тень военных неудач могла пасть на Императора. И приводил пример, как уехал из армии Александр I и не вступил в главнокомандование Александр II.

И как будто всё заключалось в его собственном решении — а вот, не мог он противостоять соединению министров.

А как жалко расстаться с мечтой.

Тут — Сазонова позвал к телефону германский посол. Надежда!

И тут же, на заседании, стал Николай набрасывать просветившуюся ему новую телеграмму Вильгельму — как ещё можно объ-

яснить и исправить. Благодарность за посредничество! Оно начинает подавать надежды на мирный исход! Остановить наши военные приготовления невозможно по условиям техническим. Но мы далеки от того, чтобы желать войны! Мои войска не предпримут никаких вызывающих действий, даю тебе в этом моё слово! Верю в Божье милосердие. Преданный тебе...

И отправил зашифровывать.

И ласково принял графа Пурталеса, германского посла. Вот если б тут сейчас между ними зависела война или мир — был бы решён мир. Пурталес был едва не сокрушён грозным ходом событий. Он умолял Государя — остановить мобилизацию и дать простор посредничеству императора Вильгельма.

Но, граф, вы военный человек. Кто и как может остановить разогнанную мобилизационную машину?

Только ещё тоскливей и безысходней стало от этой встречи.

Как ждал ответа от Вильгельма!

Погулял с дочерьми. Усилием сел заниматься бумагами.

В почте было два письма, душевно пронзивших, застигли врасплох. Одно — от раненого Григория из Сибири, он умолял не вступать в войну, грозил бедами. Другое из трёх слов: «Побойтесь Бога! Мать».

Как ударило по душе. А — что делать?.. А — что делать?..

И вдруг — принесли телеграмму от Вильгельма. Но — опять разминувшуюся. Они — перестали успевать. Они — перестали друг друга слышать, как слышали 20 лет...

Писал Вильгельм, что из-за русской мобилизации его посредничество становится призрачным. Что дружба его к Николаю и к России, завещанная дедом на смертном одре, всегда была для него священна, но теперь вся вина за бедствия цивилизованного мира падёт не на него. Однако от Николая будто бы ещё зависит всё предотвратить — если Россия остановит военные приготовления.

Но Николай не видел — как.

Разверзалась несдержимая, никем не управляемая бездна — и разносила их на разных обрывах.

Долго, в одиночестве, с головой, опущенной над телеграммой, он сидел и плакал над концом их дружбы.

Он уже не мог различить, кто и сколько сделал для её конца.

А вечером получил донесение от нашего посла в Берлине, что через час после отсылки этой телеграммы Вильгельм торжествен-

но въехал в столицу и произнёс с балкона, что его вынуждают вести войну. И уже раздавались на улицах листки с германским ультиматумом России, которого так и не дождавшись в этот день, Николай лёг спать.

Пурталес принёс ультиматум Сазонову в полночь — и сроком всего в 12 часов, до полудня субботы, и с требованием остановить военные приготовления России.

Вечером же в пятницу пришли сведения о всеобщей мобилизации в Австрии, объявленной в те же часы, что и наша.

Утром 19-го, в субботу, проснулся Николай в тревоге, не началась ли война. Нет, не началась. А значит, сохранялась надежда?

Была годовщина открытия мощей преподобного Серафима. При каждом воспоминании о том дне — схватывало горло.

Текли обычные рутинные доклады, давно назначенные, как будто ничего большего нигде не совершалось, — и не было сил хоть их-то прервать, освободить голову.

Предложил Сухомлинову стать Верховным Главнокомандующим. Неожиданно он отказался. Но очень советовал Янушкевича на штаб Верховного.

Тогда объявил назначение Верховным — Николаше. Тот с гордостью принял.

А Николай отдавал Главнокомандование с ослезёнными глазами. Но это он — временно назначал, он, конечно, потом поедет в армию сам.

Истёк срок германского ультиматума. И текли дальше часы. И ничего не случилось.

Надо было ещё попытаться, ещё!

И снова он писал телеграмму Вилли. Понимаю, что ты должен мобилизовать свои войска. Но обещаю и ты мне, что это не означает войны, что мы будем продолжать переговоры. Наша долго испытанная дружба должна же с Божьей помощью предотвратить кровопролитие! Жду твоего ответа с нетерпением и надеждой.

Надо — молиться! Милостив Бог, минует.

Поехали с Аликс в Дивеевскую обитель.

Погулял с детьми.

А там дальше — и всенощная. Поехали ко всенощной, ещё молиться.

Воротился умиротворённый.

И тут настиг телефонный звонок Сазонова: Германия объявила нам войну! — приходил граф Пурталес.

Это было так. Старик приехал, глубоко волнуясь, и спросил, может ли императорское правительство дать благоприятный ответ на ультиматум. Сазонов ответил, что общая мобилизация не может быть отменена. Граф Пурталес, всё более волнуясь, вынул из кармана сложенную бумагу и, как не слышавши ответа, повторил всё тот же вопрос. Удивлённый Сазонов повторил ответ. И снова, как в безумии, дрожа бумагою в руке, Пурталес в третий раз задал неизменно всё тот же вопрос. А после третьего ответа Сазонова, задыхаясь, протянул ногу с объявлением войны, отошёл к окну и, взявшись за голову, заплакал: «Никогда бы я не поверил, что покину Петербург при таких обстоятельствах». Обнял министра и, не способный о чём-либо думать, просил за него распорядиться, как быть посольству.

Слёзы стояли у Николая в глазах. Это шло — как разрушение семьи.

Но надо было жить. Обедали. В одиннадцать часов вечера принял английский посла, и с ним составляли телеграмму английскому королю.

Это был — как переход в другую семью.

Чувствовал себя — совсем больным. В два часа ночи хотел принять ванну — но камердинер стучал в дверь ванной: «Очень, очень спешная телеграмма от Его Величества императора Вильгельма!»

Теперь-то — что? Теперь о чём? Задрожали руки. Без числа, Потсдам, 10 вечера. Надеется Вильгельм, что русские войска не перейдут границы?!

Что это?! Как понять? Так ещё есть надежда??.

Но какая же надежда, если он сам только что, вечером, объявил России войну?

Так Вилли передумал? Так ещё можно всё спасти? О, бывает же чудо! О, дошли молитвы к Серафиму Саровскому!

Телефон к Сазонову. Тот — к Пурталесу.

Пока время шло — Николай в безумном волнении, всё один, не будя жены, ломал руки и молился. Вильгельма — пробрала совесть, он понял, в какой ужас едва не вверг Европу!

Телефон от Сазонова. Спустился к камердинеру. Граф Пурталес ответил: ничего не знает, не имеет новых инструкций. Предполагает, что телеграмма была послана на сутки раньше и задержалась в пути.

О, бедное сердце!

Возможно ли такое: от императора к императору — сутки в пути, и в такой момент? Нет, говорило сердце: это — истинная телеграмма, этого вечера. Так он рассчитывал — обмануть?.. Выиграть время для войск? Может быть, Николай — поколеблется? в последнюю минуту сделает какой-нибудь отходной, слабый, смешной шаг?

В эту последнюю минуту Николай и выздоровел от дружбы с Вильгельмом. Охолодел. Свалился спать.

А в воскресенье проснулся с оздоровляющим чувством. Путь жизни был выбран, и надо было жить им, не поддаваясь унынию. Уныние — тяжёлый грех.

Вообще — вдруг почувствовал облегчение. Война — не больше как на год, а то на три месяца. От войны укрепятся национальные чувства, после войны Россия станет ещё более могучей.

А день был опять солнечный. И дух поднимался. Очищался.

С двумя дочерьми поехал к обеду. Там — ещё успокоился, ещё утвердился.

Завтракали — одни, никого не было.

Весь мир вокруг Петергофа был безгранично тих.

Хотя сегодня был Ильин день — ничто не намекало на грозу.

Ещё со вчерашнего дня у всех одновременно возникла мысль, что надо появиться перед народом. Народ, как сирота, потянется к безлюдному Зимнему — и никто не выйдет?

Днём по сверкающему морю поехали на яхте в Петербург — и катером подошли прямо к набережной у Зимнего. В Николаевской зале — много офицеров гвардии, дамы и придворные. Прочтён был манифест, отслужен молебен перед иконой Казанской Божьей матери (которой молился Кутузов, отправляясь к Смоленску). Вся зала пела «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Многая лета». Кричали ура, многие плакали.

А тогда — вышли с Аликс на балкон Дворцовой площади.

И что поднялось! Какие клики! Сколько видно было пространства, замкнутого дугою Главного Штаба, — всё было море голов, и царских портретов, и знамён, и хоругвей.

И Николай кланялся, кланялся на все стороны. А те пели — и становились на колени перед Дворцом.

Вот, он стоял перед своим народом, над своим народом, — благословляюще, открыто и царственно — так, как мечтал всегда, — и отчего же вышел только впервые с коронации?

(В мыслях тут же настиг его опять Вильгельм, и не враждебно. Ведь вот, сбилось его давнишнее предсказание: ты — выйди на балкон, и народ на площади падёт на колени перед своим царём.)

Отчего он не выходил так и часто? Пели церковно, молились, кланялись, — и по сверкающей глади воспоминаний лишь слегка проморщились неприятные годы — лет пять их было, или десять, или пятнадцать? — со своими огорчениями, страхами — всё мимолётными, как видно теперь. Двадцати лет его царствования как не бывало, он ещё не совершал ошибок, он никогда не ссорился со своим народом, он сегодня был юно-коронованный царь, только начинающий славное царствие.

ДОКУМЕНТЫ — 8

Июль 1914

ПИСЬМО РАСПУТИНА ИЗ СИБИРСКОЙ БОЛЬНИЦЫ — ГОСУДАРЮ

Милай друг ещё раз скажу грозна туча над Расеей беда горя много темно и просвета нету. Слёс то море и меры нет а крови? что скажу? Слов нету неопикуемый ужас. Знаю все от тебя войны хотят и верная не зная что ради гибели. Тяжко Божье наказание когда ум отымет. Тут начало конца. Ты царь отец народа не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят а Расея? Подумать так воистину не было от веку горшей страдалицы вся тонет в крови. Велика погибель без конца печаль.

Григорий

75

— После всех прошлых лет — кто мог ждть такого народного единодушия? Чтобы студенты стояли на коленях и пели «Боже, царя храни»? Тысячи людей под национальными знамёнами и кричат царю восторженное? Общество примирилось с государством! Прекратились разногласия между партиями, сословиями, народностями — осталась одна великая Россия! Могли мы ждть этого недавно? Такого подъёма не было с Восемьсот Двенадцатого года! Вот так мы сами не знаем себя, а Россию тем более.

Рослая решительная курсистка в крупноклетчатом платье, с большим лицом упрощённого склада, как из деревни, но и с напором уверенного развития, без утончённости внешних черт, как это бывает в великорусском типе, крупно двигала руками и полногласно это всё объявляла своей группке, слышно и для смежных и проходящих. И месяц назад — неприносимое! фальшивое! — вот не только не высмеивалось, но слышались голоса в поддержку:

— Примирение общества с государством — это чудо!

— А чего стоит воззвание к Польше? Мы протягиваем руку полякам!

— И вот мы не «жандарм Европы», но защищаем от поругания Сербию!

— Как будто с первыми пушками стал нарождаться новый мир!

— Да! — встряхивала головой та рослая в клетчатом платье, в крупном тугом навиве светлых волос, — война была нам н у ж - н а ! Даже прежде всего не для сербов нужна, но для нашего собственного спасения! Потому что мы стёрлись характерами, мы разуверились, мы одряхтели, мы скатились ниже некуда — до «Синего журнала» и до «танго». Нам нужен подвиг, чтобы обновиться! Нам нужна победа, чтоб освежить атмосферу, в которой мы задыхались!

И на неё не шикали, не кричали «позор». Потому что все пришли с этих новых, удивительных улиц, расцвеченных обилием белых косынок и красных крестов сестёр милосердия, и бинтами первых раненых, и согретых внезапною добротой людей друг ко другу, чего никогда не бывало в Петербурге. И пришли из домов, где женщины уже сбирались готовить перевязочное, уже начали вязать рукавицы, носки и фуфайки для солдат.

Вероника думала. Вид первых раненых наводил и на другую мысль: сколько же, сколько же будет их?..

Но раздался и гордый отклик:

— Как можно щепкой вливаться в патриотические хождения толп? Для чего же мы столько лет искали сознания и открытых глаз?

И ещё одна бойкая, сухолицая возражала тонко, резко:

— Мы задыхаемся? — да! Но от внутренних неустройств! Нам не война нужна, а долгий мир! А если б мы в эту войну не вмешивались?

На неё почти прикрикнула совсем не молодая курсистка, не ровесница им всем:

— Надо мыслить в категориях национального существования! Это — дуэль насмерть между славянством и германизмом. И если б мы оставили Францию одну — уже в этих бы днях её Германия разбила и повернулась бы на нас, — и нам пришлось бы один на один! Мы — в Союзе, и выход — только победа союзников!

Ещё одна чёрненькая, со схваченным хвостиком волос, протестовала:

— Вы говорите — национальное единодушие. Это — опасная вещь. Это значит, какая-то из двух сторон — общество или государство — ошибалась. А — какая? Это надо проверить!

Рослая — вся в её сторону и торжествующе:

— Национальное единодушие — не опасно, это нормальное состояние народа! И очень жаль, что мы не могли прийти в него раньше, а — только такой ценой. Всё русское общество десятилетиями имело антинациональный характер! Может, хоть теперь мы почерпнём истину в единении.

Ещё возражали, но и в возражениях было не возражение:

— Не в патриотизме дело! А вот случай слиться с народом, идти с ним на равных, чтоб он нас признал за своих, — то самое состояние, о котором мы грезили десятилетиями...

Сливаться с народом — это многие тут чувствовали. Но не видели ясно, каким путём. Прямое дело ниоткуда тотчас не выступало, и администрация Бестужевских курсов никаким объявлением или призывом ни к какому делу не приглашала слушательниц. И вот, за десять дней до учебного года, они сами во множестве собирались тут возбуждённо в вестибюле и ждали открыть себе что-то в разговорах или по случайности. Вот шёл разговор о завтрашнем дне флагов, сборе пожертвований, везде по столице объявленном, и многие курсистки уже записались ходить, а другие говорили, что это — мало и смешно, однодневный кружечный сбор, — вон сколько молодых женщин бросают всё и идут сёстрами милосердия. И правда, может быть сёстрами? Как будто нелепо — с высших курсов, но и так же была неуклюжа, непримерена война, врезанная в существование. Первые дни войны разразились как гром, обещали ужас, и эгоистическое движение было — остаться в стороне, но сразу и выше того, и настойчивей порыв — участвовать всеми силами тела и духа! Даже: спешить успеть принять участие в первой войне их поколения! Быть может, она продлится всего 3–4 месяца! Россия бо-

рется за мировую справедливость — и как же нам остаться в стороне? Россия борется за своё существование — и как же нам не помогать?

И так говорили:

— Но можно служить войне тем, что критиковать правительство, предостерегать его от ошибок! Например, от ограничения евреев.

Само здание их курсов, новое, на Среднем проспекте, говорят, отдавалось под госпиталь. И вот канцелярия оставалась тут, в старом здании, на 10-й линии.

Так рано, ещё до конца августа, никого обычно не бывало в вестибюле курсов — а теперь всех стягивало сюда, что-то узнать и решить, и вот многие курсистки стояли группами и расхаживали тут, по тёплому, солнечному дню ещё в одних летних платьях.

Спорили и о Петербурге-Петрограде, переименованном вчера. И тоже не говорили так, что это — квасной шовинизм, что смешно. А только: что *святого* потеряли, Санкт-, сменили апостола на императора и не заметили, уж тогда бы *Свято-Петроград*. А другие напоминали, что город-то был по-голландски назван Питербурхом, а «Петербург» нам немцы навязали, и в этом символ нашего вечного подчинения, и хорошо, что отбросили!

Первокурсниц ещё не было тут. А второкурсницы наступающего года по-прежнему ощущали себя тут самыми младшими, и разговоры их не были так громки. Кто-то сказал, что расписание уже вывесили. Так задолго? Да, очевидно и канцелярию тянуло то же чувство зовущего времени. Второкурсницы пошли смотреть, среди них Вероня с Ликоней, пятигорская Варя, с пышно набитыми стриженными волосами и твёрденьким подбородком, другая Варя из Великих Лук, желтоволосая, Лиза из Тамбова, тонкая, топольком, с печальным взглядом, и ещё другие. Обсуждали расписание.

Отменным событием было, что историю Средних веков у них будет читать — женщина — профессор! — Андозерская. Правда, докторскую степень она получила не у нас, конечно, а во Франции, но сдвинулось и у нас: недавно утвердили её магистром. В расписании ещё писалось «преп.», но в университетских кругах уже сложилось, признано и курсисткам известно: «проф.»! Кроме Средних веков на втором курсе она будет и на старших вести семинарий: работа над источниками.

Очень это было интересно. Захотелось девушкам сегодня бы и взглянуть на своего профессора, вынести о ней суждение. Удалось. В канцелярии узнали, что Андозерская сейчас у декана. Ждали.

Их стайка оттянулась к окну, стали рассказывать друг другу, кто что слышал об Андозерской. Достижением была несомненная эмансипация — и значит, успех всех угнетённых. Помогала Андозерская добывать средства для столовой, общежития, стипендии. Но вот на своём семинарии, начатом прошлой весной, она предложила курсисткам корпеть над папскими буллами XI века на латинском языке. Такие ж были и её печатные работы — о церковном обществе в Средние века, о паломничестве в Святую Землю...

Обе Вари считали, что это вызывает недоумение и почти даже смех: как же можно так далеко уходить от живой жизни? Как же можно так гасить в курсистках общественный дух?

Ну правда, раз женщина не может получить профессорского звания в России, а только в Европе, приходится заниматься и их Средневековьем, — но зачем эту жвачку переносить сюда, на наши курсы?

— Ей нужно было эмансипироваться, да, но не слишком ли дорогая цена? Уйти в бесполезные, мрачные Средние века...

— Почему бесполезные? А Кареев? А Гревс?

Но хотя обе Вари были *прогрессивны*, здесь на Бестужевских курсах в 13–14-м году они выглядели уже и *реакционно*, вот диалектика! С воздухом, наглотанным в *обществе*, — они тут, на курсах, что-то не успевали за философскими диспутами, дискуссиями, и голоса их звучали слишком резко. Под сводами аудиторий произошёл какой-то невидимый поворот, непоправимая перемена, — и вот тамбовская Лиза (впрочем, дочь священника), самая высокая в их кучке, повела-покачала головой — не так даже укоризненно, как сожалительно, растягивая фразы:

— Девочки, как вам не надоедает эта выеденная плоскость? Ведь нам открыта такая сфера, такая среда, свобода духа вместо партийности! Нам дают прислушаться к Истине. Нам дано стать поумней этих политических деятелей, — зачем же?..

И чуть подрагивал недоумённо кончик её прямого носа на удолженном чистом лице.

Спор не успел разгореться, — тут вышла от декана Андозерская — совсем невысокая, а если выше Ликони, то из-за высокого накрута волос. Не с пренебрежением она была одета. Однако

платье её, кроме приятного, чуть переливчатого серого цвета, не отмечено было никаким украшением и не назначалось слишком выявить фигуру.

Со скромностью она шла мимо, держа в руке книжечку маленькую, как молитвенник, в старинном переплётё, но с весёлой розовой закладкой. Не только для профессора-женщины, а и вообще для профессора была она молода, разве немного старше тридцати.

Тем проще было обступить её и в несколько голосов: «Простите, пожалуйста... А это вы будете вести?... А как нам вас называть?»

Ольда Орестовна. — Ольга?.. — Нет, именно Ольда. — Что-то скандинавское? — Да, может быть, фантазия отца, — очень просто держалась Андозерская, охотно останавливаясь.

Впрочем, со студентами и курсистками охотно останавливались и самые прославленные профессора. Кто не знал направляющего закона русской высшей школы: положение и славу профессора определяет не благосклонность или неприязнь начальства, а студенческое мнение. Профессор, неугодный начальству, ещё долго преподавал и носим был на руках, и даже уволенный — пребывал в ореоле. Но горе было профессору, кого студенты признали реакционером: презрение, бойкот лекций и книг, неизбежный безславный уход были роком его.

Варя пятигорская — опять своё, не выдержала:

— Скажите, но такая детальность в отмеревшем Средневековьи, не слишком ли это большая цена... ?

Из лёгкой неуклонной походки, с которой Ольда Орестовна только что скользила мимо них, она вполне устойчиво утвердилась на высоких каблучках в этом месте паркета, лже-молитвенник не мешал её левой руке поддерживать в жестах правую, и выражение лица было — готовность хоть к семинарию, хоть к спору тут же:

— Это не цена. Если выбросить Средние века — история Запада разломится, и в обломке новейшем вы тоже ничего не поймёте.

Она посмотрела в покойное темноглазое лицо Вероники, искося вверх — в крупные вдумчивые глаза Лизы.

Варя пятигорская: — Но практически история Запада и всё, что нам нужно почерпнуть, начинается с Великой французской революции...

Варя великолукская: — С века просветителей.

— Ну, с века просветителей. При чём тут паломничество в Иерусалим? При чём палеография?

Ольда Орестовна слушала как знакомое, чуть губы изогнув:
— Ошибка поспешного мышления: обнаружить ветвь и выдать её за всё дерево. Западное просветительство — только ветвь западной культуры, и отнюдь не самая плодоносная. Она отходит от ствола, не идёт от корня.

— А что же главней?

— Если хотите, главней — духовная жизнь Средневековья. Такой интенсивной духовной жизни, с перевесом над материальным существованием, человечество не знало ни до, ни после.

Это — о мракобесии?.. инквизиции?..

Обе Вари: — Но простите! Как можно отдавать наши силы сегодня — западным Средним векам? Чем это помогает освобождению народа? И общему прогрессу? Изучать в России сегодня — папские буллы?? Да ещё по латыни!

Ольда Орестовна сделала лёгкое *glissando* по обрезам страниц лже-молитвенника. Это был латинский раритет. Она улыбалась несмущённо:

— Дорогие мои, история — не политика, где один говорит и другой повторяет или оспаривает то, что сказал другой. Материал истории — не взгляды, а источники. А уж выводы — какие сложатся, хоть и против нас. Независимое знание должно возвышаться над...

— Но если выводы противоречат сегодняшним нуждам общества?

— Но для сегодняшних действий нам достаточно анализа сегодняшней социальной среды и сегодняшних материальных условий — что добавят нам Средние века?

По высоте не видная из кучки своих собеседниц, Андозерская слегка отложила голову набок и улыбалась очень уверенно, многозначно:

— Было бы так, если бы жизнь личности действительно определялась материальной средой. Это бы и проще: всегда виновата среда, всегда меняй среду. Ведь говоря о *сегодняшних действиях*, вы, наверно, подразумеваете революцию? А физическая революция — как раз и не есть освобождение, напротив — это борьба против духовного начала. Кроме социальной среды ещё есть — духовная традиция, сотни традиций! И есть духовная жизнь отдельного человека, а потому, хоть и вопреки среде, личная ответственность каждого — за то, что делает он, и что делают при нём другие.

Вероника выступила из задумчивости, как из стены:

— И — другие?

Ольда Орестовна ещё раз отметила её взглядом:

— Да, и другие. Ведь вы могли помочь, могли помешать, могли руки умыть.

Тополёк Лиза, как бы чуть покачиваясь от высоты на тонких длинных ногах:

— Ольда Орестовна, а вы у нас какой-нибудь кружок будете вести?

Андозерская охотно:

— Если сумеем с вами выбрать тему.

— А — какую например? — Лиза не спускала с неё допытчивых глаз.

Андозерская обежала глазами всех сразу — сколько их тут, тут ли им и предложить? Чуть подумала, маленькие губы собрав:

— Ну, скажем... О религиозном преображении красоты в Средние века и в эпоху Возрождения? — И опять осмотрела всех, видя много и недоумения. — Или — мистическая поэзия Средних веков? — Ещё улыбнулась: — Ну, подумаем.

Едва поклонилась, с достоинством отпуская их или себя, и пошла, маленькая, узкая, ровненькая, в спину почти бы курсистка, только с перебором изящества, что уже и неинтеллигентно.

Лиза задумчиво смотрела ей вслед.

Другие загудели, обе Вари возмущённо: что ж, духовная жизнь того же Средневековья не вытекает из его социально-экономических условий? Да если она осмелится сказать такое на лекциях!..

— Ах, — закинула голову Лиза, — это невыносимо, всё вытягивать из экономики, кончайте!

Варя пятигорская, очень уверенная после лета:

— Ах, такие ли бывают превращения! Был у меня друг, я вам рассказывала... Неделю назад встречаю его на станции Минеральные Воды...

Вероника спокойно, как сама с собою вслух, защищала профессора:

— А что? Личная ответственность каждого — ведь это хорошо? Если только среда да среда — так мы тогда каждый — что? Ноли?

— Мы — молекулы среды, — осадила её Варя великолукская. — Этого довольно!

А Ликоня косила в окно, даже отходила. Но потребовали мнения от неё. Она подняла брови, повела шеей, пожала плечами, не одновременно двумя:

— Мне очень понравилась. Особенно голос. Как будто арию ведёт. Такую сложную, мелодии не различишь.

Засмеялись подруги:

— А — смысл?

— А тема кружка тебе понравилась?

Ликоня нахмурилась маленьким лобиком, но и в улыбку сдвигая подушечный рот:

— Смысл?.. Я пропустила...

*НЕ ИСКАЛ БЫ В СЕЛЕ,
А ИСКАЛ БЫ В СЕБЕ*

Аглаида Федосеевна Харитонова была жёсткая женщина, привыкшая к положению власти, и власть хорошо прилегалась к ней. Уступчивость Томчаку была из редчайших случаев её жизни. Её покойный муж, добрый человек, пробоялся её от первого ухаживания и до последнего вздоха. По службе гимназического инспектора он постоянно советовался с ней, а вне службы подчинялся беспрекословно, дети знали, что всё серьёзное может разрешить или запретить только мама. Городские власти очень считались с Харитоновой, и при леволиберальном направлении её гимназии никто не осмеливался притеснить или указать ей. (Да впрочем, и вся ростовская образованность рядом с казачьей столицей по

долгу не могла принять роль иную, как леволиберальную.) В гимназии Харитоновой историю преподавала жена революционера, то осуждённого, то бежавшего, то тут же, в Ростове, подпольно действующего, и всё направление гимназического курса истории было с нескрываемым революционным уклоном. С такими же симпатиями велась и русская литература. Конечно, не миновалось преподавание закона Божьего, но и батюшка приглашался не мракобес, не фанатик, да больше половины воспитанниц были освобождены от этих уроков как лица иудейского вероисповедания. Конечно, в праздничные дни приходилось гимназисткам на актах петь «Боже, царя храни», но откровенно без энтузиазма. Однако ироническому непочтению к властям государственным Аглаида Федосеевна не допускала распространиться внутрь гимназии на собственную власть. Её власть в гимназии осуществлялась непреклонно и неподвержно расшатыванию. Не только все воспитанницы трепетали перед ней, но и приглашаемые на вечера гимназисты или ученики мореходного училища поднимались по лестнице в робости, что при верхе её каменная начальница, через пенсне оглядывая каждого зорко, тут же повернёт по лестнице вниз за ничтожную некорректность одежды. Нравы харитоновской гимназии стояли выше похвалы, да при высокой плате за обучение (без чего и нельзя поставить гимназию высоко) туда попадали дети родителей состоятельных, и только девочки две на класс содержались благотворительно.

Державно ведя такую гимназию, меньше всего могла ожидать Аглаида Федосеевна мятежа в собственной маленькой, легко управляемой семье. И не муж проявил непокорность, но, по смерти его, старший сын — в крещении Вячеслав, но хотением матери Ярослав. Как будто с малых же лет пропитанный просвещённым духом, он вдруг стал порываться ещё с пятого класса уйти в кадетский корпус. И всякое бы жизненное отклонение сына не могла легко допустить такая властная, уверенная мать. Но *это* отклонение пришлось особенно обидно: за неразумным мальчишеским увлечением серым контуром проступала измена. Хотел уйти старший сын именно в тёмную, тупую офицерскую касту, не затронутую ни духом свободы критики, ни духом знания. Так неожиданно извратилась в Ярославе воспитанная в нём здоровая любовь к народу: не в помощь освобождению народа, а в общенье к его якобы святой силе и почве. Ярослав был мягкий мальчик, но это извращенье в нём оказалось упорно. Три года мать

с ним билась и защемляла, но после гимназии уже не хватило материнского авторитета, логики, гнева — и Ярослав уехал в Москву и поступил в Александровское училище.

Борьбу за сына можно было продолжать, свободная мысль пробивалась же и в офицерство: ведь и Кропоткин кончал Пажеский корпус! и Чернышевский преподавал в кадетском! — но тут второй удар нанесла дочь Женя, и в тот же год.

При самом большом сочувствии свободе социальных отношений, равноправию женщины (даже примату её), Аглаида Федосеевна косно держалась того правила, что девушка должна венчаться более чем за девять месяцев до рождения ребёнка. Женя же переступила это правило. А выходя внагонку замуж, не дождалась материнского благословения. А потом рождением ребёнка развалила и своё ученье в Москве на педагогических курсах. Наконец, и муж её, Дмитрий Филоматинский, сын дьякона, сам только кончающий студент, не оказался мужественным, сильным человеком, какого Аглаида Федосеевна могла бы ожидать для своей живой, породистой, энергичной дочери. И она с безповоротностью не признала этого замужества, считала его непроизошедшим, внучку — неродившейся, подвергла всех троих опале, не разрешено было им приезжать в Ростов. И где-то в Козихинском переулке под чердаком Женя качала Ляльку, а зять готовил последние экзамены и дипломный проект.

В последний год там часто бывала у них Ксенья, очень сочувствуя гонимой Жене, и Ксенья же взяла на себя её горячую защиту — в письмах и при поездках в Ростов. И смогла поколебать Аглаиду Федосеевну! — этой весной та разрешила отлучённым однажды показаться.

Круто гневалась начальница, но была ж и справедлива. Пришлось признать, что ошибки Жени были исправлены или не оказались ошибками. Хотя, действительно, зять был щупл, невзрачен — Лялька вышла очень здоровым ребёнком, в мать. Едва не развалив своим рождением семьи, Лялька засверкала новым центром её, звенящим радостным центром, отобрав это место у своего дяди, одиннадцатилетнего Юрика. Однажды увидав, бабушка не захотела с ней расстаться. А зять оказался умён и деловит. Он был не просто инженер, но с новым уклоном теплотехник, и молоденького выпускника здесь как поджидала работа: и по теплу и по холоду, и в Ростове и в Александрово-Грушевске, и даже предлагали ему лабораторные занятия в Донском Политехническом. Не было

у него петушиного задора — так и лучше, чем у глупого Ярика: скрещенные молоточек и гаечный ключ становились новым знаком века, вместо скрещенных когда-то мечей или знамён. Это понимая, зять держался скромно, но с силой, не видной извне. За столом он бывал подавлен фигурой тёщи, но не её колкостями: отшучивался, надо признать, остроумно, хотя незлобиво. От удачной работы, от жены, от ребёнка его не покидало щедро-счастливое состояние. Ещё в большем состоянии счастья плавала и носилась Женя. Счастье, как розовый туман, затопляло всю квартиру Харитоновых, и никто, дышащий им, не мог им не заразиться. И Аглаида Федосеевна, трижды в день переходя из гимназического коридора в свою квартиру, при всём упорстве не могла не поддаться охвату этого розового тумана. Звенел лялькин крик, напевала дочь, тихо посмеивался зять, всё взрослей рассуждал за столом Юрик — и затягивался старый рубец мужниной смерти и новый рубец своевольства старшего сына.

Такою видела Ксения семью Харитоновых в июле, когда ехала из Москвы на юг, ещё до войны. Всегда было ей хорошо с этими людьми, но никогда так до слёз хорошо, как теперь. И в письмах Жени, приходивших в экономию, всё та же была суматошная, сама себе не верящая радость, и рубеж войны почти не прочертился в них. И с тем же предвкушением опять погрузиться в тёплый туман этой радости Ксения теперь, на обратном пути с Кубани, вышла на ростовском вокзале и села на извозчика, пересчитав свои поднесенные шесть вещей.

Правда, в экономию она неслась лёгкой птичкой, а назад волокла на себе горе, но и куда же с ним, как не к Харитоновым, где же помощи искать, защиты, совета? Как чёрной плитой свалилась мрачная воля отца: не то что о танцевальной студии, об этом и не поперхнись, а — курсы бросай, трэба замуж! Только до Рождества отпросилась с бриной помощью, пока всё равно война. Там, дома, казалось, что выхода никакого: как же спорить с отцом?! Но стоило проснуться утром в вагоне и от Батайска из окна увидеть на долгом гребне над рекой уступами улиц — огромный, вольный, весёлый Ростов, где родились и расцвели первые свободы, радости и интересы Ксении, — и уже стала отваливаться плита отцовской угрозы, и носатый, крикатый отец перестал быть страшным неоспоримым единственным судьёй её жизни.

От возврата в Ростов всегда бьётся сердце! — особенно вот так, ранним утром, когда свеж, чист, в тёмной зелени деревьев

крутой подъём Садовой к Доломановскому и извозчик на подъёме задорно гонит не отстать от трамвая! А трамваи совсем не московские, на ходу тяжелей, не с дугами, а с роликами, и есть летние, продувные, без боковых стенок. И на них, по-ростовски, сзади, на «колбасе», обязательно подъезжают мальчишки до городского на перекрестке. И эти особенные передвижные решётчатые мостики, арочкой и с поручнями, их бросают через потоки в южный ливень, а в сухое время берут на тротуары. От Никольского переулка Большая Садовая уже вполне распрямилась и показывает вперёд свою трёхверстную прямую стрелу до границы Нахичевани. Вот и окна Архангородских на втором этаже, из гостиной угловой балкон под полотняными маркизами, и как бы не Зоя Львовна цветы переставляет, но не разберёшь за густыми деревьями, да к Архангородским ладно, к ним не с утра. Вот, на солнечной стороне Садовой, модный чёрный с шероховатой отделкой двухэтажный магазин, полосатые маркизы с бахромкой над каждой зеркальной витриной. Хочет извозчик поворачивать по Таганрогскому проспекту — нет, поезжайте дальше, до Соборного. (Если по Таганрогскому, то потом на Старом базаре мимо густого запаха рыбных рядов, от постоянного изобилия огромных чебаков, сазанов и сулы, выдвинутых до самой мостовой, и именно в утренние часы весь ночной непроданный улов ещё жив, серебряно шевелится, плескает поперёк прилавков.) Ещё одно здание модерн на углу Таганрогского, таких и в Москве поискать: верхние этажи почти без стен, одни стёкла... «Гранд-Отель»... Купеческий сад... «Сан-Ремо». И не мал ведь Ростов, а как уютен!.. Афиши. Так, что идёт? В Машонкинском чай-то бенефис... Цирк Труци. Французский театр миниатюры... В «Солее» — сильная драма... и сильно комическая картина Макса Линдера... Эти дни — походить, посмотреть. От городского сада повернули на Соборный, не такой гладкий бульжник. Вот реальное училище, где Юрик учится. Почтамт. В просвете переулка — Старый собор, тяжёлая некрасивая туша, а ближе, на чистенькой площади, — памятник Александру Второму, с восьмигранным обводом. Заманчивая пёстрая Московская улица, вся из одних магазинов, опять маркизы, маркизы над витринами — вдоль ростовской Московской можно одеться не хуже, чем в Москве! А теперь наискосок, мимо края базарного привоза, вот и гимназия Харитоновых... Нет, это главный вход, а меня, пожалуйста, с другой стороны, к начальнице.

Милая лестница! Милая каждая дверь! С первого порога — та умственная свобода и лёгкость отношений, какие всегда в этой семье. И — Женя, Женечка! В обнимку! Налетела вихрем, будто моложе Ксеньи. Подвижное, решительное, светлое лицо! Как хорошо, а мы тебя ещё не ждали. Что так рано? Неприятности?.. Надо рвать с отцом! Делай, как я! Они потом одумаются!.. Но слушай: Лялька — это чудо! Она — музыкально одарена, я тебе ручаюсь! У неё всё время речитатив, импровизированный! почти пение!.. Пойдём, пойдём слушать!.. Нет, сейчас просто говорит. А уж говорит — без умолку, правда, я одна только всё понимаю... А то вот так под одеяло спрячется и оттуда: «Ищи меня!» А какая кожица нежная, попробуй, небывалое что-то!

Гибкая весёлая Женя, счастливый полный смех, счастья в обхват, девать некуда, раздаёт. Вместе не жили тут: ведь Женя уехала на курсы, когда Ксения комнату её заняла. Пять лет разницы, московская курсистка и дикарка из степи. Ещё фыркала: не будет ли у этой девчёнки зазнайства от богатства? Этого бы Женя не снесла, она бы ей открыла! Но зазнайства не было, а — усердие, перениманье, потом Ксения — послом с Козихинского, сгладилась разница лет, а вот новая: мать — и девушка... (А у меня — это будет? Будет! Будет! Иначе — зачем же?.. Верно свершение, но и ожидание верно. Ведь бывает ещё лучше — бывает и сын. Дмитрий Иваныч очень славный человек, но я-то — я встречу такого!)

Да если забыть отцовскую угрозу или, правда, если её послушаться (но — страшно, но это — очень страшно!) — так можно жить! Всё прекрасно!

А вот ещё увлечение — фотография! У них ведь «кодак», и Митя часто щёлкает. И вместе при красном фонаре они печатают, а Женя сама окантовывает — и вот на всех стенах снимки квадратные, круглые, овальные, ромбические, с полным фоном и на искусственном белом, — Лялька в чепчике, Лялька голенькая, Лялька в ванне, Лялька с куклой, мама с Лялькой, папа с Лялькой, бабушка с Лялькой, Женя с Митей на морском берегу — это Азовское, и прекрасное купанье, и близко, и дёшево, каждое лето будем ездить!

Но не всё так весело, надо идти представляться Аглаиде Федосеевне. Не всё так весело, ведь Ярослав... Что-о-о-о-о??? Нет, не с ним, но вообще два корпуса разбито, и как раз в том районе... Иди, иди к маме.

Не к маме — к начальнице гимназии. До конца жизни она будет тебе начальница гимназии. Робость перед ней, приглаживаешь волосы, всегда страшно вато, и невозможно оспорить её, возразить.

Аглаида Федосеевна за круглым очехлённым столиком в очехлённом двуспинчатом кресле сидела ровная и раскладывала пасьянс «Крест побеждает луну». На вход Ксеньи она слегка повернула величавую голову, подставила щеку, уже изрядно сморщенную и даже обвисающую. (К поцелую, на правах дочери, она допустила Ксенью только после окончания гимназии.) При близком наклоне увидела Ксенья, что разошлась седина по вискам и надлобному венчику начальницы, как не было раньше заметно.

И пасьянс? — раскладывался только благодатными ленивыми вечерами, никогда по утрам: утром для ранней деятельной жизни бывала на ногах Аглаида Федосеевна. А сейчас вдавилась в кресло, упёрлась локтями в столик, движение не звало её.

С обычным вниманием к собеседнику, будто своих новостей нет и быть не может, с обычной сухой сдержанностью, не давая голосу быть мягким и простым, Аглаида Федосеевна задала Ксенье перед столиком основные вопросы: как провела лето? все ли здоровы дома? почему едет раньше времени? какого числа в Москву? — но не смотрела на неё, а на раскинутые девять карточных стопок луны, четыре стопки креста, соображала и медленно перекладывала.

Был удобный момент рассказать о своём горе, попросить защиты от самодурства отца! Ксенья и начала. Какой кошмар и вздор! — ведь на сельскохозяйственные курсы Голицыной так трудно было попасть, принимали почти одних медалисток, — и теперь самой бросить, уйти?..

Начальница делала усилие лбом; да, она понимает, да, Ксенья права, да, придётся Захару Фёдоровичу написать...

Но за пенсне были подглазные тёмные полукружья. Складка губ самая недовольная, как перед разносом целого класса. А под вазой, прижатый, лежал конверт — и кусочек почерка Ярослава. И стыд поднялся к щекам Ксеньи, она вскрикнула отзывчиво:

— Аглаида Федосеевна! От какого числа вам письмо от Ярика? У меня тоже ведь есть! И какое радостное, я вам сейчас из него...

Начальница резко подняла голову. И одну бровь:

— От какого?

— От пятого августа. Штамп — Остроленка, указан 13-й кор... Вот этот ещё Тринадцатый проклятый. Аглаида Федосеевна вернулась к пасьянсу. От пятого августа было и у неё. А сегодня — двадцатое. А сегодня — «от штаба Верховного Главнокомандующего».

Переложила одну карту.

Посмотрела на Ксенью. Загорелая, а волосы ближе к светлым. Только что оживлённое лицо недалеко до слёз.

Они с Яриком были как с братом, правда. Даже ближе она к Ярику, чем Женя.

— Возьми сюда! — показала.

На карточку! На другом столе, окантованная, с приклеенной ножкой, стояла — карточка Ярослава! Уже в форме подпоручика, после выпуска!

Схватила Ксенья. Смотрели вместе.

Боже мой! Да от этой огромной фуражки, да от этого высоко-го воротника он же ещё больше мальчик, чем в домашней рубашке... И ремни-то как натянул, вертикальные, как доволен!.. И на широком поясе тяжёлый револьвер...

Расслабив обязательно-прямую спину, обязательно-прямые плечи, Аглаида Федосеевна сказала Ксенье как дочери:

— Видишь сама... Это перешло границы упрямства... Был бы теперь студентом третьего курса, никто б его не тронул... В газетах пишут нарочно так, чтоб ничего не понять... Где этот корпус? где этот Нарвский полк?.. Но всё-таки штамп Остроленка, и значит, это — южный отряд, Самсонова... Он — там...

И на семёрку червей — самая простая капля.

И вдруг — в первый раз! — в обнимку за ослабевшую, стареющую шею руками молоденькими, горячими — ведь мать! даже больше, чем мать!

— Аглаида Федосеевна, милая! Он — точно жив! Я уверена — он жив, вот сердце говорит! И по тону письма — он радостный! Такие не умирают рано! У него — счастливая судьба! Вот увидите! Вот скоро получим письмо!

Начальница сняла каплю с семёрки.

Судьба?.. Она и хотела узнать только это: судьбу, жизнь, письмо, будет ли ещё одно? Но с тайными силами, кто распоряжаются этим всем — судьбой, жизнью, письмом, — Аглаида Федосеевна не знала путей контакта.

Только вот через пасьянс...

Она стягивалась в форму. Хмурилась. Бровями возвращала барьер. Но глухо срывалась:

— А ты ещё Юку не видела? Пойди посмотри на Юку. Шли добровольцы по Садовой — и он по тротуару, не отставал. Из станиц приезжали казаки, тоже вроде демонстрации с хоругвями — и он там. Туда посылали каких-то школьников с флагами, петь «Спаси, Господи», — но его-то никто не посылал.

Оттого он был дома «Юка», что в раннем детстве, представляясь «Юрка», не выговаривал «р».

Взвешу комнату мальчиков теперь отдали Дмитрию Ивановичу под кабинет, а угол Юрику был отгорожен в большой комнате шкафами. Но не там оказался он, а лежал на брюхе на балконе над Николаевским переулком и по большому атласу Маркса, по гладкой бумаге, по зелёной краске мазал чёрными карандашами какие-то кривые линии и соображал.

— Ну? — окликнула его Ксения весело и присела к нему на корточки до самого пола, поднимая юбкой ветер. — Здравствуй, Юк!

Ткнулась ему в темя и ерошила пальцами голову — он некоторко был стрижен, торчали в разных местах по-разному заломленные острые хвостики волос. Юрик из вежливости перелёг на бок, видеть её, но не покидал карандашей, и выражение его лица было отвлечённое.

— Ты что же делаешь! Ты что же пачкаешь такой прекрасный атлас?

— Он мой. И я потом сотру, — не мог и не старался Юрик покинуть своё углубление.

— А что эти линии значат? — вкрадчиво-весело спрашивала Ксения, всё так же на корточках, полбалкона занявши юбкой.

Зеленоватыми глазами Юрик серьёзно смотрел на неё. Вообще-то она ни Ярика, ни его никогда не подвела, они ей доверяли.

— Только нашим — никому, — поморщился он носом, и опять его удлиненное, строгое, загорелое лицо смотрело самоотверженно. — Это — линии фронта. Кто побеждает — стираю, передвигаю.

За стиранием она его и застала: один фланг тут подавался, а центр держался хорошо.

— Так это что ж — Южная Россия, ты что? Немцы у тебя и Харьков взяли? И Луганск?! — Не хотела она обижать мальчика, но рассмеялась. — Ты бы другую карту, тут войны никогда не будет, Юрик!

Юк покосился на неё с сожалением и превосходством:

— Не беспокойся. Ростова мы никогда не отдадим!

Перевалился опять ничком и от Таганрога к северу стал отодвигать фронт.

77''

(вскользь по газетам)

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!

Беспорядки в германской армии...

...После Гумбинена потрёпанная Германия... Перевозка из Бельгии на восток значительных сил конницы...

ПОРУГАНИЕ НЕМЦАМИ ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН. Немцы в Брюсселе добивают раненых... Австрийцы режут мирных сербов без различия пола и возраста...

...Безсонные ночи императора Вильгельма. Охваченный кровавой фантазией...

...вещие слова Кнута Гамсуна: «Славяне — народ будущего, завоеватели мира после германцев».

Я, ваш душка, ваш единственный,
Поведу вас на Берлин.

(Игорь Северянин)

ВОЙНА НЕ МЕШАЕТ РАБОТАТЬ! Как и прежде, мы продаём быстро-вязальные машины «Виктория»...

...Всю Русь облетела весть о славном подвиге Козьмы Крючкова... мы, группа учащихся... посильную лепту... прилагаем 5 руб. ...

...Трезвитесь, бодрствуйте! ...Повсюду мобилизация... с громадным подъёмом народного воодушевления. Помимо глубоких причин, скрытых в незримых тайниках величавого русского духа... закрытие виноторговли...

...Нижегородская ярмарка... торговцы белкой в удручённом состоянии...

...один из раненых рассказывает, что русские войска за целые сутки не встретили ни одного немца. Часто впереди отряда идёт гармонист и играет, а солдаты поют... Забываешь, что и на войне...

...нам, не призванным под царские знамёна, надо работать и за себя и за ушедших... Всем миром вспашите и засейте поля ушедших, убедите хлеба обезлошаденных. В сомнениях обращайтесь к своим земским начальникам.

Известный русский социалист в Париже Бурцев обратился с воззванием ко всем политическим партиям России: забыть раздоры, сплотиться вокруг правительства, отстоять русскую национальность...

...от слов к делу. Сила немцев — в поразительной сплочённости, организованности, работоспособности... Настало время, когда каждому из нас нужно работать...

ДНЕВНИК ВОЙНЫ. Русская армия заняла города Сольдау, Найденбург, Виленберг, Ортельсбург, идёт наперерез отступлению разбитых немецких войск... Германские корпуса рискуют очутиться в плену.

Сегодня БЕГА

...Особые подтяжки, величественная военная выправка...

ПОГИБНЕТ ЛИ ГЕРМАНИЯ ОТ ГОЛОДА ИЛИ НА ПОЛЕ БОЯ? — Статья экономиста.

ЗВЕРСТВА НЕМЦЕВ. Самые жестокие пытки и ужасы инквизиции бледнеют перед... Один из раненых офицеров (имя не названо), участник боя (место пропущено), сообщил корреспонденту «Биржевых Ведомостей» о следующем приёме, широко практикуемом немцами. Попадающие в плен легко раненные русские воины подвергаются операции перерезания сухожилий на руках. После такой операции немцы получают уверенность, что раненый не будет больше владеть оружием...

ПОПЫТКА НАСТУПЛЕНИЯ НЕМЦЕВ в Восточной Пруссии... Передвижка немецких войск с французской границы...

Турция почти не скрывает своей вражды к России... это, надеемся, не пройдёт Турции даром. Греки не удержатся от соблазна свести счёты... арабы, послушные указаниям Англии, армяне Кавказа пожелают получить больше, чем сколько им дано... Трудно сказать, что останется от Оттоманской империи, если она рискнёт...

...неслыханные зверства германских немцев... глубокое возмущение среди немцев-колонистов... С целью отмежеваться от германского вар-

варства многие из колонистов, особенно Херсонской губернии, решили ходатайствовать об изменении их фамилий и даже имён на русские...

Латышские воины! Вместе с геройской русской армией вы приближаетесь к древней столице меченосцев Мариенбургу. Отсюда хищная шайка меченосцев держала в железных объятьях нашу родину... латышских девушек, взятых заложницами... Латышские невесты будут ждать домой только героев.

Подвижные кресла для инвалидов...

Любителям музыки. Собрание трудных пьес в лёгком переложении...

Слабость во всех её видах поддаётся успешному лечению стимулом...

НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!

ВОЙНА И ВОДКА... В переживаемое время у населения столько личного горя и столько национальной радости, что в водке нет серьёзной психологической потребности...

ХОДАТАЙСТВО ЛОМОВЫХ ИЗВОЗЧИКОВ... без вина привычная грубость смягчилась... работа пошла скорее, сознательнее... продлить эти счастливые дни хотя бы до окончания войны... И полиция, освободясь от обязанности подбирать пьяных по улицам, стала бдительнее следить за ворами...

Выдача пайка семьям запасных. Каждому члену семьи призванного... из расчёта в месяц: 68 фунтов муки, 10 фунтов крупы, 1 фунт подсолнечного...

ДНЕВНИК ВОЙНЫ. ...Необходимость строгого соблюдения военной тайны вынуждает Верховного Главнокомандующего быть очень скупым в сообщении о ходе военных действий. Если немецкие военные власти в своих репортажах описывают даже такие победы, каких не было, то наш Генеральный Штаб умалчивает иногда и о таких победах, которые были одержаны... Только на путях движения южного нашего отряда немцам удалось временно задержать обходные колонны генерала Самсонова, причём сам Командующий, а также генералы Пестич и Мартос убиты, страшно пострадал от артиллерийского огня штаб, и русским полкам нанесены тяжёлые потери.

Впрочем, от этой прискорбной случайности наше стратегическое положение нисколько не пострадало... Непрерывный приток сил из России изменил соотношение сил в нашу пользу... Чтобы удержать Самсонова, немцам пришлось перебросить два корпуса из Бельгии.

Таким образом, энергичное движение генерала Самсонова как бы было кровавою жертвою, принесенною на алтарь боевого братства...

...По словам лица, близко знавшего покойного, он пользовался редкой любовью своих подчинённых. В высшей степени ровный, воспитанный, он всегда быстро охватывал и оценивал обстоятельства...

...Генерал-от-кавалерии П. К. Ренненкампф высочайше награждён за боевые отличия орденом св. Владимира 2-й степени с мечами.

...Никто не ждал победного шествия на Берлин или на Вену, потому что озлобленные враги мирных народов поставили всё на карту, и война с ними должна быть ожесточённая. Недавно нашими войсками были разгромлены под Гумбиненом три германских корпуса, а теперь мы узнали, что, обрушившись огромными силами на наши два корпуса, неприятель нанёс нам большой урон. Среди убитых и генерал Самсонов. Никто, конечно, не падает духом после этой вести и не ответит тенью уныния на смерть храбрых. Их кровь ещё больше спаяет наше мужество...

...Нас постигло несчастье и, бесспорно, известие об этом производит на всех тяжёлое впечатление... Но в то же время вполне естественно рядом с этим чувством горя растёт и другое чувство, чувство радости. Мы радуемся открытой правде этого сообщения... Кто не боится сказать правду, как бы горька она ни была, тот силен. Лгут слабые!

И вновь, как прежде, мы ответим
За Русь миллионами голов.
И вновь, как прежде, грудью встретим
И грудью вытесним врагов.

Пока оружия не сложит
Раздутый спесью швабский гном,
Пусть каждый бьётся тем, чем может:
Солдат — штыком, поэт — пером.

...В Главное Управление Генерального Штаба поступает масса телеграфных с оплаченным ответом ходатайств и просьб об освобождении от службы призванных при мобилизации лиц, о предоставлении им отсрочек и других льгот. ГУГШ оповещает через печать, что для принятых на действительную службу существует установленный законом порядок выяснения своих прав, почему просьбы за них родственников подлежат оставлению без рассмотрения.

МАНИФЕСТ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Французы!.. Храбрыми усилиями наших доблестных солдат... под давлением превосходящих неприятельских сил... Для лучшей заботы о благе народа правительственные и общественные учреждения будут временно перенесены из г. Парижа...

ПОЛОЖЕНИЕ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. Из вполне авторитетных источников нам сообщают, что положение в Восточной Пруссии не внушает никаких опасений. Большой урон в двух корпусах объясняется дальностью боя тяжёлых орудий и большой площадью их поражения. На общий ход военных действий в Восточной Пруссии это событие не может оказать существенного влияния.

УСПЕХИ ФРАНЦУЗОВ! Французская армия, достигнув Парижа, перешла в наступление... Французское правительство переехало в Бордо...

НАША БОЛЬШАЯ ПОБЕДА НАД АВСТРИЙЦАМИ... Успехи на фронте в 300 вёрст!

ДУМАЙТЕ ТЕПЕРЬ ЖЕ о музее Второй Отечественной войны!

Наше наступление в глубь Восточной Пруссии продолжается. Постоянный приток новых сил из России создаёт возможность продолжать вторжение... Это и дальше ослабит Западный фронт Германии...

ВОЙНА ДО КОНЦА... Не заключать отдельного мира с Германией — акт взаимного страхования от миролюбия. Нередко в истории неожиданные порывы великодушия губили всё, что было достигнуто ценою... Всемирно-моральный смысл... Дипломатическая клятва на окровавленных мечах... рыцарская верность трёх правительств...

За несколько недель предупреждали Илью Исаковича его друзья-инженеры из Харькова, из Питера и даже с коломенского машиностроительного, чьим представителем на Юго-Востоке России он тоже был по совместительству, — чтоб не упустил он в Ростове встретить и принять блестящего инженера Ободовского, до сих пор известного в русских инженерных кругах только своими книгами на немецком языке: по общей экономике, об устройстве портов, о путях концентрации промышленности, о перспективах торгового общения России с Европой, о колебаниях цен, и это всё помимо его специальных горнопромышленных трудов, интересных только горнякам. Ходили о нём и анекдоты, вроде того, что в Милане, бродя по улицам без гроша, он сообразил, что городское трамвайное движение можно спланировать эффективнее, начертил схему — и выгодно продал магистрату. Ещё вчера Ободовский

был эмигрант, позавчера — государственный преступник и преследуемый революционер, но вот подпал под амнистию трёхсотлетия дома Романовых, ещё по одному делу «освобождён от обвинения, больше не разыскивается», — и третий месяц совершает по инженерным узлам России негласный триумфальный объезд, с особым теплом встречаемый и за яркий талант, и по своему революционному прошлому. Как раз в Донецком бассейне, главной цели Ободовского, его застала война, но он провёл там свою месячную программу и теперь приехал в Ростов-на-Дону, с одной из рекомендаций — познакомиться с Архангородским. Они по телефону уговорились: 20 августа провести вместе первую половину дня, потом обедать у Ильи Исаковича. Встретились утром в его конторе (тоже юго-восточном отделении мельничного товарищества Эрлангер и К°), листали там чертежи, атласы, потом поехали смотреть два любимых ростовских создания Архангородского — новый городской элеватор и парамоновскую мельницу с миллионным годовым оборотом.

С первых же минут они расположились друг ко другу, несмотря на все различия. Илья Исакович был лет на десять старше, полноват, невысок, несловоохотлив, без жестов, очень тщателен в костюме (всё шито у лучшего ростовского портного) и в пригладённых тёмных усах, бровей, причёски. Тридцатидевятилетний высокий светловолосый Ободовский, одетый довольно-таки несообразно, даже как попало, иногда на ходу так резко взмахивал рукой, что пошатывался, весь вид его был ошеломлённый, как был бы он застигнут одним важным делом среди другого важного. Распирала его избыточная энергия. Очень вскоре он так и объявил:

— Вы знаете, я в этой поездке чувствую себя каким-то самоваром со множеством кранов. И благодетель для меня всякий тот, кто открывает один-два крана, выпускает маленько. Если б я ещё остался за границей, меня б от материала разорвало. Этой поездкой я вот разгрузюсь — и кинусь, как Горький говорит, месить гущу жизни. Насточертело мне писать из-за границы поучительные вещи, которых Россия прочесть не может. Ох, извёлся я за границей! Хочу делать русскую жизнь своими руками! А спать согласен — четыре часа в сутки. Я в эту поездку больше и не сплю...

Улыбка у него была свободная, не имеющая что таить. Черты лица при разговоре все были в движеньи, и лоб жил многими переходящими складками. Лёгкий ровный ёжик необременительно покрывал голову.

Действительно, он очень охотно, интересно отвечал, и сам рассказывал, влекомый быстрой, жадной мыслью, которая так и кидалась исследовать все пути чужие, боковые, к нему не относящиеся, и на каждом извие делиться, как это на Западе, а тут не видели.

Постороннему глазу день их показался бы скучным, а для них был наполнен каскадами идей, сведений и предположений. Они проговорили все переезды лошадьми, и все переходы дворами, лестницами и цехами, впереслой с обсуждением тех устройств и операций, которые являлись их глазам. Показывать свою работу понимающему человеку всегда доставляет нам удовлетворение и располагает к нему. Ободовский ничего важного не упускал — и приспособление швейцарских вальцовочных станков, и мойку зерна, и каждое замеченное хвалил в выражениях, точно соразмерных заслуге, не больше. Но сверх того необычайная была у него хватка: любому процессу или проблеме сразу найти место во всей русской экономике и в возможной завтрашней (без войны бы — сегодняшней) торговле с Западом.

Ни биографией, ни жизненным опытом, ни специальностью они нисколько не совпадали и даже не касались — но общий инженерный дух как сильное невидимое крыло поднял их, понёс и сроднил.

Нашлось время и для простых рассказов. Понуждаемый распросами гостя, Архангородский рассказал о себе, что был в первом выпуске мукомолов харьковского Технологического, всего их было пятеро, и каждому выпускнику открывалось занятие высоких выгодных мест. Однако Архангородский не пошёл вверх, а, возмущая своего отца, мелкого маклера, поступил подсобным рабочим на мельницу, лишь через год помощником крупчатника, ещё через два — крупчатником, и считает, что только из этого понял, в чём суть мельниц и что им надо.

Пошли и город посмотреть, верней, захотел гость увидеть то место крутого Таганрогского спуска к Дону, где ростовская управа думала ставить подвижную дорожку для подъёма людей от набережной. А в Москве, говорил Ободовский, сбила война метрополитен: уже электростанцию строили для подземных поездов, и в 15-м году должны были пустить первую линию от Большого театра на Ходынское поле. Вообще, по-сумасшедшему Москва эти годы строится, много поставили.

Своим неизменно спокойным, оценивающим взглядом Илья Исакович всматривался в нервного Ободовского. Насколько жизнь

Ильи Исаковича была ровна, пряма и постоянна, настолько жизнь Ободовского состояла из виражей, взлётов, срывов, и даже дышал он неровно, словно воздуха хотел забрать на десять лёгких, и хотя ругал войну, но в мирной жизни ему как будто не хватало событий, оттого он их и сгущал.

Уж он не поминал своё давнее революционное прошлое, за которое было два суда, тюрьма, ссылка, побег за границу. Больше говорил о близких заграничных впечатлениях: в Америку ездил; изучал в Германии горнозаводскую промышленность; в Австрии работал по рабочему страхованию, и книгу написал (для России, так в Харькове несколько месяцев никак её не выпускают: то шрифта не хватает, то предисловие потеряли). А больше всего был захвачен нынешней поездкой: русские рудники и шахты уж так доступны выпускнику Горного института! — но тогда ему было важно революцию делать, да на сибирский рудник чуть и не угодил в кандалах, — а потом в эмиграции изводился, как попасть в Донецкий бассейн и руки приложить. И сейчас с восторгом рассказывал, что тут можно сделать за десять лет и что за двадцать по единому комплексному плану, каждый шаг соразмеряя с будущим, например — подземную газификацию углей...

— Вообще — кончился штиль! Штиль в России кончился! А при ветре можно плыть и встречно! — с восторгом восклицал Ободовский.

Повсюду его встречали горнопромышленники-сверстники, выпускники того же 902-го года или около, встречали с теплом, пробирающим до горлового сжатия, предлагали и инженерные места, и консультативные посты, и чтение лекций, и даже — директором всего Горного департамента!

— Почему всегда не хватает работников? — ужасался Ободовский. — Чуть толковенького увидят — все хватают, все приманивают. Такая страница, столько сановников, столько чиновников, столько бездельников — а работников нет!!

— И что ж выбрали?

— Да самые блестящие предложения даже и отклонил. Буду пока в Горном лекции читать и разное там, в Питере.

Да не знаешь, где главное, — и студенты, и страхование, и бюро труда, и порты, и торговля, и банки, и технические общества — всё России нужно, везде надо успеть. Говоря в общем виде, две равных задачи у нас и обе надо вытянуть: развитие производительных сил и развитие общественной самостоятельности!

— Да, если б не война.

— Да если б хоть вести они её умели!.. Старая ржавая пружина, чужие руки, долдоны! Они — вёка не понимают! Они т а к у ю страну рассматривают как свою вотчину: захотят — помирятся, захотят — будут воевать, как с Турцией в прошлом столетии, и полагают, что всегда им будет с рук сходить. Да ни один же великий князь такого и слова не знает: *производительные силы!* На Двор — всегда привезут, хватит. Им гораздо важней кажутся юбилеи: в Костроме праздновать, да медаль чеканить...

— Ну впрочем, — лукаво стрельнул Архангородский, — если б не этот юбилей, то ваш самовар так бы и разорвался где-нибудь в Руре.

— Да, правда!.. — смеялся Ободовский. — А с другой стороны русские интеллигенты под экономикой понимают восьмичасовой рабочий день, прибавочную стоимость, ренту. Совсем не понимают конкретной экономики: недра, орошение, транспорт. Через всех пробиваться!.. Но сейчас вот забрезжило национальное примирение, да повернутся все силы к строительству? Нам бы десять лет спокойного развития — не узнать бы ни нашей промышленности, ни нашей деревни. А какой бы торговый договор мы могли с Германией заключить, это изумительно, до чего выгодно, я вам сейчас подробно...

Они уже пришли домой, Илья Исакович позвонил, со второго этажа их увидели и автоматически открыли дверь, так у них устроено было, без швейцара. Квартира их на втором этаже занимала много комнат, все из тёмного коридора. Илья Исакович вёл гостя за десять минут до назначенного срока со смущением и опаской, что жена его Зоя Львовна не будет готова и поставит его в конфузное положение. Была кухарка, и, если ей не мешать, она сготовила бы обед строго вовремя. Но он бы не был достаточно замысловат! — понятно было бы происхождение каждого блюда, из какого продукта оно приготовлено. А уж для знаменитого гостя Зоя Львовна, *Мадам-вулкан*, не могла не постараться сама, для таких-то случаев и держался её неровный кулинарный пыл, всплесками из Молоховца!

Из коридорного излома на кухню, пылая от плиты и захлёбным шёпотом, Зоя Львовна объявила, что обед задержится на полчаса. Пришлось покорному Илье Исаковичу брать из столовой графинчик на поднос, сёмгу, бутерброды и нести в кабинет.

— Да, ещё же и Союз инженеров! — неутомимо встретил его Ободовский. — Как он здесь у вас?

— Да пожалуй хиловат.

— А во многих местах — крепкие оживлённые группы. Я считаю, Союз инженеров мог бы легко стать одной из ведущих сил России. И поважней, и поплодотворней любой политической партии.

— И принять участие в государственном управлении?

— Да не прямо в государственном, собственно власть нам ни к чему, в этом я и сегодня верен Петру Алексеевичу...

— Кому это?

— Кропоткину.

— Вы его знаете?

— Да, близко, по загранице... Деловые умные люди не властвуют, а созидают и преображают, власть — это мёртвая жаба. Но если власть будет мешать развитию страны — ну, может, пришлось бы её и занять.

Смеялся.

Первая рюмка разогрела их, вторая тем более, всё виделось ещё приподнятей и общей, и из глубины кожаного дивана Ободовский вскинутой худой рукой протестовал с присущей ему экспромтностью:

— Да, а почему все ваши отделения зовутся «юго-восточными», хотел бы я понять? Разве вы от России — юго-восток? Вы — юго-запад!

— Юго-запад — это Малороссия. У нас и железная дорога — «юго-восточная».

— Да где вы тогда стоите? Откуда смотрите? Вы тогда России не видите! На Россию надо, батенька, смотреть издали-издали, чуть не с Луны! И тогда вы увидите Северный Кавказ на крайнем юго-западе этого туловища. А всё, что в России есть объёмного, богатого, надежда всего нашего будущего — это С е в е р о - В о с т о к! Не проливы в Средиземное море, это просто тупоумие, а именно северо-восток! Это — от Печоры до Камчатки, весь Север Сибири. Ах, что можно с ним сделать! Пустить по нему кольцевые и диагональные дороги, железные и автомобильные, отопить и высушить тундру. Сколько там можно из недр выгresti, сколько можно посадить, вырастить, построить, сколько людей расселить!

— Да, да! — вспомнил Илья Исакович. — Ведь вы в Пятом году чуть ли не Сибирскую республику делали? Хотели отделиться?

— Не отделиться, — весело отмахнулся Ободовский. — Но от туда начать Россию освобождать.

Вздыхнул Архангородский:

— Всё-таки зябко. Не очень туда хочется. Здесь лучше.

— Надо, чтобы хотелось, Илья Исакович! Ну, не в вашем возрасте, так молодым. К тому идёт мир, что скоро немислимо будет эти пространства держать пустыми, человечество нам не позволит, это получается — собака на хвое. Или используй, или отдай. Настоящее завоевание Сибири — не ермаковское, оно ещё впереди. Центр тяжести России сместится на северо-восток, это — пророчество, этого не переступить. Между прочим, к концу жизни к этому пришёл и Достоевский, бросил свой Константинополь, последняя статья в «Дневнике писателя». Да нет, не морщитесь, у нас и выхода не будет! Вы знаете расчёт Менделеева? — к середине XX века население России будет много больше трёхсот миллионов, а один француз предсказывает нам к 1950 году — триста пятьдесят миллионов!

Маленький, ладный, осторожный Архангородский сидел в круглоухватном поворотном твердокожаном кресле, сложив небольшие руки одну на другую на выступающем животике.

— Это в том случае, Пётр Акимович, если мы не возьмёмся выпускать друг другу кишки.

79

Что наибольшее семейное счастье бывает не с красавицами, что с красавицами, да ещё темпераментными, очень неудобно жить, — знал Илья Исакович, внушали ему разумные люди, и всё-таки он не удержался от соблазна жениться на золотоволосой Зое с её перекидчивыми настроениями, с её «всё или ничего!» — или воротник под самые уши или самое открытое декольте, не понравилось своё лицо на фотографии — зачеркнула, с её несостоявшейся сценой (родные не пустили), с её неоконченной варшавской консерваторией, в доме то чтением из Шиллера в лицах, то музыкальными вечерами, с её страстью к вазам, кольцам, брошам, презрением к игле и пыльной тряпке. Очень, правда, ей шли драгоценности — и заплётом в волосы, и на шею, и на грудь, и на руки, но Илья Исакович при замужестве предварял и потом повторял: «я — инженер, а не купец». (Тем же мельничным строительством занимаясь, он мог изменить направление деятельности, поку-

пать и дома и землю, но чистое инженерство ушло бы от него.) Зато уж образ поведения жены давал мужу полный отход и отдых от его дневных занятий, хотя по квартире среди многих драпировок, занавесей и атласной обивки постороннему как будто чего-то не хватало: то ли света от окон и ламп, то ли тепла от радиаторов, то ли из углов не совсем хорошо выметено или из буфета не чисто смахнуты крошки.

С опозданием, а всё-таки обед поспел. Белей и богаче повседневного накрыт был стол в темноватой, но очень просторной столовой, где можно было и сорок человек рассадить, а сейчас к семи приборам докладывала последнее из огромного старинного буфета статная красивая горничная. (Любя всё красивое, Зоя Львовна держала только красивых горничных, хотя сама ж и ревновала мужа к ним.)

Уже сняв передник, Зоя Львовна обходила комнаты и звала к столу. Да кроме главного гостя, все были свои или почти: сына дома не было, но дочь Соня, её гимназическая подруга Ксения, ещё молодой человек Наум Гальперин, сын известного в Ростове социал-демократа, которого Архангородские в 1905 году прятали у себя, с тех пор и близкое знакомство; наконец — Мадмуазель, соинна гувернантка с малых лет, вполне член семьи.

Наум и Соня не были, не могли быть схожи, но в чём-то и были: густотой обильных чёрных волос (у Наума — не очень расчёсанных), тёмными яркими глазами и боевой живостью в спорах. У них уже раньше было сговорено принципиально и воспитательно поговорить с отцом по поводу его участия в позорной так называемой патриотической манифестации ростовских евреев. Манифестация эта произошла ещё в конце июля и началась в хоральной синагоге, где Илья Исакович показывался лишь по праздникам, по традиции, имел там почётное место на восточной стороне, но верующим не был, и уж на манифестацию легко мог бы не пойти, а — пошёл. Синагогу убрали трёхцветными флагами и портретом царя, началось с богослужения о победе русскому оружию в присутствии военных, держал речь раввин, потом полицеймейстер, пели «Боже, царя», потом тысяча двадцать евреев с флагами и плакатами «Да здравствует великая единая Россия!» и с отдельным отрядом записавшихся добровольцев ещё пошли по улицам, митинговали у памятника Александру Второму, ещё приветствовали градоначальника, слали всеподданнейшую телеграмму царю, и это ещё не все мерзости. Но

вскоре после того уезжала Соня, потом уезжал отец, теперь собрались, а вчера ещё поддали жару тем, что в двух кинематографах стали показывать хронику об этой манифестации, и так это было слащаво, лживо, невыносимо, что нагорело тотчас объясниться с отцом!

С опозданием узнали молодые люди, что за обедом будет гость — известный бывший революционер, теперь отступник. Сперва это сбило их, не отложить ли нападение, но решили, что так и лучше: если в этом анархисте сохранилась капля революционной совести, то он поддержит их, а если он до конца изменник, то тем жарче и интереснее будет бой. Так они сели за стол, ища первейшего повода, чтобы вцепиться, не откладывая позже супа.

Закуски уже были передержаны опозданием, и по телефону (от столовой до кухни по дальности коридора действовал телефон) Зоя Львовна вызвала суп не суп, а как бы борщ, чисто бурачный, в пикантном сочетании с творожными ватрушками полупесочного теста. Хозяйка сидела во главе стола, а гость — рядом с ней, он похвалил её изобретательность, затем осведомил, откуда едет и куда, вот выбирает себе круг обязанностей, — и чем же был не повод? вполне удобный повод! Направив на отступника пристально-угрожающий взгляд, кудлатый Наум напряжённо спросил:

— Но какое производство вы будете развивать? Капиталистическое?

Илья Исакович потемнел, угадывая, что молодые готовят скандал, и хотел тут же загасить дерзость.

Догадался и Ободовский. Ему сегодня после обеда предстояло ещё десять дел, а за обедом он хотел бы поесть спокойно. И самоварные краны его словоизвержений были приготовлены для единомышленников, чтобы дело делать скорей, — а переспаривать малосмыслящую молодёжь ему казалось и старо, и скучно. Но по положению гостя он сделал над собой усилие, не такое уж и большое при безъякорной лёгкости его речи, и ответил подробно, дружелюбно:

— Узнаю этот вопрос, ему уже лет двадцать! На студенческих вечеринках в конце девяностых годов вот это самое мы друг у друга и спрашивали. Тогда в студентах уже прозначился этот раскол — на революционеров и инженеров, разрушать или строить. Казалось и мне, что строить невозможно. Надо было побывать на Западе, чтоб удивиться: как там анархисты чинно живут, аккуратно работают. Кто касался дела, кто сам что-нибудь руками делал, тот

знает: не капиталистическое, не социалистическое, производство только *одно*: то, которое создаёт национальное богатство, общую материальную основу, без чего не может жить ни один народ.

Ну, ласковым многословием не замазать было чёрных горящих глаз Наума:

— Этого «национального богатства» народ при капитализме не видит и не увидит! Оно мимо его рук плывёт — и всё эксплуататорам!

Ободовский легко усмехнулся:

— А — кто такой эксплуататор?

Наум дёрнул плечом:

— По-моему, слишком ясно. В а м стыдно задавать такой вопрос.

— Тому, кто вертится в деле, — не стыдно, молодой человек. Стыдно тому, кто издала судит, руки сложа. Вот сегодня смотрели мы элеватор, где недавно рос один бурьян, и современную мельницу. Мне не передать вам, какие там вложены ум, образование, предусмотрительность, опыт, организация. Это всё вместе — знаете почём стоит? — девяносто процентов будущей прибыли! А труд рабочих, которые камни клали и кирпичи подтаскивали, — десять процентов, и то можно бы кранами заменить. Они свои десять и получили. Но ходят молодые люди, гуманитаристы... вы ведь гуманитарист?

— Какое это имеет значение? Вообще — да.

— Ходят гуманитаристы и разъясняют рабочим, что они получили мало, а вот инженеришка там в очках ни одной железки сам не передвинул, неизвестно, за что ему платят, *подкуп*! А умы и натуры неразвитые легко верят, возбуждаются: свой труд они ценят, а чужой им понять недоступно. Непросвещённый наш народ очень легко возбудить и соблазнить.

— А — Парамонову за что прибыль? — крикнула Соня.

— Не вся и зря, поверьте, я сказал: организация. Не вся зря. А ту, что зря, — ту надо разумными общественными мерами постепенно переключать на другие каналы. А не бомбами отнимать, как мы делали.

Нельзя было откровенней выразить своего ренегатства и капитулянтства. Наум улыбнулся криво-презрительно, переглянулся с Соней.

— Значит, вы навсегда отшатнулись от революционных методов?

Наум и Соня от напряжения и презрения забыли есть. А между тем статная горничная принесла второе, и хозяйка заставила гостя признаться, что он отказывается понять, *что это и из чего*. Она ждала похвал, от похвал светилась, и Ободовский обязан был их высказать, но ещё дожигали отступника четыре чёрно-огненных глаза через стол. И он досказывал им:

— Я бы это иначе назвал. Раньше меня больше всего беспокоило, как *распределять* всё, что без меня готово. А теперь меня больше беспокоит, как создавать. Лучшие головы и руки страны должны идти на это, а распределят головы и послабей. Когда много создано, то даже при ошибках распределения без куска никто не останется.

Наум и Соня сидели рядом, на удлинённой стороне стола, прямо против инженеров. Они переглянулись, фыркнули:

— Создавать!.. Создавать — вам царизм помешает! — и решили этот вопрос покинуть для запасённого главного. Но теперь и Ободовский пожелал знать:

— А вы — какого направления, простите?

Науму пришлось ответить, но скромно, тихо, потому что об этом не кричат:

— Я — социалист-революционер.

Он не пошёл по пути своего отца-меньшевика, находя, что слишком миролюбиво, кисло-квашено.

А Илья Исакович и самые важные вещи и при самом важном подчёркивании никогда не произносил громко. Он и выговоры детям делал лёгким постукиванием ногтя по столу, всегда было слышно. Теперь, смотря на Наума почти ласково, тоже из-под бровей густо-чёрных:

— А спросить: на какие средства ваша партия живёт? Всё-таки явки, квартиры, маскировки, бомбы, переезды, побеги, литература — откуда деньги?

Наум резко отмотнулся головой:

— По-моему, об этом не принято спрашивать... И, по-моему, общественности это известно.

— Вот то-то и оно, — гладко ноготь полировал о скатерть Илья Исакович. — Вас — тысячи. И никто давно не работает. И спрашивать не принято. И вы — не эксплуататоры. А национальный продукт потребляете да потребляете. Мол, в революцию всё окупится.

— Папа!! — воскликнула дочь с призывом возмущения. — Ты можешь ничего для революции не делать, — (она, впрочем, тоже

ничего не делала), — но так говорить о ней — оскорбительно! недостойно!

Она наискосок сидела от отца, как и Наум от Ободовского. Возмущённые взгляды молодых так и стреляли вперекрест.

А между тем по телефону вызвали рыбу, запеченную кусками в больших ракушках, и гость опять должен был удивиться, и Зоя Львовна весело объясняла ему что-то, поигрывая пальцем с платино-алмазным ромбиком на кольце. *Политика* душила её, вот уж что она ненавидела — это политику!

А через весь стол, на другом коротком конце против хозяйки, от той же политики нудилась и Мадмуазель, ещё безнадежнее, потому что ей и вовсе не с кем было слова сказать, только горничную благодарить. Пятнадцать лет назад, когда в парижском свободном кафе с ней познакомился председатель харьковской судебной палаты и повёз в Россию, — она русского совсем не знала, а в первых русских воспитанницах не предполагала французского и укачивала их песенками о том, как кто-то к кому-то забрался в кровать. С тех пор достаточно она узнала и здешний язык, и здешние обычаи, чтоб эти безконечные разговоры о политике и понимать, и ненавидеть. С тех пор устарел альбом её поклонников, она устоялась в добродетели, последний год ходила во дворе к одинокому лотошнику давать ему уроки французского, и уже знала Зоя Львовна о предстоящей их женитьбе, — да вот брали лотошника на войну.

Неподалеку от Мадмуазель и рядом с разгневанной Соней скромно сидела и поблескивала глазками Ксенья. В гимназии они с Соней были украшением своего класса: всегда вместе за первой партой, вместе руки поднимали и не уступали друг другу в пятёрках. Но там очень ясно было, что отвечать: всё, что необходимо знать теперь и навсегда, там прежде сообщалось или в учебнике прочитывалось как несомненное. Сейчас же Ксенья и не хотелось ничего сказать, и страшно было произнести глупость, оплошность. Все за столом умные люди говорили по-разному, и не выбиралось одно правильное из их слов. Но на такие случаи в семье Харитоновых давно приучили степнячку Ксенью не показывать тарашеньем глаз или зевотою, что застольный разговор ей непонятен, скучен, а умело изображать свою заинтересованность и понимание спорностей всего-то весьма малыми средствами: поворотом головы к говорящему; иногда кивком одобрения; улыбкою интереса; удивлённым вскидом бровей. Всё это, не вслушиваясь,

Ксения теперь старательно проделывала, ещё следя, чтобы правильно оперировать видами ложек, вилок и ножей. А думала — о своём.

Её жизнь была упоена более важным, чем можно выразить словами. Каждый день и каждый шаг невидимо, неуклонимо приближал её к тому высшему счастью, для которого только и рождаются на свет. И это ожидаемое счастье её не могло зависеть ни от войны, ни от революции, ни от революционеров, ни от инженеров, — а просто должно было неминуемо наступить.

Илья Исакович как бы не спорил, а размышлял над тарелкой:

— Как вам не терпится этой революции. Конечно, легче кричать и занятней делать революцию, чем устраивать Россию, чёрная работа... Были бы постарше, повидали бы Пятый год и как это всё выглядело...

Нет, так мягко сегодня отец не вывернется, готовился ему разнос:

— Стыдно, папа! Вся интеллигенция — за революцию!

Отец так же рассудительно, тихо:

— А мы — не интеллигенция? Вот мы, инженеры, кто всё главное делает и строит, — мы не интеллигенция? Но разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение. Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а разоряет её, и надолго. И чем кровавей, чем затяжней, чем больше стране за неё платить — тем ближе она к титулу Великой.

— Но и дальше так тоже жить нельзя! — со страданием вскричала Соня. — С этой вонючей монархией — тоже жить нельзя, а она — ни за что доброй волей не уйдёт! Пойди ей объясни, что революции разоряют страну, пусть она уйдёт добровольно!

Кругленько, а твёрденько всё на том же месте скатерти гладил ногтем Илья Исакович:

— Не думайте, что без монархии вам сразу наступит так хорошо. Ещё *такое* наступит!.. Ваш социализм для такой страны, как Россия, ещё долго не пригодится. И пока достаточно б нам либеральной конституции. Не думайте, что республика — это пирог, объединение. Соберутся сто честолюбивых адвокатов — а кто ж ещё говоруны? — и будут друг друга переговаривать. Сам собою народ управлять всё равно никогда не будет.

Горничная, всеми называемая на «вы», разносила сладкое в виде корзиночек. Зоя Львовна рассказывала Ободовскому, как про-

шлым летом ездила с детьми и с мадмуазель путешествовать по Южной Европе.

— Будет! Будет!! — в два голоса крикнули, в два кулака пристукнули уверенные молодые. И с последней чёрно-огненной надеждой ещё глянули на бывшего анархиста: неужели можно так низко и необратимо пасть?

Нет, несогласие в нём всё-таки было, он кажется хотел хозяину возразить, да слушал хозяйку.

Илья же Исакович стал говорить настойчивее, начиная уже волноваться, это сказывалось в малых движениях его бровей и усов:

— «Пусть сильнее грянет буря», да? Это — безответственно! Я вот поставил на юге России двести мельниц, паровых и электрических, а если сильнее грянет буря — сколько из них останутся молоть?.. И что жевать будем? — даже и за этим столом?

Ну, он сам подвёл и время и место для удара! Едва удерживая слёзы обиды, слёзы позора, Соня крикнула с надрывом:

— Оттого ты и манифестировал вместе с раввином свою преданность монархии и градоначальнику, да? Как ты мог? Как тебя хватило? Желаеть, чтоб самодержавие укрепилось?..

Илья Исакович погладил грудь, покрытую салфеткой. Он не давал голосу повыситься или сорваться:

— Пути истории — сложнее, чем вам хочется руки приложить. Страна, где ты живёшь, попала в беду. Так что правильно: пропадай, чёрт с тобой? Или: я тоже хочу тебе помочь, я — твой? Живя в этой стране, надо для себя решить однажды и уже придерживаться: ты действительно ей принадлежишь душой? Или нет? Если нет — можно её разваливать, можно из неё уехать, не имеет разницы... Но если да — надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать...

Прислушалась и Зоя Львовна. Она-то для себя решала этот вопрос так: на еврейскую Пасху ели мацу, а следом, на православную, пекли куличи и красили яйца. Широкая душа должна всё принимать, понимать.

Наум отрезал бы резко, но из уважения, из семейной благодарности не решался. Зато Соня кричала всё, что накопилось:

— Живя в этой стране!.. Живя в Ростове из той милости, что ты — личный почётный гражданин, а кто к образованию не пробился — пусть гниёт в черте оседлости! Назвал дочку Софьей, сына Владимиром — и думаешь, тебя в русские приняли? Смешное, унижительное, рабское положение! — но хотя бы не подчёркивать свое-

го преданного рабства! Гласный городской думы!.. *Какую* ты Россию поддерживаешь в «бед»? *Какую* ты Россию собираешься строить?.. Патриотизм? В этой стране — патриотизм? Он сразу становится погромщиной! Вон, читай, на курсы сестёр милосердия принимают — только христианского вероисповедания! Как будто еврейские девушки будут раненым яд подсыпать! А в ростовском госпитале объявлено: персональная койка «имени Столыпина»! персональная койка «имени градоначальника Зворыкина»! Что за идиотизм? Где же граница смешного? Колоссальный Ростов, с такой образованностью, с твоими мельницами и с твоей думой, одним росчерком пера подчинён наказному атаману тех самых казаков, которые нас нагайками?.. А вы у царского памятника поёте «Боже, царя»?

Илья Исакович даже губы закусил, салфетка вывалилась из-под тугого воротника.

— И всё равно... и всё равно... Надо возвыситься... И уметь видеть в России не только «Союз русского народа», а...

Воздуха не хватало или кольнуло, но в паузу легко поддал Ободовский:

— ...а «Союз русских инженеров», например.

И повёл живыми глазами на молодых.

— Да! — ухватился и упёрся рукою в стол Архангородский. — Союз русских инженеров — это менее важно?

— Чёрная сотня! — кричала Соня, цепляя рукавом неначатую корзинку сладкого, — вот что важно! Чёрной сотне ты кланяться ходил, а не родине! Мне стыдно!!

Всё-таки вывела из себя! Дрожа голосом, двумя ладонями, на рёбра поставленными, Илья Исакович показал:

— С этой стороны — чёрная сотня! С этой стороны — красная сотня! А посередине... — килем корабля ладони сложил, — десяток работников хотят пробиться — нельзя! — Раздвинул и схлопнул ладони: — Раздавят! Расплющат!

Великий князь Николай Николаевич при Александре III был в загоне, даже не числился в свите. При Николае II был выделен из роя великих князей, как и самой природою во плоти, 6 футов 5 дюймов, самый высокий мужчина в династии, — выделялся из

них. Однако положение его не было прочным. Порою он сильно влиял на Государя, покорял его своему влиянию; много говорили, что Манифест 17 октября и созыв Думы вырвал именно Николай Николаевич, угрожая застрелиться в царском кабинете; он не чуждался общественного мнения, не боялся общественных движений, слышал их (хотя общество до последнего времени считало его черносотенцем). Порою же, в глухом противодействии императрице (к чему он обречён был волею сестёр-черногорок, своей второй жены и её сестры), он терял должности, влияние, опоры, сникал в тень. Так в 1908 году был распущен Совет Государственной Обороны, руководимый Николаем Николаевичем (впрочем, не слишком пристально), — и так Николай Николаевич был устранён и от разработки военных планов и от общей деятельности по армии. Затем утерял и командование гвардией, остался просто генералом и командующим Петербургским округом.

Но вот началась война — и министры отговорили Государя от его решимости стать Верховным Главнокомандующим. И — сразу открылось его и всем глазам, что нет в России иной фигуры для этого поста, как Николай Николаевич. И снова великий князь вознёсся.

Но настолько в последний момент это всё было переменено, — уже поздно было менять штат Ставки, подготовленный себе Государем. На свой лад, странный для военного глаза, Государь выбрал начальником штаба Верховного — генерала Янушкевича, известного канцеляриста, хотя и профессора Академии, но профессора по военной администрации: хорошо знал всю организационную, распорядительную и отчетную части, но не имел даже понятия о вождении войск. Такое назначение можно было бы подправить сильным генерал-квартирмейстером, — но и генерал-квартирмейстера предназначил себе Государь — тугодумного, ограниченного, усидчивого Данилова-«чёрного». А теперь, в своей обычной попустительной, неделовой манере, Государь просил великого князя о такой безделице: оставить штаб Верховного таким, как он собран, приятный для Государя.

И как мог Николай Николаевич отказать? Так важно, так нужно, так неизбежно было ему принять именно пост Верховного в этой войне, давно желанной им по ненависти к Германии. Не хотелось ставить лишних помех, да и искренно — привык Николай Николаевич рассматривать волю Помазанника как священную, он воспитан был так: хоть младший племянник, но его властитель,

без этого нет монархии как принципа. Предвидя и рисуя картину назначения себя Верховным, Николай Николаевич предвкушал поразить Россию, армию и Двор назначением в начальники штаба близкого себе генерала Палицына, а генерал-квартирмейстером — скромного, маловзрачного генерала Алексеева, на ясный военный смысл которого великий князь очень полагался. Но вот — пришлось взять чужой штат, как и чужой план войны, не при его участии составленный.

Однако поразил его, ободрил, обаял дивный небесный знак. Прибыв со Ставкой в Барановичи, великий князь получил внезапное предзнаменование, что его Верховное главнокомандование будет счастливо и, стало быть, Россия одержит победу. Это предзнаменование было послано ему через исключительное, почти невозможное и потому мистическое совпадение: в железнодорожном городке под Барановичами, куда ещё из Петербурга определили Ставку, церковка оказалась памяти святого Николая — но не Николая Мирликийского, престолами которого уставлена вся Русь, тут бы не было ничего удивительного, а Николая Кочана, Христа ради юродивого, новгородского чудотворца, с памятью 27 июля (почти так и приехали!), в день тезоименитства Верховного Главнокомандующего, — и, стало быть, его небесного покровителя. Такой церкви в России почти не найти. Совпадение не могло быть случайным! Тут было мистическое указание!

А чтобы полно и правильно сей небесный знак прочесть, очевидно не надо было великому князю и удаляться, надолго отлучаться от этого благоприятно-рокового места. Не метаться по фронтам, по дивизиям и полкам, но именно здесь находиться, где все линии перекрещиваются, и именно здесь определится им победа!

А постоянное расположение приводило к постоянному удобному распорядку дел, размеренной чередности обязанностей и досуга. Два поезда Ставки остановились у края леса, поезд Верховного — почти в лесу. Небольшой домик генерал-квартирмейстерской части, где велись все оперативно-стратегические разборы и рассуждения, был выбран прямо против вагона Верховного, перейти двадцать шагов. Почивал великий князь у себя в вагоне. Если приходили ночью какие телеграммы или сведения, ими Верховного не беспокоили, а когда он вставал, всегда в 9 утра, то после умывания и молитвы бумаги эти приносили, и за утренним чаем Верховный знакомился с ними. После чая приходил на доклад и начальник

штаба. Два часа размышлений и рассуждений по оперативным вопросам — и шли к полудню завтракать. Потом ложился великий князь отдохнуть, затем катался на автомобиле (не быстрее двадцати пяти вёрст в час, опасаясь несчастного случая), тут подходило время второго чая, после которого уже не бывало серьёзных занятий, а второстепенное разное, дела со свитой, частные разговоры. Перед обедом садился великий князь у себя в вагоне писать ежедневное письмо жене в Киев — подробно обо всём, происшедшем сегодня: без душевного обмена с родным человеком он жить не мог, и как раз его бы он утрачивал, езжая по воинским частям; постоянным же местоположением Верховного достигалась регулярность получения писем от жены. В половине восьмого вечера, по петербургски, был общий обед штабных в вагоне-столовой, всегда с водкою и винами, ещё позже — третий, необязательный чай.

По всенощным и праздничным литургиям Верховный посещал свою церковь (там хор держался из отборных певцов придворной капеллы и Казанского собора). У себя же наедине он всегда был с Богом: не садился за трапезу, не помолясь, и на ночь молился подолгу, на коленях, с земными поклонами. Он очень углублялся в молитвы, уверенный в действенной помощи их.

Великий князь — жаждал, жаждал и жаждал скорых и решительных побед. И — по воинственности своей рыцарской натуры. И — по ненависти к германскому милитаризму. И — по особым обязательствам относительно прекрасной, дружественной Франции, которые имела не только Россия в целом, но и отдельно великий князь: со времён его позапрошлогодней блистательной туда поездки — там любили его, там верили в него, там всегда предвосхищали его назначение Верховным. И Франция не должна была быть оставлена в беде! И вот почему великий князь распорядился о немедленном энергичном наступлении двух русских армий в Восточную Пруссию — и ещё решительно ускорял.

Однако победы не приходили. Даже на австрийском фронте не складывалось хорошо. В Пруссии же, после Гумбинена, никак не наступал второй завершающий успех: не сбрасывали неприятеля ни в море, ни за Вислу. Сперва Самсонов брал города, потом пресекалось. Потом пришло сведение о смещении Артамонова (слишком легко и поспешно; так снимать корпусных — не навоюешься). Потом вообще смолкло. 16-го приезжал в Барановичи Жилинский, жаловался, что Самсонов произвольно снял связь и теперь ничего не известно. И полковник Воротынцев, посланный туда, почему-то

не возвращался. Такие затяжные молчанья не бывают к хорошему. 17-го опять ничего не узналось — за целый долгий день ниоткуда никакого сведения. В ночь на 18-е великого князя разбудили — пришла странная, возбуждающая, ненадёжная телеграмма: шифрованная принятым шифром, но обычным гражданским телеграфом, и в обход штаба фронта: «После пятидневных боёв в районе Найденбург–Хохенштейн–Бишофсбург большая часть Второй армии уничтожена. Командующий застрелился. Остатки армии бегут через русскую границу». И подпись — начальника связи армии, всего лишь. Почему не старше? Почему не начальник штаба? Мистификация? Ошибка перепуганного офицера? Почему молчат Жилинский-Орановский, им-то должно быть известно больше?

Но всё, что Жилинский-Орановский донесли за 18-е августа, было: круговая во всём виноватость Самсонова и приключенческая история, как вышел из окружения армейский штаб. «О положении корпусов Второй армии сведений нет. Можно предполагать, что 1-й корпус ведёт бой у Найденбурга... Отдельные люди 15-го корпуса толпами прибывают в Остроленку...»

Мало, чтобы понять. Достаточно, чтобы потерять покой.

Всё же Данилов и Янушкевич (действительно весьма приятные люди) согласно убеждали великого князя, что ещё нет неотвратно худого, что положение может счастливым образом и вывернуться. Но сжималось сердце Верховного: если о доступных близких корпусах можно предполагать, то что же о дальних? Он ощутил, что пришла катастрофа, и силами человеческими тут не вмешаться, а только Небо может спасти. И пошёл к рядовой вечерне, а потом у себя в вагоне долго стоял на узких твёрдых коленях, даже на коленях высокий, и при зажжённых лампадах молился.

Собственно о гибели армии не было формального, ответственного, письменного донесения от Жилинского — и значит, не было основания формально письменно доносить Государю. Но и распорядок жизни своей только механически выполнял великий князь в эти сутки: тополино высокий и ровный (а ещё как он сидел на крупных, выводных из Англии гунтерах!), не поникая, не сутулясь, проходил по территории Ставки, гулял по садику, разбитому вдоль поезда. Ушло с лица свежее боевое выражение, так молодящее его всегда, и проступило, что он уже под шестьдесят. С вежливой сдержанностью он разговаривал с чинами свиты, с чинами штаба, однако по принятой в Ставке секретности нигде, кроме домика квартирмейстерской части, ничего не говорилось о самих военных операциях. Особенно

важно было таиться от представителей союзников, живших тут же в поезде и обедавших рядом, — француза, англичанина, бельгийца, серба, черногорца, чтоб они не узнали того худого о России, о чём догадываться никак им не нужно, пока не будет нужным признано. И хотя зловещие слухи шепотком передавались, и лица мрачнели, — но следовали все образцу великого князя, и внешняя жизнь Ставки по виду текла размеренно, и адъютант кавалергард граф Менгден между вагоном великого князя и домом генерал-квартирмейстерства всё так же пронзительно свистел, призывая, посылая голубей, и дрессировал своего барсука.

А 19-го уже не только Государю пришлось доносить о катастрофе, но признаться в чём-то и для газет, ибо проникло в газеты.

В сумрачную сжатость погрузился великий князь, не в силах предугадать, как именно отзовется на происшедшее Государь, легко переменный в своих благосклонностях. От него не бывало поспешных ответов, и надо было ждать на вторые-третьи сутки. Уж молодая императрица, и вся распутинская партия, и Сухомлинов непременно постараются неудачу в Пруссии обратить против великого князя, и даже ссадить его, не давая выправиться в последующем. Из Петербурга сливаются эти расстояния — Найденбург, или Белосток, или Барановичи, и нет труда убедить, что всё загубил Верховный.

Но ещё угнетательней, чем ожиданье монаршего ответа, пустишила великого князя его растерянная неосведомлённость в том событии, за которое ждала его кара. Так и оставалось скрыто, непонятно: что же, как же, до какой же степени худо произошло? Жилинский и сам был силен в придворных кругах, и не мог великий князь вызвать его скорый и полный ответ, как от другого подчинённого. Он может быть знал, но скрывал, а отвечал за всё — Верховный.

В ночь на 20-е Ставка снова требовала от Северо-Западного фронта подробностей, но Орановский заявил, что сам не может добиться и понять.

Все дни до последнего стоял, при холодных ночах, ровный и даже тяжёлый дневной зной. А с утра 20-го не разгорался полный солнечный свет, сразу был он вялый, тускловатый. И час от часу незаметно небо запеленивалось. Ниоткуда не шло облаков, и ветерок дул самый лёгкий, однако прохладный. А вот уже запад посерел. И к полудню всё застлало пасмурью.

Великий князь старался и при тяжёлом сердце держаться распорядка. В назначенное время оделся для прогулки, сегодня верхо-

вой, вышел из вагона. Тут увидел начальника военных сообщений, медлительного добряка, собирателя этикеток от сигар. Вспомнил, что у него есть этикетки нового сорта, вернулся за этикетками.

А выходя из вагона вновь, увидел, как прямо из лесу быстрым шагом шёл сюда — полковник Воротынцев? Да, Воротынцев! Да не во сне ли? Жив, цел? Он-то и нужен был больше всех сейчас!

Воротынцев ходко шёл и оглядывался, как бы желая обогнать кого-то и подойти первым. Но никого не было — лишь генерал, обрадованный этикетками, да адъютант рядом, да поодаль генерал для поручений. Воротынцев был в кителе, налегке, будто здесь, при штабе, всё время. Он шагал неотвычным шагом строевого офицера, но и с какой-то развалкой, переходной к хромоте. Одно плечо у него заметно возвышалось над другим, на челюсти — запекшийся струп, и щёки побриты не чисто.

— Воротынцев! — не доедая до его подхода и доклада, первый обрадованно воскликнул великий князь. — Вы вернулись?! А почему мне никто не доложил?

Воротынцев и козырнул не со штабным изяществом, а той же перевалкой, будто рука тяжелей обычного:

— Ваше Императорское Высочество! Я — только что, вот — десять минут...

(Он не только что, он несколько уже часов сидел в лесу. Там он оставил и Благодарёва с шинелью и сумкой. Зная расписание в Ставке, он нарочно соорудил так появиться, чтоб миновать и Янушкевича, и Данилова, сразу на глаза великому князю.)

— Вы ранены? — броским движением выразительных бровей угадывал великий князь повязку под кителем на плече.

— Да пустяки.

И — жёг Верховного жадными глазами.

Сильно продолговатое лицо Николая Николаевича вот уже и омолодилось вновь, хотя волнением и тревогой. Громко и требовательно он спрашивал:

— Ну! Что же там? Что??

Воротынцев стоял закинувшись, в строевой докладной позе, но глазами повёл на адъютанта и в другую сторону на подходящего генерала. Сейчас тут все слетятся, только б успеть до них!

— Ваше Императорское Высочество! Я прошу выслушать меня конфиденциально.

— Да, конечно! — решительно кивнул великий князь, тут же резко и повернулся. Как пристали ему эти движения, собственные

его! И длиннющие тонкие ноги в сапогах он уже юношески взносил на вагонные ступеньки, оттуда распорядясь адъютанту никого не допускать.

Вагон был внутри перестроен от обычного. Они вошли в кабинет от окон до окон, с восточным ковром во весь пол, письменным столом, медвежьей шкурой на стене, скрещенным дарственным оружием, несколькими иконами и портретом Государя.

Верховный Главнокомандующий всех войск великой России — один на один сидел через стол от Воротынцева, доступный убеждению, без помех от советчиков, жадный к его единственным новостям! Во всю военную службу Воротынцева такого соотношения никогда не бывало — и никогда не будет! Это был миг, чрезмерный для повторения: разумному боевому офицеру повлиять на ход всей военной машины! Очевидно, к этому вершинному мигу и вела вся его предыдущая служба. Мысли его были собраны, нацелены, напряжены, он мертво проспал две ночи с захватом прошлого дня, тело ещё ломило, горело, а голова ясная. От счастливо начала беседы ещё утроилась его сообразительность.

И он начал говорить свободным потоком, нисколько не робея перед августейшим собеседником (да и никогда ни перед кем). Сжато, плотно он передавал, как армейская операция была не подготовлена; как погонялась и дёргалась; как представлялась Самсонову и как шла на самом деле; что, очевидно, делали немцы; какие главные возможности были упущены и какие свершились. Все дни окружения и потом среди вышедших Воротынцев собирал и спрашивал, сколько успевал, — и всё это насочилось в ту ясную схему, с которой он девять дней назад ещё такой лёгкий вошёл к Самсонову. Но и больше, и выше этого смысла Воротынцев внёс в вагон, в кабинет, — он то сожигающее дыхание битвы внёс, какого набрался в переклоненьях боя под Уздау и в безнадежной защите Найденбурга с ротами эстляндцев. Он внёс сюда ту страсть, которая не воспламеняется от одной убежденности и правоты, но от собственного перестрадания. Он с тем зрением говорил, какого быть не могло, кто не повидал мальчишеской радости Ярослава ко встреченным русским:

— А вы — не окружены?? А сзади вас там, дальше, — свои? — и Арсения,дохнувшего мехом кузнечным:

— Дальше-то — Расея? Ух, ба-атюшки, а мы думали ног не вытянем, — и, как осевши пустым мешком, воткнул он в землю ненужный дальше скотобойный нож.

Всё, что Верховный же и возбудил своим отдалённым маневрением, не видя, не ощущая, — то Воротынцев прикатил ему обратно шаром чугуном и поставил до полгруды.

Сейчас едва ли не каждый полк он брался расписать по батальонам, кого какая постигла судьба, — и арьергардные жертвы и группы вышедших, кого знал. Артиллерия вся погибла и не меньше тысяч семидесяти осталось в кольце, но тому ещё удивляться надо, что в ы ш л о тысяч от десяти до пятнадцати, без генеральского руководства.

И ничего этого Верховный ещё не знает? Ни о чём этом не донёс ему штаб Северо-Западного?

Худое, аристократическое лицо Верховного с гравированными чертами обострилось как в охоте. Он почти не перебивал, не переспрашивал (да Воротынцев гладко и лил, без трещин), несколько раз хватал механическое перо, но так ничего и не записал. Он кусал и курил сигару в азарте, как будто это она, ещё длинная, не допускала его добраться до всей правды. Он мало сказать сочувствовал — он втягивался, сам превращался в несчастного участника несчастного этого сражения.

И Воротынцев рос надеждой, что не зря, не балаболкой он туда скакал, в это пекло, и болтался там неприкаянно, — что сейчас окупится, сейчас он подымет тяжёлую длань великого князя и опустит на все эти деревянные лбы. Воротынцев и всегда был свободен от избытка почтительности, а тем более теперь. О корпусных командирах он сейчас говорил как о дурных взводных, которых и сам-то мог отлучить.

И вдруг на Артамонове, кем возмущался злее всего, почувствовал в глазах Верховного — сопротивление, холодок. И при всей непохожести лиц вспомнил стенку глаз Артамонова.

Да, история с приказом отходить от Узда непонятная... Но мог напутать и младший офицер.

Имел слабость великий князь привыкать к сослуживцам. Не сходно с Государем, с застенчивой улыбкой задвигавшим в опалу вчерашнего фаворита, великий князь гордился рыцарской верностью: он всегда защищал тех, кого однажды полюбил.

Даже если — долдона...

Для зримости, для ошупи Воротынцев перечислял все славные полки, обманом сокрушённые под Уздау, среди них — Енисейский, с которым великий князь недавно шагал на петергофском параде!.. И услышал:

— Конечно. Будет строжайшее расследование. Но — храбрый генерал. И верующий человек.

И куда живой интерес? и куда готовность сомыслить? — всё восклубилось, воскурилось в достойную великокняжескую величавость.

И замолчал Воротынцев. Если даже приказ отступить от Уздау — безделица. Если воротить солдат, после часов обстрела самих поднявшихся в атаку, и полноценному корпусу отвалиться на 40 вёрст, и погубить армию — и всё это не предательство, и за это не рвать генеральских погонов, не ссекать головы, — зачем тогда армию эту обмундировывать? Зачем начинать войну?

Да вагон Верховного должен был вздыбиться от рассказа Воротынцева! да весь неподвижный поезд его — тряхнуться и сойти с рельсов! Но — непокачливо стоял, и недопитый чай в стакане нисколько не колебнулся.

Длань Верховного не поднялась для расправы и для наставы. А разгон Воротынцева с размаха прошёл в пустоту. Он разогнулся, накопля инерцию сдвинуть тяжёлое, большое, всем телом веря, как сейчас толкнёт, — а тяжёлое оказалось ещё и гладким, и выставленные руки скользнули по закруглённой поверхности.

Он посягнул толкать — не поддающееся толчку.

Как быстро, много говорил — и хватало дыхания. А сейчас потребовалось отдышаться.

Но и Верховный сидел угнетённо, свеса плечи, длинные руки, потеряв военную статью.

— Я благодарю вас, полковник. Ваш доклад не будет забыт. Завтра сюда приедет генерал Жилинский, мы в оперативном отделе устроим разбор. И вы — будете присутствовать. Долóжите.

Надежда расправлялась. Воротынцев близко через стол смотрел на худого, постаревшего голубоглазого полководца с лицом, удлинённым до лошадиности. Может быть, завтра всё просветится? приобретёт ход? В конце концов, не в Артамонове дело. Дело — в уроках.

Великий князь сделал движенье-другое, что аудиенция кончена. Воротынцев поднялся, спросил разрешенья идти. Он сидел больше полутора часов, сам не заметил.

Кривая черта горя так и рубцевалась у крупного рта Николая Николаевича. И Воротынцев мог считать свой доклад бесполезным.

Тут постучали. Адъютант Дерфельден с поспешностью внёс запечатанную телеграмму. С высоты конногвардейского роста благоговейно приклонился, подавая:

— От Государя!

И, пятась, отступал.

Верховный поднялся, читал стоя.

А Воротынцева покинула ясность, он забыл, что нет ему права присутствовать при чтении высочайшей телеграммы. Он сбился, ему что-то недоговорено казалось.

И в уменьшенном дневном свете (всё пасмурнело на улице) увидел, как засветлело, успокоилось и помолодело рыцарское лицо великого князя, и сгладился, весь ушёл тот кривой рубец горя, который только что выдолбил своим рассказом Воротынцев.

Верховный протянул вслед Дерфельдену свою предлинную руку:

— Ротмистр! Позовите ко мне протопресвитера, он только что прошёл мимо.

Вся статья, вся выправка ещё пружинили в этом сильном жилистом воине. Он торжественно стоял перед портретом Государя, полномочием небес властителя России.

Воротынцев приходился великому князю вполголовы. Ещё раз козырнул о разрешеньи идти. Но торжественно ответил тот, с ударением на избранных словах и уже весь заблестывая:

— Нет, полковник, раз уж вы здесь, вы заслужили после вашего тяжкого рассказа первый получить и бальзам. Послушайте, какая поддержка нам! Как милостиво отвечает Государь на моё донесение о катастрофе!

И он прочёл освобождённым голосом, любуясь каждым словом текста более, чем если бы составил сам:

— «Дорогой Николаша! Вместе с тобой глубоко скорблю о гибели доблестных русских воинов. Но подчинимся Божьей воле. Претерпевый до конца спасен будет. Твой Ника». ...Претерпевый до конца — спасен будет! — зачарованно повторял военный, стройный, вытянутый, как к докладу, выговаривая по-церковному: спасен, не спасён, и ещё что-то новое высматривая, выслушивая в этих фразах.

Постучал и вошёл протопресвитер с умным, мягким лицом.

— Слушайте, отец Георгий! Слушайте, как добр Государь, какую радость он нам посылает! «Дорогой Николаша! Вместе с тобой глубоко скорблю о гибели доблестных русских воинов! Но подчинимся Божьей воле! Претерпевый до конца спасен будет! Твой Ника!»

Протопресвитер с наиместным выражением принял услышанное, перекрестился на образ.

— И ещё отдельно: сообщается нам, что повелел Государь немедленно перевезти в Ставку из Троице-Сергиевской лавры икону «Явление Божией Матери преподобному Сергию». Какая радость!

— Это — славная весть, Ваше Императорское Высочество! — подтвердил протопресвитер достойным наклоном. — Сия нерядовая икона написана на доске гробницы преподобного Сергия. Она третий век сопровождает наши войска в походах. Она была с царём Алексеем Михайловичем в его литовском походе. И с Петром Великим при Полтаве. И с Александром Благословенным в европейском походе. И... при Ставке Главнокомандующего в Японскую войну.

— Какая радость! Это — знаменье милости Божьей! — длинными шагами, два-два по кабинету, нервно ходил всколыханный Верховный. — От иконы придёт нам содействие Божьей Матери!

МОЛИТВОЙ КВАШНИ НЕ ЗАМЕСИШЬ

ДОКУМЕНТЫ — 9

(Германская листовка с аэроплана)

РУССКИЕ СОЛДАТЫ!

ОТ ВАС ВСЁ СКРЫВАЮТ.

ВТОРАЯ РУССКАЯ АРМИЯ РАЗБИТА!

...300 пушек, весь обоз, 93 тысячи человек взяты в плен...

Военнопленные очень довольны обращением и не желают вернуться в Россию, им у нас очень хорошо живётся.

Б е л ь г и я разбита. Под П а р и ж е м стоят наши войска...

81

Так быстро сдвинулось в осень — не верилось, что ещё третьего дня пылало лето и тяготила плечи шинель. А сейчас в ней было как раз. По сосновому чищенному лесу свободно носился осенний ветер, с перемененно-хмурого неба порой срывался мелкий дождь. Хорошо, что ползать по болотам досталось не в такую погоду.

Оба полковника — Воротынцев и Свечин, приподняли воротники шинелей, засунули по руке в карман, за полу и так ходили, полувольно, между сосен, меж их безветвенных высоких голоменей, тревожимых ветром только в ветвистых вершинах.

— Нет! — проходящими полными сутками, да уже четвёртые сутки от прорыва, не мог успокоиться, подвижно водил здоровым плечом Воротынцев. — Высказать один раз, но всё, что думаешь, — это наслаждение! Это — долг! Один раз высказаться от души, а там хоть помереть.

Голова Свечина вся по-крупному была сделана, что уши, что нос, что рот. Глаза — яркие, чёрные, для страсти. А сам — невозмутим, убеждаем:

— В с е г о, что думаешь, — всё равно не скажешь. Неужели ты не понимаешь, что Жилинский не мог бы так отчаянно действовать сам? Вся операция была скомандована сверху — и ты не можешь притвориться, что не знаешь...

— Могу и не знать!

— И если гнали так безумно, ещё неготовых, и не давали днёвок, и не давали осмотреться, — то это гнал по меньшей мере великий князь. Но — и *выше*. Что ж ты думаешь, весь этот слех и просчёты — только от тупости Жилинского и Данилова? Да несомненно было высочайше одобрено: а ну, швырните неготовые корпуса! Русская широта — помочь благородным союзникам, не жалея самих себя. Париж стоит мессы. Да иначе о нас в Европе плохо подумают. Так с чем же ты споришь?

— Нет! *Этой* мессы для меня Париж не стоит! — вскидывались подвижные глаза Воротынцева и выразительно горько подрагивали губы, открытые под усами. — Десятки тысяч наших пленных поведут по немецким городам — и немецкие толпы будут ликовать. *Этой* мессы я не даю, я так не служу! Никогда в истории такое не вознаграждается. Как можно так класть своих без расчёту?

Свечин чуть выпыхивал толстыми губами:

— Значит, все будут понимать, о ком и о чём речь, а ты будешь громить Жилинского. Тоже, конечно, фигура не малая. Но не далеко ты разгонишься. Великий князь отлично поймёт намёк. Он-то и тянулся понравиться союзникам, он-то и восклицал, что не оставит Францию.

— Гнал — великий князь, понимаю. Но реальные ошибки делал не он, а Жилинский. Ни ума, ни сочувствия к войскам! Положим все животы, кроме собственных. Мне нужно разгромить саму идею, для этого достаточно Жилинского. И Артамонова. Оттого что этот баран продвинулся от женитьбы на Бобриковой — так пусть ложится 40 тысяч русских?

— Но приказ великого князя был, если ты помнишь, — хладнокровно отводил Свечин, — переступить границу 1 августа. А Жилинский просил отсрочить. Он и сам считал наступление обречённым.

— Так нельзя вести такое! — взгорелись светло-серые глаза Воротынцева. — Так надо иметь мужество — доложить! отказаться!

— Ну, много ты... ну, много ты... — едва не смеялся Свечин.

Вчера к вечеру, после Верховного, Воротынцев сделал доклад Янушкевичу и Данилову, но самый поверхностный, да они подробного и не добивались, им бы желательно и совсем никакого: мёртвые и пленные не докладывают. А потом уже до ночи выговаривался Свечину, и Свечин ему тоже добавлял, что видно из Ставки. И сегодня с утра, в последние минуты перед совещанием, шло у них опять о том же.

— А дурацкую блокаду пустого Кёнигсберга — кто придумал? Жилинский. На что ушла Первая армия! Даже в этих пределах насколько можно было успеть иначе! Про великого князя я понимаю, да. И Артамоновым его не пронять. Но всё-таки он воин в душе. Не может он не возмутиться тем, что наделали в подробностях.

В оперативном отделении да и во всей генерал-квартирмейстерской части, да и во всей Ставке был Свечин для Воротын-

цева единственный доверенный человек, как и он для Свечина. А дроблёное доверие — не доверие, уж если доверять, то без перегородок.

— Августейший Дылда, — отпустил Свечин. — И откуда это у всех убеждение, что он может всё понять, в руки взять и всё спасти? Оттого, что всю Россию объезжал и строго установил конницу? Ну конечно, рост, вид, голос... А в голове — своего ничего, куда подует...

— Ну, Янушкевича, бархатную тряпку! — ни на одной войне никогда, ни взводом! Ну, тупицу-гения Данилова, как их не промести? Кем Ставку набили? — со страданием вскрикивал Воротынцев. — С кем начинаем войну?

Однако всею нетерпеливой, больной горячностью Воротынцева Свечин был несколько не увлечён и не сбит.

— И никак великому князю не выгодно такое разоблачение, потому что оно перекинется на него. И когда ты видел у нас, чтобы кто-то кого-то снизу вверх переубедил горячей речью? По частным поводам может иметь успех дельный аргумент, дельная бумажка, — но в общем виде? Чтобы всё сразу перетрясти и всех пронять? Да ни за что. Это — омут. Дегтярный. Даже круги не пойдут. Смотри, Егорий, через час делаешь жизненный выбор. Неизбежно тебе выступить, конечно, но выступление может быть разное.

— Наверно, ты прав, Андреич, — с той же больной улыбкой неуступки на похудевшем, обострённо-оживлённом лице, с тёмно-багровым пятном сквозь бороду, отвечал Воротынцев. — Да только если б ты сейчас всё испытал сам, то... Со всем благоразумием, и твоим и моим вместе... Нет, это состояние бывает, наверно, в жизни раз или два. Ничего не хочу, хочу только правду им вылепить! Я на прорыве дал себе клятву, что если только выйду живым...

— Ну и сам себя только погубишь.

— А что — меня? — криво усмехнулся Воротынцев. Ещё виделся ему так легко утешенный великий князь. — Претерпевый до конца — спасен будет!.. Дальше полка не сошлют. А полком я неплохо командовал.

Свечин был на два года моложе, но по характеру его, но по расчётливости никак бы этого не заметить:

— Да. Если б над каждым твоим шагом не было главномешающих. А будут тебе присылать дурацкие приказы — и ты будешь вы-

полнять и платить солдатами. И телеграммой полковнику Свечину будешь умолять: братец, выручи, защити! Нет, Егорий, *делают* — делатели, а не мятежники. Незаметно, тихо — а делают. Вот я за день исправлю хоть два глупых приказа в лучшую сторону, в одном месте оправдаю храброго командира полка, в другом — отведу сапёрный батальон от ненужной смерти, и я прожил день не зря. А сидишь рядом ты — ещё два приказа исправишь, уже четыре! Безмысленно с властями воевать, надо их аккуратно направлять. Нигде ты не можешь быть полезней, чем здесь. Тебе так невероятно повезло: один комментарий при разборе манёвров — великий князь запомнил навсегда, и вот ты в Ставке, а выгонят — сюда уже больше не подынешься.

Да, так устанавливается личная симпатическая связь. Воротынцев со взгляда запомнился, полюбился великому князю — но и сам не забывал теперь своей благодарности к нему. Во всей этой истории он хотел бы отъединять великого князя от дегтярного омута.

А трезвому, насмешливому Свечину всё было бесспорно ясно:

— Ну вот, напросился, ездил, — и зачем ты ездил? Много исправил? Очень это было нужно?

— Затем и ездил. Чтоб не пропало, — смутно отговаривался Воротынцев.

Действительно, рвался ехать — казалось так верно, а сейчас отсюда оправдать поездку было совершенно нечем.

— Ты б убедил меня, Андреич, и я бы смолчал, если б это был чисто военный вопрос, ошибки тактики. Да, можно было бы подправить в других местах, на других делах. Но это — уже не военный вопрос, понимаешь? Это — *чувствие* у них такое, — и его терпеть нельзя. Я потому и кинулся в операцию, что думал — судьба армии и победа решается в низах, на деле. Но когда на верхах так *чувствуют* — это уже за пределами тактики и стратегии. Претерпевый до конца! Они берутся претерпеть все *н а ш и* страдания — и до конца! — и даже не выезжая на передовые позиции. Они готовы претерпеть ещё три-четыре-пять таких окружений, и тогда Господь их спасёт!

Он — не выговаривал до последнего. Ни для Свечина, ни даже для себя. Но не прощал он — самому царю, да! Вот этого лёгкого самоутешения — не прощал.

— Всё равно ничему не поможешь, — как сквозь зубы насвистывал неуклонный Свечин. — Всё останется так же, а ты голову

разобьёшь. Вообще, мятеж, погорячу, часто кажется самым прямым и правдивым выходом. А проходит время — и оказывается, что терпеливая линия была верней. Я тебе дело говорю. Сиди не лихо, работай тихо.

— Нет, уже не могу я тихо сидеть! — нисколько не охлаждался Воротынцев. — Вот — стрела в груди, как её не вытянуть?..

Остановился, приобернулся, придержал Свечина за грудь, за портулею на груди:

— И даже знаешь... Вот знаешь?.. Тебе дико покажется, скажу. Я там ночью ходил на полянке часовым, под звёздами, моя команда спала. И вдруг стал — как не понимать: а почему мы здесь? Не на полянке этой, не в окружении здесь, а... вообще на этой войне?..

— Как это?

— Вот вдруг тоскливое ощущение всех нас — не на месте... Заблудились. Не то делаем.

Подвышенное под кителем раненое плечо его поднялось как для жалобы.

— Я сам себя понять не мог: какое такое голово... разломье? Потом думал так: мы всю жизнь учимся как будто только воевать, а на самом деле не просто же воевать, а как верней послужить России? Приходит война — мы принимаем её как жребий, только б знания применить, кидаемся. Но выгода России может не совпадать с честью нашего мундира. Ну подумай, ведь последняя неизбежная и всем понятная война была — Крымская. А с тех пор... У тебя никогда так?

— Как же мы можем послужить, если не войной?

— Вот я и задумался! Одной силой стоящей армии! — вот как. И я вспомнил Столыпина...

Ну, это уже до безсвязности. Свечин поморщил выкатистый лоб и возвратил друга на землю:

— Втянули бы нас. Напали бы, как сейчас напали. Да и напали за мобилизацию. Это надо бы уступать и уступать, и всё равно Германии не насытишь.

— Нисколько не уступать!

— Ну да!.. Это ты забредил. Тебя просто самсоновская битва трахнула. Но вся она в истории этой войны будет, поверь, не больше чем эпизод. А у них — уже и сейчас не твоей Пруссией и не твоим Самсоновым головы заняты. Они все сейчас только ждут телеграммы о взятии Львова. Хотя, — вёл и вёл с безулыбчивой рас-

судительностью, и чёрно-яркие глаза его глядели жутковато, — знают, что Рузский, растяпа, пошёл безопасно южнее города, выпуская из клещей 600 тысяч австрийцев, две армии, Ауфенберга и Данкля, не уничтожает, а вежливо выталкивает, тоже доктрина... И этим Львовом прикроют всю твою самсоновскую, и будут ордена получать. И зазвонят по всей Руси колокола в праздник нашей глупости, что схватили пустой город.

Но никакого австрийского фронта, ничего, кроме кольца под Найденбургом, не доступен был понять Воротынцев и только накалялся:

— Так тем более! Я им сейчас сказану!

— Ну, боюсь за тебя, — крутил большой головой Свечин. — Ты на совещании хоть на меня поглядывай — и оседай. Пойми: сегодня решается вся твоя служба, сведёшь её в ничто и сам будешь не рад.

Они уже возвращались, выходили на край леса, к посёлку и поездам. (Ставка была поставлена на колёса и в лес, чтоб соответствовать серьёзности военной обстановки, жили в вагонах, работали в сарайных домиках.) Было без пятидесяти, сходились и другие офицеры к домику генерал-квартирмейстерской части.

А тут, по крайней тропке, обходя места высокого начальства, спешил писарь, хлопотливый селезень, а за ним, с прямизною не военной, не воспитанной, прирождённой, на два шага писаря делая свой один, шагал Арсений Благодарёв. Как все ноши с плеч покидав, с грудью опять выставленной, свободно он на ходу помахивал руками, свободно оборачивался направо и налево, сколько ему нужно, не стеснён высокою Ставкой, ни близостью великих князей.

И напряжение, и раздражение Воротынцева вдруг как смыло. Он выставил пальцы, задерживая писаря.

Озабоченный, сообразительный писарь, козыряя не до самого виска и не вполне отброшенным локтем (тут-то, в Ставке, они знали, кто почём), сам первый, не дожидаясь вопроса, доложил:

— Вот, всё выписываем, ваше выкбродие, направление, довольствие.

— У-гм, — отпустил его Воротынцев, а сам с любовью смотрел на Арсения.

Двух полковников, своего и чужого, приветствовал Благодарёв хорошо отведенным локтем, хорошо поставленной головой, — но не едя глазами, не выслуживаясь, а как бы в игру.

— Так что, Арсений, значит, в артиллерию?

— Да уж в артиллерию, — снисходительно улыбался Арсений.

— Ну, разве не гренадер? — пятернёй сильно ударяя Арсения в грудь и любуясь, спросил Воротынцев у Свечина. — Поедешь в гренадерскую артиллерийскую бригаду, я уговорился.

— Ну-к, что ж, — хмыкнул Благодарёв, перекатил языком под щекою. Да спохватился, не так же надо, это не т а м. — Премного благодарны! — лишний раз отдал честь и опять чуть посмеивался, отвисая большой нижней губой.

Таким не окружение его сделало, таким застал его Воротынцев и под Уздау, он и тогда не к своему полковнику, но и ко всякому офицеру так умел: безошибочно употреблял все военные выражения, уверенно чувствовалось, что за их черту не перейдёт, а тон — переходил, из службы отчасти в игру. Ничему не учёный, Арсений держался, будто знал больше всех военных наук.

— А то смотри, у меня вот будет полк — ко мне в полк не хочешь?

— Пя-хота? — опустил губу Арсений.

— Пехота.

Благодарёв сделал вид, что думает.

— Не-е-е, — пропел, — всё ж не хочю. — Но тут же деланно спохватился: — А как прикажете!

Воротынцев засмеялся, как смеются на детей. Положил здоровую руку ему на плечо, это высокогато получилось — на его погон, уже не мятый, подглаженный, с подложенной картонкой:

— Никак я тебе больше никогда не прикажу, Арсений. Не сердись, что я тебя из Выборгского узвал? В мешок таскал?

— Да не, — тихо, просто, как своему деревенскому, сказал Арсений. Носом шмыгнул.

То из окружения вырывались, некогда было. То отсыпались. А теперь каждому надо было спешить по своей службе, да и погоны слишком разные для разговора. А — миновалось что-то.

И горло Воротынцева сжало, надо было проглотнуть.

И Арсений с расшлёпанным, картошистым носом перекатывал во рту языком, как если б тот был большой слишком.

— Ну, знаешь... гора с горой... Ещё может когда... Служи хорошо... До полковника дослуживайся...

Обоим смешно.

— ...И домой возвращайся целым.

— Так же и вам!

Воротынцев снял фуражку. Спыхватился и Арсений сорвать свою. Холодный ветер обвевал их. Мелко моросило.

Поцеловались. В губы пришлось.
Крепкие лапы были у Арсения.
И Воротынцев быстро пошёл нагонять Свечина.
А Благодарёв — недовольного писаря-селезня.

82

В домике не было больших комнат, самая просторная — на двадцать человек, если тесно сесть. Да в генерал-квартирмейстерской части и было два десятка — а сейчас собралось больше трёх.

Два небольших стола были составлены углом. С одного торца — Верховный, выше всех здесь, даже когда сидел. Рядом — всегда неотлучный его родной брат великий князь Пётр Николаевич, с прилежным вниманием (хотя все знали, что войной он нисколько не занят, а — церковным зодчеством уже несколько лет). Рядом — их двоюродный брат принц Пётр Ольденбургский (вспыльчивый очень, «сумбур-паша»). Дальше — светлейший князь генерал-адъютант Дмитрий Голицын (последние годы заведывавший царской охотой). Дальше — генерал для поручений Петрово-Солово (милейший предводитель рязанского дворянства). Начальник штаба Верховного генерал-лейтенант Янушкевич, с угодственно-приятным хитроватым лицом и проворными руками над бумагами. Генерал-квартирмейстер генерал-лейтенант Данилов-«чёрный», с прямоугольным лбом, широкими салазками нижней челюсти и твёрдым, непоколебимым взглядом. «Дежурный генерал» Ставки, заведующий личными назначениями и наградами. Прямо против Верховного, у другой стены, на изломе столов — Главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал-от-кавалерии Жилинский, за 60, с жёлтым чёрствым лицом и холодной презрительной манерой. Да начальник дипломатической части Ставки. Да начальник морской части. Да начальник военных сообщений.

А кому не осталось места за столами — чины оперативного отделения, да дежурный адъютант Верховного, да калмыцкий князь, адъютант Янушкевича, да адъютант Жилинского, — те просто сидели на стульях, у окна, у печи, и писали на коленях, кому надо.

Печь протопили с утра, и тепло её не было лишним. Стёкла всё больше забрызгивало холодным дождём. Безднадёжно было мрачно за окном, хоть лампочки включай.

Тесно было вставать, и уговорились выступать сидя. Да так выглядело и деловой, обменяться замечаниями, нет повода выступать с речами.

По приглашению великого князя начал Жулинский. Он не поднимал полностью серых век, не нуждаясь видеть всех присутствующих здесь, а лишь слегка некоторых. Он смотрел или к себе в бумагу или на великого князя, редко добавлял своей голове с седым хохолком сектор осмотра. И говорил, как всегда, не форсируя своих слов чувством. Он и не допускал, чтобы кто-то здесь мог увидеть в нём обвиняемого. Он наставительно и неприветливо потрескивал голосом, как равный Верховному, призванный на равный разбор одного неприятного, но не такого уж крупного происшествия.

Прискорбная неудача, постигшая Вторую армию, была целиком виною покойного генерала Самсонова. Начать с того, что Самсонов не выполнил основной директивы фронта о направлении наступления. (Об этом подробно.) Самовольно уклоняясь от заданной линии, он недопустимо растянул фронт своей армии, удлинил марши корпусов, а значит и пути снабжения. Хуже того: он создал зазор между Первой и Второй армиями, расстроил их взаимодействие. В отличие от пунктуального генерала Ренненкампа, Самсонов самоуправничал и в отношении многих других приказов. (Подробно — каких.) Непостижимым для здравого смысла является приказ Самсонова с 14 на 15 августа центральным корпусам продолжать наступать, когда было уже ему известно, что фланговые отошли. Эта грубая ошибка армейского приказа ещё усугублена опрометчивым распоряжением Самсонова снять телеграфный аппарат в Найденбурге и так лишить штаб фронта возможности помешать разгрому армии. А как только штаб фронта, с некоторым опозданием, разобрался в положении дел, он тотчас же разослал всем корпусам телеграммы отходить на исходную линию — и лишь по вине генерала Самсонова центральные корпуса не смогли этой телеграммы получить.

Главнокомандующий фронтом даже не усилил рипучего голоса на обвинительных местах, и тем несомненной представилась собравшимся вся простота события: прямая грубая вина покойного Командующего. Но тем меньше изъяна и беспокойства сидящим здесь.

Никто не возражал, не шептался, не кашлял. Только мухи, оживлённые топкою, набившись в комнату, чернели на белёной печной трубе, на потолке, жужжали.

Воротынцева крутило и жгло. Во всей России, во всей воюющей Европе никто ему не был так ненавистен сейчас, как этот *Живой Труп*. Он ненавидел его сухой голос, его землистое лицо, приукрашенное искусственными усами, долгими за щеки и для значительности изогнутыми, его никем не опровергнутую манеру держаться так свысока. Не за одно сегодняшнее ненавидел он этого гробокопателя, но звено за звеном соединились в цепь на шею русской армии, на погибель ей — все его тупости, промахи и недогады ещё за бытность начальником Генерального штаба. Вот он обдуманно изъяснял, не опасаясь опровержения, инотолкования, да даже и взыскания, да даже снятия с поста: ему, конечно, тотчас приготовится другой пост, приятнейший. Ведь он выполнил главный долг — перед союзной Францией, перед генералом Жоффром. В крайнем случае он поедет в Париж принимать цветы от дам и завтракать у президента.

Но нет, и слушателей своих оставлял генерал Жилинский не без надежды. Вопреки боязливому Самсонову он вынашивал смелые замыслы. А именно: **п о в т о р и т ь** комбинированные действия Первой и Второй армии вокруг Мазурских озёр! Для этого Ренненкампф уже стоит отлично, углубясь в Пруссию, и остаётся только дополнить Вторую армию, доформировать некоторые корпуса и направить Шейдемана по направлению, избранному ещё до начала военных действий.

Великий князь сидел так прямо, так возвышенно, будто каждую минуту ждал исполнения национального гимна.

Хотя, кажется, всё важное было исчерпано, но теперь естественно требовалось выступить генералу Данилову: нельзя же было не выступить главному, как все тут понимали, стратегу русской армии. А при его положении надо было и не просто выступить, а выказать глубокую мысль, дать понять, что черед заботных дум не устаёт проплывать за его лбом (а лоб-то был туп! а черед тягучая! а мысли дохлые!), — и именно потому с трегубой самоуверенностью малоподвижных умов стал говорить генерал-квартирмейстер особо непререкаемо.

Да, вполне можно согласиться с тем, что обрисовал здесь Главнокомандующий фронтом. (И подробно ещё раз — с чем именно.) Но и важные добавления необходимо сделать. Если бы корпуса Второй армии пересекли германскую границу ещё раньше, как было Самсонову приказано, а он осуществил с замедлением; и если бы он нанёс удар во фланг противнику у Мазурских озёр, как

было указано, а не ожидал, пока тот развернётся к Самсонову фронтом, — то был бы несомненно достигнут успех над растерянным неприятелем, и мы сегодня торжествовали бы крупную победу. Также немалую роль сыграла и усталость корпусов Второй армии — и в вину генералу Самсонову необходимо поставить, что он пренебрегал нормальными днёвками, как их предусматривает боевой устав пехоты. Можно выдвинуть и много упрёков меньшего значения.

А ещё важнее сказанного была та важность, тупеющая сама от себя, с которой генерал-квартирмейстер замолчал. Уж так неизобретательно было его лицо, уж такая прямоугольность, такая неживость, такие глаза неподвижные, такие уши прижатенькие, безфигурные, ну разве что усы веретеном натянуты, да лишние, — а вот вид! Генерал-квартирмейстер как бы остановил себя перед глубокой тайной, которую здесь не мог высказать, ибо слишком было широко совещание. Это жертвенность была: ту тайну и всю сложность науки он взваливал на свои одинокие плечи, чтобы потом, как специалист, разобраться во всём. Ибо он один был замок и ключ всей стратегии: офицеры ниже его не могли иметь ни его осведомлённости, ни его способностей, а выше был — беспомощный в стратегии, но дельный Янушкевич, да горячий, неработоспособный великий князь.

И вот естественно подступил черёд выступать начальнику штаба Верховного. Ах, как хотел бы он тот черёд пропустить, темноглазый пушистоусый Янушкевич, с лицом отечным, манерой вкрадчивой и большой нежностью к бумагам и папкам (а вероятно и к женщинам). Добросердечным Государем в добрую минуту назначенный на этот пост, обходительный Янушкевич со сжатием сердца, как Красная Шапочка в тёмном лесу, чувствовал себя в стратегии, в оперативном искусстве. Но сладко было и занять такой высокий пост, опять-таки сжималось сердце, уже радостно, и как было огорчить голубоглазого, тоже стеснительного, Государя и признаться, что этого всего не понимаешь? Ехал ли Янушкевич в карете, шёл ли паркетными пространствами петербургских дворцов, он представлял себя со стороны и с ужасом и восторгом повторял: начальник российского Генерального штаба генерал-лейтенант Янушкевич! Всего четыре месяца он там побыл, и главное усилие его оказалось — не дать этой войне не начаться, и на том он предполагал остаться в стороне от грозного хода событий, но военный министр Сухомлинов, неисправимый оптимист, про-

двинул его на должность начальника штаба Верховного — и как было решиться отказаться от несомненной карьеры? Однако здесь с первого же дня оказался Янушкевич в плену у Данилова, который один тут что-то ведал и знал, и тоном своим непрестанно укорял Янушкевича, зачем не Данилов начальник штаба? Одно-то верно смекнул Янушкевич, что в русской армии были стратеги посильней Данилова, — но и Данилов был избранник Сухомлинова, а наедине признав его авторитет, пообещав выхлопатывать ему все те же чины и ордена, что будет получать сам, — пожалуй, выгодней было оставить Данилова. Как две лодки, друг с другом связанные, только вместе могли они переплыть эту войну: Янушкевич правил часть распорядительную, а Данилов — стратегическую.

Но сколько мук ежеутренних, что не миновать вести стратегические разговоры и строить понимающий вид. Но какое усилие вот сейчас — подняться и держаться важно, чтоб никто не заметил, как ты сам боишься поскользнуться, как тоскливо и всё непонятно тебе самому! И что сказать против полного генерала Жилинского, формально подчинённого тебе, а на самом деле — предшественника по генштабу, когда ты — и в генерал-лейтенантах выскочка, обгоняя сроки и старшинство?

Фразами обкатанными, тоном вежливым, Янушкевич повторял и повторял всё сказанное до него, ничего не добавив, ничего не пропустя, лишь переставляя местами.

И всё ясней становилось совещанию, как глубоко был порочен покойный Командующий, погубивший свою Вторую армию. Но, к облегчению, он сам себя убрал. А другие генералы никогда не могли бы совершить подобных ошибок. И потому совещание теряло, собственно, остроту. Вот всё было начисто исчерпано и покрыто.

На листке бумаги, на планшетке, нервным карандашом Воротынцев давно уже записал все их выползы — и как по ним можно ударить. А выше, чёрными чернилами японского механического пера, ровней и строже, были записаны ночью его главные тезисы. Янушкевича он уже не записывал, почти и не слышал, он веки смежал, чтоб не видеть их всех, а представлялось ему беззащитно-открытое лицо Самсонова — не сейчас, в безвестной лесной чаще, где он лежал, и даже не в Орлау, где он прощался с войсками, а ещё в Остроленке, ещё в полноте прав, ещё властный не проиграть сражения, но уже тогда беззащитность была разлита по его лицу. И представлялся Воротынцеву кабаньих напор через заросли, кабаньих оскал Качкина с Офросимовым на плече. И отвал Благо-

дарёва, как сто десятин вспахавшего и вот последним толчком вонзающего в землю лемех ножа.

И Воротынцева срывало со стула — встать и заговорить без дозволения. Но Свечин по соседству осторожно сжимал ему локоть. А Верховный — не смотрел на него.

Узкую кавалерийскую ногу забросив за ногу, никогда не сторбленный, неприступный, с чуть подброшенными кончиками усов, великий князь если смотрел на кого-нибудь, то, через весь стол, — на жёлто-серое лицо Жилинского с глупо приподнятыми бровями. Ещё недавно он сам давал Жилинскому право сменить Самсонова, если надо. Но вчера и сегодня стало проясняться ему, что Жилинский — как бы не главный виновник катастрофы, и *снять его* сейчас было бы вернейшим проявлением власти Верховного, лучший урок для генералов. Однако был бы этот поступок очертя: Жилинскому его пост и низок, он сам будет рад освободиться. Он тотчас кинется в Петербург шептать свои жалобы в сферах и шушукаться с Сухомлиновым. И в кишени придворных партий всё будет обращено против Николая Николаевича: пойдёт война неудачно — он бездарен, не способен к Верховному Главнокомандованию; пойдёт война удачно — он честолюбив, он грозен для царской семьи.

Видит Бог, жалко ему цвет офицерства, жалко затруженных солдат, понесших страстные муки в окружении. Но даже и 90 тысяч окружённых и 20 тысяч убитыми — ещё не Россия, Россия — 170 миллионов. И чтобы всю её спасти, надо выиграть не одну-две битвы на фронте, а прежде их — крупнейшую придворную битву за сердце Государя: убрать нечистоплотного Сухомлинова, отлучить от Двора грязного Распутина, ослабить императрицу. В предвидении того всего нельзя сейчас усилить их партию озлобленным Жилинским. Из преданности Большой России должен сегодня великий князь подавить в себе сочувствие к маленькой России, к этой всё равно уже погибшей самсоновской армии.

А вот потрепать Жилинского, напугать, напустить на него Воротынцева — надо! О Воротынцеве всё время помнил великий князь и не выпускал из угла глаза, как тому не сидится.

На дворе всё пасмурнело, дождик бил по стёклам, в комнате темнело, и зажгли электрические лампочки. При белёных стенах очень стало ярко, и каждую мелочь друг во друге видно.

Начальник дипломатической части Ставки, вот кто брал теперь слово. Начальник дипломатической части просит господ генералов не забывать о высших отношениях, соображениях и обя-

зательствах государства. Французское общество убеждено, что Россия могла бы внести большой вклад. Французское правительство сделало нам представление, что мы не выставили всех возможных сил, что наше наступление в Восточной Пруссии — слабая мера; что по данным французской разведки, противоречащим, правда, нашим данным, германцы сняли два корпуса не с Западного фронта на наш, а с *нашего* на Западный, и союзная Франция вправе напомнить нам об обещанном энергичном наступлении на... Берлин.

Вот этого лишь звука, последнего этого звука, как иного другого, неловкого в обществе, по этикету принято не замечать, — так и сейчас не заметили князя и генералы: кто в окно, кто на стену, кто в бумаги.

Впрочем, только этот один звук — «Берлин» — и не звучал сейчас. А права дипломатической части, а воля Государя были ясны: во что бы то ни стало и как можно быстрее спасти французского союзника! Конечно, болит сердце о наших потерях, но важно не подвести союзников.

И начальник военных сообщений доложил, что с полным напряжением усиливается противогерманский фронт, для чего мы не останавливаемся привлекать войска с азиатских окраин. Уже сейчас к фронту подъезжают или выгрузились два кавказских корпуса, один туркестанский, два сибирских — и ещё три сибирских будут вскоре прибывать. Итак, наше новое немедленное наступление, необходимое морально, уже подготовлено и материально.

Жилинский вот почему и просит господ присутствующих дать ему санкцию на повторение операции вокруг Мазурских озёр.

Не только, вскочивши, всё потерять — службу, армию, погоны, но кожу головы содрать, она пылает! — ложь! ложь! но где-то есть пределы лжи?! И вырываясь локтем из хватки Свечина и забыв, что сегодня тут не встают, — Воротынцев поднимался бешеный, не предвидя первого слова своей ярости, — и услышал властный голос великого князя:

— Я ещё попрошу полковника Воротынцева доложить о собственных впечатлениях. Он ездил во Вторую армию.

И взрыва не произошло, свистящий пар ярости разошёлся прозрачно. И колодкой предосторожности сжало прыгающее сердце, колодкой пословицы: «Господин гневу своему — господин всему!»

— Наш разбор тем более необходим, Ваше Императорское Высочество, что армия Ренненкампа ещё сию минуту угрожаема и может кончить даже х у ж е, чем армия Самсонова.

(Слишком звонко, тише, тише, пар на выбросе.)

Как выбило бы стекло, и холодный мокрый ветер оттуда бы рванул — все поёжились, зашевелились, и великий князь тоже.

Но от фразы ко фразе ровней, ровней, Воротынцев повёл речь будто тщательно приготовленную, взвешенную в пропорциях:

— Господа! От Второй армии никто не приглашён на наше совещание, да почти уж и некого приглашать. Но эти дни я был там, и дозволено будет мне выразить, что сказали бы ныне покойные или попавшие в плен. С той прямоотой, какую воспитывали в нас и какая прощается мёртвым...

(Только б голос не сорвался, не захлебнулся!)

— ...Я не буду говорить о доблести солдат и офицеров — здесь её не подвергали сомнению. Достойны войти в хрестоматии полковые командиры Алексеев, Кабанов, Первущин, Каховской. Если тысяч более пятнадцати вышло из окружения, то благодаря нескольким полковникам, штабс-капитанам, а не командованию фронта!.. Когда не было двойного превосходства немецкой артиллерии, а иногда и при нём, наши части выигрывали тактические бои. Под сильнейшим обстрелом они часами держали оборонительные линии, как Выборгский полк в Уздау. 15-й корпус под водительством блистательного генерала Мартоса — только наступал и только успешно! И несмотря на это, армейское сражение привело нас не к неудаче, как выражались тут, но к полному р а з г р о м у!

Этим словом он наполнил и едва не взорвал всю комнату. Ветер разрыва хлестнул по лицам.

Это слово р а з г р о м было вперекор и Верховному. Так он не мог признать перед Государем, хотя и намеревался *повинную голову сложить перед Его Величеством*. Он не мог признать — а не вмешался. Осанистый, породистый, долговытянутый, он высокомерно, гордо сидел. (Так близко рождённый к монаршему месту — а всё-таки не на нём.)

— Надо сказать, мы могли этого опасаться. Русский Генеральный штаб через разведку знал заключение германского командования: в их играх русская сторона всегда наступала так, как сейчас Вторая, — и всегда немцы успешно атаковали именно левый фланг именно наревской армии. И именно так послали генерала Самсонова... Я... слышал здесь, что вся вина — на нём. А мёртвые не возражают. И нам никому тогда ни в чём не надо исправляться. Это очень удобно, но тогда, простите моё самонадеянное пророче-

ство, такие катастрофы будут повторяться, и мы рискуем проиграть...

Не досказал.

Прошелестело возмущение. Жилинский поднял тусклые глаза на Верховного: этого неприличного полковника пора же оборвать, посадить.

Но Верховный, умеющий быть так резок, не шевелил запрокинутой головой. Он только показывал, что он — хозяин делу.

— ...За покойного Александра Васильевича я, впрочем, обязан возразить выступавшим. Приехав из Туркестана в Белосток, он нашёл нелепым готовый план, предложенное ему направление армии в глубь Мазурских озёр, в очевидную пустоту. В край крепостей и озёрных дефиле. Свои встречные оперативные соображения он изложил в докладной записке Верховному Главнокомандующему и 29 июля подал её начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту Орановскому!

(Голос уходит вверх! — ниже, ниже.)

— ...Шли дни, он недоумевал: никакого отзыва на ту записку не приходило. Он просил меня непременно выяснить в Ставке, и вчера я узнал, что великий князь никогда этой записки в руках не держал!

Живой труп мертво оскалился на Воротынцева. Раз Верховный молчал, приходило время вмешаться самому:

— Мне ничего не известно об этой записке.

— Тем хуже, ваше высокопревосходительство! — Воротынцев как будто даже обрадовался возражению, так и повернулся к Жилинскому. — Значит, истины не выяснить без следствия! И если такое будет, я буду просить *найти* эту бумагу!

Перетрях негодования прошёл по лицам генералов: уже всё было выяснено, о каком ещё *следствии* этот дерзец... Все смотрели на Верховного: надо же остановить безумного полковника!

Но закованно, высоко перед собой, выше Жилинского смотрел великий князь, с резной красотой головы.

Несвойственно себе выходя из сухого тона, Жилинский погорячился возразить:

— Вероятно, генерал Самсонов взял бумагу обратно.

А Воротынцев как ждал:

— Нет, он не брал её обратно, это достоверно! — И бил в своё, глядя ни куда иначе, ни на кого, только на Жилинского, только на Жилинского, такого занебесного из Остроленки, из Найденбурга,

из Орлау, а теперь лишь руку протяни — трупно-серого, костисто-го старика с плохо разгибаемую спиной. — Отклонение, предложенное генералом Самсоновым и отчасти им осуществлённое, было *верно*, ибо охватывало противника *глубже*, чем предполагал штаб фронта, только ещё недостаточно глубоко! И растяжение фронта армии создано в неменьшей степени от непонятного упорства фронтового главнокомандования цепляться за глухой угол Мазурских озёр.

— Это — не угол озёр, это — связь между армиями! — ещё раздражённой перебил Жилинский.

Но Воротынцев уже почувствовал немой сговор: Верховный его не перебьёт. А эти — все вместе не переговорят. Он дорвался, он ездил не зря! Он холодел, разумнел, и даже в насмешку складывались его губы. Фразу за фразой как петли, как петли он метал на Жилинского, и набрасывал, и набрасывал:

— Это не связь между армиями, когда одну форсируют к наступлению, а другую почти располагают на отдых! Это не связь между армиями, если *пять* кавалерийских дивизий генерала Ренненкампа после Гумбинена не бросаются преследовать противника, а в дни катастрофы Второй армии не посланы на выручку. Штаб фронта как рассогласовывал действия армии и послал в наступление Первую на неделю раньше — зачем? Или связь между армиями в том, чтобы 10 августа отобрать у Самсонова корпус Шейдемана к Ренненкампу, 14-го назначить его оттуда под Варшаву — он не нужен в Пруссии в тот день, когда решается сражение Второй армии...

Об *этом* откуда Воротынцев узнал? Это были уже грехи Ставки. Данилов подозрительно посмотрел на Свечина, забеспокоился:

— Это были *стратегические* соображения. Готовилась Девятая армия для берлинского направления...

— А Вторую — пусть волки гложут? — нагло отбил Воротынцев. — ...15-го августа его всё же посылают на помощь Второй, но штаб фронта *даёт корпусу ошибочное направление!* 16-го корпус опять назначен под Варшаву. А 17-го генерал Ренненкампф уводит его на север — и это связь между армиями? А ведь только для связи между двумя армиями и был создан Северо-Западный фронт. Генерал Самсонов был обвиняем в отсутствии решительности, но высшую нерешительность проявляло главнокомандование фронта, оставляя для страховки, на коммуникации, на «прикрытие полосы», не отводить от Бишофсбурга, не продвигать от Сольдау — *п о л о в и н у* войск!!

В одну точку жёг и жёг Воротынцев, да не в усы ли Жилинского, так они затряслись, задымились?

— Где половину? Где же половину? — зашумели, возражали уже не только Данилов, но и тупой любимец его, полковник, *Ванька-Каин*, туда же.

— Считайте, господа: два армейских корпуса — правый и левый, да три кавалерийских дивизии, ровно половина. А другой половиной Самсонову велено наступать и одержать победу. И если фронтовое главнокомандование задержало фланги — так оно и должно было их двинуть на выручку центральным. Да, генерал Самсонов делал ошибки, но оперативные. Ошибки стратегические надо отдать штабу фронта. Самсонов не имел над противником превосходства сил, а фронт — имел, и вот сражение проиграно. Надо же делать выводы, господа, зачем тогда наше совещание? Мы не умеем водить части крупнее полка! — вот вывод.

— Ваше Императорское Высочество! Я прошу прекратить бессмысленное выступление этого полковника! — потребовал Жилинский, пристукнув по столу и выказывая, что ещё совсем он не «труп».

Великий князь холодно посмотрел выразительными крупноовальными глазами. Сказал твёрдо, негромко:

— Полковник Воротынцев говорит дело. Я для себя беру здесь много поучительного. Я нахожу, что Ставка, — он посмотрел на Данилова, тот опустил бычий лоб, а Янушкевич передёрнулся чуткой спиной, — почти не руководила этой операцией, целиком доверяясь Северо-Западному фронту.

Да знал он цену Данилову! — даже в докладах, им подготовленных, он часто схватывал нить быстрее, чем сам Данилов, жвачный.

— ...А что полковник скажет неверно, вы можете тотчас поправить.

Жилинский, кряхтя, поднялся и вышел по нужде.

А велик был соблазн Верховному: вот, представлены доводы. Развить их, создать следственную комиссию. И Жилинский с позором изгнан, а Ставка чиста от обвинений.

Однако своею вчерашней милостивою телеграммой Государь указал великому князю другой путь: путь прощения, оставив перекоры. Да вот и пришёл, ещё не объявленный, высочайший указ произвести Орановского в полные генералы — материалы на производство имеют свой ход, независимый от хода боевых операций, их не повернуть.

Но как у конницы, прошедшей, хоть и с потерями, оборонительную полосу противника, сейчас у Воротынцева ещё было время и был свободный скок. Да теперь только и начиналось настоящее совещание!

— ...Однако я хотел бы говорить шире. На что ушли силы Второй армии? На преодоление пустого бездорожного пространства собственной русской территории! Ещё до границы, ещё до соприкосновения с противником корпуса должны были пять и шесть суток увязать в песках! А потом на всё это пространство перекинуть снаряды, снаряжение, питание, запасы — а чем? Отчего ж запасы ещё до войны не устроили при границе?

Янушкевич поморщился, было просто больно слушать этого головинского недобитого «младотурка». И за что великий князь устраивал им это мучение?

— Тогда бы противник мог захватить эти запасы, — объяснил — укусил он из-под пушистых усов.

— Так неужели, — вздыбился Воротынцев, с багровиной на челюсти, — лучше потерять 20 тысяч убитыми и 70 тысяч пленными, чем дюжину интендантских складов?

На Янушкевича — он смотреть не мог без отвращения! По каждому его бабьему движению видно, что это — лжегенерал, и как же может состоять начальником штаба Верховного?! И нет сил помешать ему погубить хоть и всю воюющую армию всей России...

— Склады не устраивались близ границы потому, — уверенно упёрся Данилов, — что мы предполагали на этом направлении обороняться, а не наступать.

Это было верно. Но утыкалось в поспешно изменённый план всей войны — изменённый опять-таки Жилинским, тогдашним начальником Генерального штаба, впрочем и военным министром, впрочем и Государем! — впрочем, и великий князь ему сочувствовал. Тут Воротынцев не мог дать себе увлечься. Да надо было и острейшее сказать, как раз в дверях появился и брёл к своему месту Жилинский.

— ...Но главное, отчего погибла армия Самсонова, — неготовность её, как и всей русской армии, выступить так рано. Здесь известно всем, что готовность была оценена в два месяца от дня мобилизации. По крайней мере был нужен месяц.

Жилинский дошёл до своего места, но не сел — нет, слишком горячо было говорено! — он так и стал, лицом к Воротынцеву, кулаки о стол. И Воротынцев, выпятив грудь, как к драке, багряный от напряжения, ему одному швырял:

— ...Роковым решением было, из желания сделать приятное французам, легкомысленное обещание начать боевые действия на пятнадцатый день мобилизации, одну третью готовности! То есть — вводить наши силы в бой по частям и неготовыми!

— Ваше Императорское Высочество! — окрикнул Жилинский великого князя. — Здесь оскорбляется государственная честь России, решение, одобренное Государем! По конвенции с союзной Францией...

Уже у Верховного последнюю секунду выхватывая, Воротынцев ещё метнул с ненавистью:

— По конвенции Россия обещала «решительную помощь», но не самоубийство! Самоубийство за Россию подписали в ы, ваше высокопревосходительство!!

(Янушкевича забыли, Янушкевич трусливо голову опустил. Он-то требовал от Северо-Западного ещё на четыре дня раньше...)

— И военный министр! — закричал Жилинский, но голосом надгнившим, нестрашным. — И одобрено Его Величеством! А такому офицеру, как вы, не место в Ставке! И не место в российской армии! Ваше Императорское Высочество!..

Скульптурно сидел стройный великий князь, нога за ногу в сторону от стола. И сказал Воротынцеву каменно, строгим ртом:

— Да, полковник. Вы переступили границы дозволенного. Вы не для этого получили слово.

Отбиралось последнее слово. Последнее — может быть, во всей военной карьере. И единый звук уступить было жалко! з н а т ь — и не досказать?.. Уже всё потеряв, ничего не боясь, свободный ото всех запретов, только видя, как дорогобужцы несут на плечах мёртвого полковника, раненого поручика, только видя штабс-капитана Семечкина, бойкого, весёлого петушка, прорвавшегося с двумя ротами звенигородцев, Воротынцев звеняще ответил Верховному:

— Ваше Императорское Высочество! Я — тоже офицер русской армии. И все мы, офицеры этой армии, отвечаем за русскую историю. И нам не позволено будет проигрывать кампанию за кампанией! Эти же французы будут завтра нас и презирать!..

Вдруг — вспыхнул великий князь редким у него приступом гнева, и осадил:

— Пол-ковник! Покиньте наше совещание!

А уже Воротынцев был облегчён, освобождён, стрела калёная вынута из груди.

Хоть и с мясом.

Больше ни звука. Руки по швам. Поворот, каблуком пристук.
И — к двери.

А из двери навстречу — радостный адъютант:

— Ваше Императорское Высочество! Телеграмма с Юго-Западного!

Она! Ждали её! Великий князь, разворачивая, поднялся. И другие подымались.

— Господа! Матерь Божия не оставила нашей России! Город Львов — взят. Колоссальная победа! Надо дать сообщение в газеты.

ДОКУМЕНТЫ — 10

Телеграмма, 20 августа

Счастлив порадовать Ваше Величество победой, одержанной армией генерала Рузского подо Львовом после семидневного непрерывного боя. Австрийцы отступают в полном беспорядке, местами бегут, бросая лёгкие и тяжёлые орудия, артиллерийские парки и обозы. Неприятель понёс громадные потери, и взято много пленных...

Верховный Главнокомандующий,
Генерал-адъютант НИКОЛАЙ.

*НЕ НАМИ НЕПРАВДА СТАЛАСЬ,
НЕ НАМИ И КОНЧИТСЯ*

1937 — Ростов-на-Дону

*1969–1970 — Рождество-на-Истье;
Ильинское*

1976; 1980 — Вермонт

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

«Август Четырнадцатого» задуман А.И. Солженицыным в 1937 году — как вступление в большой роман о русской революции. В качестве насыщенного примера изо всей Первой Мировой войны на Восточном фронте он избрал катастрофу 2-й русской армии в Восточной Пруссии. Тогда же, в 1937 в Ростове-на-Дону, он собрал все доступные в советских условиях материалы по Самсоновской катастрофе (немалые) — и написал первые главы: приезд полковника из Ставки в штаб генерала Самсонова, переезд штаба в Найденбург, обед там (черновики сохранились через годы войны и тюрьмы). Впоследствии главы эти были переписаны, но конструкция их осталась почти без изменений и в окончательной редакции.

По обстоятельствам жизни, писатель вернулся к работе над романом только в 1963 году, когда снова стал усиленно собирать материалы. В 1965 определилось название эпопеи — «Красное Колесо», с 1967 — принцип Узлов, то есть густого детального изложения событий лишь в сжатые, иногда поворотные, отрезки времени, но с полными перерывами между ними.

С марта 1969 Солженицын начал писать «Красное Колесо», сначала главы поздних Узлов (1919–20, тамбовские и ленинские главы). Той же весной вплотную приступил к Самсоновской катастрофе, к «Августу Четырнадцатого» — и за полтора года, к октябрю 1970, окончил его. Ни одно из семи советских издательств, оповещённых автором, не откликнулось на предложение. В июне 1971 «Август Четырнадцатого» был опубликован парижским эмигрантским издательством YMCA-press, в том же году вышло два соперничающих издания в Германии (Langen-Müller & Luchterhand), затем в Голландии, в 1972 — во Франции, Англии, Соединённых Штатах, Испании, Дании, Норвегии, Швеции, Италии, в последующие годы — и в других странах Европы, Азии и Америки.

Самовольное печатание книги на Западе вызвало атаку на Солженицына в советской печати.

Высланный из СССР в 1974, писатель работал в архивах Цюриха, что позволило углубить написанные ещё на родине ленинские главы, в том числе главу 22-ю из «Августа», намеренно не опубликованную при первом издании. Теперь отдельной книгой вышла сплottedка глав «Ленин в Цюрихе» (Paris: YMCA-press, 1975).

Работа над «Красным Колесом» убедила писателя в необходимости отступить к началу XX века, чтобы яснее выявить корни российской революции. Весну 1976 Солженицын провёл в Гуверовском институте в Калифорнии, где собрал обширные материалы, в частности, и по истории убийства Столыпина. Летом-осенью 1976 в Вермонте были написаны все относящиеся к этому циклу главы (60–73). В начале 1977 напи-

сана глава «Этюд о монархе» (ныне 74-я), — после чего Узел Первый окончательно стал двухтомным.

Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, — подлинны.

Отец автора выведен почти под собственным именем. Семья матери, семьи Харитоновых (Андреевых) и Архангородских, Варя — подлинны, Ободовский (Пётр Акимович Пальчинский) — известное историческое лицо.

Главы «Этюд о монархе» (74) и «Пётр Аркадьевич Столыпин» (65Г) были опубликованы в парижском журнале «Вестник РХД» (1978, № 124 и 1981, № 134, соответственно). Полный текст «Августа Четырнадцатого» впервые напечатан в 20-томном Собрании сочинений (Вермонт-Париж: УМСА-press, тома 11 и 12, 1983). На родине «Август Четырнадцатого» первым напечатал журнал «Звезда» (1990, № 1–12), затем «Роман-газета» (1991, № 23/24; 1992, № 1–3). Вскоре последовало репринтное воспроизведение «Красного Колеса» из «вермонтского» Собрания сочинений (Историческая эпопея в 10 т. — М.: Воениздат, 1993–1997). Позже отдельным изданием вышли столыпинские и царские главы из «Августа Четырнадцатого» (Столыпин и Царь. — Екатеринбург: У-Фактория, 2001).

В 2003–2005 Солженицын предпринял 2-ю — последнюю прижизненную — редакцию «Красного Колеса» (впрочем, Узла Первого она коснулась менее всего). Эта редакция печатается впервые в настоящем 30-томном Собрании сочинений.

Н. Солженицына

ОНА УЖЕ ПРИШЛА

Заметки об «Августе Четырнадцатого»

Приступая к знакомству с «Августом Четырнадцатого», почти всякий читатель испытывает разом два противоборствующих чувства: могучий напор крайне разнообразного и сложно организованного материала рождает мысль о хаотичности истории — ощутимо властное (хотя порой и скрытое) присутствие воли художника стимулирует наше стремление к поискам общего смысла множества «разбегающихся» сюжетов. В «Августе Четырнадцатого» нет «случайностей», как нет самодостаточных персонажей, эпизодов, деталей, символов. Каждый фрагмент текста не раз отзовется в иных точках повествования, иногда отделённых от него десятками глав и сотнями страниц. Солженицын противоборствует хаосу не только как историк и философ, но и как художник — самим строем своей книги о судьбе сорвавшейся в хаос России. Важно понять, однако, что писатель сознательно избегает лёгких путей, мнимо выигрышного упрощения постигаемой им (и нами) реальности, навязывания однозначных концепций. Солженицын строит свой поэтический мир, рассчитывая на внимательного, памятливого и думающего читателя. В такого читателя он верит, а вера эта подразумевает высокую требовательность.

Обилие весьма подробно охарактеризованных персонажей, невозможность с ходу (и не только с ходу) отделить сквозных героев от эпизодических; резкие пространственные переносы действия, экскурсы в прошлое (как в человеческие или семейные предыстории, так и в историю России; особенно важно здесь огромное отступление «Из Узлов предыдущих», посвященное Столыпину и императору Николаю II (63—74)¹), предположения о будущем (например, мысли Самсонова о возможности новых поражений и возобновлении после них смуты (48)), переходы от привычного «романного» повествования (как правило, осложнённого не собственно прямой речью, что втягивает читателя в душевно-идеологическое поле того или иного персонажа, заставляет на время в большей или меньшей мере признать его «частичную правоту») к главам «экран-ным» и построенным на коллаже документов, случайные (не предполагающие сюжетного развития, но с мощной психологической и обобщающе-символической нагрузкой!) встречи героев (например, Саши Ленартовича с генералом Самсоновым, которому вскоре предстоит умереть (45)), — все эти (и многие иные) зримые знаки «хаотичности» на самом деле сигнализируют вовсе не о бессмысленности происходящего, но о скрытом от обыденного сознания большом смысле как национальной (и мировой) истории, так и всякой человеческой судьбы.

Об иррациональности истории говорит уходящим на войну юношам «звездочёт» Варсонофьев, предостерегая от наивных и опасных

попыток вмешательства в её таинственный ход (рост дерева, течение реки), но он же, в том же самом разговоре, утверждает: «Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека». Если так, то «порядок мировых вещей» (отнюдь не равный бушующему хаосу, страшное высвобождение которого и описывает Солженицын в «Красном Колесе»!) существует. И ставит перед каждым человеком некую задачу, таинственно указывает на его назначение, разгадать которое, однако, ещё сложнее, чем загадку, ответ на которую не даёт Сане и Коте, хотя синоним искомого слова был произнесён всего несколькими минутами раньше («Всякий истинный путь труден... Да почти и незрим»). Будущим воинам только кажется, что Варсонофьев меняет темы беседы, на самом деле он ведет речь об одном. И свое назначение, и ту «справедливость, дух которой существует до нас, без нас и сам по себе», и мерцающий в народной загадке поэтический образ (назван он будет лишь в завершающем Узле (A17, 180); на его особую значимость указывает итожащая главу, уже не Варсонофьевым произнесённая поговорка «КОРОТКА РАЗГАДКА, ДА СЕМЬ ВЁРСТ ПРАВДЫ В НЕЙ») необходимо «у г а - д а т ь». И это позволит хоть в какой-то мере приблизиться к «главному вопросу», о котором так печётся Котя и на который, по слову Варсонофьева, «и никто никогда не ответит».

Не ответит — лично, ибо «на главные вопросы — и ответы круговые» (42). Что не отрицает, а предполагает поиск своего назначения в мире, противоборство искушениям (лёгким и лгушим ответам как на ежедневно встающие вопросы, так и на вопросы всемирно исторического объёма), обретение и сохранение душевного строя. Всё это возможно лишь в том случае, если иррациональность истории (непостижимость её хода для отдельного ума, способность истории опровергать, отвергать или видимо принимать навязываемые рецепты, дабы потом отмщать за них сторицей) не отождествляется с фатальной бессмысленностью. Если хаос (в частности, тот, что охватил в XX веке не одну только Россию) не приравнивается к естественному состоянию мира. Если осознание сложности бытия («Кто мало развит — тот занозчив, кто развился глубоко — становится смиренен» (42), еще одна реплика Варсонофьева) и способность слышать «разные правды»² не приводит к отказу от стремления к собственно правде, от нравственного выбора, требующего реализации в конкретном действии. Такое понимание истории и человека не могло не сказаться на художественной логике «повествования в отмеренных сроках». Многогеройность необходима Солженицыну не только для того, чтобы представить как можно больше социокультурных типажей, обретавшихся в Российской империи накануне её катастрофы (хотя эта задача, разумеется, важна), но, в первую очередь, для того, чтобы выявить разнообразие человеческих личностей, оказавшихся втянутыми в исторический процесс, разнообразие их реакций на страшные вызовы времени, обнаружить нес-

ходство в сходном (человек зависит от своего происхождения, семьи, воспитания, рода деятельности, образования, но изображенные Солженицыным крестьяне, генералы или революционеры думают, чувствуют и действуют отнюдь не по каким-то общим крестьянским, генеральским или революционерским схемам) и неожиданное внутреннее тождество при нагляднейших различиях (разнонаправленные действия либо бездействия всех участников исторической трагедии — от Государа до Ленина, от генералитета до мужиков и фабричных — обеспечивают её чудовищный финал). Личные истории персонажей не «дополняют» большую историю (и тем более — не отвлекают от неё), но объясняют, почему она в итоге приняла именно такое течение. «Хаотичность» и «мозаичность» запечатлеваемых Солженицыным событий подчинена скрытой мощной логике. Каждый из Узлов «Красного Колеса» — тщательно и точно выстроенная книга, где сцепления «случайных» событий и переклички подчас далеко друг от друга отстоящих мотивов образуют концептуально нагруженный, допускающий в Узлах последующих (в частности, не написанных) развитие, усложнение и переосмысление, но художественно завершённый сюжет. Обдумывая и выстраивая «Красное колесо», Солженицын знал, почему его заветный труд должен открыться изображением первых дней Первой мировой, а завершиться событиями 1945 года (согласно помещённому за Четвёртым Узлом конспекту «На обрыве повествования» — эпилог пятый).

Все события (как личные, так и исторические) «Августа Четырнадцатого» должно видеть в тройной перспективе: во-первых, собственно Первого Узла; во-вторых, четырёх Узлов (то есть осуществлённого «повествования в отмеренных сроках»); в-третьих, первоначального (двадцать Узлов) замысла, отблески которого не раз возникают в тексте. С особой отчётливостью эта тройная перспектива прорисовывается в разговоре выходящих из окружения сквозь Грюнфлиссский лес Вортынцева и Харитонова:

«Впрочем, всё и проплывало и было действительно лишь на случай, если умрёшь. А я...

— ...Я-то ничем не рискую, мне обеспечено остаться в живых, — усмехнулся Вортынец Харитонову, лёжа с ним рядом на животах, на одной шинели.

— Да? Почему? — серьёзно верил и радовался веснушчатый мальчик.

— А мне в Маньчжурии старый китаец гадал.

— И что же? — впитывал Ярослав, влюблённо глядя на полковника.

— Нагадал, что на той войне меня не убьют, и на сколько бы войн ни пошёл — не убьют. А умру всё равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного — разве не счастливое предсказание?

— Великолепное! И, подождите, в каком же это будет году?

— Да даже не выговоришь: в тысяча-девятьсот-сорок-пятом» (55).

И персонажи, и читатели, естественно, сосредоточены на конкретной (весьма опасной) ситуации — в этом контексте предсказание китайца указывает на благополучный финал описываемого эпизода: персонажи предпочитают надеяться на лучшее (Воротынцев и рассказывает о гадании кроме прочего для того, чтобы ободрить юного офицера), а читатели, обладающие некоторым литературным опытом, справедливо полагают, что введение в текст ложного пророчества куда менее функционально (а потому и куда менее вероятно), чем появление предсказания истинного (и многопланового). Глава завершается рывком окруженцев, как выяснится — удачным (читатель узнает о том, лишь миновав ещё двадцать пять глав, при описании встречи Воротынцева с великим князем Николаем Николаевичем; здесь мимоходом упомянуты вышедшие с Воротынцевым к своим Благодарёв и Харитонов (80)). Разумеется, предсказание и применительно к грюнфлисской ситуации могло оказаться не столь счастливым. В живых мог остаться один Воротынцев, окруженцы могли попасть в плен³ (ни сохранения жизни спутников, ни невозможности пленения китаец не гарантировал!) — эти сюжетные альтернативы могут (и, пожалуй, должны) возникнуть в поле первочитательских ожиданий, но вряд ли окажутся там доминирующими. Именно потому, что одновременно с перспективой эпизода (и Первого Узла) прорисовывается перспектива «большой истории» (и судьбы Воротынцева) — отнюдь не для героев, но для нас, воспринимающих 1945-й не как будущее, но как отчётливо известное прошлое.

Здесь-то в предсказании и проступают дополнительные — страшные — смыслы. Сегодняшний читатель может знать, что полковник Воротынцев до «Августа Четырнадцатого» появлялся в трагедии «Пленники» (1952–1953)⁴. Действие ее происходит 9 июля 1945 года в одной из контрразведок СМЕРШ. В 11-й (предпоследней) картине чекист Рублёв сообщает 69-летнему Воротынцеву, что тот будет даже не расстрелян, а повешен, и предлагает ему спастись самоубийством (Воротынцев может выпить яд — вместе со смертельно большим Рублёвым). Полковник императорской армии отвергает предложение, рассказывает (как в 55-й главе «Августа Четырнадцатого») о давнем предсказании китайца и объясняет: «...смерть от врага после войны — тоже военная смерть. Но — от врага. А — от себя? Некрасиво. Не военная. Вот именно трусость. И зачем же снимать с ваших рук хоть одно убийство? брать на себя? Нет, пусть будет и это — на вас!» Существенно, что, перечисляя выпавшие на его долю «российские отступления» (самым страшным из которых стал уход белых из Крыма, оставление России), Воротынцев упоминает и найденбургское (картина 2-я).

Переключка «Пленников» и «Августа Четырнадцатого» входит в авторские намерения, но и не знакомый с трагедией читатель поймёт зловещую иронию «счастливого предсказания»: Воротынцев погибнет не на войне, но в победном 1945 году. Догадаться, почему и как это слу-

чится, совсем нетрудно: мысль о развязке в духе «Гленников» приходит сама собой. В принципе, читатель может выстроить другие — на мой взгляд, гораздо менее правдоподобные — гипотезы. Например, Воротынцев, не покинувший после Гражданской войны Россию, тихо доживает до немецкого вторжения, сражается на стороне Германии и по окончании войны попадает в СМЕРШ. Или, приняв — рано или поздно — сторону большевиков (как поступило не столь уж мало царских генералов и полковников), служит в Красной Армии, воюет до победы, а затем становится жертвой чекистов. Возможны и еще более фантастические версии. Но любые варианты судьбы героя (повторяю, куда менее вероятные, чем запечатлённый в «Гленниках») не меняют сути дела. Гибель достойного русского офицера (а к 55-й главе читатель уже проникся огромной симпатией к Воротынцеву) сразу после победы его страны в Великой войне — не только личная трагедия (что не отменяет героизма — потому восторг Воротынцева и Харитоновна от «великолепного» пророчества разом и опровергается и оправдывается автором), но и знак трагедии общероссийской. Страшная двусмысленность победы 1945 года (одновременно победы России и победы над Россией большевистской власти) — следствие тех событий, что описаны в «Августе Четырнадцатого». Выигрыш героев, сумевших уйти из окружения, — выигрыш временный: миновать общей беды не удастся никому.

Разбираемый эпизод открывает, однако, наряду с «краткосрочной» (рамки Первого Узла) и «общей» (рамки замысленного и в итоге контурно намеченного повествования) перспективами, и ещё одну — так сказать, «среднесрочную». Это «личный» сюжет Воротынцева (болезненно, но крепко сцепленный с сюжетом его служения, а стало быть, и с общим — историей национальной катастрофы, которую полковник, как и прочие персонажи, не смог одолеть), развивающийся в пространстве четырёх завершённых Узлов. Мысли Воротынцева о былой вине перед женой и надежды на светлое послевоенное будущее (сравним прожекты Романа Томчака о совместном с женой путешествии по её «заветному маршруту» (9)) вводятся в текст после того, как мы узнали о наметившемся в семье полковника тихом разладе, что придал лёгкости его отъезду на войну (13), после вешего сна в Узду, в котором Воротынцев обретает свою будущую любовь («о н а! точно она! та самая невыразимо близкая, заменяющая весь женский мир!») и осознает жену «помехой» (25). Читателю (если он не забыл 13-ю и 25-ю главы!) дается сигнал: семейного счастья у Воротынцева не будет.

О том, что же будет в личной жизни полковника, «Август Четырнадцатого» умалчивает. Лишь в следующем Узле (О16, 21, 29) мы (вместе с героем) медленно распознаём в неведомой и безымянной женщине, что приснилась Воротынцеву в Узду, Ольду Андозерскую, появляющуюся на страницах «Августа» лишь однажды и вовсе не в «воротынцевском» контексте (75).

Сходным образом в рамках «Августа» читатель не может осознать всю значимость скрещения лаженицынской и томчаковской линий

в самом начале Узла. Проезжая мимо экономии, Саня замечает: на балконе появилась «явная фигурка женщины в белом, — в безопасном белом, нетрудовом.

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда» (2).

Это Ирина Томчак, которая «перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд...» (3). При первом чтении мы можем оценить лишь эффект монтажа, мотивирующего переход от одного персонажа к другим, но и намёка на будущую, произошедшую в Четвёртом Узле судьбоносную встречу Сани Лаженицына и Ксении Томчак (A17, 91) здесь нет. Аккуратный сигнал подан только в пояснениях к Первому Узлу: «Отец автора выведен почти под собственным именем, а семья матери доподлинно». Герои, даже обретя друг друга, не узнают об этом опосредованном соприкосновении — они могут только вдвоём его «домыслить» и осознать символичность этой «случайности». Саня видит не свою суженую, а жену ее брата, с которой действительно не встретится. (Речь идет о персонажах, а не об их прототипах.)

Здесь (как отчасти и в истории Воротынцева и Андозерской) Солженицын тонко корректирует глубоко традиционные принципы романного сюжетосложения, замечательно явленные в «Войне и мире». В книге Толстого постоянно происходят «случайные» встречи (спасение княжны Марьи Николаем Ростовым от взбунтовавшихся богучаровцев; князь Андрей, видящий тяжело раненного Анатоля Курагина; князь Андрей, оказывающийся в одном обозе с Ростовыми по оставлении Москвы; освобождение Пьера из плена отрядом Денисова и Долохова, совпадающее с гибелью Пети Ростова), символический смысл которых автором не утаивается. Толстому важно создать картину хаотического движения персонажей, но не менее важно обнаружить тайную логику, строящую их судьбы (и общую судьбу людского рода). Противоборство этих авторских устремлений заметно в эпизоде первой встречи Пьера и Наташи, случившейся в тот же день (чуть раньше), что и превращение незаконного сына, человека без состояния, статуса и определённых жизненных планов, в богача и графа Безухова. Обычно читатель фиксирует лишь контраст праздника у Ростовых и агонии старого Безухова, всеобщей взаимной доброжелательности на балу и борьбы (войны) за портфель с завещанием. О том, что именно в точке внешнего поворота Пьер увидел (но ещё не угадал) свою истинную жену, помнят реже. И ещё реже — о том, что встреча произошла в Натальин день (именины графини Ростовой и её младшей дочери), то есть в день будущего Бородинского сражения, в котором участвуют как «ложные» претенденты на руку Наташи (Борис Друбецкой, Денисов, Анатолий Курагин, Андрей Болконский), так и тот, кому она предназначена. Скрытость символики не отменяет её весомости. В «мире» Толстого «случайностей» на самом деле нет (потому автор и может прийти на выручку любимым героям: смерть Элен — и воздаяние за её грехи, и необходимое условие для свершившегося на небесах брака Наташи и Пьера). Эта тенденция ещё

более настойчиво проводится в «Докторе Живаго», последовательно строящемся на «скрещеньях» судеб (если иные персонажи не понимают, что с ними происходит, не распознают в новых знакомцах знакомцев старых, просто не замечают друг друга, то об этом прямо напоминает автор).

Мир, изображаемый Солженицыным в «Красном Колесе», менее «плотен». Встречи героев далеко не всегда «отыгрываются» в их дальнейших судьбах или даже предполагают встречи новые (вспомним, например, краткие соприкосновения Харитонов и Чернеги (19), Нечволодова и Смысловского (20, 21), курсисток и Андозерской (75); после совместного выхода из окружения расходятся пути Воротынцева, Благодарёва, Харитонов и Ленартовича, хотя все четверо будут появляться на страницах Второго — Четвёртого Узлов). Герои Солженицына часто не знают о своём сюжетном «соседстве», о том, что у них есть общие знакомые; их судьбы не перекрещиваются, но мягко, иногда — опосредованно, соприкасаются. Так выстраиваются цепи, не ведомые персонажам, но ощутимые читателю: например, Воротынцев — Ленартович — Вероня и Ликоня — Андозерская; или Воротынцев — Харитонов — Ксения Томчак; или Воротынцев — Благодарёв — Саня Лаженицын, во взводе которого окажется (уже во Втором Узле) Арсений, перешедший по протекции Воротынцева в артиллерию. Эта неосведомлённость персонажей о бывших «почти встречах» (или незамеченных встречах?) иронически запечатлена в шутливой перебранке Чернеги и Благодарёва, касающейся как раз событий «Августа»: Чернега спрашивает:

«— ...Если ты там был, в самсоновском окружении, — почему ж я тебя не видел? Где ты ходил?

— Так и я же вас не видел, — осклабился Благодарёв посмелей. — Сколько прошли — а вас не видали. Вы-то — были, что ль?» (О16, 4)

Видели обоих (и, конечно, не только их) автор и читатель. Ограниченность знания всякого отдельного персонажа указывает на неохватный масштаб случившихся событий (и тем более — жизни вообще); тайная «зарифмованность» судеб — на смысловое единство исторического процесса, человеческого бытия. Мир одновременно огромен и предельно мал. (См. размышления Смысловского «под звёздами» о постоянной угрозе гибели Земли и человечества по «естественным» — или все же, если отрешиться от точки зрения персонажа, мистическим? — причинам, при свете которых «мелочами» видятся военные и революционные катаклизмы (21).)

Многогеройность повествования Солженицына, не раз оговоренные писателем установки на изображение всякого персонажа как «главного» (в рамках соответствующего эпизода) и отказ от традиционного романного протагониста безусловно развивают и усиливают повествовательную стратегию Толстого. В «Войне и мире» мы тоже перемещаемся от героя к герою и, находясь в смысловом пространстве, например, Николая Ростова, воспринимаем его как «равного» остальным значительным персонажам (о которых можем на время забыть). Это иногда

распространяется и на персонажей эпизодических (вспомним, например, эпизоды посещения Алпатычем оставленного Смоленска или встречи Лаврушки с Наполеоном, в которых лица, чей сюжетный вес минимален, описаны — не только извне, но и изнутри — с тем же тщанием, что и избранныки автора). Различить в Пьере Безухове «главного героя» гораздо труднее, чем в Гринёве или Печорине. Однако от того Пьер не утрачивает своего особого статуса. Он единственный герой, который проходит сквозь весь роман (буквально от первой сцены, в салоне Анны Павловны Шерер, до последней, сна Николеньки Болконского, которым завершается первая, «сюжетная», часть эпилога). Личность и жизненные блуждания Пьера «сопрягают» три несхожие семьи (Болконских, Ростовых, Курагиных), за судьбами членов которых следит Толстой. Пьер, человек подчеркнуто «мирный» (и тем противопоставленный абсолютному большинству остальных персонажей-мужчин, профессиональных военных), оказывается в самой гуще войны (Бородинское сражение, занятая французами Москва, плен). Наконец, именно он приобщается к бытию и сознанию народа: общение Пьера с Платоном Каратаевым обладает куда большей значимостью (и для самого героя, и для автора и читателя), чем привычные контакты персонажей-офицеров с «нижними чинами».

Солженицын прячет протагонистов «Красного Колеса» ещё тщательнее, чем Толстой. Персонажи, попадающие в поле нашего зрения, действительно равномаштабны: так обстоит дело, покуда речь идёт о человеческих «историях» (иногда — с глубокими ретроспективными ходами) и характерах, семейных и сословных чертах персонажей, их восприимчивости и оценке происходящего (как конкретных, «сиюминутных» обстоятельств, в которых им выпало нечто решать и как-то действовать, так и событий глобальных, о которых они — включая как бы и не озабоченных историей и политикой мужиков в шинелях — так или иначе думают). Каждый из описанных в «Августе» людей, в принципе, мог бы стать главным героем некоего романа (и это Солженицын даёт нам почувствовать), но не одно из этих гипотетических повествований не было бы равно тому, которое мы читаем. Для того чтобы запечатлеть смысловое единство происходящего, необходима не только постоянная смена точек зрения (один герой не может находиться всюду одновременно), но и особый пункт обзора. Картина, увиденная (и истолкованная) с этой позиции не превышает и не перекрывает все прочие, но позволяет (заставляет) соотносить их между собой. Отсюда качественное отличие от всех прочих двух героев — Воротынцева, которому выпало прожить, почувствовать и осмыслить всю «Самсоновскую катастрофу» (от его приезда в штаб вроде бы ещё успешно наступающей Второй армии (10) до «взрывного» доклада Верховному о причинах поражения (82)), и Сани Лаженицына, пока ещё не добравшегося до фронта, то есть напрямую не соприкоснувшегося с главными историческими происшествиями тех дней и формально присутствующего в повествовании совсем мало (две первые главы, само зачинное положение которых предполагает особый

смысловой ранг героя, и глава 42-я, описывающая прощание с Москвой и мирной жизнью, следующая за обзором военных действий 15 августа, когда и произошёл разгром армии Самсонова).

В «Августе» Воротынцев — наиболее активный персонаж, пытающийся творить историю, быть её субъектом. Сане здесь отводится роль одного из многочисленных «объектов» истории (что, впрочем, не предполагает пассивности — свой личный выбор Лаженицын проговаривает уже при встрече с Варей (1) и остаётся верным ему до конца). Это соотношение сохранится на протяжении всей эпопеи, и понятно почему. Саня воплощает юную Россию, то поколение, что было застигнуто катастрофой 1914–1917 годов в миг становления и просто не могло принять на себя основную ответственность за судьбу страны. Воротынцев — поколение зрелое, подошедшее к жизненному зениту и полное сил (вспомним мощный экономический, промышленный, культурный, духовный рост России на рубеже XIX–XX столетий), выстоявшее в первый революционный натиск, но не нашедшее должного ответа на новый — сокрушительный — вызов истории⁵.

Наряду с поколенческими различиями для понимания взаимодополнительности героев в структуре «Красного Колеса» (и его Первого Узла) весьма существенно, что Воротынцев и Лаженицын обретаются в разных жизненных сферах. Речь идёт не о сословной принадлежности: то, что Воротынцев — потомственный дворянин, а Лаженицын — крестьянский сын, конечно, как-то на их личностях сказывается, но отнюдь не определяющим образом. (См. рассуждения Варсонофьева об условиях в XX веке понятия «народ» и «интеллигенция» (42).) И не об идеологических предпочтениях (у Воротынцева, строго говоря, никакой идеологии нет, его верность «столыпинскому духу» основана на здравом смысле и нравственном чувстве; Санино книжное правдоискательство характерно для любого мыслящего юноши и, по сути, не затрагивает его душевного центра — потому и стал возможен отказ от толстовства.) По-настоящему важно, что Воротынцев — профессиональный военный, а Саня — человек подчёркнуто мирного склада (резонный вопрос Вари: «Да разве у вас характер — для войны?» (1); увлечение Толстым тоже не случайно). Поставив Воротынцева и Лаженицына (лучших представителей двух поколений и двух жизненных сфер) в особые сюжетные позиции, автор постоянно скрыто соотносит их с другими персонажами. «Молодые» и «взрослые», «профессиональные» и «сторонние» реакции на начало Первой мировой, прихотливо распределённые меж многочисленными участниками и наблюдателями исторических событий, складываются в объёмную трагическую картину, единство которой придают два центральных героя. Воротынцев выходит из августовского ада с ясным сознанием: если мы будем так воевать, Россия погибнет. Лаженицын идёт на войну, не представляя, что его там ждёт. Горькая (и оказавшаяся ненужной) умудрённость одного и светлая наивность другого, взаимно отражаясь и дробясь в отражениях дополнительных, заставляют читателя понять, что же всё-таки случилось

в Восточной Пруссии и почему поражение одной армии (формально рассуждая, отнюдь не фатальное для России — да и воевали мы потом с переменным успехом больше трёх лет) избрано писателем в качестве отправного пункта. Иначе говоря, почему «красное колесо» (колесо паровоза, на которое заморожено смотрит Ленин (22), горящая мельница в Уздау, вид которой изумляет Благодарёва и Воротынцева (25), отскочившее колесо телеги (30)) начало своё всеразрушающее и, как выяснилось, неуправляемое движение уже в августе 1914 года.

Как известно от самого автора, уже задуманный им в 1937 году «большой роман о русской революции» должен был открываться описанием начальных событий Первой мировой войны — Самсоновской катастрофы. Мысль о том, что роковые злосчастия России коренятся именно в ненужной войне, оборвавшей течение сложной и конфликтной, но органичной жизни, стала для писателя заветной. Вполне отчётливо она обозначена в рассказе «Матрёнин двор»:

« — ...Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.

Она уронила это — и вспыхнул передо мной голубой, белый и жёлтый июль четырнадцатого года: ещё мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; её, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споёшь при механизмах».

Рассказчик видит других Матрёну и Фаддея, не просто молодых и здоровых, но для другой — счастливой — жизни предназначенных. Эту жизнь у них отняла война. Рассказчик видит другую — истинную — Россию, столь непохожую на искорежённую лагерно-колхозную страну, где одинокая праведница становится объектом снисходительного презрения, а бывлой чудо-богатырь обращается в озлобленного и корыстного мстителя, многие годы спустя воздающего за единственный Матрёнин грех. Конечно, и в старой России случались войны⁶, рушились судьбы, черствели души, а праведник далеко не всегда был почтён любовью ближних. Рая на земле не было никогда. Но и того ада, в котором прошла почти вся жизнь незлобивой Матрёны и утратившего свои лучшие начала Фаддея (а они были — иначе не вспоминала бы Матрёна с такой нежностью о своей пропавшей любви), того ада, что за долгие советские годы стал единственной нормой бытия, в России тоже прежде не было. Покуда не сорвалась она в бессмысленную войну. Потому так важна в «Матрёнинном дворе» несколькими строками запечатлённая картина привольной и обильной жизни, утраченной гармонии природы и человека.

Эта же картина возникает в первых — «мирных», включённых в сюжетную сферу Лаженицына — главах «Августа». И важны здесь не только частности, не только подробные, избыточные колоритными деталями, «державинские» описания «правильной» жизни (крестьян Лаженицыных, которые, однако, могут позволить «странному» сыну учиться в университете (1), богатых землевладельцев Томчаков (3—6,

9), купца Саратовкина, в пятигорском магазине которого «приказчики считали позором ответ: «У нас нету-с» (8)), но более того — открывающий повествование символический пейзаж:

«Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, — доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми горами складывая всё сработанное ими или даже задуманное, — не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта» (1).

Человеческий труд может и должен быть весом, осмыслен и прекрасен. Как и в зачинных главах, на протяжении всего повествования Солженицын будет тщательно и восхищённо описывать тружеников-мастеров — крестьян, рабочих, инженеров, учёных, мыслителей, даже администраторов, политиков, военных, если они действительно мастера и труженики, если заняты делом, а не пустой либо корыстной говорильней. Человек обязан трудиться, по труду (физическому и духовному) он на земле оценивается. Но всякий труд (даже в самых высших проявлениях) есть слабое подражание и продолжение сотворения мира, а всякое создание ума и рук человеческих — малость перед лицом Божьего мира. Его-то величие и явлено в зачине «Августа».

Горы — традиционный символ совершенства, сверхчеловеческой красоты и мощи. Само их присутствие в мире — напоминание о Боге, о вечности, о небесной отчизне, к которой тянутся снеговые, словно из чистого света составленные вершины, к которой вольно или невольно стремится человеческая душа. Горы напоминают человеку о его малости (что прямо сказано Солженицыным), но и зовут его в высь. Не случайно мотив горной выси и восхождения к ней звучит и в Священном Писании, и в молитвах, и в мирской словесности (устной и письменной) многих народов. И, разумеется, в европейской и русской литературе Нового времени. Обычно речь идёт о движении к горам, а их неожиданное появление ошеломляет странствующего и наполняет его душу каким-то особым чувством. Так у Пушкина, убирающего эмоции в подтекст: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за десять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это — снежные вершины Кавказа». Так в толстовских «Казаках», где Оленин, увидев горы, начинает иначе воспринимать весь обступающий его мир. У Солженицына горы не возникают, а исчезают. Реальный маршрут (Саня едет от гор) обретает символическую окраску — из мира уходит вертикаль, связывающая землю с небом. Всё идёт по-прежнему; война в курортном Пятигорске почти незаметна (так будет потом и в Москве, прощание с которой отзовётся сомнением Сани и Коти: «Естественно уходить в Действующую армию из Москвы выдающей, траурной, гневной, — а из такой живой и весёлой не поторопились ли»

(42)). Но почему-то свербит в Саниной душе от мелькнувшего за окном поезда видения прежней жизни (2). Но прогулка Вари по Пятигорску, изначально окрашенная в траурные тона (прощание с умирающим благодетелем, которого надо бы презирать, а почему-то не получается; грусть от вымоленной, но оказавшейся пустой встречи с Сашей; вдруг ещё раз осознанное собственное сиротство) и подсвеченная вспышкой расстеленного поперёк тротуара «роскошного текинского тёмно-красного с оранжевыми огоньками» ковра (ещё не «красное колесо» — только предвесье) заканчивается в «чёрном неповоротливом капкане! колодце!», где сдуру в этот ад напросившаяся курсистка задыхается «от страха и жара». И хотя «Варя пятигорская» выйдет из чулана живой (мы слышим её вздорный щебет в стайке столичных курсисток (75)), встреча с «героическим» (нацеленным только на насилие ради самого насилия) анархистом ей даром не пройдёт:

«И ощутила на плечах неумолимое давленье его нагибающих рук.
Вниз» (8).

Вектор задан — не вверх (горы растаяли), а вниз. Или в пустоту. Избавленный отцом от ещё недавно дамокловым мечом нависавшего призыва, Роман Томчак вдруг «ощутил весь ... горячий интерес и смысл» газетных известий. И принялся двигать по карте флажки. «От него самого зависело, захватить или не захватить лишних десять-двадцать вёрст Пруссии». Последняя фраза зачинных глав: «Корпуса шагали!» (9).

Шагали, как выяснится вскоре, — в мешок будущего окружения, на гибель. Вязли в песках и болотах. Меняли маршруты по прихотям или оплошностям высшего начальства. Жарились под солнцем. Изматывали себя безостановочным движением. Полегоньку мародёрствовали. И день за днём не видели умело отходящего противника. То есть шагали в пустоту.

Уже в первой «восточнопрусской» главе (11) командующий обреченной Второй армии Самсонов догадывается, что его войско идёт туда и не так. И сходное чувство смутно возникает у только что прибывшего в самсоновский штаб Воротынцева. Но и ближнее начальство (командующий фронтом Жилинский), и начальство дальнее (Верховный и его окружение) смотрят не на крупномасштабные карты, с их утомляющими подробностями, что принуждают помнить о мерящих вёрсты солдатах, но на карты общеевропейские. Почти как Роман Томчак, вспомнивший, что со времён Венского конгресса «эта прусская культяпка, выставленная к нам как бы для отсечения, никогда ещё не испытывалась» (10)⁷. Они гонят живых солдат вперёд — совершенно в духе Романа Томчака (стык глав заставляет и неосведомленного в истории самсоновской катастрофы читателя встревожиться ещё до того, как зловедущая неразбериха будет представлена во всей полноте). Они руководствуются высшими политическими соображениями, в которые не даёт себе воли вникать верный царский слуга, «семипудовый агнец», разумный, достойный, опытный, но не готовый к новой войне — по-новому

стремительной, жестокой и не прощающей малейших ошибок. И лишь ощутив на собственной шкуре весь ужас новой войны, которую Россия ведет по старинке, Воротынцев, в принципе гораздо более, чем Самсонов, готовый к вызовам современности⁸, до конца понимает, что катастрофа разразилась не из-за медлительности и осмотрительности командующего Второй армии (Самсонов сделал всё, что мог, и об этом Воротынцев говорит на совещании у Верховного (75)), не из-за трусости и бездарности трёх корпусных командиров (были ведь и энергичные удачные действия «блистательного генерала Мартоса», достойные «войти в хрестоматию» подвиги многих полков — о них Воротынцев тоже не забыл сказать в Ставке) и уж никак не по вине солдат, чьё терпение и мужество пересиливали их же усталость, недоумение от заведомо бессмысленных перемещений, невольно рождающуюся неприязнь к неведому что вытворяющему начальству (потом это глухое чувство обиды, рождающее нелепые толки о генеральских и придворных «изменах», ещё как отзовётся — не только агитация революционеров в конце концов разложит русскую армию). «Р а з г р о м» (слово это Воротынцев произносит вопрекор Верховному, уже им круша собственную карьеру) случился потому, что весь план ведения войны бездарен, что «решительная помощь» союзникам (без которой тоже лучше бы обойтись) превратилась в «самоубийство», что армией (и страной) управляют люди, в «лучшем» случае — всего лишь непригодные к делу, некомпетентные, отжившие свой век, а зачастую — трусливые, жадные только до государевых милостей, угодливые, безответственные, лишённые чувства собственного достоинства, мелкие. Всех этих слов герой не выговаривает, но именно их слышат (и наливаются ненавистью) виновники гибели Второй армии и грядущих сходных катастроф, те «живые трупы», из-за которых, по прозвучавшему слову Воротынцева, «мы рискуем проиграть в с ю в о й н у». Их слышит Верховный, который рад был пугнуть отчаянным офицером навязанную штабную челядь, но вовсе не ожидал, что допущенная им на совещание мелкая сошка (даже не генерал!) переступит «дозволенные границы», произнесёт непроизносимое. Слышит, что-то даже понимает (явно больше, чем скопище холуёв) — и именно потому жестоко осаживает зарвавшегося полковника.

Решение сказать Верховному всю правду абсолютно логично продолжает тот ряд действий, что был совершён Воротынцевым во Второй армии. Здесь то же соединение безрассудного «взрыва» и рациональности (да и тактического расчёта — возник же поначалу «молчаливый сговор» меж великим князем и полковником, была же у совсем не наивного героя на чём-то основанная надежда «направить» Николая Николаевича должным образом), что просматривается во всех движениях героя, энергично, умно, смело, но тщетно пытавшегося выиграть безнадежное дело, дело, за которое он не должен (и не может!) нести ответственность. Воротынцев знает, что надлежит делать, — и делает: в штабе Самсонова, в корпусе Артамонова, под невиданным прежде огнем противника (25), выстраивая заслон Найденбурга (36), проводя разведку

с казаками (37), выходя из окружения по Грюнфлисскому лесу (47, 50, 55). Но реального успеха достигает лишь в последнем случае — спасает не армию (ради помощи которой и сорвался из штаба), а нескольких солдат и офицеров да себя самого. Деятельный, уверенный в себе, не сидящий на месте Воротынцев кажется антагонистом генерала Самсонова — тяжелодумного, трудно принимающего решения, не ищущего новизны и не дерзающего судить о том, что выходит за пределы доверенной ему сферы действия. Однако при этом Самсонов пусть медленно, пусть осторожно, но понимает, что происходит и как надлежит действовать. И пытается спасти армию всеми силами. Только не хватает рук на то, чтобы совладать и с бездарным начальством, и со строптивыми (тоже бездарными) подчинёнными, и с новыми правилами войны. Самсонов и Воротынцев, медлитель и деятель, пожилой генерал и полковник, которому надлежало бы в генералы выйти, приходят к одному и тому же печальному итогу. Обстоятельно «отстоявшиеся» мысли Самсонова о случившейся беде и очень возможных будущих поражениях (48), в сущности, тождественны инвективам Воротынцева, хотя нет в них ни той формулировочной точности, ни того азарта, ни того гнева, что окрасили «взрывную» речь полковника.

Воротынцев ещё надеется переменить течение событий — и потому выходит из Грюнфлиссского леса со своей случайно сложившейся группой (армией в миниатюре) и даёт бой в Ставке, пытается раскрыть глаза тем, кто губит Россию. Самсонов осознает свою личную беспомощность перед лицом грозной «силы вещей» — и потому винит в первую очередь себя («Он хотел только хорошего, а совершилось — крайне худо, некуда хуже. <...> Страшно и больно было, что он, генерал Самсонов, так худо сослужил Государю и России»), отрешается от прежних обид и поиска виновных⁹ и кончает с собой в том же самом Грюнфлиссском лесу (48). Самоубийство Самсонова — аналог «самоубийственной» речи Воротынцева, которая становится смысловым итогом Первого Узла и предваряющим объяснением дальнейших событий. Закономерно, что самоубийство Самсонова приходится на композиционную вершину «Августа Четырнадцатого», точную середину текста (при двухтомном издании — а иначе печатать «Август» едва ли целесообразно — это последняя глава первой книги)¹⁰.

Трагический конец Самсонова, кажется, в принципе не может быть истолкован однозначно. Описывая прощание генерала с разгромленными войсками, Солженицын говорит о его нравственной высоте, которую чувствуют и солдаты, и Воротынцев. «Эта обнажённая голова с возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несмешанно-русское волосатое лицо, чернедь густой бороды, простые крупные уши и нос; эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, царский, допетровский, — не подвержены были проклятью». Воротынцев распознаёт в Самсонове жертву и чувствует, что такой жертвой может стать сама Россия: «А за четверо с половиной суток (когда Воротынцев метался по фронту, а не оберегал командующего. — А. Н.) совершилась вся катастро-

фа Второй армии. Вообще — русской Армии. Если (на торжественно-отпускающее лицо Самсонова глядя), если не (на это прощание допетровское, домосковское), если... не вообще...» Воротынцев догадывается, что Самсонову открылось нечто, обычному человеку недоступное: «Нет, не облако вины, но облако непонятого величия проплывало по челу Командующего: может быть, по внешности он и сделал что противоречащее обычной земной стратегии и тактике, но с его новой точки зрения всё было глубоко верно» (44). Отрешённость, осознание себя жертвой (не отменяющее, однако, чувства вины) слиты в Самсонове с ощущением провиденциальности случившегося, подчинённости исторических событий Божьей воле. Чувство это приходит с вещим сном, когда после долгих молитв (как и позднее, перед смертью, готовые молитвы переходят в молитвы почти без слов (31, 48)) Самсонов слышит загадочное «Ты — успишь...» (не «успеешь» и не «успнешь», а «успишь»), а очнувшись, понимает, что «успишь» — «это от Успения, это значит: умрёшь» и что «Успение — сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России» (31). Глава эта, в начале которой Самсонов вспоминает немецкую фразу о Наполеоне в горящей Москве («Es war die höchste Zeit sich zu retten» — «Было крайнее время спастись»); подчеркнута двусмысленность эпитета — *höchste* буквально значит «высшее») следует непосредственно за третьим видением «красного колеса», колеса, отлетевшего от телеги. В телеге этой задним числом распознаёшь символическую телегу российского государства из переписки грамотного крестьянина с Толстым, о которой Саня рассказывает Варсонофьеву. В отличие от Толстого, Саня полагает, что телегу должно не бросить, но поставить на колеса (42). Именно это и не удаётся сделать решившемуся было на спасительный «отважный удар» Самсонову, что подчеркнута монтажным стыком 30-й и 31-й глав и пожарно-наполеоновской отсылкой к «Войне и миру». Сознание обречённости у Самсонова возрастает в День Нерукотворного Образа:

«До последней минуты исчерпался, минул, канул день Успения — и не протянула Божья Матерь своей сострадательной руки к русской армии. И уже мало было похоже, что протянет Христос.

Как будто и Христос и Божья Матерь отказались от России» (44).

Голоса автора и Самсонова сливаются, и мы, как чуть позже Воротынцев, проникаемся правдой самсоновского смирения, хотя главы предшествующие (42-я — оправданность ухода Сани и Коти на войну; 43-я — умный героизм отступающих) настраивают на иной лад. Где кончается покорность Божьей воле и начинается непротивление злу, невольно споспешествующее его преумножению? Где смирение переходит в нравственную капитуляцию, а высота духа — в бегство от ответственности? Рациональных ответов на эти вопросы нет. Видя в последний раз Самсонова, Воротынцев не анализирует его действия, а переполняется состраданием к командующему.

Смертью Самсонов освобождается. По сути, он умер раньше, чем выстрелил в себя: сперва — внутренне отодвинув всё здешнее (и в первую очередь — своих спутников), потом — потерявшись в лесу, который

вдруг волшебным образом изменился. «Повсюду было тихо. Полная мировая тишина, никакого армейского сражения. Лишь подвевал свежий ночной ветерок. Пошумливали вершины». Тишина, свежесть, ночь, высь — трудно не расслышать здесь ключевых слов того восьмистишия о скором и счастливом успокоении, что было написано по-немецки Гёте и порусски — Лермонтовым. Горы, исчезнувшие в зачинной главе, возникают вновь — хотя речь идёт о «вершинах» деревьев, контекст и лермонтовское слово рождает эту ассоциацию. «Лес этот не был враждебен (только теперь, в минуты, предшествующие уходу Самсонова; и прежде, и после он для русского воинства именно таков. — А. Н.): не немецкий, не русский, а Божий, всякую тварь приючал в себе». Самсонов и растворяется в лесу, как «всякая тварь», как «всякое умирающее лесное». Земного суда ему больше нет. Об ином же Суде нам знать не дано. Заметим, однако, что, сказав о самом страшном («Только вот почисляется грехом самоубийство» — и герой, и автор, и читатель знают: не просто грехом, а тяжелейшим), Солженицын не описывает рокового выстрела — главу заключает молитва: «Господи! Если можешь — прости меня и прими меня. Ты видишь: ничего я не мог иначе и ничего не могу» (48). Самсонов достиг своего предела. Воротынцеву суждено держаться дольше. И помня о том, почему и как умер Самсонов, не имея права высокомерно признать постигшее его откровение — заблуждением и наваждением, а уход — непростительным грехом, мы — при глубоком сочувствии к Воротынцеву и другим героям-деятелям — принуждены постоянно задумываться: а есть ли в их поступках реальный смысл? а не заведомо ли обречены энергичные борцы на поражение? а не ждёт ли каждого из них участь Самсонова?

Нет, не каждого. Но кого-то — ждёт. В этом плане огромную смысловую нагрузку несёт появление в «Августе Четырнадцатого» полковника Крымова (16, 28), который, на первый взгляд, может показаться персонажем излишним, так сказать, дублёром Воротынцева. Не случайно, однако, уделив Крымову совсем немного места, автор указывает на его личную близость Самсонову, на их взаимную приязнь. Крымов присутствует в «Августе Четырнадцатого» не только потому, что он сражался в Восточной Пруссии, но и с учётом будущего этого человека, что несомненно возник бы на страницах «Красного Колеса», если бы автор дошёл повествование до августа 1917 года. Тогда генерал-майор А. М. Крымов стал наиболее решительным участником действий Корнилова по спасению России от большевиков. Он был обвинён Керенским в измене и передан под следствие. «Отправив Корнилову предсмертное письмо с офицером (Россия погибла, и не стоит больше жить!), Крымов застреливается в канцелярии военного министра» («На обрыве повествования», Узел VI — «Август Семнадцатого»). В пространстве эпопеи Солженицына самоубийство Крымова — повторение самсоновского; читатель подготовлен к нему впечатлением Воротынцева от встречи с Крымовым осенью 1916 года: «не убит, но — истратился»

Крымов. Был кремень, а посочилась влага из него. У всего живого есть рубеж. Есть барьер неудач, выше которого уже ног не тягают» (О16, 42).

Но если есть такой барьер, если рано или поздно всякому борцу станет ясно, что усилия его тщетны, то зачем тогда совершать какие-либо резкие действия? Видим же их щету: наблюдая хоть за Воротынцевым в «Августе Четырнадцатого», хоть за полковником Кутеповым, когда он 27 февраля 1917 года пытается (толково, энергично, умно) придавить в зачатке петроградское возмущение, ставшее революцией (М17, 76, 79, 88, 108, 116), хоть за Корниловым и гибелью Крымова в августе того проклятого года. Есть ведь резоны у Свечина, когда он корит Воротынцева за его поездку во Вторую армию и уговаривает друга держать при себе выстраданную правду: «Безсмысленно с властями воевать, надо их аккуратно направлять» (81). Предположим, Воротынцеву разумнее было не ездить во Вторую армию вовсе, а готовить в Ставке грамотные приказы (прав Свечин — вдвоём бы больше пользы принесли); если уж приехал — на шаг не отходить от Самсонова (советовать, благо, «новую войну» глубже понимает, подбадривать, давить авторитетом человека, причастного верхам, на непутёвое окружение командующего); если уж вернулся — не бесить начальство, упрочить карьеру (можно было, можно!) и как-то да влиять на великого князя (во вменяемость которого, впрочем, Свечин не верит). Ну а что было делать Кутепову в феврале, а Крымову в августе 1917-го? Кому и что советовать? Сдержанность и лояльность Свечина сделают для него невозможным участие в заговоре Гучкова (к чему склоняется Воротынцев (О16, 42), но не они ли позже превратят генерала в «спеца» при большевиках, в итоге ими расстрелянного? (Изменив имя этого не слишком известного исторического лица, Солженицын счёл нужным сообщить о его судьбе в «Авторских замечаниях к Узлу Второму».) Мы не смеем осуждать уходящего в небытие Самсонова. Но точно так же не смеем упрекать тех, кто, терпя поражение за поражением, продолжал борьбу.

Во всяком случае, пока мы говорим о социально-политической истории. Но у истории, по Солженицыну, есть и иное — мистическое — измерение. Когда Самсонову мнится, что Господь оставил Россию, можно (и хочется) сказать, что уставший генерал впадает в соблазн. Но в соблазне этом страшно преломляется высшая правда. Вот что сказано Солженицыным в «Темплтоновской лекции» (1983; работа над двумя Узлами «Красного Колеса» уже была завершена): «Больше полувека назад, ещё ребёнком, я слышал от разных пожилых людей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: "Люди забыли Бога, оттого и всё". <...> Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту всего XX века, то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: "Люди — забыли — Бога". Пороками человеческого сознания, лишённого божественной вершины, определились и все главные преступления этого века. И первое из них — Первая мировая война, многое наше сегодняшнее — из неё. Ту, уже как будто забываемую, войну, когда изобильная, полнокровная, цветущая Европа как безумная кину-

лась грызть сама себя, и подорвала себя может быть больше чем на одно столетие, а может быть навсегда, — ту войну нельзя объяснить иначе как всеобщим помрачением разума правящих, от потери сознания Высшей Силы над собой».

Забьли Бога те, кто позволили России сорваться в войну. Что случилось, конечно, не в одночасье лета 1914 года. Ответственность за вступление России в войну несет власть — «помрачение разума правящих» детально описано Солженицыным в специально выделенном разделе («Июль 1914») главы, посвящённой императору Николаю II (74). Государь не способен оценить масштаб и перспективы вершащихся событий, которым по-человечески он вовсе не рад (Солженицын настойчиво подчёркивает миролюбие императора, прямо связанное с его простодушным идеализмом). Роковое решение царя стимулировано частью благородными, но расплывчатыми общими соображениями о славянском братстве и нравственной необходимости защищать слабых, частью — опрометчивыми союзническими обязательствами (рабствование которым удобно трактовать в высоком плане как рыцарскую верность слову), частью — привычкой мыслить политику делом семейным (родственная приязнь к императору Вильгельму, полное к нему доверие, замороженность его личностью и многолетними «братскими» отношениями превращаются в едва ли не детскую обиду, желание отомстить и «доказать» свою силу и самостоятельность). Далеко не в первый (см. проведённый Солженицыным подробный анализ действий Государя в 1905 году (74)) и, увы, не в последний раз (об этом «Октябрь Шестнадцатого» и, особенно, «Март Семнадцатого») Николай II оказывается слабым и близоруким политиком, оставаясь при этом добрым, трогательным и вызывающим (наряду с недоумением и раздражением) сочувствие человеком. Государя жалко не только потерпевшему страшное поражение и внутренне готовящемуся оставить сей мир Самсонову, но и читателю. Покуда не вспоминаешь, что именно царь должен был уберечь Россию от «красного колеса».

Это хорошо понимает (хотя и не договаривает до конца) кормящий Россию Захар Томчак, который войну против Германии считает «бисовой дуростью»: «Сейчас, когда годы такие пошли, что Россия соками наливается, не воевать надо было, а по тому Ерцгерцогу панихиду отслужить да на поминках трём императорам выпить горилки» (9). Старый крестьянин, ставший богатым хозяином, но не переставший быть истовым работником, не только человечнее, но государственно мудрее и богобоязненнее «трёх императоров»¹¹. Бытовой, приправленный само-иронией тон вовсе не дискредитирует суждение Томчака. Только не нашлось человека, что сумел бы приобщить русского царя (а зависит-то всё от него, потому он и его царственные собратья-враги Томчаку припомнились!) к правде крепкого русского мужика. Уже здесь Солженицын готовит читателя к принципиально важным для всего «Красного Колеса» «столыпинским» главам. Как энергичное хозяйствование Томчака (заслуженно принесшее ему богатство) практически воплощает

социально-экономические идеи Столыпина, доказывает их правоту и в какой-то мере предстаёт их следствием, так его мысли о войне и мире невольно отражают внешнеполитическую доктрину министра-реформатора: «...только избегать международных осложнений, вот и вся политика. России война совершенно не нужна, и во всяком случае нужно 10–20 лет внешнего и внутреннего покоя, а после реформ — не узнать будет нынешней России, и никакие внешние враги нам уже не будут страшны» (65).

Ровно об этом говорит Воротынцев Свечину: «...мы всю жизнь учимся как будто только воевать, а на самом деле не просто же воевать, а как верней послужить России? Приходит война — мы принимаем её как жребий, только б знания применить, кидаемся. Но выгода России может не совпадать с честью нашего мундира. Ну подумай, ведь последняя неизбежная и всем понятная война была — Крымская. А с тех пор...» Свечину эти мысли Воротынцева, его противопоставление службы «войной» и службы «одной силой стоящей армии» кажутся доходящими «до бессвязности». Это точно соответствует его несогласию с порывом Воротынцева высказать всю правду; квалифицированный, умный и честный военный, Свечин не желает выходить за положенные ему пределы — он знает и хочет знать только свой шесток. И потому не может понять, с чего это Воротынцев «вспомнил Столыпина».

Между тем ход мысли Воротынцева строго логичен. Вопрос: «А почему мы здесь? Не на полянке этой, не в окружении здесь, а... вообще на этой войне?» настиг полковника, когда он «ходил на полянке часовым, под звёздами» (81). То, что открывается здесь герою, может (и должно быть) истолковано на трёх уровнях. Высший — война вообще есть «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (Толстой, зачин третьего тома «Войны и мира»). Воротынцев чувствует эту высшую правду примерно так же, как лежащий на поле Аустерлица князь Андрей или герой лермонтовского стихотворения «Валерик» («Я думал: жалкий человек./ Чего он хочет!.. Небо ясно,/ Под небом места много всем,/ Но беспрестанно и напрасно/ Один враждует он — зачем?»). Упоминание «звёзд», издавна символизирующих мировую гармонию, отсылает читателя и к сцене ухода Самсонова (вспомним «единственную звёздочку», на которую он молился — в том же Грюнфлисском лесу, где бодрствует Воротынцев (48)) и к раздумьям Смысловского в разговоре «под звёздами» с Нечволодовым («Дерёмся за какую-то станцию Ротфлис. А вся Земля наша... <...> ...Блудный сын царственного светила. Только и живёт подаяннем отцовского света и тепла. Но с каждым годом его всё меньше, атмосфера беднеет кислородом. Придёт час — наше тёплое одеяло износится, и всякая жизнь на Земле погибнет... Если б это непрерывно все помнили — что б нам тогда Восточная Пруссия?.. Сербия?..») (21)¹².

Следующий уровень — общеполитический. Сегодняшней России (не решившей множества экономических и социальных задач, не

изжившей до конца язву революции, не сумевшей достигнуть общественного согласия и правильно выстроить отношения власти, народа и образованного сословия) война не нужна и опасна, и тем более губительно для неё стремительное вступление в войну.

Наконец, уровень третий — собственно военных. Русская армия воеет плохо — не только из-за того, что план кампании составлен бездарно, а среди генералов немало трусов и карьеристов, но и потому, что к новой войне она вообще не готова (явно недостаточно вооружена, экипирована, обучена).

Может показаться, что к Столыпину имеет отношение лишь средний — политический — уровень мысли Воротынцева. Но это не так. Столыпин понимал, что именно сильная, профессиональная, свободная от придворных и политических вмешательств армия, где генеральский чин не может быть достигнут интригами и протекциями, офицеры понастоящему образованны, а солдаты не мыслятся безликой массой, которую не жалко бросить в любую мясорубку, только такая армия способна уберечь страну от войны. И равным образом он понимал, что мирное развитие России (как и любой страны) на разумных социально-экономических началах не только «выгодно», но и соответствует назначению человечества. (Рай на земле невозможен, но человек обязан, сколько возможно, землю беречь и благоустраивать.)

Для того чтобы «вспомнить Столыпина», Воротынцеву нужно было пройти сквозь всю катастрофу Второй армии. Для того же необходимо Солженицыну детальное (по корпусам, дивизиям, полкам и ниже) изображение всего, что случилось в Восточной Пруссии. Едва ли не в каждом эпизоде мы ощущаем и бесчеловечность войны как таковой, её глубинную враждебность человеку, и политическую нецелесообразность этой войны (с первых дней растёт отчуждение солдат даже и от лучших — верных долгу, мужественных и знающих «свой маневр» — офицеров), и роковую неподготовленность к происходящему и мужиков в шинелях, и многих офицеров. Попав на войну, Ярик Харитонов теряет: «всё, как в насмешку, шло в нарушение всех уставов» (14). Уставы Ярик, сознательно избравший военную службу, знает превосходно; мужества ему не занимать; держится он всё время наилучшим образом — только готовили его не к такой войне.

Залихватская «русская солдатская песня» про объевшегося белены и полезшего в драку немца прямо предшествует главе, в которой Выборгский полк (ещё недавно полк Вильгельма Второго — того Васьки-кота из песни с открытки, что ведёт дурных немцев в драку) стоит под истребительным огнём неприятеля. «Т а к о г о и сам Воротынцев ещё не испытывал никогда в жизни! Такой густоты на Японской не бывало!» Выделенное разрядкой местоимение (нет для «такого» имени аукнется через страницу, когда Воротынцеву в словах Благодарёва посылшится «Как-зна-току!!») Не о знатоке речь (Воротынцеву кажется, что Благодарёв говорит о себе, «хващается, что на часы смотреть тоже знаток») — солдат выкрикивает: «Как-на-току!!» Ослышка Воротынцева

характерна: нет на току войны, где каждый человек становится колом, ждущим, что его расколотят, никаких «знатоков». Полковник Воротынцев — такой же безмянный колос. Разумеется, в этой страшной сцене ошутимо дыхание Толстого (Выборгский полк в бездействии стоит под огнём, как полк Андрея Болконского, с которым читатель и прежде соотнёс деятельного, жаждущего направить историю Воротынцева; ослышка Воротынцева похожа на ту, что выпала уснушему после Бородинского сражения Пьеру, который принял бытовое «запрягать» за сакральное «сопрягать»), но не менее важна другая литературная реминисценция.

Отождествление битвы с сельским трудом восходит к фольклору и не раз отзывалось в русской словесности, но, кажется, всего отчетливее в стихотворении Гумилёва «Война»:

А «ура» вдали как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это мирное селенье
В самый благостный из вечеров
<...>
Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Солженицын решительно оспаривает патетичную риторику Гумилёва — он не может видеть в войне светлое, святое и величавое дело. Солдаты сравниваются не со жнецами и пахарями, но с колосьями. Образ этот прежде возник в рассказе «Захар-Калита», где грамматическая конструкция заставляет читателя на миг ощутить себя воином на Куликовом поле: «И мы ложимся, как скошенный хлеб. И гибнем под копытами». Но если в рассказе доминировал мотив жертвенной святости подвига, то в «Августе» упор сделан на безжалостности войны. Гумилёвское «Серафимы ясны и крылаты/ За плечами воинов видны» отзывается ритуальными расспросами и наставлениями («Святой — это ж как ангел твой, он тебя защитит и охранит. А ты не знаешь!») генерала Артамонова, заранее фактически слагающего с себя ответственность за участь солдат: «Утром начнёт немец бить — а вы молитесь!» Недаром на крик Воротынцева перед началом «молотьбы» («Ну! Святых своих помните? <...> Ма-литесь!») «последним смешком, вспоминая вчерашнего генерала, отзывались ему справа и слева: "Богу молись, а к берегу гребись"». Война не может поэтизироваться. В словах большого поэта (и мужественного офицера) звучит та же фальшь, которую распознали солдаты в речах труса и пустосвята Артамонова. Прекрасные стихи не способны передать того, что выпадает на долю обычным людям, которым «оставалось только ждать своей очереди». За упоминаниями ангелов и святых теряются ужас, страх и действительный

подвиг солдата, который под огнём перестаёт быть отдельным человеком, теряет личность, судьбу, имя (отсюда выкрики: «Николай Угодник всех покроет» и «Прощай, белый свет — и наша деревня!»), но всё же этот ад выдерживает. Потому и нащупывает «в тесноте секунд» Воротынец главное, то, что подведёт его к мыслям, оформившимся в Грюнфлисском лесу и выговоренным Свечину: «...умирать не может быть жалко, кому война профессия — у него профессия, но этим мужикам?! — какая награда солдату? только остаться живым. В чём же его опора?» (25).

В верности отечеству? Но вспомним сетования Нечволодова (21) о том, что у солдата нет понимания отечества (по разумению высшего начальства, оно и не нужно). В царе? Но не чувствуя царского попечения, не понимая, почему надлежит погибнуть «как-на-току», то и дело интуитивно угадывая «дурь» начальства, которое царь почему-то терпит, которому позволяет бездарно распоряжаться тысячами жизней, солдат медленно, но неуклонно утрачивает привычную, инстинктивную веру в помазанника. В Боге? Но если о Боге забыли власти предержавшие (забыли не о молитвах, обрядах, чаянии Чуда, но о своём долге и положенном человеку пределе), то эта зараза рано или поздно перекинется и на тех, чьи сердца ещё вчера были чисты.

Война не только ежедневно грозит гибелью тем, кто не по своей воле стал воином. Ежедневно же она человека развращает, ибо делает допустимым то, что в мирное время считается преступлением, — убийство, жестокость, присвоение чужого добра. Оказавшись в Восточной Пруссии, Ярослав Харитонов испытывает странное чувство: «Почтительный страх вызывало одно только это устройство нерусское. А то, что оно было опустошено, грозно брошено мёртвой добычей, вызывало жуть: будто наши войска мальчишками-озорниками ворвались в чужой притаившийся дом, и не могла их за то не ждать расплата» (14). Поначалу чувство это уравнивается искренним восхищением солдатами. Столкнувшись с мародёрами, юный офицер убеждает себя, что его-то подопечные такого себе не позволят. И ошибётся. Взвод Харитонова не упустил случая поживиться. Грабёж не предполагает злобы: не пропадать же брошенным вещам и припасам. Солдаты веселы и умиротворены, на их лицах — «доброжелательность пасхального разговения». Подобие преступного пира и пира пасхального, вершащегося во славу победы над смертью, грехом, тленной природой человека, особенно страшно. Солдаты, недавно казавшиеся Харитонову чудесными праведниками, не различают добра и зла, а вразумить их невозможно (это Ярик, только что намеревавшийся «разнести их, прочесть им та-кое внушение», понимает вдруг, но прочно): «Испейте какаву, ваше благородие! <...> И... — не кричать. Не распекать. Не строить в наказание. Даже не отклонить протянутое от изумлённого сердца.

Булькнул Харитонов горлом пустым. Потом уж и глотком какао»¹³.

«Частный случай» тут же вырастает в обобщающий символ. Город горит (не может не гореть город, покинутый жителями и занятый вра-

жеским войском — снова тень «Войны и мира»): «Видели, но никто не бежал тушить.

Дым и пламена с треском выбрасывали, выносили вверх чужой ненужный материал, чужой ненужный труд — и огненными голосами шурашали, стонали, что всё теперь кончено, что ни примирения, ни жизни не будет больше» (29).

Ясно, что не только (и не столько) харитоновскому взводу пророчит беду этот пожар.

Сколь бы коварной ни была германская политика, сколь бы целесообразным ни было вторжение в Восточную Пруссию (на миг отвлечёмся от нашего знания о бессмысленности и неподготовленности этого военного решения), сколь бы велико ни было сочувствие русского писателя (и русского читателя) к «своим» (усугублённое тем, что теперь мы знаем: операция закончилась крахом), — в «Августе Четырнадцатого» горят немецкие города, деревни, усадьбы, разграбляются и рутшатся немецкие дома и магазины, страдает немецкое мирное население. Только что перенесший чудовищную молотьбу Арсений Благодарёв попадает в разгромленное имение (племенной скот бродит по саду, пусты идеальные конюшни, вытащены из дому диваны и кресла, в доме перевернута и переломана мебель, разбито зеркало, расколота мраморная доска с родословной хозяев — символически низвергнут их род, поруганы предки). Приходит весть об атаке петровцев и нейшлотцев, и Благодарёв чувствует страстное желание вдарить немцам: «Пригожий, разгарный денёк и земля чужая раздольная, топчи — не жалко. Мало сладкого, конечно, если б так вот у них в Каменке воевали. В Каменской волости, сла-Богу, сроду так не воевали» (25). Сроду не воевали — будут. На вопрос Н. А. Струве (телеинтервью на литературные темы, 1976) о будущем безусловно привлекательного героя: «Но Благодарёв не соблазнится?» Солженицын ответил уклончиво: «Ну, там, знаете, в “Августе” уже есть намёки, кем он будет, но я не хочу расшифровывать раньше времени». Благодарёв, как мы знаем из позднего рассказа «Эго», станет одним из «начинателей» антибольшевистского восстания («антоновского»). Но меж войной и восстанием случится революция, прямо ведущая к власти большевиков и новому крепостному праву. Не умеющие угадать будущее, соблазнённые посулами земли и мира солдаты — в том числе лучшие из лучших, в том числе будущие повстанцы, борцы за крестьянскую волю — рванут домой и примутся захватывать чужое, а для того придётся и убивать. Мы не знаем (и, видимо, никогда не узнаем), сколь сильно нагрешил в те роковые месяцы Арсений, не знаем, что он делал в годы Гражданской войны, но остаться вовсе безгрешным ему было едва ли возможно (см. о начале «нестроения» в Каменке А17, 106).

Зато мы знаем путь другого персонажа «Августа» и «Эго» — Терентия Чернеги, о котором в рассказе говорится, что в Семнадцатом прикнул он к большевикам, «два года служил им, даже и в ЧОНе, а всего насмотрясь — перешёл на крестьянскую сторону». Удивляться тут нечему. В «Августе» Чернега сметливостью и хваткой пленяет Ярика Харито-

нова, но в словах его: «А як в кобуре ще и гусь жареный — о то война!» (19) слышится не одна бравада, но и своего рода удовольствие от войны. При отступлении он действует смело и толково, сильно способствуя спасению многих окруженцев (43, 51). Естественно, что и дальше на войне Чернега, уже выйдя в офицеры, чувствует себя как рыба в воде (О16, 3). В самом начале революции он «пошёл в гору» (М17, 614), а затем быстро учуял настоящую «силу» (А17, 31 — рассказ Чернеги о минском съезде делегатов Западного фронта, где уже видно его презрение к наступившему безвластью; А17, 142 — съезд в Петрограде, где Чернега приглядывается к большевикам и брезгливо реагирует на речь эсера Сватикова: «Во имя любви к великой матери-Родине, я умоляю вас, мне плакать хочется: поддержите Временное правительство! спасите Россию! Иначе у нас будет новое самодержавие какого-нибудь Иванова 13-го...

И отмахнулся Чернега: не-е-е... Коли плакать вам хочется, пехтери, так никакой вы каши не сварите».

Удачливый человек войны, Чернега становится человеком революции.

Иным образом война ведёт к революции совсем не похожего на Чернегу Сашу Ленартовича — потомственного врага власти (о дяде-революционере — 59), руководствующегося принципом «чем хуже, тем лучше» и презирующего солдат, которые «попёрли как бараны за нашим полковым, за мракобесом <...> Нашли за что драться — за тряпку! Потом уже — за одну палку» (15; «тряпку» — полковое знамя — вынесет из вновь занятого немцами городка Таня Белобрагина — 56; см. также 50, 51). Бессмысленность, с которой ведётся война, лишь укрепляет Ленартовича в его ненависти к государству, а урок, который невольно даёт ему Воротынцев, спасая покинувшего полк офицера от гибели или желанного (но мы, увидевшие первый концентрационный лагерь, знаем — страшного) плена, оказывается невоспринятым.

Чернега и Ленартович попали на военную службу не по своей воле. Но и в кадровом офицере подпоручике Козеко война выявляет худшее. Нормальные человеческие чувства (любовь к жене, желание жить спокойно и уютно) в контексте войны воспринимаются иначе, чем в мирное время. Тогда Козеко был обычным мелким чиновником военного ведомства, не задумываясь, какие обязательства предполагает избранный им род службы. На вопрос Харитоновна, зачем же он стал военным, Козеко отвечает: «Это — тайна... Вот когда будет у вас ненаглядное солнышко да любимое гнёздышко... Пусть это непатриотично, но я без жены жить не могу. И потому желаю мира. Я вам скажу: лучше быть не офицером, а конюхом, но подальше от этой войны» (14). Тайна не велика: служба обеспечивает достаток, особых знаний не требует (речь не о том, нужны ли они кадровому офицеру, — разумеется, весьма нужны, а об обычае, укоренившемся в русской армии), возможно, предопределена семейной традицией и не воспринимается серьезно — о том, что придётся воевать, Козеко, вероятно, не думал. До войны трусость

и безответственность Козеко были неприметны. Его нельзя назвать дурным человеком; он просто человек не на своём месте. Как слишком многие в России. Козеко кажется пародийным двойником несопоставимо более значительного персонажа, что предстанет читателю позже, — самого императора Николая II. Оба всепоглощающе любят своих жен, которых и зовут одинаково — «солнышко»; оба постоянно ведут дневники; оба вне семьи крайне одиноки. Разумеется, характер Государя много сложнее (у подпоручика нет ни высокой религиозности императора, ни его теоретического, но искреннего народолюбия, ни его вкуса к военной службе — если Николая II можно представить себе хорошим полковым командиром, то и Козеко, наверно, был бы не худшим почтмейстером, чиновником железнодорожного ведомства или банковским служащим), но когда в роковые дни революции царь покидает Ставку и устремляется к Петрограду (по сути — к жене), невольно вспоминаешь сентиментального и «домашнего» подпоручика из «Августа».

Дав в большей или меньшей мере развёрнутые портреты четырёх младших офицеров (Харитонов, Ленартович, Козеко, Чернега, которому недолго оставаться фельдфебелем), уже принимающих участие в боевых действиях, автор заставляет нас серьёзнее отнестись к выбору Сани Лаженицына. Мы, зная о войне больше, чем доброволец, ощущаем его наивность: Саня не вполне понимает, сколь страшно и тяжело на фронте. Из четырёх соотнесённых с Лаженицыным персонажей двое (Ленартович и Козеко) не только мучаются и проклинают свою участь, но и не выполняют своих обязанностей (грубо говоря, лучше бы таких офицеров не было); третьего — Чернегу, с которым Сане потом выпадет служить (О16, 3), — война подчиняет себе (позволяет жить вне моральных норм, даёт развиваться его плотскому эгоизму); четвёртый же — сам избравший эту стезю и изо всех сил старающийся быть образцовым офицером — сразу оказывается жертвой. (Тут важны и растерянность «правильного» Ярика при первых же столкновениях с хаосом, и то, что его — единственного из четырёх поданных крупно младших офицеров — война настигает физически, контузией. Не случайно в Третьем Узле Ксения, прощаясь с отбывающим из Москвы Ярославом, видит «на его юном простодушном лице — свет жертвы» (М17, 549); не зная судьбы прототипа, предполагаешь, что героя ждёт скорый и страшный конец, обусловленный не только общей трагедией, но и характером этого «стойкого оловянного солдатика».) Но в то же время читатель не воспринимает решение Сани как ошибочное и соглашается с Варсонофьевым, одобряющим выбор Сани и Коти: «Доказать не могу. Но чувствую. Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну» (42).

Но ведь, прочитав «Август», мы проникаемся догадкой Воротынцева: хребет России ломает именно война. Более того — знаем: война его и перешибёт. Однако не только Лаженицын, но и несоизмеримо больше увидевший и понявший Воротынцев не мыслят себя вне строя. Эти

герои идут своими путями, конечно, надеясь на лучшее (в этом плане показательны заключительные главы «Апреля Семнадцатого» и всего повествования: Варсонофьев после визита «жизнерадостной молодой четы» — Ксеньи и Сани — ощущает прилив веры, сочувствия и решимости; Воротицнев на Могилёвском валу распрямляет плечи, чувствуя: «Нет, впереди — что-то светит. Ещё не все мы просадили» (А17, 185, 186)), но, в первую очередь, ощущая эти пути именно своими, единственно возможными, единственно соответствующими строю своих душ и тому высшему заданию, которое герои стремятся расслышать сквозь демонический гул времени.

Яснее всех многочисленных персонажей «Красного Колеса» это высшее задание (нераздельно — своё и России) слышит тот герой, чья смерть, случившаяся за три (без малого) года до начала Первой мировой войны, во многом предопределила трагедию России, — Пётр Аркадьевич Столыпин. Жизнь Столыпина, его идеалы, убеждения, социально-экономическая и политическая программы, работа по их воплощению, планы будущих преобразований, отношения с императором, двором, бюрократией, общественностью, Государственными Думами разных созывов, политическими партиями и их вождями, характер человека и свойства государственного мужа описаны Солженицыным с впечатляющей даже на фоне других «портретных» глав «Красного Колеса» обстоятельностью, предельной ясностью и горячей любовью. Сама по себе «столыпинская» глава (65) в толкованиях не нуждается¹⁴. Должно, однако, объяснить, почему Солженицыну понадобился огромный экскурс в прошлое (60–74), как он связан с судьбами вымышленных персонажей и почему его нельзя вынуть из повествования.

Последний тезис формально противоречит замечанию Солженицына в начале «столыпинской» главы: «Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память её, и перебиты историкки». Думается, слова эти (и предваряющую их рекомендацию нетерпеливцам перешагнуть «в ближайший крупный шрифт») нельзя понимать буквально. Между тем так они были восприняты многими читателями, но, как водится, «с точностью до наоборот». Часто доводилось слышать, что интересны («познавательны») в «Красном Колесе» лишь «исторические» главы, а «романные» рассеивают читательское внимание, отвлекают от хроники революции. Поневоле вспомнишь анекдот о двух помещиках, один из которых читал в эпопее Толстого «про войну», а другой — «про мир». Но Солженицын (пожалуй, даже больше, чем Толстой) стремится показать, сколь по-разному история воздействует на разных людей, а люди эти, в свою очередь, по-разному осуществляются в истории. (Оттого и требуется писателю дать «крупным планом» портреты многих непохожих персонажей, фиксируя мельчайшие психологические детали, непредсказуемые извороты судеб, выпадения героев из присущих им социально-исторических амплуа.) Читая в первый раз «столыпинскую» («богровско-столыпинско-царскую») сплотку глав,

мы воспринимаем запечатлённые в ней события на фоне только что явленной нам Самсоновской катастрофы, но не ведая, что произойдёт с несколькими отнюдь не «проходными» персонажами. Важны оба обстоятельства.

«Восточнопрусская» часть «Августа» завершается уже упоминавшейся экранной картиной концентрационного лагеря (58) и заявлением штаба Верховного Главнокомандующего (Документы — 7). Самсоновской армии больше нет, последние часы её остатков обрисованы в трёх главах (56–58). Перед тем из нашего поля зрения исчезает группа Воротынцева, причём в момент прорыва к своим (пока неизвестно — будет ли он удачным для всех окруженцев (55)). Собственно историческим главам предшествуют петроградские, посвящённые семье Ленартовичей, тёткам и сестре идущего сквозь Грюнфлисский лес Саша. Рассуждения тётки Саша о текущей политической жизни и индифферентности современной молодежи (племянницы Верони и её подруги Ликони, в которую Саша влюблён) перетекают в их восторженные воспоминания об эпохе террора (начиная с охоты за Александром II, увенчавшейся первомайским убийством) и её «героях-мучениках» (59–62). Так мы приближаемся к убийце Столыпина (жизнь и личность Богрова (63); собственно убийство (64)). Тётушки Ленартовича прославляют (отмывают от «клеветы») террориста, «акция» которого и обеспечила их племяннику тяготы войны, кошмар окружения, смертельную опасность. Как явствует из следующей главы (65), Столыпин, даже если ему пришлось бы на время оставить пост премьер-министра, сумел бы не допустить вступления России в войну. (Потому так важно Солженицыну не просто очертить путь своего любимого героя и поведать о его простой, но спасительной внешнеполитической доктрине, но и показать, как решительно и точно он действовал в критических ситуациях, как умел «подкладывать» и внушать свои мысли императору. Потому так подробно анализируются отношения Столыпина и царя: Николай много раз бывал к Столыпину несправедлив, далеко не всегда слушал и понимал своего министра, то и дело его «подставлял», если не сказать — предавал, но при этом в глубине души знал Столыпину цену и знал, что в крайнем случае придётся действовать по его советам¹⁵.) Выстрел Богрова был действительно выстрелом во всю Россию. Включая тех поджигателей революции и их подголосков, которым не удалось укрыться от военного лихолетья в уютном швейцарском далеке. Этого не может уразуметь вся пыльная оппозиционная интеллигенция и достойно её представляющие говорливые тётушки Адалия и Агнесса, что скорбят по Саше, которого «заглотнула прожорливая машина армии». Был бы жив Столыпин, не заглотнула бы. Не пришлось бы пёстрой группе Воротынцева мучительно брести сквозь Грюнфлисский лес.

Символично, что под командой опытного полковника (одного из не столь многих «столыпинцев», которые и в мирные, и в военные дни никак не могут соединиться) из окружения выходит словно бы вся Россия: рядом идут левый Ленартович и вопреки семейным традициям

избравший государеву службу Харитонов, воплощающий лучшие крестьянские черты Благодарёв и ушлый, ловкий, сильный, ситуативно верный (он вскинет на плечи раненого поручика перед решающим броском), но двусмысленный и страшноватый Качкин (обратим внимание на внешне не мотивированную, но явную взаимную неприязнь земляков Благодарёва и Качкина (50)). Символично и то, что в то время, когда они пропадают из виду, читатель, которому уже явлены жизнь и дело Столыпина, движется через главы о не сберегших (сгубивших) лучшего русского министра полицейских чинах (66), о злорадной (в лучшем случае — пошлой) общественной реакции на убийство (67–70), о настроениях и маневрах убийцы (68), о последних днях Столыпина, небрежении Государя и предсмертной (увы, обоснованной и сбывшейся) тревоге Столыпина за будущее страны, которой достался в такие времена такой властитель (69), о похоронах, на которых России не было (70), об увертливых, опасавшихся открыть правду следствию и суде над Богровым (71), о царском милосердии и к тем, кто старательно противодействовал Столыпину, всяко ему вредил, сделал его убийство возможным (72), и к тем, кто прямо отвечал за жизнь погибшего премьера (73), к рассказу о Государе, который, оставшись без зоркого и мужественного слуги, пусть невольно, но бросил свою страну под «красное колесо» (74). Финальная часть рассказа о монархе («Июль 1914») прямо выводит читателя к срыву русской истории, к началу войны, первый акт которой мы уже видели. А теперь видим по-новому. Теперь мы понимаем, что дело не в отдельных трусах и тупицах (и в германской армии «тесно» талантливому генералу Франсуа, воплощению планов которого мешают начальство (38–41)), не в обычной неразберихе, не в превосходстве противника, не в дипломатических промахах, а в чём-то гораздо большем. После «столыпинской» главы становится ясно: России нельзя было ни так худо готовиться к войне, ни таким стародедовским способом воевать, ни — что всего важнее — вообще влезать в войну. После глав о том, как государственные структуры и «общество» (не одни боевики, но и умеренные оппозиционеры, интеллигенция, пресса) обошлись со Столыпиным, как мешали ему вести «среднюю линию», сберегать народ, сохранять мир и порядок, приумножать общественное богатство, помогать естественному росту страны, как позволили его убить и не смогли оценить содеянное (и тем паче — раскаяться), становится столь же ясно: не готовая к войне Россия обречена была в неё рухнуть, растратить в ней остатки накопленного Столыпиным (не только и не столько о «материальных ценностях» речь) и в итоге получить революцию. Её предчувствует Самсонов (48), о её угрозе позднее (в «Октябре Шестнадцатого») задумается Воротынец, пока занятый другой опасностью — возможностью проиграть не операцию или кампанию, а всю войну (82).

На выходе из 74-й главы Солженицын побуждает нас если не перечитать всё, что предшествовало главе 59-й, то прочитанное вспомнить и по-новому обдумать. Нужно выдержать какую-то внутреннюю паузу, чтобы уразуметь: мы вернулись к той же петроградской точке в пове-

ствовании, в то же пространство Верони и Ликони, откуда после росказней тётгушек отправлялись в близкое (для героев) прошлое. И мы по-прежнему не знаем, что происходит с группой Воротынцева, — как не знают этого сестра и возлюбленная Ленартовича и ещё не встретившая Воротынцева его суженая, Ольга Андозерская (общение курсисток с женщиной-профессором (75)), как не знают мать и сестра Ярика Харитоновна, которых навещает Ксения Томчак. В Ростове обычно негибаемая Аглаида Федосеевна переживает тихое отчаяние: последнее письмо сына было отправлено из Остроленки, где квартировал штаб Второй (мы знаем — уничтоженной) армии пятого августа. «А сегодня — двадцатое. А сегодня — «от штаба Верховного Главнокомандующего» (76). В газетах пропечатан тот самый уклончивый, но дающий понять, что случилась катастрофа, документ от 19 августа, которым Солженицын замкнул «собственно военную» часть Узла, тот документ, что был предъявлен читателям семнадцать глав назад, — оказывается, всего один день прошёл! За «самой простой каплей», которая падает на семёрку червей из глаз матери Ярика, видятся дожди материнских слёз, что льются по всей России, слёз о погибших, попавших в плен, пропавших без вести. И слёзы эти вновь заставляют нас вспомнить погибшего Столыпина.

Но не только они. После газетной перебивки (от «ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!») сквозь бодрящие вести о немецких бедах, зазывы на БЕГА, краткую информацию о потерях «южного нашего отряда», графоманские вирши «Памяти А. В. Самсонова», победные реляции и осмотровые словеса о понятных трудностях до заклиний о «всемирно-моральном смысле» и «рыцарской верности трёх правительств» (77) читатель остаётся в Ростове, где инженеры — приезжий Ободовский (бывший революционер) и местный Архангородский (пожилой еврей) — ведут долгий разговор, буквально пропитанный столыпинским духом:

«Вы знаете расчёт Менделеева? — к середине XX века население России будет много больше трёхсот миллионов, а один француз предсказывает нам к 1950 году — триста пятьдесят миллионов! <...> — Это в том случае, Пётр Акимович, если мы не возьмёмся выпускать друг другу кишки» (78).

Возьмёмся. Что пророчит следующая глава, где дочь Архангородского и молодой социалист-революционер востро славят грядущую революцию и клеймят эксплуататоров, монархию, манифестацию ростовских евреев в поддержку правительства и... страну, в которой якобы всем заправляет «Союз русского народа». И зря Ободовский пытается противопоставить этому Союзу другой — «Союз русских инженеров», — его не слышат и не хотят слушать. Как не хотят видеть России, которая не может отождествляться с партиями и кланами. России, у которой был великий столыпинский шанс — двигаться по пути мирного строительства. Такой России для Сони Архангородской нет. Доведись ей узнать подробности Самсоновской катастрофы, она, пожалуй, и в ней обвинит Столыпина. И тут же возрадуется, потому что проклятый

режим трещит по швам. А он и впрямь трещит. «Дрожа голосом, двумя ладонями, на рёбра поставленными, Илья Исакович показал:

— С этой стороны — чёрная сотня! С этой стороны — красная сотня! А посредине... — килем корабля ладони сложил, — десяток работников хотя бы пробиться — нельзя! — Раздвинул и схлопнул ладони: — Раздавят! Расплющат!» (79).

Как тут вновь не вспомнить Столыпина. Не только «среднюю линию», которую он держал, но и судьбу самого реформатора. Выстрел Богрова в Россию смог грянуть не только и не столько потому, что Богров был наделён демонической энергией и изобретательностью (что, на мой взгляд, не отменяет его — и всех прочих «тёмных гениев» — глубинной посредственности, зависимости от страшного, но пошлого духа времени). Выстрел удался, потому что «красная сотня» (всех оттенков) жаждала этого выстрела, потому что молодые представители образованного общества воспитывались в недоверии и ненависти к власти, потому что антигосударственность было разлито в воздухе, потому что сочувствие террору стало нормой, потому что стремительно сходили на нет здравый толк, ответственность за собственные поступки, простая (не отравленная идеологическими фантазмами) человечность, что не позволяет по произволу убивать политических противников и желать гражданской войны. Выстрел удался потому, что «чёрная сотня» (всех оттенков) ненавидела Столыпина не меньше, чем «красная». (Ненавидела, если угодно, «за дело»: столыпинские реформы предполагали если не полное освобождение высших сфер от бездарей, пролаз и интриганов — этого, увы, никогда никому добиться не удавалось, — то капитальное их сокращение. Курловы, Спиридовичи и иже с ними боролись за себя, за свои места, награды, доходы, за свою «нужность».) Выстрел удался, потому что важные места занимались проходимцами, которые — даже если бы и относились к Столыпину лучше — не умели квалифицированно делать доверенное им дело (в данном случае — обеспечивать безопасность первых лиц государства), потому что в мире административном правили бал связи и протекции, потому что ответственных исполнителей (а тем более — достойных сотрудников, способных мыслить государственно) катастрофически не хватало, а тех, что были, далеко не всегда удавалось использовать по назначению, потому что высшие сословия видели в Столыпине «чужака» и «временщика», от которого лучше избавиться, а идущие сверху «веяния» превосходно усваивались на всех ступенях чиновничьей лестницы. Выстрел удался по той же причине, что обусловила вступление России в войну, Самсоновскую катастрофу, борьбу «общественности» и народных представителей (Государственной Думы) с собственным правительством во время войны, господские заговоры и бунты тыловых — не желающих идти на фронт — полков, революцию с последующим «народоправством», весь бег «красного колеса»; всё это случилось потому, что — повторим ещё раз ключевые слова «Темплтоновской лекции» — «Люди — забыли — Бога».

Когда Солженицына упрекают за преувеличение роли Столыпина в истории (мол, если б и промахнулся Богров, не сумел бы Столыпин предотвратить войну и революцию), из виду упускается сложность и объёмность мысли писателя. История действительно не знает сослательного наклонения, но это не означает железной предопределённости событий. Если бы в России нашлось достаточное число людей, понимающих Столыпина, работающих в самых разных сферах в соответствии не с директивами премьера (на всякий случай инструкцию не напишешь), но в русле его замыслов, относящихся к стране, государственному устройству, обществу и своему делу, как Столыпин, осознающих, что Столыпин, как и всякий администратор, политик, государственный муж, нуждается в постоянной поддержке и защите (в том числе — защите от возможных покушений, которую тоже можно и нужно строить профессионально), — если бы подобных людей было не так мало и они не были так разобщены, не была бы в киевском театре смертельно ранена Россия. Невозможно снять вину с Богровых и Курловых, с «красной» и «чёрной» сотен (увы, тысяч — и многих), но ответственность за гибель Столыпина и последующие наши беды несут не только революционеры и придворная камарилья, залиvistые сочувственники бомбистов и старцы из Государственного Совета, мелкие полицейские сошки и добродетельный, но безвольный царь. Доля ответственности (и не малая!) лежит на тех, кто мог бы стоять рядом со Столыпиным, но почему-то занял иную позицию, на тех, кто после смерти реформатора не оценил масштаба случившегося, не нашёл в себе сил составить «коллективного Столыпина» и держать столыпинскую линию, осуществлять его замыслы, сохранять суть (а не детали) его жизненного дела. Не в последнюю очередь это означало — строить сильную армию, избегать конфронтации с другими державами, не допускать войны.

Ободовский и Архангородский — персонажи, к которым автор (и внемлющий ему читатель) испытывают глубокую симпатию. Их деятельность, бесспорно, весьма полезна, их суждения здравы, надежды Ободовского на будущую могучую Россию отзываются смешанным чувством восхищения (ведь не прекраснодушно хвастает, а широко мыслит и готов планы воплощать) и тяжёлой тоски (всё прахом пошло), упрекнуть инженеров не в чем. Кроме одного. Их разговор идёт так, будто на дворе стоит мир, будто не вошла уже Россия в европейскую бойню, будто не покатилося ещё «красное колесо». Дочь клеймит Архангородского за то, что он участвовал в патриотической манифестации (как почти вся страна — вспомним гнев тётушек Ленартовича на «позорный патриотизм» (59), картину счастливого единения царя и народа, собравшегося на Дворцовой площади (74), толки курсисток о народном единодушии (75)). Ясно, что, коли война началась, патриотические собрания и шествия естественнее, чем пораженческие. Но ведь именно этот аффектированный подъём патриотизма (тут же отзывающийся шапкозакидательством, газетной трескотнёй, демагогией, залихватскими песнями про Ваську-кота) убеждает власть: беды не случилось, всё

происходит правильно, весь народ нас одобряет и готов положить сыновей на алтарь отечества, гнать неподготовленные части в Восточную Пруссию не только можно — нужно!

Но мы-то уже знаем, что там случилось. Мы-то уже видели, как несётся «красное колесо», которое раздавит экономию Томчака, магазин Саратовкина, гимназию Харитоновой, Московский университет, женские курсы, мельницы Архангородского, наработки «младотурков»-генштабистов, планы освоения Северо-Востока, крепкие крестьянские хозяйства в Каменке, тонкие книги Варсонофьева, приличную пивную у Никитских ворот и многое иное — всё то, чем по праву гордилась Россия. Мы — видели. Мы знаем, что случится потом. Как именно — можем и не знать, коли не добрались до следующих Узлов, но общий итог — знаем. И изумляемся, почему приближения «красного колеса» никто не замечает. Почему катастрофической опасности, которую несёт война, никто, кроме Воротынцева, не чувствует — ни звездочёт Варсонофьев, ни инженеры-«делатели», ни превосходно понимающий, насколько не так воюет русская армия генштабист Свечин. Что уж спрашивать с чистых мальчиков — выведенного из окружения Ярика Харитоновца и идущего воевать Сани Лаженицына — или солдата Арсения Благодарёва? И тем более с ненавистников «режима», ведомых принципом «чем хуже, тем лучше», радующихся любой беде большого государства, азартно смакующих и преувеличивающих его действительные (немалые) и вымышляемые пороки? Или с тех, кто свято уверен, что всё и всегда идёт в стране должным образом, что возможны лишь незначительные погрешности (вроде гибели Второй армии), что бабы солдат наражают, царское величие неколебимо, а Бог всё устроит к высшей славе Государя, отечества и их верных слуг? Все они — от министров до террористов — убеждены: никакая война мира и России не изменит. Все они не видят «красного колеса».

Видит его, как помним, Ленин. И не потому, что политически проныцателен — проглядел за мелкой партийной колготней начало войны (и в октябре 1916-го не будет чувствовать, что через год возглавит — шутка ли — правительство России, и готовить будет революцию в Швейцарии, и весть о Феврале встретит с изумлением). Видит — потому что мистически ненавидит этот мир (и прежде всего — проклятую Россию), потому что носит войну в себе, потому что инстинктивно чувствует: всякое зло (а тем более такое масштабное) ему на потребу, потому что счастлив любому намёку на грядущую вселенскую смуту. «Крутится тяжёлое разгонистое колесо — как красное колесо паровоза, — и надо не потерять его могучего кручения. Ещё ни разу не стоявший перед толпой, ещё ни разу не показавший рукой движения массам (в этой позе — предсказывающей апрельскую 1917 года, что повторится в тысячах идиолов, иные из которых по сей день позорно торчат на русской земле — Ленин застывает в конце главы, ещё не перед готовой разрушить старый мир солдатней, а то ли перед пустотой, то ли перед не замечающими будущего вождя мировой революции краковскими,

а потому не упомянутыми, обывателями. — А. Н.), — какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но — не как увлекает их сейчас, а — в обратную сторону?» Намёк понят. Зло, ворвавшееся в мир по человеческому попушению («Люди — забыли — Бога», и значит, люди дали дорогу злу) нашло своего вернейшего служителя. Воротынцева и Благодарёва видение «красного колеса» потрясает и страшит, но они его вскоре забудут, оторвавшееся тележное колесо на наших глазах становится колесом обычным, Ленин разгадывает символ и преисполняется ликованием — «красное колесо» буквально вошло в него, стало ленинским сердцем. «Просветлялась в динамичном уме радостная догадка — из самых сильных, стремительных и безошибочных за всю жизнь. <...> как с орлиного полёта, вдруг услживаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивает сердце (вновь сердце. — А. Н.), и орлино рухаешься за ней, выхватываешь её за дрожащий хвост у последней каменной щели — и назад, и назад, назад и вверх разворачивать её как ленту, как полотнище с лозунгом: ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!.. — и на этой войне, и на этой войне — погибнут все правительства Европы!!!» (22)

Так и будет (те, что не погибнут, выйдут из войны сильно покорёженными, но не шибко поумневшими — доведут свои народы до следующей, ещё более истребительной). Будет не по воле Ленина — этот «великий практик» придёт на готовенькое, созданное общими усилиями противоборствующих держав Европы и противоборствующих групп в России. Будет, потому что в пустоту канет речь Воротынцева перед Верховным, потому что затянется (и затынет Воротынцева) война, от которой никак не избавиться, потому что толчок расчеловечиванию уже дан, и с каждым новым оборотом движение дьявольского колеса становится не медленнее, а быстрее, свирепей, неудержимей.

Ненавидя революцию или захлёбно ею восторгаясь, имея о ней самые примитивные или весьма обстоятельные и детализированные представления, полагая её великим торжеством России или её тяжелейшей бедой, все мы с детства были убеждены: тогда началась новая эра. Началась. Но не в Октябре-Ноябре Семнадцатого (этим — Седьмым — Узлом по замыслу Солженицына открывается действие третье — «Переворот»), а в Августе Четырнадцатого, где поднимается занавес «повествования в отмеренных сроках»: действие первое — «Революция». Она уже пришла.

¹ Здесь и далее цифры в скобках — номера упоминаемых или цитируемых глав Первого Узла. При отсылках к последующим Узлам перед номером глав применяются сокращения: O16 — «Октябрь Шестнадцатого»; M17 — «Март Семнадцатого»; A17 — «Апрель Семнадцатого».

² См. переход Сани Лаженицына от первоначальной захваченности всякой новой философской или социально-исторической концепцией к растерянности: «И стал брать его от книг — страх, не прежняя почтительная радость: что никак

он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга» (2; цитируются характеристика ложного героя поэмы Некрасова «Саша», уподобиться которому страшится Саня: «Что ему книга последняя скажет,/ То на душе его сверху и ляжет. // Верить, не верить — ему всё равно,/ Лишь бы доказано было умно»).

³ Сдаться в плен опрометчиво мечтал (и для того дезертировал) случайно ставший спутником Воротынцева Саша Ленартович (45). Попадёт в плен и испытает весь его кошмар военный врач Федонин (см. его спор с Ленартовичем о войне и офицерском долге (15); в главе о судьбе русского госпиталя в Найденбурге, следующей непосредственно за главой о прорыве группы Воротынцева, то есть об избавлении Ленартовича от плена, Федонин только бегло упомянут (56), но значимо, что он оставался на своём месте до конца; о том, что Федонин попал в плен — причём именно в августе 1914 года — мы узнаем в Четвёртом Узле, когда военный врач возвращается в Россию: «Тридцать два месяца, даже и с лишним, девятьсот восемьдесят дней пробыл доктор Федонин в германском плену» (A17, 176; там же о бесчеловечности в обращении немцев с военнопленными). Заметим, что собственно «военная» часть «Августа Четырнадцатого» завершается «экранной» главой, в финале которой возникает:

«= Новинка! кон-цен-тра-ционный лагерь! (58).

Значимо соседство (56-я и 57-я главы коротки) и теснейшая смысловая связь (наглядные итоги Самсоновской катастрофы) 55-й (с упоминанием 1945 года) и 58-й глав.

⁴ Впервые опубликована в 8-м томе Собрания сочинений (Вермонт, Париж, 1980); в России — Театр. 1990. № 8.

⁵ Предполагаемая случайная и невоенная смерть Сани в самом начале Гражданской войны (прототип героя, отец автора, погиб от полученной на охоте раны в 1918 году, до рождения сына) может быть прочитана как милость судьбы, избавление если не вовсе безвинного, то минимально виновного в российских бедах обычного благородного человека от ужасов братоубийства, поражения и окончательной потери либо свободы (подсоветское существование с постоянной лагерной перспективой), либо отечества (изгнание). В то же время этот, продиктованный семейной историей, сюжетный ход (не прописанный Солженицыным, но внятный его внимательному читателю) символизирует судьбу несостоявшейся «молодой России». Воротынцеву, воплощающему «несущее» поколение, то есть отвечающему за все, надлежит испить свою чашу до дна. Ключевое значение его фигуры в рамках общего замысла Солженицына явствует из проговоренного выше (предсказание китайца о смерти в 1945 году). Что до сочинения завершённого, то сейчас преждевременно обсуждать по-прежнему доминирующую (хотя и иначе, чем в Первом Узле) сюжетную роль Воротынцева в «Октябре Шестнадцатого» и «Марте Семнадцатого», равно как и значимо «фоновое», ослабленное присутствие в них Лаженицына. В «Апреле Семнадцатого», который вопреки первоначальному замыслу стал заключительным Узлом, резко акцентировано особое положение как Лаженицына (встреча с Ксеньей (A17, 91), глава в точном центре текста, в конце первого тома; визит молодых к Варсонофьеву (A17, 180), где звучит ответ на загадку из «варсонофьевской» главы «Августа» (42; см. также A17, 185), так и Воротынцева (на могилёвском Валу, сюжетная точка «повествовань в отмеренных сроках» (A17, 186)).

⁶ Ещё в лагерном 1948 году Солженицын написал: «Когда я горестно листаю/ Российской летопись земли,/ Я — тех царей благословляю,/ При ком войны мы не вели».

⁷ См. в навеянном эйфорией начала войны стихотворении Мандельштама «Европа»: «Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта/ Гусиное перо направил Меттерних, — / Впервые за сто лет и на глазах моих/ Меняется твоя таинственная карта!» (1914).

⁸ «Лишь это узкое братство генштабистов (к которому принадлежит Вортынец. — А. Н.) да еще, может быть, кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в Новое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород её, темп горения и все часовые пружины. Вся Россия, от императорской фамилии до революционеров, наивно думала, что дышит прежним воздухом и живет на прежней Земле, — и только кучке инженеров и военных дано было ощущать сменённый Зодиак» (12). Здесь автор словно бы договаривает за героя, делая логичные выводы (по контрасту и с учётом реальностей XX века, которые Вортынец предчувствует, а автор знает доподлинно) из грустных размышлений полковника о штабной дури, профессиональной слабости генералитета, общем презрении к военной науке, правиле старшинства при чиновничьем производстве и прочей привычной и губящей армию рутине. Генерал Артамонов, в корпус которого скачет Вортынец, очень скоро «проиллюстрирует» действиями «общие соображения» генштабиста — зловеще выразительно и, увы, неоспоримо.

⁹ Здесь не могут не вспомниться размышления толстовского Кутузова после Бородинского сражения: «Но этот вопрос интриги (Бенингсена, настаивающего на новом сражении под Москвой. — А. Н.) не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его <...> «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал?». И далее, отдав приказ об отступлении («властью, врученной мне моим государем и отечеством»), Кутузов думает «всё о том же страшном вопросе: «Когда же, когда же наконец решилось то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»

«Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, — этого я не ждал! Этого не думал!» Разница в том, что Кутузов уверен в своей правоте и будущей победе («Да нет же! Будут они лошадиное мясо жрать, как турки...»), а Самсонов — в будущих поражениях. Как рисующий Кутузова Толстой не может отвлечься от своего (и общего) знания об итогах Отечественной войны, так и Солженицын строит образ уходящего Самсонова с учетом печального (и тоже известного) будущего. Следует отметить, что Самсонов отнюдь не играет в толстовского Кутузова (как оправдывающий красивой «аналогией» свои трусость и карьеризм генерал Благовещенский (53)).

¹⁰ Солженицын всегда придает «центральной», делящей повествование пополам, главе особое значение. В других Улах «Красного Колеса» такую позицию занимают эпизоды, посвященные: отчаянию, охватывающему Ленина («А буржуазный мир — стоит не взорванный») ровно за год до того дня, что войдет в историю (не вполне обоснованно) как день октябрьского переворота (О16,

37); одиночеству Государя после отречения и его тщетную надежду на «вызволяющее всех Чудо» (M17, 353); встрече Сани Лаженицына и Ксеньи Томчак (A17, 91). Прежде этот композиционный принцип использовался в романе «В круге первом» (52-я глава, завершающаяся тостом Щагова «з а в о с к р е с е н и е м ё р т в ы х!») и «Раковом корпусе» (последняя глава первой части, 21-я, «Тени расходятся» предшествует временному перерыву действия; заканчивается она «литературным» разговором Дёмки, Авиеты и Вадима, в котором косвенно манифестируется авторская позиция и задаётся «код» прочтения повести).

¹¹ «Красное Колесо» — книга о России. Ни один писатель не смог бы в равной мере запечатлеть судьбу (вину и трагедию) всех держав, развязавших бойню 1914–1918 годов либо в неё втянувшихся. Первая мировая война покоя и благополучия не принесла ни одной стране, включая те, что в Версале торжествовали победу. И это куда существеннее, чем вопросы о том, «кто первый начал», «кто больше виноват» и «кто кого обманул».

¹² Вряд ли случайно сквозь естественно-научные рассуждения Смысловского проступает евангельская притча о блудном сыне. Не менее существенно, что высказанные соображения вовсе не отводят Смысловского от его воинского долга: напротив, именно «вечный чистый блеск умирил в командире дивизиона тот порыв, с которым он сюда пришёл: что нельзя его отличным тяжёлым батареям оставаться на огневых позициях без снарядов и почти без прикрытия. Были какие-то и незримые законы». Перешагнувший «и царя, и веру» Смысловский отечество «очень понимал». И его куда более трезвый, чем у убежденного монархиста и славянолюбца Нечволодова, взгляд на начало войны («много дурной экзальтации в этой славянской идее») опять-таки героическому исполнению долга не мешает.

¹³ Эпизод пророчит череду все более унижительных испытаний Ярика в Третьем Узле: растерянность от первых дней революции в Ростове (M17, 439); изумление солдатскими вольностями в Москве (545); неразбериха с местами в железнодорожном вагоне (574); наблюдение за поручиком, который «не замечает» лугающего семечки солдата, в смоленском станционном буфете и невозможность дать отпор безобразничающим солдатам в поезде (580); нападение в тамбуре, едва не стоившее Харитонову жизни (M17, 589); его спасителем оказывается «увалистый кабанок» Аверьян Качкин, выходивший вместе с Харитоновым в группе Воротынцева из окружения (50); вспомнившиеся Ярику дурашливые слова солдата, копающего могилу полковнику Кабанову то сноровисто, то с показной ленью: «Качкин, вашвысбродь, по-всякому может» — наливаются теперь зловещим смыслом); солдатский митинг в лесу, на котором нижние чины спешат поручиться с офицером: «Это пожатье в черёд он ошутил как новый вид беззащитности, хоть и обратный позавчерашнему. Не приложиться стояли к нему в рядок, а — приложить, как становится взвод в очередь к насилуемой девке» (M17, 611). Концовка этой главы (и всей линии Харитонova в «Марте Семнадцатого»; больше он на страницах Третьего Узла не появится) прямо отсылает к квазипасхальному (по сути — антипасхальному) эпизоду с «какавой» «Августа Четырнадцатого».

¹⁴ В принципе допуская, что профессиональный историк может предложить

отличную от солженицынской трактовку тех или иных эпизодов деятельности Столыпина и его роли в истории (то же касается всех прочих описанных в «Красном Колесе» исторических событий и личностей), замечу, что частные фактические уточнения (буде они обнаружатся) не изменят (и тем более — не отменят) общего творческого (научного, философского и художественного) решения писателя. Даже если нам докажут (чего пока не произошло), что исторический Столыпин тем-то и тем-то отличался от Столыпина, изображённого Солженицыным, это не поколеблет внутренней логики «повествования в отмеренных сроках», той согласованности всех составляющих, что и делает высказывание художника убедительным, заставляет воспринимать его как аналог реальности. Что же до различных идеологических суждений о личности и деятельности Столыпина (и всей истории русской революции), то появление их неизбежно, пока существуют интеллектуалы, наследующие оппонентам и врагам Столыпина (условно говоря, новые черносотенцы, кадеты, большевики). Если некто убежден, к примеру, в том, что крестьянская община — величайшая ценность русского народа, или что царь всегда прав, потому что он царь, или что февральская революция явила торжество истинных свобод и демократии, а большевики урвали власть случаем, или что «великий октябрь» и власть советов принесли в Россию благоденствие (а без них мы бы по сей день в лаптях ходили), то неприятие подобными идеологами «Красного Колеса» гарантировано. Существенно, однако, что их полемические стрелы направлены, прежде всего, в Столыпина (и тех исторических деятелей, что как-то поддерживали и продолжали столыпинскую стратегию) и лишь во вторую — в автора «Красного Колеса». Вольно кому-то до сих пор восхищаться Лениным (Милюковым, Пуришкевичем, Керенским, великим князем Николаем Николаевичем), но требовать подобных чувств от всех и каждого, включая Солженицына, по меньшей мере, странно. Интеллектуально честный идеолог должен признать главное: «Красное Колесо» — цельное сочинение с единой, последовательно развиваемой концепцией действительности, основанной на огромном множестве «разноречивых», но поддерживающих друг друга фактов.

¹⁵ Потому царь, отступившийся от Столыпина и после богровского выстрела (не пришедший к умирающему, что напряжённо ждёт последней встречи со своим государем (69), равнодушно отнесшийся к судебному разбирательству, покровительствовавший тем, кто всеми силами препятствовал раскрытию преступления, оберегал лопухих и корыстных невольных пособников убийцы, допустивший распространение слухов, что порочили память убитого; в конце концов помиловавший тех, кто, пренебрегая долгом, не умел и не хотел защитить Столыпина (71–73)), царь, пренебрегший всеми уроками, которые он получил от министра, царь, действовавший наихудшим — можно сказать, «антистолыпинским» образом и летом 1914 года, и в военную пору, и при начале революции, царь этот в повествовании Солженицына не раз вспоминает Столыпина. Укажем лишь один, но очень весомый эпизод, хотя формально в нём имя Столыпина не звучит, да и звучать не может. Уже согласившись на отречение, император думает, кому же теперь возглавлять кабинет: «Государю не хотелось — Родзянке. Вот кого бы назначить: Кривошеина» (349), то есть наиболее близкого и доверенного столыпинского сотрудника-единомышленника. В этот момент император и дальновиднее, и вернее памяти Столыпина, чем Гучков, только что требовавший отречение, а прежде согласившийся поставить безликого князя Львова во главе Временного правительства. А ведь Гучков почитал себя продолжателем дела Столыпина и был Столыпиным высоко ценим.

СОДЕРЖАНИЕ

Г л а в а 49' (Обзор действий за 16 и 17 августа)9

Германцы завершают окружение к вечеру 16-го. — Русские и не пробуют прорвать кольцо извне. — Приказ штаба фронта Ренненкампу остановиться. — Передёргиванье, приказ идти на Алленштейн. — Переброды кавалерийской дивизии Толпыги. — Весь день 16-го 1-й русский корпус не наступает. — Движение отряда Сирелиуса на Найденбург в ночь на 17-е. — Франсуа утром 17-го. — Контрнаступить! — Пленение Мартоса. — Окружение затрещало. — Укрепление кольца. — Сирелиус потерял время. — Дезертирство генерала Кондратовича. — Пустая активность Жилинского вослед.

Г л а в а 5014

Группа Воротынцева. — Ночёвка в скотобойном доме. — Лесной рассвет. — Встреча с дорогобужцами. — Расспросы. — Как дорогобужцы шли. — Кормёжка. — Тамбовские. — Вместе?.. — Воротынцев и Ленартович под носилками мёртвого Кабанова. — Выбор места. — Качкин может и так и этак. — Панихида в утреннем лесу.

Г л а в а 5128

Слабеющие прорывы перемешанных русских частей. — Три штыковые раны полковника Первушина.

Г л а в а 5229

Положение 13-го корпуса. — Генерал Клюев намерен сдаваться. — Самовольные группы прорыва — есаул Ведерников, подполковник Сухачевский.

Г л а в а 5334

Теория Льва Толстого, проверенная на генерале Благовещенском. — Перестраиванье 6-го корпуса в стороне от боёв. — Приказ Нечволодову идти на Вилленберг.

Г л а в а 5436

Сокрушённая история генерала Нечволодова. — На выручку своих. — План атаки Вилленберга. — Дырявится немецкое кольцо! — Сосредоточение к операции. — Нечволодовский отряд — отозван...

- Глава 5541
 Поток мыслей Воротынцева. — Старое китайское гаданье. — Дневная лёжка группы. — Разработка ночного прорыва. — Жертва Офросимова. — Мысли Ленартовича при топорике. — Прожектор! — Погасили. — На выход!
- Глава 5648
 Русские снова в Найденбурге. — Ночь в госпитале. — Сотник из конвоя Мартоса. — Допрос его генералом Сирелиусом. — Дева Света. — Новое понимание Тани Белобрагиной. — Уход русских. — Таня прячет на себе полковое знамя.
- Глава 57' (18 августа).....53
 Обратное наступление Франсуа на Найденбург. — Панические директивы Жилинского. — Штаб Второй армии спасся. — Ренненкампуф отступать. — Генерал Гурко в Алленштейне, третье место разреза кольца.
- Документы — 654
 18 августа — Опровержение Главного Управления Генерального Штаба.
- Глава 5855
 После боя. Картины котла глазами лошади. — Лошади. — Брошенное имущество. — Люди. — Русские пленные. — Пленные генералы. — Концентрационный лагерь.
- Документы — 759
 19 августа — От штаба Верховного Главнокомандующего.
- Глава 5959
 Разными выросли Саша и Вероника Ленартовичи. — Пламень тётей Адалии и Агнессы. — Тщетные усилия их в правильном воспитании Вероники. — Ренегатская эпоха. — Ликоня. — Жизненные взгляды девушек. — Тёти убиваются позорным патриотизмом первых дней войны. — О заседании Государственной Думы. — А по Вероне и Ликоне — скользит.
- Глава 6067
 Тёти готовятся к решительному объяснению. — О связи Красоты, Правды и Справедливости. — Вера Засулич. — Её оправдание на суде. — Черета революционных звёзд. — Софья Перовская. — Революционер и ходячая нравственность. — Охота народовольцев за Александром II. — Софья ведёт Первое Марта. — Имена после Первого Марта. — Переход в XX век. — Дора Бриллиант. — Мария Спиридонова. — Биценко-Камеристая. — Красота и философия террора. — Женья Григорович. — Иван Каляев и его маскарады. — Михаил Соколов. — Наташа Климова. — Таня Леонтьева. — Тамара Принц. — Кто не дошёл до акта. — Серота эсдечек. — Евлалия Рогозинникова. — Началось бы — а там наплевать! — Как можно забыть героинь?..

Г л а в а 6179

Портрет дяди Антона. — Обречённость, Антонов огонь. — Рыдания и смех по убитому Александру II. — Антон растит себя к террору. — Упоение смертью на эшафоте. — Поднять флот на царя! — Восстание в Свеаборге. — Покушение на Дубасова. — Казнь дяди, а племянница свободна от долга чести? — Кто первый начал? — Права революционера в расчистке мира. — Крылатый конь террор. — Сомнения Вероники. — Моральная чистота постольку, поскольку. — Трагедия — не убитого, а того, кто нанёс удар. — Взрыв на Аптекарском острове.

Г л а в а 6289

1 сентября и 1 марта. — Спор тётушек о Богрове. — Презренный охранник? — Или подвиг, не имеющий равных?

ИЗ УЗЛОВ ПРЕДЫДУЩИХ

Г л а в а 6394

Дед и отец Богрова. — Раннее политическое развитие юноши. — Поиски направления. — Характер. — Внешние черты. — От изнеженности к испытаниям. — В главах киевских анархистов. — Превосходство центрального политического террора над другими методами. — Против анархистского дележа добычи. — Горечь разгрома. — Не один пролетариат нуждается в защите. — Выиграть простор. — Изучить охранку. — Богров играет с ротмистром Кулябкой. — Небольшие уплаты. Жесты для правдоподобия. — Первый арест. — Богров очищается от подозрений товарищей. — Щель между революцией и полицией. — Толчок от разоблачения Азефа. — Лучшая мишень — Столыпин. — Столыпин и самодержавие. — Столыпин и евреи. — Верность Богрова. — Дендизм и университетские экзамены. — Киев надоел, и куда деваться? — Пример Петрова-Воскресенского. — Богров в Петербурге. — Флирт с фон Котте-ном. — Встреча со Столыпиным на водопроводе. — Центральный террор может удалиться только единоличный. — Визит к Егору Лазареву. — Декларация об убийстве Столыпина. — Отказ Лазарева. — Всё расплывается. — Отдых на Ривьере. — Снова в Киеве. — Незаполнимая пустота. — Противоеврейские события весны 1911. — Нужным выстрелом в нужную грудь. — Катят в Киев сами! — Одинокая готовность.

Г л а в а 64115

Программа торжеств объявлена. — Всползти по цирковому шесту. — Днепровские лодочники? — Первый дерзкий шаг в охранку. — Визит к Кулябке домой. — Вязать узелки из обрывков прошлого. — Версия о Николае Яковлевиче. — Ключют служащие душёнки! — Отказ от театрального билета. — Передышка. — Дни созревания замысла. — Упустил?.. — Билет в Купеческий сад. — Накладка по телефону. — Папе и маме. — Иллюминация. — А может пожить ещё?.. — В двух шагах от затылка царя. — Царь — только название. — Чтобы не было погрома. — Не встретил, не нашёл. — Почему Кулябко ничего

не спрашивает? — Ночная записка Богрова. — Бодрый против сонного. — Версии, версии в неувязке. — Не переиграл? — Допечатать и воровать. — В гостинице «Европейская». — Гипнотический сплав небылиц. — Изморное томление. — Полицейский на пороге. — За театральным билетом. — В кармане! — В театральном вестибюле. — Опять перебрал, угодяют. — Пелля и назад. — Среди разряженных. — Следят или не следят? — В первом антракте. — Уходите. — Последний момент! — Мишень. — Запомните навсегда!

Г л а в а 65' (Пётр Аркадьевич Столыпин).....142

Ядро жизни Петра Столыпина с юности. — Пороки земледельческой передельной общины. — И мирозерцательное понимание её. — Ископанный мир не был передельной общиной. — Утверждение общины через подушную подать Петра. — Взгляд социалистов на общину. — Не земельная скудость, но безвыходное стеснение. — Начало службы Столыпина и его сельскохозяйственные пристрастия. — Саратовское губернаторство. — Смутная Японская война. — Убийство генерал-адъютанта Сахарова. — Первые покушения на Столыпина. — Как лечить деревню? — Губернаторский отчёт 1904 года. — Как прочёл его царь. — Назначение Столыпина министром внутренних дел. — Какова собралась 1-я Государственная Дума. — Каким увидела Столыпина. — Противостояние их. — Доводы Столыпина о реформе общинного строя. — Обострение с Думой и петергофские консультации. Уступать или разгонять? — Дмитрий Шипов: пусть будет кабинет министров кадетский. — Приняты доводы Столыпина, и он — премьер-министр. — Его отношение к Манифесту 17 октября. — Пороки избирательного закона. — Средняя линия Столыпина, первые шаги русской конституции. — Россия в расхате. — Революционеры наглеют. — Слабость местных властей. — Погромы на сельских просторах. — Неправильное использование войск. — Брожение в воинских частях, успех агитаторов. — Указ о роспуске 1-й Думы. Столыпин направляет царскую волю в сторону деревни. — Дума осеклась. — Манифест эсеров к армии. — Революция в Финляндии. — Финляндские вольности. — Свеаборгский мятеж. — Твёрдая линия — меньше жертв. — Трон рообет. — Взрыв на Алтеккарском острове. — Столыпин не уходит в отставку! — Что такое «стольпинский террор»? — Общество в защиту террора. — Столыпин в Зимнем дворце. — Да жива ли русская монархия? — Как совместить твёрдость порядка и реформы? — Характер: если видел путь, умел и совершить. — Стеснённость монархиста. — Цепь покушений. — Столыпин готов к смерти каждый день. — Главная мысль крестьянской реформы. — Реформа упирается в передельную общину. — Как её сковывали в прежние царствования. — И даже в последние годы. — Корыстный страх правящего слоя. — Нельзя держать крестьянина без собственности. — Вторая часть реформы 1861 года. — Золотая пора отношений с Государем. — 87-я статья Основных Законов. — Тщетное приглашение общественных деятелей в кабинет. — Указ о гражданском равноправии крестьян. — Указ о волостном земстве. — Указы о религиозных свободах. — Подготовка закона о равноправии евреев. — Задержка всех указов. — Закон об отрубках и хуторах. — Созыв 2-й Думы. — Обвал потолка в Таврическом. — Столыпин с декларацией правительства. — Всеохватная программа Столыпина. — Думе не подходит серая работа. — Разглагольствования Церетели. — Молчание кадетов. — Угрозы социалистов. — Вид Столыпина и ответ его. — «Не запугаете!» — Ответ Столыпина Москве. — Ответ о военно-по-

левых судах. — Дума — за террор. — Дума мешает в делах. — Аргументы Столыпина против раздела крупных землевладений. — «Им нужны великие потрясения». — Невыносим для передового общества. — И как ещё вспомнят его в 4-й Думе. — Старания Столыпина спасти 2-ю Думу. — Инцидент с Зурабовым. — Семья Столыпина в Елагинском дворце. — Мудр тот, кто уступает при оружии. — Задержка реформ в русском XIX веке. — Николай II всё упускал. — Учиться работать по конституции. — И для её же спасения изменить избирательный закон. — Линия по лезвию, между бездн. — Тайные переговоры с правыми кадетами. — Кадеты не хотят и не умеют строить. — Роспуск 2-й Думы. — Третьиюньский манифест. — Суть изменений избирательного закона. — «Третьиюньская общественность». — Поздняя оценка В. Маклакова. — Расширение прав земства. — Земство в политике Столыпина. — Реальные земские дела его. — Выступление при открытии 3-й Думы. — Революция то была или разбойничество? — Люди земли. — Понятие свободы по Столыпину. — Царская власть как историческое достояние России. — Родичев: у России не было истории. — «Столыпинский галстук». — Вызов на дуэль. — Извинение Родичева. — А покушения продолжают. — Похоронить там, где будет убит. — Гучков в 3-й Думе и его переменчивая поддержка. — Уважение Столыпина к доказательному спору. — Ничего настоятельного не мог провести через Думу. — Речь Столыпина на запрос об Азефе. — Предательство Лопухина. — Роль и фигура Азефа. — Пророчество о себе. — «Земля — это Россия». — Затяжные прения о земельной реформе в 3-й Думе. — Как оболгали фразу о «сильных». — Атаки на реформу справа. — Столыпин — чужак для высших сфер. — Как они переменялись к нему. — Переменчивость государевых решений. — На аудиенцию всегда с отставкой в портфеле. — Эпизод с морскими штатами, едва не отставка. — Отношения с Государем — уязвимая перемычка. — Душевные свойства и государственные привычки Николая II. — Любовь и долг монархиста. — Забычивость монарха. — Столыпин и император Вильгельм. — Внешняя политика? — Герцеговинский кризис. — Мнение Столыпина о союзниках. — России воевать незачем. — Революция кончилась. — Столп государства. — «Россия недовольна собой». — Успехи земельной реформы. — История переселенчества, и как мешали ему. — Успехи переселения при Столыпине. — Сибирская поездка. — Выздоровление русской жизни. — Отверженность революционеров. — Вызов лётчика Мациевича. — Особенная позиция Столыпина в партийном спектре. — Только сферы не смирились со Столыпиным. — И меняется отношение Государя. — Конфликт вокруг Илиодора. — Русский кабинет — не власть. — Враги вокруг. Распутин. Курлов. — Положение с западным земством. — Столыпинский проект. — Первое прохождение через Думу. — Состав Государственного Совета. — Роль Витте в нём. — Стоило ли так настаивать? — Проект провален, Столыпин подаёт в отставку. — Вмешательство вдовствующей императрицы. — Государь сдаётся. — Крутое применение 87-й статьи. — Стоило ли применять? Оценка В. Маклакова. — Предвещение испытаний всемирного парламентаризма? — Гучков хлопает дверью. — Столыпин отбивается в Государственном Совете. — Оправдывается в Думе. — Дума жаждет рассчитаться. — Оскорбления от Маклакова. — Кадетская месть. — Пуришкевич ищет левых аплодисментов. — День позорища. — Ощущение разгрома. — Крестьян не слушают. — Атмосфера конченности вокруг Столыпина. — Уйти — и как бы ещё пригодился! — Программа-завещание Столыпина. — Расчёт, как её провести. — Судьба программы.

Тяжёлые предчувствия того лета. — Столыпин неуместен в торжествах. — Трудный отъезд. — Курлов в руководстве охраной. — Курлов как тип человека. — Дворцовые пренебрежения премьер-министром. — Столыпина не охраняют. — Отказ от панциря. — Богров мог стрелять сорок раз. — Позднее вынужденное предупреждение от Курлова. — Беззащитность в театре. — От Курлова нет новостей. — Последние минуты. — Выстрелы. — Вид убийцы. — Столыпин крестит Государя. — Царь не подошёл.

Глава 66225

Что такое государственная служба. — Правильные способы восхождения. — Командировка за портретом Плеве. — Курлов на первых ступенях. — Опасное время для высоких лиц. — Угодать и престолу и либералам. — Не пятнать друг друга. — Обида на Столыпина. — Французский отпуск Курлова от революционных событий. — Не только служба, но деньги. — Служба в Киеве и новые покровители. — Спиридович и Кулябко. — Денежная интимность с Кулябкой. — Расположение Государя. — Быстрое повышение. Курлов — товарищ министра. — Подъём за собою Кулябки, Веригина. — И — командир корпуса жандармов. И генерал. — Слетовская группа террористов. — Деликатность в использовании секретных сотрудников. — Денежные заботы. — Распоряжение охраной в государевых поездках. — Занять место Столыпина. — На охране киевских торжеств. — Явка Богрова с известием. — Как правильно использовать его. — Кружение празднеств. — Богровские сведения прорываются к генерал-губернатору и Столыпину. — Столыпин не приглашён на царский пароход. — Вереница охранных забот. — Столыпин ничего не знает толком. — Волнения Кулябки в первом акте. — Идея подслушать телефон. — Курлов перед Столыпиным таится до конца. — Паника от выстрела. — Как вырвать Богрова из рук прокуратуры? — Хладнокровный план защиты. — Энергичные аресты! — Суровость Коковцова. — Свернуть на Столыпина, если умрёт.

Глава 67248

Слухи по Киеву. — О состоянии раненого. — Кто же убийца? — Толки о разговоре. — Билет выдало Охранное отделение! — Ликование о позоре охранки. — Да вся Россия беззащитна. — Сенсационные подробности. — Да сам Столыпин и подготовил убийство! — Тон кадетской печати. — ЦК эсеров приветствует убийство. — Очистить героя от охранки! — Слухи, как великолепно держится. Тон «Нового времени». — Молебны.

Глава 68255

Поторопился, недострелял! — Впопыхах после стрельбы. — И когда отошло. — Исполненный долг. — Разрядка от тайны. — Жалко Кулябку. — Протокол, почему пощадил Государя. — Ещё ли вы не поняли?.. — И не возьмёшь защитника. — В Косом Капонире. — Совет жандармского подполковника. — Уронить подвиг, но спастись? — Воспоминание о Ривьере. — В залах Монте-Карло. — Перебор по годам скитаний. — Не спастись, так навесить себя на охранку!

Глава 69265

Раненый в сознании. — Облегчение первого дня. — Ничего не узнать, никого не дозваться. — Плавание духа. — А Государь не шёл. — Следователь. — Коковцов. — Телеграммы. — Молебны. — И ни на каком пределе не кончаются наши замыслы. — Перебор по большим годам. — 3 сентября. — А Государь не идёт. — Обвалились леса, предсказал. — Будут ли наследники дела? — Похоронить меня в Киеве. — 4 сентября. — А Государь не идёт. — Как бы ринуться в Будущее! — 5 сентября. — Не пришёл. — Не нам Твой замысел весить. — Забытьё. — Последнее. — Доктор Афанасьев о Столыпине.

Глава 70274

Паника среди киевских евреев и правительственная защита их. — Отношение правых к убитому. — Государево пренебрежение всеми замечено. — Тон русской печати. — Тон европейской.
Перенос гроба в Лавру. — Похороны.

Глава 71280

Тайность суда — против правительства. — Отказ Богрову в дополнительных показаниях перед судом. — Уклонение главных свидетелей. — Суд без протокольной записи. — Богров меняет показания: преданный охранник; Столыпин убит случайно. — Показания Кулябки: с вedomо Столыпина! — Последнее слово Богрова — о еде. — Приговор. — Прощальное письмо родителям. Честный. — Спешка с казнью. — Добавочный допрос осуждённого смертника. — Подполковник Иванов. — Допрос, как он идёт по записи. — И не жалко платить безчестьем? — Умирать не хочется! — С раввином. — Повешенье. — И как хорошо для всех чинов.

Глава 72290

Праздество на ипподроме. — В театре, из царской ложки. — Подал бы в отставку — уцелел. — С Аликс о Столыпине. — Войсковой парад 2 сентября. — Праздество в Овруче. — Посещение киевской гимназии. — Плавание в Чернигов. — Праздество там. — Известие о смерти. — Государь в лечебнице. — «Сусанины не перевелись на Руси». — Отъезд из Киева. — Коковцов назначен. — Вагонный отдых. — Любимая яхта. — Праздества в Севастополе. — Кто же будет министром внутренних дел? — Предвкусенье ливадийского дворца. — Осмотр его. — Любимые места над морем. — Но тянет мантия России. — Курлова нельзя назначить? — Государева милость к подследственным. — Насколько легче с Коковцовым. — Не надо так жалеть тех, кого не стало.

Глава 73' (Царское милосердие)303

Общественные ожидания от расследования. — Скрытность ревизии Трусевича и скованность её. — Курлов вынужден в отставку. — Его изошрённая защита. — Заключение Государственного Совета. — Влиятельные послабления. — Курловская защита в дальнейшем изошрёньи. — Обвинительные заключения сенатора Шульгина. — Департамент Государственного Совета

поддерживает обвинения. — Взаимная выручка старцев. — Государь помиловал. — Символ государственного состояния. — Чем дышали государственные старцы. — Как могли они не проиграть России? — Насмешка над земской идеей. — Памятник Столыпину — и насмешки над памятью его.

Глава 74313

Беззаботная молодость, юные забавы. — Армейская служба, армейские забавы. — Императорская охота. — Путешествие на Восток. — Нападение в Оцу. — Впечатление от Сибири. — Знакомство с Аликс. — Сватовство, помолвка. — Жениховство, визит в Лондон. — Болезнь Александра III. — Тоска по Аликс. — Ухудшение болезни, первые государственные занятия наследника. — Страшно и беззащитно. — Аликс в Ливадии. — Приготовление к царствованию. — Скоропостижная смерть отца. — Путешествие с гробом императора. Похороны. — Тяжесть церемониальных обязанностей. — Свадьба. — Уединение в Царском. — Душат бумаги. — Как осмыслить жребий монарха? — Советы дядей. — Победоносцев? Витте? Перемены решений. — Разночтения советников. — «Безмысленные мечтания». — Преднаменование с тверским блюдом. — Трудности внешней политики. Тайный союз с Францией. — Покорительность Вильгельма. — Мирить Германию и Францию! — Втроем остановили Японию. — Вильгельм о восточной задаче России. — Николай полюбил восточную идею. — Англия — извечный враг. — Тайна, недоданная отцом. — Коронация обещает перерождение. — Растоптанное толпою, дурной знак? — Бал у французского посла. — Милость к виновным. — Град на нижегородской выставке. — Заграничное путешествие. — Поверил французам. — Замысел высадки в Босфоре. — Негодность советников. — Привычки императорской четы, непонятные высшему свету. — Дружба с Вильгельмом, общие азиатские дела, уступки Киао-Чао. — Брать ли Порт-Артур? — Вильгельм венчает Николая Императором Востока. — Голова кругом от дипломатии. — Мысль Куропаткина задержать вооружения. — Русские ноты державам и отзывы в мире. — Гаагская конференция. — Разочарование Николая. — Преимущества частной жизни. — Чувства во время трансваальской войны. — Восточные перспективы. — Действия в Китае в 1900. — Нет мира и внутри России! — Университетская забастовка 1899. — Призыв непокорных студентов в армию. — Финляндские преимущества. — Совместимы ли земства с самодержавием? — Убийство министра народного просвещения. — Мягкие меры — непримиримость общества. — Убийство Сипягина. — А как бы всем жить мирно! — Любимые занятия. — Династические заботы. — Смерть брата Георгия. — Трудности управлять. — Своё настоящее. — Сердце царёво в руках Божиих. — Мсьё Филипп и его разоблачители. — Азиатская миссия России. — Горячее сочувствие Вильгельма. — Противоречия министров по азиатскому вопросу. — Николай лучше их знал Восток и пользу России. — Непорочность смуты в образованных русских людях. — Разворот русской политики на Крайнем Востоке. — Столкновение с японскими интересами в Корее. — Неудача переговоров с маркизом Ито. — Союзников нет, одиночество России. — Помощники императора в обход министров. — Статс-секретарь диктатор Безобразов. — Канонизация Серафима Саровского. — Саровские чувства. — Создание дальневосточного наместничества. —

Смерть гессенской принцессы. — Начало Японской войны. — Наказать японскую дерзость! Намерения Куропаткина. — Беременность Аликс. — Царское времяпровождение. — Японские симпатии образованной молодёжи. — Отношение держав. — Цепь военных неудач. — Государь на армейских церемониях. — Церковные службы. — Оцу стало символом. — Государственные беседы. — Годичный круг царской семьи. — Семейная замкнутость и нежность. — Поездки для благословения войск. — Рождение наследника. — Верность Вильгельма. — Первая болезнь наследника. — Порт-Артур заперт. — Поражение под Ляо-яном. — Поколебленная уверенность. — Убийство Плеве. — Назначение Святополк-Мирского. — Как правильно вести себя с обществом? — Аликс после родов. — Охоты, посещения полков. — Просьба Джорджи о Крите. — Снова поездки с благословением войск. — И сам бы отправился на Восток! — Новые поражения там. — Смещение адмирала Алексеева. — Вильгельм настаивает на продолжении Японской войны. — Посылать ли эскадру на Восток? — Растянутое прощание с ней. — Обстрел эскадрой английских рыбаков, конфликт с Англией. — Вильгельм колеблется в снабжении эскадры углем. — Что же Франция? — Вильгельм даёт проект тройственного договора. — Послабления Святополка. — Общество требует опокления власти. — Самозванный «земский съезд» 1904. — Банкетная кампания. — «Долой самодержавие», уличные волнения в Петербурге и Москве. — Сопрошения, как прекратить смуту. — Вынужденная жизнь в петербургской тьме. — Неразрешимость проблем. — Ближняя охота. — Зимние благословения войск. — Сдача Порт-Артура. — Встреча 1905 и надежды. — Отставка дяди Сергея. — Картечь на водосвятии. — Петербургская забастовка. — Ехать ли в Зимний разговаривать с рабочими? — Политическая петиция. — Меры правительства перед демонстрацией. — Молитвы Государя. — Войскам пришлось стрелять. — Раскаяние царя. — Дмитрий Трепов — петербургский генерал-губернатор. — Нужно державное слово? — Приём рабочей делегации. — Вильгельм присылает план внутреннего умиротворения. — Убийство дяди Сергея. — Династия в плену. — Волнения, бунты, грабежи расходятся по стране. — Нет сил подавления и нет уверенности. — Забастовки образованного класса. — Как пригласить их слушаться властей? — Твёрдость или уступчивость? — Твёрдый манифест и великодушный указ в один день. — Министры вынудили и рескрипт о созыве представителей. — Мукденское поражение. — Россия на перевесе. — Распушенность общественных обсуждений. — Цусимский бой. — Приём Гучкова. — Снести позор, искать путей к миру? — Вильгельм предлагает мирное посредничество. — Витте послан на переговоры. — Надежда на успех и надежда на неуспех. — Горе от подписанного мира. — Свидание в Бьёрке. — Вильгельм вымучивает тайный договор. — Приём депутации городов и земств. — Нет предела требованиям конституционалистов. — Петергофские совещания о Думе. — Малые летние развлечения. — Спешить с Думой? — Безчинства в разных местах Империи. — Прогулка в финские шхеры. — Витте пожалован графом. — Внутренние волнения расходятся хуже. — Никакого применения силы! — Железнодорожная забастовка. — Москва без воды. — Никто не хочет подождать. — Морганатический брак Кирилла. — Расслабленность министров. — Чувство перед грозой. — Убеждения Витте. — Готовиться к разделению царской власти с выборными. — Сердце Николая сопротивляется. — А других советчиков не най-

ти. — Даже Петергоф отрезан от Петербурга. — Прежде установить порядок? — Витте настаивает на своём. — Тогда пусть будет царский Манифест! — Приезд Николаши. Не возьмётся ли быть диктатором? — Почему не установится всеобщее миролюбие? — Как будто и не конституция? — Государственный переворот против самого себя? — 17 октября, 17-я годовщина крушения. — Облегчение после подписания. — Ликование неблагодарности. — Тревога верных. Столкновение двух движений. — Старые законы отменены, новые не составлены. — Общество оттолкнуло, Витте растерян. — А забастовки перед Манифестом уже стихали! — Запылало только сильнее. — Упадок страны за один месяц. — Стыдно за Россию. — Знакомство с Распутиным. — Смотры гвардейским полкам. — Попытки освободиться от тайного договора с Вильгельмом. — Россия вползает в ненужный союз с Англией. — Боснийское унижение. — Попытки сохранить дружбу с Германией. — Повторенье истории как в колесе.

ИЮЛЬ 1914

Благотельность прямых отношений с Вильгельмом. — Коварство Австрии. — Подготовительные военные меры. — Сухомлинов и Янушкевич, уверенные генералы. — Австрия объявила войну Сербии. — Государь дал согласие на частичную мобилизацию. — Телеграмма Вильгельму о сдержании Австрии. — Янушкевич: частичная мобилизация невозможна. — Что же Англия? — Государь даёт предварительную подпись на всеобщую. — Дёрганья. — Австрия дерзит. — Германский канцлер грозит, Вильгельм успокаивает. — Австрийцы бомбардировали Белград! — Вильгельм предлагает мирить с Венной. — Николай останавливает всеобщую мобилизацию. — И снова отказал. — Только и надёжна струна к сердцу Вильгельма. — Новая аргументация Сазонова. — Идёт германский флот! — Согласен на мобилизацию. — А Вильгельм никогда не бывал врагом! — Мобилизация на красной бумаге. — Сазонов уклоняется от переговоров с Австрией. — Не дают Государю стать Верховным Главнокомандующим. — Ещё одна дружеская телеграмма Вильгельму. — Приём германского посла. — Телеграммы всё разминуются. — Не видно, как останавливать... — Въезд Вильгельма в Берлин. — Германский ультиматум России. — День Серафима Саровского. — Николаша назначен Верховным. — Телеграммы и молитвы. — Германия объявила войну. — Как разрушение семьи. — Ещё одна шальная телеграмма. — На яхте в Петроград. — Молебен в Зимнем. — Народ на Дворцовой площади. — Юно-коронованный царь.

Документы — 8.....414
Письмо Распутина Государю.

Глава 75.....414

Чудо национального примирения. — Нужна ли война? — Как слиться с народом? — Споры бестужевок. — Петербург-Петроград. — Женщина-профессор. — Цена эмансипации? — Ольга Орестовна. — Об изучении Средних веков. — Личная ответственность.

Глава 76.....	422
Направление харитоновской гимназии. — Домашние принципы Аглаиды Федосеевны. — Горе и радость с детьми. — Горе Ксеньи. — Проездка по Ростову. — Счастье Жени. — Начальница за пасьянсом. — Тревога за Ярика. — Втрапляется Юрий.	
Глава 77 ⁿ (вскользь по газетам)	431
Глава 78	435
Инженеры Ободовский и Архангородский. — Делать русскую жизнь своими руками. — Осмотры. — Через революцию, эмиграцию — и к работе. — Планы. — Северо-Восток и будущее России.	
Глава 79	441
Жена инженера. — Гнев молодых на патриотическую манифестацию евреев. — Обед у Архангородских. — Спор молодых против инженеров. — Эксплуатация, производство и распределение. — На какие средства живут революционеры. — Мадмуазель. — Ксения в гостях. — Как относиться к революции. — Как относиться к России. — Чёрная сотня и красная сотня.	
Глава 80	449
Подъёмы и упадки великого князя Николая Николаевича. — Как он оказался Верховным при чужом штабе. — Его вера в небесные знаки. — Распорядок его жизни в Ставке. — Его преданность Франции. — Растущая тревога об армии Самсонова. — Появление Воротынцева. — Неповторимый миг. Доклад. — Не сотрясся вагон. — Милостивая телеграмма Государя. — Претерпевший до конца спасен будет.	
Документы — 9.....	460
Германская листовка с аэроплана.	
Глава 81	461
Воротынцев и Свечин. — Высказать один раз всё, что думаешь! — Как высоко ответственны за эту операцию? — Линия мятежа или размеренного действия. — Зачем вступили в эту войну? — Покроют львовским торжеством. — Прощание с Благодарёвым.	
Глава 82	468
Совещание у Верховного. — Черты выступающих. — Симпатии и невозможности Николая Николаевича. — Взрыв Воротынцева. — Защита Второй армии. — Ошибки стратегические и государственные. — Воротынцев удалён. — Телеграмма о взятии Львова.	

Документы — 10	481
Телеграмма Верховного — Государю.	
Краткие пояснения	482
<i>Н. Солженицына</i>	
Она уже пришла. Заметки об «Августе Четырнадцатого». ...	484
<i>А. Немзер</i>	

Литературно-публицистическое издание

А. И. Солженицын

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 8

КРАСНОЕ КОЛЕСО

Повествование в отмеренных сроках

Узел I Август Четырнадцатого

КНИГА 2

Редактор

Наталья Rogozina

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Корректор

Ирина Машковская

Подписано в печать 29.05.2007.

Формат 60×90 1/16. Бумага для ВХИ.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,5.

Тираж 3000 экз. Заказ № 374.

«Время»

115326 Москва, ул. Пятницкая, 25.

Телефон: (495) 231 1864

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@vremya.ru

Отпечатано в ОАО

«ИПП «Уральский рабочий»

620041, ГСП-148,

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru

С60 Солженицын А. И.

Собрание сочинений в 30 томах. Т. 8. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках в четырёх Узлах. — Узел I: Август Четырнадцатого. Книга 2. — М.: Время, 2006. — 536 с.

ISBN 978-5-9691-0237-8

Восьмой том содержит окончание «Августа Четырнадцатого» — первого Узла исторической эпопеи «Красное Колесо». В нём не только завершён показ и анализ Самсоновской катастрофы, но дан художественный обзор царствования последнего императора Николая Второго вплоть до Первой мировой войны и ярко представлена фигура премьер-министра П. А. Столыпина, его труды, реформы и трагическая смерть.

ISBN 978-5-9691-0237-8



9 785969 102378 >

